МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

РИХАРД ВАГНЕР

МОЯ ЖИЗНЬ

Том 1

Рихард Вагнер

Моя жизнь

В двух томах

Том 1

Москва
2022

УДК 929Вагнер
ББК 85.313(4Гем)52-8,2
В12

Вагнер, Рихард

В12 Моя жизнь. В 2 т. Т. 1 / Рихард Вагнер. — Москва : Директ-Медиа, 2022. — 720 с.

ISBN 978-5-4499-2957-0 (*т. 1*)
ISBN 978-5-4499-2958-7

Автобиографический труд гениального немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813–1883 гг.) открывает читателю новые, малоизвестные страницы жизни великого музыканта и знакомит с его философско-эстетическими взглядами. Творчество и музыкальное наследие Вагнера условно разделили историю мировой оперы на два периода — довагнеровский и после, став первым посылом для революционных изменений в развитии оперного жанра. Опережая время, великий реформатор Вагнер оказал значительное влияние на европейскую музыкальную культуру.

В первый том книги «Моя жизнь», ценность которой, по словам самого автора, «заключается в ее неприкрашенной правдивости» вошли ранние воспоминания, рассказ о школьных годах, ближайшем окружении, первых шагах на музыкальном поприще и о том, как совершенствовался его композиторский талант.

УДК 929Вагнер
ББК 85.313(4Гем)52-8,2

ISBN 978-5-4499-2957-0 (*т. 1*)
ISBN 978-5-4499-2958-7

Оглавление

Часть первая 21

1. Фридрих Вагнер. Страстный интерес к театру. Интимный друг дома Людвиг Гейер. Отчим. Живописный и актерский талант. «Вифлеемское избиение младенцев». Рихард Вагнер-Гейер 21

2. Ранние воспоминания. Мольберты и картины. Наивная пачкотня красками. «Таинственная театральная ложа». Ангел, зашитый в трико. Сахарный крендель. «Menschenhass und Reue» 24

3. Деревня Поссендорф. Пастор Ветцеле. Робинзон, Моцарт, греки. «Нет ли у него таланта к музыке»? Смерть Людвига Гейера. Поссендорф прежде и теперь 25

4. Эйслебен. Бабушка. Красногузки. Магистр Вейсс 27

5. Базарная площадь. Акробаты. С шестом в руках. Духовой оркестр гусарского полка. «Фрейшютц». «Девичий венок». Дядя Адольф. Пожилая девица Жанетта Томэ. В королевских залах. Кошмарные видения. Среди груды книг. «Parnasso Italiano». Гете 28

6. Сестра Розалия. Гимназия св. Креста. Матушка. Воспитание в институте. Веймарский принц. Забавный юмор и хорошее настроение духа. Патетический тон. Ненависть к театру. Речи о Боге 32

7. Интересные знакомства. Пикники, прогулки. Карл Мария фон Вебер. Кукольный театр. Рыцарская драма. «Ich hore schon den Ritter trabsen!» Эмоция ужаса. Склонность к таинственному. Волнующая дымка театральных впечатлений. Нежные детали артистического гардероба. Жуткое сердцебиение. Среди женщин 36

8. Школа, учителя и товарищи. Греческая мифология. Успехи на поприще филологии. Зиллиг. Способность к декламации. Надгробное слово в восьмистрочных стансах. «Мне предназначено быть поэтом». Первые юношеские концепции 39

9. Привязанности. Семья Бэме. Влияние женского элемента. Амалия Гоффман. На руках у девушек. Поездка в Прагу. Ломаный немецкий язык, странные головные уборы. Сестра Оттилия. Семья графа Пахта. Рассказы Гоффмана 42
10. Путешествие пешком. Приветливая корчма. Веселый человек с металлической лирой. «Non plus ultra». Изящный экипаж с прелестными подругами. Припарки из петрушки. Вид на Прагу с возвышения 45
11. В стороне от большой дороги. Театр марионеток. «Геновефа». Компания будущих студентов. «О, Голо, Голо!» Книжный шкаф дяди Адольфа. «Burschenthum». Педантические правила поведения. Эмансипация от школьного и домашнего гнета 47
12. Церковные обряды. Евхаристия. Маленькая комнатка под крышей. Стихи. Колоссальная трагедия. Богатый книготорговец Фридрих Брокгауз. Тон хорошего общества 50
13. Nikolai-Schule. Пример свободной студенческой жизни. Первые этапы развития. Ученый родственник. Высокопарные фразы. «Царь Эдип». Столкновение с советом преподавателей. При свете молний 53
14. «Лейбальд и Аделаида». Музыка 57
15. Вебер и Сассароли. Немецкая и итальянская школа. Отвращение ко всему итальянскому. Узкое, тонкое лицо с затуманенным взором. «Фрейшютц» в исполнении сестер 61
16. Концерты в дрезденском «Большом Саду». Звуки квинты. Хаотические краски. «Фиделио». Бетховен. «Requiem» и «Дон-Жуан» 64
17. Музыкальная наука и финансовые затруднения. Уроки гармонии. Демонское царство. Второй «Крейслер». Груды партитур. Долговязый Флакс и подозрительная женщина. Разочарование 67

18. Первая соната. Квартет. Музикдиректор Кюнлейн. Разрушенная школьная карьера 71
19. Фантазии, сонаты, увертюры. Песня на греческом языке. Чтение 73
20. Девятая симфония. Фортепьянное переложение в две руки. Скрипка. Новое увлечение театром. Шредер-Девриент 75
21. Несравненная артистка. Бури восторга. Разбросанность занятий. Софокл 78
22. Знакомство с историей. Контраст революционной политики и идеальной человечности. Июньская революция в Париже. Ее отголоски в Дрездене. «Фридрих и свобода» 81
23. Студенты и полиция. Насилия и бесчинства. Общий разгром 83
24. Рабочий пролетариат. Студенческие патрули. Охранные отряды молодежи во владениях богатых купцов. Военная квартира матадоров 86
25. Смелые речи саксонского Лафайета. Коммунальная гвардия. Университет. Цвета земляческих корпораций 88
26. Пасхальные каникулы. Красавец Гебгардт. Товарищ Дегело. Выработка корректной внешности. Тщедушный студентик и «старые петухи». Саксонская шапочка. На «кривых саблях». Рапиры в опытных руках 91
27. Фуксы. Бильярдная комната в ресторане. «Коммерс» земляческих корпораций. Смерть Дегело 96
28. Карты. Лицом к лицу с судьбой. Тихий шепот предостережения. Новая фаза серьезного труда 98
29. Мистическая роль оркестра. Музикдиректор Лейпцигского театра Генрих Дорн. Рождество 1830 года — «Новая увертюра». Первое выступление на арене музыки. Фатальные удары литавры. Взрыв веселых чувств в публике. Грустные чувства молодого композитора 103

30. Занятия в университете. Писательский стиль и глубокие проблемы человеческого духа. Лекции Вейсса 107
31. Вейнлих. Фуга. Труднейшие контрапунктические эволюции. «На собственных ногах» 109
32. Трезвость в гармонических и тематических построениях. Лейпцигский Gewandthaus. Исключительный любимей публики дирижер Поленц. Дикие выкрики фанфар и тяжелый ритм. Первые успехи. «Глупая фуга». Большая симфония 111
33. Польское восстание. Битва под Остроленкой. Партии польских эмигрантов. Граф Тышкевич 115
34. Трагический случай в жизни Тышкевича. Историческая дата польской конституции. Трапеза воинов. «Polonia» 118
35. Отъезд Тышкевича. Короткая остановка в Дрездене. Здравица «диктатору Польши». Вена 120
36. «Ифигения» и «Zampa». Иоганн Штраус. Волшебный дирижер 121
37. Старый граф Пахта и его красавицы дочери. Излюбленные высшие элементы духа. Дионис Вебер. Музыкальные успехи. Кондитер Хаша. Сатанинские страсти 124
38. «Звуки колокола». Сюжет трагической оперы 129
39. Детали. Черным по черному 131
40. «Ангелочек» 133
41. Генрих Лаубе. В «Клубе портных». Симфония. «Костюшко» 135
42. «Феи» 137
43. Театральный хормейстер. «Вампир» Маршнера и «Роберт-Дьявол» Мейербера. Подземная труба с клапанами. Пустые, аффектированные мелодии. Падение классического вкуса. «Staniera» Беллини 140

44. Веселый молодой кутила Александр Мюллер.
Баварское пиво и франконское вино.
Экстазные чувства. «Постыдное дело» 142
45. Первая любовь. «Задушевный роман»............................... 144
46. Большая увертюра, симфония C-dur и отрывок
новой оперы. Фрейлейн Фриделе.
Три тетради партитуры 147
47. Новая опера. Усердные хлопоты Розалии.
Гаузер. Старый Бирей 149
48. «Молодая Европа». Полуклассические владыки
литературных тронов. «Ромео и Джульетта».
Поток волнующих ощущений. Фривольный тон
рецензии об «Эврианте». Брожения и кипения
в области музыкальной эстетики 151
49. Теодор Апель. Юные боги 154
50. План нового оперного текста. Дикие вольности
и невероятные дурачества 156
51. Лаухштедт. Генрих Бетман. Красивая
и милая девушка Минна Планер.
Неожиданная встреча. Первое впечатление............................... 160
52. Капельмейстер. Фея Амороза. Отсутствие
театральной аффектации. Наивно-необузданное
поклонение. На карнизе окна. Толерантный поцелуй 163
53. Рудольштадт. Музыка и ревность. Рулетка....................... 167
54. Магдебург. За дирижерским пультом.
Холодные и намеренно равнодушные отношения.
Сомнительная прелесть поверхностных знакомств.
Пунш и устрицы............................... 170
55. Жребий брошен 173
56. «Колумб». Чудеса оркестра. Глубочайшее pianissimo
под еле брезжущие фигуры скрипок на высоких нотах.
Ликующее великолепие шести труб. Популярность
у магдебургской публики............................... 176
57. Шредер-Девриент. Помпезные объявления.
Полнейшее фиаско............................... 178

58. Минна в семье Вагнер. Лейпцигская публика. Музыкальное празднество в Дессау. Ненависть ко всему классическому. «Абсалон» 182
59. Ясные дни в саксонской Швейцарии. В поисках хороших оперных певцов 185
60. «Белая Дама». Нюрнберг. Платиновая табакерка и золотое кольцо с печатью. Скудные средства 188
61. Затеи нюрнбергских шутников 190
62. Конец делового путешествия 194
63. Во главе хорошего оперного персонала 196
64. Мысль о женитьбе. Сомнения и тревоги. С экстренной почтой навстречу возлюбленной 199
65. Новая постановка и новый провал 201
66. «Запрет любви» 204
67. Хлопоты о постановке в Лейпциге. Директор Рингельгардт. Конец дирижерской и композиторской карьеры в Магдебурге. Кредиторы. Кенигсбергский театр. Матримониальные планы. Печальное прощание с Розалией 211
68. Жуткие предзнаменования. Последние недели в Магдебурге 215
69. Берлин. Серф. Грядущие печали 216
70. Темные черты в характере Минны. Коммерсант Швабе. Общество Лаубе. Грандиозность больших театральных представлений. Советы умного человека 218
71. Кенигсберг. Абраам Меллер. На посту резервного капельмейстера. Почетный контракт и свадебный бенефис. «Немая из Портичи» 221
72. Прошлое Минны Планер. Светотени. Первые бурные объяснения. Внутренний голос, пророчащий беду 225
73. 24 ноября 1836 года: венчание 230
74. «Rule Britannia» «Счастливое медвежье семейство» 235
75. Тяжелые обстоятельства. Разлады между молодыми супругами. Ссоры 238

76. Богатый купец Дитрих. Английская комфортабельность. Объяснения с опасным человеком. Утро 31 мая 1837 года. Бегство Минны. Тревоги, погоня, примирение. Контракт с директором Рижского театра 241
77. Скромное помещение в Блазевице. Временное затишье. Опять Дитрих. Оттилия. Утешение и помощь 246
78. «Кола ди Риенци». Амалия Планер. «Till Eulenspiegel». Рига 248
79. Популярный писатель Гольтей. Терпимая арена фривольных эксцентричностей 251
80. Пламенный бетховенианец, дирижирующий операми Беллини и Адама. «Национальный гимн». Известия о Минне 253
81. Письмо Минны. Ее приезд. Амалия и Минна 255
82. Контроверзы с Гольтеем. Полутрогательный, полуфривольный жанр 258
83. «Риенци». Историко-комическая опера Дорна 261
84. Смерть Розалии. Идеальные цели 263
85. Катастрофа 265
86. Дорн и знамя немецкой драматической музыки 268
87. Новый путь. Сношения с Парижем. Письмо Скриба. Уроки французского языка 271
88. Ликвидация дел в Риге 274
89. Путешествие в Париж. Ньюфаундлендская собака Роббер. Контрабандистская корчма. Через границу 276
90. На корабле в Лондон. Матрос Коске и неистовство Роббера. Среди лабиринта утесов 278
91. Брезжущая идея «Летучего голландца». Треволнения морского путешествия 281
92. Буря. Лавирование среди опасных мелей. В устье Темзы. Ряды домов и улиц. Лондонский мост. В фиакре 283
93. Лондонские впечатления 287
94. Париж. Мейербер. Первые знакомства 292
95. Андерс. «Gazette Musicale» 294

96. Филолог Лерс. Директор Оперы Дюпоншиль.
Новые перспективы. Небольшие вещицы для пения.
Знаменитый певец Лаблаш 297
97. Мориц Шлезингер. Полина Виардо, Видман
и тенор Большой оперы Дюпон. «Два гренадера».
Девятая симфония Бетховена. Внутренний перелом 302
98. Искание протекций. Mont de piété 304
99. Тяжелые мытарства парижской жизни.
Художник Китц 308
100. Неиссякаюшая бодрость 311
101. Крах новых надежд 313
102. В фойе Большой оперы. Эдуард Моннэ
и Скриб. Непрерывная работа над «Риенци» 315
103. Нищета 318
104. Граф Кушелев. Передряги с издателями 320
105. Журнальные работы 322
106. Заказы Шлезингера. Окончание «Риенци» 324
107. Опера Доницетти «La Favorita». Нищета растет 326
108. «Паломничество к Бетховену» и «Коней одного
музыканта». Берлиоз. «Похоронная симфония» 330
109. Большой концерт, устроенный редакцией
«Gazette musicale». Провал 332
110. Под Новый год 334
111. От невозможного к непостижимому 337
112. Критическая статья о веберовском
«Фрейшютце». Лестное внимание Жорж Занд 339
113. Французская спекуляция на успехе
модных течений. Сотрудничество в «Вечерней газете» 340
114. «Europa» 343
115. Леон Пиллэ и «Летучий голландец» 344
116. Ни су в кармане 346
117. Фантастическая фигура из сказок Гофмана 348
118. Холодно и голодно 351
119. Лерс, Дидо и министр Вилльмен 354

120. Галеви 356
121. «Reine de Chypre» 359
122. Немецкая история. Фридрих II. Манфред. Фатима 362
123. Народное сказание о «Тангейзере».
«Лоэнгрин». Стремление вернуться в Германию 366
124. Принятие «Риенци» к постановке 369
125. Прощание с друзьями 370
Часть вторая 373
126. На немецкой границе. Horselberg.
Дрезден. Свидание с матерью 373
127. Берлин. Свидание с Мейербером.
Мендельсон. Лейпциг. У шурина Германа Брокгауза.
Двести талеров. Старый друг Апель 375
128. Генерал-директор Люттихау и капельмейстер
Райсигер. Davidchen. Веселые беседы за картошкой
с селедкой. Фердинанд Гейне. Предварительные
подготовки и постановка «Риенци». Купюры 378
129. Кюстнер. Старший брат Альберт. Пошлые условия
театрального быта. Пятнадцатилетняя падчерица
Иоанна. «Роза, как ты хороша». «Под дубом» 381
130. В богемских горах. На развалинах романтического
Шрекенштейна. Трехактная опера «Гора Венеры».
Шредер-Девриент. Рутина сознательно рассчитанных
эффектов. Разлагающее влияние театральной среды.
Мучительные занятия 383
131. Тихачек. Старый набросок. Недоверчивая супруга
капельмейстера. Репетиции «Риенци». Зильбергрош 388
132. Комбинированные спевки. Успех. Стакан вина
и ломоть хлеба. Канун первого представления. Человек,
которого ждет необыкновенная судьба 391
133. В партер-ложе. Переполненный театральный зал.
Бурные аплодисменты. Отчаяние. На следующий день.
Сокращения партитуры. Нагромождение музыкальных
невозможностей. Протест Тихачека 393
134. «Величие Риенци». «Падение Риенци». Зависть 398

135. Разрыв с рецензентами. Смерть Растрелли. «Летучий голландец». Баритон Вехтер. Мать Шредер-Девриент. Горячий разговор о музыке. Увертюра «Рюи Блаза». Рекламация бюргеровской «Леоноры» ... 401
136. Встреча с Францем Листом ... 405
137. Выяснившееся недоразумение ... 407
138. Сердечные тревоги в жизни Шредер-Девриент. «Летучий голландец» на сцене. «О, Боже, Вагнер, что вы наделали?» Успех великой артистки ... 409
139. Уменьшающийся приток публики. Причины успеха «Риенци». Балет ... 413
140. Дрезденский капельмейстер Его Величества ... 416
141. Торжественное заседание, присяга. На аудиенции у монарха. Тонкая критика «Летучего голландца» ... 419
142. Полоса забот. Кредиторы ... 421
143. Новая эра в местной журнальной критике. Дирижирование собственными произведениями. Огорчения Райсигера ... 423
144. Скрипач Карл Липинский. Фальшь и бесстыдство ... 426
145. Август Рёкель. Первое знакомство ... 429
146. Врач Антон Пузинелли. Мария фон Кенеритц. Ида фон Люттихау ... 432
147. Дрезденский Liedertafel. План перенесения праха Вебера из Лондона. Композиция для предстоящего празднества ... 435
148. Открытие памятника королю Фридриху-Августу. Хор для мужских голосов. Контрапунктический фокус Мендельсона. Стихотворный текст «Тангейзера». Создание прочной оседлости ... 437
149. «Германская мифология» Гримма. Смутная постройка из скудных обломков погибшего мира. В открытом экипаже ... 439
150. Нарядная капельмейстерская квартира. Библиотека ... 442

151. Постановка «Летучего голландца» в Берлине.
Взрыв горячего энтузиазма. Мендельсон 444
152. Второе представление «Летучего голландца».
После спектакля. Странный посетитель. Сцена
из фантастических рассказов Гоффмана 448
153. «Риенци» на гамбургской сцене.
Бенефисный подарок. Попугай 450
154. Клавираусцуги. Аранжировки 453
155. Денежные затруднения. Лист в уборной
Тихачека. Альвина Фромман... 454
156. Инсценировка «Армиды». Знаменитый
композитор и знаменитый рецензент. Хор нимф
в третьем действии.. 457
157. Рутина. Восьмая симфония Бетховена. Ритм вальса..... 459
158. «Пасторальная симфония».
Капельмейстер Морлакки 461
159. Король саксонский и император Николай.
Приветственная песня королю. Ярость Люттихау 462
160. Пильнитц. Веселые легионы певцов
и музыкантов. Королева. Эволюция с хором. Завтрак
на зеленых лужайках. Длинный человек с сухой,
жесткой физиономией 465
161. Спонтини, Мейербер и генерал Львов
на представлении «Риенци». «Весталка»............................... 468
162. Переговоры с Спонтини. Накануне генеральной
репетиции. Гордый старик с походкой
испанского гранда. Дирижерская палочка
с белыми пуговицами из слоновой кости 470
163. Спонтини у дирижерского пульта.. 472
164. Оркестровые концепции 475
165. Подчеркнутая резкость ритмического акцента.
Превосходная атмосфера. Страх альтистов. Два бледных
старца. Эдуард Девриент. Перемена декорации 479
166. Шредер-Девриент и Иоганна Вагнер.
Искусственные эффекты. Переигрывание 480

167. Интимные черты характера Спонтини 483
168. На постановке «Антигоны». Расчеты Спонтини.
Прощание с необыкновенным человеком 487
169. Генрих Маршнер 491
170. «Сон в ночь под Рождество». Творения Хиллера 495
171. Перенесение праха Вебера 498
172. На католическом кладбище. В роли оратора 502
173. Партитура «Тангейзера». Издание клавираусцуга 504
174. Препирательства по поводу
постановки «Тангейзера» 507
175. Первые неясные очертания «Мейстерзингеров».
Экскурсия в Эгер 509
176. Сомнения великой артистки 511
177. Состязание певцов. Концерт или
драматическое соперничество на почве поэзии?
Скупость инструментовки в оркестровом
аккомпанементе. «О, Солон, Солон!» 513
178. Миттервурцер 516
179. Иоганна Вагнер. Ожидание декораций 517
180. Калерис, племянница русского канцлера.
Издатель берлинской музыкальной газеты
К. Гайярд. Сестра книготорговца Фроммана
в Иене 519
181. Эскизная обработка роли Венеры. Трогательное
выступление Вольфрама. Тихачек в роли Тангейзера.
Хёрзельберг в красноватом тумане.
Неуспех постановки 521
182. Рецензенты. Печать 525
183. Земпер. Рёкель 527
184. Второе представление «Тангейзера» 528
185. Доктор Герман Франк. Проницательная статья
о «Тангейзере» на страницах большой
политической газеты. Разоблаченные репутации 530
186. Фердинанд Хиллер. Роберт Шуман. Текст,
скомбинированный по Геббелю и Тику 533

187. Директор картинной галереи Шнорр.
Знаменитый ваятель Хэнель. Ритшель.
Страстные споры с Земпером 536
188. Гуцков. Применение музыки
к мелодраматическим эффектам 538
189. Бертольд Ауэрбах. Зеленая куртка
и охотничья шапка. Аффектации швабского мужика........ 542
190. Еврей, который сердечно и искренно говорил
о своем еврействе. Мировая история как проблема
прославления иудаизма. Патетическая декламация.
Через много лет. Соприкосновение с лицами,
имеющими вес в мире искусства. Текст «Лоэнгрина» 543
191. Глубокая критика трагических
моментов «Лоэнгрина». «Штар неправ, Лоэнгрин прав» ... 545
192. Критическая и поэтическая отделка стихов.
История, саги и литература... 547
193. Вздохи королевского саксонского
капельмейстера 548
194. Постановка Девятой симфонии Бетховена 551
195. Генеральная репетиция 555
196. Комический случай. Услуги ростовщиков.
Ходатайство перед королем о ссуде 556
197. Луи Шпор 558
198. Отпуск на три месяца. Ганс фон Бюлов. Работа
над «Лоэнгрином» 560
199. «Ифигения в Авлиде». Режиссерские функции.
Жизненность драматического действия 562
200. Режиссерские функции. Жизненность
драматического действия. Салонные вечера
в доме Хиллера. Греческая литература. «История
немецкого драматического искусства»
Эдуарда Девриента 563
201. Отказ от прямого участия в делах дирекции театра.
План реорганизации музыкальной капеллы.
Напряженные отношения с Люттихау 566

202. «Дидаскалии» Дройзена. Яков Гримм.
«Исследования» Монэ. Окончание «Лоэнгрина» 569
203. Посвящение «Тангейзера» Фридриху Вильгельму IV.
Королевский музыкальный интендант граф Редерн.
План атаки на Берлин. Рекомендация
саксонской королевы. Хлопоты о личном
свидании с королем. Тик. 572
204. Постановка «Риенци» в Берлине.
Отчаянные усилия 576
205. Новые знакомства. Речи о возрождении
оперного жанра 577
206. Рухнувшее упование 581
207. Приятная неожиданность. Крест над всеми
берлинскими надеждами. Смерть Мендельсона 583
208. Угнетенное настроение 585
209. Опера Фердинанда Хиллера. Иллюзия успеха 587
210. Повышение оклада и отзыв Люттихау 589
211. Организация оркестровых концертов 590
212. Смерть матери 592
213. Близость политического переворота.
Энтузиазм Рёкеля. Симфония Мендельсона 593
214. Король и народные массы. Вена и Берлин.
Джесси Лоссо 597
215. Ход событий. Воззвание к немецким князьям
и народам. Франкфуртский парламент. Академический
легион во главе народа. «Немецкий союз»
и «Отечественный союз» 599
216. Перелом в характере Рёкеля. Статья
на политическую тему без подписи. На трибуне 602
217. Ужасающее впечатление 604
218. В Вене 605
219. Проект федеративного объединения театров.
Грильпарцер 608
220. На обратном пути через Прагу 610
221. Интриги Люттихау 612

222. Приезд Листа. Переговоры с кредиторами 615
223. Революционная карьера Рёкеля. Новый мировой порядок, воздвигнутый на учении Прудона 618
224. Основы организации театра. Министры и влиятельные члены парламента. Уединенные прогулки 619
225. Фридрих Барбаросса 621
226. Миф о Нибелунгах. Благодарственное чествование короля в Пильнице. Ужин после концерта. Чествование памяти Вебера 623
227. Общая тревога. Плакаты с воззваниями. «Красная республика». Толпа беглецов из Вены. «Товарищи». Декорация «Лоэнгрина» 625
228. «Смерть Зигфрида». Указания Девриента 628
229. Неуверенность реакции в своей полной победе. Объяснение с Люттихау 630
230. Вербное воскресение 1849 года. Оберфейерверкер 634
231. Михаил Бакунин 635
232. «Обезглавьте его!» 637
233. Антикультурная дикость и чистейший идеализм человечности 640
234. Приближение катастрофы. Вихрь депутаций, демонстрации толпы. Призыв к восстанию 642
235. Дрезденская революция. Бегство в Швейцарию 645
236. «Переговоры о перемирии...» 646
237. «На следующий день...» 653
238. «Когда мы вместе с Минной продвигались по направлению к горам в экипаже...» 656
239. «Я был до такой степени охвачен впечатлениями пережитого...» 668
240. Яков Зульцер и Франц Гагенбух 674
241. Париж. Встреча с старыми друзьями. Письма Минны 676
242. Цюрих 683

243. Заработки пером. «Искусство и революция» 686
244. Минна 689
245. Фейербах 691
246. Письмо из Бордо. Юлия Риттер 695
247. Опять Париж 698
248. В гостях у г-жи Лоссо 702
249. Романтические осложнения 706
250. Дело чести 710
251. Финал. Поездка в Цюрих 715

Эти воспоминания писаны в течение нескольких лет под мою диктовку другом и женой, просившей рассказать ей историю моей жизни. У нас обоих явилось желание сохранить их для семьи и для испытанных, верных друзей. Поэтому мы решили с целью обезопасить единственную рукопись от возможных несчастных случайностей отпечатать ее в небольшом числе экземпляров за наш счет. Так как ценность настоящей автобиографии заключается в ее неприкрашенной правдивости, которая одна только и сообщает ей определенный смысл и значение, и так как изображенные в ней события должны быть снабжены точным указанием имен и дат, то к опубликованию ее во всеобщее сведение можно будет приступить — если наши потомки этого пожелают — лишь спустя известный промежуток времени после моей смерти. В этом смысле я и намерен оставить завещание моим наследникам. Если же мы и теперь разрешили некоторым надежным друзьям заглянуть в эти записки, то лишь в полном убеждении, что встретим с их стороны искреннее участие, интерес ко мне лично и к перипетиям моей жизни. Это участие удержит их от оскорбительной для меня нескромности, от сообщения чего-либо из содержания моих мемуаров посторонним людям, от которых нельзя ждать такого же сочувствия и которым нет основания в такой же мере доверять.

Рихард Вагнер

Часть первая
1813–1842

1

Фридрих Вагнер. Страстный интерес к театру. Интимный друг дома Людвиг Гейер. Отчим. Живописный и актерский талант. «Вифлеемское избиение младенцев». Рихард Вагнер-Гейер

Я родился 22 мая 1813 года в Лейпциге, на Брюле, во втором этаже дома, носившего название «Красный и Белый Лев». Через два дня меня крестили в церкви Святого Фомы и нарекли Вильгельмом Рихардом.

Отец мой, Фридрих Вагнер, был в то время актуарием местной лейпцигской полиции и был на пути к тому, чтобы сделаться директором полиции. Но он умер в самый год моего рождения, в октябре месяце, заразившись нервной горячкой, эпидемически свирепствовавшей в Лейпциге. Его заболеванию способствовало переутомление от усиленных занятий, связанных с военными событиями того времени и с битвой под Лейпцигом. Дед мой со стороны отца, как я узнал впоследствии, жил в простой, мещанской обстановке и служил таможенным чиновником при Ранштэдтских городских воротах. В отличие от людей его круга, он постарался дать двум своим сыновьям высшее образование. Старший, Фридрих, мой отец, изучал в университете право, младший, Адольф, — богословие. Дядя впоследствии оказал значительное влияние на ход моего развития, с ним мы еще встретимся в один из важных моментов истории моей юности.

Как я узнал впоследствии, отец мой, так преждевременно умерший, очень любил поэзию и литературу. Особенный, почти страстный интерес возбуждал в нем театр, сильно занимавший тогда широкие круги образованного

общества. Матушка, между прочим, рассказывала мне, что на первое представление «Мессинской невесты» он нарочно ездил с ней в Лаухштедт. Там, в аллее, он показал ей Шиллера и Гёте, с энтузиазмом объясняя ей значение этих великих людей. Увлекаясь театром, он не чуждался и галантной страсти по отношению к артисткам. Матушка, шутя, жаловалась, что ей часто подолгу приходилось ждать его к обеду, в то время как он засиживался у одной знаменитой тогда актрисы. Когда она бранила его за это, он оправдывался тем, что его задержали дела, и в подтверждение показывал запачканные чернилами руки. Однако при ближайшем рассмотрении руки оказывались обыкновенно совершенно чистыми.

В выборе близкого друга дома, актера Людвига Гейера, тоже сказалась большая склонность отца к театру. Впоследствии Людвиг Гейер сыграл в нашей семье роль великодушного благодетеля. Этот скромный артист принял живейшее участие в судьбе многочисленного потомства неожиданно умершего отца моего и весь остаток своей жизни всецело посвятил поддержке нашей семьи и воспитанию всех детей, еще раньше, когда полицейский актуарий проводил вечера в театре, этот прекрасный человек часто занимал его место в нашем кругу, и ему нередко приходилось утешать мою мать, жаловавшуюся — не знаю, справедливо или нет, — на легкомысленное поведение своего мужа. В этом бездомном, одиноком артисте, которого судьба швыряла из стороны в сторону, жила такая глубокая потребность в семейном уюте, что через год после смерти своего друга он женился на его вдове и стал, таким образом, заботливым отцом его семерых детей.

Обстоятельства помогли ему выполнить эту трудную задачу. Его личное положение неожиданно значительно изменилось к лучшему. Вновь открытый Дрезденский королевский театр пригласил его на так называемые характерные

роли на очень выгодных, почетных и прочных условиях. Он, несомненно, обладал талантом к живописи. В юности это дарование уже однажды сослужило ему службу, когда по недостатку средств он принужден был бросить университет. Теперь, в его новом положении, этот талант оказался ему очень полезным. Правда, лучше своих критиков он хорошо сознавал, что ему не хватало школы, правильной и систематической выучки. Но несомненное, выдающееся дарование портретного живописца, умение схватывать сходство доставило ему такие значительные заказы, что он был завален работой. В конце концов напряженный труд в двух отраслях артистической деятельности слишком рано надорвал его силы. Однажды в Мюнхене, приглашенный на гастроли в придворный театр, он по лестной аттестации саксонского двора получил такую массу заказов из королевской семьи, что принужден был прервать гастроли и даже совершенно от них отказаться. Но он обладал и поэтическим талантом. Так, он написал несколько театральных пьес по заказу в довольно гладких стихах. Одна из них, «Вифлеемское избиение младенцев», в рифмованных александрийских стихах, часто ставилась на сцене, была напечатана и заслужила сочувственный отзыв Гёте.

На втором году моей жизни мы всей семьей переселились с отчимом в Дрезден. Этот превосходный человек, которому матушка моя родила еще одну дочь, Цецилию, занялся с величайшими любовью и заботливостью и моим воспитанием. У него было намерение усыновить меня вполне. С этой целью, отдавая меня впервые в школу, он определил меня туда под своей фамилией. Таким образом, мои дрезденские товарищи детства знали меня до четырнадцати лет под именем Рихарда Гейера. Лишь впоследствии, через несколько лет после смерти отчима, когда семья наша переселилась обратно в Лейпциг, я вновь принял на старой родине, там, где находились все близкие мне люди, имя Вагнера.

2

Ранние воспоминания. Мольберты и картины. Наивная пачкотня красками. «Таинственная театральная ложа». Ангел, зашитый в трико. Сахарный крендель. «Menschenhass und Reue»

Самые ранние мои воспоминания детства связаны с отчимом и, через него, с театром. Самому ему — я отчетливо помню это — очень хотелось найти и развить во мне талант к живописи. Его рабочая комната с мольбертами и картинами на них действительно оказала на меня известное влияние. Вспоминаю, что однажды я пытался из детской подражательности скопировать портрет саксонского короля Фридриха Августа. Однако, как только дело перешло от наивной пачкотни к серьезным занятиям рисованием, я не выдержал: очень может быть, что меня отпугнул тут педантизм моего учителя, невыносимо скучного человека.

В самом раннем, нежном детстве я был долго и серьезно болен. Болезнь эта настолько истощила меня, что, как рассказывала впоследствии матушка, она считала меня совершенно погибшим и почти желала моей смерти. И все-таки, к удивлению моих родителей, я выздоровел. Вот при этих-то условиях отчим проявил по отношению ко мне поистине редкую заботливость и участие. Не падая духом, несмотря на тяжкие и постоянные заботы о семье, не отчаиваясь ни минуты, он не терял терпения, не отказывался от надежды вновь поставить меня на ноги.

Раннее знакомство с театром сильнейшим образом влияло на мое воображение. Действовали на меня, конечно, и таинственная театральная ложа со входом и выходом на сцену, и уборная актеров с их фантастическими костюмами, с их характерными приспособлениями для грима, и театральные машины, и аппарат декораций.

Но этим не исчерпывалась моя столь ранняя связь с театром. Скоро я стал не только зрителем, но и прямым участником театральных представлений в качестве «актера». После того как целый ряд мелодрам вроде «Сирота и убийца» и «Два каторжника», в которых мой отчим играл роли злодеев, наполнили мою душу ужасом и трепетом, я сам выступил на подмостках в нескольких комедиях. Помню, в честь возвращенного из плена короля саксонского ставили «Виноградник у Эльбы» с музыкой капельмейстера К. М. фон Вебера. В этой пьесе я принимал участие в живой картине, где изображал ангела, весь зашитый в трико, с крыльями за спиной, ангела, стоящего в грациозной позе, которую я заучил и усвоил с немалым трудом. Это событие связано у меня в воспоминании с большим сахарным кренделем. Меня уверяли, что этот крендель — подарок от самого короля специально мне. Помню затем, что в пьесе Коцебу «Menschenhass und Reue» я исполнял детскую роль, в которой было уже несколько слов. В школе, не приготовив урока, я сослался на то, что был очень занят заучиванием на память большой роли в пьесе *Menschen ausser der Reihe*.

3

Деревня Поссендорф. Пастор Ветцеле. Робинзон, Моцарт, греки. «Нет ли у него таланта к музыке»? Смерть Людвига Гейера. Поссендорф прежде и теперь

Насколько серьезно отец относился к моему воспитанию, видно из того, что, когда мне минуло шесть лет, он отвез меня к одному пастору в деревню Поссендорф, возле Дрездена, где вместе с другими мальчиками из хороших семей под его руководством я должен был получить прекрасное, трезвое и здоровое воспитание. Там я пробыл недолго. Но к этому времени относится воспоминание

о некоторых детских впечатлениях. По вечерам пастор рассказывал нам историю Робинзона и сопровождал свои рассказы превосходными поучениями в форме диалогов. Большое впечатление произвело на меня чтение биографии Моцарта, а газетные и календарные известия того времени о ходе Греческой войны за освобождение действовали на меня необыкновенно возбуждающим образом. Моя любовь к Греции, выразившаяся впоследствии в восторженном интересе к мифологии и истории Древней Эллады, связана, таким образом, с одухотворенным и болезненным отношением к событиям, мне современным. Помню, как уже впоследствии, изучая историю войн греков с персами, я переживал точно такие же ощущения, какие переживал в юности, слыша разговоры о восстании греков против турок.

Мое пребывание у пастора длилось почти год. Однажды прибыл посланец с известием, что отец мой при смерти и что меня зовут домой, в Дрезден. Трехчасовой путь до города мы совершили пешком, и это путешествие настолько меня утомило, что вид убитой горем матери почти не произвел на меня тогда никакого впечатления. На следующий день меня допустили к постели отца. Его крайняя слабость, затрудненная речь, все последние отчаянные меры борьбы с острыми припадками грудной жабы — все это скользило по мне, как во сне. Думаю, что угнетенное состояние было во мне так сильно, что я не мог даже и плакать. Матушка позвала меня в соседнюю комнату и, желая немного развлечь больного, просила показать, чему я научился играть на рояле. Я сыграл *Ub'immer Treu' und Redlichkeit*, и отец сказал по этому поводу: «Нет ли у него в самом деле таланта к музыке?»

На следующий день ранним утром матушка вошла к нам в большую детскую и, обходя наши постели, плача,

сообщила, что отец умер. Для каждого у нее нашлось несколько слов благословения от его имени. Мне она сказала: «Из тебя он хотел сделать человека». После обеда прибыл пастор Ветцель и взял меня опять с собой в деревню. Мы снова пошли пешком и дошли до Поссендорфа уже к вечеру. По пути я много расспрашивал его о звездах, и он дал мне тогда о них первое ясное представление. Через неделю приехал на похороны из Эйслебена брат покойного. Он обещал вновь оставшейся без всяких средств семье нашей посильную поддержку и взял на себя дальнейшую заботу о моем воспитании. Я простился с товарищами и с добрым пастором. Прошло некоторое время, и мне опять пришлось посетить Поссендорф, но уже для участия в похоронах пастора Ветцеля. Только много лет спустя, в одну из экскурсий, которые, будучи уже дрезденским капельмейстером, я предпринимал пешком далеко в глубь страны, я опять заглянул в Поссендорф и очень огорчился, не найдя старого пасторского дома. На его месте была возведена более пышная постройка в современном духе. Мне было так больно видеть это, что впоследствии я уже не предпринимал более ни одной прогулки в эту сторону.

4

Эйслебен. Бабушка. Красногузки. Магистр Вейсс

Дядя отвез меня на этот раз в Дрезден в экипаже. Матушку и сестер я нашел в глубоком трауре. Помню, я был в первый раз встречен с нежностью, необычайною вообще в нашей семье. С такой же нежностью простились со мной, когда через несколько дней дядя отвез меня к себе в Эйслебен. Там этот младший брат моего отчима был золотых дел мастером, одного из моих старших братьев, Юлиуса, он уже ранее взял к себе в ученики.

Он был холост, и у него жила старая бабушка. От нее, уже близкой к смерти, утаили кончину ее старшего сына и мне внушили как-нибудь не проговориться. Служанка бережно сняла траурный креп с моего платья и объяснила, что он скоро пригодится, когда умрет бабушка. Бабушка часто расспрашивала меня об отце. Мне нетрудно было сохранить секрет, так как и сам я не отдавал себе во всем этом ясного отчета. Жила она в темной задней комнате, выходившей на узкий двор, и держала у себя порхавших на свободе красногузок — несколько всегда свежих зеленых ветвей были укреплены для них у печи. Когда однажды кошка передушила ее птичек, мне посчастливилось поймать для нее в силок несколько новых. Она этому чрезвычайно радовалась. В награду я был всегда чисто и опрятно одет. Скоро старушка умерла. Траурный креп был опять водворен на моем платье, и я его открыто носил по Эйслебену. Темная комнатка с красногузками и зелеными ветвями у печки потеряла для меня прежний интерес. Скоро я сошелся с семьей мыловара, владельца того дома, где мы жили. Там любили слушать мои рассказы. Меня поместили в частное училище некоего магистра Вейсса, человека серьезного и достойного. Я был глубоко тронут, когда в конце пятидесятых годов прочел в одной музыкальной газете отчет о концерте в Эйслебене с отрывками из «Тангейзера», в котором принял участие старый учитель, не забывший о своем ученике.

5

Базарная площадь. Акробаты. С шестом в руках. Духовой оркестр гусарского полка. «Фрейшютц». «Девичий венок». Дядя Адольф. Пожилая девица Жанетта Томэ. В королевских залах. Кошмарные видения. Среди груды книг. «Parnasso Italiano». Гете

Старинный маленький городок с домом Лютера и многочисленными следами его здешней жизни снился мне

не раз спустя уже много времени после всего этого. Во мне всегда теплилось желание еще раз посетить его, чтобы проверить отчетливость своих воспоминаний, и удивительно, что мне это так и не удалось ни разу. Мы жили на базарной площади, что давало мне возможность присутствовать при интересных зрелищах. Здесь я много раз видел представления труппы акробатов, ходивших по натянутому через площадь из конца в конец канату. Это вызвало во мне страсть к такого рода фокусам. И я научился-таки довольно ловко с шестом в руках передвигаться по скрученному из веревок канату, протянутому у нас во дворе. Еще и доныне во мне живет склонность к акробатическим упражнениям.

Наибольшее удовольствие доставлял мне, однако, духовой оркестр квартировавшего в Эйслебене гусарского полка. Особенным успехом пользовалась у публики часто исполнявшаяся в то время новинка: это был «Хор охотников» из «Фрейшютца», оперы, тогда впервые поставленной в Берлине. Дядя и брат живейшим образом расспрашивали меня о композиторе этой оперы, Вебере, которого я неизбежно должен был видеть в доме моих родителей, в Дрездене, где Вебер служил тогда капельмейстером. Кроме того, в то время в одной знакомой семье часто играли и пели «Девичий венок». Обе эти пьесы совершенно оттеснили на задний план «Ипсиланти-вальс», который до того момента был для меня неподражаемым образцом музыкального творчества. Вспоминаю многочисленные сражения с толпами местных мальчишек: я носил тогда четырехугольную шапку, дававшую постоянный повод дразнить меня. Затем в памяти моей живы впечатления от необычайных похождений в скалах на берегу реки Унштрут.

Когда мой дядя женился и основал свой собственный семейный очаг, его отношение к нашей семье, по-видимому,

сильно изменилось. Через год он отвез меня в Лейпциг и передал на попечение родным моего отца (Вагнера). Это были дядя Адольф, живший вместе с сестрой своей, моей теткой, Фредерикой Вагнер. Вот с какого момента этот интересный человек, впоследствии оказавший на меня большое и все усиливавшееся влияние, впервые ясно выступает в моем сознании вместе с необыкновенной своей обстановкой.

Он и тетка были в очень тесных, дружеских отношениях с одной чрезвычайно странной пожилой девицей, Жанеттой Томэ, владелицей большого дома на рынке, в котором — если не ошибаюсь — два главных этажа издавна, со времени Августа Сильного, снимались саксонской королевской фамилией и были соответственным образом обставлены. Здесь была ее резиденция при посещениях Лейпцига. В личном распоряжении Жаннетты Томэ был, насколько я знаю, лишь второй этаж с небольшой квартирой, выходившей на двор. Но так как король проводил обыкновенно в Лейпциге всего лишь несколько дней в году, то Жаннетта с близкими ей людьми жила постоянно в великолепных королевских залах. В одной из таких роскошных комнат для меня поставили кровать. Обстановка этих комнат сохранилась еще со времен Августа Сильного.

Богатая мебель рококо, обитая роскошной тяжелой шелковой материей, сильно пострадала от времени. Я превосходно чувствовал себя в этих больших, фантастических залах, из окон которых видна была оживленная лейпцигская базарная площадь. Особенно любовался я многолюдными толпами студентов в их старонемецких земляческих костюмах. Одно только заставляло меня страдать в этих салонах: многочисленные портреты дам в фижмах с молодыми лицами и белыми (напудренными) волосами. Они казались мне привидениями, которые, когда я оставался один в этих комнатах, оживали и наполняли

меня великим ужасом. Спать в одной из отдаленных комнат, на парадной старинной кровати, вблизи таких портретов было для меня сущим мучением. От тетки я, конечно, старался скрыть свой страх, когда вечером со свечой в руке она отводила меня спать. Но не проходило ни одной ночи без того, чтобы, купаясь в холодном поту, я не мучился ужаснейшими кошмарными видениями.

Личные особенности трех обитателей этого этажа способствовали как нельзя более тому, чтобы эти впечатления отлились в сказочные формы. Жаннетта Томэ была очень маленькая и толстая, носила светлый пышный парик и, казалось, продолжала жить в атмосфере старинной изысканности. Ее преданный, заботливый друг — моя тетка, тоже старая дева — была длинна и очень худа. Ее вообще приветливому лицу придавал оттенок фантастичности необыкновенно острый подбородок. Рабочий кабинет дяди Адольфа помещался особо, в темной комнате, во дворе. Здесь я увидел его в первый раз среди груды книг, в невзрачном домашнем костюме, со странной высокой остроконечной войлочной шапкой на голове: точно такую же шапку я видел в Эйслебене на голове паяца в труппе акробатов.

В это странное убежище дядю загнало непреодолимое стремление к самостоятельности. Когда-то он изучал теологию, но скоро оставил ее и посвятил себя всецело изучению филологии. При решительном отвращении к профессорской или учительской деятельности он издавна кое-как поддерживал свое существование литературными работами. По натуре человек общительный и живой, обладая, кроме того, красивым тенором и живо интересуясь театром, он в юности был небезызвестен как беллетрист и имел широкий круг знакомых в Лейпциге. Будучи однажды в Вене, где вместе с каким-то своим товарищем принял участие в одном из местных музыкально-декламаторских

вечеров, он посетил Шиллера. Для этого посещения он запасся полномочием Лейпцигской театральной дирекции, желавшей приобрести недавно законченного «Валленштейна». Мне он впоследствии рассказывал о том глубоком впечатлении, какое произвел на него Шиллер с его высокой стройной фигурой и непреодолимо подкупающим взглядом голубых глаз. Рассказывая об этом, он жаловался лишь на неприятное и нелепое положение, в какое поставил его один из его друзей, имевший, впрочем, самые невинные намерения. Он заранее доставил Шиллеру тетрадь стихов Адольфа Вагнера, и молодой поэт должен был выслушивать дружеские похвалы, сознавая в глубине души, что ими он обязан исключительно его великодушию.

Впоследствии он специально отдался изучению филологии. Одной из известнейших его работ в этой области был изданный им *Parnasso Italiano*[1]. Сочинение это он поднес Гёте со стихотворным посвящением, написанным по-итальянски. Знатоки говорили, что в смысле языка это было нечто совершенно неупотребительное и тяжеловесное. Гёте, однако, ответил признательным прекрасным письмом и прислал ему на память один из своих серебряных кубков. На меня, восьмилетнего мальчика, этот человек со всей его обстановкой произвел загадочное, жуткое впечатление.

6

Сестра Розалия. Гимназия св. Креста. Матушка. Воспитание в институте. Веймарский принц. Забавный юмор и хорошее настроение духа. Патетический тон. Ненависть к театру. Речи о Боге

Среди этих людей я пробыл недолго: через несколько дней меня отвезли к нашей семье в Дрезден. Там за это

[1] «Итальянский Парнас» (*ит.*).

время благодаря стараниям моей, теперь одинокой, матери мы кое-как устроились. Мой старший брат (Альберт), изучавший раньше медицину, поступил по совету Вебера, открывшего у него голос (тенор), на сцену в Бреслау. За ним по тому же пути пошла моя вторая сестра (Луиза), которая тоже посвятила себя театру, в качестве актрисы. Старшая, Розалия, уже раньше собственными силами достигла почетного положения в Дрезденском королевском театре и отныне стала центром оставшейся части нашей семьи и ближайшей опорой, отягченной заботами матери. Я нашел их в той же большой и приятной квартире, которую устроил и обставил отец. Только несколько лишних комнат сдавались внаем. Одно время жильцом у нас был Шпор. Благодаря необычайной энергии матушки и некоторой помощи извне (двор продолжал оказывать нам свое благосклонное внимание в память отчима) наша семья добилась сносного положения, и мое воспитание, таким образом, не было заброшено.

После того как и третья сестра (Клара), у которой обнаружился необыкновенно красивый голос, посвятила себя сцене, матушка стала усиленно опасаться за меня, боясь, чтобы и во мне не открылась склонность к театру. Она всегда упрекала себя за то, что согласилась на театральную карьеру моего старшего брата. Так как второй брат не обнаруживал никаких особенных способностей, кроме тех, которые необходимы для золотых дел мастера, матушке оставалось надеяться, что мечты отчима сделать из меня человека оправдаются. Когда мне минуло полных восемь лет, меня определили в гимназию Святого Креста в Дрездене: мне хотели во что бы то ни стало дать серьезное образование. Там я поступил в низшую группу самого последнего класса и начал с азов прохождение курса наук. Матушка следила с величайшим участием за малейшими проявлениями во мне духовной живости и каких-либо дарований.

Все, знавшие мою матушку, считали ее замечательной женщиной. При полном отсутствии сколько-нибудь основательного, законченного воспитания в ней своеобразно сочетались черты подвижной домовитости с чертами большой духовной чуткости. О своем происхождении она ни одному из детей не сообщила сколько-нибудь полных сведений. Родом была она из Вайссенфельса, и, по ее словам, родители имели там булочную. Даже девичье свое имя она произносила с непонятным смущением, называя себя Пэртес, тогда как в действительности, как нам удалось выяснить, ее называли Берц. Несколько странным являлось и то, что в детстве ее поместили в одно из лучших, избраннейших учебных заведений в Лейпциге, где о ней заботился какой-то «высокопоставленный друг» ее отца. Впоследствии она сама рассказывала, что это был веймарский принц, оказавший ее семье в Вайссенфельсе серьезные услуги. Ее воспитание в институте было прервано его внезапной смертью.

Молоденькой девушкой она познакомилась с моим отцом. Он тоже был тогда еще очень молод, но уже самостоятелен и занимал какое-то место — и они повенчались. Главной чертой ее характера был, по-видимому, забавный юмор и всегда хорошее настроение духа — надо думать, что не одно только сочувствие к участи семьи умершего друга побудило Людвига Гейера жениться на его вдове, тогда не совсем уже молодой женщине: тут была, вероятно, настоящая сердечная склонность.

На портрете, писанном с нее Гейером еще при жизни первого мужа, она изображена очень красивой. В моей же памяти с тех пор, как я могу отдать себе в этом отчет, она представляется мне с чепцом на голове вследствие постоянных головных болей. У меня не сохранилось никакого воспоминания молодого и привлекательного облика моей матери. Постоянные заботы о детях (я был седьмым по счету), трудности, связанные с удовлетворением наших

разнообразных нужд, желание при очень ограниченных средствах сохранять приличную во всех отношениях внешность — все это были условия, при которых не могла проявиться ее мягкая, материнская нежность. Не помню, чтобы она когда-нибудь меня приласкала, да и вообще в нашей семье не были в ходу нежные излияния. Напротив, обычными были небрежные, почти тяжелые, резкие отношения друг к другу. Неудивительно, что у меня запечатлелось в памяти целым событием, как однажды вечером, когда меня сонного отнесли в постель и я сквозь слезы взглянул на мать, она посмотрела на меня с любовью и бывшему у нас тогда гостю сказала несколько ласковых слов обо мне.

О великом и прекрасном в искусстве она любила говорить почти в патетическом тоне, с удивительной горячностью. Помню, что это производило на меня особенно сильное впечатление. Но в таком тоне она говорила отнюдь не о театральном искусстве, а только о поэзии, музыке и живописи: она грозила чуть не проклятием, если я когда-нибудь займусь театром. При этом она была очень религиозна. Нередко произносила перед нами в патетическом тоне длинные, похожие на проповеди речи о Боге, о божественном в человеке. В самый разгар таких речей она зачастую, внезапно изменив тон, делала тому или другому из нас в шутливой форме внушение.

Со времени смерти отчима мы каждое утро собирались вокруг маминой постели: здесь, лежа, она обыкновенно пила свой утренний кофе, не ранее, однако, чем по прочтении кем-либо из нас молитвы по молитвеннику. Выбор молитвы не играл обыкновенно никакой роли, пока однажды сестра Клара не прочла по недосмотру с большим чувством молитву «О спасении воинов на войне». Матушка прервала ее со словами: «Да перестань же! Прости меня, Господи, грешную, но ведь никакой войны у нас сейчас нет!»

7

Интересные знакомства. Пикники, прогулки. Карл Мария фон Вебер. Кукольный театр. Рыцарская драма. «Ich hore schon den Ritter trabsen!» Эмоция ужаса. Склонность к таинственному. Волнующая дымка театральных впечатлений. Нежные детали артистического гардероба. Жуткое сердцебиение. Среди женщин

Жилось нам, таким образом, трудно. Тем не менее от времени до времени по вечерам, когда случались гости, бывало и у нас весело. Мне, мальчику, эти вечера казались прямо блестящими. После смерти отчима, доходы которого как портретиста достигали значительных для того времени размеров, у нас сохранились кое-какие приятные знакомства с людьми, принадлежащими к лучшим классам общества. Эти знакомые не забывали нас. Кроме того, члены придворного Дрезденского театра, с которыми мы поддерживали отношения, представляли собой круг приятных, живых и интересных людей, о которых впоследствии в Дрездене не сохранилось никаких воспоминаний. Особенно охотно устраивали мы пикники, прогулки по прекрасным окрестностям города, и на этих прогулках царило обыкновенно товарищеское артистическое оживление.

Помню одну такую прогулку в Лошвиц. Мы устроили там своего рода цыганскую палатку, и Карл Мария фон Вебер исполнял у нас функцию повара. Дома у нас, кроме того, музицировали: сестра Розалия играла на рояле, Клара начала тогда петь. Ставились и домашние спектакли. В те времена было в обычае устраивать такие спектакли в виде сюрприза ко дню рождения одного из родителей, и предприятия эти были связаны с большими приготовлениями. Вспоминаю, что в одном из таких спектаклей принимал участие и я.

Ставилась пародия на «Сафо» Грильпарцера, и я был в хоре уличных мальчишек, шедшем за триумфальной колесницей Фаона. Это представление освежается у меня воспоминанием о превосходном кукольном театре, оказавшемся среди вещей моего покойного отчима. Театр был снабжен прекрасными декорациями, написанными им самим. У меня явилась мысль поразить домашних блестящей инсценировкой какой-нибудь пьесы. Вырезав из дерева несколько нелепых кукол, я сшил им разнообразные костюмы из украденных у сестер лоскутков и приступил к сочинению рыцарской драмы, все роли которой должны были исполняться куклами. Когда я набросал первую сцену, сестры нашли рукопись и жесточайшим образом высмеяли меня. Одну фразу испуганной героини: «*Ich höre schon den Ritter traben*»[2] — они, к моему величайшему огорчению, любили патетически цитировать при каждом удобном случае.

Интерес к театру, к которому наша семья и теперь стояла очень близко, воскрес во мне с новой силой. Особенно действовал на мою фантазию «Фрейшютц», главным образом своим сказочным сюжетом. Страх перед привидениями и вообще эмоция ужаса играли серьезную роль в развитии моего душевного строя. С самого раннего детства все необъяснимое, таинственное производило на меня чрезвычайное действие. Припоминаю, что даже неодушевленные предметы, как мебель, нередко пугали меня: если я долго оставался один в комнате и сосредоточивал на них свое внимание, то начинал вдруг кричать от страха, так как мне начинало казаться, что эти предметы оживают. До самой моей юности не проходило ни одной ночи, чтобы меня не посетили во сне привидения, и чтобы я не просыпался с ужасным криком. Я не переставал кричать

[2] «Я уже слышу, как рыцарь бежит рысью» (*нем.*).

до тех пор, пока чей-нибудь человеческий голос меня не успокаивал. Самая жестокая брань и даже побои являлись для меня тогда лишь благодеянием, освобождая от невыразимого ужаса. Никто из моих сестер и братьев не хотел спать вблизи меня, и меня укладывали как можно дальше от других, не соображая, что крики о помощи становились от этого только громче и продолжительнее. В конце концов к ночным скандалам все-таки привыкли.

В связи с этой склонностью к таинственному находилось и увлечение театром. Меня притягивали к себе сцена, кулисы, уборная, но не для развлечения и интересных разговоров, как это бывает с обыкновенной театральной публикой. Меня привлекало волнующее общение с элементом, ничего общего не имеющим с обыденной жизнью, соприкосновение с до ужаса интересным миром живой фантазии. Какая-нибудь декорация, или даже часть декорации, кулиса, изображающая куст, какой-нибудь костюм, или даже одна характерная деталь такого костюма производили на меня нередко впечатление чего-то, принадлежащего к иному миру, и казались мне, таким образом, привидениями. Все это переносило меня из равнодушной действительности и повседневной рутины в демонический мир очарований.

Таким образом, все, что имело отношение к театральным представлениям, было для меня окутано таинственной дымкой, опьяняло дух. Я с увлечением играл с детьми моего возраста «Фрейшютца», всецело отдаваясь при этом нелепому раскрашиванию курьезных костюмов и масок. Прикосновение к отдельным нежным частям театрального гардероба моих сестер, исправлением которых часто бывали заняты в нашей семье, производило тонкое, возбуждающее действие на мою фантазию. Иногда такое прикосновение в состоянии было вызвать у меня сильнейшее, жуткое

сердцебиение. Несомненно, на развитие во мне ощущений такого характера сильно влияло то обстоятельство, что я рос исключительно среди женщин, хотя, как я уже говорил, нежные и сентиментальные чувства не были в ходу у нас в семье. Может быть, однако, именно потому что меня окружала такая беспокойная, несколько даже резкая атмосфера, всякие атрибуты женственности, в особенности если они были связаны с фантастическим театральным миром, болезненно привлекали и волновали меня.

8

Школа, учителя и товарищи. Греческая мифология. Успехи на поприще филологии. Зиллиг. Способность к декламации. Надгробное слово в восьмистрочных стансах. «Мне предназначено быть поэтом». Первые юношеские концепции

К счастью, в противовес этим фантастическим настроениям, полным то ужаса, то порывов нежности, школа, ее учителя и товарищи действовали на меня в совершенно противоположном смысле: это было серьезное и укрепляющее влияние. Однако и здесь я охотно воспринимал только то, что задевало мою фантазию. Были ли у меня способности к наукам, не могу судить. Говоря вообще, я быстро, почти не учась, усваивал то, что живо меня интересовало, а к тому, что не задевало моего воображения, я не пытался даже проявить настоящего прилежания. Яснее всего это сказалось в арифметике, позднее в математике: мне никогда не удавалось заставить себя как следует обдумать условия какой-нибудь задачи. И в изучении древних языков я проявлял усердие лишь настолько, насколько это нужно было, чтобы уловить смысл прочитанного, характеристические черты какого-нибудь предмета. В этом смысле меня больше привлекал греческий язык, так как образы греческой мифологии положительно

приковывали к себе мою фантазию, и мне хотелось, чтобы ее герои говорили со мною на родном для них языке: таким путем я надеялся дать удовлетворение страстному желанию совершенно войти в их мир.

Само собой разумеется, что при этих условиях собственно грамматика как наука меня вовсе не интересовала, а, напротив, только мешала мне. Что в моих занятиях древними языками я не сделал особенно глубоких успехов, видно из того, с какой легкостью я впоследствии их забросил. Лишь много времени спустя я действительно серьезно заинтересовался языкознанием вообще, когда познакомился с *физиологически-философской* разработкой этой науки, как поставлена она нашими новыми германистами, последователями Якоба Гримма. Но тогда было уже поздно основательнее заняться этим предметом, хотя он и стал мне так мил, и мне остается только пожалеть, что новый метод изучения языков не применялся в дни моей юности в наших гимназиях.

Тем не менее мои успехи на поприще филологии обратили на себя особенное внимание одного молодого учителя в гимназии Святого Креста, магистра Зиллига. Он разрешил мне приходить к нему почаще и приносить на просмотр работы, заключавшиеся в метрических переводах и в собственных поэтических произведениях. Особенно, по-видимому, полюбил он меня за мои способности к декламации. Насколько он меня высоко ценил в этом отношении, видно из того, что мне, двенадцатилетнему мальчику, он доверил произнесение с кафедры не только «Прощания Гектора с Андромахой» из Илиады, но и знаменитого монолога Гамлета.

В то время — я был тогда в четвертом классе — умер у нас внезапно ученик по имени Штарке. Это печальное событие до такой степени возбудило общее сочувствие, что не только весь класс должен был принять участие в похоронах

товарища, но ректор, кроме того, поручил нам написать стихотворение по этому случаю: это стихотворение должно было быть прочитано на могиле товарища и напечатано. Поданные стихотворения, и между ними мое, написанное торопливо, наспех, оказались, однако, по мнению ректора, настолько не заслуживающими особенного внимания, что он уже отказался было от своего первоначального плана и решил выступить сам с надгробным словом. Огорченный, я разыскал поскорее магистра Зиллига, чтобы упросить его походатайствовать перед ректором в пользу моего стихотворения. Мы просмотрели его вместе снова. Красиво построенные, хорошо срифмованные восьмистрочные стансы понравились ему по своей форме, и это заставило его вникнуть в их содержание. Стихотворение было полно высокопарных образов, совершенно не подобающих мальчику моего возраста. Помню, там было место, написанное под большим влиянием монолога из аддисоновского «Катона», где речь идет о самоубийстве. Нашел я этот монолог в одной английской грамматике. Слова: «и если б солнце почернело от старости, и звезды, усталые, упали на землю», слишком напоминавшие упомянутый монолог, вызвали на лице Зиллига почти обидную усмешку. Однако благодаря его стараниям и быстроте, с какой он очистил стихотворение от подобных украшений, я добился того, что оно было все-таки принято ректором, отпечатано и роздано в большом количестве экземпляров.

Результат этого успеха был необыкновенный как в среде моих товарищей, так и в моей семье. Матушка набожно сложила руки, а я в ясном свете увидел свое призвание. Не было более сомнения, что мне предназначено быть поэтом. Магистр Зиллиг стал ждать от меня большого эпического стихотворения и в качестве материала предложил воспользоваться битвой у Парнаса в изложении Павсания. Его побудило к этому выбору рассказанное у Павсания

предание, по которому сами музы помогли союзным грекам против разбойного набега галлов во II столетии до Рождества Христова: они сошли с Парнаса и нагнали панический ужас на врагов.

И я действительно начал героическую поэму в гекзаметрах, но не пошел дальше первой песни. Мои познания в греческом языке не ушли еще так далеко, чтобы я мог справляться с греческими трагиками в оригинале. Но меня соблазнило знакомство с блестящими подражателями греков, превосходно усвоившими их форму. Прекрасные образцы этого рода я нашел случайно среди поразительных работ Августа Апеля, именно в его *Polyidos* и *Die Aitolier*, и я даже решил сочинить трагедию по греческому образцу. Темой я выбрал смерть Одиссея по рассказу Гигина, согласно которому герой был убит собственным сыном, прижитым от Калипсо. Но и в этой работе я не пошел дальше самого начала.

9

Привязанности. Семья Бэме. Влияние женского элемента. Амалия Гоффман. На руках у девушек. Поездка в Прагу. Ломаный немецкий язык, странные головные уборы. Сестра Оттилия. Семья графа Пахта. Рассказы Гоффмана

Теперь понятно, что то направление, которое принял мой ум, не имело ничего общего с сухими школьными занятиями. Греческая мифология, поэтические сказания и, наконец, история были единственными предметами, меня привлекавшими. В жизни я был мальчик подвижный, поддерживал живое общение с товарищами и любил всевозможные похождения и приключения. Я всегда был связан страстной дружбой с кем-нибудь из товарищей. Привязанности эти часто менялись, и в выборе друга играло главную роль его сочувствие моим фантастическим стремлениям. То это было сочинительство и стихотворство,

то театральные предприятия, то скитания по окрестностям, то любовь к веселым проказам.

Кроме того, когда мне минуло тринадцать лет, положение наше значительно изменилось: сестра Розалия, ставшая с некоторого времени главой и кормилицей семьи, получила выгодный ангажемент в Прагу, и матушка с сестрами в 1826 году переселились туда вместе с ней, ликвидировав все дела в Дрездене. Меня оставили одного до окончания гимназии Святого Креста и поступления в университет и поместили на полном пансионе в семью Бёме. С сыновьями Бёме я был дружен по школе и еще раньше охотно бывал у них. Пребывание здесь совпало с наступлением моего юношеского периода. Небогатая и несколько шумная, семья Бёме вела себя не особенно строго. Здесь нечего было искать покоя и тишины для занятий, недоставало и смягчающего, фантастического влияния моих сестер. Началось беспорядочное, шумное существование с борьбой и драками. Влияние нежного женского элемента сказывалось и тут, но с совершенно новой для меня стороны; здесь были взрослые дочери, и к ним часто приходили подруги.

Мои первые воспоминания о детской влюбленности совпадают с этим временем. У Бёме бывала изредка одна очень красивая, прелестно воспитанная девушка, по имени, кажется, Амалия Гофман. Помню, что, когда она, бывало, входила в комнату в воскресный день, празднично одетая, я надолго от восхищения терял дар слова. Иной раз я притворялся бесчувственно уснувшим, чтобы заставить девушек общими усилиями отнести меня на руках и уложить в постель. Прибегать я стал к этому приему после того, как убедился, к моему величайшему удивлению, что при этих условиях непосредственное прикосновение девушек вызывало во мне приятные ощущения.

Сильнее всего, однако, подействовала на меня в этот год разлука с семьей после короткого свидания, когда я

ненадолго посетил Прагу. В самый разгар зимы матушка приехала в Дрезден и взяла меня с собой туда на восемь дней. Путешествие с матушкой было совершенно особого рода: она всегда предпочитала быстрой езде на почтовых полные всевозможных неожиданностей и приключений поездки в нанятом экипаже. Из Дрездена до Праги наше путешествие длилось полных три дня при жесточайшем холоде. Переезд через Богемские горы был сопряжен со всевозможными опасностями, и когда, счастливо преодолев приключения и препятствия, мы прибыли наконец в Прагу, я сразу почувствовал, что попал в совершенно новую для меня стихию.

В течение долгого времени эта поездка из Саксонии в Богемию и, главным образом, посещение Праги составляла одно из самых поэтически очаровательных для меня воспоминаний. Чуждая мне национальность, ломаный немецкий язык, странные головные уборы женщин, местное вино, уличные музыканты, наконец, повсюду рассеянные приметы католицизма, многочисленные часовни и изображения святых — все это произвело на меня странное, опьяняющее впечатление. Возможно, что именно такое впечатление возникло у меня на фоне общей моей склонности к фантастическому и театральному, в противоположность всему мещанскому и приземленному. Прежде всего, старинное великолепие и красота Праги, этого единственного в своем роде города, глубочайшим образом поразили мое воображение.

Но и в среде моей семьи я столкнулся с элементами, бывшими до того мне совершенно чуждыми. Сестра Оттилия, старше меня всего на два года, завязала теснейшую дружбу с одной дворянской семьей — с семьей графа Пахты. Две дочери графа, Женни и Августа, красавицы, впоследствии долгое время считавшиеся лучшим украшением Праги, привязались к моей сестре с экзальтированной

нежностью. Для меня эти существа, да и весь характер подобных отношений, были чем-то совершенно новым и чарующим. Мне казалось, что Прага населена одними красивыми людьми. Например, нас тогда посещал некто В. Марзано, человек необыкновенно привлекательный и любезный.

У нас часто велись оживленные беседы о рассказах Гофмана, лишь недавно тогда появившихся и произведших большое впечатление. Здесь я впервые, хотя и поверхностно, познакомился с этим фантастическим писателем. Его сочинения действовали на меня возбуждающим образом, и влияние это в течение многих лет лишь росло и усиливалось, доходя даже до крайности, причем особенную власть надо мной имело необыкновенно странное мировоззрение Гофмана, самый характер его отношений к жизни.

10

Путешествие пешком. Приветливая корчма. Веселый человек с металлической лирой. «Non plus ultra». Изящный экипаж с прелестными подругами. Припарки из петрушки. Вид на Прагу с возвышения

Весной следующего, 1827 года я вновь отправился из Дрездена в Прагу, на этот раз пешком, в сопровождении товарища Рудольфа Бёме. Путешествие наше было полно приключений. За час пути мы добрались до Теплица, где и заночевали в первый вечер. Утром мы отправились дальше, но уже в повозке, так как натерли себе накануне ноги до ран. Везли нас, однако, только до Ловозица, так как у нас не оставалось больше ни гроша. Под горячим солнцем, изнемогая от усталости, голодные, пробирались мы проселочными дорогами по чужой нам стране, пока к вечеру не вышли на главную улицу. Здесь нас сейчас же нагнала изящная дорожная коляска. Я сделал над собой

усилие, притворился путешествующим ремесленным подмастерьем и попросил у знатных проезжих милостыню, товарищ же мой боязливо спрятался в придорожную канаву. Переночевать мы зашли, на счастье, в приветливый кабачок и стали совещаться, на что истратить только что полученную милостыню: на ужин или ночлег. Решили поужинать, а ночь провести под открытым небом.

Пока мы подкреплялись, в комнату вошел необыкновенный путешественник. На нем был черный бархатный берет с металлической лирой в виде кокарды, на спине арфа. Весело снял он со спины свой инструмент, расположился поудобнее и заказал хороший ужин. Он имел намерение здесь переночевать, а на следующий день отправиться дальше, в Прагу, где жил и куда возвращался теперь из Ганновера. Этот веселый человек, то и дело пересыпавший речь шутками и употреблявший при каждом удобном случае любимое мотто «non plus ultra»[3], понравился мне и внушил доверие. Мы быстро завязали знакомство, и на мое расположение бродячий музыкант ответил почти нежной любовью. Решено было на следующий день продолжать путь вместе. Он одолжил мне два цванцигера и велел записать пражский адрес моей семьи в своей записной книжке.

Эта моя личная удача привела меня в восхищение. Мой арфист необыкновенно развеселился. Выпито было много черносекского вина, он стал петь и играть на арфе как бешеный, не переставая твердить свое «non plus ultra», и свалился, наконец, совершенно опьянев, на нашу общую соломенную постель на полу в хозяйской комнате. Когда наступило утро, его невозможно было добудиться, и мы решили, пользуясь свежим воздухом, уйти без него в расчете, что в течение дня этот проворный человек нагонит

---

[3] «Не далее запредельного» (*лат.*).

нас в пути. Однако мы ждали его потом напрасно, не показывался он и во время нашего пребывания в Праге. Лишь много недель спустя этот удивительный человек зашел к матушке и не столько затем, чтобы получить свои деньги, сколько желая узнать что-нибудь о своих молодых друзьях.

Конец путешествия сильно утомил нас. Трудно описать мою радость, когда наконец за час пути от Праги перед нами открылся с возвышения город. Уже у самого предместья нам навстречу попался изящный экипаж, и оттуда меня с удивлением окликнули обе прелестные подруги сестры Оттилии. Они сразу узнали меня, несмотря на ужасный вид, обожженное солнцем лицо, полотняную синюю блузу и ярко-красную ситцевую фуражку на голове. Смущенный до крайности, с бьющимся сердцем, я кое-как ответил на их вопросы и поспешил дальше, в дом моей матери, где прежде всего постарался восстановить нормальный цвет лица, уничтожить следы загара. На это я потратил целых два дня, обкладывая все время лицо припарками из петрушки. И только затем я вернулся к жизни. Когда на обратном пути мы с того же возвышения обернулись, чтобы взглянуть еще раз на Прагу, я горько расплакался, упал на землю, и удивленный товарищ долго не мог меня заставить идти дальше. Всю дорогу я был серьезен, и до прибытия в Дрезден с нами не было по пути никаких приключений.

11

В стороне от большой дороги. Театр марионеток. «Геновефа». Компания будущих студентов. «О, Голо, Голо!» Книжный шкаф дяди Адольфа. «Burschenthum». Педантические правила поведения. Эмансипация от школьного и домашнего гнета

Склонность к продолжительным пешим путешествиям побудила меня еще раз в этом году принять участие

в летней экскурсии в Лейпциг. Теперь мы шли большой компанией, состоявшей из гимназистов разных классов и разного возраста. Это также одно из ярких воспоминаний моей юности. Характерной чертой всего нашего общества было сознательное стремление подражать во всем студентам: мы были одеты фантастически и вели себя совершенно по-студенчески. До Мейсена добирались по воде, а оттуда шли проселками, в стороне от большой дороги, через ряд неизвестных мне по названию деревень. В кабачке одной из таких деревень, где, предварительно нашалившись вволю, мы все вместе расположились на ночлег в большом сарае, нам попался кукольный театр с марионетками почти в человеческий рост. Понятно, вся путешествующая компания собралась в зрительном зале и тем привела в величайшее смущение хозяина театра, рассчитывавшего только на крестьянскую публику. Давали «Геновефу», Непрерывные остроты, шуточные реплики и насмешливые вставки нахальной компании будущих студентов, — все это возбудило наконец неудовольствие зрителей-крестьян, которых представление, видимо, трогало. Кажется, я был единственный, которому была мучительно неприятна эта разнузданность, и, хотя сам не мог удержаться от смеха при комической выходке кого-либо из товарищей, самая пьеса мне нравилась, и я был всецело на стороне наивной крестьянской части публики. Некоторые обороты народной речи сохранились еще и доныне в моей памяти. Голо предлагает неизбежному Каспару «так пощекотать сзади» пфальцграфа по его возвращении домой, «чтобы он почувствовал спереди». Каспар передает пфальцграфу слова Голо буквально, а тот, упрекая уличенного бездельника, восклицает с потрясающим пафосом: «О, Голо, Голо! Ты велел Каспару так пощекотать меня сзади, чтобы я почувствовал спереди!»

В Гримме молодая компания уселась в открытые повозки — так мы въехали в Лейпциг. Но предварительно мы тщательно сняли с себя все атрибуты студенчества из боязни, чтобы настоящие студенты, увидев нас, не расправились с нами за такое самозванство.

В Лейпциге я и на этот раз очутился в той же обстановке, что и в прошлый мой приезд, когда мне шел еще восьмой год. Фантастический дом девицы Томэ произвел на меня прежнее впечатление, но теперь развитие и кое-какие школьные познания сделали возможным более сознательное общение с дядей Адольфом. Поводом к этому было следующее: с радостью я узнал, что стоящий в одной из больших передних книжный шкаф, заключавший в себе довольно богатую библиотеку моего отца, принадлежит лично мне. Вместе с дядей я занялся просмотром этих книг, отобрал тут же несколько латинских авторов в прекрасном цвейбрюкском издании, несколько поэтических и прозаических произведений, привлекательных для меня, и позаботился о доставке всего этого в Дрезден.

В этот приезд меня особенно интересовал мир студенчества. К впечатлениям от театра и Праги прибавился еще один фантастический элемент — свойственная юности бравада. За последние годы в студенческом мире произошли поистине революционные изменения. Когда я еще восьмилетним мальчиком наблюдал впервые студентов, меня потрясло их старонемецкое облачение: черный бархатный берет на голове, отложной воротник мягкой сорочки на голой шее, длинные волосы по плечам. С тех пор под давлением политических преследований студенческий союз, носивший это старонемецкое облачение, распался, а вместо него развились не менее характерно-немецкие, родственные германскому духу, землячеcкие организации. Члены земляческих организаций одевались, в общем, по моде, пожалуй, даже слишком подчеркнуто, но от обыкновенной

массы граждан они отличались пестротой в костюме и выделялись носимыми открыто цветными лентами, особыми для каждой земляческой корпорации. *Komment*, этот свод педантических правил поведения, созданный с целью охраны кастового духа по отношению к остальным гражданам, имел свою фантастическую окраску, как не лишены ее даже самые филистерские черты немцев. Для меня все это связывалось с представлением об эмансипации от школьного и домашнего гнета. Страстное желание стать студентом опасным образом сочеталось у меня со все растущим отвращением к сухой науке и любовью к поэтическому и фантастическому. Все это скоро проявилось в упорных попытках с моей стороны изменить свое положение.

12

Церковные обряды. Евхаристия. Маленькая комнатка под крышей. Стихи. Колоссальная трагедия. Богатый книготорговец Фридрих Брокгауз. Тон хорошего общества

Акт конфирмации, на Пасхе 1827 года, застал меня в этом смысле уже значительно одичавшим. Особенно заметно пало во мне уважение к церковным обрядам. Мальчик, еще недавно с болезненной страстью взиравший в церкви на запрестольный образ и в молитвенном экстазе мечтавший занять место Спасителя на кресте, настолько потерял уважение к духовному лицу, подготовлявшему его к конфирмации, что охотно примыкал к тем, кто насмехался над ним и даже однажды вместе с товарищем-конфирмантом истратил на сладости часть денег, предназначенных в уплату пастору за исповедь. Но что на самом деле происходило у меня в глубине души, я почти с испугом почувствовал, когда начался акт раздачи Святого Причастия, с хоров полилось пение, загремел орган, и мы все, конфирманты, двинулись процессией вокруг алтаря. Охвативший меня трепет при обряде евхаристии так глубоко

запечатлелся в моей памяти, что, боясь в будущем не найти в себе такого настроения, я никогда больше не шел к причастию. Это было тем легче, что, как известно, у протестантов не существует в этом отношении никакого принуждения.

Скоро я воспользовался подвернувшимся поводом, чтобы порвать с гимназией Святого Креста и вынудить мою семью перевести меня в Лейпциг. Чтобы избегнуть несправедливого, с моей точки зрения, наказания со стороны проректора Баумгартена-Крузиуса, которого, в общем, очень уважал, я сообщил ректору о будто бы внезапно полученном мной от моей семьи требовании приехать в Лейпциг и попросил дать мне отпуск. Уже до того, три месяца назад, я покинул дом Бёме и поселился один в маленькой комнатке под крышей, где мне прислуживала вдова придворного чистильщика серебра и кормила весь день почти исключительно знаменитым жидким саксонским кофе. В этой комнатке я занимался только одним: сочинял стихи и, кроме того, делал первые наброски колоссальной трагедии, которой впоследствии совершенно поразил мою семью. Полное расстройство, в которое пришли мои дела при такой чересчур ранней самостоятельности, побудило матушку, очень этим озабоченную, согласиться на мое переселение в Лейпциг — тем более что часть нашей рассеянной по разным городам семьи жила уже там.

Мое стремление в Лейпциг объяснялось, во-первых, пережитыми там в детстве фантастическими впечатлениями и, во-вторых, мечтательным интересом к студенческому миру. К этому в самое последнее время присоединился еще один притягательный мотив. Сестры своей Луизы, которой теперь было около 22 лет, я почти совершенно не знал, так как сейчас же после смерти отчима она уехала

в Бреслау, где поступила на сцену. Теперь она получила ангажемент в Лейпцигский театр и проездом остановилась на несколько дней в Дрездене. Встреча с этой сестрой-незнакомкой, сердечная нежность и радости, обнаруженные ней при этом свидании, и вообще все ее живое веселое существо произвели на меня самое приятное впечатление. С ней вместе были теперь в Лейпциге матушка и сестра Оттилия — и у нее жить казалось мне верхом блаженства. В первый раз я почувствовал нежность сестры. Когда же на Рождество того же года (1827) я прибыл в Лейпциг и нашел уже там матушку с Оттилией и Цецилией (сводной сестрой), то почувствовал себя среди них как в раю.

Однако за это время случилось событие, внесшее в наши отношения большие перемены: сестра Луиза стала невестой уважаемого и богатого книготорговца Фридриха Брокгауза. Обилие родственников у совершенно бедной невесты, по-видимому, нисколько не пугало самого жениха и будущего мужа, человека с необыкновенно добрым сердцем. Но сестре это казалось, вероятно, очень неудобным, и тут она проявила себя с крайне несимпатичной стороны. Желание непременно походить на даму из высшего общества, среди которого ей предстояло вращаться, заметно изменило весь характер жизнерадостной, склонной к веселым затеям девушки. С течением времени во мне скопилось столько горечи, что при первом подходящем случае я совершенно с ней поссорился. С другой стороны, я и сам подал повод к упрекам, которые не могли не огорчать меня. Со времени переезда в Лейпциг я не только забросил занятия, но и вообще окончательно сошел со стези правильного школьного обучения: сухой педантизм школы сыграл здесь, может быть, не последнюю роль.

13

Nikolai-Schule. Пример свободной студенческой жизни. Первые этапы развития. Ученый родственник. Высокопарные фразы. «Царь Эдип». Столкновение с советом преподавателей. При свете молний

В Лейпциге две гимназии; старая — Святого Фомы — и новая — Святого Николая. Гимназия Святого Николая пользовалась тогда лучшей репутацией, поэтому меня туда и определили. Коллегия преподавателей, подвергшая меня приемному испытанию в начале 1828 года, нашла, что в интересах престижа гимназии меня следует принять не в шестой класс, хотя я уже проходил его в гимназии Святого Креста, а сначала на старшее отделение пятого. Моему огорчению не было пределов, когда я принужден был отложить в сторону Гомера, из которого перевел уже двенадцать песен, и перейти к более легким греческим прозаикам. Обида эта глубоко отразилась на всем моем настроении. Поэтому я вел себя так, что ни с одним из учителей у меня не сложилось хороших отношений. Тяжелый школьный гнет при таких условиях возбуждал во мне протест — тем более упорный, что в жизни моей стали играть большую роль новые факторы, поддерживавшие это настроение.

Перед моими глазами, во-первых, был пример свободной студенческой жизни, заражавшей своей постоянной готовностью к возмущению, и, во-вторых, я неожиданно нашел поддержку в моем презрении к школьному педантизму с другой, более серьезной стороны. Я имею в виду в то время еще не вполне осознанное влияние моего дяди, Адольфа Вагнера, общение с которым отразилось глубоко на своеобразном ходе развития взрослеющего юноши.

Склонность моя ко всему фантастическому не основывалась исключительно на стремлении к поверхностным

развлечениям, о чем свидетельствует та близость, установившаяся между мной и моим ученым родственником. Конечно, и в обращении, и в разговоре он был очень привлекателен. Разносторонние познания, одинаково глубокие как в области филологии, так и в области философии, литературы и поэзии, делали его, по признанию всех, имевших счастье с ним беседовать, собеседником в высшей степени интересным. При этом он был лишен способности не только сколько-нибудь увлекательно, но хотя бы просто понятно писать. Этот его недостаток значительно уменьшал его влияние в литературном мире и даже иногда ставил в смешное положение: нередко в полемике приводились его же фразы как образцы невразумительности и высокопарности. Для меня, конечно, это обстоятельство не имело никакого значения, во-первых, потому что сам я находился на том этапе развития, когда каждая высокопарная фраза кажется тем глубже, чем она непонятнее, и, во-вторых, еще и потому, что я читал моего дядю меньше, чем беседовал с ним.

Общение с восторженно внимающим юношей было ему приятно. К сожалению, увлеченный собственным красноречием и даже, может быть, любуясь несколько собой, он часто выбирал выражения, совершенно недоступные моему юношескому пониманию. Ежедневно приходил я к нему и уводил его на послеобеденную, необходимую для его здоровья прогулку к городским воротам. Думаю, что не раз мы вызывали улыбку у встречных знакомых, прислушивавшихся к глубокомысленным и яростным спорам между дядей и племянником. Темой для наших дискуссий служило всё серьезное и возвышенное. Книги из богатой библиотеки дяди возбуждали во мне лихорадочный интерес то в одном, то в другом направлении, и я переходил от одной области литературы к другой, ничего не усваивая основательно.

Дядя был счастлив, найдя во мне внимательного и восторженного слушателя при чтении классических трагедий. С этой целью он даже сам перевел «Царя Эдипа», справедливо считая себя лучшим чтецом после Тика, с которым был, между прочим, в очень дружеских отношениях. Припоминаю, что мне случалось иногда засыпать под его чтение греческих трагедий. Это, однако, нисколько не огорчало его, он даже не показывал, что замечает это. Мне тем приятнее было проводить у него вечера, что жена его была со мной очень ласкова и всегда радушно встречала меня. Дело в том, что со времени моего первого знакомства с дядей в доме девицы Томэ в его жизни произошла значительная перемена. Приют, который он с сестрой Фредерикой нашел у своей приятельницы, стал, повидимому, с течением времени тяготить его: жизнь там возлагала на него чересчур стеснительные обязательства. Литературный труд обеспечивал ему умеренный заработок, и он счел, наконец, достойным себя обзавестись собственным домом. Выбор его пал на подходящую ему по возрасту девицу, сестру небезызвестного в Лейпциге эстетика Вендта, с которой он был в дружеских отношениях. Не говоря Жаннетте ни слова, он отправился вместо обычной послеобеденной прогулки со своей избранницей в церковь, где по совершении необходимых церемоний они и повенчались. По возвращении домой он объявил, что съезжает и что еще нынче пришлет за своими вещами. Величайшее изумление и, может быть, упреки старой своей подруги он встретил мягко и сдержанно, но твердо. До самой своей смерти он ежедневно посещал Mamselle Thome, которая лишь по временам нежно дулась на него. Только бедной Фредерике приходилось расплачиваться иной раз за неожиданную измену брата.

Особенно сильно привлекало меня к дяде его резкое и презрительное, выражавшееся обыкновенно в юмористической форме, отношение к педантизму в государстве, церкви и школе. При всей умеренности его воззрений на жизнь в целом он производил на меня впечатление свободомыслящего человека. Особенно восторженное действие оказывало на меня его презрение к педантизму школьному. Когда однажды у меня вышло крупное столкновение с советом преподавателей в гимназии Святого Николая, ректор обратился к нему, как к единственному мужчине в нашей семье, с серьезными жалобами на мое поведение. Во время прогулки у городских ворот дядя спросил меня спокойно и с улыбкой, по-товарищески, что, собственно, вышло у меня с ними в гимназии. Я объяснил ему происшедшее и рассказал о наказании, к которому меня приговорили и которое я считал несправедливым. Он успокоил меня и советовал терпеть и помнить испанскую поговорку: «*Un rei no puede morir*»[4]. Применительно к моим условиям он толковал ее так: школьный владыка непременно должен всегда быть прав.

От него, конечно, не могли укрыться и последствия его бесед со мной, содержание которых было мне и не по возрасту и далеко превосходило уровень моего развития, — и это испугало его. Когда однажды я попросил его почитать мне гётевского «Фауста», он спокойно ответил, к моему огорчению, что я его не пойму. Однако его прежние беседы о нашем великом поэте и даже о Шекспире и Данте, казалось мне, так близко познакомили меня с этими возвышенными образцами искусства, что я с некоторого времени снова тайно занялся моей большой трагедией, начатой в Дрездене. С тех пор как у меня начались нелады со школой, я отдал этой задаче все силы, которые следовало

[4] «Король не может умереть» (*исп.*).

употребить на классные занятия. В мою тайну была посвящена только сестра Оттилия, с которой мы одни жили теперь при матушке. Помню, с каким боязливым трепетом впервые отнеслась добрая сестра к моей великой поэтической задаче. Тем не менее она любовно переносила те истязания, которым я ее подвергал, секретно читая ей, не без патетического воодушевления, отдельные части продвигающегося вперед труда. Раз, когда я декламировал вслух одну из ужаснейших сцен моей трагедии, на дворе разыгралась буря. Близко где-то ударила молния, и раздался страшный громовой раскат. Сестра в испуге стала умолять меня прекратить чтение. Однако, убедившись тут же, что просить об этом бесполезно, она замолчала и с трогательной покорностью продолжала терпеть.

14

«Лейбальд и Аделаида». Музыка

На моем горизонте стали наконец собираться грозные тучи. Манкирование школьными обязанностями достигло такой степени, что это неизбежно должно было повести к полному разрыву с гимназией. Матушка ничего об этом не знала, а я не столько боялся, сколько сам искал катастрофы. Желая встретить эту катастрофу с достоинством, я решил заблаговременно поразить родных и познакомить их с моей уже законченной трагедией. Это великое творение должен был представить им дядя. В его сердечном сочувствии и в том, что он признает во мне большое поэтическое дарование, я не сомневался: удивительное совпадение наших воззрений на важнейшие стороны жизни, на науку и искусство было, казалось мне, в том порукой. Я отослал ему объемистую рукопись при подробном письме, в котором изложил мои отношения к гимназии Святого Николая и твердое решение не позволять впредь

никакому школьному педантизму стеснять мое свободное развитие. Я был убежден, что очень его обрадую всем этим.

Случилось, однако, иначе. Письмо мое очень испугало его. Чувствуя за собой большую вину, он отправился к матушке и к моему зятю [Фридриху Брокгаузу], чтобы известить их о несчастье, обрушившемся на семью, и объясниться по этому поводу, так как опасался, что его влияние на меня истолкуют в дурную сторону. Мне он написал серьезное письмо, в котором отклонял дальнейшее наше общение. До сих пор не могу понять, почему он не сумел юмористически отнестись к моему заблуждению. К удивлению, он только упрекал себя в том, что неразумным ко мне отношением способствовал выработке нелепых взглядов, вместо того чтобы спокойно объяснить мне сущность моего заблуждения.

Суть преступления пятнадцатилетнего юноши заключалась, как сказано, в большой трагедии: «Лейбальд и Аделаида».

Рукопись драмы, к сожалению, не сохранилась у меня, но и сейчас я как бы вижу ее перед собой. Почерк у меня был в высшей степени аффектированный: косо поставленные, изогнутые назад длинные буквы, которыми я думал придать всей рукописи оригинальный характер, уже раньше напомнили одному из моих учителей персидские клиновидные письмена. Драма была целиком написана под влиянием Шекспира, главным образом его «Гамлета», «Макбета», «Лира», и гётевского «Гёца фон Берлихингена».

Сюжет представлял собой, собственно, вариант «Гамлета»: разница заключалась в том, что мой герой, потрясенный появлением тени отца, убитого при очень сходных с «Гамлетом» условиях, и его призывом к мести, впадает в такое неистовство, что через целый ряд убийств доходит до сумасшествия. Лейбальд, представлявший собой как бы сочетание Гамлета и Перси Горячей Шпоры, дает духу

отца обет истребить совершенно с лица земли весь род Родериха (так звали нечестивого убийцу благородного отца). В жестокой схватке он убивает Родериха, его сыновей и всех верных ему родных, и ему остается теперь только исполнить свое самое горячее желание: убить себя, чтобы соединиться с тенью отца. Но этому мешает следующее: еще осталось на земле одно дитя Родериха. Во время штурма замка дочь Родериха спасает и увозит один преданный, но ненавидимый ней поклонник. Этой девушке я в порыве восторга дал имя Аделаида. Уже в то время я увлекался всем старогерманским, и это совершенно ненемецкое имя моей героини я могу объяснить себе только тем энтузиазмом, который внушала мне «Аделаида» Бетховена. Ее мечтательный рефрен казался мне тогда символом любовного призыва.

В дальнейшем ходе драмы эта последняя необходимая искупительная смерть странным образом все отодвигается. Главным препятствием здесь является быстро возникающая страстная любовь между Лейбальдом и Аделаидой. Мне удалось самое возникновение этой любви и объяснение между влюбленными провести в условиях совершенно необыкновенных. Аделаиду похищает у укрывающего ее жениха другой рыцарь. Истребив жениха со всем его родом, Лейбальд устремляется к разбойничьему замку уже не столько из кровожадности, сколько ища смерти. Он жалеет поэтому, что не может немедленно атаковать замок, так как он хорошо защищен и наступающая тьма этому мешает. Ему приходится разбить на ночь палатку. В первый раз его ярость сменяется усталостью, и в то время, когда дух отца, по образцу «Гамлета», опять требует от него исполнения обета, враг внезапно под покровом ночи нападает на него, и он сам оказывается в его власти. Там, в подземной тюрьме замка, он встречает дочь своего врага: она тоже в неволе, но хитростью освобождается из плена

и является ему в условиях, при которых производит на него впечатление небесного видения. Они любят друг друга, бегут оба в пустыню и здесь узнают, что судьба предназначила им быть смертельными врагами.

Уже раньше заметные в Лейбальде признаки помешательства после этого открытия усиливаются. Этому помогает дух отца, беспрестанно становящийся между влюбленными при всех их попытках к сближению. Но не один этот дух мешает примиряющей любви между Лейбальдом и Аделаидой — появляется еще дух Родериха и к нему, по методе Шекспира в «Ричарде III», присоединяются духи остальных убитых Лейбальдом членов семьи его возлюбленной. От беспрерывной навязчивости этих духов Лейбальд пытается освободиться колдовством при помощи одного беспутного негодяя по имени Фламминг, к нему приставшего. Одна из ведьм Макбета должна прогнать духов: так как она не может добросовестно выполнить эту задачу, Лейбальд в ярости кончает и с ней, она же, умирая, напускает на него все полчище служащих ей темных сил в дополнение к тем, которые сами к нему липнут. Изнемогая от нестерпимых мучений, Лейбальд в припадке крайнего умоисступления обрушивается на свою возлюбленную как на причину всех зол. Он в бешенстве закалывает ее и затем внезапно успокаивается: голова его падает к ней на колени, она дарит ему свои последние ласки, кровь ее льется струей на него, и он умирает.

Конечно, я использовал все, что было в моем распоряжении, начиная с известных мне рассказов о похождениях рыцарей и кончая «Лиром» и «Макбетом», чтобы насытить драму душещипательными ситуациями. Главным же украшением моего творения был его язык, заимствованный у Шекспира из его богатейшего патетического и юмористического словаря. Смелость высокопарного и нарочито выспренного слога повергла дядю Адольфа в испуг

и изумление. Он не мог понять, как я ухитрился не только извлечь и пустить в ход одни только самые вычурные выражения из «Лира» и «Гёца фон Берлихингена», но еще и преувеличить их. Порицания по поводу нелепо потерянного времени, из-за того, что я сбился с пути, — все это положительно оглушило меня. Но при этом в глубине души я утешал себя одним: я знал то, чего еще никто знать не мог, а именно — что мое творение можно было бы правильно оценить лишь в том случае, если бы оно было снабжено музыкой. Я решил эту музыку написать и, не откладывая, заняться этим в ближайшем будущем.

Здесь я хочу рассказать, как сложились мои отношения к музыке, и должен начать с самого начала.

15

Вебер и Сассароли. Немецкая и итальянская школа. Отвращение ко всему итальянскому. Узкое, тонкое лицо с затуманенным взором. «Фрейшютц» в исполнении сестер

В нашей семье две сестры занимались музыкой: старшая, Розалия, играла на фортепьяно, без особенного, впрочем, успеха; Клара, напротив, была гораздо способнее. При большом музыкальном чувстве и красивом теплом тоне в игре на фортепьяно у нее был такой прекрасный, полный душевной выразительности голос, настолько притом рано и ярко развившийся, что под руководством известного в то время учителя пения Микша она уже в пятнадцать лет казалась совершенно созревшей для амплуа примадонны. И действительно, она тогда же дебютировала в Дрездене в «Золушке» Россини. Между прочим, именно это-то чересчур раннее развитие и погубило голос Клары, что очень тяжело отразилось на всей ее жизни.

Эти две сестры — Розалия и Клара — были, как я уже сказал, музыкальными представительницами нашей семьи.

Именно благодаря дарованию Клары наш дом посещал капельмейстер К. М. фон Вебер. Его визиты чередовались с посещениями певца Сассароли, обладавшего великолепным сопрано. Между этими двумя представителями немецкой и итальянской музыки стоял учитель пения Микш.

Еще ребенком мне пришлось впервые услышать споры о немецкой и итальянской музыке, и тогда же я узнал, что кто добивается успеха у двора, тот должен усвоить себе итальянскую школу. На нашем семейном совете это обстоятельство приобрело определенное практическое значение. Талант Клары, пока голос ее еще был в полной силе, мог раскрыться как в немецкой, так и в итальянской опере. Помню совершенно ясно, что с самого начала я был на стороне немецкой оперы — может быть, здесь играло роль то противоположное впечатление, какое производили на меня обе эти фигуры: Сассароли и Вебер. Итальянский певец, колоссального роста, с большим животом, отталкивал меня своим высоким женским голосом, поразительно быстрой речью и постоянной готовностью хохотать пронзительно резким смехом. Несмотря на все его добродушие, несмотря на то, что в нашей семье его любили, этот человек был мне необыкновенно противен. Разговор и пение на итальянском языке казались мне изобретением дьявольской машины, а когда я по поводу несчастия, постигшего сестру, наслышался, кроме того, речей об итальянских интригах и коварстве, во мне сложилось настолько прочное отвращение ко всему итальянскому, что даже долгое время спустя я доходил в этом отношении до проявлений самой страстной вражды.

Редкие посещения Вебера, напротив, на всю жизнь наполнили меня чувством живейшей к нему симпатии. В противоположность скандальной фигуре Сассароли, полный нежности, страдальческий и духовно просветленный

облик Вебера возбуждал во мне экстатическое участие. Его узкое, тонкое лицо, с живым и тем не менее часто затуманенным взором, неудержимо влекли меня к себе. Я часто наблюдал за ним из окна, когда он, сильно прихрамывая, проходил в обеденную пору мимо нашего дома, возвращаясь к себе после утомительных репетиций. Эта походка рисовала в моем воображении великого музыканта, существо необыкновенное, сверхчеловеческое. Когда матушка представила ему меня, тогда девятилетнего мальчика, он спросил, кем бы я хотел стать, может быть музыкантом? Матушка ответила, что, хотя я страшно увлечен «Фрейшютцем», она, тем не менее, не открыла во мне ничего указывающего на музыкальное дарование. Это было совершенно верно подмечено ней: ничто не захватывало меня с такой силой, как музыка «Фрейшютца»; я всячески старался воскресить испытанные во время хода оперы впечатления, но, как это ни странно, все это не влекло меня тогда к изучению самой музыки. Я довольствовался тем, что любил слушать отдельные номера из «Фрейшютца» в исполнении моих сестер. Увлечение это постепенно росло во мне. Помню, как я сильно привязался к одному молодому человеку, по имени Шписс, только потому, что он умел играть увертюру «Фрейшютца», и везде, где бы я его ни встречал, я просил его сыграть ее. Особенно введение к этой увертюре нравилось мне до такой степени, что я решился наконец, не умея совершенно играть на фортепьяно, подобрать его на этом инструменте и изобразить по-своему.

Удивительно, что меня одного в нашей семье вовсе не обучали музыке. Вероятно, этим я был обязан опасениям моей матушки, боявшейся всякого рода упражнением в искусстве возбудить во мне склонность к театру. Однако примерно на двенадцатом году ко мне пригласили учителя, некоего Гумана: это были мои первые настоящие, хотя и очень скудные уроки на фортепьяно. Совершенно еще

не владея пальцами, я немедленно приступил к разучиванию увертюр в четыре руки, причем целью всех моих усилий были увертюры Вебера. Когда я наконец добился своего и научился исполнять для себя самого, хотя бы и с большими погрешностями, увертюру «Фрейшютца», я счел задачу моих занятий с учителем исполненной и не чувствовал больше никакого желания продолжать брать уроки. Я ушел к тому времени вперед уже настолько, что считал себя совершенно независимым от учительского руководства, и сам старался разучивать и разыгрывать по-своему — и, конечно, очень неправильно — те вещи, которые мне нравились. Так именно я поступил с моцартовским «Дон Жуаном», хотя и без особенного для себя удовольствия: дело в том, что итальянский текст клавираусцуга придавал в моих глазах всей музыке легковесность, многое мне казалось там пустым и недостаточно серьезным. Помню, что, когда сестра пела ариетту Церлины *«Batti, batti, ben Masetto»*, меня эта музыка оттолкнула как чересчур изнеженная и по-женски бессильная.

16

Концерты в дрезденском «Большом Саду». Звуки квинты. Хаотические краски. «Фиделио». Бетховен. «Requiem» и «Дон-Жуан»

Однако моя любовь к самостоятельным занятиям музыкой все усиливалась, и я старался переписывать для себя мои любимые пьесы. Помню, как матушка неохотно дала мне деньги на покупку нотной бумаги, когда я намеревался сделать первую свою копию с веберовской «Lutzow' lagd». Мои занятия музыкой оставались тогда для меня все-таки чем-то второстепенным. Однако известие о смерти Вебера и горячее желание познакомиться с его музыкой к «Оберону» вновь разожгли во мне непреодолимый интерес к ней. Обильную пищу доставляли этому интересу

послеобеденные концерты в дрезденском «Большом саду», где городской оркестр Цильмана исполнял, как мне казалось, с большим мастерством любимые мои музыкальные произведения.

Помню отчетливо и сейчас волшебный, сладостный восторг, охвативший меня, когда я в непосредственной близости слушал звуки оркестра. Само настраивание инструментов действовало на меня мистически: звуки скрипичной квинты, когда по ней проводили смычком, казались мне приветом из мира духов, — и это, отмечаю между прочим, не в переносном, а в прямом, буквальном смысле. Еще когда я был совсем маленьким ребенком, звук квинты сливался для меня с таинственным миром призраков, который в то время меня волновал. Долго я не мог без жуткого чувства проходить мимо маленького дворца принца Антона в конце Остра-Аллее в Дрездене. Именно здесь я впервые, а потом все чаще и чаще слышал совсем близко звуки настраиваемой скрипки, исходившие, как мне казалось, от украшавших дворец каменных статуй, некоторые из которых были изображены с музыкальными инструментами в руках. (Уже будучи капельмейстером в Дрездене, я посетил однажды концертмейстера Моргенрота, пожилого господина, жившего издавна напротив дворца принца, и странное чувство охватило меня, когда во время этого визита я убедился, что звуки квинты, возбуждавшие мою детскую музыкальную фантазию, не имели ничего общего с мистическим миром привидений.) Так как мне в то время случилось, кроме того, увидеть известную картину, на которой изображался скелет мертвеца, играющего на скрипке перед умирающим стариком, то все, что есть призрачного в этих именно звуках, запечатлелось с особенной силой в моем детском воображении. Кто видел, как я, словно зачарованный, бродил ежедневно после обеда в «Большом саду» вокруг цильмановского

оркестра, тот не мог не замечать, что я ловил и впитывал в себя со сладострастным трепетом хаотические звуковые краски, долетавшие до меня из оркестра при настраивании инструментов: протяжное «А» гобоев, звучащее как напоминание из мира духов, как таинственный призыв, обращенный ко всем другим инструментам, это «А» всякий раз приводило мои нервы в лихорадочно-напряженное состояние. Постепенно нарастающее «С» в увертюре «Фрейшютца» как бы переносило меня непосредственно в царство сказочных ужасов. И тот, кто видел меня тогда, не мог не понять, какое все это имеет отношение к моей душе, и должен был судить обо мне не по моей скверной игре на фортепьяно.

Еще одно музыкальное произведение привлекло меня тогда с такой же силой: это была увертюра E-dur к «Фиделио», в особенности ее введение. Я стал расспрашивать у сестер про Бетховена и тут же узнал, что получено известие о его смерти. Скорбное впечатление от смерти Вебера еще не улеглось во мне, и теперь эта новая смерть музыкального мастера, только что вошедшего в мою жизнь, наполнила меня странной, жуткой болью. В этом чувстве было нечто общее с тем моим детским трепетом, который вызывали во мне звуки скрипичной квинты. И мне захотелось поближе познакомиться с Бетховеном. В Лейпциге, у сестры Луизы, я нашел на фортепьяно «Эгмонта». Затем я старался добыть его сонаты. Наконец, на одном Гевандхауз-концерте мне привелось впервые услышать его симфонию. То была симфония A-dur: впечатление, произведенное ней на меня, было неописуемое. В это же время я впервые познакомился и с внешностью Бетховена по распространенным тогда литографиям, узнал про его глухоту, про его нелюдимость и одинокую, скрытую от всех жизнь, — и во мне сложился образ возвышенной, неземной оригинальности, с которым ничто не могло сравниться.

Образ этот слился во мне воедино с образом Шекспира: в экзальтированных сновидениях они являлись мне оба, я их видел, говорил с ними и просыпался весь в слезах. Из творений Моцарта я познакомился тогда с его Requiem[5], что послужило исходным пунктом для моего восторженного увлечения и этим мастером. Второй финал к «Дон Жуану» подействовал на меня так, что и его я целиком включил в мир моих грез.

17

Музыкальная наука и финансовые затруднения. Уроки гармонии. Демонское царство. Второй «Крейслер». Груды партитур. Долговязый Флакс и подозрительная женщина. Разочарование

Сочинять стихи я пытался издавна, теперь я должен был, естественно, попробовать компонировать. Но здесь требовалось изучение совершенно особенной, самостоятельной технической области, и задача оказывалась гораздо труднее, чем при столь простом и, как мне казалось, столь удачном с моей стороны стихотворстве. Борьба с этими затруднениями вскоре определила все течение моей жизни: я стал вести жизнь «музыканта», что наложило на меня со временем особый, специфический отпечаток «капельмейстера» и «оперного композитора».

Итак, к «Лейбальду и Аделаиде» я намеревался написать музыку, как Бетховен к гётевскому «Эгмонту». Надо было всем отдельным типам из мира призраков, столь различным по своему характеру, сообщить соответственный колорит при помощи определенного музыкального сопровождения. Чтобы поскорее научиться компонировать, я прибег к книге Logier'a *Methode des Generalbasses*[6],

---

[5] Реквиемом.

[6] «Метод генерал-баса» (*нем.*).

на которую мне в одной музыкальной библиотеке для чтения указали как на хорошее руководство для этой цели. Припоминаю, что финансовые затруднения, всю жизнь непрерывно терзавшие меня, начались именно с этого момента. Я взял книгу Logier'a для прочтения с оплатой за недельный абонемент в приятной надежде, что всего за неделю справлюсь с ней и покрою расход из своих карманных денег. Недели, однако, растянулись в месяцы, и я все еще не умел компонировать, как мне хотелось. Владелец библиотеки, Фридрих Вик, будущий тесть Роберта Шумана, стал делать мне серьезные напоминания, и когда счет за абонемент достиг стоимости самой книги, я увидел себя вынужденным открыть все моим близким.

Так они познакомились не только с моими финансовыми затруднениями, но и с моей новой затеей уже в области музыки, от которой ждали в лучшем случае чего-нибудь в духе «Лейбальда и Аделаиды». Смущение в доме было великое. Матушка, сестра и зять озабоченно совещались, как на будущее время наблюдать за моими занятиями, как предупредить новые мои уклонения с правильного пути. Тогда они еще не знали всей правды о моих отношениях к гимназии и утешали себя надеждой, что я скоро оставлю и эту затею, как оставил свои недавние поэтические замыслы. Кроме того, в наших домашних делах произошли некоторые изменения, благодаря которым я в течение лета 1829 года оставался совершенно один и был предоставлен самому себе в нашей квартире в Лейпциге.

В эту пору мои музыкальные экстазы достигли необычайной, фантастической высоты. Втайне от всех я брал уроки гармонии у одного дельного музыканта лейпцигского оркестра, Г. Мюллера (впоследствии органиста в Альтенбурге). Зная, что оплата этих уроков готовит мне в будущем серьезные неприятности со стороны моей семьи, я, тем не менее, не сумел даже чем-нибудь порадовать

своего учителя, отблагодарить своими заметными успехами за его бескорыстный труд. Его уроки и задачи скоро вызвали во мне неудовольствие благодаря их, как мне казалось, сухости. Музыка была и оставалась для меня демонским царством, миром мистически возвышенных чудес: все правильное, по моему мнению, только уродовало ее. Указаний, более соответствующих моим представлениям, чем поучения лейпцигского оркестрового музыканта, я искал в *Phantasiestucken*[7] Гофмана. И тут-то наступило время, когда я по-настоящему погрузился в этот художественный мир видений и призраков, стал жить и творить в нем.

Весь переполненный Крейслером, Креспелем и другими им подобными музыкальными образами моего любимого писателя, я, к величайшему моему счастью, нашел и в самой жизни образец человеческой оригинальности: этот идеальный музыкант, в котором я открыл, по меньшей мере, второго Крейслера и к которому я восторженно привязался, был некто Флакс. Этого длинного, необыкновенно худощавого человека, с удивительно узкой головой и в высшей степени необыкновенной манерой ходить, двигаться, и говорить, я неизменно встречал на всех садовых концертах, бывших для меня главным источником музыкального образования. Он всегда был возле оркестра, заговаривал с удивительной стремительностью то с одним, то с другим из музыкантов, с которыми он был знаком и которые к нему, по-видимому, хорошо относились. Что они все над ним потешались, об этом мне пришлось узнать, к стыду моему, много позднее. Я вспоминал, что уже давно видел эту странную фигуру в Дрездене: и действительно, прислушиваясь к разговорам, я убедился, что он был хорошо знаком со всеми дрезденскими музыкантами. Уже это одно крайне заинтересовало меня в нем. Но особенно

[7] «Фантазии в манере Калло» (*нем.*).

подкупили меня и увлекли наблюдения, которые я делал над ним, когда он слушал музыку: он своеобразно и конвульсивно кивал головой и раздувал, как бы вздыхая, щеки. Во всем этом я видел выражение демонического экстаза. И так как я, сверх того, заметил, что он совсем одинок, абсолютно не тяготеет ни к какому обществу и единственно следит в саду за ходом музыки, то я стал, естественно, отождествлять этого удивительного человека с капельмейстером Крейслером.

Мне захотелось непременно познакомиться с ним, и это мне удалось. Невозможно описать мое блаженство, когда я, впервые посетив его, нашел у него дома невероятные груды партитур! До этого я еще никогда не видал ни одной партитуры. К моему огорчению, я узнал, что у него не было ничего из творений Бетховена, Моцарта и Вебера. Было, напротив, огромное количество творений, месс и кантат совершенно мне незнакомых композиторов, таких как Штеркель, Штамиц, Штейбельт и др. Но Флакс рассказывал о них столько хорошего, что почтение, которое вызывали во мне вообще партитуры, помогло мне справиться с известным сомнением, вызванным отсутствием моих любимых мастеров. Впоследствии я, конечно, узнал, что Флакс был просто жертвой в руках разных бессовестных спекулянтов, продававших ему всю эту никуда не годную музыкальную макулатуру за большие деньги. Короче говоря: это были партитуры, и этого было для меня достаточно!

Флакс стал моим лучшим приятелем. Везде можно было встретить шестнадцатилетнего тщедушного юношу вместе с этим странно раскачивающимся на ходу долговязым человеком. Он часто посещал меня, и в одинокой нашей квартире за бутербродами с сыром был принужден слушать мою игру на фортепьяно. Однажды он аранжировал мою арию для духовых инструментов, которую потом, к величайшему моему изумлению, я услышал в исполнении

оркестра Швейцарской хижины [в Лейпциге]. Мне совершенно не приходило в голову, что у этого человека я ничему полезному научиться не могу. Я так твердо верил в его оригинальность, что с меня достаточно было, если он терпеливо выслушивал мои полные энтузиазма излияния. Когда затем к нашему обществу присоединилось несколько знакомых моего приятеля, я не мог не заметить, что на моего доброго Флакса весь мир смотрит просто как на человека ограниченного, как на дурака. Сначала это возбуждало во мне лишь грустное чувство, пока одно удивительное событие не заставило меня внезапно изменить свое мнение и примкнуть к мнению других.

У Флакса было кое-какое состояние, из-за которого к нему льнула одна молодая подозрительная женщина, — он же был уверен в ее страстной любви. И вот однажды он вдруг запер для меня дверь своего дома, и я с изумлением узнал, что причина этому — ревность. Крайне отталкивающий характер этой связи наполнил меня отвращением и ужасом — тем более что я тогда в первый раз столкнулся с подобного рода явлением. Мне стало внезапно совершенно ясно, что мой приятель — помешанный, и я устыдился моего продолжительного ослепления настолько, что довольно долгое время не показывался ни на одном садовом концерте из боязни встретиться там снова с моим лже-Крейслером.

18

Первая соната. Квартет. Музикдиректор Кюнлейн. Разрушенная школьная карьера

В это время я сочинил мою первую сонату d-moll. Начал я, кроме того, пастораль, причем разработку ее вел так, как, наверное, никто до меня не делал. Форма и содержание моего творения были навеяны гётевскими

«Причудами возлюбленной». Я набросал только общий план текста и приступил одновременно к сочинению стихов и музыки, а также и к инструментовке, причем, когда я писал одну страницу партитуры, я не знал сколько-нибудь отчетливо текста следующей страницы. Припоминаю, что таким поистине фантастическим путем, без малейшего умения писать партитуры, я все-таки разработал и довел до конца один большой номер этой вещи: вышла целая сцена для трех женских голосов и арией тенора в заключении. Желание писать для оркестра было во мне так велико, что, достав партитуру «Дон Жуана», я приступил к оркестровке большой арии для сопрано, которую, на мой взгляд, я инструментовал довольно тщательно. Затем я написал квартет D-dur, предварительно прилично усвоив альтовый ключ. Полное незнание до того времени этого ключа доставило мне много хлопот при изучении одного из гайдновских квартетов.

С таким музыкальным багажом я предпринял в это лето свое первое путешествие в качестве композитора. Сестра Клара, бывшая замужем за певцом Вольфрамом, была приглашена в Магдебургский театр. Туда-то я и отправился пешком, по старой привычке к подобного рода путешествиям. Из моего кратковременного пребывания у родственников я вынес кое-какие неожиданные музыкальные впечатления: я встретился с новым оригиналом, влияния которого на меня я поныне забыть не могу. Это был музикдиректор Кюнлейн, действительно своеобразный, странный человек. Уже пожилой, болезненный и, к сожалению, злоупотреблявший алкоголем, он импонировал мне необыкновенным полетом мысли и изысканностью речи. Самой главной его особенностью было безграничное преклонение, чуть не обожествление Моцарта и в то же самое время ожесточенное пренебрежение к Веберу. Он читал только одну книгу — «Фауста» Гёте, и на каждой странице этой книги были им подчеркнуты места,

в которых, на его взгляд, следовало видеть подтверждение гениальности Моцарта или ничтожества Вебера. Этому человеку зять передал на просмотр мои композиции, чтобы по его отзыву судить о моих способностях.

Когда однажды вечером мы сидели и благодушествовали в трактире, туда явился старый Кюнлейн и с серьезным и приветливым видом подошел к нам. Судя по выражению его лица, я ждал хорошего отзыва. Зять спросил его, что он думает о моих работах. «Никуда не годится», — ответил он с кротким спокойствием. Привыкший к странностям Кюнлейна, зять громко расхохотался, что меня до некоторой степени успокоило. Добиться от него ясных оснований его суждения и каких-либо указаний я не мог. Всякий раз он сводил разговор к новым глумлениям над Вебером, и только раз упомянул о Моцарте, что все-таки произвело на меня известное впечатление, так как Кюнлейн всегда изъяснялся с почти экстатическим жаром.

С другой стороны, я в это же самое время тут же, в Магдебурге, сделал чудесное открытие, которое должно было увлечь меня далеко от «учения» Кюнлейна: это была партитура гениального бетховенского квартета Esdur, в то время еще сравнительно нового произведения. Зять заказал для меня список с него. Обогащенный неожиданными впечатлениями, с новым сокровищем в руках, я уехал в Лейпциг, в мое гнездо, к месту, где зарождались мои музыкально-фантастические начинания. Но здесь я не мог уже помешать вернувшимся членам семьи, к которой присоединилась и сестра Розалия, узнать наконец всю правду про мою окончательно разрушенную школьную карьеру.

19

Фантазии, сонаты, увертюры. Песня на греческом языке. Чтение

Обнаружилось, что в течение целого полугодия я вовсе не посещал гимназии. Ввиду того, что все жалобы,

направленные к дяде, не вели ни к чему, ректорат, по-видимому, решил махнуть рукой и отказаться от всяких попыток воздействовать на меня, чему я сам сильно способствовал, как выше указано, тем, что совершенно не появлялся более на занятиях.

Снова начали совещаться, как со мной быть. Так как я настаивал самым решительным образом на своем желании непременно заниматься музыкой, то родные решили, чтобы я, по крайней мере, хотя бы научился играть как следует на каком-нибудь инструменте. Зять Брокгауз предложил отправить меня в Веймар к Гуммелю, чтобы там сделать из меня пианиста. Но когда я стал горячо доказывать, что для меня «заниматься музыкой» значит «компонировать», а не «играть на каком-нибудь инструменте», они уступили и решили, что я буду продолжать изучать гармонию у того же музыканта Мюллера, у которого я и раньше тайно брал до сих пор еще не оплаченные уроки. За это я должен был обещать прилежно заниматься в гимназии Святого Николая.

И то, и другое превратилось скоро для меня в муку, так как и здесь, и там я чувствовал себя, как в тисках. Это относилось, к сожалению, и к урокам музыки, так как сухие задачи по гармонии все больше и больше меня отталкивали, в то время как для себя я продолжал сочинять и исполнять фантазии, сонаты и увертюры. С другой стороны, самолюбие побуждало меня доказать в гимназии, что я многое умею, если только захочу. И когда нам, ученикам пятого класса, было задано сочинить стихотворение, я написал песню в стиле хора древнегреческих трагедий на греческом языке, посвященную последней войне греков за освобождение. Я, конечно, понимаю, что моя греческая поэма имела такое же приблизительно отношение к греческому языку и поэзии, как тогдашние мои сонаты и увертюры — к серьезной, профессиональной музыке. Мою попытку сочли

неслыханной дерзостью и презрительно отклонили. С этого момента у меня больше не осталось никаких воспоминаний о гимназии. Дальнейшие занятия в ней были с моей стороны тяжкой жертвой, которую я приносил домашним: тем, что делалось в классе, я совершенно не интересовался, а занимался на уроках исключительно чтением, которым очень увлекался.

20

Девятая симфония. Фортепьянное переложение в две руки. Скрипка. Новое увлечение театром. Шредер-Девриент

Уроки музыки, как уже было упомянуто, не приносили мне никаких плодов, и я продолжал свое музыкальное самообразование, списывая партитуры моих любимых мастеров, чем приобрел себе, между прочим, превосходный почерк, которым впоследствии многие любовались. Насколько я знаю, мои списки с Пятой и Девятой симфоний Бетховена еще и сейчас сохраняются как память обо мне.

Девятая симфония Бетховена стала как бы мистическим средоточием всех моих фантастически-музыкальных мыслей и планов. О ней сложилось тогда мнение — и, наверное, не в одном только Лейпциге, — что она написана Бетховеном уже в полубезумном состоянии. И это меня особенно к ней привлекло. Ее считали *«Non plus ultra»* всего фантастического и непонятного: этого было довольно, чтобы заставить меня со страстью углубиться в это творение демонического гения. Уже при первом взгляде на с таким трудом добытую партитуру меня словно с роковой силой привлекли к себе протяжные чистые квинты, с которых начинается первая часть симфонии: эти звуки, которые, как я уже рассказывал, играли такую таинственную роль в моих юношеских музыкальных впечатлениях, здесь

выступали для меня как призрачно-мистический основной тон моей собственной жизни. Эта симфония должна была заключать в себе тайну всех тайн, и я приложил самые напряженные усилия, чтобы списать для себя партитуру.

Помню, как однажды после целой ночи, проведенной за этой работой, серый предутренний свет так поразил меня и при сильнейшем моем возбуждении так на меня подействовал, что я громко вскрикнул, как будто увидев привидение, и спрятался в постель. Переложения этой симфонии для фортепьяно тогда еще не существовало. В публике она встретила так мало сочувствия, что издатель не нашел для себя выгодным выпустить клавираусцуг. Я составил полное фортепьянное переложение в две руки и пытался сам играть его. Мою работу я послал издателю партитур, Шотту, в Майнц, и получил в ответ письмо, в котором мне сообщалось, что издательство пока еще не решается приступить к выпуску клавираусцуга Девятой симфонии, но что оно охотно сохранит у себя мою добросовестную работу. Мне же в обмен оно предлагает в подарок партитуру большой *Missa solemnis*[8] — что я и принял с радостью.

Одновременно с этой работой я занимался некоторое время игрой на скрипке, так как мой учитель гармонии вполне разумно полагал, что будущему оркестровому композитору необходимо известное знакомство с устройством этого инструмента. Матушка заплатила скрипачу Сиппу, еще и ныне (1865) играющему в Лейпцигском оркестре, восемь талеров за скрипку. Какая судьба ее постигла — не знаю, но в течение трех месяцев я из своей удивительно крохотной комнатки терзал ней слух матушки и сестры. Я дошел до известных вариаций F-dur Майзедера, но только лишь до второй или третьей. Больше я

[8] Торжественная месса (*лат.*).

ничего не помню об этих упражнениях, а моя семья, к счастью, и, по-видимому, из эгоистических соображений, на дальнейших моих усилиях в этом направлении серьезно не настаивала.

Наступило, однако, время, когда меня снова охватил страстный интерес к театру. Дирекция Дрезденского придворного театра взяла на себя в течение трех лет руководство лейпцигской сценой, и в моем родном городе собралась при самых благоприятных условиях новая труппа. Сестра Розалия стала членом этой труппы, и благодаря ей я имел легкий доступ на все спектакли. Все то, что в мои детские годы удовлетворяло мое любопытство и занимало мое фантастически настроенное воображение, все это превратилось в гораздо более серьезную, осознанную страсть. «Юлий Цезарь», «Макбет», «Гамлет», пьесы Шиллера, наконец, гётевский «Фауст» глубоко волновали и воодушевляли меня. На оперной сцене ставились впервые «Вампир» и «Храмовник и еврейка» Маршнера. Итальянская оперная труппа прибыла из Дрездена и восхищала лейпцигскую публику своей необыкновенной виртуозностью исполнения. Даже я был до того охвачен царившим в Лейпциге ажиотажем, что почти забыл детские впечатления, оставленные во мне некогда синьором Сассароли. Как вдруг чудо, пришедшее к нам опять-таки из Дрездена, дало моему художественно-артистическому чувству новое, для всей моей жизни решающее направление.

То была кратковременная гастроль Вильгельмины Шрёдер-Девриент. Она была тогда в самом расцвете своей артистической карьеры, молодая, прекрасная, полная искренности и тепла. Никогда больше я не видел на сцене подобной женщины. Она выступила в «Фиделио».

21

Несравненная артистка. Бури восторга. Разбросанность занятий. Софокл

На всем протяжении жизни не могу вспомнить события, которое произвело бы на меня столь же глубокое впечатление, как это. Всякий, кто видел эту чудную женщину в тот период ее жизни, неизбежно должен был испытать на себе почти демоническое очарование от человечно-экстатической игры этой несравненной артистки. По окончании спектакля я бросился к одному знакомому, чтобы у него написать ей краткое письмо. В этом письме я с пафосом объявлял великой артистке, что отныне осознал смысл своей жизни, и что если она когда-нибудь услышит имя мое в мире искусства, покрытое славой, то пусть вспомнит, что это ее заслуга, что в этот вечер она раскрыла предо мной то, к чему даю отныне клятву стремиться. Письмо я отнес в гостиницу, где жила Шрёдер-Девриент, и оттуда, как безумный, бросился бежать — в темноту ночи. Когда я в 1842 году приехал в Дрезден, чтобы дебютировать с моим «Риенци», и здесь часто бывал в доме этой дружески ко мне расположенной артистки, она однажды поразила меня, процитировав на память совершенно точно то мое письмо: по-видимому, оно произвело тогда на нее впечатление, и она сохраняла его до тех пор.

В настоящее время я ясно осознаю, что смятение, испытанное мной тогда и отразившееся на всей моей жизни и, особенно на ходе моих работ, находилось в прямой связи с теми переполнявшими меня впечатлениями, которые произвело на меня это явление в области искусства. Я не знал, как себе помочь, что предпринять, чтобы создать нечто такое, что могло бы хоть сколько-нибудь соответствовать этим впечатлениям. Все, что не могло быть поставлено в прямую связь с ними, казалось мне настолько

пустым и ничтожным, что заставить себя заняться этим я не мог. Я мечтал об одном: написать нечто такое, что было бы достойно Шрёдер-Девриент. А так как я чувствовал, что это для меня недостижимо, то в экстатическом отчаянии я махнул рукой на всю свою творческую работу.

Школьная наука тоже, конечно, не могла меня захватить. Тогда я отдался без руля и ветрил случайному течению жизни и в обществе первых попавшихся товарищей погряз во всякого рода распутстве. Начался для меня тот период юношеского разгула, внешняя грязь и внутренняя пустота которого еще и теперь повергают меня в изумление. Выбор товарищей-однолеток зависел всецело от чистых случайностей. Не могу вспомнить, чтобы я к кому-нибудь из них привязался или питал особенную симпатию. Должен с уверенностью, однако, заявить, что сознательно не сторонился от общения со сколько-нибудь даровитыми юношами хотя бы из такого, например, мотива, как зависть. Моя неразборчивость в выборе товарищей и знакомых объясняется только одним: мне было все равно, полезно ли для меня то или другое знакомство или нет. Главное лишь иметь рядом кого-нибудь, кто сопровождал бы меня в моих прогулках и перед кем я мог бы, не задаваясь вопросом о том, понимают ли меня или нет, изливаться, сколько душе угодно. В конце концов, после продолжительных и откровенных излияний с моей стороны наступал неизбежно момент, когда я начинал ждать от приятеля ответного порыва, и тут, к моему удивлению, обыкновенно оказывалось, что ни о каком отклике не могло быть и речи. Когда, стремясь непременно выжать что-нибудь в ответ, я требовал от случайного приятеля проявления интереса к таким вещам, до которых ему не было никакого дела, наши отношения обыкновенно обрывались, совершенно не оставив никакого следа в моей жизни.

Моя странная дружба с Флаксом являлась в известном смысле как бы прототипом большинства моих последующих дружеских связей. Таким образом, у меня никогда ни с кем не складывалось прочных дружеских отношений, и этим объясняется, как могла захватить меня впоследствии в течение довольно долгого времени беспутная студенческая жизнь: здесь индивидуальные личные отношения совершенно отступали пред безличным, корпоративным началом. Среди всеобщего глупого шума и гама я оставался совершенно один, и очень возможно, что все эти нелепости и послужили своеобразной охранительной броней для моего внутреннего «я», которому еще нужно было время для естественного и постепенного созревания, и которое необходимо было уберечь от преждевременного творческого перегорания. На первый взгляд я разрушил всё. К Пасхе 1830 года я принужден был оставить гимназию Святого Николая. Я был у моих учителей слишком на дурном счету, чтобы рассчитывать получить оттуда доступ в университет. Было поэтому решено, чтобы в течение полугода я занимался дома и затем поступил в гимназию Святого Фомы. Здесь, в новых условиях, было уже в моей власти дотянуть до окончания и поступления в университет. Дядя Адольф, с которым я опять был в хороших отношениях и который не только не мешал моим музыкальным занятиям, но даже умел стимулировать и поощрять мою склонность к работе, повлиял на меня так, что при всей беспутности моей тогдашней жизни во мне вновь воскрес интерес к научным занятиям. Я стал брать у одного ученого частные уроки греческого языка и читал с ним Софокла. Некоторое время я сам надеялся, что чтение благородного греческого трагика вновь разбудит во мне желание углубленно заняться греческим языком. Однако все было напрасно: учитель оказался опять неподходящий, да к тому же комната, в которой мы занимались, выходила

во двор дубильного отделения кожевенного завода, и отвратительный запах оттуда раздражал мои нервы настолько, что совершенно отравлял мне и Софокла, и греческий язык.

22

Знакомство с историей. Контраст революционной политики и идеальной человечности. Июньская революция в Париже. Ее отголоски в Дрездене. «Фридрих и свобода»

Мой зять Брокгауз, желая дать мне заработать карманные деньги, поручил мне просмотр корректуры печатавшегося у него нового издания «Всемирной истории» Беккера в обработке Лёбеля. Для меня это был случай самостоятельно пополнить те поверхностные знания, которые в этой области, как и вообще во всех предметах, дает средняя школа, а также усвоить для себя то, что представляло для меня известный интерес. Так поступал я впоследствии по отношению ко всем тем наукам, которые преподносились нам в непривлекательном школьном преподавании. Не скрою, что эти первые серьезные занятия историей были для меня тем заманчивее, что мне платили по восемь зильбергрошей за лист, и я получил возможность зарабатывать деньги — такое в моей жизни случалось не часто.

Однако я был бы несправедлив к самому себе, если бы не упомянул и о том живом интересе, который впервые вызвало во мне серьезное изучение исторических эпох, до того знакомых мне лишь крайне поверхностно. В школе, помню, меня интересовал лишь классический период греческой истории: Марафон, Саламин и Фермопилы заключали всё, увлекавшее меня в истории. Теперь я в первый раз ближе познакомился с историей Средних веков и Первой французской революции, так как в то время, когда я держал корректуру, печатались именно те два тома,

которые охватывали эти столь различные исторические эпохи. Помню, что описания французской революции наполнили меня искренним отвращением к ее героям. Я совершенно не знал предыдущей истории Франции, и естественно, что нежное чувство человечности возмущалось во мне ужасной жестокостью революционеров. Это чисто гуманистическое негодование было во мне столь сильно, что и впоследствии мне приходилось делать над собой большие усилия, чтобы заставить себя внимательно вдуматься и понять политическое значение тех могучих событий.

Поэтому легко представить, как был я поражен, когда в один прекрасный день осознал себя самого современником политических явлений, живо напоминавших факты исторического прошлого. Я оказался непосредственно лицом к лицу перед событиями государственного масштаба, словно слетевшими с корректурных листов. Экстренные выпуски *Leipziger Zeitung*[9] приносили известия об Июльской революции в Париже. Французский король был свергнут с престола, Лафайет, рисовавшийся моему воображению каким-то сказочным рыцарем, гарцевал снова по улицам Парижа под радостные крики народа. Швейцарская гвардия была опять изгнана из Тюильри. Новый король, чтобы заручиться поддержкой народа, объявил себя республиканцем.

Осознание того, что живешь в эпоху, когда разыгрываются подобные события, неизбежно должно было на меня, семнадцатилетнего юношу, произвести необыкновенное впечатление. С того момента передо мной вдруг раскрылась история, и, конечно, я стал всецело на сторону революции: это была в моих глазах смелая и победоносная народная борьба, свободная от тех ужасных излишеств, которые запятнали Первую французскую революцию. Так как революционная волна скоро разлилась по всей

[9] «Лейпцигской газеты» (*нем.*).

Европе, везде вызывая потрясения и захлестывая на своем пути то одно, то другое германское государство, естественно, и я жил долгое время в лихорадочно напряженном возбуждении.

Тогда впервые я стал задумываться над причинами тех преобразований, которые представлялись мне борьбой между миром старым, отжившим, и миром новым, полным надежд. Волнения коснулось и Саксонии. В Дрездене дело дошло до уличного столкновения, поведшего непосредственно к известным политическим переменам, а именно к объявлению соправителем страны будущего короля Фридриха и к установлению конституционного строя. Эти события вдохновили меня написать политическую увертюру. Увертюра начиналась в мрачных тонах, но в ней затем намечалась тема, под которой в виде пояснения я подписал слова: «Фридрих и свобода». Тема эта должна была постепенно разрастаться все шире и богаче, до полнейшего ее триумфа. Я надеялся на успех этой увертюры и мечтал услышать ее в скором времени на одном из садовых концертов в Лейпциге.

23

Студенты и полиция. Насилия и бесчинства. Общий разгром

Прежде, однако, чем я успел приступить к дальнейшей разработке этого музыкально-политического наброска, начались беспорядки в самом Лейпциге, оторвавшие меня от моих творческих планов и заставившие принять непосредственное участие в политической жизни, которая здесь проявлялась только в одном: в антагонизме между студентами и полицией. Полиция была тем элементом, на ненависти к которому молодежь упражняла свою любовь к свободе. Во время одного из уличных эксцессов было арестовано несколько студентов: их во что бы то ни стало необходимо было освободить.

Студенческая молодежь, в среде которой уже несколько дней зрело беспокойство, собралась однажды вечером на рынке. Корпорации сошлись в полном составе и образовали круг подле их старейшин, причем во всем собрании, согласно студенческому кодексу, царила известная торжественность, необыкновенно мне импонировавшая. Пропели *Gaudeamus igitur*[10], построились в колонны и, подкрепленные всем, что было в Лейпциге молодого, сочувствовавшего студенчеству, двинулись серьезно и решительно к университету, чтобы там разгромить карцер и освободить заключенных студентов. Сердце билось во мне с необыкновенной силой, когда я маршировал вместе с другими брать новую Бастилию.

Но события получили неожиданный оборот: во дворе Паулинума торжественное шествие было встречено и задержано ректором Кругом, сошедшим вниз с обнаженной, седой головой. Его заверения, что арестованные по его распоряжению уже отпущены, были встречены громовым «vivat!». На том история и закончилась.

Однако напряженное ожидание революции было чересчур сильно: нужна была какая-нибудь жертва, чтобы дать этому напряжению разрядиться. Внезапно раздался клич: идти на одну из пользующихся дурной славой улиц, чтобы учинить народный суд над ненавистным членом магистрата, укрывшимся, по всеобщему мнению, в одном из домов терпимости. Когда я вместе с толпой прибыл на место, я нашел разгромленный дом, внутри которого толпа продолжала производить всякого рода насилия и бесчинства. С ужасом вспоминаю то опьяняющее действие, которое производила на окружающих эта бессмысленная, неистовая ярость толпы, и не могу отрицать, что и сам,

[10] «Будем радоваться, пока мы юны» (*лат.*).

без малейшего личного повода, принял участие в общем разгроме и, как одержимый, в бешенстве уничтожал мебель и бил посуду. Правда, всему этому предшествовал поступок со стороны члена магистрата, оскорбивший народную нравственность, но не думаю, чтобы сам по себе этот факт, послуживший как бы поводом ко всем эксцессам, сыграл какую-нибудь роль.

Меня, как сумасшедшего, закружило в общем вихре чисто демоническое начало, овладевающее в таких случаях яростью толпы. И на себе самом я испытал, что такие припадки проходят не так скоро, что, напротив, по известным естественным законам, они вырождаются сначала в бессмысленное стремление к разрушению и затем лишь постепенно замирают. Едва раздался призыв идти в другое подобное же место, как и я уже мчался со всей толпой в противоположный конец города. Там производились те же геройские подвиги, шел тот же нелепый разгром. Пьяных, насколько помню, в толпе не было: ни я, ни кто-либо из окружающих не взбадривали себя спиртными напитками. И, тем не менее, я пришел в конце концов в такое состояние, какое бывает лишь результатом сильнейшего опьянения. Проснулся я на другое утро после отвратительного сна, и только взглянув на трофей — кусок красной занавески, — который я захватил с собой домой в качестве свидетельства произведенных мной геройских подвигов, я вспомнил все, что происходило в ту ночь, и собственное участие в событиях. Меня очень успокоило, что повсюду — и в нашей семье тоже — ко всем этим юношеским безобразиям отнеслись с одобрением: общество сочло бесчинства молодежи выражением нравственного негодования против действительно возмутительных фактов, и я мог, не боясь, признаваться в том, что принимал участие в беспорядках.

24

Рабочий пролетариат. Студенческие патрули. Охранные отряды молодежи во владениях богатых купцов. Военная квартира матадоров

Опасный пример, данный молодежью, заразил, однако, и низшие классы, а именно рабочий пролетариат. Последовали эксцессы с их стороны против нелюбимых фабрикантов и вообще *хозяев*. Дело приняло, таким образом, более серьезный оборот. Собственность оказалась под угрозой, а призрак борьбы между нищетой и богатством уже стоял перед домами граждан. И так как в Лейпциге вовсе не было войск, а полиция была совершенно дезорганизована, то на защиту от простонародья были призваны студенты.

И тут студенчество явилось мне в такой славе, в какой оно рисовалось разве что в моих сновидениях гимназиста. Студенты стали ангелами-хранителями Лейпцига! На призыв властей вооружиться и сплотиться в защиту собственности откликнулись те же самые молодые люди, которые два дня тому назад сами бесчинствовали, охваченные жаждой разрушения. Городские советники и начальники полиции взывали к тем самым корпорациям и общестуденческому союзу, которые еще накануне ими же и преследовались. В ответ на это обращение юноши, кое-как вооруженные и сохранявшие наивные формы средневековой воинской организации, разбились патрулями по городу, заняли посты у городских ворот, образовали охранные отряды во владениях некоторых богатых купцов и взяли под свою бдительную защиту отдельные общественные места и заведения, среди которых наибольшей опасности подвергались некоторые гостиницы. Не будучи еще, к сожалению, сам студентом, я старался хоть как-нибудь преждевременно приобщиться к прелестям

студенческой гражданственности, то смелостью, то лестью стремясь заручиться доверием наиболее уважаемых вожаков молодежи. Особенно мне посчастливилось зарекомендовать себя перед их, так сказать, заводилами благодаря родству с Брокгаузом, в доме которого долгое время была сосредоточена главная военная квартира этих «матадоров». Моему зятю тоже одно время грозила серьезная опасность, и только присутствию духа и предусмотрительности он обязан спасением от разгрома своей типографии, своих печатных станков, против которых главным образом и направлена была ненависть рабочих. Чтобы защитить его собственность от дальнейших нападений, во владения его были командированы особые студенческие отряды. Превосходное угощение, которое либеральный хозяин обеспечил веселым охранникам в своем саду, в особом павильоне, привлекло туда все сливки студенчества.

Зятя моего в течение нескольких недель охраняли непрерывно день и ночь ввиду, как говорили, вероятных нападений черни, и я переживал здесь, в обществе знаменитейших забияк университета, любимый и чтимый ими как посредник в широком гостеприимстве, которое им оказывали, настоящие сатурналии для моего «студенческого честолюбия». Еще долгое время охрана городских ворот оставалась в руках студентов.

Неслыханный почет, которым благодаря этому они были окружены в Лейпциге, привлекал сюда студентов отовсюду. Ежедневно прибывали к Галльским воротам большие повозки, в которых приезжали целые толпы самых отчаянных студентов из Галле, Иены, Геттингена и даже из гораздо более отдаленных мест. Они слезали у городских ворот, где находилась гауптвахта, и там оставались неделями, не заезжая ни в гостиницы, ни в частные квартиры. Здесь они жили на городскую дотацию, предъявляя свои счета за выпитое и съеденное в полицию, и знали

одну заботу: препятствовать тому, чтобы улеглись тревоги граждан, без которых их услуги по охране стали бы, конечно, излишними. Изо дня в день и, к сожалению, из ночи в ночь я принимал участие в общих «заботах», стараясь всеми мерами поддерживать в моих родных уверенность в неотложной необходимости всего этого.

Более спокойные, действительно желающие учиться студенты скоро бросили выполнение своих охранных функций, и только самые отбросы «абсолютного студенчества» оставались настолько упрямо верными своему делу, что властям стоило очень больших усилий освободить этих молодых людей от их обязанностей. Я выдержал до самого конца и завязал при этом знакомства, совершенно удивительные для моего возраста. Многие из самых отпетых «студиозусов» так и остались проживать в Лейпциге даже после своей охранной миссии и превратились в отчаянно распутных молодцов. Это были молодые люди, не раз уже изгнанные из различных университетов за драки и долги и нашедшие теперь в Лейпциге, где их благодаря совершенно особым условиям встретили сначала с распростертыми объятиями, надежное убежище.

25

Смелые речи саксонского Лафайета. Коммунальная гвардия. Университет. Цвета землячеких корпораций

В моих глазах все эти события, подобно землетрясению, разрушили весь привычный порядок вещей, весь уклад жизни. Зять мой, Фридрих Брокгауз, имевший полное основание обвинять прежние власти Лейпцига в неспособности поддерживать спокойствие и порядок, попал в струю видного оппозиционного движения. Его смелые речи, направленные в ратуше против членов магистратуры, сделали его популярным. Он был выбран вице-комендантом

вновь созданной в Лейпциге так называемой общественной гвардии. Эта гвардия освободила наконец от студентов, перед которыми я благоговел, сторожевые посты у городских ворот. Нам было запрещено впредь задерживать прохожих для осмотра паспортов. Зато в новой гражданской милиции я видел нечто вроде французской национальной гвардии, а в моем зяте Брокгаузе — саксонского Лафайета. И это давало желанную пищу моему в высшей степени разгоряченному воображению.

Я начал с увлечением читать газеты и интересоваться политикой. Но в смысле личных интересов политика привлекла меня не настолько, чтобы заставить изменить любимому обществу студентов. Я последовал за ними из гауптвахты у городских ворот в обыкновенные кабачки, куда снова укрылась слава учащейся молодежи.

Особенно страстно мне хотелось самому стать поскорее студентом. Достичь этого можно было только одним путем: надо было снова поступить в гимназию. В гимназии Святого Фомы, где ректором был человек старый и слабый, я мог скорее рассчитывать на успех. Я поступил туда осенью 1830 года с одной определенной целью — приобрести право быть допущенным к выпускным экзаменам. Важнее же всего для меня было, что вместе с приятелями-единомышленниками я организовал в гимназии нечто вроде студенческого братства, так называемого *Pennaler'ов*. Организация его была проведена со всевозможным педантизмом: введен *Komment*, упражнения в фехтовании, дуэли на рапирах. На торжестве открытия корпорации, на которое было приглашено несколько настоящих вождей студенчества, я в качестве *Subsenior'а*[11] председательствовал в белых кожаных рейтузах и высоких сапогах с раструбами,

[11] Помощника председателя.

предвкушая все блаженство предстоящей жизни, когда, наконец-то стану настоящим студентом.

Однако учителя в гимназии были далеко не расположены беспрекословно содействовать моему стремлению стать студентом. К концу полугодия они нашли, что я совсем не интересовался занятиями в их учебном заведении, и никак не соглашались признать, что своей возросшей ученостью я приобрел право «академического гражданства». Надо было всему этому положить конец: я разъяснил моей семье, что совершенно не стремлюсь сделать хлебную карьеру в университете, а напротив, решил твердо стать музыкантом. Поступлению моему в университет в качестве *Studiosus musicae* ничто не препятствовало: махнув рукой на педантические придирки гимназических владык, я гордо оставил бесполезную для меня гимназию и обратился напрямую к ректору университета, с которым познакомился уже раньше, в дни народных волнений, с прошением о принятии меня в университет в качестве студента музыкального факультета, что и совершилось по внесении определенной платы без дальнейших затруднений.

Однако нужно было торопиться: через неделю наступали пасхальные каникулы, студенты разъезжались из Лейпцига, и тогда, до самого конца праздников, нечего было и рассчитывать быть принятым в корпорацию. Оставаться же все это время в Лейпциге, где я жил, не имея права носить цвета своей земляческой корпорации, к которому я так стремился, представлялось мне невыносимой мукой. Непосредственно от ректора я помчался стрелой в фехтовальный студенческий зал, чтобы, предъявив студенческий билет, просить о зачислении меня в землячество саксонцев. Цель моя была достигнута. Отныне я мог носить цвета корпорации «Саксония», очень в то время любимой и почитаемой всеми как насчитывающей в своей среде много воспитанных молодых людей.

26

Пасхальные каникулы. Красавец Гебгардт. Товарищ Дегело. Выработка корректной внешности. Тщедушный студентик и «старые петухи». Саксонская шапочка. На «кривых саблях». Рапиры в опытных руках

В эти пасхальные каникулы, в течение которых я был единственным во всем Лейпциге представителем корпорации «Саксония», со мной случился ряд необыкновенных происшествий. Наша корпорация состояла первоначально главным образом из дворян, и к ним примкнули самые элегантные слои студенчества. Все принадлежали к наиболее уважаемым и состоятельным семьям Саксонии и особенно Дрездена, ее главного города, и каникулы проводили у себя дома, вместе со своими родными. В Лейпциге же оставались во время каникул одни только бездомные, «дикие» студенты, для которых, собственно говоря, не было никаких каникул. Вернее, каникулы для них никогда не прерывались. Между ними выделялась особая конгрегация отчаянных и буйных молодых дикарей, которые, как я уже выше упоминал, нашли здесь в дни былой славы студенчества последний приют.

С этими, мне необыкновенно импонировавшими и возбуждавшими мою фантазию, рубаками я лично познакомился еще тогда, когда они охраняли владения Брокгауза. Хотя университетский курс длился всего три года, большинство этих молодых людей не отлучалось из университета на родину в течение шести-семи лет. Поистине очарован был я неким Гебгардтом, необыкновенным красавцем и силачом: его героическая, стройная фигура возвышалась над всеми его товарищами. Однажды, когда он шел по улице об руку с двумя приятелями, здоровыми и крепкими молодыми людьми, ему вдруг пришло в голову поднять их высоко в воздух. Как бы с парой крыльев

из людей, он продолжал порхать с ними дальше по улице. Коляску, быстро мчавшуюся навстречу, этот человек останавливал сразу, ухватившись рукой за спицу заднего колеса. Он был глуп, но никто не осмеливался говорить об этом вслух из боязни перед его силой, и ограниченность его, таким образом, как бы даже не бросалась в глаза. Страшная мощь при спокойном темпераменте сообщала ему какое-то особое достоинство, как бы ставившее его вне сравнения с остальными смертными.

Он прибыл в Лейпциг одновременно с товарищем Дегело родом из Мекленбурга. Этот был тоже силен и ловок, но размеров, во всяком случае, не столь колоссальных, и отличался большой живостью характера и необыкновенно подвижной физиономией. У него в прошлом была уже полная приключений бурная и беспутная жизнь, в которой игра, пьянство, безобразия любовного характера и всегдашняя готовность к дуэлям составляли главное содержание. Смесь бешеного самолюбия с наружной, выработанной, согласно студенческому кодексу, иронически-педантичной холодностью — такое сочетание являлось сущностью этой личности, как и всех подобных натур. Дикому, страстному темпераменту Дегело придавала особенную, демоническую привлекательность злобная бесцеремонность, с какой он часто относился к самому себе. Но в обращении с другими он нередко проявлял известную рыцарскую деликатность.

Вокруг этих двух наиболее ярких фигур группировались другие, образуя вместе компанию истинных представителей студенческого беспутства и доходящего до дерзости мужества. Некий Штельцер, настоящий боевой конь из «Нибелунгов», по прозвищу *Lope*, числился в университете уже двадцатый семестр. Все эти люди представляли собой несомненные пережитки угасающего прошлого. Это были последние представители мира, обреченного на гибель, — они сами это сознавали, и все их поведение объяснялось

этим их сознанием, их собственной верой в свой неотвратимый и близкий конец.

Среди них был некто Шрётер, особенно привлекавший меня своей приветливостью, своей приятной ганноверской речью, развитостью и остроумием. Он, собственно, не принадлежал к настоящим «отчаянным», но занимал среди них позицию спокойного наблюдателя. Все в кружке охотно встречались с ним и любили его. Со Шрётером я действительно подружился, хотя он и был значительно старше меня. Через него я познакомился впервые с сочинениями Генриха Гейне; от него я заимствовал некоторое определенное изящество в манере выражений. Я охотно поддавался симпатичному влиянию Шрётера, надеясь, между прочим, извлечь из общения с ним много для себя полезного в совершенствовании собственной внешности. Именно с ним я искал ежедневно встречи и находил его чаще всего либо в Розентале, либо в Швейцарской хижине Кинчи, всегда, однако, в обществе богатырей, вызывавших во мне смешанное чувство ужаса и поклонения.

Все они принадлежали к земляческим корпорациям, враждовавшим с той, к которой принадлежал я. Те, кто знаком с духом корпораций того времени и характером их взаимоотношений, поймут, что это значит: одного только вида враждебных цветов было достаточно, чтобы у самых добродушных людей, если только они были хоть сколько-нибудь под хмельком, темнело в глазах от ярости, и они готовы были положить друг друга на месте. Во всяком случае, то обстоятельство, что я, молоденький, тщедушный студентик с ненавистной им цветной лентой, так доверчиво вертелся среди них, возбуждало в этих «старых петухах», пока они были трезвы, своего рода благодушное одобрение.

Свои цвета, однако, я носил совсем особым образом: в те короткие восемь дней, пока в Лейпциге еще оставались

члены моей корпорации, мне удалось приобрести необыкновенно красивую, богато расшитую серебром саксонскую шапочку: увидел я ее у некоего Мюллера, впоследствии крупного полицейского чиновника в Дрездене, и меня охватило такое горячее желание обладать ней, что, воспользовавшись его денежными затруднениями и желанием уехать домой на каникулы, добился того, что он продал ее мне. И, несмотря на мою шапочку, эти «свирепые тигры», как я уже говорил, охотно допускали меня в свое логово. Мой друг Шрётер имел тут свое влияние. Только когда начинал действовать грог, главный напиток этой дикой компании, я часто замечал угрюмые взоры и улавливал долетавшие до меня угрозы, истинный смысл которых долгое время ускользал от моего затуманенного хмелем сознания.

При таких условиях я неизбежно должен был рано или поздно попасть в какую-нибудь историю. Так оно, конечно, и случилось, но поводом к этому послужило обстоятельство, несравненно более важное, чем мелкие уколы, которых я просто не замечал. Само столкновение носило характер для меня почетный, и это обстоятельство долгое время вызывало во мне чувство известного приятного удовлетворения.

Однажды мы со Шрётером сидели в одном из часто нами посещаемых винных погребков, и к нам примкнул Дегело. В сравнительно скромных выражениях он в интимной беседе признался нам в своем влечении к одной очень красивой молодой актрисе, в таланте которой Шрётер усомнился. На это Дегело ответил: пусть кто угодно думает, что хочет, он же считает эту молодую даму самой приличной женщиной во всей труппе. Я спросил его, считает ли он мою сестру менее приличной. Согласно студенческим представлениям о чести Дегело, не имевший и отдаленнейшего намерения оскорбить меня, сделал все, что мог, не роняя своего достоинства: он ответил, желая

меня успокоить, что, конечно, он сестру мою считает не менее приличной, но настаивает на своем заявлении относительно той молодой дамы, о которой он упомянул. На это немедленно последовало с моей стороны объявление войны в обычной форме: «Ты глупый мальчишка». Слова эти, обращенные к зрелому малому, прозвучали в моих собственных ушах как смешная нелепость. Помню, что в первую минуту Дегело невольно передернуло, молния сверкнула в его глазах. Однако он быстро овладел собой и приступил к выполнению обычных при вызове формальностей.

Поединок предстоял на «кривых саблях». Участие в дуэли создало мне известную славу, и менее чем когда-либо чувствовал я поэтому желание держаться в стороне от привычной компании. Но я стал внимательнее прислушиваться к высказываниям этих рубак по отношению ко мне, и в результате не проходило вечера, чтобы между мной и кем-нибудь из этих ужасных скандалистов не выходило столкновения, сопровождавшегося всякий раз вызовом. Продолжалось это до тех пор, пока в Лейпциг не вернулся один из членов нашей корпорации, некто граф Сольмс. Он по-товарищески зашел ко мне, расспросил о происшедшем, похвалил мое поведение, но посоветовал до возвращения наших сокорпорантов не носить цветов братства и отстать от той дурной компании, в которой я вращался.

Все это, к счастью, длилось недолго. Университет оживился, фехтовальный зал наполнился снова. Необыкновенная и грозная ситуация, в силу которой я оказался, по студенческому выражению «висящим» на конце рапир полдюжины страшнейших рубак, доставила мне среди фуксов и молодых корпорантов и даже среди уважаемых буршей «Саксонии» почетное положение. Все формальности были урегулированы, промежутки между различными дуэлями установлены, и мне обеспечено было благодаря заботам «сеньоров» необходимое время для приобретения

хотя бы некоторой ловкости в фехтовании. Беспечность моя по отношению к предстоящим дуэлям, из коих каждая грозила мне смертельной опасностью, удивляла в то время меня самого. Но каким образом судьба все же охранила меня от последствий легкомысленного поведения, это и по сию пору кажется мне истинным чудом. Вот почему здесь уместно рассказать об этих вещах подробнее.

27

Фуксы. Бильярдная комната в ресторане. «Коммерс» земляческих корпораций. Смерть Дегело

Чтобы подготовить меня к дуэли, необходимо было познакомить меня на деле с характером поединков, и для этого я должен был лично на таких поединках присутствовать. Фуксы, однако, допускались на место поединка лишь в том случае, если им поручали выполнение некоторых мелких услуг: нам доверяли отнести рапиры корпорации (почетное драгоценное оружие, собственность землячества) к точильщику и оттуда принести их обратно. Такое поручение было небезопасно и должно было выполняться в большом секрете, так как дуэли были запрещены законом. В награду за исполненное поручение фуксу разрешалось присутствовать в качестве зрителя на предстоящей дуэли.

Когда я добился этой чести, местом поединка была назначена бильярдная комната в одном ресторане на Бургштрассе. Бильярд был отодвинут в сторону, и уполномоченные присутствовать зрители уселись на нем. Между ними был и я. Взгромоздившись повыше, я смотрел с бьющимся сердцем на жуткое и чарующее своим мужеством зрелище. Мне тогда рассказали про одного моего знакомого (еврея Леви, по прозвищу Липперт), который однажды на дуэли в этом же ресторане так энергично отступал перед своим противником, что, когда

за его спиной открыли дверь, он, пятясь, вышел на лестницу и сбежал по ней до самой улицы, все время отбиваясь от воображаемого противника.

После того как несколько пар сменили друг друга, наступила очередь поединка между сеньором «маркоманов» Темпелем, и неким Вольфартом, «замшелым» студентом, «обучающимся» в университете уже в продолжение четырнадцати семестров. С ним мне предстояло дуэлировать в будущем. Обычно потенциальному противнику присутствовать на такой дуэли не разрешалось, так как он мог заранее изучить слабые стороны своего партнера. Поэтому мой сеньор обратился к Вольфарту с вопросом, не требует ли он моего удаления, на что тот пренебрежительно ответил, чтобы оставили, ради бога, «фуксика» в покое. Таким образом, я собственными глазами видел, как был выведен из строя рубака, обнаруживший, между прочим, на этой дуэли такую опытность и ловкость, что исход будущего моего с ним поединка неизбежно должен был вызвать во мне серьезнейшую тревогу. Противник, студент огромного роста, рассек ему артерию на правой руке. Дуэль была немедленно прекращена, и врач заявил, что Вольфарт на долгие годы лишен возможности пользоваться оружием. В силу этих обстоятельств было тут же объявлено, что моя с ним дуэль состояться не может. Не отрицаю, что этот оборот дела был мне приятен.

Вскоре после этого в *Gruner Schenke*[12] состоялся первый всеобщий «коммерс» земляческих корпораций. Такие «коммерсы» — главное поле для скандалов, ведущих к дуэлям. Здесь я нажил себе новую дуэль с неким Тишером, но зато тут же узнал, что освободился от двух прежних, наиболее грозных противников, благодаря тому, что оба они бесследно скрылись, преследуемые за неоплаченные

[12] «Зелёном трактире» (*нем.*).

долги. Только об одном из них, а именно об ужасном Штельцере, по прозвищу Lope, я узнал кое-какие подробности: воспользовавшись тем, что в то время беглые поляки, которым удалось пересечь границу Польши, направлялись через Германию во Францию, он выдал себя за одного из пострадавших борцов и пробрался впоследствии в Алжир.

На обратном пути с «коммерса» Дегело, с которым мне предстояло через несколько недель драться, предложил мне прибегнуть к так называемому *Komment-Suspendu*, — приему, в силу которого, если обе стороны на него согласны, как это и было в данном случае, противникам разрешается до дуэли общаться и беседовать друг с другом; без этого всякого рода сношения между дуэлянтами строжайшим образом запрещались. Рука об руку возвращались мы вместе в город. С рыцарской мягкостью объявил мне мой грозный и столь интересный собеседник, что он рад через несколько недель встретиться со мной в поединке, что почитает это для себя за честь и удовольствие, так как любит меня и уважает за благородное поведение. Редко случалось, чтобы личный успех так льстил моему самолюбию. Мы обнялись и расстались с уверениями во взаимной симпатии, которые, благодаря своему торжественному характеру, оставили во мне незабываемый след. Дегело объяснил мне, что раньше ему необходимо отправиться в Йену, где ему предстоит дуэль на эспадронах. Через восемь дней пришло в Лейпциг известие о смерти Дегело, заколотого на этой дуэли.

28

Карты. Лицом к лицу с судьбой. Тихий шепот предостережения. Новая фаза серьезного труда

Известие это сильно поразило меня. Я жил, как во сне. Но вдруг пришло уведомление, что наступил срок моей дуэли с Тишером. Этот умелый и энергичный фехтовальщик

был выбран сеньорами мне в противники для первой дуэли, так как он был небольшого роста. Я беззаботно относился к предстоящему первому поединку, несмотря на то, что не мог особенно положиться на свой навык в фехтовании: обучение шло наспех и не дало особых результатов.

В то время я страдал эритемой, при которой, как мне говорили, ранения грозят особенно серьезной опасностью. Указание на это обстоятельство должно было повести за собой отсрочку дуэли. Однако мне и в голову не пришло заговорить о своей болезни, хотя такое умолчание считалось противоуставным, и при этом я был совершенно уверен в том, что, конечно же, буду изранен. Дуэль была назначена на 10 часов утра, и я вышел из своей квартиры, с улыбкой думая о том, как через несколько часов меня доставят домой всего изрубленного, и какое впечатление произведет это на матушку и на сестер. Когда я подошел к дому на Брюле, где жил мой сеньор, тот окликнул меня из окна. Это был спокойный, с приятными манерами человек, некто фон Шёнфельд. С трубкой в зубах, свисающей из окна на улицу, он сообщил мне: «Можешь идти домой, мальчик, ничего не будет — Тишер лежит в госпитале».

Когда я пришел наверх, я встретил нескольких корпорантов, от которых узнал, что Тишер прошлой ночью буйствовал пьяный в публичном доме и был там изуродован самым постыдным образом. Оттуда полиция доставила его в больницу. Результатом всего этого должно было стать его исключение из университета и прежде всего изгнание из студенческой корпорации.

Не могу ясно вспомнить, из-за чего принуждены были покинуть Лейпциг остальные забияки из числа вызванных мной в те злосчастные каникулы — знаю только, что эта полоса моей студенческой славы отошла на задний план и уступила место новым увлечениям.

Начался «фукс-коммерс», на который всякий, кто только мог, отправлялся через весь город в экипаже, запряженном четверкой цугом. Ритуал *Landesvater*[13] своей торжественностью произвел на меня настолько сильное впечатление, что мной овладело особого рода честолюбие: покинуть «коммерс» только одним из самых последних. Таким образом, я провел три дня и три ночи главным образом за игрой в карты. Эта страсть со времени первой ночи, проведенной на «коммерсе», опутала меня своей дьявольской сетью.

Несколько студентов из числа наиболее богатых — их было приблизительно с полдюжины — с рассветом засели за игру в ландскнехт и образовали с того момента ядро игроков, к которому в течение дня присоединялись все новые члены, возвращавшиеся из города. Одни приходили посмотреть, продолжается ли игра, другие уходили обратно в город. Только я в числе этих шести оставался там все время, дни и ночи, не покидая поста.

Сначала мне хотелось одного: вернуть игрой свой взнос за «коммерс» (два талера). Это мне удалось, и меня воодушевила надежда выиграть столько, чтобы расплатиться со всеми бывшими в то время у меня долгами. Здесь со мной повторилось приблизительно то же, что и с изучением теории композиции. Я был уверен, что по методу Ложье изучу композицию, и наткнулся на ряд неожиданных затруднений, на которых и застрял надолго. Так случилось и теперь с моим планом быстро улучшить свое финансовое положение: с выигрышем дело шло не так скоро, и в течение трех приблизительно месяцев я предавался азарту до такой степени, что все остальные мои страсти потеряли надо мной всякую власть. Я не показывался ни в фехтовальной зале, ни в кабачках, ни на дуэлях: целыми днями я ломал себе голову над тем, каким бы образом добыть

---

[13] «Пронзание во имя властителя» (*нем.*).

денег, чтобы затем в тот же вечер за один прием их проиграть. Напрасно матушка, не имевшая никакого представления о действительном характере моих гнусных ночных похождений, прилагала все усилия удержать меня по вечерам дома: изо дня в день уходил я после обеда и только с утренней зарей возвращался к воротам нашего дома, перелезал через них, так как ключа мне не давали, и пробирался тихонько в свою комнату, расположенную отдельно, в стороне от других.

В игре меня преследовали неудачи, и это доводило меня до отчаяния и разжигало страсть до крайности: я был как помешанный. Во мне совершенно исчез интерес ко всему, что до того так привлекало меня в студенческой жизни. Тупое равнодушие к мнению прежних товарищей овладело мной. Таясь от всех, пробирался я по вечерам в маленькие игорные притоны Лейпцига и здесь проводил ночи в обществе отборнейших негодяев студенческого мира. Тупо равнодушно переносил я даже явное презрение сестры Розалии, которая едва удостаивала меня взгляда при встречах, когда я, бледный и угрюмый юный распутник, заходил иногда в комнаты матушки.

Доведенный до крайнего отчаянья, я решился, наконец, прибегнуть к последнему средству: я рискнул смело стать лицом к лицу с преследовавшей меня судьбой. Во мне сложилось убеждение, что добиться выигрыша можно, лишь имея в своем распоряжении большие деньги для ставок, и когда матушка доверила мне получить свою пенсию, составлявшую довольно крупную сумму, я решил сделать опыт с этими деньгами. В ту ночь я проиграл все, что было мной принесено. Когда я ставил на карту последний талер, я переживал ощущения, каких я до того, во всю мою молодую жизнь, сравнительно богатую испытаниями, еще не испытывал. Потрясение было так велико, что, совершенно трезвый, я несколько раз уходил от игорного

стола: меня тошнило. С этим последним талером я рисковал всем на свете. О возвращении домой, к родным, нечего было и думать, и мысленно я видел уже себя среди полей и лесов, в сумерках наступающего утра, бредущим, как блудный сын, без определенной цели, без пристанища. Охватившее меня отчаяние не поддается описанию, так что, когда моя карта взяла, я весь выигрыш вместе со ставкой опять бросил на стол. И это было повторено несколько раз подряд, пока сумма выигрыша не достигла довольно заметной цифры. Я продолжал выигрывать. Отчаянная смелость не покидала меня, я шел на все: внезапно я с необыкновенной ясностью сознал, что играю сегодня в последний раз. Мне так необыкновенно везло, что банкометы в испуге решили прекратить игру.

Действительно, я не только вернул проигранное в эту ночь, но выиграл сверх того сумму, достаточную для покрытия всех долгов. Горячая, все возраставшая радость, святое чувство охватило меня. Вместе с поворотом счастья я ощутил возле себя Бога или ангела его, услышал тихий шепот предостережения и утешения. В последний раз я перелезал на рассвете через ворота, чтоб пробраться в свою комнату. Здесь я заснул глубоким и укрепляющим сном. Я проснулся поздно, бодрый, как бы вновь рожденный. Когда я отнес матери ее деньги, я, не стыдясь, совершенно откровенно, не ожидая расспросов, рассказал все, что произошло в эту решительную ночь, причем не скрыл, как преступно рискнул ее деньгами. Матушка сложила набожно руки, поблагодарила Бога за оказанную мне милость и высказала уверенность, что отныне я спасен, что отныне невозможно, чтобы я снова погряз в подобном пороке.

И действительно, с этого времени всякие искушения потеряли власть надо мной навсегда. Та атмосфера, в которой я до сих пор все более и более запутывался, сразу предстала

предо мной во всей своей нелепости и непривлекательности: страсть к игре сделала меня уже и ранее равнодушным к студенческому тщеславию. И, освободившись, я сразу стал лицом к лицу с совершенно новым миром. Отныне я весь принадлежал этому миру, отдавшись с необыкновенным, до того мне незнакомым чувством изучению музыки. Я вступил в новую фазу — то была фаза серьезного труда.

29

Мистическая роль оркестра. Музикдиректор Лейпцигского театра Генрих Дорн. Рождество 1830 года — «Новая увертюра». Первое выступление на арене музыки. Фатальные удары литавры. Взрыв веселых чувств в публике. Грустные чувства молодого композитора

Мое музыкальное развитие не совсем, однако, прекращалось в только что пережитый период полнейшего одичания. Напротив, это была единственная область, в которой моя духовная жизнь хоть как-то себя проявляла. О сколько-нибудь планомерной работе по изучению музыки, конечно, не могло быть и речи. Поэтому мне и сейчас непонятно, как ухитрился я найти время закончить довольно большое число композиций. О написанной мной увертюре в C-dur ($^6/_8$) и о сонате в четыре руки, B-dur, я не сохранил никаких воспоминаний. Помню только, что мы с сестрой Оттилией прилежно разыгрывали ее на фортепьяно, и так как она нам обоим понравилась, то я инструментовал ее для оркестра. Зато с другой моей композицией того времени, с увертюрой B-dur, у меня связано воспоминание, составившее эпоху в моей жизни.

Эта симфония была в такой же мере плодом моего изучения Девятой симфонии Бетховена, как некогда «Лейбальд и Аделаида» явилась плодом изучения Шекспира. Особенно ясно я старался подчеркнуть в этой вещи

мистическую роль оркестра: я разбил его на три мира, на три различных, друг с другом борющихся элемента. Мне хотелось дать читателю партитуры возможность следить глазами за игрой этих элементов, и для этой цели я решил воспользоваться цветными чернилами разных цветов. Но я не мог достать зеленых чернил, и это одно помешало мне в моих живописно-красочных стремлениях. Партии медных инструментов должны были быть написаны черными чернилами, струнные — красными, а духовые — зелеными.

Свою странную партитуру я предложил на просмотр тогдашнему музикдиректору Лейпцигского театра Генриху Дорну. Этот еще совсем молодой человек очень нравился лейпцигской публике и импонировал ей как чрезвычайно опытный и толковый музыкант, как приятный, любящий общество собеседник. Еще и теперь не могу понять, что побудило его пойти навстречу моему желанию выступить с этой увертюрой публично. Впоследствии я вместе с другими, знавшими любовь Дорна ко всякого рода насмешливым выходкам, стал склоняться к мысли, что он хотел воспользоваться случаем попросту вышутить меня. Однако сам он всегда настойчиво утверждал, что увертюра ему показалась интересной, и говорил при этом, что достаточно выдать ее за неизвестный труд Бетховена, чтобы публика, ничего не поняв, встретила вещь с восторгом.

Это было в Рождество рокового 1830 года. В рождественский сочельник спектаклей, по обыкновению, не было, и в Лейпцигском театре был объявлен концерт в пользу бедных, обычно мало привлекавший публику. Первым номером на программе стояли интригующие слова: «Новая увертюра» — и только. Репетицию я прослушал, забравшись с большими предосторожностями в укромный уголок. Я вынес высокое мнение о хладнокровии

Дорна, когда он, заметив подозрительное возбуждение среди музыкантов, начавших разбираться в загадочной композиции, проявил необыкновенную твердость и самообладание. Основная тема аллегро была по построению четырехтактная. Но после каждого четвертого такта вводился отдельный пятый, совершенно к мелодии непричастный, выделявшийся особым ударом литавры на второй его четверти. Так как удар этот звучал очень странно и одиноко, без связи с остальной музыкой, то игравший на литавре, думая всякий раз, что ошибается, в смущении смягчал его, боясь сообщить ему тот резкий акцент, с каким он был обозначен в партитуре. Лично я, испуганный собственным замыслом, был этим доволен. Однако Дорн, к моему искреннему огорчению, вывел пристыженную литавру на чистую воду и настоял на том, чтобы музыкант сообщал злосчастному удару указанную в партитуре выразительность.

Когда после репетиции я сообщил Дорну свои тревоги на этот счет, мне не удалось уговорить его согласиться на смягчение фатального удара литавры: он стоял на том, что так выйдет хорошо. Несмотря на его утешения, я был очень смущен и не решился открыть знакомым имя композитора. Только сестру Оттилию, которой уже пришлось однажды выстрадать секретные чтения моей пьесы «Лейбальд и Аделаида», я посвятил в эту тайну и уговорил отправиться со мной на концерт прослушать увертюру.

В этот вечер в доме моего зятя Фридриха Брокгауза было рождественское праздничное торжество, и на этом торжестве хотелось быть и мне, и моей сестре. Как член семьи моего зятя, сестра была в этот вечер особенно занята и, только с трудом могла вырваться из дому ненадолго. Зять, чтобы дать ей возможность поскорее вернуться, велел заложить для нас лошадей. Мое первое вступление на арену музыки было обставлено, таким образом, с некоторой

помпезностью: подъехали мы к театру в коляске. Оттилия заняла место в ложе зятя, а я принужден был искать свободного места в партере. Я забыл запастись билетом, и служитель не хотел пускать меня в зал. Тем временем настройка инструментов в оркестре становилась все интенсивнее, и я, боясь опоздать к началу, решил открыться, объяснив, что я — автор «Новой увертюры». Это помогло: меня без билета пропустили в зал. Я прошел к одной из передних скамей партера и опустился на нее, охваченный безумным волнением.

Увертюра началась. После того как «черные» медные инструменты провели свою полную выражения тему, вступила «красная» тема (Allegro), которая, как я уже говорил, на каждом пятом такте прерывалась ударом литавры из другого, «черного» мира. Какое впечатление произвело на публику дальнейшее вступление «зеленого» мотива духовых инструментов и затем сочетание всех трех тем, «черной, красной и зеленой», осталось для меня неясным. Фатальные удары литавры, выполняемые с особенной, злобной резкостью, привели меня в такое возбужденное состояние, что я совершенно растерялся.

В публике правильное и частое повторение этого эффекта вызвало сначала удивление, а затем и взрыв откровенного веселья. Я слышал, как мои соседи высчитывали наперед появление ударов и предсказывали их. А я, знавший верность их подсчетов, страдал от этого невыносимо. Я потерял сознание. Очнулся я наконец, как от странного, непонятного сна, когда увертюра, в которой я пренебрег всеми банальными заключительными формами, внезапно оборвалась. То, что я испытывал при чтении гофманских фантастических рассказов, ничто по сравнению с тем странным состоянием, в какое я пришел, когда под конец увидел полное изумление публики. Я не слышал никаких

выражений неудовольствия, ни шиканья, ни порицаний, не было даже смеха — было только всеобщее величайшее удивление перед чем-то необыкновенно странным: каждому, как и мне, казалось, что это какой-то неслыханный сон. Самое мучительное было, однако, впереди — мне необходимо было сейчас же оставить партер, чтобы проводить сестру домой. Пришлось встать, двинуться к выходу между скамьями — это было поистине ужасно.

Однако все это было ничто по сравнению с тем чувством, которое охватило меня, когда у дверей я столкнулся снова со служителем: странный взгляд, которым он проводил меня, оставил во мне неизгладимый след, и долгое время потом я не заглядывал в партер Лейпцигского театра. Надо было еще зайти в ложу за сестрой — она была полна живого ко мне сострадания. Надо было затем молча ехать с ней домой и там принять участие в семейном празднике, блеск которого казался злой иронией во мраке охватившего мою душу настроения.

30

Занятия в университете. Писательский стиль и глубокие проблемы человеческого духа. Лекции Вейсса

Однако я не поддался унынию: я думал загладить этот провал, найти утешение в имевшейся у меня в запасе другой увертюре к «Мессинской невесте». Эту увертюру я считал более удачной. Но о вторичном выступлении в Лейпцигском театре нечего было и думать, так как в дирекции, несмотря на дружеские мои отношения с Дорном, мое имя было очень скомпрометировано. В это же время я сделал наброски композиций к гётевскому «Фаусту», из которых некоторые сохранились у меня до сих пор. Но тут наступил тот острый период распутной студенческой жизни, который уничтожил во мне последние следы серьезного интереса к музыкальным работам.

Одно время я вообразил, что в качестве студента я должен посещать и лекции. Я попробовал слушать фундаментальный курс философии у Траугота Круга, мирного усмирителя студенческого восстания. Но достаточно было одного часа, чтобы заставить меня отказаться навсегда от подобной затеи.

Два или три раза, тем не менее, я посетил лекции по эстетике одного более молодого профессора Вейсса: такое необыкновенное прилежание находилось в связи с моим интересом к личности Вейсса, с которым я познакомился в доме моего дяди Адольфа. Вейсс тогда перевел «Метафизику» Аристотеля и посвятил ее, если не ошибаюсь, с известным полемическим расчетом Гегелю. Тогда я из разговора дяди Адольфа с Вейссом впервые узнал о философии и философах вещи, произведшие на меня глубокое впечатление. Припоминаю, что Вейсс, рассеянный вид, быстрая и порывистая речь которого, а главное — интересное, глубокомысленное выражение лица крайне поразили меня, в ответ на упрек в неясности его писательского стиля стал оправдываться тем, что решение глубочайших проблем человеческого духа ни в каком случае не может быть сделано доступным для черни языком. Этот показавшийся мне необыкновенно убедительным афоризм стал для меня с того момента в своем роде руководящим принципом. Помню, что я написал однажды по поручению матери письмо старшему моему брату Альберту, и брат пришел в самый искренний ужас по поводу этого письма, его стиля. Он выразил даже опасение, не болен ли я, не собираюсь ли сойти с ума.

Несмотря на то что из курса лекций Вейсса я должен был почерпнуть много интересного, мне не удалось прослушать его до конца: вся моя жизнь и обуявшие меня страсти влекли меня не к изучению эстетики, а к совершенно другим вещам. Тем не менее заботы матушки заставили меня даже в эту пору снова заняться музыкой. Было

совершенно очевидно, что мой прежний учитель Мюллер не мог поддержать во мне длительного, серьезного интереса к делу. Решено было поэтому посмотреть, не окажется ли способным сделать это другой, новый учитель.

31

Вейнлих. Фуга. Труднейшие контрапунктические эволюции. «На собственных ногах»

В то время место кантора и музикдиректора при церкви Святого Фомы, издавна считавшееся в Лейпциге очень почетным, занимал Теодор Вейнлих — до него это место занимал [Иоганн Готфрид] Шихт, а некогда сам Иоганн Себастьян Бах. По музыкальному образованию Вейнлих принадлежал к староитальянской школе, учился в Болонье, в школе падре Мартини. Как композитор, он был особенно известен своим замечательным уменьем прекрасно писать для голоса. Сам он рассказывал мне, что один лейпцигский издатель предлагал ему однажды на очень выгодных условиях заняться составлением нескольких тетрадей вокальных упражнений, подобных тем, которые другому издателю принесли хороший доход. Вейнлих ответил, что сейчас у него нет готовых композиций такого рода, и предложил ему, если тот действительно намерен издать что-нибудь из его сочинений, свою новую мессу. Однако издатель это предложение отклонил: «Кто получил мясо, может грызть и кости». Скромность, с какой Вейнлих, передал мне этот эпизод, была отличительной чертой этого прекрасного во всех отношениях человека.

Крайне слабый и болезненный, он колебался сначала, когда матушка пришла со мной к нему, прося принять меня в ученики. Долгое время не сдавался он на ее усиленные просьбы, пока, наконец, познакомившись по принесенной мной фуге с плачевным состоянием моих музыкальных

познаний, не согласился из видимой жалости и сердечного сострадания ко мне. При этом, однако, он поставил условием, чтобы в течение полугода я совершенно отказался от всяких композиций и терпеливо выполнял только его задания. Первую половину своего обещания я сдержал свято благодаря тому, что окунулся всецело в разгул студенческой жизни. Но заниматься одними упражнениями в четырехголосной гармонии, в связном, строгом стиле, — против этого решительно возмущался во мне не только легкомысленный студент, но и автор стольких сонат и увертюр! Вейнлих стал на меня жаловаться, хотел наконец и вовсе от меня отказаться. Это совпало с тем поворотным пунктом в моей жизни, который связан с потрясающими впечатлениями последней ужасной ночи в игорном доме.

Заявление Вейнлиха, что он больше ничего со мной сделать не может, взволновало меня почти так же, как и те события. Пристыженный и тронутый, я просил кроткого старика, которого искренне полюбил, простить меня и обещал отныне работать настойчиво и терпеливо. И вот однажды Вейнлих велел мне прийти утром в семь часов, чтобы у него на глазах до обеда разработать «скелет» фуги. Он действительно посвятил мне всё это время и следил внимательно за каждым мной написанным тактом, сопровождая свои замечания поучительными советами и указаниями. В полдень он отпустил меня, поручив дома закончить набросок и разработать побочные голоса. Когда я принес ему затем готовую фугу, он передал мне для сравнения сделанную им самим разработку той же темы.

Общая работа над одними и теми же задачами сблизила меня с моим милым учителем и связала нас плодотворной любовью: и для него, и для меня дальнейшие наши совместные занятия стали источником больших наслаждений. Меня поражало, как быстро текло при этом время. В течение двух месяцев я кроме целого ряда

сложнейших фуг успел проштудировать множество труднейших контрапунктических этюдов разнообразнейшего характера. Когда однажды я принес учителю одну особенно сложно разработанную двойную фугу, он прямо взволновал меня, заявив, что отныне я готов, что у него мне нечему больше учиться. Так как я знал, что эта работа, собственно, никаких усилий мне не стоила, то мне приходили в голову сомнения, могу ли я все-таки считать себя серьезно образованным музыкантом. Вейнлих сам, по-видимому, не придавал особенно большой цены тому, чему я научился у него. Он говорил: «Вероятно, вы никогда не будете писать фуг или канонов: то, что вы действительно усвоили, это самостоятельность. Вы стоите теперь на собственных ногах и чувствуете, что, если понадобится, справитесь с какими угодно трудностями».

32

Трезвость в гармонических и тематических построениях. Лейпцигский Gewandthaus. Исключительный любимей публики дирижер Поленц. Дикие выкрики фанфар и тяжелый ритм. Первые успехи. «Глупая фуга». Большая симфония

Благодаря влиянию Вейнлиха я полюбил спокойную ясность и связную текучесть в музыке. Это было то, чему он меня научил на собственном примере. Еще при работе над той первой фугой он заставил меня вести голоса в связи с написанным к ним текстом: так он пробудил во мне потребность удобно писать для голоса. Чтобы, однако, я вполне смог овладеть его методой, а он — ненавязчиво придать моему музыкальному стилю ясное спокойствие, Вейнлих в то же время задал мне сочинить сонату, в которой из преданности ему я должен был держаться величайшей трезвости в гармонических и тематических построениях. В качестве образца он указал мне на одну из детских сонат Плейеля.

Кто знал мои незадолго до того написанные увертюры, должен был прийти в величайшее изумление оттого, что я мог заставить себя сочинить подобную сонату. Чтобы вознаградить меня за выдержку, Вейнлих посоветовал владельцам музыкального издательства «Брейткопф и Гертель» напечатать ее. В настоящее время благодаря нескромности этой фирмы соната появилась у них во втором издании.

С этого момента Вейнлих разрешил мне все. Прежде всего он предложил мне сочинить фантазию для фортепьяно fis-moll. Я чувствовал себя совершенно свободным от установленных форм и написал ее в речитативно мелодическом стиле. Эту вещь он похвалил, и его похвала доставила мне истинное удовлетворение. Вслед за тем возникли три увертюры, и все три вызвали его благосклонный отзыв. Первая из них (d-moll) была исполнена в ближайшую зиму (1831–1832) на одном из концертов Лейпцигского Гевандхауза.

Здесь царила тогда достаточная свобода нравов. Инструментальные произведения игрались без дирижера — перед пюпитром просто становился концертмейстер (Маттэи) и вел оркестр своей игрой на скрипке. Только при исполнении вокальных номеров появлялся с внушительной синей дирижерской палочкой в руке исключительно популярный в Лейпциге Поленц — истый тип благодушного толстого музикдиректора — и становился за дирижерским пультом.

При таких условиях ежегодное исполнение Девятой симфонии Бетховена представляло собой нечто в высшей степени странное. Сначала оркестр справлялся с первыми тремя частями, словно с какой-нибудь гайдновской симфонией. Затем появлялся Поленц, чтобы на этот раз вместо легковесной итальянской арии, вокального квартета или кантаты, выполнить труднейшую для дирижера

задачу: провести максимально сложную четвертую часть с ее, можно сказать, загадочно скомпонованным оркестровым введением. Никогда не забуду моего впечатления от одной из первых репетиций этой симфонии. Поленц боязливо и старательно держал такт в три четверти, и дикие выкрики фанфар, с которых эта часть начинается, в комбинации с тяжеловесным поленциевским ритмом вызывали ощущение какой-то невероятной, «прихрамывающей» галиматьи. Поленц держался своего темпа в надежде как-нибудь справиться с речитативом контрабасов — это не удавалось. Он напрягал все усилия, но речитатив никак не налаживался, и, помню, меня охватило тоскливое сомнение, не написал ли Бетховен и в самом деле подобной нелепости. Наконец предел этому положил контрабасист Темлер, заслуженный ветеран оркестра, человек прямой и грубый: он крикнул энергично Поленцу, чтобы тот оставил палочку в покое, — и речитатив прошел.

Однако с того момента, как я услышал исполнение четвертой части симфонии при столь неординарных, не вполне для меня ясных обстоятельствах, во мне зародилось мучительное сомнение, понимаю ли я сам это странное музыкальное произведение или нет. Долгое время я гнал от себя всякие размышления на этот счет и без всякой аффектации стал искать удовлетворения в музыке совсем другого свойства — светлого, успокаивающего характера. В особенности изучение контрапункта привело меня к тому, что я преклонился перед благодетельной прелестью творчества Моцарта, перед его легкой и текучей манерой разработки труднейших технических задач. В этом отношении последняя часть его большой симфонии C-dur представлялась мне образцом, достойным всяческого подражания. После того как моя увертюра d-moll, написанная под сильным влиянием бетховенской увертюры «Кориолан», была удачно исполнена, встречена публикой благосклонно

и доставила мне в первый раз возможность увидеть на лице матушки улыбку одобрения и надежды, я написал вторую увертюру C-dur, завершавшуюся таким фугато, лучше которого я в то время ничего не в состоянии был создать в честь своего нового кумира.

И эта увертюра тоже была скоро исполнена на одном из концертов гастролировавшей в Лейпциге популярной певицы Палаццези (из Дрезденской итальянской оперы). Еще до этого я прослушал ее на концерте музыкального общества «Эвтерпа», где сам дирижировал. При этом, помню, странное впечатление произвело на меня одно замечание матушки: моя увертюра, выдержанная в строгом полифоническом стиле и лишенная эмоционального оживления, неприятно поразила ее. Свое удивление по этому поводу она выразила тем, что подчеркивала в разговоре со мной свой восторг перед исполненной на том же концерте увертюрой «Эгмонт». Она говорила, что «этот род музыки все же больше волнует, чем какая-нибудь глупая фуга».

Вслед за тем я написал еще одну (opus 3) увертюру к драме Раупаха «Король Энцио», в которой снова стало заметным бетховенское влияние. Благодаря хлопотам сестры Розалии я добился того, что ей разрешили исполнить эту увертюру в театре перед началом спектакля. Из предосторожности, однако, о ней на афише не объявили, продирижировал же ней музикдиректор Дорн. Так как исполнение ее не встретило никаких противодействий, а публике она не помешала ни в чем, то при дальнейших представлениях долго державшейся на сцене драмы Раупаха о моей увертюре объявлялось уже открыто, и она шла под полным именем композитора.

Теперь я приступил к написанию большой симфонии в C-dur. В ней я развернул все, чему научился и что извлек из Бетховена и Моцарта. Я мечтал создать музыкальное произведение, которое можно было бы исполнять и слушать.

Симфонию эту я тоже снабдил, конечно, заключительной фугой в последней части, а темы всех частей были так скомпонованы, что в тесном голосоведении могли быть контрапунктически согласованы друг с другом. При этом страстный, заносчиво смелый элемент первой части «Героической симфонии» не остался без явственного влияния на мою концепцию. Во [второй части] Andante можно было даже проследить отзвуки моего былого музыкального мистицизма: повторяющаяся вопросительная модуляция из минорной терции в квинту связывала в моем сознании это музыкальное произведение, разработанное с явным преобладанием стремления к ясности, с прежними детскими фантазиями.

Когда в следующем году я хлопотал об исполнении симфонии в Гевандхаузе и посетил с этой целью Фридриха Рохлитца, тогдашнего Нестора лейпцигских музыкальных эстетов и председателя концертного общества. Этот господин, которому была уже передана для просмотра моя партитура, был поражен моей молодостью: судя по характеру произведения, он ожидал встретить во мне гораздо более зрелого, опытного, старого музыканта.

Прошло, однако, довольно много времени, прежде чем увертюра была публично исполнена. За этот период я успел пережить много новых впечатлений, к рассказу о которых и перехожу теперь.

33

Польское восстание. Битва под Остроленкой. Партии польских эмигрантов. Граф Тышкевич

Короткая, но столь бурная студенческая жизнь не только задержала ход моего музыкального развития, но почти парализовала во мне всякую духовную жизнь. Однако, как уже было сказано, я не совсем забросил тогда занятия

музыкой. Теперь же, когда весь этот угар улегся и во мне снова проснулся интерес к миру политических явлений, я впервые почувствовал прямое отвращение к бессмысленному студенческому распутству. И действительно, скоро я забыл весь этот кошмар. Борьба Польши за освобождение из-под русского гнета была тем событием, которое наполнило мою душу все растущим восторгом. Кратковременные успехи поляков в мае 1831 года привели меня в изумление и экстаз: мне казалось, что совершается чудодейственное обновление мира. Напротив, весть о битве под Остроленкой поразила меня несказанно: как будто мир на моих глазах снова рушился.

Когда в студенческом кабачке, в обществе товарищей, я затронул в беседе одно из этих событий, меня грубо и зло вышутили, и тут я впервые ясно увидел ужасную, теневую сторону царившего в немецком обществе духа. В этой среде принципиально подавлялся всякий открытый энтузиазм: все втискивалось в рамки напускной внешней бравады, сердечной сухости и подчеркнутой бесчувственности. С величайшим хладнокровием и без малейшего желания напиваться допьяна и делать долги считалось почти такой же доблестью, как мужество на дуэли. Лишь впоследствии я понял благородную сущность немецких *Burschenschaft'ов*[14], совершенно скрытую под этими уродливыми извращениями студенческого духа. Но тут я лично ощутил всю возмутительность господствующего настроения, когда в ответ на выражения глубокой печали по поводу несчастного сражения под Остроленкой меня грубо осадили.

Должен к чести своей сказать, что эти впечатления помогли мне быстро порвать с разнузданным студенческим миром. В период занятий с Вейнлихом я позволял себе одно-единственное развлечение: каждый вечер я посещал кондитерскую Кинчи на Клостергассе, где со страстным

---

[14] Студенческих обществ (*нем.*).

рвением поглощал свежие номера газет. Здесь многие мне сочувствовали. Охотно прислушивался я часто к разговорам пожилых людей, оживленно беседовавших о политике. Интересовали меня тогда и беллетристические журналы, и я снова стал много читать, хотя без особого разбора. Теперь стало привлекать мое внимание все остроумное, все блестящее, тогда как раньше меня увлекало только все грандиозное и фантастическое. Но глубже всего меня захватила все-таки судьба польского восстания: осаду и взятие Варшавы я пережил как личное несчастье.

Неописуемо было мое волнение, когда через Лейпциг стали проходить первые партии польских эмигрантов, направлявшиеся во Францию, остатки разбитой польской армии, и никогда не забуду того впечатления, какое произвел на меня вид первой группы этих несчастных, расположившихся в гостинице *Grünen Schild*[15] на Фляйшергассе. Охватившее меня тогда глубокое уныние сменилось восторгом и настоящим энтузиазмом, когда в фойе Гевандхауза, где в тот вечер исполнялась симфония c-moll Бетховена, я имел возможность увидеть близко группу этих героев, состоявшую из нескольких выдающихся вождей польского восстания.

Особенно привлекли мое внимание могучая фигура и мужественное лицо графа Винцента Тышкевича: в этом человеке сочеталось спокойное, благородное достоинство с совершенно новым для меня выражением твердости и благожелательной простоты. Весь вид этого человека, в кунтуше и красной бархатной шапке, с истинно королевской осанкой, сразу уничтожил во мне все былое преклонение перед взвинченной повадкой «боевых петухов», столь характерной для наших героев из студенческой среды. Я был счастлив, когда вскоре увидел именно этого человека в доме моего зятя Фридриха

[15] «Зеленый щит» (*нем.*).

Брокгауза. Здесь я встречался с ним довольно часто как с человеком почти близким.

Дело в том, что мой зять проявил особенно горячее участие к несчастным польским повстанцам. Он стоял во главе комитета, организовавшего помощь бездомным скитальцам, и лично приносил этому делу в течение долгого времени очень серьезные жертвы. Отныне дом Брокгауза приобрел для меня особенную привлекательность. Вокруг графа Тышкевича, являвшегося в наших глазах центральным светилом маленького польского мирка, группировалось несколько других богатых эмигрантов. Из них в моей памяти особенно живо запечатлелась фигура некоего ротмистра Банземера, человека, отличавшегося безграничным добродушием, но и не менее безграничным легкомыслием и сверх того владевшего великолепной четверкой лошадей, на которых он с такой бешеной быстротой проезжал по городу, что приводил лейпцигских обывателей в настоящую ярость. Припоминаю, кроме того, что однажды я сидел за одним столом с тем самым генералом Бемом, чья артиллерия под Остроленкой проявила такие чудеса геройства.

И много других лиц перебывало в гостеприимном доме моего зятя: одни из них обращали на себя внимание утонченной вежливостью, другие — необычайной воинственной внешностью. Но настоящим образцом для меня надолго оставался только граф Тышкевич, как идеал мужественности: его я и любил, и чтил.

34

Трагический случай в жизни Тышкевича. Историческая дата польской конституции. Трапеза воинов. «Polonia»

Этот превосходный человек платил и мне некоторой взаимностью. Почти ежедневно приходил я к нему и часто проводил у него время среди окружавшей его шумной

«полувоинской» обстановки. Иногда он охотно со мной удалялся, чтобы где-нибудь в спокойном месте развеяться, сбежать от угнетавших его забот. До сих пор не было у него никаких известий о его жене и маленьком сыне, с которыми он расстался в Волыни. Кроме того, на душе его лежало тяжелое горестное воспоминание о событии, которое невольно вызывало к нему особенное сочувствие: об ужасном несчастье, его однажды постигшем, он сам рассказал моей сестре Луизе. Женившись на своей первой жене, он посетил с ней один из своих замков. Ночью в окне его спальни показалось привидение. Несколько раз он окликнул его и, не получая ответа, схватил ружье и... застрелил свою собственную жену: ей пришла в голову эксцентричная идея подразнить мужа, нарядившись духом.

Скоро я порадовался вместе с ним, когда пришло наконец известие о спасении его семьи, а затем приехала в Лейпциг его жена, вторая, с дивно красивым трехлетним мальчиком (Янушем). Мне было больно, что я не мог отнестись к этой даме с той же симпатией, с какой я отнесся к ее супругу: оттолкнуло меня то, что она оказалась сильно нарумяненной. Несчастная, совершенно измученная женщина старалась скрыть следы истощения и горя на лице. Вскоре она опять уехала в Галицию, чтобы спасти из своих владений то, что еще можно было спасти, и в то же время выхлопотать у австрийских властей для мужа паспорт, с которым он мог бы за ней приехать.

Наступило наконец 3 мая. Восемнадцать поляков, остававшихся в Лейпциге, устроили торжественную трапезу в одной из гостиниц, в окрестностях города, чтобы здесь отпраздновать дорогую для всякого поляка историческую дату польской Конституции. К участию в празднике был приглашен только президиум лейпцигского польского комитета — получил и я приглашение как знак особенной ко мне симпатии и расположения. Это был

удивительный, полный незабываемых впечатлений день. Трапеза этих воинов приобрела характер целого пиршества: приглашенный из города духовой оркестр непрерывно играл польские народные песни, которые вслед за запевалой литовцем Цаном, то с воодушевлением, то с грустью подхватывало все общество. Особенный, потрясающий энтузиазм овладел всеми при исполнении прекрасной песни «Третье мая». Плач и ликование возросли до крайних пределов, до невероятного шума. Наконец, общество разбилось на небольшие группы, на отдельные пары, которые, расположившись на лужайках в саду, углубились в горячие, полные патриотического огня и любви беседы, непрестанно повторяя неисчерпаемое по своему содержанию слово «отчизна» как общий для всех лозунг. Так длилось до тех пор, пока опьянение не окутало всех своим темным, как ночь, покровом. Сон этой ночи вылился у меня впоследствии в оркестровую композицию в форме увертюры, которую я озаглавил «Польша». О судьбе этого произведения расскажу ниже, при случае.

35

Отъезд Тышкевича. Короткая остановка в Дрездене. Здравица «диктатору Польши». Вена

Прибыли паспорта моего друга Тышкевича, и он намеревался отправиться через Брюнн в Галицию, что его друзьям казалось небезопасным. Во мне загоралось желание несколько шире взглянуть на Божий мир. Тышкевич предложил мне ехать с ним, матушка согласилась на столь заманчивое для меня путешествие в Вену. С моими тремя уже публично исполненными увертюрами и с большой, нигде еще не исполнявшейся симфонией в чемодане я отправился в путь: в удобном дорожном экипаже мне предстояло проводить Тышкевича до столицы Моравии. В Дрездене мы сделали короткую остановку, и здесь все

члены польской эмиграции благородного и неблагородного происхождения устроили в Пирне в честь любимого ими всеми графа прощальную трапезу. Шампанское лилось рекой, и будущему «диктатору Польши» провозглашена была здравица. Наконец мы расстались в Брюнне, откуда на следующий день на почтовых я отправился в Вену.

В течение второй половины дня и всей ночи меня несказанно мучил внезапно налетевший на меня страх заболеть холерой. Впервые попал я в местность, где, как я совершенно случайно узнал, эта эпидемия укоренилась довольно прочно. Только что расставшись с заботливым надежным другом, совершенно одинокий, в чужой стране, без каких бы то ни было связей на месте, я почувствовал себя так, как будто злобный демон завел меня куда-то в западню, чтобы совершенно уничтожить. В гостинице, на людях я старался не обнаруживать своего страха, но когда меня отвели в отдаленный флигель, где был устроен мой ночлег и где я ощутил себя совершенно покинутым, как в пустыне, я, не раздеваясь, зарылся в постель и пережил еще раз то же, что испытывал в детстве, когда меня по ночам преследовали привидения. Холера стояла передо мной, как живая: я ее видел, мог бы схватить ее рукой. Она подошла вплотную к моей постели, обняла меня. Все члены мои закоченели, я чувствовал смерть во всем теле. Был ли то сон или бред наяву, не знаю. Но с наступлением утра я встал и был в высшей степени удивлен, когда убедился, что жив и даже чувствую себя прекрасно. Мне удалось уйти от холеры и счастливо доехать до Вены, где тоже свирепствовала эта эпидемия, но где меня почему-то это совершенно не заботило.

36

«Ифигения» и «Zampa». Иоганн Штраус. Волшебный дирижер

Был разгар лета 1832 года. В оживленном большом городе, в котором я провел шесть недель, я почувствовал

себя скоро совершенно как дома, может быть, благодаря тому, что запасся рекомендациями к нескольким лицам, находившимся в дружеских отношениях с моей семьей. Поездка моя не была связана ни с какими практическими планами. Это была просто приятная прогулка, которая могла меня обогатить несколькими интересными впечатлениями. Поэтому согласие матушки дать мне хотя бы небольшие средства на эту поездку было продиктовано ей поистине одним лишь великодушием. Я посещал театры, слушал Штрауса, делал экскурсии и вообще жил в свое удовольствие. В результате я сделал кое-какие долги, которые пришлось погашать впоследствии, когда я был уже в Дрездене капельмейстером.

Здешние театральные и музыкальные впечатления оказали на меня, во всяком случае, очень освежающее влияние, и Вена долгое время оставалась для меня средоточием оригинального, самобытно народного творчества. В этом отношении больше всего меня удовлетворяли спектакли в театре «Ан дер Вин»: тут ставилась шуточная фантастическая комедия *Die Abenteuer Fortunats zu Wasser und zu Land*[16], где, между прочим, нанимают «фиакр к Черному морю».

В музыкальном отношении я разрывался между двумя совершенно противоположными впечатлениями. С гордостью повел меня один юный друг на «Ифигению в Тавриде» Глюка. Эту оперу мне особенно горячо советовали послушать и посмотреть из-за превосходного исполнения Вильда, Штаудигля и Биндера. Однако должен сознаться откровенно, что в общем мне это творение показалось скучным. Это было тем мучительнее для меня, что вслух признаться в этом я не решался. Благодаря известному фантастическому рассказу Гофмана я составил себе о Глюке еще до того, как познакомился с ним на деле, представление как о демонической, колоссальной фигуре. Я предполагал

---

[16] «Приключения Фортуната на воде и на суше».

найти в нем массу увлекательного, драматического огня и ждал от его знаменитейшего творения приблизительно таких же потрясающих впечатлений, какие я некогда испытал в тот незабвенный вечер, когда услышал «Фиделио» в исполнении Шрёдер-Девриент. Но экстаз мой во время большой сцены Ореста с фуриями по сравнению с теми ощущениями едва достигал и половинной высоты. Все остальное в опере возбуждало лишь торжественно напряженное ожидание чего-то, так ничем и не разрешившееся.

Настоящим же жизненным нервом венского театрального вкуса была опера «Цампа», ежедневно ставившаяся в обоих оперных театрах, у Каринтийских ворот и в Йозефштадте. Оба театра соперничали друг с другом в исполнении этого любимого произведения. Публика делала вид, что наслаждается «Ифигенией», но в искренний, бешеный восторг приходила она от «Цампы». И когда, оставив Театр в Йозефштадте, где только что всех и все приводила в экстаз «Цампа», мы входили в расположенный тут же *Tabagie von Strausslein*[17], нам навстречу неслись звуки попурри из «Цампы», разыгрываемого под лихорадочным дирижерством самого Штрауса. Эти звуки буквально воспламеняли всю публику. Никогда я не забуду того огня, того близкого к бешенству одушевления, с каким Иоганн Штраус вел оркестр, подыгрывая тут же на скрипке. Этот демон венского музыкального народного духа весь преображался при начале каждого вальса, как пифия на треножнике. И настоящий стон восторга вырывался у публики, опьяненной его музыкой более, чем выпитым вином, стон, возносивший волшебного скрипача-дирижера на недосягаемую высоту. Таким образом, знойный летний воздух Вены казался мне, в конце концов, насыщенным только «Цампой» и Штраусом.

---

[17] «Ресторан маленьких букетов» (*нем.*).

А крайне убогие экзаменационные испытания питомцев консерватории, во время которых исполнялись отрывки одной мессы Керубини, подтвердили, с другой стороны, что к культу классической музыки здесь относятся как к насильственно подаваемой милостыне. На том же самом испытании какой-то оставшийся мне неизвестным профессор, которому я был рекомендован, попробовал заставить учеников сыграть мою уже исполнявшуюся в Лейпциге увертюру d-moll. Не знаю, какого мнения были этот господин и его ученики относительно произведенной попытки, я же припоминаю только, что затея эта скоро была заброшена.

37

Старый граф Пахта и его красавицы дочери. Излюбленные высшие элементы духа. Дионис Вебер. Музыкальные успехи. Кондитер Хаша. Сатанинские страсти

Таким образом, увлекаемый в своем музыкальном вкусе на подозрительные окольные пути, я прервал свое первое образовательное посещение большого европейского художественного центра и пустился в дешевое, так как оно совершалось в почтовой карете, но очень скучное путешествие обратно в Богемию. Там я должен был навестить знакомое мне по юношеским воспоминаниям с самой лестной стороны семейство графа Пахта в его имении Правонин, в восьми милях в стороне от Праги.

Старый граф и его красавицы-дочери приняли меня очень радушно, и я до поздней осени пользовался их во многих отношениях благотворным гостеприимством. Я был тогда 19-летним молодым человеком с заметно пробивающейся бородкой, на которую благодаря рекомендательному письму моей сестры уже было обращено внимание молодых дам, и, конечно, постоянное близкое общение с такими красивыми и хорошими девушками

никоим образом не могло не произвести впечатления на мою фантазию. Старшая, Женин, была стройна, черноволоса, имела темно-синие глаза и удивительно благородный овал лица. Младшая, Августа, была поменьше и полнее, с ослепительным цветом кожи, белокурыми волосами и карими глазами. Полная непринужденность и чисто сестринское доброжелательство, которые постоянно сквозили в их обращении со мной, не помешали мне забрать себе в голову, будто я должен влюбиться в одну из них. Девушек очень забавляло наблюдать, до какой степени мне был труден выбор, и непрерывные поддразнивания являлись результатом моих ревностных ухаживаний.

К сожалению, мое поведение относительно молодых приятельниц не было достаточно целесообразно. Воспитанные в скромной домашней обстановке, они в силу особых условий рождения своеобразным образом колебались между надеждой на блестящий аристократический брак и необходимостью мириться с зажиточным бюргерским существованием. Поразительно ничтожное, почти средневековое образование настоящего австрийского «кавалера», вызывавшее мое презрение, было положено в качестве руководящего принципа и в основу воспитания моих юных приятельниц. Вскоре я с неприятным чувством констатировал их весьма неглубокие сведения в области эстетики и резко выраженную подготовленность во всем, что касалось внешних сторон жизни. Ни одно из моих пылких излияний на тему особо излюбленных мной высших элементов духа не нашло в них ни малейшего отклика. Я ратовал против плохих библиотечных романов, составлявших их единственное чтение, против итальянских оперных арий, которые пела Августа, и, наконец, против пошлых кавалеров, которые появлялись для того, чтобы оскорбительным для меня и грубым образом ухаживать и за Женин, и за Августой.

Мое усердие в последнем пункте повлекло вскоре за собой значительные неприятности. Я стал говорить резкие и оскорбительные вещи, углубился в толкование духа французской революции и дошел до отеческих советов — дружить, во имя всего святого, с образованными разночинцами, но порвать с этими высокомерными и неотесанными господами, знакомство с которыми может только повредить репутации девушек. Возмущение, которое я вызывал такими увещаниями, часто приходилось отражать суровой отповедью. Однако я никогда не просил извинения, и только мнимая или истинная ревность придавала в конце концов моей назойливости терпимую и, пожалуй, даже лестную форму. В таком нерешительном состоянии духа, не то влюбленный, не то раздосадованный, но все же сохраняя дружеские отношения, расстался я с прелестными девушками в один холодный ноябрьский день, чтобы вскоре после того снова встретить все семейство в Праге, где я пробыл довольно долго, не поселившись, однако, на жительство в графском доме.

Пребывание в Праге также должно было иметь музыкально образовательную цель. Я познакомился с директором консерватории Дионисом Вебером, и он обещал дать мне возможность прослушать мою симфонию. Кроме того, большую часть времени я проводил у одного актера, Морица, давнишнего друга нашей семьи, к которому у меня были рекомендации. В числе его знакомых находился такой же, как я, молодой музыкант, Китль, с которым я вскоре подружился. Мориц, наблюдавший мое ежедневное паломничество по поводу разных неотложных музыкальных дел к внушавшему страх главе консерватории, сымпровизировал однажды пародию на шиллеровскую «Поруку».

Zu Dionys dem Direktor schlich
Wagner, die Partitur im Gewande;
Ihn schlugen die Schüler in Bande:

Was wolltest du mit den Noten, sprich?
Entgegnet ihm finster der Wüterich:
Die Stadt vom schlechten Geschmacke befreien!
Das sollst du in den Rezensionen bereuen![18]

И действительно, мне приходилось иметь дело со своего рода «тираном Дионисием». Он признавал Бетховена только до его Второй симфонии, считал его «Героическую» уже результатом полного упадка вкуса мастера, почитал только одного Моцарта и рядом с ним из новых признавал лишь Линдпайнтнера. Понятно, что к такому человеку было трудно подойти, и мне пришлось ознакомиться с теми способами, при помощи которых удастся использовать «тиранов» для собственных целей. Я притворялся, симулировал удивление перед новизной его взглядов, никогда не противоречил ему и, подтверждая совпадение наших воззрений, ссылался на финальную фугу как своей увертюры, так и своей симфонии, которые были написаны в C-dur и создавались под несомненным влиянием Моцарта. Награда не заставила себя ждать: Дионис с юношеским одушевлением приступил к разучиванию моих оркестровых вещей. Ученики консерватории должны были с величайшей тщательностью пройти под его сухое, но ужасающе шумное отбивание такта мою новую симфонию, и в присутствии моих друзей, в числе которых находился в качестве попечителя консерватории и мой старый граф Пахта, действительно состоялось

---

[18] К Дионису-директору прокрался
Вагнер с партитурой под одеждами;
Его схватили и связали ученики:
Чего ты хотел достичь с этими нотами, скажи?
Вопрошал его мрачный тиран:
Город от дурного вкуса избавить!
Ты еще пожалеешь, когда рецензии появятся!

первое исполнение этого наиболее значительного из моих тогдашних произведений.

При этих музыкальных успехах я не оставлял своего оригинального ухаживания в привлекательной для меня семье графа Пахта, переживая самые удивительные перипетии. Моим товарищем по несчастью оказался один кондитер, по имени Хаша. Это был длинный, худой, в высшей степени сухой юноша, который, подобно большинству чехов, совмещал интерес к недурной кондитерской с занятиями музыкой. Аккомпанируя пению Августы, он почувствовал влюбленность, соответствующую его характеру. Ему, как и мне, были в высшей степени ненавистны часто повторявшиеся визиты кавалеров, посещавших столицу, но в то время как мое неудовольствие выражалось юмористически, его чувство становилось все более и более мрачным, и меланхоличным и даже делало беднягу внешне неловким и неуклюжим.

Так, в один из вечеров, когда решено было зажечь большую люстру в честь ожидавшегося главного кавалера, он зацепил ее своей высокой головой, сидящей на длинном теле, разбил и тем самым помешал праздничному освещению. Все это навлекло на него глубокое негодование матери наших приятельниц, так что после того он благоразумно решил прекратить свои посещения графского дома.

Вот когда я узнал первые приступы настоящего страдания, вызванного теми особенными, гложущими ощущениями ревности, которые, однако, в данном случае вовсе не вызывались истинной любовью. Помню, как однажды вечером я пришел в дом графа, и мать старалась задержать меня в передней, в то время как в гостиной, о чем я мог заключить по некоторым признакам, празднично разодетые барышни беседовали с ненавистным мне

молодым аристократом. Все, что оставалось непонятным для меня в некоторых рассказах Гофмана о сатанинских страстях, проснулось во мне внезапно с ужасающей живостью, и я покинул Прагу с несомненно преувеличенным и несправедливым мнением относительно обстоятельств и личностей, которые вовлекли меня в круг дотоле неведомых мне переживаний.

38

«Звуки колокола». Сюжет трагической оперы

Но еще одну выгоду вынес я из этого продолжительного выхода в свет: в Правонине я занимался сочинением поэтических текстов и музыкальной композицией. Я сочинял музыку на стихотворный текст друга моей юности Теодора Апеля, озаглавленный «Звуки колокола». Хотя уже в предыдущую зиму, в Лейпциге, я написал большую арию для сопрано и оркестра, которая исполнялась на театральном концерте, однако эта новая работа была первой вокальной композицией, проникнутой истинным чувством. По своему общему характеру она, несомненно, вылилась из впечатлений от бетховенских вокальных композиций, особенно из его Liederkreis. И все же я вспоминаю о ней как о лично мне принадлежащей вещи, преисполненной нежного, мечтательного чувства в аккомпанементе.

Мое поэтическое творчество заключалось в наброске сюжета трагической оперы, который я окончательно обработал в Праге, под названием «Свадьба». Я скрывал от всех свое авторство, что было довольно затруднительно, так как ввиду наступившего холода я не мог писать в своей маленькой нетопленой комнатке, но должен был проделывать это в квартире Морица, где проводил все послеобеденное время. Помню, что не раз приходилось торопливо прятать рукопись за спинку дивана, когда случайно входил хозяин.

Что касается сюжета этой драматической работы, то дело обстояло так. Уже несколько лет тому назад я случайно прочел в книге Бюшинга о рыцарстве трагический эпизод, который с тех пор мне нигде более не встречался. Одна благородная дама подверглась ночью насильственному нападению человека, тайно и страстно ее любившего. Сопротивляясь ему всеми силами оскорбленного чувства чести, она сбросила его вниз на каменный двор своего замка. Его загадочная смерть оставалась тайной до тех пор, пока во время торжественного погребения, на котором среди молящихся присутствовала и эта благородная дама, последняя внезапно не упала бездыханной. Таинственная сила страстного, затаенного чувства, выраженного в этом эпизоде, с неизгладимой живостью запечатлелась в моей фантазии. Находясь под непосредственным влиянием трактовки подобных явлений в рассказах Гофмана, я набросал новеллу, с расчетом предоставить в ней известную роль столь любезному мне в то время музыкальному мистицизму.

Действие должно было происходить в имении богатого покровителя искусств. В недалеком будущем ожидается свадьба, на которую приглашен и друг жениха, интересный, замкнутый, погруженный в меланхолию молодой человек. С этим обществом связан тесными узами и старый чудак-органист. Какие мистические отношения установились между музыкантом, меланхолическим молодым человеком и невестой, это должно было выясниться из развязки известных сплетений обстоятельств, поведших к такому же событию, как и то, о котором рассказывала средневековая легенда. Перед открытым гробом непонятным образом умершего юноши и тут же загадочно окончившей свои дни невестой друга умирает и старый музыкант, играющий на органе во время потрясающего похоронного обряда. Его находят мертвым на скамье,

когда над ним еще реют и возносятся ввысь отзвуки затихающего трезвучия. Новелла эта не была мной закончена. Но когда я задумал написать текст для оперы, то снова обратился к ее первоначальной редакции и разработал, руководясь ее основными чертами, следующее драматическое действие.

39

Детали. Черным по черному

Два знатных рода долго враждовали между собой и, наконец, решили закрепить клятвой свое примирение. По случаю обручения дочери с одним из верных приверженцев рода престарелый глава семьи пригласил на празднество сына своего бывшего врага. Свадьбу хотят соединить с праздником примирения. Гости полны недоверия и боязни предательства, а сердцем их вождя овладевает мрачная страсть к невесте его нового союзника. Его мрачные глаза впиваются в нее, и вот когда торжественная процессия отвела ее в брачный покой, где она должна дожидаться жениха, она внезапно видит, что в окно ее высокой башни на нее смотрят те же глаза, полные ужасной страсти. Она понимает, что дело идет о жизни и смерти. Она оттесняет к балкону пришельца, который пламенно и безумно обнимает ее, и перебрасывает его вниз, через перила, где товарищи находят его размозженное тело. Они тотчас же собираются и, подозревая измену, взывают к мщению. Невообразимое смятение наполняет двор замка: трагично прерванный свадебный пир грозит обратиться в ночь кровавых смертей.

Благодаря увещаниям почтенного главы семьи удается, однако, отвратить беду. К родственникам загадочно погибшего юноши посылают гонцов. Во искупление

непостижимого несчастья труп, провожаемый соболезнованием всех членов подозреваемой семьи, должен быть предан земле с необычайной пышностью, причем Божий суд укажет виновника измены. Во время приготовления к погребальному торжеству невеста начинает проявлять признаки быстро растущего безумия: она бежит от своего жениха, отрекается от союза с ним, запирается и башне, не допуская к себе никого. Лишь в момент торжественного погребения, поздно ночью, появляется она во главе своих девушек, бледная и молчаливая, чтобы присутствовать при заупокойной службе. Ее мрачная серьезность нарушается вестью о приближении вражеских отрядов и, наконец, об осаде замка подоспевшими родственниками убитого. Когда мстители за мнимое предательство проникают в часовню и вызывают убийцу друга, объятый ужасом владелец замка указывает на бездыханную дочь, которая, покинув жениха, упала замертво перед гробом убитого.

Я написал этот темнейший этюд, с далекими, юношескими, облагороженными отголосками «Лейбальда и Аделаиды», избегая малейшего проблеска света и всяких неуместных оперных прикрас, черным по черному. Однако нежные струны все же были затронуты, и интродукция первого акта (где в адажио для вокального септета выражается примирение враждующих семейств, чувства жениха и невесты и мрачный пыл тайного влюбленного) заслужила мне за свою ясность и певучесть в высшей степени поощряющие похвалы Вейнлиха, которому я мог показать начало композиции уже по моем возвращении в Лейпциг. Мне было особенно важно добиться одобрения сестры Розалии. Но именно она-то и не могла сдружиться с моим произведением: ей как раз необходимо было все то, что я намеренно опустил; ей хотелось видеть упрощенные отношения разукрашенными и превращенными

в разнообразные и по возможности приятные ситуации. Тогда я, не долго раздумывая, без всякой горячности, уничтожил весь манускрипт.

40

«Ангелочек»

К этому меня побудило не оскорбленное тщеславие — мне действительно важно было доказать сестре, с одной стороны, как мало я дорожу своей работой, а с другой — как высоко я ценю ее мнение. Если Розалия пользовалась особым уважением и любовью нашей матери и всех сестер, то главным образом потому, что она в продолжение многих лет была отличным главой-кормильцем всей семьи. Значительное жалованье, которое она получала в качестве артистки, являлось основным фондом наших домашних расходов. Она могла претендовать на различные привилегии также и в силу своей профессии. Ее часть квартиры всегда обставлялась особенно уютно и с расчетом на соблюдение тишины, необходимой для ее занятий. В рыночные дни, когда нам всем приходилось довольствоваться более скромной пищей, лишь она одна получала обильный и питательный стол.

Но больше всего над уровнем младших членов семьи ее возвышали дружелюбная серьезность, изысканный способ выражения и нежная задумчивость настроения, почти никогда не переходившая в царивший у нас несколько шумливый тон. Я был, разумеется, тем членом семьи, который причинял наибольшее беспокойство как матери, так и по-матерински обращавшейся с нами сестре. Во время тяжелых студенческих годов ее отчужденность производила на меня большое впечатление. И когда теперь у нее опять возникли надежды на мой счет, и она стала интересоваться моими занятиями, то это согрело и ободрило меня.

Тот факт, что сестра, уже почти считавшая меня потерянным, начала с настоящим уважением и ожиданием следить за моими работами, явился особым дополнительным стимулом для моего самолюбия. При таких условиях во мне выработалась нежная, почти мечтательная симпатия к Розалии, и симпатия эта по своему очищающему и согревающему влиянию может быть поставлена рядом с самыми благородными отношениями между мужчиной и женщиной. Конечно, при этом большую роль играл самый характер Розалии. Она не имела никаких особенных талантов или, вернее, таланта к театру: ее игру обыкновенно находили заученной и неестественной. И все же своей необычайно привлекательной внешностью, чистотой, достоинством и женственным благородством она завоевала расположение и внимание всех, и у меня сохранились в памяти многие доказательства, свидетельствующие о самой беззаветной преданности, с какой ей поклонялись. Однако обстоятельства никогда не складывались таким образом, чтобы подать ей надежду на более длительный союз, и, по необъяснимой для меня причине, она достигла зрелого для девушки возраста, все более теряя возможность вступить в подходящий для нее брак. Мне казалось иногда, что я подмечал выражение грусти на лице Розалии по поводу такого оборота ее судьбы.

Особенно памятен мне один вечер, когда, считая себя одной в темной комнате, где находился и я, она отдалась тихим слезам и жалобам. Это так подействовало на меня, что, выйдя незаметно вон, я с тех пор старался с особенным, нежным почтением исполнять ее волю и радовать ее своими успехами. Недаром наш отчим Гейер дал нежной девочке ласковое прозвище Ангелочек. Если, как я уже упоминал, ее сценический талант и не был значителен, то тем живее была ее фантазия, ее понимание искусства и всего возвышенного. От нее воспринял я первые чудесные

откровения относительно всего того, что впоследствии меня самого так сильно волновало. Около нее всюду и всегда собирался небольшой кружок дельных и интересующихся возвышенными вопросами людей, совершенно свободных от малейшего признака аффектации.

41

Генрих Лаубе. В «Клубе портных». Симфония. «Костюшко»

Возвратившись из продолжительного путешествия, я встретил у своих нового знакомого, Генриха Лаубе, дружески принятого в кружке Розалии.

Это было то время, когда отголоски Июльской революции отразились и в движении молодых немецких умов: среди них скоро выдвинулся Лаубе. Он приехал молодым человеком из Силезии в Лейпциг, чтобы, завязав нужные отношения в этом центре книжного дела, поспешить в Париж, откуда Бёрне своими письмами делал столько шума даже и у нас. Присутствуя случайно в театре на представлении пьесы Людвига Роберта «Сила обстоятельств», Лаубе оказался вынужденным напечатать о ней рецензию в Leipziger Tageblatt[19]. Резкая и живая форма этой рецензии привлекла всеобщее внимание, так что ему тотчас же предоставлено было редактирование Zeitung für die elegante Welt[20] и сделаны разные другие, связанные с книжным делом предложения. В нашем доме его приветствовали как блестящий талант: его острая, отрывистая, часто язвительная манера без всякого налета поэзии производила впечатление оригинальности и смелости. Его правдивость, прямота и дерзкая грубоватость подкупали всех в пользу закаленного трудовой юностью характера.

---

[19] «Лейпцигский ежедневный листок» (*нем.*).

[20] «Газеты элегантного мира» (*нем.*).

На меня Лаубе производил ободряющее действие, но я был почти удивлен, когда он решительно взял мою сторону и провозгласил меня музыкальным талантом, услышав в первый раз исполнение моей симфонии.

Эта симфония исполнялась в начале 1833 года в лейпцигском «Клубе портных»: в это почтенное помещение и переехала «Эвтерпа». Это был грязный, тесный, скудно освещенный зал, в котором при посредстве самого заурядного оркестра произведение мое было поднесено лейпцигской публике. Этот вечер остался у меня в памяти лишь в виде отвратительного кошмарного сна: тем более удивил меня благосклонный прием, оказанный Лаубе этому концерту. Вот почему я с надеждой ожидал предстоящего в недалеком будущем исполнения симфонии в Гевандхаузе, где все действительно сошло самым блестящим и желательным образом. Прием был одобрительный, рецензии появились во всех газетах. Нигде не было видно намеренного недоброжелательства, наоборот, многие отчеты ободряли меня, и Лаубе, быстро ставший знаменитостью, объявил, что уступает мне оперный текст, который он приготовил для Мейербера.

Последнее испугало меня. Я отнюдь не боялся испытать себя на поприще поэзии, особенно мне хотелось написать настоящий оперный текст. И у меня уже имелось на этот счет свое собственное, верное, инстинктивное чувство, и справедливость его подтвердилась тотчас же, как только Лаубе с многозначительным видом познакомил меня со своей темой. Он сообщил мне, что задался мыслью обработать сюжет «Костюшко» для героической оперы. Тогда я испугался вторично, ибо сразу почувствовал, что Лаубе заблуждается относительно характера драматического воспроизведения исторических событий. Когда я

спросил его, в чем именно заключается сценическое действие, предполагаемое его сюжетом, он в высшей степени удивился моему требованию чего-либо иного, кроме чрезвычайно изобилующей событиями истории польской борьбы за освобождение в лице одного из главных ее героев. Из борьбы этой можно выхватить немало фактов, рисующих все несчастье польского народа. Была, разумеется, тут и неизбежная полька, полюбившая русского, благодаря чему трагические любовные положения создавались сами собой. Я тотчас же объявил сестре Розалии, что этот сюжет не годится для моей композиции: она приняла мою сторону и только просила повременить с объяснениями. Меня выручил отъезд в Вюрцбург, последовавший вскоре после того, так что по истечении некоторого времени я мог письменно уведомить Лаубе о своем отказе. Он добродушно перенес эту маленькую обиду, но никогда не мог мне простить того, что я сам работал над своими текстами.

42

«Феи»

Он не замедлил выказать свое скептическое чувство, когда узнал, какой сюжет я предпочел его блестящей политической поэме. Этот сюжет я заимствовал из драматической сказки Гоцци *La Donna Serpente*[21] и разработал под названием «Феи». Имена своих героев я выбрал из разных оссиановских и однородных по духу поэм: мой принц назывался Ариндалем, его любила фея Ада, которая держала его вдали от его царства, плененным, в своей волшебной стране. После долгих поисков его нашли верные товарищи, принесшие весть о бедствиях отечества, столица которого уже захвачена врагами, и тем побудившие его

[21] «Женщина-Змея» (*ит.*).

вернуться домой. Любящая фея сама посылает его на родину, так как заклятием рока ей назначено возложить на него самые трудные испытания. Их победоносное преодоление может освободить ее от бессмертной природы феи и обратить в любящую женщину, которая будет в состоянии разделить участь своего смертного любовника.

Вернувшись в разоренную страну, царский сын окончательно падает духом. Тогда, в минуту величайшего отчаяния, к нему является его возлюбленная, намеренно пытающаяся непостижимой жестокостью поступков поколебать его веру в нее. От стечения всех ужасов Ариндаль впадает в безумие: ему чудится, что до сих пор он был орудием злой волшебницы, и он хочет освободиться от гибельной власти этих чар, призывая проклятия на Аду. Объятая горем, несчастная фея открывает навеки потерянному возлюбленному их общую судьбу: в наказание за то, что она нарушила клятву фей, она осуждена на вечное превращение в камень (так видоизменил я превращение в змею у Гоцци). Тотчас же оказывается, что все вызванные феей ужасы были лишь миражами: с волшебной быстротой совершается победа над врагами, а страна начинает процветать и преуспевать.

Только Ада уносится исполнительницами заклятия, и Ариндаль остается погруженным в безумие. Однако эти муки безумия не удовлетворяют жестоких блюстительниц заклятия. Чтобы добиться его окончательной гибели, они являются кающемуся преступнику и зовут его в подземный мир под коварным предлогом указать средства для снятия чар с Ады. Но дело поворачивается таким образом, что этот предательский призыв превращает безумие Ариндаля в возвышенный, одухотворенный порыв. Сверх того, преданный королевскому дому волшебник снабжает его чудесным орудием, чудесными инструментами,

с которыми он и следует за предательницами-феями. Последние приходят в изумление и негодование, видя, как Ариндаль побеждает одно чудовище подземного мира за другим. Но когда они подводят его к пещере и указывают на имеющий человеческую форму камень, у них снова возгорается надежда на гибель смелого пришельца: он должен расколдовать этот камень, в котором скрыта сама Ада, если он сам не хочет превратиться навек в такой же камень. Ариндаль, пользовавшийся до сих пор мечом и щитом, подарками волшебника, решается прибегнуть к незнакомому ему ранее инструменту, к лире, под звуки которой он изливает свои жалобы, свое раскаяние и непреодолимую тоску. Эти чары размягчают камень: возлюбленная освобождена, и все великолепие волшебного мира развертывается перед ними. Могучему смертному открывается, что, хотя Ада вследствие прежнего его малодушия утеряла право на отказ от бессмертия, ему самому, победившему самое сильное колдовство, открыто царство фей для вечного в нем пребывания.

Если при написании «Свадьбы» я отказался от всяких оперных украшений и дал ход самому неприглядному реализму, то этот сюжет я постарался разукрасить всевозможными подробностями: рядом с идеальной любящей парой фигурировала вторая — реальная, а рядом с этой еще третья — грубо комическая, разумеется, из среды оруженосцев и камеристок. К поэтической стороне я отнесся с почти намеренной небрежностью. Моя прежняя претензия на поэтическую славу беспокоила меня теперь мало: я сделался настоящим «музыкантом» и «композитором», желавшим создать для себя приличный «оперный текст» и убедившимся, что никто другой не в состоянии этого сделать, так как оперный текст сам по себе есть нечто совершенно особенное и не может быть написан ни поэтом, ни литератором.

43

Театральный хормейстер. «Вампир» Маршнера и «Роберт-Дьявол» Мейербера. Подземная труба с клапанами. Пустые, аффектированные мелодии. Падение классического вкуса. «Staniera» Беллини

Имея намерение заняться написанием музыки на этот текст, покинул я в январе 1833 года Лейпциг, чтобы посетить моего старшего брата Альберта, служившего в Вюрцбургском театре. Теперь, казалось, пришло время поискать удобного случая для практического применения моих музыкальных способностей, и мой брат должен был оказать мне в этом содействие. Я отправился на почтовых через Хоф в Бамберг, провел там несколько дней в обществе одного молодого человека по имени Шунке, который из горниста сделался актером, с большим интересом ознакомился с историей Каспара Хаузера, еще сильно шумевшей, тогда и, если память мне не изменяет, лично видел его.

Я полюбовался оригинальным нарядом рыночных торговок, вспомнил Гофмана и его фантастические рассказы и, дрожа от холода, поехал дальше в Вюрцбург с наемным возницей. Мой брат Альберт, вошедший тогда в мою жизнь, старался, чтобы я по возможности свыкся с его не особенно широким укладом домашнего быта, и был доволен, что я не оказался таким взбалмошным, каким он опасался увидеть меня по одному недавно напугавшему его письму. Прежде всего, он достал мне временное место театрального хормейстера, оплачиваемое 10 гульденами в месяц. Таким образом, остаток зимы прошел у меня в первых практических упражнениях в дирижировании.

Надо было в короткий промежуток времени разучить две большие новые оперы, в которых хору приходилось много действовать, а именно «Вампира» Маршнера и «Роберта-Дьявола» Мейербера. Сначала я чувствовал себя

полнейшим новичком в своей новой роли хормейстера — я должен был начать с незнакомой мне партитуры «Камиллы» Паэра. У меня осталось в памяти ощущение, что я занимаюсь чем-то для меня неподходящим: я чувствовал себя настоящим дилетантом. Вскоре, однако, маршнеровская партитура заинтересовала меня настолько, что совершенно вознаградила за непосильный труд. Партитура «Роберта» меня сильно разочаровала: по газетным отчетам я ожидал необычайной оригинальности и эксцентрических новшеств. Ничего подобного я не нашел в этом насквозь плоском произведении, и опера, в которой встречался финал, подобный финалу второго акта, никоим образом не могла быть отнесена к разряду моих излюбленных образцов музыкального творчества. Только подземная труба с клапанами, — голос призрака матери в последнем акте, — импонировала мне. Удивительно это ощущение эстетической деморализации, которому я поддался благодаря непрерывному близкому общению с «Робертом». Первоначальная антипатия к этому плоскому произведению, в высшей степени непривлекательному и непосредственно неприятному именно немецкому музыканту, мало-помалу утрачивалась, заслоненная тем интересом, с каким я был вынужден относиться к успеху постановки. В конце концов, я воспринимал эти пустые, аффектированные, подражающие всем современным манерам мелодии лишь с точки зрения их пригодности вызвать одобрение публики. А так как здесь, кроме того, дело шло о моей будущей карьере в качестве музикдиректора, то в глазах озабоченного моей судьбой брата этот недостаток упорства лишь говорил в мою пользу.

Таким образом, подготовлялось постепенное падение моего классического вкуса. Однако дело подвигалось не настолько быстро, чтобы я не успел дать доказательство

полной неопытности в вопросах легкого жанра. Мой брат хотел вставить в «Чужестранку» Беллини каватину из его же «Пиратов», партитуры которых у нас не имелось. Он поручил мне инструментовать ее. Из фортепьянной аранжировки, предоставленной в мое распоряжение, я никоим образом не мог уловить шумной, громоздкой инструментовки музыкально жидких ритурнелей и интермедий, и вот автор большой симфонии C-dur с финальной фугой теперь сумел лишь прибегнуть к нескольким играющим в терциях флейтам и кларнетам. На репетиции оркестра каватина звучала так пусто и бесцветно, что брат мой, отказавшийся от этой вставки, горько упрекал меня за напрасные расходы по приготовлению копии. Однако я сумел восстановить свою репутацию: для теноровой арии Обри из «Вампира» Маршнера я сочинил новое аллегро, к которому составил и текст. Вставка эта вышла демоничной и эффектной и заслужила одобрения публики и поощряющих похвал брата.

44

Веселый молодой кутила Александр Мюллер. Баварское пиво и франконское вино. Экстазные чувства. «Постыдное дело»

В том же самом немецком стиле написал я в течение этого (1833) года и музыку к моим «Феям». После Пасхи брат и его жена уехали из Вюрцбурга на гастроли, а я остался один с детьми — тремя крохотными девочками — и чувствовал себя не особенно приятно в необычайной роли ответственного воспитателя. Занятый отчасти своей работой, отчасти веселым препровождением времени, я, разумеется, пренебрегал заботами о своих питомцах. Среди моих тамошних друзей Александр Мюллер, дельный музыкант и пианист, а также веселый молодой кутила, приобрел особенное на меня влияние. Мне в высшей

степени импонировала та поистине удивительная легкость, с какой он умел импровизировать. Целыми часами я готов был слушать его фантазии на заданные темы. С ним и другими приятелями, из которых Валентин Гамм особенно занимал меня своей смешной фигурой, хорошей игрой на скрипке и необычайной способностью брать одной рукой дуодециму, я совершал частые прогулки в окрестности и весело убивал время за баварским пивом и франконским вином. *Letzte Hieb*[22] — пивной ресторан, красиво расположенный на горе, — был каждый вечер свидетелем моего дикого, иногда переходившего в энтузиазм веселья и необузданности. В теплые зимние ночи я возвращался к моим трем питомцам, преисполненный экстатической любви к миру и к искусству.

Припоминаю злую шутку, навсегда оставшуюся у меня в памяти черным пятном. Среди моих товарищей находился белокурый, необычайно восторженный шваб по имени Фрёлих, с которым мы обменялись собственноручно переписанными партитурами симфонии c-moll. Этот удивительно мягкий, но раздражительный человек почувствовал такую резкую антипатию к некоему Андре, немного хитрая физиономия которого и мне не особенно нравилась, что всякая встреча с ним портила ему весь вечер. Но злосчастный объект этой антипатии, тем не менее, нисколько не старался избегать нашего общества. Возникли трения, и тогда Андре уже продолжал появляться с явно вызывающими целями. Однажды вечером Фрёлих потерял терпение. После какого-то оскорбительного ответа Андре он стал гнать его от нашего стола палкой. Завязалась драка, в которой друзья Фрёлиха, несомненно, руководимые собственным чувством неприязни, также сочли своим долгом принять участие.

[22] «Последний этап» (*нем.*).

Неистовство овладело и мной: вместе с другими бросился я бить несчастную жертву нашей ненависти, когда вдруг услыхал звук наносимого мной удара по черепу Андре и подметил с изумлением обращенный на меня взор его. Я рассказываю это происшествие, чтобы искупить вину за действительно постыдное дело. С этим печальным воспоминанием я могу сравнить только одно, из самого раннего детства: ужасное впечатление, оставшееся у меня от тех минут, когда в мелком пруду перед домом моего дяди в Эйслебене мучительно топили щенят. Так как вообще чрезмерная чувствительность к страданиям других, особенно животных, нередко приводила меня в большое замешательство и в самом раннем возрасте часто возбуждала во мне внезапное, странное отвращение к жизни, то описанные поступки, заносчивые и необдуманные, тем живее запечатлелись в моей памяти.

45

Первая любовь. «Задушевный роман»

Тем невиннее мои воспоминания о первой влюбленности. Было как нельзя более естественно, что одна из молодых хористок, с которыми я должен был ежедневно заниматься, сумела привлечь к себе мои взоры. Тереза Рингельман, дочь могильщика, своим красивым сопрано пробудила во мне мечту сделать из нее большую певицу. После того как я сообщил ей эти планы, она стала с особенной тщательностью одеваться на репетиции и умела приятно волновать мою фантазию ниткой жемчугов, которой она перевивала волосы. Когда я летом остался один, то аккуратно давал ей уроки пения, руководясь какой-то до сих пор оставшейся мне неясной методой. Часто посещал я ее и на дому, где ни разу не видел ее жуткого отца, но постоянно мать и сестру. Кроме того, мы встречались

в общественных садах. Но какой-то не совсем рыцарский стыд заставлял меня скрывать от товарищей свои сердечные дела. Было ли тут виной скромное общественное положение семьи могильщика, действительно убогое образование Терезы или мое собственное сомнение в серьезности моей любви, затрудняюсь точно определить. Знаю только одно, что, когда меня стали вызывать на серьезное объяснение и возбудили мою ревность, эти отношения скоро и бесследно порвались.

Более задушевный роман завязался у меня с Фредерикой Гальвани, дочерью механика, девушкой резко выраженного итальянского типа. Очень музыкальная и одаренная милым, легко поддающимся обработке голосом, она попала под покровительство моего брата, и он устроил ей дебют, оказавшийся удачным. Она была очень мала ростом, имела большие черные глаза и нежное сложение. Один дельный музыкант оркестра, первый гобоист, питал к ней прочную и давнишнюю привязанность. Он считался ее женихом. Но в силу различных обстоятельств своей прошлой жизни он не должен был посещать дома ее родителей раньше предполагавшейся, но все еще далекой свадьбы.

Осенью этого года некоторые друзья, в числе которых находился и этот гобоист со своей невестой, пригласили меня на деревенскую свадьбу в нескольких часах от Вюрцбурга. Там веселились по-крестьянски: много пили и танцевали, причем я сам пробовал воскресить свое уменье играть на скрипке, но оказался куда ниже всех требований своих партнеров. Но тем значительнее были успехи моей особы у доброй Фредерики, с которой я несколько раз пронесся в бешеном танце по рядам собравшихся крестьян. Воспользовавшись благоприятным случаем и общей возбужденностью, упразднившей все условности, мы, в то время как официальный жених был занят игрой, невольно обнялись и несколько раз поцеловались. Когда жених, заметивший

нежную непринужденность в обращении Фредерики со мной, печально, но не возмущенно подчинился своей участи, во мне проснулось лестное чувство самодовольства.

До сих пор я не имел повода предаваться тщеславным мыслям насчет того, что я могу произвести благоприятное впечатление на молодую девушку. Я не имел ни малейшей иллюзии относительно своей внешности, относительно своей привлекательности и в самом деле никогда не замечал, чтобы взоры красивых девушек останавливались на мне. Но зато у меня постепенно выработалась известная самоуверенность в обращении со сверстниками своего пола. Необычайная живость и постоянно готовый вспыхнуть энтузиазм придавали мне силу, увлекавшую и ошеломлявшую моих более инертных товарищей.

По молчаливым, сдержанным страданиям бедного гобоиста, когда он заметил пылкое сближение со мной его нареченной невесты, я, как уже сказано, в первый раз почувствовал, что стою чего-нибудь не только в глазах мужчин, но и в глазах женщин. Франконское вино тем временем делало свое дело, повышая все более и более мое возбуждение, и под конец мы с Фредерикой вели себя, как всеми признанная любовная парочка. Далеко за полночь, почти на рассвете, отправилась вся компания на длинных дрогах обратно в Вюрцбург. Возвращение это было триумфом, увенчавшим мое приятное приключение. В то время как все остальные, а среди них и озабоченный гобоист, утомленные винными парами, предавались сладкому предутреннему сну, я бодрствовал, прислонившись к щеке Фредерики. Мы слушали пение жаворонков, несшееся навстречу восходящему солнцу.

В следующие за тем дни мы как бы забыли о случившемся. Какая-то имевшая свою прелесть стыдливость удерживала нас вдали друг от друга. Однако я легко

добился доступа в дом Фредерики, был там любезно принят и почти ежедневно проводил несколько часов, открыто поддерживая с ней нежные отношения, в то время как несчастный жених не мог туда показаться. Мы обыкновенно ни одним словом не касались ее отношений к жениху, и у Фредерики никогда не возникало и мысли внести сюда какие-либо изменения. Точно так же никому не приходило в голову, что я, собственно, должен занять его место. Доверие, какое оказывали мне все и больше всех Фредерика, носило, так сказать, характер явления природы и было так же естественно, как естественен, например, приход весны на смену зиме. Никто не рассчитывал на какие-нибудь гражданские последствия, и в этом-то именно и заключалась вся привлекательная сторона моего первого юношеского увлечения, не выродившегося в сближение, полное дум и забот.

Эти отношения закончились лишь с моим отъездом из Вюрцбурга, при котором было пролито много нежных слез. Я долго не мог забыть Фредерику, но, однако, не вел с ней переписки. Два года спустя, проездом через город, я снова навестил ее. Бедняжка вышла ко мне сильно сконфуженная: ее гобоист остался ей верен, и она сделалась матерью, не имея, однако, еще возможности вступить с ним в брак. После этого я совершенно потерял ее из виду.

46

Большая увертюра, симфония C-dur и отрывок новой оперы. Фрейлейн Фриделе. Три тетради партитуры

Эти события моей жизни не мешали мне прилежно работать над оперой. Мое усердие поддерживало заботливое участие сестры Розалии. Когда с закрытием театрального сезона я потерял свой заработок хормейстера, моя сестра снова стала аккуратно снабжать меня

карманными деньгами, вполне достаточными для того, чтобы, не заботясь ни о чем и не будучи никому в тягость, всецело отдаваться окончанию работы. Впоследствии я нашел свое длинное письмо к Розалии, относящееся к тому времени и исполненное нежной, граничащей с обожанием любви к этому благородному существу.

Затем наступила зима, мой брат возвратился. Театр снова открыл свои двери, но я уже больше не имел к нему никакого отношения. Я выступал в концертах музыкального общества, на которых сам руководил исполнением моей большой увертюры и симфонии C-dur, а также, наконец, и отрывков новой оперы. Одна любительница, фрейлейн Фридель, обладавшая превосходным голосом, пела большую арию Ады. За ней следовал терцет, который в одном месте неожиданно произвел такое захватывающее впечатление на моего брата, также певшего в нем, что, как он мне после признавался, даже опоздал со своим вступлением.

К Рождеству я закончил свою работу, с самой похвальной аккуратностью переписал партитуру и с наступлением нового года должен был отправиться обратно в Лейпциг, чтобы там добиться постановки оперы. По дороге я посетил Нюрнберг, где прогостил неделю у сестры Клары и ее мужа, ангажированных тамошним театром. Я с удовольствием вспоминаю о приятно проведенных днях у этих родственников, которые несколько лет тому назад, когда я гостил у них в Магдебурге, были так огорчены моим решением посвятить себя музыке. Теперь я стал музыкантом, написал большую оперу и кое-что уже исполнил публично, не провалившись. Это сознание было мне отрадно и льстило моим добрым родственникам, которые убедились, что моя якобы плачевная судьба дала в конце концов некоторые результаты. Я был весел и шаловлив, чему очень благоприятствовали не только открытый

дом моего зятя, но и располагающая трактирная жизнь Нюрнберга. В необычайно самонадеянном и веселом настроении вернулся я в Лейпциг, где преподнес чрезвычайно довольной матери и искренно обрадованной сестре три внушительных тетради своей партитуры.

47

Новая опера. Усердные хлопоты Розалии. Гаузер. Старый Бирей

Моя семья пополнилась возвратившимся из долгих странствий братом Юлиусом. Проработав продолжительное время в Париже в качестве ювелира, он хотел открыть и в Лейпциге такое же дело. Как и другие, брат с нетерпением желал услышать отрывки из моей оперы, что пока было затруднительно, так как я не владел даром легко и понятно передавать такую вещь, и лишь в состоянии полного экстаза мог играть с некоторой выразительностью. Розалия знала, что я ожидал от нее своего рода объяснения в любви: но я так и не прояснил себе, были ли объятие и сестринский поцелуй, которыми она меня наградила после того, как я исполнил свою большую арию Ады, вызваны ее действительной растроганностью или лишь нежной деликатностью по отношению ко мне.

Зато, несомненно, искренне было то рвение, с каким она ходатайствовала за мою оперу перед директором театра Рингельгардтом, режиссером и капельмейстером, добившись в результате обещания, что ее поставят и притом даже в скором времени. Меня заинтересовал тот факт, что дирекция тотчас же пожелала выяснить характер костюмов, нужных для моей драмы, и я с изумлением узнал, что их собирались сделать «восточными», тогда как я подбором самих имен, казалось, ясно отметил северный характер моих героев. Но эти имена нашли неподходящими, так как сказания о феях существуют не на севере, а только

на востоке, и оригинал Гоцци, несомненно, имел ориенталистический характер. С величайшим негодованием боролся я против невыносимых тюрбанов и кафтанов и настойчиво требовал рыцарских костюмов начала Средних веков.

Затем надо было точно сговориться относительно партитуры с капельмейстером Штегмайером. Было очень трудно добиться толку от этого удивительно маленького и толстенького человека с белокурой кудрявой головой и в высшей степени жизнерадостным характером. В кабачке нам всегда удавалось поразительно скоро столковаться. Но как только мы усаживались за рояль, мне приходилось выслушивать самые странные возражения, смысла которых я долгое время не понимал. Так как это шатанье из стороны в сторону сильно затягивало дело, я решил ближе познакомиться с режиссером оперы, очень любимым тогда в Лейпциге певцом и знатоком искусства Хаузером.

Меня ждали удивительные открытия на его счет: человек, завоевавший лейпцигскую публику в ролях севильского цирюльника и англичанина из «Фра-Дьяволо», у себя дома оказался внезапно фанатичным приверженцем самой старой музыки. С удивлением подметил я плохо скрытое презрение, с каким он отзывался о самом Моцарте, сожалея в то же время, что у нас не осталось опер от Себастьяна Баха. Объяснив мне, что до сих пор еще никто не написал драматической музыки, что один лишь Глюк обнаружил некоторую способность в этом направлении, он перешел к добросовестному рассмотрению моей собственной оперы. Я желал знать его мнение относительно возможной ее постановки, но вместо этого ему заблагорассудилось указывать мне в каждом номере всю ошибочность моего «направления». Я испытывал неслыханные муки, просматривая свою работу с этим человеком. От матери и сестры я не скрыл своего глубокого отчаяния.

Все эти задержки сделали невозможной постановку оперы в первоначально намеченный срок, и она была отодвинута на август текущего (1834) года.

Одно незабвенное событие придало мне новое мужество. Старый Бирей, опытный и дельный музыкант, в свое время сам имевший успех композитор, отличавшийся великолепным практическим чутьем, которое он приобрел во время своего долгого управления театром в Бреслау, проживал тогда в Лейпциге и был хорошо знаком с моей семьей. Мать и сестра попросили его высказать свое мнение насчет исполнимости моей оперы и дали ему с этой целью ее партитуру. Как сильно был я тронут и потрясен, когда в один прекрасный день этот старик пришел к нам не на шутку взволнованный и заявил, что считает непостижимым, чтобы такой молодой человек, как я, написал подобную партитуру. Слова его относительно размеров моего таланта были поистине удивительны и повергли меня в непритворное изумление. На вопрос, считает ли он оперу пригодной для сцены и сильной, он ответил, что сожалеет лишь об одном: что не стоит более сам во главе театра, потому что тогда счел бы величайшим счастьем надолго привязать меня к своему предприятию. После этого в моей семье снова воцарилось счастливое настроение, тем более обоснованное, что никто не считал старого Бирея простодушным болтуном: его знали, как много повидавшего на своем веку и довольно сухого человека дела.

48

«Молодая Европа». Полуклассические владыки литературных тронов. «Ромео и Джульетта». Поток волнующих ощущений. Фривольный тон рецензии об «Эврианте». Брожения и кипения в области музыкальной эстетики

Таким образом, все безропотно примирились с приключившейся задержкой, и я некоторое время с надеждой

предавался мечтам о будущем. Я возобновил знакомство с Лаубе, который теперь, несмотря на то, что я не взялся писать музыку к его «Костюшко», находился в зените своей славы. Первая часть его романа в письмах, озаглавленного «Молодая Европа», только что была закончена и при тогдашних юношеских, преисполненных надежд настроениях подействовала на меня крайне возбуждающим образом. Являясь в сущности своей лишь «репродукцией» «Ардингелло» Гейнзе, этот роман расчищал путь настроению, кипевшему в юных умах. Основные черты этого настроения пробивались главным образом в литературной критике, которая особенно восставала против мнимого или действительного бессилия полуклассических владык наших различных литературных тронов. «Старомодные» писатели, к числу которых вместе с другими относили и Тика, третировались без малейшей пощады как пустой балласт, тормозящий расцвет новой литературы.

Если и в моих суждениях о немецких композиторах, к которым я до того времени относился с почтением и уважением, произошел резкий переворот, то виной тому было отчасти влияние этих соблазнительно-дерзких литературных схваток, но главным образом впечатление от гастролей Шрёдер-Девриент, которая своей трактовкой Ромео в «Капулетти и Монтекки» Беллини всех увлекла за собой. Это впечатление по своей силе не могло сравниться ни с одним из ранее пережитых мной. Смелый, вдохновленный образ юного героя-любовника на фоне явно поверхностной и пустой музыки побуждал, во всяком случае, к размышлению относительно причин поразительного неуспеха самородного немецкого творчества во всех опытах его применения к драматическому жанру. Не углубляясь чересчур в эти размышления, я отдавался потоку горячих и волнующих ощущений юности и невольно тяготел

к отрицанию всякого серьезничанья и умствования, которые в более ранние годы настраивали меня на такой патетический мистицизм.

Чего не были в состоянии достичь ни Поленц своим дирижированием Девятой симфонии, ни венская консерватория, ни Дионис Вебер, ни другие дурные примеры, являвшие мне классическую музыку лишенной всякого выражения, того удалось добиться этой неклассической итальянской музыке благодаря необычайно зажигательной и увлекательной игре Шрёдер-Девриент в роли Ромео. Влияние этих могущественных и в корне мне непонятных причин на мое суждение обнаружилось в том фривольном тоне, с каким была написана мной для *Elegante Zeitung* краткая рецензия об «Эврианте» Вебера.

Эта опера была дана лейпцигским театральным обществом незадолго до нового выступления Шрёдер-Девриент. Холодные и вялые певцы, особенно исполнительница Эврианты, появлявшаяся в пустыне с модными в то время перехватами на рукавах, произвели на меня самое безотрадное впечатление. Они работали с трудом и без любви, имея в виду одно лишь простое удовлетворение классическим требованиям, и сделали все от них зависящее, чтобы вытеснить из моей души сентиментальное юношеское пристрастие к музыке Вебера. Я не знал, как ответить одному единомышленнику Лаубе, когда он указал мне на всю вымученность этого спектакля, особенно когда он противопоставил ему увлекательное впечатление от постановки «Ромео». Я стоял здесь перед проблемой, решение которой мне хотелось по возможности облегчить, и вот я доказал свое мужество и готовность порвать со всяким предвзятым мнением упомянутой краткой рецензией, в которой прямо-таки высмеивал «Эврианту». Если студенческие годы были периодом брожений моей человеческой

личности, то теперь я отважно вступал на тот же путь в художественно-эстетическом развитии моего артистического «я».

49

Теодор Апель. Юные боги

Был май, стояла прекрасная весенняя погода, и предпринятая мной в обществе одного приятеля увеселительная поездка в обетованную землю моей юношеской романтики, в Богемию, должна была дать выход охватившему меня буйному настроению «Молодой Европы». Имя моего друга было Теодор Апель. Я уже давно был с ним знаком и чувствовал себя особенно польщенным, снискав его сердечное расположение, потому что сам относился к нему как к сыну блестящего метрика и знатока греческой поэзии, Августа Апеля, с чувством той почтительной любви, которую даришь потомку знаменитого человека. Он был состоятелен, принадлежал к уважаемой семье, так что знакомство с ним предоставляло мне нечасто встречавшиеся в моей жизни случаи соприкосновения с комфортом высшего бюргерского класса. Моя мать была очень рада знакомству с такой почтенной семьей, и я в свою очередь чувствовал себя польщенным той сердечной теплотой, с какой меня принимали в этом кругу.

Апель страстно желал стать поэтом, и мне казалось, что он имеет к тому все данные, подразумевая под этим также и полную свободу, которую ему давало значительное состояние: оно избавляло его от всякой необходимости заработка, а, следовательно, и от занятий «хлебной» специальностью. Но его мать, вышедшая вторично замуж за лейпцигского адвоката, почему-то с большим опасением относилась именно к этому пункту и желала для своего сына прочной карьеры юриста, не доверяя его

поэтическому дарованию, о котором была невысокого мнения. При особом дружеском ко мне расположении эта дама решила употребить все старания, чтобы внушить мне свои взгляды: она желала воспользоваться моим влиянием на друга, чтобы отвратить несчастье еще раз видеть в своей семье — теперь уже в сыне — поэта. Это обстоятельство больше, чем мое собственное благоприятное мнение об его таланте, побудило меня поддержать товарища в его стремлении заняться поэзией, в его бунтовщическом настроении против семьи. Это пришлось ему по душе. А так как Апель занимался еще и музыкой и был недурным композитором, то между нами установилось полное взаимопонимание.

То обстоятельство, что в год моего погружения с головой в бездну студенческих дурачеств он как раз учился не в Лейпциге, а в Гейдельберге, удержало его от участия в странных студенческих выходках, и когда мы теперь встретились, весной 1834 года, наши отношения сохранили приятную легкость, ныне скрепленную интеллектуальными беседами и периодическими наслаждениями жизнью. Мы охотно пустились бы в какие-нибудь гениальные авантюры, если бы этому способствовали окружающая атмосфера и та буржуазная среда, к которой мы принадлежали. При той жажде познания жизни во всей ее полноте мы все же не пошли дальше замысла совершить путешествие в Богемию. Во всяком случае, для нас имело значение даже то, что мы совершали это путешествие не на почтовых, а в собственном экипаже, и долгое время для нас настоящим удовольствием являлись продолжительные ежедневные прогулки в красивой карете. Иногда мы отправлялись, например, в Теплиц, где останавливались на несколько недель. И когда, поужинав в *Wilhelmsburg*[23] форелями, запив их хорошим черносекским вином с билинской водой

[23] «Крепости Вильгельма» (*нем.*).

и в должной мере разгорячившись разговорами о Гофмане, Бетховене, Шекспире, «Ардингелло» Гейнзе и о многом другом, мы возвращались, преспокойно раскинувшись в элегантном экипаже, в гостиницу Kenig von Preußen[24], где занимали на первом этаже большую комнату с балконом, нам казалось, что мы провели день, как юные боги. От избытка задора мы не находили ничего лучшего, как затевать ужасные ссоры, которые часто, особенно если дело происходило при открытых окнах, собирали на площади перед гостиницей толпу перепуганных слушателей.

50

План нового оперного текста. Дикие вольности и невероятные дурачества

Иногда по утрам в хорошую погоду я убегал от моего друга, чтобы в одиночестве позавтракать в *Schlackenburg*[25] и при этом удобном случае набросать в записной книжке план нового оперного текста. Я воспользовался для этого сюжетом шекспировской «Меры за меру», который сообразно с моим настоящим настроением я в высшей степени вольно переделал в оперное либретто под заглавием «Запрет любви». «Молодая Европа» и «Ардингелло», обостренные странным, враждебным настроением против классической оперной музыки, послужили основным фоном для моего замысла, направленного специально против пуританского лицемерия, на смелую защиту «свободной чувственности»: серьезный шекспировский сюжет я понял только в этом смысле. Я видел сурового, морально строгого штатгальтера, воспламенившегося страстной любовью к прекрасной послушнице, когда та, умоляя помиловать приговоренного к смерти за любовный

[24] «Король Пруссии» (*нем.*).

[25] «Шлакенбурге» (*англ.*).

проступок брата, заразила его прекрасным жаром своего человеческого чувства и раздула в нем, непреклонном пуританине, гибельное пламя.

Что у Шекспира эти мощные мотивы богато разработаны лишь для того, чтобы тем серьезнее потом взвесить их на весах справедливости, для меня не имело никакого значения. Мне было важно вскрыть греховность лицемерия и неестественность сурового суда морали. Поэтому я совершенно оставил в стороне Шекспира и навлек на лицемера наказание мстящей за себя любви. Из сказочной Вены я перенес действие в столицу знойной Сицилии, где немецкий штатгальтер, возмущенный непонятной ему свободой нравов населения, приступает к проведению пуританской реформы, в которой терпит жалкое поражение. Вероятно, здесь до некоторой степени не обошлось без влияния «Немой из Портичи», а также и воспоминаний о «Сицилийской вечерне». И когда, поразмыслив, я замечаю, что моя композиция не избежала влияния и кроткого сицилианца Беллини, то не могу удержаться от улыбки по поводу этого удивительного своеобразного *qui pro quo*[26].

Пока это был только набросок. Необходимые этюды с натуры я собирался написать в течение нашего радостного путешествия в Богемию. Я с торжеством вез моего друга в Прагу, чтобы дать ему пережить те впечатления, которые так живо волновали меня там. Мы нашли прелестных приятельниц в самой Праге, так как смерть старого графа Пахты повлекла за собой существенные изменения в жизни семьи, и осиротевшие девушки более не посещали Правонин. Я вел себя развязно и задорно, выражая в этой своеобразной форме мести те горькие ощущения, какие я некогда пережил, покидая этот дом. Мой друг был принят

[26] «Кто вместо кого» (*лат.*).

хорошо. Изменившиеся обстоятельства все определеннее побуждали милых девушек торопить свою будущую судьбу, и богатый бюргер, если он только не был купцом и имел родовое состояние, казался заботливой матери достаточно хорошей партией. Не обнаруживая и не ощущая ни малейших признаков злобы, я проявлял удовольствие по поводу переполоха, вызванного появлением Теодора, самыми веселыми, сумасбродными выходками и шутками.

Молодые девушки никак не могли понять, почему я так поразительно изменился: не было больше ни готовности спорить, ни неистовой страсти поучать и обращать в свою веру, ничего того, чем я прежде так назойливо докучал им. Но и разумного слова от меня нельзя было добиться, и они, склонные в настоящий момент серьезно обсудить многое, получали в ответ лишь самые несуразные дурачества. Расшалившись, я бесцеремонно позволял себе всякие вольности, по отношению к которым они чувствовали себя бессильными. Мое задорное настроение повысилось еще более, когда Теодор, зараженный моим поведением, стал подражать мне, за что, впрочем, ему сильно досталось.

Лишь один раз дело приняло несколько более серьезный оборот: я сидел у рояля и слушал, как мой друг рассказывал барышням, что в одном ресторанном разговоре я высказался с самой лучшей стороны насчет хозяйственности и дельности моих приятельниц, когда кто-то в этом усомнился. Мне было очень больно видеть, через какой печальный опыт должны были пройти эти бедняжки, так как самые естественные слова мои растрогали их, как неожиданное счастье. Женни подошла ко мне и с теплой искренностью обняла и поцеловала. Право дурно вести себя и в будущем было за мной признано неоспоримо, но даже на этот серьезный порыв Женни я отвечал шутками и дурачествами.

В нашей гостинице, столь знаменитом тогда *Schwarzen Pferd*[27], я нашел поле действия, на котором мог давать простор самому разнузданному веселью, не вполне удовлетворенному поведением в доме Пахта. Из своих случайных сотрапезников и путешественников мы сумели навербовать себе компанию, с которой до поздней ночи предавались невероятным забавам. Особенно весело настраивал меня один необыкновенно низенький купец, очень трусливый, но желавший казаться сорвиголовой; настраивал, вероятно, уже по тому одному, что он был жителем Франкфурта-на-Одере. Кто знает тогдашнее положение Австрии, поймет всю степень моей необузданности, услыхав, что однажды среди ночи в зале гостиницы я заставил нашу компанию громко прореветь Марсельезу. После этого геройского деяния я, раздевшись, перебрался по наружному карнизу стены от одного окна второго этажа до другого, ужаснув всех окружающих, которые ничего не знали о выработанной мной в ранние мальчишеские годы привычке к акробатическим упражнениям. При такой безбоязненности меня, однако, на другое утро отрезвило приглашение в полицию — в памяти всплыл эпизод с Марсельезой, возбудив некоторые опасения. Вследствие какого-то странного недоразумения я прождал довольно долго в полицейском бюро, а оставшееся затем время показалось комиссару слишком коротким, и, к моему великому успокоению, после нескольких незначительных вопросов о предполагаемой продолжительности моего пребывания в городе я был отпущен. Тем не менее мы сочли за благо не поддаваться более соблазну необузданных выходок под сенью крыл двуглавого орла.

Окольными путями, на которые нас толкала ненасытная жажда приключений, осуществлявшихся только в нашей фантазии, а в действительности оказывавшихся

---

[27] «Черном коне» (*нем.*).

самыми скромными путевыми развлечениями, вернулись мы наконец в Лейпциг. И этим возвращением очень определенно заканчивается светлый, юношеский период моего роста. Если и до тех пор я не был вполне свободен от серьезных замешательств и страстных волнений, то все же только теперь в мою жизнь вступила настоящая забота.

51

Лаухштедт. Генрих Бетман. Красивая и милая девушка Минна Планер. Неожиданная встреча. Первое впечатление

Моя семья ожидала моего возвращения, чтобы сообщить о предложенном мне месте капельмейстера при магдебургской театральной труппе. В текущий летний месяц эта труппа находилась на гастролях в курорте Лаухштедт. Директор театра не мог справиться со своими делами при помощи неспособного капельмейстера, ему рекомендованного, и обратился в своем затруднении в Лейпциг, требуя быстрой замены. Капельмейстер Штегмайер, которому очень не хотелось в жаркое летнее время разучивать партитуру моих «Фей», усердно предлагал меня на это место, чтобы таким образом избавиться от назойливого мучителя. Я же, желая, с одной стороны, свободно и вольно отдаться потоку художественных авантюр, с другой стороны, взвешивая разные внешние обстоятельства, сильно укрепился в стремлении к самостоятельности, которая дается только личными заработками. Но предчувствие говорило мне, что в Лаухштедте я не найду солидного фундамента для этого стремления. Тяжело мне было также добровольно захлопывать ловушку, расставленную моим «Феям». Поэтому я решился только на предварительное посещение Лаухштедта в целях ознакомления с делом.

Этот маленький курорт со времени Гёте и Шиллера сильно прославился. Деревянное здание театра было

построено по плану Гёте. Там давалось первое представление «Мессинской невесты». Хотя я все это себе твердил, однако местечко произвело на меня сомнительное впечатление. Я навел справки о местожительстве директора театра. Последнего не было дома, и маленький грязный мальчик, его сын, взялся проводить меня «к папе». Но уже по дороге мы встретили его. Он оказался пожилым человеком, в шлафроке и колпаке. Радостно приветствуя меня, он в то же время жаловался на сильное нездоровье. Сын должен был принести ему шнапс из соседней лавочки, для чего, с некоторым рассчитанным на меня эффектом, отец вручил ему настоящий зильбергрош. Этот директор был Генрих Бетман, муж знаменитой артистки Бетман, принадлежавшей еще цветущему периоду немецкого драматического искусства и пользовавшейся такой прочной благосклонностью короля Пруссии, что последняя распространялась даже долгое время спустя после смерти актрисы на ее супруга. Бетман получал хорошую пенсию от прусского двора, продолжительное время пользовался его покровительством и, несмотря на свой переменчивый и склонный к авантюрам характер, никогда не мог вполне утерять этого фавора.

Теперь благодаря продолжительному пребыванию на посту директора театра он сильно опустился. Его язык и манеры напоминали слащавый аристократизм минувших времен, а все, что он делал, все, что его окружало, свидетельствовало о самом недостойном упадке. Он повел меня обратно к себе в дом, где представил «госпоже директорше», которая, будучи парализована на одну ногу, лежала на странной кушетке, в то время как какой-то пожилой бас, на чрезмерную преданность которого Бетман без церемоний мне пожаловался, раскуривал рядом с ней свою трубку. Оттуда директор повел меня к режиссеру, жившему в том же доме. Тот был занят обсуждением репертуара

с каким-то беззубым старым капельдинером театра, но Бетман сдал меня ему и просил сговориться обо всем необходимом, на что господин Шмале, режиссер, улыбнулся, пожав плечами, и стал уверять, что таков обычный образ действий директора, который все сваливает на него и сам ни о чем не заботится. Вот и сейчас он, Шмале, целый час сидит и советуется с Крёге о том, что давать в ближайшее воскресенье. Он мог бы назначить «Дон-Жуана», но как устроить репетицию, когда музыканты из Мерзебурга, составляющие оркестр, в субботу не хотят приехать сюда? При этом Шмале беспрерывно тянулся в открытое окно за веткой вишневого дерева и, обрывая ягоды, ел их, с необычайным шумом выплевывая косточки. Последнее особенно подействовало на мое отрицательное решение, так как я питаю странное, прирожденное отвращение к фруктам. Я объявил режиссеру, что ему не следует рассчитывать на «Дон-Жуана», так как я, со своей стороны, если предполагали с этим спектаклем соединить мой дебют, должен буду отказаться от предложений директора и вернуться в Лейпциг, чтобы там привести в порядок свои дела.

Эта вежливая форма отказа от должности, сразу же сложившаяся в моей душе, влекла за собой необходимость притворяться и делать вид, будто я озабочен вещами, которые были совершенно излишни при моем намерении больше не возвращаться в Лаухштедт. Мне предложили помочь при отыскании комнаты, и один молодой актер, которого я случайно знал еще по Вюрцбургу, взялся быть моим проводником. Направляясь со мной к лучшей из известных ему квартир, он сказал, между прочим, что там я буду иметь удовольствие состоять соседом самой красивой и милой девушки в Лаухштедте: это первая артистка театра, фрейлейн Минна Планер, о которой я, вероятно, уже слышал.

Случаю было угодно, чтобы эта девушка встретилась нам уже у дверей упомянутого дома. Вся ее внешность

и поведение стояли в самом разительном противоречии со всем тем, что пережито было мною в это достопамятное утро. Очень привлекательная и свежая по наружности, молодая артистка отличалась большой сдержанностью и строгой уверенностью движений и обращения, придававшей приветливому выражению ее лица приятно поражающее достоинство. Безупречно опрятный и приличный костюм завершил впечатление этой совершенно неожиданной встречи. После того как я был ей представлен в сенях дома в качестве нового дирижера, и она удивленно смерила меня взглядом, видимо, пораженная моей молодостью, она по-дружески отрекомендовала меня любезному вниманию хозяйки и гордым и спокойным шагом направилась через улицу, торопясь на репетицию. Я тотчас же нанял квартиру, согласился дирижировать в воскресенье «Дон-Жуаном», пожалев лишь о том, что не захватил своего багажа, и поспешил вернуться в Лейпциг, чтобы как можно скорее снова приехать в Лаухштедт.

52

Капельмейстер. Фея Амороза. Отсутствие театральной аффектации. Наивно-необузданное поклонение. На карнизе окна. Толерантный поцелуй

Жребий был брошен. Серьезная сторона жизни тотчас же выступила на сцену, послав мне тяжелые испытания. В Лейпциге пришлось проститься с Лаубе: по требованию Пруссии его высылали из Саксонии, и он хорошо понимал все значение этого факта. Наступило время открытой реакции против либеральных движений первой половины тридцатых годов. Так как Лаубе не принимал участия ни в каких политических делах, но всегда предавался одной лишь литературной деятельности, направленной на эстетические цели, то мы сначала совершенно не понимали смысла этого полицейского мероприятия. Отвратительная

двусмысленность, с какой лейпцигские власти отвечали на все запросы о причинах этой высылки, скоро внушила Лаубе сильное подозрение относительно того, что с ним предполагали делать. А так как Лейпциг был для него незаменимым полем деятельности, то ему было очень важно остаться вблизи. У моего друга Апеля было прекрасное дворянское поместье в нескольких часах от Лейпцига, уже на прусской земле. У нас возникла мысль гостеприимно приютить там Лаубе, и мой друг, во власти которого было дать преследуемому надежное убежище, не вступая в конфликт с законом, тотчас же охотно пошел навстречу нашему желанию.

Однако на следующий день, обсудив вопрос со своей семьей, он сообщил нам, что боится навлечь на себя неприятности, оказывая гостеприимство Лаубе. На это последний только улыбнулся с выражением, которого я не могу забыть и которое, как я нередко замечал потом, имело обыкновение скользить и по моему лицу. Итак, он распрощался с нами, и вскоре до нас дошла весть, что на основании вновь предпринятых расследований против бывших участников буршеншафтов его арестовали и заключили в Берлинскую городскую тюрьму. Таким образом, я приобрел при этом случае двойной горький опыт, который лег на мою душу тяжелым гнетом. Поэтому, набив свой необъемистый дорожный мешок, я распростился с матерью и сестрой и решительно, обеими ногами, вступил на капельмейстерскую дорогу.

Чтобы иметь право считать своей новой родиной комнатку под помещением Минны, я должен был притворяться довольным всеми театральными предприятиями директора Бетмана. Началось с постановки «Дон-Жуана». Претендующий на изящество вкуса директор предложил мне эту оперу как подходящий дебют для честолюбивого молодого художника из хорошей семьи. Хотя, за исключением своих собственных инструментальных композиций, я еще никогда

не дирижировал оперным оркестром, репетиция и спектакль прошли довольно хорошо. Только речитативу донны Анны несколько раз недоставало отчетливости. Но это не навлекло на меня никаких нареканий, и когда я спокойно и невозмутимо взялся за *Lumpacivagabundus*[28], еще совершенно незнакомый с этим произведением, все, по-видимому, возымели доверие к новому приобретению театра.

Если при таком недостойном применении своих музыкальных способностей я не чувствовал ни малейшей горечи и даже был в хорошем настроении, то этим я обязан не столько, как я уже говорил, переходному этапу в развитии моего художественного вкуса, сколько знакомству с Минной Планер, игравшей во всей этой феерии роль феи Аморозы. В пыльном облаке распущенности и пошлости она действительно казалась феей, неизвестно каким образом попавшей в этот вихрь, который, правда, никогда не увлекал ее за собой и даже едва касался ее. В то время как в остальных певицах оперы я видел только хорошо известные мне типы карикатурных и гримасничающих ломак, эта красивая артистка своей неприкрашенной серьезностью, элегантной опрятностью, так же как отсутствием всякой театральной аффектации и комедиантской напыщенности, казалась мне явлением, совершенно оторванным от окружающей жизни. Единственный молодой человек, которого я мог поставить рядом с ней, которого я мог сравнивать с ней, был Фридрих Шмит, только что появившийся на театральном поприще, в опере, к которой, обладая прекрасным теноровым голосом, он чувствовал призвание. И он тоже отличался от остального персонала серьезностью, с какой относился к своим занятиям и ролям. Задушевный, мужественный звук его грудного голоса,

[28] «Злой дух Лумпацивагабундус».

благородная, чистая дикция и разборчивая фразировка остались у меня в памяти как нечто образцовое. Впрочем, полное отсутствие актерского таланта, неумение держаться на сцене скоро положили предел его движению вперед. Но он оставался моим единственным знакомым, и я ценил его как способного, оригинального человека с надежным, благородным характером.

Общение с моей любезной соседкой по квартире скоро обратилось у меня в страстную потребность. Она с благожелательным удивлением встречала наивно необузданное поклонение молодого (мне был 21 год) капельмейстера и, чуждая всякому кокетству и преднамеренности, скоро завязала со мной доверчивые, дружеские отношения. Когда однажды, поздно вечером, забыв ключ от дома, я возвращался в мою комнату через окно, то шум этого вторжения привлек внимание Минны. На мою просьбу, которую я высказал стоя на карнизе окна, разрешить мне пожелать ей спокойной ночи, она возразила, что изменить сейчас ничего нельзя, так как по ее просьбе хозяева запирают на ночь ее дверь, чтобы никто не мог к ней войти. Она дружески облегчила мне рукопожатие, перегнувшись всем корпусом, и я без труда мог поймать ее руку.

Когда вскоре после того я заболел рожей, которой был подвержен, и в своей печальной каморке прятал от всего мира распухшее лицо, Минна часто посещала меня, ухаживала за мной и уверяла, что обезображенная физиономия ровно ничего не значит. Выздоровев, я навестил ее и, жалуясь на оставшуюся около рта сыпь, просил извинить меня за то, что показался ей в таком неприятном виде. Но она была так добра, что не нашла в моем появлении ничего отталкивающего для себя. А когда я возразил, что все же она не захотела бы поцеловать меня, она тотчас же доказала свою решимость не отступить и перед этим. Все это

Минна делала с приветливым спокойствием и непринужденностью, в которых было нечто материнское и не было ничего ни легкомысленного, ни бессердечного.

53

Рудольштадт. Музыка и ревность. Рулетка

После нескольких недель общество наше должно было покинуть Лаухштедт, чтобы гастролировать остаток лета в Рудольштадте. Мне очень хотелось совершить вместе с Минной это трудное по тому времени путешествие. Если бы мне удалось получить от директора Бетмана свое добросовестно заработанное жалованье, то ничто не могло бы мне в этом помешать. Но здесь я наткнулся на чрезвычайные трудности, которые хронически стали переходить с тех пор в удивительнейшие страдания. Уже в Лаухштедте я узнал, что только один член труппы регулярно получает свое жалованье: бас Кнайзель, с которым я познакомился у кушетки парализованной директрисы. Меня уверяли, что, если я хочу получить часть своего жалованья, я могу добиться этого, только ухаживая за госпожой Бетман. На этот раз я предпочел, однако, еще раз воззвать к помощи моей семьи и отправился поэтому в Рудольштадт один, через Лейпциг, где, к огорчению и изумлению матери, должен был запастись нужной субсидией. Но в Лейпциг я направился через поместье Апеля, заехавшего за мной в Лаухштедт.

Этот отъезд из Лаухштедта запечатлелся у меня в памяти благодаря разгульной пирушке, которую мой состоятельный друг устроил в мою честь. При этом мне и одному из моих собутыльников удалось разломать огромную кафельную печь массивной конструкции, находившуюся в нашем номере, и на другое утро никто из нас не был в состоянии понять, как это произошло.

Во время этого путешествия в Рудольштадт я в первый раз проехал через Веймар, где в один дождливый день с любопытством, но без должной проникновенности осматривал дом Гёте. Я представлял его себе совершенно иным и ждал от оживленной театральной жизни Рудольштадта, которой очень интересовался, также более сильных впечатлений. Там я не должен был дирижировать, так как эта функция была перенесена на дирижера Княжеской придворной капеллы, привлеченной к нашим спектаклям. Но мои занятия — разучивание множества опер и зингшпилей, которыми мы должны были развлекать публику княжества, съехавшуюся в это время на праздник «стрельбы в деревянную птицу», — были так интенсивны, что мне не удалось совершить ни одной прогулки по живописным окрестностям города. Помимо сурового и плохо вознаграждаемого труда, две страсти приковывали меня к месту в течение шестинедельного пребывания в Рудольштадте: с одной стороны, удовольствие, с каким я писал стихи «Запрета любви», с другой — моя склонность к Минне.

В это же время я сделал набросок симфонии E-dur, первая часть которой (размер 3/4) композиционно была уже закончена. На стиль и план этой работы повлияла Седьмая и Восьмая симфонии Бетховена, и, насколько помнится, мне нечего было бы краснеть за качество этой работы, если бы я ее окончил или по крайней мере сохранил то, что было готово. Но уже около этого времени во мне выработалось убеждение относительно невозможности сделать в области симфонии после Бетховена что-либо новое и значительное. Напротив, опера, где к моим услугам не было никакого образца — это я чувствовал все глубже и глубже, — действовала на меня как определенная форма искусства возбуждающим образом во многих

направлениях. Различные треволнения не помешали мне написать в свободные часы, бывшие в моем распоряжении, большую часть нового оперного текста, причем я отнесся теперь с гораздо большей тщательностью к языку и стиху, чем при написании либретто «Фей», и несравненно более сознательно обращался с построением и замыслом сцен, чем раньше, при первой работе.

С другой стороны, я стал впервые испытывать мучения любовной ревности. В непринужденном, доброжелательном до сих пор обращении со мной Минны внезапно произошла необъяснимая перемена. По-видимому, мои наивные желания заслужить ее благосклонность, совершенно не клонившиеся к чему-либо предосудительному, желания, в которых опытный наблюдатель отметил бы только избыток легко удовлетворимого задора, навлекли на всеми уважаемую артистку замечания и осуждения. Я был очень удивлен, когда, наконец, из ее объяснений узнал, что она считает себя вынужденной спросить о серьезности моих намерений и принять в расчет результаты, к которым они могут привести. Минна, как это было известно мне еще раньше, находилась в близких, интимных отношениях с одним молодым аристократом, с которым я познакомился в Лаухштедте и в котором подметил искреннюю, сердечную привязанность к ней. В кругу приятельниц она считалась невестой господина фон О., хотя для всех была совершенно ясна полная невозможность их союза, так как влюбленный юноша был без всяких средств. Происходя из видной семьи, он должен был принести своему общественному положению и предстоящей карьере необходимую жертву брака по расчету. Очевидно, какие-нибудь определенные объяснения на этот счет произошли между ним и Минной

в рудольштадтский период их знакомства: Минна стала серьезной, даже печальной, холодно отстранившись от моих несдержанных попыток сближения.

Поразмыслив хорошенько, я понял, что ни «Молодая Европа», ни «Ардингелло», ни «Запрет любви» поставлены здесь не будут, что между веселым театральным жанром феи Аморозы и «сыном честных бюргеров», ищущим приличного случая пристроиться, существовала весьма значительная разница. Раздосадованный и душевно потрясенный, я обострил вольные положения моего «Запрета любви», а по вечерам шатался с компанией бездельничающих товарищей по птичьему лугу Рудольштадта, вдыхая пропитанный жареной колбасой воздух. Снова я предался пороку азартной игры, который, впрочем, на этот раз лишь мимолетно коснулся меня: меня увлекла невинная форма расставленных по ярмарке столов для игры в кости и рулетку.

54

Магдебург. За дирижерским пультом. Холодные и намеренно равнодушные отношения. Сомнительная прелесть поверхностных знакомств. Пунш и устрицы

С нетерпением я ждал переезда из Рудольштадта в Магдебург на полугодовой зимний сезон, главным образом потому, что там я снова мог стать во главе оркестра и вообще дать более достойное применение моим музыкальным способностям. Но еще до приезда в Магдебург мне предстояло пережить трудное переходное время в Бернбурге, так как директор Бетман в числе прочих предприятий затеял там ряд спектаклей. С небольшой частью труппы я должен был проездом дать несколько опер, которыми предстояло дирижировать тамошнему капельмейстеру. Приходилось влачить жалкое, скудно оплачиваемое

существование, сделавшее для меня ненавистным — если не навсегда, то на этот раз, — фатальное ремесло театрального музикдиректора. Однако всему бывает конец, и я все-таки попал в Магдебург, который, как я верил, должен был вести меня к истинной славе на избранном пути моего призвания.

Мне, конечно, очень приятно было почувствовать себя хозяином за тем самым дирижерским пультом, за которым немного лет назад Кюнлейн передавал юному энтузиасту свой капельмейстерский опыт и мудрость, ибо мне действительно скоро посчастливилось выработать в себе полную уверенность в руководстве оркестром. Лучшие музыканты стали относиться ко мне с настоящим сочувствием, и их сыгранность, особенно при бурных увертюрах, которые я заставлял обыкновенно играть к концу в неслыханно быстром темпе, часто вызывала оглушающие аплодисменты публики. Таким образом, мое пламенное, даже чрезмерное рвение заслужило мне как симпатии оперного персонала, так и любезное признание публики.

Так как театральная критика была в то время мало развита в Магдебурге, то это общее довольство мной высказывалось самым приятным и ободряющим образом, и в конце первой четверти года моего магдебургского дирижерства во мне выработалось лестное и приятное сознание, что я настоящий «матадор оперы». Предвидя при таких обстоятельствах особый успех, сердечно расположившийся ко мне режиссер Шмале задумал новогоднее торжество, для которого я должен был написать музыку. Я выполнил задание чрезвычайно быстро. Шумная увертюра, несколько мелодрам и хоров удались на славу и доставили нам совершенно необычное в другое, непраздничное время щедрое одобрение публики, так что мы смогли еще раз с успехом повторить этот «новогодний привет», эту новогоднюю постановку.

Это время (1835 год) явилось для меня, кроме того, решительным, поворотным пунктом всей моей жизни. Прекратив в Рудольштадте нашу дружбу, мы с Минной несколько потеряли друг друга из виду, но, встретившись в Магдебурге, снова возобновили холодные и намеренно равнодушные отношения. Я узнал, что, выступая здесь в прошлом году, она возбудила всеобщее внимание как красивая девушка и, привлекая особенно усердные ухаживания некоторых молодых аристократов, не оставалась равнодушной к чести, оказываемой ей их визитами. Правда, ее репутация благодаря постоянно приличному и строгому поведению, осталась незапятнанной, но моя антипатия к знакомствам такого рода, быть может, уже вследствие воспоминаний о страданиях в доме Пахта, была очень обострена. Хотя Минна и уверяла, что эти господа ведут себя гораздо скромнее и приличнее любителей театра из бюргерского класса и особенно некоторых молодых капельмейстеров, все же ей никогда не удавалось победить ту горечь и придирчивое настроение, какие возбуждала во мне эта черта ее поведения.

Так провели мы три безрадостных месяца, все более отдаляясь друг от друга. В это время я с неразборчивостью, наполовину проистекавшей от отчаяния, обманывал самого себя сомнительной прелестью самых поверхностных знакомств и так открыто легкомысленно вел себя направо и налево, что Минна, как она мне сама потом признавалась, почувствовала сожаление и серьезное обо мне беспокойство. Так как со стороны женского персонала оперы не было недостатка в знаках внимания, оказываемых молодому музикдиректору, и одна, не пользовавшаяся особенно хорошей репутацией, молодая особа явно старалась уловить меня в свои сети, то Минна должна была из чувства страха принять определенное решение.

В канун Нового года я придумал угостить у себя избранных членов нашего оперного персонала пуншем и устрицами. Мужья были приглашены со своими женами, и затруднение было только в том, сумею ли я убедить незамужнюю фрейлейн Планер принять участие в моем празднике. Она совершенно просто откликнулась на мое приглашение и появилась, как всегда опрятная и приличная, в моей холостяцкой квартире, где вскоре стало шумно и весело. Хозяин был заранее предупрежден относительно бури, которая может подняться в его доме, и успокоен обещанием, если потребуется, возместить все убытки изломанной мебели.

Что не удалось шампанскому, то доделал, наконец, пунш. Все узы необходимого приличия, связывавшие мою компанию, были порваны, и воцарилось общее панибратство, против которого никто не протестовал. И здесь ясно обнаружилось, какой королевски спокойной благопристойностью Минна отличалась от всех ее сотоварищей. Она ни на минуту не утратила своего достоинства, и обойтись с ней фамильярно не осмелился никто. Тем значительнее, тем нагляднее под конец подействовал на всех тот факт, что Минна без всякой застенчивости отвечала на мою дружескую, сердечную нежность. Всем товарищам стало ясно, что между нами существуют особые отношения. Мы получили своеобразное удовлетворение, увидев, какие судороги сделались при этом открытии с той дамой плохой репутации, которая, несомненно, имела на меня виды.

55

Жребий брошен

С тех пор я непрерывно оставался в тесных дружеских отношениях с Минной. Не думаю, чтобы она испытывала

ко мне склонность, граничащую со страстью, т. е. настоящий аффект любви, чтобы она вообще была способна на такой подъем, и могу охарактеризовать ее чувства ко мне только как сердечную благосклонность, как искреннее пожелание мне успеха и благополучия, как дружеское участие и снисходительное отношение к моим, часто изумлявшим ее качествам, что в конце концов перешло у нее в постоянную и приятную привычку. Несомненно, она держалась очень благоприятного мнения о моем таланте, и мой быстрый успех оказал на нее чарующее действие. Мой эксцентрический характер, который она умела весьма приятно укрощать своим веселым спокойствием, постоянно побуждал ее проявлять эту льстящую ее самолюбие власть, и если она не питала по отношению ко мне никаких желаний, не проявляла тоски или пыла, то все же не отвечала холодом на мою необузданность.

В Магдебургском театре я действительно сделал интересное знакомство с одной уже немолодой артисткой на так называемые роли гранд-дамы. Госпожа Гааз тотчас же заслужила особое право на мое внимание, так как она оказалась другом юности Лаубе, в судьбе которого не переставала принимать близкое и важное участие. Она была умна и несчастна — последнему особенно способствовала неблагодарная внешность, которая с годами давала себя чувствовать. Она имела ребенка, жила очень бедно и, казалось, с горькой обидой вспоминала о лучших временах. Я часто посещал ее — сначала для того, чтобы получать сведения о судьбе Лаубе, а потом по установившейся привычке. Так как она подружилась с Минной, то мы трое часто проводили вместе задушевные вечера. Однако эта задушевность иногда нарушалась, когда у старшей подруги возникала какая-то ревность по отношению к младшей, и меня особенно возмущало слушать, как она критикует талант и умственную одаренность Минны.

Однажды вечером я обещал Минне пить у нее чай в обществе старшей приятельницы. По неосторожности я принял предварительно приглашение на партию в вист, которую, несмотря на то, что она мне сильно наскучила, я намеренно старался продолжить, чтобы попозднее прийти к Минне, когда неудобная мне товарка уйдет. Это удалось мне при помощи спиртных напитков, и, таким образом, в итоге я оказался совершенно пьяным, причем это произошло так неожиданно, что я и сам никак не хотел поверить странному для меня факту. Тем не менее я все же соблазнился нанести поздний визит Минне. К моей несказанной досаде, я еще застал госпожу Гааз, что сейчас же повело к бурным взрывам эмоций с моей стороны. И когда дама в шутливых восклицаниях выразила свое удивление по поводу моего шумного и нелюбезного поведения, я принялся так грубо высмеивать ее, что она немедленно покинула нас. Сквозь последние остатки темневшего сознания я слышал искренний смех Минны, изумленной моими невозможными выходками. Благодаря никогда не покидавшему ее спокойствию она быстро приняла не дававшееся ей до сих пор решение, так как состояние мое было до того серьезно, что нельзя было и думать о моем уходе или о доставлении меня домой. А участие ко мне довершило остальное: она достала необходимые средства лечения, и так как я вскоре погрузился в глубокий сон, то, не колеблясь, освободила мне свою постель, на которой я и проспал до утра, до того удивительного утра, которое с неотразимой ясностью осветило мне, когда я узнал, где проснулся, длинную и бесконечно важную по последствиям жизненную связь, зародившуюся в эти часы.

Забота, которую я уже предчувствовал, вошла в мою жизнь. Без легкомысленных шуток, без шалостей и других признаков веселья мы степенно и чинно позавтракали вместе, чтобы в дообеденное время, пока при таких серьезных обстоятельствах это могло сойти незаметным, совершить длинную

прогулку за ворота города. Затем мы расстались, чтобы впредь в качестве официальной влюбленной пары свободно и без смущения следовать своей нежной склонности.

56

«Колумб». Чудеса оркестра. Глубочайшее pianissimo под еле брезжущие фигуры скрипок на высоких нотах. Ликующее великолепие шести труб. Популярность у магдебургской публики

Своеобразное направление, которое постепенно приняло мое музыкальное развитие, получило новое подкрепление в успехах, так же, как и в неудачах, выпадавших тогда на мою долю. В концерте одного из местных обществ я провел очень выигрышным образом увертюру к моим «Феям» и получил за нее большое одобрение. Но в то же время до меня дошли сведения о неблагоприятном решении Лейпцигской театральной дирекции касательно обещанной постановки этой оперы. Начало композиции «Запрета любви» привело меня в такое настроение, что я потерял интерес к этой ранней работе и с гордым равнодушием я отказался от всяких стараний добиваться ее постановки в Лейпциге, считая себя достаточно вознагражденным за мою первую оперу успехом, только что выпавшим на долю моей увертюры.

Взамен того при всех отвлечениях в сторону я нашел в краткий период этого первого магдебургского полугодия достаточно времени, чтобы, наряду с другими работами, написать большую часть новой оперы. В концерте, который мы давали в театре, я уже исполнил два дуэта из нее, успех которых поощрил меня бодро продолжать работу.

Во второй половине сезона меня посетил мой друг Апель, чтобы погреться в лучах моей новой капельмейстерской славы. Он написал драму «Колумб», которую я рекомендовал дирекции для постановки. Не было ничего

легче, как добиться этой милости, так как Апель предложил заказать за свой счет новую декорацию, представляющую Альгамбру, и, кроме того, подал занятому в его пьесе персоналу, по-прежнему стесненному в получении жалованья из-за продолжающихся привилегий баса Кнейзеля, надежду на некоторое облегчение и поддержку. Сама пьеса, казалось мне, содержала очень много хорошего: она изображала борьбу и усилия великого мореплавателя до его отплытия в первое путешествие. Драма заканчивалась знаменитым для всего мира выходом его кораблей из гавани Палоса и отличалась, даже по свидетельству моего дяди Адольфа, которому Апель дал ее на прочтение, живыми и характерными народными сценами, тогда как сам роман казался беспомощным и бледным.

Кроме небольшого хора изгнанных из Гренады, своей второй родины, мавров и короткой оркестровой вещи в конце, я с самой легкомысленной быстротой сочинил увертюру к пьесе моего приятеля. Окончательный план ее я набросал однажды вечером у Минны, предоставив при этом Апелю и моей возлюбленной разговаривать громко, не стесняясь. Действие этой, к сожалению, необычайно поверхностно выполненной музыкальной вещи было построено на простой, но неожиданной по своему развитию основной теме. Оркестр в подобранных без особых усилий фигурациях изображал море и, если угодно, корабль на нем. Мощный, страстный и стремительный мотив носился над шумом волн. Этот ансамбль повторялся, затем внезапно исчезал, прерывался словно мираж, переданный нежнейшим pianissimo под еле трепещущие фигуры скрипок на высоких нотах. Я заказал три пары различно настроенных труб, чтобы исполнить великолепный и соблазнительно мерцающий мотив с самыми нежными оттенками и разнообразнейшими модуляциями. Это была

обетованная страна, которую зорко высматривал глаз героя, которую он много раз уже видел перед собой, но которая снова исчезала в океане, чтобы, наконец, после высочайшего напряжения неутомимого искателя, отчетливо предстать перед взорами всех моряков — страна будущего во всей своей безграничности, в лучах восходящего утреннего солнца. Тогда все мои шесть труб сливались в основной тональности, чтобы заставить звучать предназначенный им мотив во всем его ликующем великолепии.

Зная превосходные качества прусских полковых трубачей, я правильно возложил особую надежду на захватывающий эффект последней части: увертюра повергла всех в изумление и вызвала бурное одобрение. Самую же пьесу сыграли без должного внимания, особенно главная роль была совершенно испорчена одним пустым актером, Людвигом Майером. Он был режиссером и потому не успел будто бы как следует выучить ее наизусть, хотя и нашел время обогатить свой гардероб целой массой великолепных костюмов, в которые Колумб попеременно облачался. Но Апель увидел свою вещь поставленной на сцене, и если повторения спектакля не последовало, то все же это увеличило мою популярность у магдебургской публики, так как в концертах стали играть мою увертюру.

57

Шредер-Девриент. Помпезные объявления. Полнейшее фиаско

Но главное событие этого театрального сезона произошло по его окончании. Мне удалось пригласить к нам на несколько гастролей госпожу Шрёдер-Девриент, которая пела в Лейпциге. Теперь мне самому выпало на долю громадное удовольствие дважды с восторженным одушевлением дирижировать операми, в которых она пела, и таким образом находиться с ней в непосредственном

артистическом сотрудничестве. Она появилась в ролях Дездемоны и Ромео: в последней она всех наэлектризовала и снова преисполнила меня огня и жара.

Я вступил с ней на этот раз в более близкие личные отношения, причем она проявила по отношению ко мне такую любезность и участие, что добровольно предложила мне содействие в концерте, который я намеревался дать в свою пользу и ко времени которого она снова хотела вернуться в Магдебург через короткое время. Успех этого концерта, от которого при таких условиях я должен был ждать больших выгод, имел для меня особенно большое значение.

Ничтожное само по себе жалованье, причитавшееся мне от магдебургской дирекции, сделалось иллюзорным особенно потому, что выдавалось в высшей степени нерегулярно и маленькими порциями, так что я мог удовлетворить свои жизненные потребности и особенно расходы на частые угощения моих музыкальных и вокальных клиентов лишь одним путем, приведшим в конце концов к довольно солидной сумме долга. Я и не представлял себе ясно, как велика была эта сумма, а с другой стороны, преувеличенно высоко думал о возможном доходе с моего концерта. При этих двух взаимно упраздняющих друг друга неясностях, я утешал моих кредиторов надеждой на баснословную выручку, из которой им будет уплачено в следующий за концертом день, для чего и приглашал их всех собраться в соответствующее утро в гостиницу, куда я переехал в конце сезона.

Конечно, не было ничего неестественного в том, что при участии такой большой, всюду с энтузиазмом чествуемой артистки, специально для этой цели приезжающей в Магдебург, я рассчитывал на большой сбор и что, желая обставить концерт со всей музыкальной пышностью, я пригласил большой оркестр, назначил целый ряд

репетиций, не думая ни о каких расходах. К несчастью, никто не хотел верить, что знаменитая артистка, ценившая свое время на вес золота, в угоду маленькому музикдиректору действительно вернется в Магдебург. Поэтому почти все считали помпезные объявления обманным маневром и негодовали на высокие цены. Зал оказался лишь скудно наполненным, что причинило мне большое огорчение.

Прежде всего, мне было в высшей степени неловко перед любезной Шрёдер-Девриент, которая пунктуально явилась, чтобы оказать мне несомненную поддержку, и должна была пережить непривычный для нее факт выступления перед весьма немногочисленной публикой. К счастью, она осталась в хорошем настроении духа (что, впрочем, как я узнал потом, имело другие, не касавшиеся меня лично причины) и, между прочим, удивительно хорошо спела «Аделаиду» Бетховена под мой аккомпанемент на рояле.

Другой причиной неожиданного провала, постигшего мой концерт, стал неудачный выбор пьес для оркестра, которые звучали нестерпимо шумно в небольшом и довольно плохом по акустике зале гостиницы *Zur Stadt London*[29]. Моя увертюра «Колумб» с ее шестью трубами уже привела в ужас всех слушателей, а теперь пришла очередь «Битвы при Витории» Бетховена, которую я в ожидании неслыханного сбора с энтузиазмом разукрасил всевозможной «инструментальной роскошью». Оружейный и пушечный огонь как с французской, так и с английской сторон был организован с полным совершенством при помощи ценных машин особой конструкции, число барабанов и сигнальных рожков было удвоено и утроено.

---

[29] «Под Лондоном» (*нем.*).

И вот разразилась битва, какая едва ли когда-либо свирепствовала в концерте, ибо оркестр с очевидным перевесом сил «устремился» на немноголюдную аудиторию с таким пылом, что последняя отказалась от всякого сопротивления и буквально «сдала свою территорию неприятелю». Госпожа Шрёдер-Девриент, оставшаяся из любезности в зале и следившая за концертом из первых рядов, не смогла все-таки, при всей ее привычке к ужасам подобного рода и расположении ко мне, выдержать этого сумбура. И когда, наконец, и она при новом отчаянном натиске англичан на французские позиции, чуть не ломая руки, выбежала из зала, это послужило сигналом к паническому общему бегству. Все устремилось к выходу, и победу Веллингтона мы с оркестром праздновали в одиночестве. Так окончилось это достопамятное музыкальное торжество.

Шрёдер-Девриент сейчас же уехала обратно, с дружеским сожалением о том, что ее добрые намерения так и не привели к успеху, и предоставив меня моей судьбе. Я же отправился искать утешения у огорченной возлюбленной. Кроме того, я пытался вооружиться для битвы следующего дня, которая, по всей вероятности, тоже не должна была окончиться «победной симфонией». Возвратившись на другое утро в свой гостиничный номер, я принужден был пройти через длинный двойной ряд господ и дам, которые были сюда приглашены в этот ранний час, каждый по своему *особому делу*. Я считал себя вправе остановить свое внимание только на некоторых из моих посетителей и потолковать с ними по очереди. Прежде всего я проводил в свою комнату второго трубача, заведовавшего кассой. Из его расчетов выходило, что при высоком гонораре, который я, в великодушном порыве, обещал оркестру, я еще

должен уплатить несколько талеров и зильбергрошей из собственного кармана. Я покончил с этим делом, и сразу стало легче. Затем я пригласил мадам Готшальк, облеченную моим доверием еврейку, чтобы войти с ней в соглашение относительно предстоящих неотложных дел. Она поняла, что здесь можно было рассчитывать на экстренную поддержку, в которой у меня не могло быть недостатка при наличии состоятельных друзей в Лейпциге, и взялась распространить среди остальных кредиторов, неделикатное появление которых ее очень рассердило, разные успокоительные вести. Вот так удалось наконец, не без значительных затруднений, очистить коридор и двери моей комнаты от запрудившей их публики.

58

Минна в семье Вагнер. Лейпцигская публика. Музыкальное празднество в Дессау. Ненависть ко всему классическому. «Абсалон»

Театральный сезон окончился, общество разъезжалось, а я освободился от своей должности. Банкротство театрального директора из хронического стало острым. Он платил бумажными деньгами, целыми пачками билетов на представления, относительно которых уверял, что они состоятся. Минна, которая благодаря своей большой рассудительности сумела извлечь некоторую выгоду и из этих бумажных «ценностей» и жила всегда экономно и бережливо, осталась служить в театре. Только опера была окончательно распущена, драма же пока сохранялась. Признав необходимость моего возвращения в Лейпциг, она отпустила меня с искренним пожеланием поскорее встретиться снова. Она хотела воспользоваться предстоящим ей в скором времени отпуском, чтобы навестить своих родителей в Дрездене и проездом повидать также и меня.

Таким образом, в начале мая я снова отправился на родину, к своим, чтобы после первой попытки добиться гражданской самостоятельности заняться отысканием денег для уплаты долгов, сделанных в Магдебурге. Очень умный коричневый пудель преданно сопровождал меня из Магдебурга и был представлен моей семье в качестве единственного моего приобретения, требовавшего содержания и прокормления. Но все же мать и Розалия обрели некоторую уверенность относительно моего будущего: ведь я все-таки оказался в состоянии исполнять обязанности капельмейстера!

Мне же не давала покоя мысль, что я опять вернулся к прежним условиям жизни в семье. Особенно отношения к Минне побуждали меня как можно скорее возобновить прерванную театральную карьеру. С чрезвычайной отчетливостью обозначилась вся перемена, происшедшая тогда со мной, когда Минна остановилась на несколько дней в Лейпциге. Даже сам ее милый и привлекательный внешний вид говорил мне о том, что времена патриархальной зависимости от семьи уже миновали. Я обсудил с ней вопрос о возобновлении ангажемента в Магдебургском театре, обещая в скором времени навестить ее в Дрездене, и доставил ей возможность познакомиться с моими матерью и сестрой, испросив у них позволения пригласить ее на вечерний чай. При этом Розалия не могла не уловить характера наших отношений: однако она только лишь поддразнивала меня; очевидно, они не показались ей опасными. Но я думал совершенно иначе, так как эта сердечная привязанность вполне гармонировала с моим тяготением к независимости и желанием создать себе положение в мире искусства.

Мое нежелание служить в самом Лейпциге увеличилось благодаря изменениям, произошедшим в местной

музыкальной жизни. В то время как я в Магдебурге строил карьеру капельмейстера, легкомысленно дав себя увлечь фривольным вкусам театральной публики, Мендельсон-Бартольди своим вступлением в должность дирижера Гевандхауза открыл знаменательную вообще и особенно знаменательную для Лейпцига музыкальную эпоху. Теперь пришел конец той наивности, с какой благодушная лейпцигская публика посещала свои абонементные концерты. Когда на одном благотворительном вечере, устроенном молодой популярной певицей Ливией Гергарт, я, благодаря посредничеству моего еще не окончательно устраненного доброго старого Поленца, исполнял шумно одобренную в Магдебурге увертюру «Колумб», то, к удивлению, нашел, что лейпцигские любители музыки внезапно приобрели тот эстетический вкус, которого я не смог удовлетворить даже при помощи ловкой комбинации моих шести труб. Это открытие усилило мою неприязнь ко всему, что сколько-нибудь претендовало на классический дух. Неожиданно я оказался в трогательном единомыслии с добрым Поленцем, который, добродушно вздыхая, оплакивал доброе старое время.

Затевавшееся в Дессау под руководством Фридриха Шнайдера музыкальное празднество послужило удобным предлогом удалиться из Лейпцига. Для путешествия, которое можно было пешком совершить за семь часов, мне нужно было раздобыть паспорт. Этому документу суждено многие годы играть в моей жизни важную роль: он был и остался единственным удостоверением, которое впоследствии неоднократно оберегало меня в полицейском отношении в различных странах Европы, так как, уклонившись от воинской повинности в Саксонии, я с этого времени и до получения должности дрезденского капельмейстера не мог приобрести себе столь необходимой бумаги.

Художественные впечатления, к которым получение паспорта открывало мне доступ, были настолько неблаготворны для меня по своему воздействию, что только укрепили мою ненависть ко всему классическому. Человек с лицом пьяного сатира, внушавшим мне непреодолимое отвращение, исполнял бетховенскую [Пятую] симфонию c-moll. Несмотря на невообразимое количество контрабасов, чем обыкновенно «кокетничают» на музыкальных празднествах, исполнение было до такой степени невыразительно и бледно, что разительный контраст между сложившимся в моей фантазии образом и фактическим воплощением этого произведения казался мне совершенно неразрешимой проблемой. Впрочем, от решения ее я тогда и отказался с досадой. Это мучительное ощущение превратилось в комическое, когда я слушал ораторию «Абсалон» «старого мастера» Шнайдера, что на время развеселило и успокоило меня.

59

Ясные дни в саксонской Швейцарии. В поисках хороших оперных певцов

В Дессау, где Минна получила свой первый дебют, я услышал, как легкомысленные молодые люди говорили о ней в тоне, в каком обыкновенно в таких кругах обсуждают красивых актрис. По горячности, с какой я начал опровергать болтовню и стыдить клеветников, я сам понял, что за страстное чувство внушает мне эта девушка. Не показываясь родственникам, я возвратился в Лейпциг и сумел там раздобыть средства для немедленной поездки в Дрезден.

На половине пути, который тогда приходилось совершать в дилижансе, я встретил Минну, возвращавшуюся в Магдебург в сопровождении одной из своих сестер. Я немедленно купил обратный билет в Лейпциг и поехал

вместе со своей возлюбленной. Однако на следующей станции мне удалось уговорить Минну вернуться в Дрезден, но так как почтовый дилижанс уже отошел, то приходилось ехать с экстренной почтой. Такой размах с моей стороны привел обеих девушек в изумление и хорошее расположение духа. Несомненно, я своей расточительностью возбудил в них ожидание веселых приключений, о каких мне теперь и предстояло позаботиться.

У одного дрезденского знакомого я раздобыл денег, чтобы иметь возможность развернуться на широкую ногу во время сопровождения моих приятельниц в Саксонскую Швейцарию. Там мы провели несколько действительно ясных дней, преисполненных невинного юношеского веселья и омраченных только один раз взрывом ревности с моей стороны. Для нее в эти дни не было никакого повода, но она находила пищу в глубине моей души благодаря впечатлениям прошлого, смутным предчувствиям будущего и опыту, вынесенному из предшествовавших знакомств с женщинами. И все же эта поездка и особенно одна проведенная почти совершенно без сна великолепная летняя ночь в Шандау остались самым милым, почти единственным воспоминанием безмятежной поры моей юношеской жизни. Вся моя позднейшая, долгая, пронизанная болезненными и горькими переживаниями связь с Минной казалась мне часто длительным искуплением краткой безоблачной радости этих дней.

Проводив Минну до Лейпцига, откуда она отправилась дальше в Магдебург, я снова появился в кругу своей семьи, умолчав о поездке в Дрезден, и как бы в сознании странной, тяжкой вины покорился необходимости устроить свою жизнь так, чтобы вскоре снова быть около любимой женщины. Для этого я должен был принять ангажемент на ближайший зимний сезон директора Бетмана.

Во время необходимых для этого переговоров я уже не мог оставаться дольше в Лейпциге, но воспользовался присутствием Лаубе в Бад Кёзене около Наумбурга, чтобы повидаться с ним. Незадолго перед тем Лаубе после почти годичного, в высшей степени тяжелого предварительного заключения был выпущен из Берлинской городской тюрьмы. Взяв с него обещание не выезжать из страны до окончательного объявления приговора, ему позволили побывать в Бад Кёзене, откуда он потихоньку однажды вечером приехал к нам в Лейпциг. Впечатление, произведенное на меня его страдальческой внешностью, его хотя и мужественным, но безгранично покорным настроением, отказ от прежних надежд на новый, лучший строй жизни, при том особом возбуждении, в какое меня повергало мое собственное критическое положение, остались одним из самых печальных и зловещих моих воспоминаний.

В Бад Кёзене я прочел ему многое из «Запрета любви» и, несмотря на все его отрицательное отношение к моим притязаниям самому писать тексты, все же получил от него поощрительный отзыв. Но я в беспокойстве ждал писем из Магдебурга, и не потому, что сомневался в возобновлении ангажемента (напротив, я имел основание считать себя хорошим приобретением для директора Бетмана), но единственно потому, что все приближавшее меня к Минне продвигалось недостаточно быстро. Едва дождавшись необходимых новостей, я тотчас же собрался в Магдебург, чтобы на месте составить все проекты будущего блестящего оперного сезона.

Нашему постоянному банкроту, театральному директору, около этого времени было оказано новое и последнее вспомоществование от неиссякающих щедрот короля Пруссии: король ассигновал значительную сумму комитету, состоящему из видных магдебургских горожан, на театр,

во главе которого должен был стоять Бетман. Что это значило, и какую важность приобретали для меня, при этих условиях, магдебургские художественно-артистические дела, будет ясно для всякого, кто вспомнит заброшенное и жалкое существование подобных же театров в наших провинциальных городах. Я тотчас же предложил совершить большое путешествие для отыскания хороших оперных певцов. Средства я брался достать на свой собственный риск, дирекция же должна была обеспечить мне их возмещение обещанием бенефиса в мою пользу. На эти условия охотно согласились, и я пустился в путь в приподнятом настроении, снабженный необходимыми полномочиями и особенным напутствием директора. С Минной, у которой тогда гостила мать, отношения у меня в течение этого короткого свидания были самые близкие, но для выполнения моего отважного предприятия нам пришлось на время снова распрощаться.

60

«Белая Дама». Нюрнберг. Платиновая табакерка и золотое кольцо с печатью. Скудные средства

Прежде всего, оказалось затруднительным раздобыть в Лейпциге столь легко обещанные денежные средства для осуществления проектированного мной антрепренерского турне. Блеск прусской королевской протекции нашему театральному предприятию, который я заставил переливаться самыми радужными красками перед глазами моего доброго зятя Брокгауза, совершенно не ослеплял последнего, и мне стоило больших и унизительных усилий снарядить к отплытию свой корабль. Разумеется, сперва меня потянуло в страну чудес, в Богемию. На этот раз я только мимоходом заглянул в Прагу, не повидав даже моих прелестных приятельниц, и поторопился в Карлсбад, чтобы

ознакомиться с оперным персоналом, находящимся там во время купального сезона.

Обуреваемый желанием поскорее найти как можно больше талантов, чтобы даром не растратить предназначенных на это путешествие денег, я отправился на одно представление «Белой дамы» с искренним намерением найти все великолепным. О плохом составе певцов я мог составить себе полное представление только тогда, когда единственный избранный мной бас, Грэф, певший Гавестона, позднее дебютировал в Магдебурге и настолько не понравился всем, да и не мог понравиться, что я должен был, молча сносить насмешки, посыпавшиеся на меня за это приобретение. И хотя цель моей поездки так и не была достигнута, тем приятнее оказалось само путешествие. Поездка через Эгер Фихтельгебирг, живописно освещенный заходящим солнцем Байрейт, все это долго оставалось одним из приятнейших моих воспоминаний.

Теперь моей целью был Нюрнберг, где сестра Клара с мужем по-прежнему служили в театре — от них я надеялся получить сведения относительно того, чего искал. Прежде всего, мне был приятен гостеприимный прием, оказанный мне в доме родственников, так как приходилось думать о пополнении сильно оскудевших денежных средств. Я рассчитывал на продажу одной табакерки, которую получил в подарок от друга и которую, по неизвестным причинам, я считал платиновой. Сюда же я намеревался присоединить золотое кольцо с печатью, подаренное мне Апелем за сочинение увертюры к его «Колумбу». Заклад этих единственных моих драгоценностей, из которых, к сожалению, стоимость табакерки оказалась лишь воображаемой, должен был доставить мне скудные средства для дальнейшего путешествия во Франкфурт. Туда и в окрестности Рейна я хотел направиться

на основании добытых мной указаний. Теперь, после того как мне удалось уговорить сестру и ее мужа принять ангажемент в Магдебурге, мне не хватало только первого тенора и примадонны, которых я никак не мог разыскать.

61

Затеи нюрнбергских шутников

Это случайное пребывание в Нюрнберге затянулось еще благодаря приятной Шрёдер-Девриент, которая как раз в это время прибыла туда на короткие гастроли. При встрече с ней я почувствовал, как прояснился мой художественный горизонт, несколько затуманившийся со времени нашего последнего свидания. Состав Нюрнбергской оперной труппы не оставлял художнице большого выбора опер; кроме «Фиделио» можно было давать только «Швейцарское семейство». Артистка жаловалась, что тут приходится выступать в одной из ее самых ранних юношеских ролей, для которой она больше не годилась и которая ей сильно приелась. И я тоже без всякого удовольствия, чуть ли не со страхом ожидал этой оперы, думая, что бесцветная музыка и сентиментальная старомодная фигура Эммелины ослабят огромное впечатление, оставшееся у публики и у меня самого от прежней игры артистки. Как велики были мои потрясение и непритворное изумление, когда впервые в этот вечер я понял поистине захватывающий талант этой необычайной женщины. А так как тот образ швейцарской девушки не мог быть сохранен для всех последующих поколений, то я считаю это одной из самых возвышенных жертв сценического творчества. В атмосфере таких потерь и совершаются откровения чудесного драматического искусства, и я не могу найти достаточно высокой оценки для таких благородных и святых явлений артистической жизни.

Помимо этих новых впечатлений, столь знаменательных для меня, для всего моего художественного развития, мое тогдашнее пребывание в Нюрнберге оставило во мне еще и другие, особые следы, которые, несмотря на ничтожный и тривиальный повод, все же укоренились во мне глубоко, так что впоследствии ожили снова, хотя и в совершенно иной форме. Мой зять Вольфрам был особенно известен и любим в среде нюрнбергских друзей театра как покладистый и остроумный завсегдатай всяких веселых компаний. Следующий факт может служить своеобразным и забавным образчиком тех развлечений, которым предавались тогда по вечерам в местных ресторациях, и в которых и я принимал некоторое участие.

Столярных дел мастер Лауерман, уже немолодой, приземистый человек смешной наружности, говоривший только на простом народном диалекте, был мне рекомендован в одной пивной как чудак, притягивающий всеобщее внимание шутников. Лауерман воображал себя великолепным певцом и, исходя из этого предвзятого о себе мнения, питал особый интерес только к тем, у кого также находил талант к пению. Несмотря на то, что это обстоятельство сделало его постоянной мишенью насмешек, издевательств и шуток, он все же аккуратно каждый вечер появлялся среди веселых дебоширов. Только со временем сделалось крайне трудным заставить этого осмеянного и разобиженного человека демонстрировать свое искусство: это удавалось только при помощи «сетей», ловко расставленных его тщеславию.

Мое присутствие в качестве нового человека было использовано для этой забавы. Невысокое мнение о сообразительности бедного «мейстерзингера» тотчас же блестяще подтвердилось после того, как зять мой представил ему меня под именем великого итальянского певца Лаблаша.

К его чести я должен сказать, что Лауерман долго смотрел на меня с недоверием и осторожно выразил некоторые подозрения насчет моей моложавой наружности, а еще более насчет явного теноральнoго тембра моего голоса. Заставить бедного энтузиаста поверить в эту нелепость и составляло задачу посетителей кабачка, и они долгое время забавлялись ней. Мой зять убедил столяра, что, получая баснословные суммы за свое пение, я при посещении ресторации стараюсь особыми уловками скрыть свой талант от публики. Но если поставлен будет вопрос о состязании между Лауерманом и «Лаблашем», то, конечно, весь интерес окажется на стороне Лауермана, а не «Лаблаша», так как последнему надо поучиться у первого, а не наоборот.

Странная борьба недоверия и раздразненного тщеславия, происходившая в бедном столяре, пробудила во мне симпатию к нему. Я принялся возможно усерднее разыгрывать назначенную мне роль, и после двух часов, проведенных в самых потешных выходках, удалось довести этого чудака, долго не сводившего с меня своих блестящих глаз, до того, что его лицо пришло в движение. Казалось, что перед нами какое-то привидение или музыкальный автомат с заведенным механизмом: губы его задрожали, зубы заскрежетали, глаза конвульсивно выкатились и, наконец, хриплый, густой голос затянул необычайно пошлую уличную песню. Исполняя эту вещь, он беспрестанно проводил за ушами вытянутым большим пальцем, причем его толстое лицо становилось багрово-красным. К сожалению, очень скоро раздался гомерический хохот всех присутствующих, что тотчас же повергло в величайшую ярость несчастного певца. В довершение жестокой шутки эта ярость вызвала бесцеремоннейшее издевательство тех, кто только что самым предательским образом льстил ему, что в свою очередь довело несчастного прямо до бешенства.

Когда бедняга, сопровождаемый злостными насмешками бессовестной компании, готовился ретироваться из ресторации, искренняя жалость заставила меня пойти за ним вслед, чтобы просить у него прощения и как-нибудь задобрить его. Это было в высшей степени трудно, так как он был особенно раздражен именно против меня, самого нового из своих врагов, который к тому же так больно обманул его надежду лицезреть самого Лаблаша.

Мне удалось, однако, задержать его на пороге. А расшалившаяся компания тут же молча сговорилась заставить еще раз спеть Лауермана. Я плохо помню, как все это произошло, так как действие спиртных напитков, которыми все-таки удалось победить сопротивление столяра, спутало и мои собственные впечатления этого необычайно длинного вечера. После того как Лауерман еще раз перенес такие же издевательства, общество почувствовало себя обязанным проводить несчастного домой. В тачке, которая была найдена у крыльца, мы с триумфом подкатили его к двери дома на одной из тесных улиц старого города. Госпожа Лауерман, восставшая от сна, чтобы встретить своего супруга, разразилась бранью, позволявшей лишь угадывать, как обстояло дело с их супружескими и домашними отношениями. Высмеиванье музыкального таланта ее мужа было для нее делом обычным, но она все-таки считала необходимым предать громогласному проклятию бездельников-мальчишек, которые, укрепляя ее бедного мужа в его безумии, отрывают его от прибыльного ремесла и дурачат на всевозможные лады. Но здесь проснулась гордость страждущего «мейстерзингера»: он стал в самых жестких выражениях отрицать за своей женой, которая с трудом влекла его вверх по лестнице, всякое право на критику его вокального искусства и энергичным образом призывать ее к покою.

Однако дикое ночное похождение этим не закончилось: вся толпа еще раз направилась в кабачок. Там, у дверей, мы

нашли других посетителей, и в числе их учеников ремесленников, которых не впускали внутрь ввиду наступившего комендантского часа. Но среди нас были постоянные посетители кабачка, состоявшие в давнишних и дружеских отношениях с его хозяином, и потому нам казалось позволительным и возможным требовать, чтобы нас впустили. Хозяину было очень неприятно запирать двери перед своими друзьями, голоса которых он узнавал, но он боялся, что вслед за ними ворвутся и вновь пришедшие. Возникли замешательство, суматоха, послышались крики и ругательства, количество участников непонятным образом возросло, и вскоре все приняло характер какого-то страшного кошмара. Казалось, что в следующее мгновение во всем городе началось буйное восстание, и мне почудилось, что я снова стану свидетелем революции, настоящего повода к которой, однако, не в состоянии был постичь ни один человек. Внезапно я услышал шум падения, и как бы по мановению волшебного жезла толпа рассыпалась в разные стороны. Один из постоянных гостей, знакомый с приемами старой нюрнбергской борьбы, в надежде положить конец невообразимой суматохе и расчистить себе путь домой, свалил особым ударом кулака в переносицу одного из самых рьяных крикунов, так что тот, хотя и не был ранен опасно, упал без чувств. Это-то и разогнало всю толпу. Спустя минуту после неистового бушевания нескольких сотен людей, мы — я и зять мой — рука об руку, тихо шутя и смеясь, направились домой по освещенным луной улицам. По дороге я узнал, к своему удивлению и успокоению, что так обыкновенно проходят здесь все вечера.

62

Конец делового путешествия

Наконец пришла пора снова серьезно подумать об осуществлении цели моего путешествия. Только проездом

на один день посетил я Вюрцбург: не помню, виделся ли я с родными и знакомыми, кроме Фредерики Гальвани, о тяжелой встрече с которой я уже говорил. По приезде во Франкфурт я был вынужден тотчас же устроиться под кровом солидного отеля, чтобы там дождаться результатов моих хлопот о субсидии от магдебургской дирекции. Мои надежды залучить солистов для нашего оперного предприятия сосредоточивались главным образом на Висбадене, где мне указали на хорошую, но распадающуюся оперную труппу. Поездка туда оказалась делом в высшей степени нелегким: однако мне все же удалось присутствовать на репетиции «Роберта-Дьявола», в которой особенно отличался тенор Фреймюллер. Я тотчас же посетил его и нашел его склонным согласиться на мое предложение переехать в Магдебург.

Окончив с ним необходимые переговоры, я был вынужден как можно скорее уехать обратно в свое убежище, гостиницу *Weidenbusch*[30], во Франкфурте. Здесь мне предстояло пережить еще одну тягостную неделю, напрасно поджидая затребованных из Магдебурга денег на путевые расходы. Чтобы убить время, я, между прочим, взял большую красную записную книжку, которую возил с собой в дорожном мешке, и набросал, с точным указанием чисел, заметки для моей будущей биографии, те самые, которые в настоящее время находятся передо мной и освежают мою память. Такие записи я с тех пор делал непрерывно в различные периоды моей жизни.

Мое положение серьезно осложнялось благодаря небрежности магдебургской дирекции, но зато в самом Франкфурте я сделал приобретение, оказавшееся более удачным, чем я мог ожидать. Присутствуя при исполнении «Волшебной флейты» под руководством прославленного

---

[30] «Ивовый куст» (*нем.*).

тогда «гениального дирижера» Гура, я был восхищен действительно великолепным оперным составом. Конечно, нельзя было и мечтать о том, чтобы завлечь в мои сети когонибудь из главных исполнителей. Но я был достаточно проницателен, чтобы открыть завидный талант в молоденькой фрейлейн Лимбах, которая пела партию Первого пажа. Мои предложения были ней приняты, и, по-видимому, ей так хотелось освободиться от ее франкфуртского ангажемента, что она даже решила потихоньку уехать из города. Сообщив мне это, она потребовала финансовой помощи в задуманном ней предприятии, не терпевшем отлагательства, так как иначе оно могло стать известным дирекции. Молодая особа считала меня обладателем крупных аккредитивов, полученных от столь восхваляемого мной магдебургского театрального комитета для официального делового турне. Однако даже для своего собственного возвращения мне пришлось оставить в гостинице в виде залога мой скудный дорожный багаж. К этому склонить хозяина мне удалось, но одолжить денег еще и на отъезд певицы он отказался наотрез. Для прикрытия «плохого поведения» моей дирекции мне пришлось сочинить какую-то небылицу и покинуть молодую особу, разгневанную и изумленную. Сильно пристыженный этим происшествием, я в дождь и непогоду поехал в Лейпциг, откуда, захватив своего коричневого пуделя, отправился дальше в Магдебург. Здесь с первого сентября я снова приступил к исполнению обязанностей музикдиректора.

63

Во главе хорошего оперного персонала

Результаты моего делового путешествия были не особенно отрадны. Правда, директор с триумфом показал мне, что послал по моему адресу во Франкфурт целых пять луидоров, но тенору и молоденькой певице были

отправлены точно оформленные контракты, а не необходимый аванс и деньги на дорогу. Никто из них не приехал. Только бас Греф с педантической аккуратностью прибыл из Карлсбада и тотчас же навлек на меня насмешки театральных шутников. На репетиции «Швейцарского семейства» он пел так гнусаво и деревянно, что привел меня в большое смущение. Приезд дельного актера, моего зятя Вольфрама, с сестрой Кларой послужил более на пользу музыкальному водевилю, нежели опере, и доставил мне, кроме того, тяжелые заботы: эти честные люди, привыкшие в своей деятельности к стабильным условиям, вскоре увидели всю шаткость нашего театрального дела, потому что при такой недобросовестной дирекции, как дирекция Бетмана, даже королевская протекция сделать ничего не могла. Они поняли, что поменяли свое положение на значительно худшее.

Я уже терял последнее мужество, когда случай послал нам молодую госпожу Поллерт, урожденную Цейбих, которая проезжала со своим мужем, актером, через Магдебург и, обладая хорошим голосом, оказалась талантливой исполнительницей главных ролей. Необходимость принудила дирекцию совершить нужные шаги, чтобы в последнюю минуту заполучить и тенора Фраймюллера. И особенно велико было мое удовлетворение, когда предприимчивый тенор, воспылавший любовью к юной Лимбах, счастливо осуществил столь постыдно неудавшееся мне похищение этой певицы. Оба явились, сияющие от радости. Кроме них была ангажирована и госпожа Поллерт, которая всем очень понравилась, несмотря на свои претензии. Нашелся и прошедший хорошую школу, музыкально образованный баритон, господин Круг, впоследствии хормейстер в Карлсруэ. Таким образом, я внезапно

очутился во главе хорошей оперной труппы, среди которой приходилось с трудом затушевывать одного только баса Грефа.

Нам скоро посчастливилось дать целый ряд совсем незаурядных оперных спектаклей, причем наш репертуар включал в себя все, что только можно было найти в этом жанре для театра. Особенно же радовался я действительно осмысленной постановке шпоровской «Иессонды», которая завоевала нам уважение образованных любителей музыки. Я был неутомим в изобретении средств поставить наши спектакли выше уровня, обыкновенно доступного таким скромно организованным театрам маленьких городов. Но я постоянно вооружал против себя директора Бетмана, увеличивая оркестр, который ему приходилось оплачивать. Зато я завоевывал его симпатию, усиливая хор и количество музыкантов, играющих на сцене, которые ему ничего не стоили и придавали значительный блеск нашим спектаклям. Число абонементов и общее посещение театра сильно при этом повысились. Дело в том, что я заставил полковых музыкантов и отлично обученных в прусской армии военных певцов участвовать в наших постановках, расплачиваясь за это только свободным входом на галерею для их родственников. Таким образом, я добился того, что в «Норме» Беллини мы, как этого требовала партитура, могли дать усиленный музыкальный состав на самой сцене и имели в своем распоряжении для импонировавшего мне тогда унисона мужского хора в интродукции почти недоступное даже большим театрам число мужских голосов. Впоследствии, встречаясь с господином Обером в Париже, в кондитерской Тортони, где мы часто вместе ели мороженое, я мог засвидетельствовать, что заставлял целую роту, в полном составе, изображать в его «Лестоке» возмутившихся солдат-заговорщиков, за что он тогда дружески благодарил меня с радостным удивлением.

64

Мысль о женитьбе. Сомнения и тревоги. С экстренной почтой навстречу возлюбленной

При таких ободряющих обстоятельствах композиция моего «Запрета любви» быстро продвигалась к концу. Я намеревался поставить эту оперу в обещанный мне для возмещения моих расходов бенефис и поэтому, предаваясь с чрезвычайным усердием писанию партитуры, посвящал этому даже те немногие свободные от занятий часы, которые обыкновенно позволял себе проводить около Минны. Я работал как для славы, так и над нетерпеливо ожидаемым благоприятным разрешением моих финансовых затруднений. Это прилежание тронуло даже с беспокойством взиравшую на нашу любовь мать Минны, которая гостила у дочери с лета и вела ее хозяйство.

Благодаря ее присутствию и вмешательству в наших отношениях появилась новая черта — напряженное ожидание предстоящей серьезной развязки. Само собой напрашивался вопрос, к чему все это должно было привести? Сознаюсь, что мысль о женитьбе, вероятно, в силу моей молодости, наполняла меня боязливым беспокойством. Я не вдавался в сложные размышления и рассуждения, но какое-то наивное, инстинктивное чувство удерживало меня от принятия важного для всей последующей жизни решения. К тому же общая неопределенность наших отношений также внушала нам всевозможные опасения; и у Минны скорее возникало желание сначала укрепить их, нежели завершить брачным союзом. О последнем она, со своей стороны, стала думать лишь благодаря неприятностям, возникшим в связи с ее положением в Магдебургском театре.

У нее появилась соперница на ее роли, которая оказалась особенно опасна, потому что муж этой особы являлся главным режиссером. И так как Минна в начале зимы

получила выгодные предложения от дирекции Кёнигштэдтер-театра, делавшего в Берлине блестящие сборы, то она ухватилась за этот повод, чтобы окончательно порвать с Магдебургом, чем очень перепугала меня: по-видимому, она совсем не считалась со мной при этом. Я не мог добиться от Минны, чтобы ее поездка на гастроли в Берлин не имела характера окончательного нарушения контракта с Магдебургским театром. Она уехала, оставив меня в большом горе и нешуточном сомнении относительно ее поведения. В порыве страстного беспокойства я письменно настаивал на ее возвращении и, чтобы побудить ее не отделять своей судьбы от моей, выступил с формальным предложением скорого брака.

В то же самое время мой зять Вольфрам, поссорившись с директором Бетманом и нарушив свой контракт с ним, тоже отправился на гастроли в Кёнигштэдтер-театр. Моя добрая сестра Клара, оставшаяся на время в Магдебурге в не особенно радостном положении, подметила удрученное и озабоченное состояние духа своего обыкновенно веселого брата. В один прекрасный день она нашла своевременным показать мне письмо своего мужа из Берлина, в котором тот, между прочим, сообщал сведения о Минне: искренно сожалея о моей привязанности к этой девушке, он считал ее недостойной меня, так как, остановившись в одной гостинице с ней, он имел случай наблюдать ее дурное поведение. Чрезвычайное впечатление, произведенное на меня этим ужасным известием, заставило меня не скрывать долее перед родными моей любовной связи. Я написал своему зятю в Берлин, как серьезно я предан Минне Планер и как мне важно узнать от него одну чистую правду о поведении так плохо аттестованной им девушки. В ответ на это я получил от моего обыкновенно столь сухого и склонного к насмешке зятя письмо, наполнившее теплом

мое сердце. Он сознавался, что легкомысленно обвинил Минну, что основал свою клевету на праздной болтовне, оказавшейся, после проведения тщательного расследования, совершенно необоснованной. Кроме того, он объявлял, что, познакомившись поближе с Минной и поговорив с ней, убедился в прямодушии и хороших качествах ее характера и потому от души желает счастья моему союзу с этой отличной девушкой.

Тогда во мне разыгралась настоящая буря. Я начал умолять Минну немедленно вернуться и очень обрадовался, узнав, что и она не думает о дальнейшей работе в берлинском театре после того, как несколько ближе познакомилась с его фривольным репертуаром. Мне оставалось только похлопотать о возобновлении ее магдебургского ангажемента. С этой целью в одном из заседаний театрального комитета я выступил с такой энергией против директора и ненавистного мне главного режиссера, с таким страстным жаром защищал Минну от причиненной ей несправедливости, что присутствующие, изумленные прямодушным выражением моего чувства, не сопротивляясь, подчинились моей воле. После этого я поздно ночью при отвратительной зимней погоде выехал с экстренной почтой навстречу своей возлюбленной, чтобы со слезами радости приветствовать ее и с триумфом проводить в уютную и милую мне магдебургскую квартиру.

65

Новая постановка и новый провал

После этого короткого перерыва наши отношения укрепились еще больше, и к новому, 1836 году я окончил партитуру «Запрета любви». В своих планах на будущее я возлагал немалые надежды на успех этой работы, и Минна также разделяла их со мной. Мы имели причины с тревогой ждать,

как сложатся для нас обстоятельства с наступлением весны, которая всегда пагубна для ненадежных театральных предприятий, каким было наше. Несмотря на королевскую поддержку и на вмешательство театрального комитета, наш достойный директор оставался хроническим банкротом, так что нельзя было даже и думать о дальнейшем существовании его предприятия в какой бы то ни было форме.

Таким образом, постановка моей оперы при содействии находящегося в моем распоряжении весьма хорошего состава певцов должна была стать исходной точкой существенного переворота в моем незавидном положении. Для возмещения моих путевых расходов за прошлое лето я имел право требовать в свою пользу один бенефисный спектакль: разумеется, я назначил свою собственную вещь и постарался, чтобы это оказанное мне одолжение обошлось дирекции как можно дешевле. Так как ей все же приходилось делать кое-какие затраты на новую оперу, то я условился предоставить в пользу дирекции сбор с первого представления, а сам претендовал только на доход со второго. Время репетиций отодвинулось на самый конец сезона, но я не считал это обстоятельством неблагоприятным, так как имел основание предполагать, что последние спектакли горячо принимаемой публикой труппы привлекут ее особое внимание.

Но, к сожалению, ожидаемого благоприятного завершения сезона, назначенного на конец апреля, не получилось, так как уже в марте наиболее любимые публикой члены труппы, рассчитывавшие на улучшение своего финансового положения в другом месте, заявили о своем уходе дирекции, не располагавшей вследствие полного банкротства вообще никакими средствами.

Мной овладел настоящий испуг. Постановка «Запрета любви» казалась более чем сомнительной. Лишь общей симпатии всей оперной труппы я был обязан тем, что

певцы согласились не только ждать до конца марта, но и приняться за весьма утомительное, из-за нехватки времени, разучивание оперы. За это время надо было организовать еще две постановки, так что на все репетиции мы имели в своем распоряжении только десять дней. Затея эта была, конечно, безрассудная, так как дело шло не о простой вокальной забаве, но, несмотря на легковесный характер музыки, о настоящей опере с многочисленными и сложными ансамблями. Но меня вдохновлял на мечты об успехе тот энтузиазм, с каким певцы из расположения ко мне непрерывно работали с утра до вечера. И так как, несмотря на это, все же не было ни малейшей уверенности относительно сценического воплощения, и замученные певцы плохо запоминали свои роли, то в конце концов я возложил все свои упования на чудо, которое должно было произойти благодаря достигнутой мной ловкости в дирижировании.

О моей своеобразной способности помогать певцам, бороться с их неуверенностью и добиваться известной гладкости исполнения можно было судить по немногочисленным оркестровым репетициям: постоянным суфлированием, громким подпеванием и поощрительными возгласами я настолько держал всех в должном тонусе, что, казалось, все могло сойти довольно сносно. К сожалению, мы не приняли во внимание, что на спектакле в присутствии публики все эти средства для приведения в движение драматическо-музыкальной машины должны будут ограничиться знаками моей дирижерской палочки и игрой моей физиономии. Действительно, певцы, особенно мужской состав, были до такой степени «сырыми», что воцарилась какая-то общая неуверенность, парализовавшая всякое впечатление от их ролей.

Тенор Фреймюллер, одаренный весьма слабой памятью, изо всех сил старался передать живой и пылкий характер

сорванца Люцио при помощи штампов, выработанных «Фра-Дьяволо» и «Цампой», а также несообразно пышным, развевающимся султаном из пестрых перьев. И нельзя было сетовать на публику, если она осталась в полном недоумении относительно событий, переданных одним пением, так как дирекция не потрудилась даже отпечатать либретто. За исключением некоторых женских партий, которые и были хорошо приняты, целое, рассчитанное у меня на смелое, энергичное исполнение и такой же язык, явилось какой-то музыкальной игрой теней, сопровождаемой часто преувеличенно громкими и непонятными излияниями оркестра. Для характеристики отношения к разным музыкальным оттенкам упомяну, что один прусский военный капельмейстер, которому, впрочем, опера очень понравилась, счел нужным ввиду моих будущих работ дать мне добродушное наставление насчет обращения с турецким барабаном. Но прежде чем рассказывать о дальнейшей судьбе этой удивительной юношеской работы, остановлюсь немного на описании ее литературной части.

66

«Запрет любви»

Серьезная по своей сущности пьеса Шекспира в моих руках получила следующую обработку.

Король Сицилии покидает свою страну, желая совершить путешествие в Неаполь, и передает назначенному им штатгальтеру (чтобы отметить его немецкое происхождение, я назвал его просто Фридрихом), все полномочия, все преимущества королевской власти для произведения коренной реформы нравов столицы, которые не по вкусу строгому наместнику. В начале пьесы мы застаем слуг правительства в разгар работы в одном из пригородов Палермо: они закрывают разные народные увеселительные места, громят их и уводят в темницы хозяев и слуг. Народ

противодействует им. Происходит побоище. Предводитель сбиров Бригелла (бас-буффо), в нестерпимой давке после призывающих к спокойствию барабанных ударов читает распоряжение штатгальтера, уполномочивающее принять все необходимые меры во имя улучшения нравов. Начинается общее глумление, хор поет издевательские песни. Люцио, молодой дворянин и веселый кутила (тенор), предлагает себя в народные вожди и тотчас же близко принимает к сердцу дело народа, когда видит, как ведут в темницу его друга Клавдия (тоже тенор), и узнает от последнего, что, по найденному Фридрихом древнему закону, ему грозит смерть за любовный проступок. Его возлюбленная, соединению с которой ему до сих пор мешала неприязнь родителей, родила от него ребенка. К негодованию родных присоединилось пуританское усердие Фридриха. Поэтому он ждет самого худшего и надеется на милость только в том случае, если его сестре Изабелле удастся своим заступничеством смягчить сердце жестокого человека. Люцио обещает другу тотчас же разыскать Изабеллу в монастыре Святой Елизаветы, куда она недавно поступила послушницей.

Там, в тихих монастырских стенах, знакомимся мы с этой девушкой, занятой задушевным разговором с приятельницей, тоже недавно поступившей послушницей, Марианной. Марианна открывает Изабелле, с которой долгое время была разлучена, печальную судьбу, приведшую ее сюда. Один занимающий высокий пост человек под клятвой вечной верности склонил ее к тайной любовной связи. Но в тяжелую минуту он покинул ее и даже стал преследовать, так как оказался могущественнейшим человеком в государстве, теперешним наместником самого короля. Возмущение Изабеллы прорывается в пламенных словах, и ее успокаивает только решение покинуть мир, в котором безнаказанно совершаются такие возмутительные поступки.

Когда Люцио приносит ей весть о судьбе ее брата, ужас перед его проступком переходит в пылкое возмущение бесстыдством лицемерного штатгальтера, жестоко карающего человека, который не запятнал себя изменой. Ее бурный порыв неосторожно показывает ее Люцио в соблазнительном свете. Возгоревшись к ней страстной любовью, он умоляет Изабеллу навеки покинуть монастырь и вступить с ним в брак. Но она немедленно и с достоинством указывает дерзкому юноше на неуместность его предложений, хотя без колебаний принимает его услуги в качестве провожатого в суд к штатгальтеру.

Сцена суда подготовляется комическим допросом различных преступников против нравственности, который ведет шеф сбиров, Бригелла. Серьезность положения оттеняется появлением мрачной фигуры Фридриха. Приказывая умолкнуть бурно ворвавшемуся народу, он берет в свои руки допрос Клавдия и ведет его в самой строгой форме. Непреклонный судья уже хочет изречь приговор, когда входит Изабелла, требуя позволения переговорить с наместником наедине. Она владеет собой и с благородной сдержанностью обращается только к мягкосердечию и милосердию страшного и презираемого ней человека. Его возражения поднимают в ней ее чувства. В трогательном свете изображает она проступок брата и молит о прощении такой человеческой и извинительной ошибки. Заметив впечатление, произведенное ее горячим заступничеством, она, все более и более разгораясь, обращается к личным чувствам жестокого, замкнутого сердца судьи. Не всегда это сердце было окончательно недоступно ощущениям, увлекшим брата, и теперь она взывает к его собственному опыту своей преисполненной страха мольбой о прощении. И вот лед этого сердца тает. До глубины души тронутый красотой Изабеллы, Фридрих более не владеет собой. Он обещает Изабелле все, чего она просит, если она

пойдет навстречу его чувствам. Поняв неожиданное действие своих слов, Изабелла в порыве негодования на возмутительные действия наместника бросается к окну, созывая народ, чтобы перед всем светом изобличить лицемера. Уже возбужденная толпа устремляется в залу суда, когда Фридрих, с энергией отчаянья, убеждает Изабеллу в невозможности ее затеи: ему стоит только смело отвергнуть ее слова или объяснить свои предложения как средство испытать ее, и ему, несомненно, будет нетрудно оправдаться от обвинения в легкомысленных любовных происках. Изабелла, сама пристыженная и смущенная, сознает несообразность своей попытки и предается терзаниям немого отчаяния. Когда Фридрих еще раз подтверждает народу свои строгие постановления, а осужденному объявляет свой приговор, Изабелле, движимой горестным воспоминанием о судьбе Марианны, внезапно приходит спасительная мысль добиться хитростью того, что оказалось недоступным для открытой силы. Ее настроение делает резкий скачок от глубочайшей печали к самому необузданному веселью. Она обращается к убитому горем брату, к пораженному другу и растерявшемуся народу с обещанием веселых развлечений, так как карнавальные празднества, только что запрещенные штатгальтером, пройдут на этот раз особенно шумно. Этот страшный блюститель нравов только притворяется жестоким, чтобы тем приятнее изумить всех веселым участием в запрещенных им удовольствиях. Все думают, что она сошла с ума, и Фридрих с мрачной страстностью упрекает ее за непонятную выходку. Но Изабелла произносит несколько слов, и он теряет голову: она таинственным шепотом обещает ему исполнение всех его желаний — в следующую же ночь она пришлет ему известие, которое его осчастливит. Таким моментом высочайшего напряжения кончается первый акт.

В начале второго акта мы узнаем о наскоро составленном плане героини, посетившей в тюрьме брата с целью испытать, достоин ли он спасения. Она открывает ему постыдные предложения Фридриха и спрашивает, согласен ли он ценой позора сестры спасти свою погибшую жизнь. После искреннего возмущения и выражений полной готовности пожертвовать собой Клавдий прощается с сестрой и поручает ей передать трогательный привет покидаемой им в печали возлюбленной. Затем постепенно дух его падает и переходит от растроганности к слабости. Изабелла, уже готовая сообщить ему о его спасении, останавливается, пораженная, видя, что брат падает с высот благороднейшего воодушевления до несмелого признания неугасимой жажды жизни, до робкого вопроса, не кажется ли ей все же приемлемой цена его спасения. Возмущенная, отталкивает она от себя недостойного и объявляет ему, что к позору своей смерти он прибавил теперь еще и ее окончательное презрение. Передав его в руки тюремщика, она опять быстро принимает веселый и беспечный вид. Она решает наказать малодушного неизвестностью относительно его судьбы, но сама остается при своем прежнем решении освободить мир от чудовищного лицемера, желающего предписывать ему свои законы.

Она уговаривает Марианну занять ее место в обещанном ночном свидании с вероломным Фридрихом, которому и посылает приглашение. Чтобы вернее погубить врага, она назначает свидание под прикрытием масок, в одном из запрещенных им увеселительных мест. Сорванцу Люцио, которого она также собирается наказать за его дерзкое объяснение в любви, она сообщает о желании Фридриха и о своем якобы вынужденном решении подчиниться ему, в таком непонятно легком тоне, что обыкновенно столь ветреный юноша повергается в серьезное изумление

и отчаянную ярость. Он клянется, что скорее зажжет и взбунтует весь город, чем допустит этот неслыханный позор, если даже благородная девица и согласна перенести его. Действительно, он собирает всех знакомых и преданных ему людей вечером у входа на главную улицу города, как бы для открытия запрещенной грандиозной процессии карнавала. С наступлением ночи там воцаряются веселье и шум, и Люцио шутливой карнавальной песенкой, оканчивающейся припевом: «Кто с нами вместе не поет, того кинжал найдет, найдет» — возбуждает толпу к открытому, кровавому возмущению. Приближается отряд сбиров под предводительством Бригеллы, чтобы рассеять пестрое сборище, и бунт грозит вспыхнуть. Однако Люцио требует, чтобы толпа уступила и рассеялась, спрятавшись где-нибудь поблизости, так как он должен предварительно захватить главную жертву, им намеченную.

Именно это место Изабелла указала ему как условленное для ее мнимого свидания со штатгальтером. Последнего и подстерегает Люцио. Он узнает его в одной тщательно закутанной маске, преграждает ему дорогу и, когда тот хочет вырваться силой, обнажает меч и бросается за ним с криком. Но тут его задерживает спрятанная по распоряжению Изабеллы в кустах засада, которая наводит его на ложные следы. Появляется Изабелла, радующаяся при мысли, что в это мгновение она вернула Марианне неверного супруга. Думая, что держит в руке обещанное распоряжение о помиловании брата, она готова великодушно отказаться от дальнейшей мести. Но внезапно при свете факела она видит, сломав печать, распоряжение об ускорении казни, которое случай отдал в ее руки, ибо, желая скрыть от брата известие о помиловании, она подкупила тюремщика. После упорной борьбы с раздирающей его

страстью, сознав свое бессилие отказаться от женщины, нарушившей его покой, Фридрих решил погибнуть хотя и преступником, но все же человеком чести. За час любви Изабеллы он заплатит смертью по тому же самому закону, суровости которого неизбежно должен быть принесен в жертву Клавдий. Изабелла, видящая в этом поступке новое доказательство низости лицемерного человека, еще раз впадает в буйное отчаяние. На ее призыв к немедленному восстанию стекается весь народ, охваченный смятением и гневом. Но прибежавший Люцио со стремительной горячностью уговаривает собравшихся не верить ярости женщины, которая, верно, обманывает и их, как обманула его. Он действует под гнетом ее мнимой, постыдной неверности. Новое замешательство, новое отчаяние Изабеллы.

Внезапно за сценой раздаются комические призывы на помощь Бригеллы, который, будучи сам замешан в любовную историю и терзаясь ревностью, по недоразумению захватывает штатгальтера, скрытого за маской. С Фридриха и прижимающейся к нему, дрожащей от страха Марианны снимают маски. Изумление, негодование и ликование всех окружающих. Быстро происходят необходимые объяснения. Фридрих мрачно требует над собой суда и смертной казни от короля, возвращение которого ожидается. Клавдий, освобожденный из тюрьмы ликующим народом, дает ему понять, что смертная казнь не всегда назначается за любовные проступки. Новые вестники возвещают о неожиданном прибытии короля в гавань, и весь народ в маскарадной процессии с радостными приветствиями движется навстречу любимому правителю, который хорошо понимает, как мало подходит мрачный пуританизм немцев к жаркой Сицилии. По его словам, шумные празднества радуют его больше, «чем печальные законы». Фридрих с вновь

обретенной им супругой Марианной открывает веселое шествие, за ним во второй паре следуют навеки потерянная для монастыря послушница Изабелла с Люцио.

67

Хлопоты о постановке в Лейпциге. Директор Рингельгардт. Конец дирижерской и композиторской карьеры в Магдебурге. Кредиторы. Кенигсбергский театр. Матримониальные планы. Печальное прощание с Розалией

Эти живые и во многих отношениях смело набросанные сцены я изложил подходящим языком и тщательно отделанными стихами, на которые уже Лаубе обратил свое сочувственное внимание. Прежде всего, полиция нашла неподходящим название моей оперы, и, если бы я его не изменил, мои надежды на постановку должны были бы рушиться. Шла как раз Страстная неделя, и театру на это время было запрещено давать пьесы веселого или легкомысленного содержания. По счастью, ведавший эти дела член магистрата, с которым мне пришлось вести переговоры, не был подробно ознакомлен с содержанием текста, и так как я уверял, что он составлен по одной очень серьезной пьесе Шекспира, то удовольствовались только заменой вызывающего заглавия: «Послушница из Палермо» звучало совершенно успокоительно и не порождало никаких сомнений.

Но дело приняло другой оборот в Лейпциге, где я вскоре после этого пытался заменить новой оперой неудавшуюся постановку «Феи». Директор Рингельгардт, которого я хотел привлечь на свою сторону, предложив его собственной дочери партию Марианны для ее дебюта, нашел в самом содержании оперы уместный предлог отклонить ее совсем. Он объявил, что если Лейпцигский магистрат и разрешит ее представление, то он,

как добросовестный отец, в любом случае запретит своей дочери выступать в ней.

Однако сомнительный сюжет оперы не причинил мне в Магдебурге никаких страданий, так как текст, как я уже сказал, остался неизвестен публике благодаря совершенно невнятной игре. Это обстоятельство и отсутствие оппозиции против этической тенденции оперы сделали возможным и второе ее представление, против которого также не раздалось никаких голосов, ибо никто не находил в ней ничего предосудительного. Я отлично чувствовал, что произведение мое не имело никакого успеха, что публика осталась в полном недоумении относительно его смысла, но ввиду того, что это второе представление являлось последним спектаклем нашей труппы, я рассчитывал на большой сбор и, не стесняясь, назначил так называемые «полные» цены за вход. Не могу сказать, было ли в зале хотя бы несколько человек к началу увертюры, но четверть часа спустя я увидел в местах партера только одну мадам Готшальк с супругом и сразу бросившуюся в глаза фигуру польского еврея в полном параде.

Несмотря на это, я еще надеялся на приход слушателей, когда внезапно за кулисами разыгрались самые неожиданные сцены. Там произошло столкновение мужа моей примадонны (певшей Изабеллу), господина Поллерта, со вторым тенором, Шрейбером, красивым молодым человеком, певшим Клавдия, к которому огорченный супруг давно питал скрытое чувство ревности. Муж певицы, только что убедившийся вместе со мной через отверстие в занавесе в плачевном виде зрительной залы, счел момент удобным для того, чтобы без ущерба для театрального предприятия отомстить любовнику своей жены. Сильно избитый им Клавдий был вынужден с окровавленным лицом искать спасения в гардеробной. Услыхав об этом,

Изабелла в отчаянии бросилась к своему разбушевавшемуся супругу и получила от него такие сильные затрещины, что впала в истерику. Возбуждение труппы вскоре перешло всякие границы: образовались партии «за» и «против». Казалось, еще немного, и дело дойдет до общего побоища, так как, по-видимому, этот злополучный вечер казался всем необычайно пригодным для сведения окончательных счетов за всевозможные мнимые взаимные оскорбления. Во всяком случае, пострадавшая от «запретной любви» пара не была в состоянии выступать в этот вечер. Посланный на авансцену режиссер заявил небольшой, но причудливо подобравшейся компании, что опера не может состояться по «внезапно возникшим препятствиям».

Таков был конец моей дирижерской и композиторской карьеры в Магдебурге, которая сначала так много обещала и потребовала сравнительно больших жертв. Отныне «радость искусства» всецело отступила перед «серьезностью жизни». Над моим положением можно было призадуматься, и оно не рисовалось мне в отрадных чертах. Все надежды, которые я строил вместе с Минной на успехе моей оперы, рассыпались в прах. Мои кредиторы, рассчитывавшие на сбор, разуверились в моем таланте и обратились исключительно к моей гражданской личности, от которой старались чего-нибудь добиться при помощи учиненных судебным порядком исков. Моя маленькая квартирка на Брайтер-Вег сделалась мне ненавистной, так как при каждом возвращении домой я находил прибитую к дверям повестку с вызовом в суд. Я совершенно забросил ее, после того как бесследно пропал мой коричневый пудель — я счел это предзнаменованием будущей неудачи.

Теперь Минна с ее отрадной уверенностью и находчивостью являлась последней, в высшей степени благотворной моей поддержкой. Она уже ранее предусмотрительно позаботилась о себе и готовилась заключить довольно выгодный контракт с театральной дирекцией Кёнигсберга. Значит, надо было хлопотать о том, чтобы и мне пристроиться там в качестве музикдиректора. Но такового не требовалось. Однако поняв из нашей переписки, что согласие Минны зависит от возможности получения должности и мной, кёнигсбергский директор выразил надежду на скорое освобождение этого поста и свою готовность предоставить его мне. Тогда мы условились, что Минна поедет сначала в Кёнигсберг одна и приготовит мне возможность последовать за ней.

До осуществления этого плана мы пережили жуткое, полное опасений время в стенах Магдебурга. Кроме того, я делал попытки лично добиться чего-нибудь в Лейпциге, чтобы улучшить свои дела. К числу этих попыток относятся уже упомянутые переговоры с директором театра по поводу новой оперы. Но вскоре я увидел, что не в силах больше жить в своем родном городе, в устрашающей близости семьи, и беспокойство гнало меня подальше. Мои домашние подметили мое возбужденное, угнетенное и скрытное настроение. Мать заклинала меня, ради Бога, не поддаваться при такой молодости никаким матримониальным планам. Я молчал. На прощанье Розалия вышла провожать меня на лестницу. Я обещал скоро вернуться, устроив необходимые дела, и хотел легко проститься с ней. Она взяла меня за руку, пристально посмотрела мне в глаза и сказала: «Бог знает, когда я снова тебя увижу!» Эти слова резанули меня по сердцу, по нечистой совести. Я понял, что они выражали предчувствие близкой смерти, лишь два года спустя, когда получил известие о ее внезапной кончине.

68

Жуткие предзнаменования. Последние недели в Магдебурге

После этого я провел еще несколько недель у Минны в Магдебурге. Насколько она была в силах, она смягчала мое крайне стесненное положение. В ожидании длительной разлуки я почти не покидал ее, и наше единственное развлечение заключалось в прогулках по отдаленным окрестностям города. Жуткие предзнаменования действовали угнетающим образом на мое настроение: теплое майское солнце, которое, как бы издеваясь над покидаемым прошлым, заливало светом мрачные улицы Магдебурга, однажды затмилось так окончательно, как я этого никогда больше не видал, и это происшествие наполнило меня настоящим ужасом. Возвращаясь с одной прогулки, мы, подходя к мосту, ведущему через Эльбу, увидели какого-то человека, бросившегося оттуда в воду. Мы подбежали к берегу и стали звать на помощь. Тогда хозяин одной из находящихся тут водяных мельниц решил протянуть несчастному, отчаянно боровшемуся с течением, багор. Течение несло его прямо под мельницу. С неописуемым ужасом ждали мы решительного момента и видели, как утопающий схватился за багор, но не удержал его и в то же мгновение исчез под мельницей, чтобы уже больше не всплыть. В то утро, когда я провожал Минну до почтовой кареты, чтобы там с удрученным сердцем проститься с ней, все население города устремилось за ворота, желая присутствовать при совершающемся на пустынном выгоне колесовании. Преступник был солдат, убивший из ревности свою невесту. Когда после того я отправился в последний раз обедать в гостиницу, то со всех сторон слышал рассказы об отвратительных подробностях национально-прусской смертной казни. Один молодой асессор, большой любитель музыки, рассказывал о своей беседе с выписанным

из Галле палачом относительно более человечных способов ускорения смерти казнимого, причем с содроганием вспоминал о щегольском платье и изысканных манерах ужасного человека. Таковы были последние впечатления, оставшиеся у меня от Магдебурга, первой арены моей художественно-артистической деятельности, моих опытов на пути гражданской самостоятельности. Эти неприятные ощущения оживали во мне всякий раз, когда я покидал, как будто навсегда, города, в которых искал художественного успеха или материального преуспеяния. Таковы были мои ощущения при каждом расставании с местом, с которым я связывал подобного рода надежды.

69

Берлин. Серф. Грядущие печали

18 мая 1836 года я в первый раз приехал в Берлин и познакомился со своеобразным лицом этого претенциозного королевского города. Я нашел скромное убежище в гостинице *Zum Kronprinzen*[31] на Кёнигштрассе, где несколько месяцев тому назад останавливалась Минна. Надо было устроиться как можно проще ввиду не выяснившегося положения моих дел. Некоторой ободряющей поддержкой послужило то обстоятельство, что я нашел в Берлине Лаубе. В ожидании судебного решения он жил частным человеком и занимался литературной работой. Принимая участие в судьбе моего «Запрета», он помогал мне советами, личными знакомствами и желал добиться постановки этой оперы в Кёнигштэдтер-театре.

Театр этот находился под управлением одного оригинальнейшего продукта берлинского общества по имени Серф, пожалованного королем Пруссии званием комиссионсрата. Его большой фавор при дворе объяснялся разными,

[31] «У кронпринца» (*нем.*).

не особенно красивыми причинами. Однако благодаря ему удалось в высшей степени расширить привилегии этого частного театра. Плачевное состояние большой оперы заставило публику оказывать предпочтение легкому жанру, который с успехом культивировала кёнигштэдтская сцена. Опьяненный таким успехом, директор с нескрываемой самоуверенностью специалиста в такого рода делах поддакивал тем, кто объявлял, что можно ожидать умелого руководства театром только от заурядных и необразованных людей, и продолжал самым забавным образом сохранять во всех отношениях счастливое неведение. Доверяясь своему природному инстинкту, он занял диктаторское положение относительно артистов своего театра: карал и миловал по собственному усмотрению.

Мне показалось, что этими чертами его характера можно воспользоваться. При моем первом посещении Серф объявил, что я ему нравлюсь, но что он предпочел бы принять меня на амплуа тенора. Не нашел он никаких возражений против моего предложения поставить «Запрет любви» и тотчас же обещал мне это. Особенно же хотелось ему дать мне место капельмейстера. Он намеревался обновить свою оперную труппу, но предполагал, что капельмейстер Глезер, автор «Орлиного гнезда», как сторонник прежних певцов, будет препятствовать его мероприятиям. Серф желал взять меня на службу, чтобы иметь кого-нибудь, «кто держал бы сторону новых певцов». Все это произошло так быстро, что мне было вполне позволительно поверить в благоприятный оборот моей судьбы и почувствовать, как мое отягченное заботами сердце наполняется радужными надеждами.

Едва только я позволил себе устроиться сообразно с этими приятными ожиданиями, как выяснилось, что все мое здание построено на песке. Настоящим ужасом наполнили меня быстро растущие доказательства чуть ли

не злостного обмана, который Серф проявил по отношению ко мне исключительно для своего развлечения. По привычке всех тиранов он выказывал мне знаки своего расположения прямо и лично, но свои обещания взял обратно и объявил недействительными через своих чиновников и секретарей. Изменение в поведении по отношению ко мне он объяснил мнимой зависимостью властелина от его бюрократии. Когда же он захотел освободиться от меня без всякой компенсации, мне пришлось на положении просителя объясняться по поводу всего, что было между нами заранее решено, с теми людьми, относительно которых он меня предостерегал и против которых искал моей поддержки. Капельмейстер, режиссер, секретарь и тому подобные господа доказывали мне, что мои желания неисполнимы, что директор ничего не должен мне за время, бесполезно потраченное в напрасных ожиданиях. Помню, что постепенный рост этих неприятностей наполнил меня роковым предчувствием грядущих печалей.

70

Темные черты в характере Минны. Коммерсант Швабе. Общество Лаубе. Грандиозность больших театральных представлений. Советы умного человека

Но дела мои должны были измениться еще к худшему. Из Кёнигсберга, откуда Минна не переставала уведомлять меня о шансах на успех, я не получал никаких отрадных вестей. Отношения между тамошним директором театра и его капельмейстером были в высшей степени неясны, и я понял их только впоследствии. В данную минуту они отодвигали в неопределенное будущее все мои виды на желанное место. Однако казалось вероятным, что осенью я все же займу в Кёнигсберге пост капельмейстера. Так как в Берлине я проживал без всякого дела и не хотел думать о возвращении в Лейпциг, то из этих слабых

надежд я построил себе корабль, который должен был увести меня из песчаного моря Берлина в спасительные воды Балтийского залива.

Однако это оказалось возможным лишь после тяжкой и серьезной внутренней борьбы из-за моих отношений с Минной. Одна непостижимая черта этого кажущегося столь простым женского характера повергала в глубокое беспокойство мое юное сердце. Добродушный и состоятельный коммерсант Швабе, еврей по происхождению, до тех пор проживавший в Магдебурге, дружески сблизился со мной в Берлине, и, как я скоро понял, его участие ко мне было главным образом вызвано страстным интересом, который он питал к Минне. Впоследствии я узнал, что между этим человеком и Минной существовали известные отношения, которые сами по себе не могли быть названы изменой, так как Минна отвергла домогательства моего соперника и предпочла меня. Но меня заставил горько призадуматься тот факт, что все это происходило до такой степени секретно, что у меня до сих пор не возникало на этот счет ни малейшего подозрения. Теперь я стал думать, не обязана ли Минна прочным финансовым положением дружбе этого человека. Но, как уже было сказано, не имея основания подозревать настоящую неверность, я ощущал только расстраивающее, тревожное беспокойство, которое толкало меня на вызванное отчаянием решение обрести равновесие, узаконив отношения со своей возлюбленной.

Мне казалось, что я укреплю как свою материальную обеспеченность, так и артистический успех открытым союзом с Минной. За два года, проведенных мной в театре, я вел рассеянную жизнь, которая в глубине сознания мучила меня. Я смутно чувствовал, что нахожусь на неверном пути. Мне хотелось сосредоточиться и успокоиться, и я надеялся достичь этого, завершив браком отношения,

ставшие для меня источником такого серьезного беспокойства. Лаубе, вероятно, замечал, что с его страстным, изнуренным и бедствующим молодым другом дело обстоит неладно: общество Лаубе, которое всегда представляло для меня нечто утешительное, делало мое пребывание в Берлине действительно ценным. В этом смысле огромное впечатление произвело на меня исполнение «Фернанда Кортеса» под управлением самого Спонтини. Его дух изумил меня необычайно. Если сами исполнители — особенно главных партий, — не принадлежавшие к цвету берлинской оперы, оставили меня равнодушным и не могли ни в коем случае сравниться с игрой Шрёдер-Девриент, то все же в высшей степени точный, пламенный и прекрасно организованный ансамбль целого был чем-то совершенно для меня новым. Я получил новое представление о своеобразной грандиозности больших театральных представлений, которые, подчиняясь общему ритму, возвышались до оригинального, несравнимого ни с чем вида искусства. Это отчетливое впечатление прочно укоренилось во мне и руководило мной при замысле «Риенци», так что в художественном отношении Берлин оставил следы на всем ходе моего дальнейшего развития.

Теперь необходимо было как-нибудь выйти из крайне беспомощного положения. Я решился уехать в Кёнигсберг и сообщил об этом Лаубе, так же, как и об основанных на этом отъезде дальнейших моих спасительных намерениях. Этот превосходный человек без дальнейших околичностей счел своим долгом энергично содействовать прекращению моего берлинского одиночества и достижению ближайших целей, и старания его увенчались успехом благодаря содействию нескольких дружески расположенных к нему лиц. Участливо заглянув в мое сердце, он на прощанье посоветовал мне даже в случае удачного оборота моей

капельмейстерской карьеры не поддаваться засасывающей пошлости театральной жизни и после утомительных репетиций, вместо того чтобы идти к милой женщине, взять в руки дельную книгу для развития высших задатков своей личности. Я умолчал, что имею в виду своевременно покончить с этим видом искушений и оградить себя от всех любовных терзаний. Таким образом, 7 июля я пустился в затруднительное и утомительное по тогдашнему времени путешествие, направляясь в далекий Кёнигсберг.

71

Кенигсберг. Абраам Меллер. На посту резервного капельмейстера. Почетный контракт и свадебный бенефис. «Немая из Портичи»

Мне казалось, что я еду на край света, когда в продолжение многих дней я катил по безлюдным пограничным пространствам. Печально и убого было первое внешнее впечатление от Кёнигсберга, когда я разыскивал в одном расположенном вблизи театра предместье — Трагейм — на бедной, захолустной улице невзрачный домишко, где нашла себе прибежище Минна. Но свойственная ей приветливая и доброжелательная ровность характера вскоре благотворно и успокоительно подействовала на меня. Она очень нравилась в театре, ценилась дирекцией и публикой, что, по-видимому, должно было пригодиться и для ее жениха, каким я официально считался. Так как надежда на получение места была по-прежнему слаба, то мы решили, что я потерплю еще некоторое время, пока дело как-нибудь не устроится.

Таково было мнение и одного прекрасного человека, большого любителя театра, удивительного Абрахама Мёллера, питавшего к Минне, а под конец и ко мне искреннее дружеское расположение. Этот уже пожилой

человек принадлежал к совершенно вымершей теперь в Германии породе страстных любителей театра, о которых так много рассказывает театральная история прежних времен. Нельзя было пробыть ни минуты с этим человеком, в обыденной жизни занимавшимся самыми рискованными коммерческими спекуляциями, чтобы не услышать ободряющих рассказов о славе былых деятелей сцены. Будучи некогда состоятельным человеком, он умел познакомиться и даже подружиться почти со всеми великими актерами и актрисами. Но чрезмерная щедрость, к сожалению, ухудшила его финансовое положение, и он был принужден самыми разнообразными прибыльными делами добывать средства для удовлетворения своей любви к театру. Он протежировал артистам, помогал им скудными суммами, вполне соответствующими их ухудшившемуся положению. Этот удивительный человек, которого директор театра, Антон Хюбш, имел некоторые основания побаиваться, взялся устроить мои дела.

Следующее препятствие стояло у меня на пути: очень дельный музыкант, Луис Шуберт, уже известный мне раньше в качестве первой виолончели магдебургского оркестра, прибыл в Кёнигсберг из Риги, где театр был на время распущен и где он оставил свою жену, чтобы занять здесь место капельмейстера. С открытием нового театра в Риге он планировал туда возвратиться. Но открытие рижского театра, которое должно было состояться еще на Пасхе текущего года, все затягивалось, и Шуберту не хотелось покидать Кёнигсберг. Он очень хорошо знал свое дело, и так как его уход зависел от внешних обстоятельств, то для директора было затруднительно найти ему преемника, готового приступить к исполнению своих обязанностей, как только будет назначен отъезд Шуберта в Ригу. Вот почему новый молодой капельмейстер, которого сильно притягивал Кёнигсберг, мог ему быть только очень удобным,

резервным, всегда находящимся под рукой заместителем. Директор выказал готовность выплачивать мне некоторую сумму до времени моего окончательного поступления на службу.

Шуберту, напротив, мое прибытие было в высшей степени неприятно: необходимость вернуться в скором времени в Ригу для него исчезла, так как открытие тамошнего театра было отложено на неопределенное время. Пребывание же в Кёнигсберге приобрело для него, кроме того, особый интерес благодаря зародившейся в нем симпатии к примадонне Кёнигсбергской оперы, которая сильно охладила его желание вернуться к собственной жене. Поэтому он ухватился с особой ревностью за свое кёнигсбергское место и, узрев во мне смертельного врага, употребил все средства, подсказываемые инстинктом самосохранения, чтобы превратить в ад мое пребывание в Кёнигсберге и без того в высшей степени тягостное ожидание его ухода. В то время как раньше, в Магдебурге, я находился в дружеских отношениях с музыкантами и певцами и встречал крайне доброжелательный прием у публики, здесь мне пришлось на все стороны обороняться от самых обидных нападок. Это вскоре обнаружившееся враждебное ко мне отношение немало способствовало тому, что я стал чувствовать себя в Кёнигсберге, как в изгнании. Настаивать при таких условиях на соединении с Минной казалось, несмотря на всю мою страсть к ней, безрассудной смелостью.

В начале августа вся труппа на некоторое время отправилась в Мемель, и я через несколько дней также последовал за Минной. Большая часть пути совершалась морем, по Куршкому заливу, при плохой погоде и неблагоприятном ветре, без паров: это было одно из наиболее унылых путешествий, какие я когда-либо совершал. На узенькой песчаной полосе, отделяющей залив от Балтийского моря,

мне показывали с корабля замок Рунзиттен, место действия одного из самых страшных рассказов («Майорат») Гофмана. Когда в этой пустынной и грустной местности, после долгого перерыва, я снова столкнулся с фантастическими мечтами юности, меня охватило какое-то странное, наводящее страх чувство. Печальное пребывание в Мемеле, плачевная роль, какую я там должен был сыграть, — все это заставляло искать единственную поддержку и утешение в Минне, ради которой я снова подверг себя такому жуткому испытанию.

Друг Абрахам последовал за нами из Кёнигсберга и, желая мне помочь, приводил в действие разные остроумные махинации, чтобы поссорить директора с капельмейстером. Однажды Шуберт, повздорив во время ночного кутежа в трактире с Хюбшем, объявил, что по болезни не может прийти на оркестровую репетицию «Эврианты», желая таким образом заставить директора поспешно вызвать меня за дирижерский пульт. Он злостно рассчитывал, что, совершенно неподготовленный к редко даваемой и трудной опере, я обнаружу всю свою несостоятельность и этим сыграю ему на руку. Хотя я действительно никогда не имел перед собой партитуры «Эврианты», однако замыслы его ни в коем случае не оправдались бы, и потому в итоге он предпочел выздороветь к спектаклю, чтобы дирижировать самому. Конечно, он не сделал бы этого, если бы оперу пришлось отменить из-за того, что я не справился со своей задачей.

Бедствуя, претерпевая обиды и страдая от сурового климата, который заставлял меня дрожать и зябнуть даже в летние месяцы, занятый только вопросом об устранении тягостных материальных забот, я переживал совершенно потерянное для моего художественно-артистического развития время. Наконец, по возвращении в Кёнигсберг,

мы по настояниям Мёллера решили серьезно взвесить вопрос о будущем. Из Данцига я и Минна получили довольно выгодный ангажемент благодаря содействию моего зятя и сестры Вольфрам, находившихся там. Наш друг воспользовался этим случаем, чтобы заставить директора Хюбша, желавшего во что бы то ни стало сохранить Минну для своего театра, заключить с нами обоими почетный контракт, в силу которого я с Пасхи следующего года получал место капельмейстера и нам обеспечивался свадебный бенефис под моим дирижерством. Для бенефиса мы выбрали «Немую из Портичи». Мёллер решил, что мы должны пожениться и сыграть свадьбу, ибо так больше жить нельзя. Минна не возражала, а я всеми своими предыдущими решениями и домогательствами, по-видимому, доказал самому себе, что ничего так пламенно не желаю, как войти наконец в спокойную гавань. Но в глубине души у меня тогда творилось что-то не совсем ладное.

72

Прошлое Минны Планер. Светотени. Первые бурные объяснения. Внутренний голос, пророчащий беду

Я уже достаточно знал образ жизни и характер Минны и мог бы ясно представить себе, в чем наши натуры противоречили друг другу. Это необходимо было осознать при таком серьезном шаге, если бы только я был в то время достаточно зрел для обсуждения такого вопроса.

Моя будущая супруга родилась в семье, которая с трудом зарабатывала себе пропитание в Эдеране, в горах Саксонии. Ее отец, странный человек, обладавший большой силой и обнаруживший под старость подозрительные признаки умственного расстройства, был в молодые годы трубачом при саксонском штабе и принимал участие в походе во Францию и в битве при Ваграме. Потом он

занялся механическим трудом, изготовлением чесалок, и, сумев придумать к ним особое приспособление, одно время имел довольно сносный заработок. Раз один богатый фабрикант из Кемница сделал ему большие заказы, приуроченные к концу года. Дети, нежные пальцы которых были особенно приспособлены к такой работе, должны были просиживать дни и ночи, за что отец обещал им веселые рождественские праздники, рассчитывая на хороший заработок. Но при наступлении долгожданного срока он узнал о банкротстве заказчика. Уже сданный заказ был потерян, остававшийся в запасе материал некуда было сбыть. Семья так и не смогла окончательно оправиться от удара, нанесенного ей этим несчастьем. Она переселилась в Дрезден, где отец Минны надеялся найти выгодную работу как искусный механик для изготовления роялей, к которым он мог поставлять различные составные части. Кроме того, он захватил с собой значительный запас тонкой проволоки, заготовленной для чесалок, чтобы продать его там как можно выгоднее. Десятилетней Минне было поручено предлагать проволоку модисткам для искусственных цветов. С тяжелой корзиной пускалась она в путь и так умело справлялась со своей задачей, что вскоре успешно и с барышом распродала весь запас. С тех пор у нее возникло желание и стремление собственными силами помогать обедневшей семье и самой как можно скорее встать на ноги, чтобы избавить родителей от лишних забот.

Когда она выросла, ее красивая наружность рано стала привлекать к ней взоры мужчин. Некий господин [Эрнст] фон Эйнзидель без памяти влюбился в нее, и его страсть в минуту слабости оказалась пагубной для неопытной молодой девушки. Ужас охватил бедную семью: только мать и старшая сестра знали, в каком ужасном положении

оказалась Минна. От отца, гнева которого все страшились, удалось скрыть, что семнадцатилетняя дочь сделалась матерью и родила девочку при условиях, угрожавших самой ее жизни. С тех пор Минна, которая не могла ничего добиться от соблазнителя, стала вдвойне стремиться к самостоятельности и к уходу из дома родителей. Через знакомых ей удалось завязать отношения с какой-то театральной труппой: на одном из спектаклей этой труппы она привлекла внимание работников королевской придворной сцены, главным образом директора королевского придворного театра в Дессау, который тотчас же предложил ей ангажемент у себя. С радостью ухватилась она за этот выход из стесненного положения, так как он открывал перед ней возможность великолепной карьеры и большого, со временем блестящего заработка для поддержания семьи.

Не испытывая никакой страсти к театру, но зараженная легкомысленным стремлением нравиться, она смотрела на сценическую карьеру лишь как на средство быстрого обеспечения, быть может даже обогащения. Не будучи подготовлена каким бы то ни было образованием к восприятию искусства, ее привлекало в театре только общество актеров. «Нравиться» или «не нравиться» имело для нее значение лишь с точки зрения вопроса о материальной самостоятельности: на средства она смотрела, как смотрит купец на заманчиво расставляемые им в витрине товары. Приобретать друзей в лице директора, режиссера и наиболее выдающихся сотоварищей казалось ей мудростью, необходимой для дела. Тех друзей театра, которые своим суждением или вкусом влияли на публику и рикошетом на дирекцию, она считала существами, от которых зависит исполнение ее заветнейших желаний. Не делать из них врагов представлялось ей столь естественным, что ради сохранения их симпатий она готова была не считаться с чувством личного достоинства. Она была по-своему

мудра, стараясь, с одной стороны, избегать дурной видимости, а с другой — находить извинение даже неблаговидным вещам, если в глубине души не находила в них ничего особенно вредного. Отсюда получалась странная смесь противоречий, двусмысленный характер которых она оказывалась неспособной понять.

Настоящая тонкость натуры в ней, несомненно, отсутствовала. Она знала только понятие благопристойности и рассматривала все с точки зрения так называемого приличия, не понимая ничтожества последнего в тех случаях, когда оскорблялась деликатность нравственного свойства. Благодаря такому отсутствию всякого идеализма истинного понимания искусства у нее не было. Сценического таланта она также не имела, ее успех основывался на ее привлекательной внешности, и могла ли она со временем при помощи выработанной техники обратиться в «хорошую» артистку, судить не берусь. Своеобразная власть, которую она имела надо мной, основывалась не на идеалистической стороне вещей, производившей на меня с юности сильное впечатление, — она действовала на меня, наоборот, трезвостью и солидностью своей внутренней сущности, которая давала мне необходимую опору и завершение при моем рассеянном блуждании по ложным путям в погоне за высшей целью. Я очень скоро приучился никогда не обнаруживать перед Минной своих идеалистических запросов. Добродушно улыбаясь и шутя, я избегал подобных тем, будучи, разумеется, тем восприимчивее к страданиям, возникавшим в связи с ее подлинной женской сущностью, в той сфере, в которой я невольно признавал ее благотворное превосходство. Ее странная терпимость к известной фамильярности и навязчивости, которую она допускала по отношению к себе со стороны тех, кого считала покровителями театра, оскорбляла меня до последней степени.

К довершению моего отчаяния, в ответ на мои упреки она принимала серьезный вид напрасно обиженной. Что касается скрытых от меня отношений к коммерсанту Швабе, первые сведения о которых я получил в Берлине, то найденные мной письма этого человека случайно открыли мне в высшей степени поразившие меня подробности. Вся накопившаяся во мне ревность, все глубокое внутреннее сомнение в Минне прорвались наружу в быстром решении немедленно же покинуть эту девушку. Между нами произошло бурное, страстное объяснение, наметившее с большой отчетливостью тип всех последующих подобных же объяснений. Я зашел слишком далеко в своих упреках. Я обращался с женщиной, которая не чувствовала ко мне страстной привязанности, а только благосклонно подчинилась моей настойчивости и в глубине души вовсе мне не принадлежала так, как если бы я имел на нее действительные права. Чтобы окончательно смутить меня, Минне было достаточно указать, что она отвергла по-настоящему выгодные в материальном смысле предложения и с чувством снисхождения и преданности пошла навстречу бурной страсти молодого, неимущего, плохо обеспеченного человека, чей талант еще ничем себя не обнаружил перед светом. Особенно повредила мне буйная резкость моих слов и выражений, глубоко обидевших Минну. Сознав допущенное мной преувеличение, я начал думать только о том, как бы задобрить обиженную сознанием своей неправоты и просьбой о прощении. Так окончилась эта сцена, столь похожая на многие позднейшие: непременным внешним торжеством Минны.

Однако мир был навсегда подорван, и от частого повторения таких происшествий характер Минны стал серьезно меняться. Как в позднейшие времена мое понимание искусства и его отношений к жизни, становившееся ей все более и более глубоким, повергало ее в постепенно возраставшее

замешательство и вносило пристрастие и неуверенность в ее суждения по этому предмету, так и теперь столь чуждое ей отношение к вопросам высшей нравственной деликатности совершенно сбивало ее с толку. Не будучи в состоянии понять и одобрить мои свободные взгляды, она прониклась какой-то страстностью, первоначально совершенно чуждой ее уравновешенному характеру. И когда эта страстность, возрастая с годами, стала выражаться соответственно ее воспитанию и принимать оттенок, свойственный низшим классам общества, то этому нельзя было удивляться, так как вместо настоящего образования бедняжка обладала лишь скудным налетом мещанской благопристойности.

Взрывы этой резкости отнимали у меня последнюю опору, которой до тех пор служили мне особенности характера Минны, и это являлось наиболее мучительной стороной в нашей позднейшей совместной жизни. Но в то время мной владело только неопределенное предчувствие важности тех последствий, которые повлечет за собой моя женитьба на Минне. Ее приятные и умиротворяющие качества еще действовали на меня так благотворно, что внутренний голос, смутно пророчивший беду, я заглушал повышенным легкомыслием и упорством, с каким встречал всякие предостережения со стороны.

73

24 ноября 1836 года: венчание

С моей семьей, то есть с матерью и Розалией, я со времени приезда в Кёнигсберг не имел никаких отношений. Никому из них я не сделал ни малейшего намека относительно того шага, на который решился. Под руководством старого друга Мёллера я устранил все легальные затруднения, мешавшие совершению брачного акта. По прусским законам совершеннолетний мужчина не нуждается

в согласии родителей для вступления в брак. Но так как по тому же прусскому закону я еще не достиг совершеннолетия, то пришлось сослаться на законы Саксонии, где я родился, и по которым уже на 21-м году считался достигшим полной зрелости. Наше официальное оглашение требовалось лишь в том месте, где мы прожили последний год. Поэтому этот церковный акт без дальнейших осложнений совершился в Магдебурге. Так как согласие родителей Минны было за нами обеспечено, то достаточно было совместно посетить пастора Трагеймского прихода, чтобы все оказалось в порядке.

Это посещение было обставлено довольно оригинально. Оно было назначено на утро дня нашего бенефиса, в котором Минне приходилось играть пантомимную роль Фенеллы. Ее костюм еще не был готов, не все заказы и поручения были исполнены. Дождливая, холодная ноябрьская погода настроила нас угрюмо, и в открытых сенях пасторского дома нам пришлось чрезмерно долго дожидаться. По этому поводу мы обменялись несколькими замечаниями, быстро перешедшими в самые злобные упреки, и уже готовы были разбежаться в разные стороны, когда пастор открыл дверь и, изумленный услышанной ссорой, пригласил нас войти. Таким образом, мы были вынуждены снова сделать довольные лица: странность положения несколько развеселила нас, пастор успокоился, и венчанье было назначено на следующий день в одиннадцать часов.

Резкие ссоры часто возникали у нас также при обсуждении вопросов домашнего устройства, в уютном и по возможности красивом характере которого я видел гарантии ожидаемого спокойного счастья. Я нетерпеливо возражал против рассудительности моей невесты: начало

длинного ряда годов постепенно растущего благополучия, которое я видел перед собой, должно было ознаменоваться соответствующим символом домашнего комфорта. Мебель, посуда, все необходимое было взято в кредит с обязательством постепенной уплаты, так как о приданом, домашнем обзаведении и тому подобных, столь принятых в бюргерской жизни аксессуарах, служащих основанием благосостояния семьи, не было даже и речи. Нашими свидетелями и гостями были случайные члены артистической труппы Кёнигсбергского театра. Друг Мёллер позаботился о серебряной сахарнице, к которой другой друг театра, оригинальный и, насколько помнится, интересный молодой человек, по имени Эрнст Кастель, присовокупил серебряную же сухарницу.

Проходивший накануне бенефисный спектакль «Немая из Портичи», которым я с жаром дирижировал, закончился благополучно и сделал ожидаемый хороший сбор. Вернувшись из театра усталые, мы тихо провели свой предсвадебный вечер, и я первый раз ночевал в моей новой квартире, причем не решился лечь на разубранную брачную постель. Я примостился на жесткой кушетке и, плохо прикрытый, порядочно промерз в ожидании наступающего счастливого дня.

На следующее утро прибытие сундуков и корзин с имуществом Минны доставило мне приятное развлечение. Дождь тоже окончательно прошел, и солнце ярко сияло на небе. Только наша гостиная никак не могла нагреться, и мне долгое время пришлось выслушивать упреки Минны по поводу якобы намеренно не истопленной печки.

Наконец я отправился в свое старое жилище, где оделся в новый костюм — темно-синий фрак с золотыми пуговицами. Карета была подана, и я поехал за невестой. Ясное

небо всех радостно настроило. Минну я нашел в наилучшем расположении духа, одетой в роскошное, выбранное мной платье. Она с искренней сердечностью и блестящими от радости глазами приветствовала меня, и, приняв хорошую погоду за доброе предзнаменование, мы весело отправились в церковь. Нам выпало удовлетворение увидеть церковь переполненной, как зрительный зал на блестящем спектакле. С трудом пробрались мы к алтарю, где нас ожидало не менее светское сборище — наши свидетели во всем их театральном великолепии. Но среди присутствовавших не было ни одного друга, и даже наш чудаковатый Мёллер отсутствовал за ненахождением себе подходящей пары.

Я все время чувствовал глубокую театральность и расхолаживающее легкомыслие окружающих, которое невольно распространялось и на всю церемонию. Как во сне, слушал я речь пастора. О нем рассказывали, что он относится к местным святошам, которые делали жизнь в Кёнигсберге в достаточной мере неприятной. Несколько дней спустя мне передали, что в городе ходят слухи, будто я подал жалобу на пастора за грубые оскорбления, заключавшиеся в его речи. Я не мог понять, в чем дело, и предположил, что поводом к таким преувеличенным слухам послужило следующее обстоятельство, вызвавшее во мне в ту минуту некоторое смущение. Дело в том, что пастор, говоря о тяжелых временах, которых никто не может избежать, указал нам на какого-то «друга, которого мы оба не знаем». Думая, что речь идет о каком-нибудь тайном влиятельном покровителе, заявляющем о себе таким странным образом, и ожидая с некоторым нетерпением дальнейших сведений о нем, я удивленно взглянул на пастора. В ответ на это последний с особенным ударением и как бы с упреком в голосе пояснил, что этот нам незнакомый друг — Иисус.

Я отнюдь не увидал в этом какого-либо оскорбления, как говорили в городе, а только почувствовал разочарование. Я подумал, что подобные увещания, вероятно, входят в ритуал венчания. Впрочем, моя рассеянность во время этого глубоко мне непонятного акта была так велика, что, когда пастор протянул нам закрытый молитвенник, чтобы принять на него наши венчальные кольца, Минна, сейчас же сделавшая что нужно, чувствительным толчком дала мне понять, что я должен последовать ее примеру. В эту минуту мне, словно в видении, ясно представилось, что все мое существо находится во власти двух струящихся одно поверх другого течений, увлекающих меня в совершенно противоположные стороны: верхнее, обращенное к солнцу, уносило меня вперед, между тем как нижнее сковывало мне душу глубокой, полной страха, непонятной тоской. Невероятное легкомыслие, с каким я в один миг прогонял осознание моего вдвойне преступного образа действий, находило себе полное оправдание в сердечной теплоте, с какой я смотрел на эту действительно редкую и своеобразную девушку, не задумавшуюся связать свою судьбу с судьбой молодого человека, не имеющего никакого положения в жизни.

Было 11 часов утра 24 ноября 1836 года: мне было 23 года и шесть месяцев от роду. По дороге домой из церкви и дома хорошее настроение вполне победило все мои сомнения. Минна сейчас же занялась хозяйственными хлопотами по приему гостей. За холод нашей комнаты, который, к большому огорчению молодой хозяйки, еще долго не удавалось устранить, нас должен был вознаградить обильный обед. В нем принял участие и энергичный устроитель нашего брака, Абрахам Мёллер, несмотря на то, что, к досаде своей, он был исключен из числа присутствовавших при церковной церемонии.

74

«Rule Britannia» «Счастливое медвежье семейство»

Все пошло обычным, будничным ходом. Свое хорошее, бодрое настроение я сохранил до следующего утра, когда мне пришлось отправиться в городской суд для ответа по искам, которые мои магдебургские кредиторы переслали вслед за мной в Кёнигсберг. Мой друг Мёллер, к которому я обратился за помощью ввиду угрожавших мне требований, подал мне крючкотворный совет: в ответ на долговые чеки сослаться пока на то, что по прусским законам я еще не достиг совершеннолетия, и тем временем постараться найти реальную помощь для удовлетворения долговых обязательств. Судья, которому я и предъявил это основание для отказа в исках, был изумлен, так как слышал о том, что я не далее, как накануне венчался, а это в свою очередь было невозможно без засвидетельствования моего совершеннолетия. Конечно, я добился лишь кратковременной отсрочки, и мучения, которые с этой стороны мне еще долго суждено было терпеть, начались для меня с самого первого дня моей семейной жизни.

За время, когда я не исполнял никаких функций при театре, у меня было немало различных огорчений. При всем том я полагал, что, раз достигнув пристани, я должен использовать ее покой на благо для своего искусства: я закончил несколько работ, между прочим, большую увертюру «Правь, Британия!». Еще во время моего пребывания в Берлине я написал уже упомянутую по случаю Польского восстания увертюру, озаглавленную «Польша». «Правь, Британия!» была следующим шагом в этом жанре, рассчитанном на исполнение увеличенным составом оркестра: в конце ее к богатой и без того инструментовке я прибавил военный духовой состав. Эту увертюру я предназначил для исполнения следующим летом на музыкальном празднестве

в Кёнигсберге. Кроме этих двух увертюр, я носился с мыслью о третьей под названием «Наполеон». Меня уже наперед занимал выбор эффектных средств для нее, и я мысленно решал эстетическую дилемму, можно ли изобразить печальную судьбу, постигшую французского императора в России, ударом тамтама. Думаю, что именно сомнения в допустимости такого приема главным образом и удержали меня тогда от выполнения моего плана.

В то же время размышления о причинах неудачи «Запрета любви» побудили меня набросать план произведения, в котором требования, предъявляемые солистам и хору, были бы в большем соответствии с определенным составом сил в единственно доступных мне небольших городских театрах. Сюжет к такой более легкой работе был мне внушен оригинальным рассказом из «Тысячи и одной ночи». Если не ошибаюсь, он там озаглавлен: *Männerlist größer als Frauenlist*[32]. Из Багдада я перенес действие в наше время и в современную обстановку. Появившийся на вывеске ювелирного магазина девиз вызывает гнев одной молодой женщины, которая под густой вуалью является в лавку молодого ювелира и обращается к нему как к человеку, проявляющему столько тонкого вкуса в своих работах, с просьбой высказать свое суждение о ее физическом сложении. Начав с ноги, руки, она, в конце концов заметив его увеличивающееся смущение, подымает вуаль и открывает ему свое лицо. Очарованному ее красотой молодому человеку она жалуется на своего отца, ревниво скрывающего ее от посторонних взоров и рисующего свою дочь каждому искателю ее руки отвратительным уродом исключительно, как она полагает, с целью сэкономить приданое. Молодой человек клянется, что он ни в каком случае не поддастся ни на какие хитрости отца, если тот захочет напугать его в ответ на его сватовство.

[32] «Мужская хитрость больше женской» (*нем.*).

Сказано — сделано. Доверчивый ювелир становится женихом дочери старого чудака, но, когда по подписании контракта невесту подводят к жениху, последний убеждается, что старик отнюдь не лгал и что дочь его действительно ужасающий урод. Молодой человек в отчаянии. В эту минуту к нему приближается так зло подшутившая над ним молодая женщина, чтобы потешиться над его страданиями, и обещает ему помочь избавиться от ужасного брака, если он снимет девиз с вывески своей лавки. С этого места я изменил первоначальный сюжет следующим образом. Полный злобы и ярости молодой ювелир уже готов сорвать злополучную вывеску, когда его удерживает от этого намерения неожиданное явление: на улице показывается пляшущий медведь с вожатым, в котором несчастный любовник с первого взгляда узнает своего отца, по странной превратности судьбы давно с ним разлученного. Но он подавляет свою радость, так как в голове его в эту минуту, как молния, мелькает план освобождения от ненавистного брака с дочерью гордого, кичащегося своим происхождением старого аристократа.

Он уславливается с медвежатником, чтобы тот вечером того же дня явился в сад, где в присутствии приглашенных гостей предполагается торжественное празднование помолвки. Коварной же красавице он говорит, что намеревается пока оставить вывеску на месте, так как надеется, что написанный на ней девиз еще оправдается. Вечером в присутствии всего общества, состав которого я приблизительно рисовал себе из надменнейших французских аристократов-эмигрантов времен революции, читается брачный контракт, в котором молодой человек не пожалел для себя всевозможных благородных титулов. В эту минуту раздается свисток, и в саду появляется медвежатник со своим пляшущим зверем. Не особенно довольное появлением такой тривиальной забавы на аристократическом

торжестве благородное общество приходит в полное негодование, когда жених, дав волю своим чувствам, вдруг со слезами радости кидается на шею медвежатнику, громко приветствуя его как своего вновь нашедшегося отца. Но ужас окружающих не знает границ, когда и медведь в свою очередь обнимает мнимого отпрыска старого дворянского рода: он оказывается его родным братом, надевшим на себя по смерти настоящего медведя его шкуру, чтобы не лишиться единственного оставшегося ему с бедняком-отцом заработка.

Публичное обнаружение низкого происхождения жениха тут же расстраивает его брак, а молодая женщина, признав себя побежденной мужской хитростью, в награду отдает ювелиру свою руку. Этой незамысловатой фабуле я дал название «Счастливое медвежье семейство» и снабдил ее диалогом, заслужившим позднее большое одобрение Хольтая. Я уже собирался начать писать к ней музыку в легком, новофранцузском стиле, но все увеличивавшиеся затруднения моего внешнего положения помешали мне продолжать эту работу.

75

Тяжелые обстоятельства. Разлады между молодыми супругами. Ссоры

С этой стороны мои отношения с музыкальной дирекцией театра были для меня источником все новых и новых неприятностей. Не имея ни случая, ни средств проявить себя, я должен был молча сносить тот факт, что мой соперник, не желавший уступать мне, всячески чернил и выставлял меня в подозрительном свете, причем главной целью его было сделать для меня ненавистной должность дирижера, которая по контракту считалась за мной с Пасхи. Если я и не терял веры в себя, то, во всяком случае,

длительность этого унизительного положения угнетала меня и доставляла много огорчений. Когда наконец в начале апреля дирижер Шуберт был уволен, и я официально начал исполнять его обязанности, он мог получить последнее удовлетворение, что не только состав оперной труппы ослаблен до крайней степени уходом примадонны, но и дальнейший успех всего предприятия находится под большим и весьма обоснованным сомнением.

Месяц май, столь гибельный для подобных театральных предприятий в Германии, оказал свое опустошающее действие и на наш Кёнигсбергский театр. Директор прилагал всевозможные усилия, чтобы заполнить значительные пробелы в составе труппы гастролерами и новыми ангажементами, причем я своей усиленной деятельностью был ему действительно полезен. Вообще я выказал при этих обстоятельствах величайшую энергию, стараясь как неустанными советами, так и неутомимой работой удержать на поверхности поврежденное театральное судно, где я постепенно завоевывал все более прочные позиции. Мне долгое время приходилось хладнокровно сносить грубое обращение клики студентов, среди которых мой предшественник постарался оставить мне немало врагов. Непоколебимо твердым и уверенным ведением дела надо было понемногу изменить отношение настроенного против меня оркестра, проявлявшего вначале значительное упорство.

Но, достигнув с трудом упрочения своего личного положения, мне пришлось убедиться, что дело, которое под директорством Хюбша потребовало немало жертв, не было в состоянии противостоять тяжелым условиям неблагоприятного для театров времени года. В мае Хюбш объявил мне, что должен закрыть театр. Мне пришлось пустить в ход все свое красноречие, придумывать планы и открывать новые виды для всего предприятия, чтобы

склонить его к отсрочке. Да и та оказалась возможной только благодаря поддержке труппы, отказавшейся от части жалованья. Это вызвало общее негодование людей, незнакомых с положением дела, и мне выпала на долю странная роль: пришлось убеждать затронутых этими мерами членов нашей труппы, приводя всевозможные доводы в пользу директора. Одновременно меня самого и мое личное положение эти же меры задевали до такой степени, что собственное мое существование под гнетом невозможнейших затруднений, коренившихся в моем прошлом, становилось все более и более шатким. Но если я сам и не терял мужества, то на этот раз Минна, лишенная всех средств, которыми она располагала прежде в таких случаях, отнеслась к такому новому осложнению как к совершенно невыносимому удару судьбы.

Такие тяжелые обстоятельства создавали благодарную почву для разлада между молодыми супругами, печальные результаты которого не заставили себя ждать. Разлад этот и теперь исходил все из того же страстно волновавшего меня пункта, который еще до нашей свадьбы не раз приводил к самым бурным сценам между нами. Чем менее я имел возможность в течение зимы своей деятельностью и талантами содействовать поддержанию нашего общественного положения, тем более считала себя Минна, к моему невыразимому стыду, обязанной принять подобные заботы на себя, пользуясь для этого своей личной популярностью. Частые проявления чересчур большой «снисходительности», о чем я говорил уже раньше, и которые можно было не толковать в сомнительном смысле, лишь зная своеобразный взгляд Минны на ее положение в театре, не раз вызывали самые отвратительные сцены между нами. Нечего было и думать о том, чтобы научить молодую женщину смотреть на эти вещи моими глазами,

внушить ей то же отношение к разным оскорбительным знакомствам, какие испытывал я. К тому же вспыльчивость и обидная горечь, которые я допускал в словах и обращении, делали с самого начала невозможным всякое соглашение между нами. Часто эти ссоры доводили мою жену до припадков, которые так невыразимо пугали меня, что, как легко можно себе представить, единственным результатом таких сцен была радость видеть ее снова примиренной. Несомненно, что наше поведение казалось нам самим все непонятнее и непостижимее. Любовь, которую питала ко мне Минна, должна была значительно ослабнуть под влиянием этих ссор, повторявшихся все чаще и принимавших все более неприятные формы. Но мне и в голову не приходило, что достаточно малейшего повода, чтобы Минна решилась на самый отчаянный шаг.

76

Богатый купец Дитрих. Английская комфортабельность. Объяснения с опасным человеком. Утро 31 мая 1837 года. Бегство Минны. Тревоги, погоня, примирение. Контракт с директором Рижского театра

Чтобы заменить недостающего в нашей труппе тенора, я выписал в Кёнигсберг уже упомянутого выше Фридриха Шмита, с которым меня связывали дружеские отношения с первого года моего пребывания в Магдебурге. Он был мне сердечно предан и всячески помогал устранять затруднения, угрожавшие процветанию театра и моему собственному общественному положению. Необходимость приобретать друзей среди публики делала меня при его одобрении менее сдержанным и разборчивым в выборе знакомств.

В последнее время некий Дитрих, богатый купец, взял на себя роль покровителя по преимуществу женской части

труппы нашего театра: он часто приглашал к себе на обеды избранных актрис, лишь по необходимости, не оставляя без внимания и связанных с ними представителей мужского пола. При этом он держался с преувеличенной английской представительностью, что было высшим идеалом в глазах немецких коммерсантов главным образом северных торговых городов. Уже самое приглашение его я принимал с большой неохотой, прежде всего по той простой причине, что мне была противна его физиономия; причем Минна находила, что я неправ. Против поддерживания более близких отношений с ним я высказался самым решительным образом, и, хотя Минна и не особенно настаивала на них, все же моя антипатия к этому человеку была причиной неприятных сцен между нами.

Мой друг Шмит однажды счел своим долгом сообщить мне, что этот господин Дитрих говорил обо мне на одном публичном обеде в таких выражениях, которые у всех присутствовавших вызвали предположение о существовании подозрительной близости между ним и моей женой. У меня самого зародилось подозрение, что Минна какими-то неведомыми для меня путями доставляла ему сведения о моем обращении с ней, а также и о нашем тяжелом материальном положении. В присутствии Шмита я потребовал у этого опасного человека объяснений у него на дому, результатом чего были прежде всего обычные отрицания с его стороны, а затем тайное донесение о случившемся Минне, которая увидела в этом новые основания для жалоб на мое бесцеремонное обращение с ней. Таким образом, в отношениях наших наступило значительное ухудшение: о многом приходилось молчать.

В то же время — это было в конце мая 1837 года — дела нашего театра дошли до уже упомянутого мной поворотного пункта: для поддержания предприятия дирекция

должна была обратиться к самоотверженной помощи членов труппы. Мое личное положение, как я уже заметил, к концу этого столь неблагоприятного для меня в материальном отношении года пострадало особенно сильно. Но не оставалось ничего другого, как терпеливо переносить эти затруднения, и я решил один, без вмешательства Минны, с помощью лишь доброго Шмита, принять все меры для упрочения моего положения в Кёнигсберге. Эти заботы, так же, как и мое неутомимое участие в делах театра, поглощали все время. Я часто отлучался из дому, так что не имел возможности обратить внимание на молчаливое и сдержанное поведение Минны в эти дни.

Утром 31 мая я собрался по обыкновению уходить: мне надо было отправиться на репетицию и по делам, которые могли задержать меня до позднего вечера. Минна уже давно взяла к себе с моего полного согласия свою дочь Натали, которую она выдавала всем за свою младшую сестру. В это утро, после того как я спокойно простился с женой и Натали, они вдруг бросились за мной к двери и, разразившись слезами, стали меня страстно обнимать. Я испуганно начал допытываться о причине такого волнения, но, не получив никакого объяснения, ушел, размышляя по дороге о странном поведении обеих женщин, истинную причину которого я даже представить себе не мог. Измученный работой и неприятностями целого дня, смертельно усталый, бледный и голодный, я поздно вернулся домой, но, к моему удивлению, стол не был накрыт, и Минны не оказалось дома. Служанка сказала мне, что Минна днем ушла с Натали и с тех пор не возвращалась.

Я вооружился терпением и в изнеможении опустился на стул у рабочего столика, который я в рассеянности открыл. К моему удивлению, он был пуст. Охваченный страшным подозрением, я вскочил и бросился к платяному

шкафу, но при первом взгляде убедился, что Минна больше не живет в этом доме. Весь план отъезда был выполнен женой с такой хитростью, что даже прислуга ничего не подозревала. Со смертельным страхом в сердце я бросился из дому, чтобы, не медля ни минуты, приступить к поискам. Старому Мёллеру, личному врагу Дитриха, благодаря его опытности и проницательности, скоро удалось узнать, что Дитрих утром этого дня уехал из Кёнигсберга с экстренной почтой по направлению к Берлину.

Страшная правда была вне сомнения. Надо было сделать попытку нагнать беглецов: это было возможно, но требовало значительных денежных затрат. А денег не было, и их требовалось еще достать. По совету Мёллера я захватил с собой наши серебряные свадебные подарки и спустя несколько часов, проведенных самым ужасным образом, пустился в путь, тоже с экстренной почтой, в сопровождении моего старого, от души сочувствовавшего мне друга. Нам следовало догнать почтовый дилижанс, ушедший незадолго до нас, ибо можно было предположить, что Минна, отдалившись на значительное расстояние от Кёнигсберга, воспользуется им же для дальнейшего путешествия. Это оказалось невозможным: приехав на следующий день на рассвете в Эльбинг, мы убедились, что неумеренная дороговизна экстренной почты совершенно истощила наши средства. Мы были вынуждены вернуться, для чего даже для пользования простой почтой оказалось необходимым заложить сахарницу и сухарницу.

Это возвращение в Кёнигсберг останется одним из печальнейших воспоминаний моей молодости. Конечно, я ни одной минуты не думал остаться в этом городе, я мечтал только о том, как бы его покинуть навсегда. Прижатый, с одной стороны, судебными исками моих магдебургских кредиторов, с другой — требованиями тех, кому я в самом

Кёнигсберге задолжал за купленную мной квартирную обстановку, я, конечно, мог покинуть город только тайно. Но именно для этого нужны были средства, особенно принимая во внимание продолжительность путешествия из Кёнигсберга в Дрезден, где я рассчитывал найти свою жену. Необходимость раздобыть деньги задержала меня здесь еще на два ужасных дня.

От Минны я не получал никаких известий. Только через Мёллера я узнал, что жена моя, которую Дитрих проводил лишь часть пути под предлогом оказания дружеской помощи, направилась в Дрезден. Можно было предположить, что она хотела вырваться из условий, повергавших ее в отчаяние, что она приняла помощь тронутого ее положением человека и теперь ищет у своих родителей покоя и приюта. Это предположение до такой степени умерило мое первоначальное возмущение ее поступком, что я стал чувствовать все большую и большую склонность отнестись к ней с состраданием и взвалить всю вину на себя как за свое обращение с ней, так и за то, что я вовлек ее в несчастье. Мысль эта, во время продолжительного путешествия через Берлин в Дрезден, предпринятого наконец 3 июня, так решительно овладела всеми моими представлениями и ощущениями, что, найдя Минну в бедном домике ее родителей, я мог выразить ей только раскаяние и горестное сострадание.

Подтвердилось, что Минна действительно считала себя оскорбленной моим дурным обращением и решилась на отчаянный шаг лишь ввиду нашего шаткого материального положения, к которому я, как она убедилась, был глух и слеп. Родители встретили меня не особенно благосклонно: взвинченное и болезненное настроение их дочери, казалось, достаточно подтверждало основательность ее жалоб на меня. Насколько мое собственное болезненное состояние,

поспешный приезд и все сердечные проявления моей печали произвели на Минну благоприятное впечатление, я совершенно не мог судить: так неопределенно и отчасти непонятно держала она себя по отношению ко мне. Однако на нее подействовало мое сообщение о том, что у меня есть виды на получение места дирижера в открывающемся в Риге при самых благоприятных условиях новом театре.

Я полагал, что не следует теперь настаивать на каких-либо решениях относительно нашей будущей совместной жизни и что надо подумать о подготовке лучших материальных условий существования. С этой целью я после недельного тяжелого пребывания в доме родителей Минны отправился в Берлин, чтобы окончательно подписать контракт с только что назначенным директором рижского театра. Этот благоприятный во многих отношениях контракт давал мне средства так обставить нашу будущую жизнь в материальном отношении, чтобы Минна могла совершенно уйти из театра и тем избавить меня от многих унижений и тревожных опасений.

77

Скромное помещение в Блазевице. Временное затишье. Опять Дитрих. Оттилия. Утешение и помощь

По возвращении в Дрезден мои планы относительно будущей жизни были выслушаны не без внимания, и мне удалось убедить Минну покинуть тесный родительский дом и поселиться за городом, в Блазевице близ Дрездена, чтобы там выждать время моего вступления в новую должность. Мы сняли скромное помещение в расположенной на берегу Эльбы гостинице, ресторан и сад которой я часто посещал во времена моей ранней молодости. Настроение Минны, казалось, действительно изменилось

к лучшему. Ее просьбам не тревожить ее ничем я, конечно, пошел навстречу. Я хотел щадить ее, насколько это было возможно, и по прошествии нескольких недель считал себя вправе думать, что период тревог и опасений ушел в область одних только воспоминаний. Поэтому мне показалось странным, что настроение Минны без всяких видимых для меня причин скоро снова омрачилось: она заговорила о выгодных предложениях, которые она получила от различных театров, и в один прекрасный день удивила меня сообщением, что собирается предпринять небольшое путешествие в сопровождении семьи одной из ее старых знакомых.

Чувствуя себя обязанным ни в чем не оказывать на нее давления, я ничего не возразил против этого плана, разлучавшего меня с Минной на неделю. Я сам проводил ее к родителям и обещал спокойно ждать в Блазевице ее возвращения. Несколько дней спустя ко мне явилась ее старшая сестра с просьбой дать письменное разрешение на отдельный паспорт для моей жены. Напуганный этим, я обратился с запросом в Дрезден к родителям Минны о намерениях их дочери. Там, к моему изумлению, меня приняли очень дурно и осыпали грубыми упреками за мое обращение с Минной, которую я ведь даже не в состоянии прокормить. Когда же я потребовал сведений о местопребывании и намерениях жены, я услыхал в ответ лишь какие-то невероятные истории. Мучимый самыми горькими предположениями, ничего не понимая во всем случившемся, я вернулся к себе в деревню.

Там я застал письмо из Кёнигсберга от Мёллера, уяснившее мне положение дела: господин Дитрих уехал в Дрезден, мне была названа гостиница, в которой он остановился. Страшный свет, который это сообщение проливало на поведение Минны, в мгновение ока показал мне

всю правду. Я сейчас же поспешил в город, чтобы навести справки в указанной гостинице. Дитрих действительно останавливался там, но успел уже уехать. И он, и Минна исчезли бесследно. Теперь я имел полное право обратиться к судьбе с вопросом, за что в столь ранние годы я обречен на испытания, способные отравить всю жизнь.

В моем безграничном горе я искал утешения в обществе моей сестры Оттилии и ее превосходного супруга, за которым она была замужем уже несколько лет и с которым жила в настоящее время в одном из очаровательных летних павильонов прекрасного «Большого сада» в Дрездене. Сейчас же по приезде в Дрезден я посетил их. При полной неуверенности относительно моего положения я ничего не рассказывал им и даже стал очень редко у них бывать. Теперь же, узнав все о Минне, я чувствовал потребность преодолеть гордость и открыть свое несчастье, не утаивая ничего. В первый раз я почувствовал все огромное преимущество родственных отношений и благодетельное влияние непосредственной, безусловной взаимности между кровно близкими людьми. Здесь нечего было много говорить: мы были те же, что и в раннем детстве, и та же дружба существовала между нами. Все понималось без слов. Я был несчастлив, она счастлива: утешение и помощь явились сами собой.

78

«Кола ди Риенци». Амалия Планер. «Till Eulenspiegel». Рига

Это была та же сестра, которой я когда-то под удары грома и блеск молении читал «Лейбальда и Аделаиду», та же сестра, которая, полная изумления и сострадания, присутствовала в рождественский вечер при роковом исполнении моей первой увертюры. Теперь я нашел ее замужем за одним из симпатичнейших людей, младшим братом

моего старшего зятя, Фридриха Брокгауза, вскоре достигшим известности ученым-востоковедом Германом Брокгаузом. Брак их был благословлен двумя детьми. Благоприятные материальные обстоятельства обеспечивали им беззаботную жизнь, и каждый день, когда я, пройдя пешком расстояние от Блазевица до знаменитого «Большого сада», входил в один из тех изысканных павильонов, где меня ждал всегда одинаково дружеский прием счастливой семьи, мне казалось, что я из голой пустыни попал прямо в рай. Не только отношения с сестрой приносили душе благодетельный покой, но и общение с умным и ученым зятем действовало на меня оживляющим образом, вновь пробуждая так долго дремавшее во мне стремление к дальнейшему образованию.

Самым мягким и деликатным образом мне дали ясно понять, что мой ранний брак представляет собой хотя и простительную, но все же ошибку, которая должна быть исправлена. И в то же время мозг мой вновь обрел способность к разработкам художественно-артистических идей, на этот раз уже не рассчитанных больше на легкомысленное приспособление к известным мне театральным условиям. В грустные дни моего последнего пребывания с Минной в Блазевице я прочел роман Бульвера «Кола ди Риенци». Теперь, отдыхая в благодетельном общении с моими родными, я стал разрабатывать план большой оперы, построенной на сюжете этого произведения. Если я и был вынужден покуда вновь обратиться к небольшому театру, то во всяком случае я твердо решил добиваться отныне расширения поля моей деятельности.

Я послал свою увертюру «Правь, Британия!» в Лондонское филармоническое общество и решил завязать сношения со Скрибом в Париже по поводу набросанного мной сюжета Die hohe Braut[33], заимствованного из романа

---

[33] «Небесная невеста» (*нем.*).

Г. Кёнига. Проведя таким незабвенным образом остаток лета этого года, я в конце августа отправился соответственно новому назначению в Ригу. Хотя я знал, что в Лейпциге живет моя сестра Розалия, незадолго перед тем вышедшая замуж по сердечной склонности за профессора Освальда Марбаха, но из ложного стыда я решил миновать этот город и уехал прямо в Берлин, где мне предстояло получить некоторые детальные инструкции от моего будущего директора, а также позаботиться о паспорте.

В Берлине я встретился с младшей сестрой Минны, Амалией Планер, певицей с прекрасным голосом, которую мы еще в Магдебурге пригласили на короткое время петь в нашей опере. Эта в высшей степени добрая девушка была чрезвычайно потрясена моими сообщениями о Минне. На одном представлении «Фиделио», на котором мы оба присутствовали, она разразилась рыданиями. Почерпнув в ее участии некоторую поддержку, я через Шверин, куда меня привлекла ложная надежда напасть на след Минны, отправился в Любек, чтобы там ждать отхода в Ригу купеческого судна. Но едва мы успели выйти в Травемюнде, как поднялся противный ветер, на целую неделю сделавший невозможным дальнейшее путешествие. Пришлось провести это отвратительное время в какой-то жалкой, матросской харчевне. Не зная, как убить время, я занялся чтением народной книги «Тиль Уленшпигель», впервые приведшей меня к мысли о чисто немецкой комической опере. Когда я впоследствии делал набросок своего «Юного Зигфрида», передо мной, как живые, стояли воспоминания об этом унылом пребывании в Травемюнде и о чтении сборника «Уленшпигель».

После четырехдневного переезда мы, наконец, бросили якорь в гавани Больдераа. Первое, что я почувствовал там, был странный трепет, вызванный общением с русскими

чиновниками, внушавшими мне со времени юношеских симпатий к полякам инстинктивный ужас. Мне казалось, что полицейская стража прочтет у меня на лице мое увлечение Польшей и прямо сошлет меня в Сибирь. Тем приятнее я был поражен уютной немецкой атмосферой, господствовавшей в Риге, главным образом во всем, что имело какую-либо связь с театром.

79

Популярный писатель Гольтей. Терпимая арена фривольных эксцентричностей

После тяжелого опыта, вынесенного мной из моего знакомства с небольшими немецкими театрами, организация рижского театрального предприятия подействовала на меня приятно успокаивающе. Несколько состоятельных любителей искусства и богатых купцов основали общество, по доброй воле доставлявшее средства для организации на прочных основаниях хорошей театральной дирекции. Само управление предприятием было поручено человеку, пользовавшемуся в театральном мире известной репутацией, довольно популярному писателю Карлу фон Гольтею.

Этот человек, придерживавшийся особенных, уже начинавших к тому времени исчезать тенденций в театральном деле, соединял в себе вместе со способностью быть чрезвычайно занимательным в обществе еще и необыкновенное знание всех сколько-нибудь близко стоявших к театру лиц за последние двадцать лет. Он причислял себя к кругу «милых повес», желавших прослыть вместе с тем и умниками и смотревших на театр как на удобную и терпимую общественным мнением арену фривольных эксцентричностей, от которых одинаково сторонились как средние классы, так и высшая интеллигенция, уделявшая сцене все меньше и меньше внимания. Кёнигштэдтер-театр в Берлине, блиставший в прежние годы именами многих

замечательных актрис, а также и именем первой жены Гольтея, был в эпоху наибольшего своего расцвета, которому немало способствовала знаменитая Генриетта Зонтаг, школой, воспитавшей вкус рижского директора. Там наряду с его музыкальными водевилями, среди которых Der alte Feldherr[34] пользовался довольно большой популярностью, значительный успех имела его мелодрама «Ленора», обработанная по балладе Бюргера и доставившая ему широкую известность и репутацию искусного сочинителя театральных пьес.

При его страстном стремлении целиком посвятить себя театру приглашение в Ригу представлялось ему особенно желанным, ибо в этом лежащем в стороне городе он надеялся обрести полную возможность беспрепятственно отдаться своей склонности. Своим необыкновенно доверчивым обращением, своей неистощимой энергией и той чрезвычайной легкостью, с какой он вел дела, он привлек к себе всех рижских коммерсантов, требовавших только таких развлечений, какие мог доставить им Гольтей. Они щедро снабжали его средствами и во всех отношениях оказывали ему безусловное доверие. Мне чрезвычайно легко удалось получить ангажемент в его предприятии: от угрюмых педантов он желал держаться как можно дальше и предпочитал молодых людей уже за одно то, что они молоды. В данном случае ему было достаточно знать, что я принадлежу к близко знакомой ему семье, что я с особенным пылом и усердием интересуюсь современной итальянской и французской оперой, и он был уверен, что в моем лице нашел самого подходящего для себя человека. Он тотчас же выписал все партитуры опер Беллини, Доницетти, Адана и Обера: ими я должен был немедля, в первую же очередь угостить добрых рижан.

[34] «Старый полководец» (*нем.*).

80

Пламенный бетховенианец, дирижирующий операми Беллини и Адама. «Национальный гимн». Известия о Минне

Придя в первый раз в дом Гольтея, я нашел у него старого знакомого еще из лейпцигских времен, моего бывшего покровителя Генриха Дорна, принявшего в Риге постоянное место хормейстера церковных и школьных хоров. Он очень обрадовался, встретив прежнего юношу-фантазера на самостоятельном посту дирижера, но с удивлением констатировал происшедшую во мне перемену, увидев, с каким рвением я, эксцентричный бетховенианец, отдавался операм Беллини и Адама. Он повез меня на свою дачу, расположенную, по рижскому выражению, «im Grunen», что надо понимать буквально «среди песков». Рассказывая ему кое-что из пережитого, я невольно отдался впечатлению какой-то странной пустынности обстановки, в которую попал. Меня охватило тоскливое чувство бесприютности, постепенно усилившееся до мучительного стремления вырваться из этой хаотической среды, из этих негостеприимных мест. Легкомыслие, которое побуждало меня в Магдебурге искать суетных удовольствий в ничтожнейших театральных знакомствах и тем содействовало падению моего музыкального вкуса, теперь, в бытность мою в Риге, стало все больше и больше уступать место тоскливому стремлению, вызывавшему не только отчужденность от театра, но и сильную досаду разочаровавшегося во мне Гольтея.

Вначале, впрочем, мне было нетрудно внешним образом мириться с положением дел. Мы должны были открыть театр раньше, чем успела собраться вся оперная труппа. Для этого пришлось поставить небольшую комическую оперу Блума Marie, Max und Michel[35]. К ней я написал

[35] «Мария, Макс и Михель».

вставную арию на текст Гольтея для нашего талантливого баса Гюнтера. Она состояла из сентиментального вступления и веселого военного рондо и очень понравилась публике. Позднее я написал для баса Шайблера выдержанный в молитвенном настроении вставной номер для «Швейцарского семейства», чрезвычайно понравившийся не только публике, но и мне самому: он уже свидетельствовал о большом переломе в моем музыкальном развитии.

Ко дню Тезоименитства императора Николая I мне было поручено написать на текст Бракеля «Национальный гимн», которому я постарался придать возможно более деспотически патриархальную окраску. Этот гимн тоже доставил мне не меньше славы, и в течение продолжительного времени его ежегодно исполняли в этот день.

Гольтей уговаривал меня написать для нашей труппы в ее тогдашнем составе легкую, веселую оперу или — еще лучше — музыкальный водевиль. С этой целью я снова перечел текст моего «Счастливого медвежьего семейства», встретивший, как я уже раньше упомянул, большое одобрение Гольтея. Но когда я стал просматривать музыку, написанную для него в Кёнигсберге, меня охватило отвращение к такого рода сочинительству. Я подарил либретто одному из своих друзей, добродушному, беспомощному второму дирижеру Лёбману, и никогда больше о нем не думал. Но зато я принялся за набросанный в Блазевице текст к «Риенци», сознательно придерживаясь во всех отношениях самого неумеренно-широкого театрального масштаба. Задуманная таким образом, эта работа при всех обстоятельствах могла увидеть свет только на одной из величайших сцен Европы.

Параллельно с тем, как во мне все усиливалось и усиливалось стремление вырваться из мелких, унизительных театральных условий, в которых приходилось работать, в жизни моей появились новые серьезные осложнения,

служившие тормозом для этого стремления. Примадонна, которую Гольтей ожидал, не приехала. У нас совершенно не было певицы для постановки серьезной оперы. При таких обстоятельствах Гольтей с радостью принял мое предложение безотлагательно выписать в Ригу сестру Минны Амалию, которая с удовольствием приняла бы этот ангажемент, чтобы только быть вблизи меня. Из Дрездена, где она тогда находилась, она прислала мне ответ на мой запрос и одновременно сообщила о возвращении Минны к родителям в самом печальном, удрученном и болезненном виде. Это известие я встретил с весьма понятной холодностью: все, что я узнал о Минне с тех пор, как она покинула меня в последний раз, заставило меня самым решительным образом обратиться к моему старому Кёнигсбергскому другу с поручением начать дело о разводе. Было установлено, что Минна долгое время прожила в одной гамбургской гостинице со злополучным господином Дитрихом и что она своими более чем бесцеремонными версиями нашего разрыва дала основание для самых неприятных, даже затрагивавших мою честь толков преимущественно в театральном мире. Я написал обо всем этом Амалии и попросил ее избавить меня от дальнейших сообщений о ее сестре.

81

Письмо Минны. Ее приезд. Амалия и Минна

Тогда Минна сама обратилась ко мне с поистине потрясающим письмом, в котором она открыто сознавалась в своей неверности. Она писала, что отчаяние толкнуло ее на этот путь, и отчаяние же побудило покинуть его, когда она увидала, какое несчастье навлекла на себя этим шагом. По отдельным намекам, заключавшимся в письме, можно было думать, что она обманулась в характере своего соблазнителя, и что сознание невыносимого положения совершенно подкосило как душевные, так и физические ее

силы. Теперь, больная и несчастная, она сознавалась в своей вине, чтобы вымолить мое прощение и уверить, что только сейчас она поняла истинную силу своей любви ко мне. Никогда раньше я не слышал из уст Минны подобных речей, и никогда больше она не обращалась ко мне с подобными словами, кроме одного трогательного момента в дальнейших наших отношениях, когда такие же выражения оказали на меня такое же потрясающее действие и вызвали такой же перелом в моем настроении, какой произвело это ее письмо. Я ответил, что никогда между нами не будет произнесено ни одного слова о происшедшем, что всю вину я принимаю на себя, и могу похвастать, что сдержал это обещание в самом буквальном смысле слова.

Так как переговоры относительно ангажемента Амалии закончились самым благоприятным образом, я предложил Минне приехать вместе с сестрой ко мне в Ригу. Обе сестры сейчас же отправились в путь и 19 октября, когда суровая осенняя пора уже вполне вступила в свои права, прибыли из Дрездена на мою новую родину. С грустным чувством убедившись, что здоровье Минны действительно пострадало, я приложил все старания, чтобы доставить ей по возможности домашний комфорт и покой. Это было нелегко, так как в моем распоряжении было только скромное жалованье дирижера, и было твердо решено, что Минна больше не вернется в театр. Решение это, внеся некоторые материальные затруднения в наше существование, сопровождалось, с другой стороны, неожиданными осложнениями, характер которых выяснился для меня только впоследствии, дав мне в то же время самые отталкивающие доказательства низкого нравственного уровня директора Гольтея.

Пока же мне приходилось мириться с тем, что на меня смотрели как на ревнивца. Я спокойно относился к всеобщему мнению, что у меня есть основания для ревности, и только радовался восстановлению удовлетворительных

семейных отношений и возможности тянуть лямку скромного хозяйства, к ведению которого Минна обнаруживала большие способности. Так как брак наш оставался бездетным, то для оживления домашнего очага мы обыкновенно брали в дом собаку. На этот раз мы возымели даже эксцентричную идею воспитать молодого волчонка, принесенного к нам в дом вскоре после рождения. Но убедившись, что этот сожитель отнюдь не способствует уютности домашнего очага, мы по прошествии нескольких недель отказались от него.

Гораздо больше нам повезло с сестрой Амалией, которая своим добродушием, полной нетребовательностью и доверчивостью в течение некоторого времени действительно немало содействовала созданию отсутствовавшей у нас уютной семейной атмосферы. Обе сестры, из которых ни одна не получила настоящего образования, часто своими развлечениями самым комическим образом словно воскрешали давно минувшие дни детства. Когда они принимались распевать двухголосные детские песенки, в которых Минна, никогда, собственно, не учившаяся музыке, довольно искусно вторила своей сестре, а на накрытом к ужину столе стояли русский салат, двинская лососина, а то и свежая икра, то мы втроем чувствовали себя на дальнем севере очень недурно.

Благодаря своему прекрасному голосу и музыкальному таланту Амалия вначале пользовалась успехом у публики, что было нам троим чрезвычайно приятно. Но при ее очень маленьком росте и небольших драматических способностях репертуар ее был довольно ограничен, и скоро она оказалась отодвинутой на задний план более счастливыми соперницами. При таких обстоятельствах она могла считать особенным счастьем для себя, что в нее влюбился кристально честный и порядочный человек, офицер

русской армии, тогда еще ротмистр, теперь генерал Карл фон Мек, который год спустя и женился на ней. Но, к сожалению, из-за этих новых отношений, с которыми на первых порах неизбежно были связаны некоторые шероховатости, на горизонте нашего совместного существования появились первые тучи. С течением времени сестры совершенно рассорились, и на мою долю выпала весьма неприятная необходимость прожить целый год в одной квартире между двумя родственницами, не обменивающимися ни словом, ни взглядом.

82

Контроверзы с Гольтеем. Полутрогательный, полуфривольный жанр

Зиму 1838 года мы провели в тесной, неуютной квартире в старом городе. Лишь весной мы переехали в более удобную квартиру на менее застроенном Петербургском Форштадте. Там, несмотря на дурные отношения между сестрами, наш дом был всегда открыт, и мы часто радушно приглашали к себе друзей и знакомых. Наряду с товарищами по театру я поддерживал отношения и с некоторыми из горожан. Мы принимали у себя и посещали семью дирижера Дорна, в общении с которым я перешел на «ты». Но самым близким моим другом был не особенно талантливый, но достойный уважения Франц Лёбман, второй дирижер при театре. Впрочем, с более широкими кругами я поддерживал не очень тесные отношения, да и те становились все реже и реже по мере того, как все яснее определялись для меня те задачи, которым суждено было стать главной целью моей жизни. Таким образом, равнодушно покинув Ригу после двухлетнего пребывания в этом городе, я оставил в нем так же мало связей, как в свое время в Магдебурге и Кёнигсберге. Но мой отъезд из Риги

был особенно отравлен рядом отвратительнейших обстоятельств, лишь усиливших во мне страстное желание навсегда избавиться от соприкосновения с элементами, с какими мне приходилось сталкиваться при всех моих попытках устроиться при театре.

Но все это раскрывалось лишь постепенно. Вначале же, созидая вновь свое так рано разбитое молодое супружеское счастье, я чувствовал себя и в своей художественно-артистической деятельности значительно более удовлетворенным, чем прежде. Обеспеченное материальное положение нашего театрального предприятия давало возможность добиваться кое-каких отрадных мероприятий и в области самого искусства. Театр помещался в чрезвычайно маленьком и тесном здании. Крохотная сцена исключала всякую мысль о театральной роскоши. Да и о расширении оркестровых сил нечего было и думать при крайне ограниченном помещении для оркестра. Таким образом, мы были втиснуты в самые тесные рамки.

Несмотря на это, мне удалось постепенно значительно усилить оркестр, первоначально состоящий только из двух первых и двух вторых скрипок, двух альтов и одного контрабаса для струнного квартета. Но эти сами по себе успешные усилия навлекли на меня первое неудовольствие Гольтея. Для оперы у нас скоро составился хороший ансамбль. Чрезвычайно благотворным оказалось удачное разучивание оперы Мегюля «Иосиф в Египте», благородный и простой стиль которой в связи с трогательной музыкой немало способствовал улучшению моего музыкального вкуса, сильно испортившегося под влиянием театральной практики. Довольно хорошие драматические представления вновь пробудили во мне, к большой моей радости, старую склонность к серьезному искусству. Особенно памятно мне исполнение «Короля Лира»,

за которым я следил с величайшим интересом не только на публичных представлениях, но и на всех репетициях.

Но эти благотворные впечатления способствовали лишь тому, что в своей театральной деятельности я себя чувствовал все несчастнее, ибо, с одной стороны, меня отталкивали личности, из которых состоял наш театральный круг, а с другой — тенденции, проводимые дирекцией, возбуждали во мне все усиливавшееся негодование. Утратив столь легкомысленно проявленную мной в Магдебурге склонность заводить знакомства без всякого разбору, я теперь вынес самый печальный опыт из своих отношений с театральным персоналом: я убедился в пустоте, тщеславии и самом распущенном эгоизме этого необразованного, совершенно недисциплинированного класса людей. Скоро в нашей труппе не осталось почти никого, с кем бы я ни поссорился.

Печальнее всего было то, что в этой борьбе, на которую меня толкало, в сущности, лишь мое стремление достигнуть возможно лучшего художественного ансамбля, я не только не находил поддержки у директора Гольтея, но даже приобрел в нем врага. Вскоре он счел себя вынужденным открыто заявить, что наш театр принял слишком солидный для его вкуса характер, пытаясь при этом убедить меня, что хорошее театральное предприятие заставляет априори предполагать достаточную свободу нравов и среди состава исполнителей. Понятие о достоинстве театрального искусства он считал педантическим вздором, и единственным заслуживающим внимания жанром признавал водевиль с его полутрогательным, полуфривольным воздействием на слушателя. Серьезная опера, особенно же богатый музыкальный ансамбль, были ему прямо ненавистны, и мои требования в этом направлении вызывали с его стороны лишь насмешки и злобные отказы.

Мало-помалу, к моему ужасу, для меня стала проясняться и та своеобразная связь, какая существовала между его тенденциями и другими наклонностями, затрагивавшими область нравственных отношений. Но на первых порах проявления его художественных антипатий только поддерживали во мне все возраставшее отвращение к театральной деятельности вообще. Правда, мне еще выпало на долю несколько хороших, радостных постановок, для которых благоприятные условия представил больший по размерам театр в Митау, куда наша труппа выехала в начале лета на несколько недель. Однако именно во время нашего пребывания там, которое я проводил главным образом за чтением романов Бульвера, я внутренне решил совершенно освободиться от всяких отношений с театральным миром.

83

«Риенци». Историко-комическая опера Дорна

Музыка «Риенци» на текст, который я закончил еще в начале моего пребывания в Риге, должна была проложить мне мост в другой, столь желанный, богатый мир. Я отказался от плана написать музыку к «Счастливому медвежьему семейству» по той причине, что легкий характер этого произведения опять втянул бы меня в те же презренные театральные рамки. Но теперь я черпал бодрость и успокоение в намерении разработать «Риенци» с такой ни с чем не считающейся «расточительностью» художественно-артистических средств, чтобы уже одно желание добиться со временем его постановки побудило меня окончательно порвать с мелкими театральными условиями, в которых мне приходилось работать до сих пор, и искать связей с каким-нибудь большим театром. По возвращении из Митау в середине лета 1838 года я принялся за эту работу.

Она поддерживала во мне энтузиазм, походивший при данных условиях моей жизни на энергию отчаяния. Кому я ни рассказывал о своей концепции, каждому становилось ясно уже из одного знакомства с сюжетом, что я прямо иду на разрыв с дирекцией театра, в котором не могло быть и речи о постановке такого произведения. Знакомые видели в этом проявление высокомерия и легкомыслия с моей стороны.

Перестав находить удовольствие в тривиальном направлении оперной музыки, я прослыл непрактичным и эксцентричным, между прочим, и в глазах прежнего покровителя моей замечательной лейпцигской увертюры [Дорна]. В «Новом музыкальном журнале», в отчете о концерте, который я дал еще в конце зимы, он высказал это с величайшей откровенностью, без всякого стеснения подняв на смех два моих произведения, магдебургскую увертюру «Колумба» и уже упомянутую увертюру «Правь, Британия!». Мне самому исполнение этих увертюр не доставило никакой радости. Сильно сказывавшееся еще в этих произведениях пристрастие к трубам заставило меня пережить несколько весьма неприятных моментов, так как я, по-видимому, слишком понадеялся на наших рижских музыкантов. В полную противоположность той расточительности средств, какую я проявлял в обработке сюжета «Риенци», тот же Г. Дорн принялся за сочинение оперы, практически приноровленной исключительно к силам нашего рижского театра. Эта его историко-комическая опера из времен осады Парижа при Жанне д'Арк, *Der Scheffe von Paris*[36], была, к большому удовольствию автора, разучена и поставлена. Успех ее ни в коем случае не заставил меня отступить от намерений относительно разработки «Риенци», и я внутренне радовался тому, что мог

[36] «Парижский судья».

смотреть на этот успех без всякой зависти. Не имея никакого желания вступать в соперничество с кем бы то ни было, я все больше избегал общения с рижским артистическим миром, ограничиваясь исключительно исполнением своих оговоренных в контракте обязанностей, и написал два первых акта большой оперы, нисколько не заботясь о том, удастся ли мне когда-либо самому ее поставить.

84

Смерть Розалии. Идеальные цели

Так рано выпавший на мою долю горький жизненный опыт, несомненно, содействовавший повороту моих вкусов и склонностей в сторону серьезных интересов, к которым всегда горячо тяготела моя душа, в последнее время обогатился особенно печальными впечатлениями. Вскоре после того как Минна приехала ко мне в Ригу, я получил известие о смерти моей сестры Розалии. В первый раз в жизни мне пришлось почувствовать потерю внутренне близкого мне человека. Именно смерть этой сестры потрясла меня как полный глубокого значения удар судьбы. Ради ее любви и уважения я когда-то с такой энергией стряхнул с себя свое юношеское легкомыслие. Для того чтобы заслужить ее участие, я отдавался своим первым большим работам с особенным, сознательным прилежанием. Когда на меня обрушилась первая большая жизненная забота, заставившая меня без промедления покинуть родительский дом, она была единственным человеком, умевшим в то время читать в моем смятенном сердце. При нашем свидании в Лейпциге последний, полный тяжелых предчувствий прощальный привет я услыхал из ее уст. Во все время, когда я не подавал о себе никаких известий, когда слух о моей самовольной женитьбе и связанных с ней внешних неустройствах дошел до моих родных, опять-таки она, как мне потом рассказывала мать, не теряла веры в меня

и всегда сохраняла надежду, что силы моей души еще развернутся, что я еще проявлю себя каким-нибудь значительным образом. Теперь, получив известие о ее смерти, я вспомнил наше последнее, тревожное прощание, и благородная ценность моих отношений с ней вдруг, точно при свете молнии, встала предо мной во всей своей яркости, во всем своем объеме. А какое действие все это имело на меня, я понял только потом, когда после моих первых выдающихся успехов мать со слезами на глазах высказала сожаление, что Розалии не суждено было дожить до них.

Теперь возможность снова начать общение с семьей оказала на меня самое благотворное влияние. До матери и сестер доходили кое-какие сведения о моей жизни, и меня глубоко трогало то, что в письмах, которые я теперь снова стал получать от них, не было ни одного упрека за мое своевольное и, как могло казаться, эгоистическое поведение. Они были полны сострадания и сердечной озабоченности. До моей семьи дошли также благоприятные отзывы о достоинствах моей жены, и это меня чрезвычайно радовало: таким образом, я был избавлен от необходимости защищать и оправдывать ее поведение по отношению ко мне, что было бы мне отнюдь не легко.

Все это принесло моей душе после стольких бурь и волнений благодетельный покой. Причины, толкнувшие меня на неосторожный, слишком ранний брак, все последствия этого шага, губительно действовавшие на мои силы, — все это спокойно и мирно осталось в стороне. И если надо мной еще долгие годы тяготели пошлые материальные заботы, часто в самых отвратительных и беспокойных формах, то все же тревоги пылкого юношеского стремления теперь настолько улеглись и успокоились, что впредь до наступления полной художественно-артистической самостоятельности я мог направлять все силы своей души исключительно на высокие идеальные

цели. С того самого момента, как в уме моем зародился план «Риенци», эти идеальные цели были единственным мотивом всех моих практических шагов.

85

Катастрофа

Позднее мне передали отзыв одного рижанина, с большим удивлением услыхавшего об успехах человека, который за свое двухлетнее пребывание в небольшой столице Лифляндии решительно ничем себя не проявил. Эти слова впервые показали мне мою жизнь в Риге в более определенном свете. Ни разу я не встретил там ни одного человека, который мог бы действовать на меня сколько-нибудь возбуждающим образом. Предоставленный исключительно самому себе, я оставался чужим для всех. Как я уже упомянул, я с все большим отвращением сторонился театрального персонала.

Таким образом, в конце второго года пребывания в Риге, в марте 1839 года, дирекция объявила мне о моем увольнении. Этот факт при всей своей неожиданности оказался в полном соответствии с потребностью изменить план моей деятельности. Обстоятельства, сопровождавшие эту отставку, были, правда, таковы, что я не мог не смотреть на них как на одно из отвратительнейших испытаний моей жизни. Опасная болезнь, свалившая меня с ног, дала мне весьма неприятный случай убедиться в истинном характере отношений ко мне Гольтея. В самом разгаре зимних морозов я подхватил на репетиции сильную простуду. На почве крайне расстроенных нервов, болезненно возбужденных постоянными неприятностями и гнетущим сознанием ничтожности тех условий, в каких я вынужден был жить и работать, простуда сразу приняла серьезный характер. Как раз в эти дни в Митау должно было состояться

гастрольное выступление нашей труппы в «Норме». Гольтей сумел заставить меня покинуть постель, пуститься среди зимы в путешествие и подвергнуть себя в совершенно холодном здании театра в Митау опасности осложнения болезни. Результатом этого была тифозная горячка, изнурившая меня до такой степени, что Гольтей, которому было известно мое состояние, уже говорил в театре о том, что мне, конечно, никогда больше не придется дирижировать и что, по-видимому, я уже готов «отправиться в далекий путь». Своим спасением и выздоровлением я был обязан превосходному врачу-гомеопату, доктору Прутцеру.

Вскоре после этого Гольтей навсегда покинул наш театр и самый город. Ему стало невыносимо иметь дело с тамошними, как он выражался, «слишком солидными» условиями. Кроме того, в его личной жизни, потрясенной под конец смертью жены, обстоятельства сложились таким образом, что полный разрыв с Ригой представлялся для него самым лучшим исходом. К моему крайнему удивлению, обнаружилось, что и мне пришлось пострадать неприятным и неожиданным образом. Заменивший Гольтея в дирекции певец Йозеф Гофман объявил мне, что среди прочих обязательств ему был передан его предшественником заключенный с дирижером Дорном контракт, по которому к последнему переходило мое место в театре, вследствие чего возобновление контракта со мной являлось невозможным.

По этому поводу жена моя призналась, что ей давно известны причины особенной неприязни Гольтея к нам обоим. Факты, которые Минна до сих пор скрывала, щадя меня и не желая возбуждать против директора, пролили теперь ужасающий свет на все это дело. Я вспомнил, что вскоре после прибытия Минны в Ригу Гольтей стал меня убеждать не мешать жене принять предложенный ей ангажемент.

Я попросил его переговорить с ней и убедиться, что ее отказ от театральной карьеры является результатом нашего взаимного соглашения, а вовсе не односторонней ревности с моей стороны. Я прямо предоставил ему для этих переговоров время, когда я бывал в театре на репетициях. Несколько раз после этих свиданий я, возвращаясь домой, находил Минну в чрезвычайно возбужденном состоянии. В конце концов она решительно объявила мне, что ни за что не согласится на предложенный Гольтеем ангажемент. Кроме того, я заметил в обращении Минны какие-то мне непонятные, робкие попытки уяснить себе причины той готовности, с какой я предоставил Гольтею возможность убеждать ее. Когда катастрофа разразилась, я узнал, что Гольтей пользовался этими свиданиями для открытых любовных посягательств, характер и тенденция которых при ближайшем ознакомлении с особыми свойствами этого человека, казались мне едва понятными, пока не выяснилось из других его приключений такого же рода, что ему было выгодно заставить говорить о себе как о герое любовных похождений и отвлечь общественное внимание от грехов, гораздо сильнее порочащих его честь.

До крайней степени Минна была возмущена тем, что Гольтей, потерпев личную неудачу на этом поле, выступил в роли ходатая за другого: он говорил, что вполне понимает, что молодая женщина отвергает его, человека уже поседевшего и без средств, и потому предлагает ей красивого, молодого и в то же время очень богатого купца Бранденбурга. Насколько Минна могла заметить, эта двойная неудача и унизительное сознание, что он, не добившись ничего, только понапрасну раскрыл свои карты, повергла его в яростную злобу. Я понял теперь, что постоянные нападки и выражения самого страстного презрения к «солидным театральным нравам» отнюдь не были

преувеличениями с его стороны, и что ему не раз приходилось переносить самые неприятные унижения на этой почве. В конце концов от него, по-видимому, не укрылось, что преступные попытки игры вроде той, в какую он пытался вовлечь мою жену, не в состоянии были все-таки обмануть внимание людей, наблюдавших его порочную жизнь. Лица, близко стоявшие к нему, с которыми мне пришлось об этом беседовать, прямо говорили, что только страх перед самыми серьезными разоблачениями побудил его так быстро покинуть Ригу, пожертвовав своим положением. Впоследствии мне еще приходилось слышать о сильной неприязни его ко мне, о его нападках на «музыку будущего», на ее угрозу простому непосредственному чувству. Но мы уже знаем, каким страстям был подвержен этот человек, какую вражду питал он ко мне в последнее время нашего совместного пребывания в Риге, вражду, которую я раньше был склонен приписывать только различию наших художественно-артистических воззрений.

86

Дорн и знамя немецкой драматической музыки

Если мне и пришлось, к моему ужасу, убедиться, насколько в основании этой вражды лежали чисто личные мотивы, если я испытывал некоторое смущение, видя себя вынужденным признать, что, отнесясь с полным доверием к человеку, казавшемуся мне, безусловно, честным и порядочным, я проявил весьма плохое знание людей, то открытие, сделанное мной относительно характера моего друга Г. Дорна, повергло меня в еще большее смятение. За время нашего непрерывного знакомства в Риге его отношение ко мне, напоминавшее отношение любящего старшего брата, приняло открытый характер нежной дружбы. Мы виделись и посещали друг друга почти ежедневно, встречались

домами. У меня не было тайн от него, и представления его оперы «Парижский судья» проходили под моим управлением так же хорошо, как под его собственным.

Узнав, что мое место отдано ему, я счел нужным поговорить с ним и выяснить, не находится ли он в заблуждении относительно планов и намерений, связанных с моим дальнейшим пребыванием в театре. Из его письменного ответа я, однако, усмотрел, что Дорн действительно воспользовался враждебным отношением ко мне Гольтея и вынудил у него под конец связывающий преемника контракт в свою пользу. Ему и в голову не приходило, что в качестве друга он должен был считать себя вправе воспользоваться этим преимуществом только в том случае, если бы я и в самом деле имел в виду отказаться от моей рижской должности. При встречах со мной, сохранявших прежний дружеский характер, он тщательно избегал касаться самого вопроса о возможности или невозможности моего ухода. Теперь он сослался на то, что Гольтей будто бы ни в каком случае не возобновил бы со мной контракта, так как я не умею ладить с певцами: поэтому нельзя поставить ему в вину, что, почувствовав благодаря успеху своей оперы новое тяготение к театру, он использовал к собственной выгоде представившийся ему благоприятный случай. Кроме того, он из моих конфиденциальных сообщений якобы заключил, что, получая лишь небольшое, с самого начала урезанное Гольтеем жалованье, и теснимый кёнигсбергскими и магдебургскими кредиторами, поручившими ведение дела против меня одному из близко знакомых Дорну адвокатов, я нахожусь в очень стесненном положении, и что мне вообще не удержаться в Риге. При таких обстоятельствах приняв предложение Гольтея, он чувствует себя, как друг, свободным по отношению ко мне от всяких укоров совести.

Чтобы не дать ему успокоиться на таком самообольщении, я напомнил ему об одном обстоятельстве, ему небезызвестном, а именно: что на третий год моего служения в театре мне была обеспечена контрактом прибавка жалованья, да кроме того, устройство оркестровых концертов, которым уже было положено удачное начало, теперь, по избежании материальных затруднений, связанных с переездом и устройством на новом месте, дало бы мне возможность расплатиться со старыми долгами. Я спросил его при этом, как он намерен поступить в том случае, если я заявлю, что считаю для себя выгодным сохранить свое прежнее положение, и предложу ему отказаться от договора с Гольтеем, тем более что с уходом последнего из Риги приведенный им мотив моего увольнения отпадает сам собой. На это я и по сей день не получил от Дорна никакого ответа.

Летом же 1865 года, к моему большому удивлению, Дорн неожиданно появился в моей мюнхенской квартире. Видимо обрадовавшись тому, что я узнал его, он пошел ко мне навстречу с явным намерением заключить меня в свои объятия. Я сумел уклониться от этой нежности, но сейчас же увидал, что невозможно будет избежать дружеского общения и обращения на «ты», ибо, по всей вероятности, это повело бы к объяснениям, которые принесли бы мне только лишние волнения, которых у меня тогда было — во время постановки «Тристана» — и без того достаточно. Это был тот самый Генрих Дорн, который в бытность свою в Риге после неудачи, постигшей его произведения, разочарованный, удалился от театра и стал относиться к музыке как настоящий ремесленник. Ободренный местным успехом своей историко-комической оперы «Парижский судья», он, не остановившись перед предательством

по отношению к другу, при сочувствии такой добродетельной особы, как директор Гольтей, дошел в конце концов благодаря великодушному заблуждению Франца Листа, извлекшего его из забвения, до роли ревнителя драматической музыки в Германии. Своим последним выдающимся положением при величайшем лирическом театре Германии, Берлинской Королевской оперы, он был обязан пристрастию короля Фридриха Вильгельма IV к церковным торжествам, ибо, следуя не столько призванию, сколько желанию получить какое-нибудь хорошее место в одном из больших немецких городов, он добился, как уже было упомянуто, при содействии Листа места музикдиректора Кёльнского собора. На одном из храмовых праздников он так сумел подействовать на музыкальное чувство прусского монарха, что тот в награду пожаловал ему звание капельмейстера придворного театра. В этой должности он в течение продолжительного времени, в союзе с Вильгельмом Таубертом призван был держать знамя немецкой драматической музыки.

87

Новый путь. Сношения с Парижем. Письмо Скриба. Уроки французского языка

К чести Гофмана, заступившего в рижском театре место Гольтея, я должен сказать, что он отнесся очень горячо к предательству, жертвой которого я стал. Он сказал мне, что считает себя связанным по отношению к Дорну только на один год и готов сейчас же заключить со мной контракт на следующий сезон. К этому присоединились предложения рижских любителей искусства вознаградить меня за потерянное для меня жалованье дирижера доставлением уроков, устройством концертов и т. д. Как мне ни было приятно убедиться на этих проявлениях внимания,

что меня ценят, но мое желание совершенно развязаться с той театральной жизнью, с какой мне пришлось познакомиться, было так сильно, что я самым решительным образом ухватился за представившийся мне помимо моей воли случай сейчас же покинуть прежнее поприще и вступить на совершенно новый путь. Я довольно ловко воспользовался возмущением и горечью, которые вызвал в моей жене предательский поступок Дорна, чтобы подготовить ее к довольно-таки эксцентричному намерению переехать в Париж.

Разрабатывая с самого начала план «Риенци» таким образом, что постановка этой оперы была мыслима только в самых богатых театральных условиях, я и решил теперь, минуя все промежуточные ступени, обратиться прямо к главному центру развития европейского оперного искусства. Еще в Магдебурге я взял из романа Г. Кёнига «Небесная невеста» сюжет для большой пятиактной оперы в широком французском масштабе. Вполне закончив ее сценический план, я дал его перевести на французский язык и из Кёнигсберга послал Скрибу в Париж. Одновременно с этим я отправил знаменитому составителю оперных либретто письмо, в котором предлагал ему свой план в собственность с условием, что он мне выхлопочет заказ написать музыку к этой опере для Парижа. Чтобы он мог убедиться, насколько я способен к выполнению такой задачи, я послал ему в то же время партитуру «Запрета любви».

Кроме того, я решил написать Мейерберу, поставить его в известность о своем намерении и просить его поддержки. Меня нисколько не беспокоило, что я не получил на свои письма никакого ответа. Мне было достаточно одного сознания, что я уже «вступил в отношения с Парижем». И действительно, когда я принялся в Риге за выполнение своего смелого предприятия, у меня была

уже некоторая почва под ногами, и мои парижские планы не совсем, в сущности, висели в воздухе.

К этому прибавилось еще то, что моя младшая сестра Цецилия обручилась с книгопродавцом Эдуардом Авенариусом, работавшим в деле Брокгаузов и взявшим теперь на себя ведение филиального отделения немецкой фирмы в Париже. К его содействию я теперь и обратился, чтобы получить от Скриба ответ на сделанное ему несколько лет тому назад предложение. Авенариус посетил Скриба и узнал от него, что посланные ему материалы он тогда же получил. Скриб уверил его также, что не забыл присланного ему сюжета, в котором, если он не ошибается, фигурирует *joueuse de harpe*[37], подвергающаяся дурному обращению со стороны своего брата. Тот факт, что в памяти его остался именно этот совершенно второстепенный эпизод, заставил меня, правда, предположить, что его знакомство с сюжетом не пошло дальше первого акта, в котором он как раз и встречается. Относительно партитуры он мог сообщить только, что заставил одного из учеников консерватории сыграть себе кое-что из нее — обстоятельство, едва ли дававшее повод к лестному предположению, что между нами существуют определенные серьезные отношения.

Однако когда в моих руках очутилось письмо Скриба к Авенариусу по поводу моего дела, в моих глазах оно явилось осязательным доказательством того, что Скриб обо мне думал и что связь между нами установилась. Даже отнюдь не сангвинистическому воображению моей жены это письмо Скриба показалось столь значительным, что помогло преодолеть страх, с каким она смотрела на необходимость пуститься со мной в парижскую авантюру. Наконец, мы определенно решили, что по истечении

---

[37] «Играющая на арфе» (*фр.*).

второго контрактного года в Риге, т. е. ближайшим летом (1839), мы прямо из Риги отправимся в Париж, где я попытаю счастья исключительно на поприще оперных композиций.

Между тем разработка «Риенци» принимала все более значительный размах. Еще перед отъездом я закончил второй акт, в который был введен героический балет в самом широком объеме. Как раз в это время оказалось, что мне надо немедленно приступить к изучению французского языка, к которому я в течение своего пребывания в классической гимназии относился с величайшим презрением. Ввиду того, что оставалось всего четыре недели, я взял себе хорошего учителя. Но, убедившись весьма скоро, что в такой короткий срок не достигну никаких особенных результатов, я решил воспользоваться уроками для того, чтобы под предлогом упражнений добиться точного перевода текста «Риенци». Получив его, я сейчас же вписал французский текст в партитуру готовых частей музыки, чтобы по прибытии в Париж сразу иметь возможность представить полуоконченную оперу на суд французских музыкальных критиков.

88

Ликвидация дел в Риге

Я полагал, что все разумно подготовлено и что остается только раздобыть для путешествия денег. В этом отношении дело обстояло, однако, плохо: суммы, вырученной от продажи нашей скромной квартирной обстановки, дохода с бенефисного концерта и еще некоторых мелких сбережений хватило бы только на то, чтобы удовлетворить магдебургских и кёнигсбергских кредиторов, перенесших свои иски в Ригу. Если бы я употребил деньги для этой цели, то остался бы без гроша. Надо было придумать какой-нибудь выход.

Наш старый кёнигсбергский друг, Абрахам Мёллер, нашел этот выход, дав один из тех советов, на которые он был так скор и которые нелегко было правильно оценить во всех отношениях. Как раз в это критическое время он посетил нас в Риге во второй раз. Я рассказал ему о своем трудном положении и о препятствиях, мешающих привести в исполнение намеченный переезд в Париж. Недолго думая, он посоветовал мне употребить все сбережения на путешествие, а кредиторов удовлетворить тогда, когда парижские успехи дадут мне достаточно средств для этого. Он предложил нам перевезти нас в своем дорожном экипаже, экстренно на почтовых, через русскую границу до ближайшей прусской гавани. Переход через границу мы должны были совершить без паспортов, так как на таковые нашими германскими кредиторами было наложено запрещение. По его словам, выполнение этого чрезвычайно щекотливого предприятия представлялось очень легким, ибо в одном из лежащих близ границы прусских имений у него был друг, на помощь которого мы могли вполне рассчитывать.

Стремление как можно скорее вырваться из настоящего положения на широкую арену, где я ожидал скорого удовлетворения моих честолюбивых желаний, сделало меня слепым ко всем неприятностям и злоключениям, которыми должно было сопровождаться выполнение подобного плана. Директор Гофман, всегда готовый прийти мне на помощь, облегчил мне разрыв с Ригой тем, что дал возможность уехать на несколько месяцев раньше назначенного в контракте срока. В июне я закончил дирижирование оперными представлениями театрального сезона в Митау, после чего под защитой Мёллера и в его экипаже мы отправились тайно в путь. В Париж мы попали, только пройдя через целый ряд самых неслыханных неприятностей.

89

Путешествие в Париж. Ньюфаундлендская собака Роббер. Контрабандистская корчма. Через границу

Путешествие по плодородной Курляндии в цветущую июльскую летнюю пору невольно вызывало в душе чувство удовольствия, главным образом благодаря сознанию, что я порываю с ненавистной полосой жизни и вступаю на совершенно новый путь. Но это удовольствие с самого начала было отравлено мучительными неудобствами, вызванными присутствием спутника в лице крупного ньюфаундленда по имени Роббер. Эта чрезвычайно красивая собака, первоначально принадлежавшая одному рижскому купцу, необыкновенно привязалась ко мне, вопреки обычным свойствам ее породы. Когда я уехал из Риги, Роббер все время моего продолжительного пребывания в Митау непрерывно держал в осаде мою опустевшую квартиру и своей поразительной привязанностью так тронул хозяина дома и соседей, что они прислали мне его с почтовым ямщиком. Наша встреча была очень трогательна, и я дал себе слово никогда больше не расставаться с собакой. Что бы меня ни ждало впереди, собака должна была отправиться со мной в Париж. Но уже в экипаже оказалось совершенно невозможным устроить ее. Все приспособления, которые я придумывал, чтобы поместить ее снаружи или внутри, оказывались непригодными, и со все возраставшим огорчением я должен был смотреть, как покрытое густой шерстью животное севера целый день в страшную жару бежало рядом с нами. В конце концов, доведенный до крайности видом его мучений, я стал измышлять самые невероятные способы как-нибудь примостить огромную собаку в переполненном экипаже.

На второй день к вечеру мы добрались до русско-прусской границы. Озабоченность Мёллера относительно

успеха нашего тайного перехода обратила и наше внимание на то, что мы, в сущности, шли на опасный риск. Живущий в Пруссии друг Мёллера выехал нам навстречу, как было условлено, в маленьком экипаже, в котором, свернув с большой дороги, он довез меня, Минну и Роббера до определенного места, откуда пешком провел нас к весьма подозрительного вида дому. Сдав проводнику, он покинул нас. Там нам пришлось ждать до захода солнца и наступления темноты. Времени было достаточно, чтобы убедиться, что мы попали в контрабандистскую корчму, постепенно наполнившуюся сверх меры польскими евреями самого грязного вида. Наконец нам было предложено последовать за проводником. На протяжении нескольких сот шагов тянулся у подошвы холма ров, прорытый по всей русской границе и охраняемый расположенными через небольшие промежутки караулами казаков. Надо было воспользоваться теми немногими минутами, когда внимание сторожевых при смене караула было отвлечено в другую сторону. Мы должны были с величайшей поспешностью сбежать с холма, перелезть через ров и затем так же поспешно бежать дальше, пока не очутимся за пределами досягаемости ружейных выстрелов, ибо казаки, если бы они нас заметили, должны были послать нам вслед свои пули через ров.

Сильная тревога за Минну не помешала мне все-таки заметить, к большой моей радости, чрезвычайно умное поведение Роббера: словно понимая опасность, он бежал, не издавая ни одного звука и не отставая ни на шаг, и совершенно рассеял мои опасения, что будет помехой во время опасного перехода. Наконец мы увидели нашего верного помощника. Он был так взволнован, что заключил нас в свои объятия. Мы отправились в экипаже в гостиницу прусского пограничного местечка, где наш друг Мёллер, заболевший от страха и тревоги, выскочил нам навстречу прямо из постели, проливая слезы радости. Теперь настало и для меня

время убедиться, какой опасности я подвергал не только себя, но вместе с собой и бедную Минну, и в какое непростительно легкомысленное предприятие меня вовлекло незнание страшных условий тайного перехода через границу, незнание, которое Мёллер столь легкомысленно не постарался рассеять. Я не находил слов, чтобы выразить своей смертельно измученной жене все свое раскаяние.

90

На корабле в Лондон. Матрос Коске и неистовство Роббера. Среди лабиринта утесов

И все-таки то, что мы сейчас пережили, было только прелюдией к дальнейшим невзгодам этого полного приключений путешествия, имевшего такое решающее значение для всей моей жизни. На следующий день, уже в более приподнятом настроении, мы пустились по богатой Тильзитской низменности по направлению к Арнау близ Кёнигсберга. Дальнейший план путешествия был решен в том смысле, что из прусской гавани Пиллау мы должны были отправиться на пароходе в Лондон. Причина, побудившая нас принять такое решение, заключалась главным образом в том, что таким способом было легче всего везти нашу собаку. Путешествуя же от Кёнигсберга до Парижа на почтовых — тогда еще не знали железных дорог, — нечего было, конечно, и думать о том, чтобы везти ее с собой.

Вторым мотивом, повлиявшим на наше решение, было состояние нашей кассы: весь собранный с таким трудом капитал составлял менее ста дукатов, которых должно было хватить не только для путешествия, но и для пребывания в Париже до тех пор, пока я не получу какого-нибудь заработка. Отдохнув несколько дней в Арнау, мы, опять-таки в сопровождении Мёллера, пустились в путь в одном из местных экипажей, не лишенном сходства с ломовой телегой. Чтобы миновать Кёнигсберг, нам приходилось

ехать окольными путями, по скверным дорогам. Но и этот короткий переезд до приморского городка Пиллау не обошелся без злоключений. У одного из крестьянских дворов, мимо которых мы проезжали, наша неуклюжая телега опрокинулась. При этом Минна так сильно пострадала от внутреннего сотрясения, что мне с большим трудом удалось перетащить лежавшую совершенно без движения женщину в избу, у угрюмых и грязных обитателей которой мы провели весьма мучительную для нее ночь.

При таких обстоятельствах мы могли только радоваться, что отплытие корабля из Пиллау запоздало на несколько дней, которыми Минна могла воспользоваться, чтобы поправиться и отдохнуть. Но чтобы попасть на корабль, надо было опять-таки преодолеть различные затруднения, потому что капитан парохода брал нас без паспортов. Еще до наступления утра нам пришлось тайком отплыть на лодке от берега и проскользнуть незамеченными мимо портовой стражи. Затем, взобравшись на корабль и втащив за собой с большим трудом Роббера, мы сейчас же должны были укрыться в одном из нижних помещений, чтобы не попасться на глаза контролерам, осматривающим экипаж перед самым его отплытием. Наконец мы снялись с якоря, и берег стал мало-помалу исчезать из виду. Мы вздохнули свободно, думая, что теперь можем, наконец, успокоиться.

Корабль, на котором мы находились, представлял собой торговое судно самого малого размера. Он назывался «Фетида», и деревянное изображение нимфы украшало его корму. Экипаж его состоял из семи человек, включая и капитана. Предполагалось, что при хорошей погоде, какую можно было ожидать в эту летнюю пору, мы совершим переезд до Лондона за восемь дней. Но уже в Балтийском море продолжительный штиль надолго задержал нас. Я воспользовался этим временем, чтобы

пополнить свои скудные знания французского языка чтением романа Жорж Санд «Последняя из Альдини». Кроме того, и общество матросов являлось для нас некоторым разнообразием. Особенное внимание наше обратил на себя один чрезвычайно молчаливый, пожилой матрос по имени Коске, главным образом благодаря той непримиримой вражде, какую почувствовал к нему обычно столь добродушный Роббер и которая в минуту опасности причинила нам немало комических хлопот.

Лишь по прошествии семи дней мы добрались до Копенгагена, где, не сходя с корабля, имели возможность вознаградить себя за скудную еду приобретением различных более питательных припасов и напитков. В хорошем настроении мы миновали прекрасный замок Хельсингёр, вид которого живо воскресил в моей памяти юношеские впечатления, оставленные в душе «Гамлетом», и, исполненные надежд, направились через Каттегат к Скагерраку. Но ветер, вначале лишь противный и заставлявший нас с трудом лавировать, на второй день превратился в сильную бурю. Целых 24 часа мы боролись против него среди совершенно новых для нас страданий. Затиснутые в страшно узкую каюту капитана, где не было собственно постели ни для меня, ни для Минны, мы были всецело отданы во власть морской болезни и всех ее ужасов. На беду, бочонок с водкой, которой экипаж парохода подкреплялся во время тяжелой работы, помещался в углублении под скамьей, на которой я лежал. Чаще всего являлся за подкреплением Коске, несмотря на то, что ему постоянно приходилось выдерживать борьбу на жизнь и смерть с Роббером, с яростью нападавшим исключительно на него, как только он показывался на ведущей в каюту лесенке. Мне, совершенно измученному морской болезнью, приходилось при этом всякий раз пускать в ход усилия, имевшие для меня самые роковые последствия.

Наконец 27 июля при неистово бушевавшем западном ветре капитан решил бросить якорь в ближайшей гавани норвежского побережья. Я почувствовал истинное облегчение, когда увидел уходящий в туманную даль скалистый берег, к которому нас несло с огромной скоростью. Немного спустя норвежский лоцман, выехавший к нам навстречу на маленькой лодочке, взял руль «Фетиды» в свои опытные руки. В эти минуты мне пришлось испытать одно из удивительнейших и прекраснейших впечатлений моей жизни. То, что я принимал за непрерывную скалистую цепь, тянущуюся вдоль берега, оказалось, когда мы подошли ближе, целым рядом отдельных торчащих из моря конусообразных утесов. Миновав их, мы увидали себя окруженными со всех сторон — спереди, с боков и сзади — этими рифами, так тесно смыкавшимися за нами, что казалось, будто они составляют непрерывную скалистую цепь. Ураган разбивался об оставшиеся позади скалы, и по мере того как мы подвигались вперед среди этого беспрестанно меняющегося лабиринта утесов, море становилось все спокойнее. Наконец, войдя через гигантский скалистый коридор, оказавшийся норвежским фьордом, в длинный пролив, корабль наш спокойно поплыл по его совершенно гладкой поверхности.

91

Брезжущая идея «Летучего голландца». Треволнения морского путешествия

Невыразимо приятное чувство охватило меня, когда среди огромных гранитных стен эхо повторяло возгласы экипажа, бросавшего якорь и подымавшего паруса. Короткий ритм этих возгласов звучал в моих ушах как утешительное, бодрящее предзнаменование, и вдруг вылился в моем воображении в тему матросской песни

для «Летучего Голландца», идея которого уже давно зрела во мне. Теперь, под влиянием только что испытанных впечатлений, идея эта приняла определенную, поэтически музыкальную окраску.

Здесь мы и высадились. Я узнал, что маленькая рыбачья деревушка, гостеприимно принявшая нас на берег, называлась Сандвике и была расположена в нескольких милях от городка Арендал. Мы поселились в доме находившегося тогда в отъезде капитана корабля, где и провели два дня, так как бушевавший по-прежнему в открытом море ветер делал опасным дальнейшее путешествие. Этим невольным перерывом мы воспользовались для отдыха, в котором сильно нуждались. 31 июля по настоянию капитана мы снова пустились в путь, несмотря на то что лоцман советовал еще ждать. Сидя опять на «Фетиде», мы в первый раз в жизни наслаждались омарами, как вдруг — это было несколько часов спустя после отплытия, — гневные проклятия капитана и экипажа, направленные против лоцмана, заставили нас вскочить с мест. С лицом, искаженным от страха, лоцман стоял у руля, всячески стараясь направить корабль в сторону от едва торчащего из воды рифа, на который нас прямо несло. Крики и всеобщий переполох немало испугали нас. Мы были уверены, что находимся в крайней опасности. Действительно, судно получило сильный толчок, который моему воображению в мгновение ока представился полным крушением. К счастью, оказалось, что судно коснулось рифа только одним краем, и непосредственная опасность не грозила нам. Все же капитан счел нужным войти в гавань, чтобы подвергнуть корабль осмотру.

На этот раз мы бросили якорь в другом месте, и капитан предложил нам поехать с ним и двумя матросами на небольшой лодке в лежащее на расстоянии нескольких

часов местечко Тромей, куда ему следовало обратиться с просьбой об осмотре судна. Эта поездка опять-таки оказалась в высшей степени приятной и полной впечатлений. Особенно поразил мое воображение вид глубоко врезавшегося в сушу фьорда, оставив впечатление неизведанной еще пустыни, страшной и величественной. Впечатление это еще усилилось после довольно далекой прогулки пешком из Тромея на высокое плоскогорье. Эти безбрежные черные болотистые пространства, лишенные растительности и лишь кое-где поросшие скудным мхом, сливающиеся на горизонте в неопределенных тусклых тонах с сумрачным небом, были полны какой-то мрачной меланхолии. К ужасу моей жены, мы вернулись с этой прогулки только поздно ночью все на той же маленькой лодке. Убедившись в полной безопасности повреждения, полученного кораблем, мы на другое утро, 1 августа, при попутном ветре снялись с якоря.

92

Буря. Лавирование среди опасных мелей. В устье Темзы. Ряды домов и улиц. Лондонский мост. В фиакре

После четырехдневного спокойного плавания подул сильный северный ветер, который с необычайной скоростью гнал нас вперед в благоприятном направлении. Мы уже думали, что путешествие наше подходит к концу, как вдруг вечером 6 августа ветер изменил направление, и в то же время с необыкновенной силой разразилась буря. Это было в среду 7 числа, в три часа дня, когда нам казалось, что с минуты на минуту мы можем ждать смерти. Не страшная сила, с какой кидало во все стороны наше беззащитное судно, отданное во власть морскому чудовищу, — оно вставало перед ним то высокой крутой стеной, то стремительно низверглось в самую глубь бездонной

пропасти, — наводила на меня смертельный страх, а поведение экипажа. Я не мог отделаться от чувства, что мы переживаем роковой момент, видя малодушие наших матросов, среди которых я подметил не один отчаянно злобный взгляд, направленный в нашу сторону, ибо при свойственном им суеверии они считали нас виновниками разразившегося бедствия и угрожающей смертельной опасности. Не зная истинной незначительной причины, заставившей нас окружить отъезд таинственностью, они могли подумать, что нас вынудили к бегству какие-нибудь серьезные и, может быть, преступные обстоятельства. Даже капитан в эти минуты опасности, кажется, готов был пожалеть, что принял нас к себе на судно, ибо он так часто — и особенно летом — совершал этот переезд в кратчайший срок и без всяких осложнений, что должно было казаться, будто мы на этот раз принесли ему несчастье. Когда вдобавок к буре в небе разразилась сильнейшая гроза, Минна стала молить судьбу дать ей лучше погибнуть вместе со мной от удара молнии, чем погрузиться живой в ужасную морскую пучину. Она попросила меня крепко привязать ее к себе, чтобы мы не были разлучены, когда будем тонуть. Целую ночь мы провели в таком состоянии непрерывного страха, лишь изредка слегка ослабевавшего под влиянием невыразимой усталости. На следующий день буря улеглась, ветер оставался противным, но не был силен. Капитан пытался при помощи астрономических инструментов точно определить, где мы находимся: он жаловался на тучи, в течение стольких дней застилавшие небо, говорил, что дал бы много за один-единственный солнечный или хотя бы звездный луч, и не скрывал своей тревоги по поводу того, что не мог определить точно, в каком месте мы стоим. К своему утешению он заметил на расстоянии нескольких морских миль плывущее по тому

же направлению судно, за которым он и последовал, с величайшим вниманием наблюдая в подзорную трубу все его движения. Вдруг он вскочил в страшном испуге и отдал команду изменить направление. Он заметил, что плывущее впереди нас судно течением несет прямо на мель, с которой, как он уверял, ему уже не сойти, ибо он не сомневался теперь, что мы находимся вблизи самой опасной части голландского побережья, сплошь усеянного такими мелями. Благодаря искусному управлению парусами корабль удалось направить в противоположную сторону.

Мы поплыли к английскому берегу, который действительно показался близ Саусволда вечером 9 августа. Горячая волна прихлынула к моему сердцу, наполнив его новой бодростью, когда я увидел целую армию лоцманов, пустившихся на своих лодках к нам навстречу. У английских берегов они ведут свободную конкуренцию и выходят далеко в море даже под риском опасности. Одному из них, седоволосому, крепкому матросу, после долгой и тщетной борьбы с волнами, все снова и снова отбрасывавшими его легонькую лодочку от нашего корабля, удалось добраться до нас. Истерзав до крови руки об канат, он, наконец, поймал его и вскарабкался на палубу «Фетиды». Этим именем все еще называлось наше жалкое, много испытанное судно, хотя украшавшее его деревянное изображение нимфы-покровительницы еще в Каттегате было сорвано первой бурей и унесено в море, в чем наш экипаж тогда же увидал дурное предзнаменование.

Сознание, что руль находится теперь в уверенной руке спокойного, всей своей внешностью действовавшего на нас чрезвычайно благотворно, английского моряка, и полная уверенность в скором избавлении от ужасных бедствий наполнили сердца наши торжественно-религиозным чувством. Но нашим тревогам еще не скоро суждено было

кончиться, ибо теперь началось лавирование среди грозящих бесчисленными опасностями мелей, усеивающих английский берег: мне говорили моряки, что здесь ежегодно погибает средним числом около 400 судов. Целых двадцать четыре часа, с вечера 10-го до вечера 11 августа, нам пришлось выдерживать напор неистово бушевавшего западного ветра, который так препятствовал нашему движению вперед, что мы вошли в устье Темзы лишь в ночь на 12 августа. Здесь мы услышали многочисленные, самые разнообразные звуковые сигналы, исходящие с разбросанных по поверхности воды большей частью небольших, окрашенных в ярко-красный цвет судов. Почти непрерывно звонившие на них вследствие тумана звонки так возбуждающе действовали на напуганное без того воображение жены, что она за эти сутки не сомкнула глаз, все высматривая, с какого судна шли сигналы и обращая на них внимание экипажа. На меня же, напротив, эти признаки спасительной близости людей повлияли так успокаивающе, что, невзирая на горячие упреки Минны, я заснул долгим, освежающим сном.

Наконец, мы бросили якорь в устье Темзы, чтобы выждать наступления дня. В то время как Минна, а также и весь истомленный экипаж предавались отдыху в глубоком сне, мной вдруг овладело необыкновенно бодрое, почти шаловливое настроение. Приведя в порядок свое платье и достав свежее белье, я принялся бриться на открытой палубе у мачты, с возрастающим интересом наблюдая просыпающееся на прославленной реке движение. С наступлением утра мы медленно поплыли вверх по течению. Но желание как можно скорее расстаться окончательно с «Фетидой», ставшей для нас отвратительной тюрьмой, было так велико, что мы у Грейвзенда пересели на проходивший мимо корабль, чтобы скорее прибыть в Лондон.

По мере того, как мы приближались к нему, наше изумление перед развертывавшейся картиной все росло. Река, усеянная, чем дальше, тем гуще, судами всевозможных видов, со своими берегами, показывавшими бесконечные ряды домов и улиц, знаменитых доков и других морских сооружений, имела необыкновенно импозантный вид. Но вот мы подъехали к Лондонскому мосту и очутились в самом центре движения этого несравненного мирового города. Вступив теперь в первый раз на берег после ужасного трехнедельного морского путешествия, когда ноги, еще привыкшие к качанию судна, на суше словно не чувствовали под собой твердой почвы, мы, охваченные сразу ни с чем не сравнимыми шумом, движением и суетой, двигались, шатаясь, как бы в каком-то радостно приятном опьянении, заразившем, по-видимому, также и Роббера. Он носился, как безумный, по улицам, огибая все углы, поминутно исчезая из глаз и заставляя нас опасаться, что мы его не найдем. В конце концов мы все трое нашли спасительное убежище в фиакре, который отвез нас согласно указанию капитана в матросский трактир *Horseshoe-Tavern*[38] близ Тауэра. Там нам предстояло выработать план дальнейших действий, который помог бы нам покорить этот гигантский город.

93

Лондонские впечатления

Однако обстановка, в которую мы попали, заставила нас, немедля ни минуты, удалиться отсюда. Маленький горбатый гамбургский еврей, отнесшийся к нам с дружелюбным участием, рекомендовал нам лучший приют в Вест-энде. Переезд туда, продолжавшийся целый час, очень живо остался у меня в памяти. Мы совершили его

[38] «Подкова».

в одном из бывших тогда еще в ходу крохотных кэбов, рассчитанных на двух сидящих друг против друга человека. Наша большая собака поместилась поперек, высунув в окна передние и задние лапы. То, что нам в течение этого часа удалось наблюдать из этого удивительного кэба, превзошло все наши самые смелые представления о движении и громадности большого города.

В чрезвычайно приподнятом настроении мы остановились у указанного нам *boarding-house*[39] на Олд-Комптон-стрит. Двенадцатилетним мальчиком изучая английский язык, я в короткое время дошел до того, что был в состоянии сделать перевод — таковым, по крайней мере, он представлялся мне — монолога из «Ромео и Джульетты» Шекспира. Но плоды этого изучения оказались совершенно непригодными теперь, когда надо было объясниться с хозяйкой дома, называвшегося *Kingsarms*[40]. Видя полную безуспешность моих попыток сговориться с ней по-английски, хозяйка, вдова капитана корабля, решила пустить в ход французские слова, но ее попытки в этом направлении дали мне лишь повод к размышлениям на тему, кто, собственно, из нас двоих не имеет понятия об этом языке.

Но настоящее волнение мы испытали, когда оказалось, что Роббер вовсе не последовал за нами в дом, а бесследно исчез. Первые два часа нашего пребывания в этом гостеприимном доме были совершенно отравлены заботами и огорчением об исчезновении нашей славной собаки, которую мы как будто только для того с такими неудобствами и затруднениями тащили с собой весь этот далекий путь, чтобы здесь потерять. Не отходя от окна и глядя то в одну, то в другую сторону, мы вдруг, к нашей неописуемой

---

[39] Пансиона.

[40] «Королевский герб».

радости, увидали Роббера, показавшегося из-за угла и самым спокойным образом направлявшегося прямо к нашему дому. Позднее мы узнали, что любознательность нашей собаки, пожелавшей ознакомиться с местностью, завлекла ее до самой Оксфорд-стрит. Это поразительное возвращение ее к дому, в котором она никогда раньше не была, осталось в моей памяти как яркое доказательство удивительной верности животного инстинкта.

Теперь только мы почувствовали всю тяжесть последствий морского путешествия. Что почва все время продолжала колебаться под нашими ногами, что мы на каждом шагу самым смешным образом теряли равновесие — все это казалось нам чрезвычайно забавным. Но мы почувствовали себя ужасно скверно, когда огромная двуспальная английская кровать, в которую мы улеглись на заслуженный после стольких мучений покой, безостановочно стала колыхаться вверх и вниз и, как только усталость закрывала нам глаза, летела вместе с нами стремглав в бездонную пропасть, так что мы всякий раз вскакивали с криком о помощи. Нам казалось, что невыносимое морское путешествие будет длиться всю жизнь. К этим страданиям прибавилась еще мучительная тошнота, вызванная слишком пикантной пищей, на которую мы с жадностью набросились после отвратительной пароходной еды.

Обессиленные этими невзгодами, мы забыли о самом главном, т. е. о состоянии нашей кассы, и, всецело находясь под впечатлением чудес огромного города, на другой же день, словно мы с Минной действительно предприняли это далекое путешествие только с увеселительными целями, отправились в фиакре на экскурсию по Лондону, руководясь планом, который я заранее составил и начертал на карте. Все, что попадалось нам по пути, вызывало в нас удивление и радость, совершенно заставившие нас забыть все перенесенные неприятности. Восьмидневное пребывание

в Лондоне, отразившееся так печально на нашей кассе, я оправдывал, с одной стороны, необходимостью отдыха для Минны, с другой стороны — открывающейся мне возможностью завязать отношения с миром артистов.

Мою увертюру «Правь, Британия!», написанную еще в Кёнигсберге, я в последний мой приезд в Дрезден послал в Лондон сэру Джону Смарту, председателю Лондонского филармонического общества. Правда, он мне ничего не ответил, но тем более я считал себя обязанным попросить у него объяснения. Раздумывая о том, как использовать свое знание языков для необходимых с ним объяснений и потратив несколько дней на справки о его местожительстве, я в конце концов узнал, что его вовсе нет в Лондоне.

Тогда мне пришло в голову, что было бы хорошо посетить Бульвера, чтобы переговорить с ним о музыкальной обработке его романа «Риенци», который я переделал в драму. В свое время, еще на материке, я узнал, что Бульвер состоит членом парламента, и стал поэтому наводить справки о нем непосредственно в здании парламента. При этом случае полное незнание английского языка сослужило мне службу: совершенно неожиданно мне оказали чрезвычайно любезный прием. Так как никто из встречавшихся мне в громадном здании низших чиновников не мог понять, чего я хочу и кого ищу, то меня с Минной — один Роббер остался дома — направляли в восходящем порядке все к высшим и высшим сановникам. Вышедшему из большого зала господину аристократической внешности я был представлен, кажется, как очень непонятливый человек. Он чрезвычайно вежливо спросил меня по-французски, чего я желаю, и имя знаменитого Бульвера, которое я произнес в ответ на его вопрос, по-видимому, произвело на него благоприятное впечатление.

Услыхав, что и Бульвера нет в Лондоне, я спросил, нельзя ли мне попасть на заседание парламента. На это

господин объяснил, что доступом на заседания пользуются только немногие привилегированные лица, имеющие входные билеты, потому что помещение, в котором заседания проходят теперь временно, по случаю недавнего пожара в старом здании парламента, чрезвычайно тесно. В конце концов, на мои настойчивые просьбы мой покровитель, в котором я, может быть, не без основания предположил лорда, ибо он вышел из зала заседаний Верхней Палаты [Палаты лордов], открыл дверь и ввел нас прямо в тесное помещение, отведенное для публики в зале, где заседали пэры Англии. Для меня это было в высшей степени интересно. Я слышал и видел тогдашнего премьера, лорда Мельбурна, лорда Брума, отличавшегося необычайной подвижностью и несколько раз даже, как мне показалось, дававшего Мельбурну какие-то советы и указания, герцога Веллингтона, который своей серой пуховой шляпой, руками, засунутыми в карманы брюк, а больше всего своим животом, колыхавшимся всякий раз, когда он повышал голос в своей простой, совершенно разговорной речи, произвел на меня самое приятное впечатление, исключавшее всякую излишнюю почтительность. Кроме того, меня интересовал лорд Линдхерст, главный противник Брума.

Этот последний, к моему величайшему удивлению, во время речи лорда несколько раз подсаживался к нему самым спокойным образом и, как мне казалось, давал и ему какие-то советы. Дело шло, как я потом узнал из газет, о мерах, направленных против португальского правительства и клонившихся к энергичному проведению билля против торга невольниками. Епископ Лондонский, которого я тоже имел случай слышать, был единственный среди присутствовавших, оставивший во мне своим тоном и манерами неприятное впечатление, вызванное, может быть, и моим предубеждением против духовных лиц вообще.

После этого счастливого приключения мой интерес к Лондону был на время исчерпан. Мне, правда, так и не удалось попасть на заседание Нижней Палаты [Палаты общин], но зато мой неутомимо любезный покровитель, с которым я случайно снова столкнулся при выходе из Палаты лордов, повел меня туда, объяснив при этом все наиболее интересное и показав даже «мешок с шерстью» спикера, а также спрятанную под столом булаву его. Объяснения, которые он давал мне, были настолько детальны и точны, что в достаточной степени удовлетворили мое любопытство относительно наиболее интересных достопримечательностей столицы Британского королевства. О посещении Итальянской оперы я и не думал, может быть, потому, что мои представления о дороговизне входных билетов были крайне преувеличены. Осмотрев главные улицы столицы, по которым мы с Минной фланировали с величайшим усердием, часто до крайнего утомления, поразившись ужасным впечатлением лондонского воскресного дня, показавшегося нам настоящим кошмаром, и в заключение совершив с капитаном «Фетиды» в первый раз в жизни поездку на паровозе в Грейвзенд, мы 20 августа отплыли на корабле во Францию. Высадившись вечером в Булонь-сюр-мер, мы простились с морем с самым горячим желанием никогда больше с ним не встретиться.

94

Париж. Мейербер. Первые знакомства

Предчувствие разочарований, ожидающих нас в Париже, и известный страх перед ними, который мы тщательно скрывали друг от друга, совместно с некоторыми другими причинами, побудили нас принять решение поселиться на несколько недель в Булони или около нее. Во всяком случае, было еще слишком раннее время года,

чтобы я мог рассчитывать встретить в Париже всех тех, кого мне важно было посетить для успеха моего предприятия. С другой стороны, я, к радости, узнал, что Мейербер находится теперь в Булони. Кроме того, надо было еще инструментовать часть второго акта «Риенци». Мне было важно по приезде в известный дороговизной жизни Париж иметь возможность сейчас же представить по крайней мере половину моего произведения в законченном виде.

А вблизи Булони на это время можно было устроиться довольно дешево. С этой целью мы принялись обходить окрестности. И действительно, на расстоянии получаса от Булони, на большой дороге, прямо ведущей в Париж, мы нашли в домике деревенского *marchand de vin*[41], расположенном в открытой местности, две почти совершенно пустые комнаты. Мы сняли их на короткое время и, пустив в ход большую изобретательность, которой особенно отличалась Минна, меблировали весьма скромно, но вполне достаточно для нас. Кроме кровати и двух стульев, мы раздобыли и стол, на котором, убрав следы моей работы над «Риенци», мы вкушали наши трапезы, приготовленные собственноручно в камине.

Отсюда я отправился с первым визитом к Мейерберу. Мне часто приходилось читать о его вошедшей в пословицу любезности и услужливости. То обстоятельство, что он не ответил на мое первое письмо, нисколько не смущало меня. Я охотно прощал ему это. Действительно, я не обманулся в своих ожиданиях: Мейербер принял меня сейчас же и чрезвычайно любезно. Он произвел на меня во всех отношениях очень хорошее впечатление, чему немало способствовало выражение его лица, еще не утратившее живости и энергии, как это часто бывает с еврейскими

---

[41] Виноторговца.

физиономиями к старости, и которому красиво очерченный лоб и разрез глаз придавали большую привлекательность. К моему намерению пробить себе дорогу в Париже в качестве драматического композитора он отнесся сочувственно, отнюдь не считая его безнадежным. Он разрешил мне прочитать ему текст «Риенци», выслушал его до конца третьего действия и взял два готовых акта оперы для просмотра. При следующем посещении он проявил самое горячее участие к моей работе. При этом меня немного шокировало то, что он постоянно возвращался к похвалам изящному, вызывавшему его восхищение почерку, в котором он узнавал «саксонца». Он обещал мне рекомендательные письма к директору Парижской оперы Дюпоншелю и первому дирижеру ее, Гебенеку. Я подумал, что должен благодарить судьбу за то, что она через самые невероятные испытания привела меня именно в этот уголок Франции. При каких других условиях я мог бы в столь короткое время добиться более счастливых результатов, где еще я мог бы достичь таких выгод, какие выпали мне на долю теперь, благодаря так скоро приобретенному участию знаменитейшего французского композитора? Мейербер ввел меня к гостившему в то время в Булони Мошелесу и к знаменитой виртуозке Благедка, которую я знал давно, по слухам. У обоих я присутствовал на частных музыкальных вечерах и, таким образом, в первый раз вошел в круг музыкальных знаменитостей, который до тех пор был мне совершенно чужд.

95

Андерс. «Gazette Musicale»

Написав моему будущему зятю Авенариусу и попросив его подыскать нам в Париже подходящее помещение, мы 16 сентября пустились в дилижансе в путь, во время

которого Роббер, помещенный на империале, доставлял нам обычные хлопоты. Приближаясь к столь желанному Парижу в состоянии крайнего напряжения всех моих нервов, я в первую минуту при въезде в город почувствовал разочарование: Париж совершенно не произвел на меня того колоссального впечатления, какое оставил во мне Лондон. Все здесь казалось теснее, мельче; особенно же знаменитые бульвары я представлял себе гораздо величественнее.

Невыразимая досада охватила меня, когда мне пришлось, спустившись с нашего гигантского омнибуса, вступить на парижскую почву в отвратительной узенькой Рю-де-ла-Жюсье. Но и Рю-Ришелье, где находился книжный магазин моего зятя, также совсем не импонировала мне по сравнению с улицами лондонского Вест-энда. Когда же мне отсюда пришлось отправиться по указанному зятем адресу в нанятую для нас меблированную комнату в одном из узеньких переулочков, соединяющих Рю-Сент-Оноре с Марше-дез-Инносан[42] — на Рю-де-ла-Тоннельри, — я почувствовал себя прямо-таки приниженным. Некоторое утешение доставила мне только надпись на стене дома, в котором мы должны были жить, помещенная под бюстом Мольера и гласившая: *Maison ou naquit Moliere*[43]. Она показалась мне хорошим предзнаменованием и заставила забыть первые неприятные впечатления. Дешевая комнатка, нанятая для нас в четвертом этаже, была мала, но обставлена довольно уютно и прилично. Из окон ее я с возрастающим беспокойством наблюдал невероятную рыночную суету на улицах, спрашивая себя с недоумением, чего мне искать в таком соседстве.

---

[42] Рынком Невинных.

[43] «Дом, где родился Мольер» (*фр.*).

Авенариус, которому предстояло скоро уехать в Лейпциг, чтобы повенчаться с моей младшей сестрой Цецилией и привезти ее в Париж, свел меня с единственным своим музыкальным знакомым, немцем Э. Г. Андерсом, служившим в Королевской библиотеке, в отделе музыки. Андерс скоро посетил нас в доме, где родился Мольер. В его лице я встретил одного из тех редких людей, воспоминание о которых — как бы мало ни был он мне полезен практически, — до конца дней будет жить в моей душе. Он был холост, несмотря на свои сорок с лишком лет. Вскоре он рассказал мне, что вынес из своей прежней жизни много горького опыта, в результате которого, лишившись прежнего благосостояния и не имея ниоткуда поддержки, был вынужден искать средства к существованию в Париже. При этом ему пригодились его необыкновенные библиографические знания, особенно в области музыки, которые он раньше культивировал только как любитель.

Своего настоящего имени он мне так и не назвал, говоря, что оно откроется вместе с историей всей его жизни лишь после смерти. Пока же я знал только, что на самом деле он зовется иначе, что принадлежит к дворянскому роду, обладавшему поместьем на Рейне, что стал жертвой низкого предательства и лишился всего, что имел, из-за своего добродушия и легковерия. Единственным, что ему удалось спасти, была обширная библиотека, заполнявшая все стены его скромной парижской квартиры. Даже здесь, в Париже, куда он явился, по-видимому, с хорошими рекомендациями, ему тоже приходилось жестоко страдать от недоброжелателей, ибо, несмотря на большие познания, он за всю свою продолжительную службу в библиотеке не поднялся выше самой низкой должности так называемого *Employe*[44], между тем как другие, сущие невежды, один за другим получали обещанные ему высшие

[44] Служащего по найму.

должности. Я понял позднее, что причина этого заключалась в беспомощности и некоторой изнеженности этого избалованного прежними условиями жизни человека, теперь не способного больше проявить энергичную деятельность. Получая скудное жалованье в 1500 франков, он вел тяжелую жизнь, полную забот и лишений, а впереди видел одинокую старость и смерть где-нибудь в госпитале.

При таких условиях знакомство с нами, людьми, хотя тоже испытывающими материальную нужду, но полными надежд и глядящими в будущее с мужеством и отвагой, оказало на него оживляющее действие. Мои живость и непоколебимая энергия внушали ему твердую надежду на мой успех, к которому он всегда относился с самым горячим и искренним участием. Состоя сотрудником издаваемого Морицем Шлезингером *Gazette musicale*[45], он не сумел создать себе никакого положения в редакции, так как у него совершенно отсутствовала публицистическая жилка, и ему поручали почти исключительно составление библиографических заметок. С этим-то совершенно беспомощным и не знающим жизни человеком мне странным образом приходилось обсуждать планы завоевания известного положения в музыкальном мире Парижа, в который входили на удивление ничтожные элементы. Обсуждения эти в конце концов сводились большей частью к взаимному подбадриванию надеждами на какой-нибудь непредвиденный случай, который вдруг все изменит к лучшему.

96

Филолог Лерс. Директор Оперы Дюпоншиль. Новые перспективы. Небольшие вещицы для пения. Знаменитый певец Лаблаш

К этим совещаниям он привлек еще своего друга и сожителя, филолога Лерса, с которым у меня скоро завязалась

[45] «Музыкального вестника».

тесная дружба, ставшая одной из самых прекрасных в моей жизни. Лерс, младший брат известного кёнигсбергского ученого, несколько лет тому назад переселился из Кёнигсберга в Париж, чтобы добиться здесь филологическими трудами независимого положения, предпочитая его, даже при менее благоприятных материальных условиях, педагогической деятельности, которая в Германии является для ученого единственным источником существования. Вскоре ему было предложено книгопродавцем Дидо сотрудничество в большом издании греческих классиков, причем книготорговец, пользуясь бедственным положением молодого ученого, больше думал об удаче предприятия, нежели о благосостоянии своего сотрудника. Лерсу вечно приходилось бороться с нуждой, но при этом он всегда умел сохранять бодрое настроение духа и во всех случаях проявлял редкое бескорыстие и способность жертвовать собой для других.

Не обладая не только никакими знаниями в области музыки, но и не чувствуя к ней особенного интереса, он на первых порах видел во мне только человека, нуждающегося в совете и помощи, но затем мы оказались и товарищами по несчастью среди бедствий парижской жизни. Мы скоро так сблизились, что он почти каждый вечер приходил ко мне с Андерсом. Последнему было тем приятнее иметь такого попутчика, что он был не особенно тверд на ноги, всегда ходил вооруженный одновременно палкой и зонтиком, а вечером чувствовал себя беспомощным, особенно на бойких улицах Парижа. Он охотно предоставлял Лерсу первому переступать через порог нашей квартиры, чтобы убрать Роббера, к которому чувствовал необычайный страх, что в конце концов действительно настроило против него обычно столь добродушное животное. Роббер стал проявлять к Андерсу такую же агрессивную антипатию, какую проявлял на «Фетиде» к матросу Коске.

Андерс и Лерс жили в гостинице на Рю-де-Сьен и очень жаловались на свою хозяйку, которая конфисковывала все их доходы, так что они были в полной зависимости от нее. Чтобы освободиться от такого рабства, Андерс уже несколько лет собирался переменить квартиру, но все не решался выполнить свое намерение. Скоро между нами не было секретов ни в чем, что касалось нашего настоящего положения, и мы вели общую жизнь, разделенную расстоянием, но тесно сплоченную одинаковыми страданиями.

Прежде всего, предметом наших совещаний были те различные средства, которые мне следовало пустить в ход, чтобы приобрести известность в Париже. От Мейербера я скоро получил обещанные рекомендательные письма, и это значительно оживило наши надежды. Директор оперы, Дюпоншиль, принял меня в своем кабинете. Вставив в правый глаз стеклышко, он прочел письмо Мейербера, ничем решительно не проявляя, что письмо это произвело на него хоть какое-нибудь впечатление. По всей вероятности, он уже много раз получал от Мейербера такого рода послания. Уйдя от него, я больше никогда ничего о нем не слышал.

Глава оркестра, старый Габенек, напротив, принял меня с некоторым действительным участием. В ответ на мою просьбу он выказал готовность при случае на одной из репетиций консерваторских концертов дать оркестру сыграть что-нибудь из моих вещей. К сожалению, из самостоятельных оркестровых композиций у меня не было в запасе ничего подходящего, кроме удивительной увертюры «Колумб», которую я все еще считал лучшим из вышедших из-под моего пера произведений, так как при содействии храбрых прусских военных трубачей она некогда заслужила мне в Магдебургском театре столь одобрительные аплодисменты публики. Передав Габенеку партитуру и оркестровые

партии, я вечером мог сообщить на заседании нашего домашнего комитета о результатах моих первых шагов.

Я хотел было войти теперь в личные отношения со Скрибом, чтобы продолжить наше завязавшееся письменным путем знакомство, но друзья убедили меня в бесполезности такой попытки. Обладая большим опытом, чем я, они доказывали, что нечего и думать о том, чтобы такой занятой автор, как Скриб, обратил серьезное внимание на совершенно неизвестного музыканта. Вместо этого Андерс свел меня с неким господином Дюмерсаном, с которым он был хорошо знаком. Этот уже далеко не молодой человек являлся автором нескольких сот пьес для небольших сцен и очень желал бы еще перед смертью увидеть одну из своих композиций на подмостках какого-нибудь большого лирического театра. Лишенный всякого самолюбия, он охотно согласился положить сюжет готовой уже оперы на французские стихи. Поэтому мы ему предложили обработать текст «Запрета любви» для театра, называвшегося «Ренессанс» и помещавшегося в отстроенном заново после пожара зале Вантадур.

Три номера этой оперы, на пробное исполнение которых у меня была некоторая надежда, он и переложил сейчас же на недурные французские стихи. Кроме того, он в свою очередь предложил мне написать хор для водевиля, который готовился к постановке в театре «Варьете» во время карнавала и назывался *La Descente de la Courtille*[46]. Это открывало уже новые перспективы. Но друзья советовали прежде всего написать несколько небольших вещиц для пения, которые я мог бы затем предложить известным певцам, часто выступающим в концертах. Лерс и Андерс раздобыли тексты для этих композиций. Андерс принес

[46] «Спуск в Куртиль».

мне от одного из своих друзей, молодого поэта, чрезвычайно невинное стихотворение *Dors mon enfant*[47]: это была первая моя вещь, написанная на французские слова. Она настолько мне удалась, что, когда я поздно вечером стал тихонько наигрывать ее на рояле, жена крикнула мне из постели, что под эту музыку чудесно дремлется.

Кроме того, я написал музыку к *l'Attente* («Ожидание») из *Orientales* Гюго и романс на слова Ронсара *Mignonne*[48]. Эти небольшие работы, которых мне не приходится стыдиться, были напечатаны позднее. В 1841 году они появились в виде музыкального приложения к издававшейся тогда Левальдом Europa[49]. Затем мне пришло еще в голову написать для Лаблаша, для его роли Оровиста в «Норме» Беллини, большую вставную арию баса с хором. Лерс должен был найти политического эмигранта-итальянца, чтобы раздобыть у него соответствующий текст. Это ему удалось, и я написал эффектную вещь в стиле Беллини, сохранившуюся до сих пор среди моих рукописей.

С ней я тогда и отправился непосредственно к Лаблашу. Любезный мавр, встретивший меня в прихожей знаменитого певца, хотел сейчас же без доклада проводить меня к своему господину. Предполагая, что попасть к такой знаменитости не так легко и заранее приготовившись к отказу, я изложил просьбу на бумаге, думая, что в письме объяснюсь лучше, чем мог бы это сделать устно. Поэтому предупредительность черного слуги привела меня в некоторое смущение. Я сунул ему в руку рукопись и письмо с просьбой передать их Лаблашу и, не обращая внимания на его удивление и многократные приглашения войти и самому переговорить с господином, поспешно ушел.

---

[47] «Спи, мое дитя».

[48] «Розы».

[49] «Европе».

Когда через несколько дней я явился за ответом, Лаблаш принял меня чрезвычайно любезно и сказал, что ария написана очень хорошо, но что совершенно невозможно задним числом ввести ее в оперу Беллини после того, как последняя ставилась уже столько раз. Таким образом, возвращение к стилю Беллини, которым я погрешил, оказалось совершенно бесполезным, и бесплодность моей попытки сразу стала ясна для меня. К тому же я понял еще одно: нужны личные рекомендации к певцам и певицам, если я хочу добиться исполнения своих произведений.

97

Мориц Шлезингер. Полина Виардо, Видман и тенор Большой оперы Дюпон. «Два гренадера». Девятая симфония Бетховена. Внутренний перелом

Как нельзя более кстати оказался поэтому приезд Мейербера в Париж. Незначительный успех его рекомендательных писем, о котором я рассказал ему, отнюдь не удивил его. Напротив, он счел полезным обратить мое внимание на то, что в Париже чрезвычайно трудно добиться чего бы то ни было в области музыки, и что было бы хорошо, если бы я постарался найти какой-нибудь заработок. С этой целью он свел меня со своим издателем, Морисом Шлезингером, и, бросив на произвол этого ужасного знакомства, уехал в Германию. Так как Шлезингер вначале совершенно не знал, как меня пристроить, а знакомства, которые я приобрел через него, между прочим, со скрипачом Панофкой, также ни к чему не привели, то я обратился снова к заседаниям домашнего совета, который кое-что все-таки успел уже мне дать.

Так, благодаря ему, мне удалось получить перевод «Двух гренадеров» Гейне, сделанный одним парижским профессором, и скоро, к своему собственному удовлетворению, я написал на этот текст музыку для баритона.

По совету Андерса я стал искать певцов и певиц для своих новых произведений. Г-жа Полина Виардо, к которой я обратился прежде всего, очень любезно прошла со мной мои вещи, не скрыла от меня и хорошего впечатления, которое они на нее произвели, но уверила меня, что совершенно не имеет случая исполнить их публично. Такую же неудачу я потерпел и у г-жи Видман, которая своим прекрасным контральто спела с чувством мой романс Dors mon enfant, но не знала, что с ним дальше делать. Дюпон, третий тенор Парижской оперы, попробовав спеть мой романс на слова Ронсара, заявил, что язык этого стихотворения не может понравиться нынешним парижанам. Жеральди, очень популярный концертный певец и учитель пения, принявший меня несколько раз, отверг моих «Двух гренадеров» на том основании, что «Марсельезу», которую я ввел в заключение, в настоящее время можно слышать в Париже на улицах только в сопровождении пушечных и ружейных выстрелов.

Один только Габенек сдержал обещание и на одной из репетиций оркестра исполнил в присутствии моем и Андерса увертюру «Колумб». Я не мог не видеть в этом большой любезности с его стороны, так как не могло быть и речи даже о попытке включения этого произведения в программу знаменитых консерваторских концертов. Правда, возможность дальнейших благоприятных для меня последствий этой любезности Габенека пока исключалась сама собой, потому что я и сам видел, что это чрезвычайно поверхностное юношеское произведение могло внушить оркестру лишь неблагоприятное представление обо мне.

Совершенно неожиданно я на этих репетициях испытал сильнейшее впечатление, которому я должен приписать важную роль в общем ходе моего музыкального развития. Мне посчастливилось услышать Девятую симфонию Бетховена, исполненную знаменитым оркестром

в результате беспримерно долгого и тщательного изучения с таким совершенством и такой потрясающей силой, что передо мной сразу с необыкновенной яркостью и пластичностью встало все величие этого удивительного произведения, которое грезилось мне еще в годы юношеского увлечения Бетховеном, но было совершенно разрушено убийственным исполнением в Лейпциге под управлением честного Поленца. Там, где раньше я не видел ничего, кроме размытых линий, мистических созвучий и неясных образов, вдруг полилась предо мной неиссякаемым потоком, словно из бесчисленных источников, могучая, невыразимо увлекательная мелодия.

Вся полоса упадка моего вкуса, начавшегося, строго говоря, с неправильного понимания выразительности бетховенских творений последнего времени и нашедшего себе такую благодарную почву в опошляющем влиянии ужасного театра, теперь сразу оказалась как бы стертой: глубокая пропасть стыда и раскаяния поглотила ее.

Если внутренний перелом и подготовлялся в течение последних лет главным образом моим горьким жизненным опытом, то настоящую силу и жизненность вновь ожившему старому направлению дало лишь неизъяснимое впечатление, какое произвела на меня Девятая симфония в исполнении, какого я раньше и не представлял себе. Я сравниваю это столь важное для меня событие с подобным же решающим впечатлением, какое я вынес шестнадцатилетним юношей от «Фиделио» в исполнении г-жи Шрёдер-Девриент.

98

Искание протекций. Mont de piété

Ближайшим результатом этого было горячее желание создать именно теперь — когда весь ужас безотрадного положения в Париже все яснее вставал перед моим

сознанием, и в глубине души я потерял всякую веру в какой-либо успех на том пути, по которому пошел, — нечто такое, что давало бы мне глубокое внутреннее удовлетворение. Я набросал увертюру к «Фаусту», которая по первоначальному плану должна была составить лишь первую часть целой одноименной симфонии. Для второй части этой симфонии я уже разрабатывал мысленно характеристику Гретхен. Это — то самое произведение, которое я потом забросил и лишь пятнадцать лет спустя, по настоянию Листа, переработал в отдельных частях, исполнив его затем несколько раз публично. Оно известно под названием «Фауст-увертюра». Тогда у меня было честолюбивое желание увидеть подобное произведение на программе одного из концертов консерваторского оркестра. Но, как я узнал, в консерватории полагали, что мне уже было оказано достаточно внимания, и желали на время избавиться от меня.

Не имея успеха нигде, я, само собой разумеется, снова обратился к Мейерберу с просьбой о рекомендациях, особенно к певцам, в которых я нуждался. К моему крайнему удивлению, Мейербер из Берлина указал мне на одного странного человека, некоего Гуэна, почтового чиновника и главного агента его в Париже, который был снабжен всеми инструкциями, чтобы по возможности пойти навстречу моим желаниям. Этим путем Мейербер прежде всего направил меня к Антенору Жоли, директору упомянутого лирического театра «Ренессанс». У этого последнего Гуэн с почти подозрительной легкостью выхлопотал обещание поставить «Запрет любви», который оставалось только перевести на французский. Нужно было представить на суд театрального комитета пробное исполнение нескольких номеров моего произведения. Когда я попросил разрешения дать разучить артистам этого театра три переведенных Дюмерсаном номера, мне ответили отказом, выразив

сожаление, что певцы в настоящее время слишком перегружены работой. Гуэн нашелся и здесь: пользуясь полученными от «маэстро» полномочиями, он заручился согласием нескольких певцов и певиц, особенно обязанных Мейерберу. Мадам Дорюс-Гра, примадонна Парижской оперы, мадам Видман и господин Дюпон, знакомые мне по безуспешным хлопотам пристроить мои мелкие произведения, обещали свое участие в этом пробном испытании.

Так обстояли мои дела по прошествии шести месяцев, около Пасхи 1840 года. Основываясь на надеждах, возбужденных упомянутыми обещаниями и казавшихся чрезвычайно солидными, а главным образом побуждаемый смелыми советами Лерса, я решился на рискованный шаг: переселиться из темной, неуютной квартиры у Марше-дез-Инносан в другую часть города, более подходящую для проживания артиста. Что это значило для меня и при каких обстоятельствах это смелое предприятие было приведено в исполнение, станет ясно из более подробного изложения тех условий, в каких мы до сих пор влачили наше парижское существование.

Хотя мы с самого прибытия в Париж вели самый скромный образ жизни — обедали, например, в маленьком ресторане за один франк, — наш небольшой запас дукатов очень скоро иссяк. Мёллер, расставаясь с нами, убедил нас в случае нужды обратиться к нему, обещав отложить для нас сумму, какую выручит с первого же удачного предприятия. Другого выхода у меня не было. Но пока что мы заложили все, что только было у нас ценного. Стесняясь спросить кого бы то ни было о ломбарде, я стал искать в лексиконе французское слово, обозначающее такое учреждение, с тем чтобы потом найти его по вывескам. В моем маленьком карманном словаре для сего учреждения было только одно слово: *Lombard*. На плане Парижа я нашел в чрезвычайно глухой части города маленькую

улочку под названием Рю-дез-Ломбард. В этой-то уличке я долго бродил, не находя ничего подходящего. Но зато меня чрезвычайно заинтересовали часто встречающиеся на фонарях надписи *Mont de piete*[50]. Придя домой и предложив на разрешение домашнего совета вопрос, что означает эта «гора благочестия», я, к своему великому удивлению и радости, узнал, что именно там мне и надлежало искать спасения. Все, что у нас было из серебряных вещей, главным образом наши свадебные подарки, перекочевало сейчас же к «комиссару *mont-de-piete*». За ними последовали мелкие драгоценности жены, остатки ее прежнего театрального гардероба, между прочим, прекрасное голубое, затканное серебром, платье с длинным шлейфом, принадлежавшее некогда герцогине Дессауской.

От Мёллера все еще не было никакого ответа. Нам приходилось еле-еле перебиваться изо дня в день в ожидании помощи из Кёнигсберга, и в один прекрасный день даже наши венчальные кольца перекочевали в *mont-de-piete*. Я узнал, что квитанции из ломбарда представляют известную ценность и могут быть проданы вместе с правом на заложенные вещи. В конце концов пришлось прибегнуть и к этому последнему источнику. Дессауское платье со шлейфом погибло безвозвратно.

От Мёллера я так и не дождался никакого ответа. Позднее, посетив меня, когда я был дрезденским капельмейстером, он признался, что вскоре после нашей разлуки до него дошли в высшей степени пренебрежительные и унижающие его достоинство отзывы, якобы высказанные нами о нем, которые так его задели и оскорбили, что он счел себя вправе прервать наши дружеские отношения. Было несомненно, что нас оклеветали, и мы были лишены верной помощи в минуту нужды.

---

[50] «Гора благочестия» (*фр.*).

99

Тяжелые мытарства парижской жизни. Художник Китц

Как раз в это тяжелое для нас время произошло событие, которое нам показалось дурным предзнаменованием, предвещающим несчастье: мы лишились нашей прекрасной собаки, которую с таким невероятным трудом довезли до Парижа. Ее, несомненно, украли у нас, потому что она представляла большую ценность и обращала на себя внимание всюду, где бы ни показывалась. Среди невероятной суеты и движения парижских улиц она самым блестящим образом доказала проявленную еще в Лондоне верность своего инстинкта. С первых же дней нашего пребывания в Париже она потихоньку убегала в сад Пале-Рояль, где находила интересную собачью компанию, и чрезвычайно забавляла тамошних *gamins*[51], вытаскивая из бассейна брошенные туда вещи, после чего спокойно возвращалась домой. На Ке-дю-Пон-Нёф она обыкновенно просила у нас разрешения выкупаться. При этом, поминутно ныряя и вытаскивая из воды различные предметы, которые публика бросала туда, она собирала вокруг себя такую толпу, громко выражавшую свой восторг, что полиция предложила нам в конце концов убрать собаку и не устраивать на улице сборище.

Однажды утром я выпустил Роббера по обыкновению на улицу погулять, и с тех пор собака пропала. Все мои усилия, все уловки, которые я пускал в ход, чтобы найти ее, ни к чему не привели. Эта потеря представлялась окружающим счастьем для нас, ибо посторонние удивлялись, что, сами не имея никаких средств к существованию, мы еще кормим такую огромную собаку.

---

[51] «Сорванцы» (*фр.*).

В то время — это было приблизительно месяца через полтора после нашего переселения, — сестра Луиза приехала из Лейпцига в Париж, где ее давно уже ждал ее муж Фридрих Брокгауз. Они собирались совершить путешествие по Италии, и Луиза воспользовалась пребыванием в Париже, чтобы закупить массу роскошных вещей. Мне казалось вполне понятным, что они не могли чувствовать ни ответственности за последствия нашего представлявшегося всем столь безрассудным переезда в Париж, ни сострадания к нам. Отнюдь не надевая на себя маски довольства и материальной обеспеченности, я в то же время не хотел извлекать из своих родственных отношений с ними никаких выгод. Минна была даже настолько добра, что помогала сестре в ее хлопотах и расточительных закупках, но мы оба были озабочены только одним: не дать состоятельным родственникам повода подозревать, будто мы стремимся возбудить их сострадание к себе.

Но зато моя сестра доставила мне одно своеобразное знакомство с человеком, который скоро стал проявлять большое участие ко всему, что меня касалось. Это был молодой художник Эрнст Китц из Дрездена, необычайно прямодушный, добрый и простой человек. Его талантливые портреты, которые он с большой легкостью рисовал пестрыми карандашами, создали ему такую популярность на родине, что, ободренный своими успехами, он отправился в Париж для усовершенствования своего дарования. Здесь он жил уже около года, работая в мастерской Делароша. По мере того как мы с ним сходились ближе, я, к своему крайнему сожалению, все более убеждался в том, что, при свойственной ему странной, какой-то детской рассеянности, отсутствии серьезного образования и необычайной слабости характера, путь, который он избрал, должен был неминуемо, вопреки несомненному

таланту, привести его к гибели. Пока же мне и в особенности моей бедной, часто очень одинокой жене общество этого детски доверчивого человека было чрезвычайно приятно.

Благодаря его сердечной доброте и искренней преданности я в минуты крайней нужды часто даже находил у него значительную помощь. Китц был принят в члены нашего вечернего семейного кружка, в котором производил очень странное во всех отношениях впечатление — между старым, всего опасающимся Андерсом и серьезным, положительным Лерсом. Необычайное добродушие и простота, веселые, часто в высшей степени комичные выходки скоро сделали его для нас необходимым. Было особенно забавно, когда с большой решимостью и нимало не смущаясь, он пускался в длиннейшие разговоры на французском языке, хотя и впоследствии, после двадцатилетнего пребывания в Париже, не научился ему настолько, чтобы выговорить правильно хотя бы два слова подряд.

У Делароша он изучал технику масляной живописи. По-видимому, он и тут проявил значительный талант, но именно эта техника оказалась для него тем подводным камнем, из-за которого он потерпел крушение. Дело в том, что смешивание красок на палитре и особенно мытье кистей настолько поглощали его время, что собственно до настоящей работы дело почти никогда не доходило. Ввиду того, что зимой темнело рано и, покончив возню с кистями и палитрой, он уже ничего не мог видеть, ему так ни разу и не удалось закончить ни одного портрета. Приезжим, которым его рекомендовали и которые заказывали ему портреты, всегда приходилось уезжать из Парижа раньше, чем его работа была наполовину готова. Вдобавок его преследовало еще особое несчастье: клиенты его, как он уверял, в самом разгаре работы умирали. Только

квартирный хозяин, у которого он вечно был в долгу, сумел-таки добиться своего, и Китц закончил портрет этого ужасного человека. Но насколько я знаю, это была единственная доведенная до конца работа.

Зато ему чрезвычайно удавались по наивности замысла и легкости выполнения небольшие наброски, которые он часто делал по вечерам, вдохновляемый темами наших бесед. В эту же зиму он тщательно нарисовал карандашом мой портрет, который два года спустя, узнав меня ближе, переделал. В этом последнем виде портрет существует и теперь. Ему доставило удовольствие запечатлеть на бумаге мой образ в том самом настроении, в каком он наблюдал меня во время наших вечерних бесед, когда мои душевные силы оживали. В самом деле, не проходило вечера, чтобы мое подавленное, полное отчаяния состояние духа, вызванное безуспешными усилиями и разочарованиями целого дня, не уступало места безмятежной, свойственной моему характеру веселости. А Китца забавляло представить меня миру именно в этот горестный период моей жизни с обликом человека, вполне уверенного в своих успехах и идущего по своему жизненному пути с улыбкой на устах.

100

Неиссякающая бодрость

В конце 1839 года приехала и моя младшая сестра Цецилия, вышедшая тем временем замуж за Эдуарда Авенариуса. Смущение молодой женщины, нашедшей нас в Париже, куда мы приехали без каких-либо солидных видов на будущее, в самой тяжелой нужде, которую нелегко было скрыть, казалось нам вполне понятным, тем более что и сама она, выйдя замуж, попала в не особенно блестящие материальные условия. Поэтому мы предпочли

пореже бывать у наших родных и не ожидать их посещения, состоявшегося нескоро.

Зато большую радость доставило нам свидание с Генрихом Лаубе, приехавшим в Париж на несколько месяцев в начале 1840 года со своей женой, урожденной Идуной Будэус, молодой вдовой состоятельного лейпцигского врача. После нашей последней разлуки в Берлине Лаубе женился при особых обстоятельствах: еще во время его продолжительного предварительного заключения молодая женщина, тронутая его участью, выказала ему, не будучи с ним до того знакома, много участия и заботливости. Вскоре после моего отъезда из Берлина ему был вынесен неожиданно мягкий приговор, осуждавший его на год тюремного заключения. Ему было разрешено по собственному его выбору отбывать это наказание в тюрьме города Мускау в Силезии, где громадным преимуществом для него являлась близость его друга, князя Пюклера. Пользуясь особым покровительством тюремного начальства, подчиненного князю, он мог поддерживать с последним даже личные сношения.

Когда он был заключен в тюрьму, Идуна Будэус повенчалась с ним, чтобы иметь возможность оказывать ему в Мускау поддержку и помощь. Насколько мне было приятно видеть старого друга в существенно изменившихся к лучшему условиях, настолько же благодетельно действовало на меня сознание, что и он в свою очередь относится ко мне с прежним неизменным участием. Мы встречались часто. Между женами нашими тоже завязались дружеские отношения, и Лаубе был первым человеком, сумевшим отнестись к моему безрассудно смелому переселению в Париж с доброжелательным юмором. У него я познакомился с Генрихом Гейне, и оба они часто добродушно подшучивали над моим удивительным положением, заставляя меня же первого смеяться.

Все попытки Лаубе указать мне на громадные трудности, с какими было сопряжено мое намерение пробить себе дорогу в Париже, разбивались о ту удивительную для него самого бодрость, с какой я относился к собственному положению, основанному на самых зыбких надеждах. Поэтому, не делая возражений против избранного мной жизненного пути, он стал искать средства помочь мне. Он просил меня представить ему какой-нибудь более или менее приемлемый план дальнейших действий, чтобы, опираясь на него, добиться на родине, куда он должен был вернуться, поддержки и помощи для меня. Как раз в это время и произошло столь, по-видимому, благоприятное для меня соглашение с дирекцией театра «Ренессанс». Тут я, казалось, нашел наконец почву под ногами. Основываясь на этом, я счел себя вправе заявить, что, если мне будет обеспечена на полгода материальная помощь, я в течение этого времени добьюсь чего-нибудь. Лаубе обещал позаботиться об этом и сдержал слово. Он повлиял в этом смысле на одного из своих состоятельных лейпцигских друзей, пример которого подействовал и на некоторых состоятельных членов моей семьи, и мне была обещана денежная поддержка, которую Авенариус должен был выдавать частями ежемесячно.

101

Крах новых надежд

Опираясь на это, мы и решили покинуть нашу гостиницу и снять отдельную квартиру на Рю-дю-Эльдер. Минну, солидность и осторожность которой успели несколько поколебаться под постоянным влиянием моего беззаботного отношения к практическим вопросам жизни, заставило решиться на этот шаг главным образом то соображение, что она сумеет вести собственное хозяйство

дешевле, чем нам обходилась жизнь в отеле и еда в ресторанах. Результаты действительно вполне подтвердили это предположение. Скверно было только то, что этот наш собственный очаг мы вздумали основать, не имея ровно никакого имущества, и все необходимое для домашнего хозяйства надо было приобретать, не располагая для этого никакими средствами.

Тут опять-таки нам помог Лерс, в достаточной степени знакомый со своеобразными формами парижской жизни. По его мнению, мое парижское предприятие могло найти себе оправдание только в успехе, соответствующем моему риску. Так как я не обладал средствами, которые позволяли бы мне терпеливо дожидаться в Париже этого успеха в течение многих лет, то должен был рассчитывать на необыкновенное стечение благоприятных обстоятельств или же сразу отказаться от своего плана. Я должен был получить ожидаемые результаты в течение одного года, в противном же случае я мог считать себя потерпевшим безусловное крушение. Следовательно, надо рискнуть — *wagen*[52] — чтобы оправдать мое имя «Вагнер»; приводить же мою фамилию в связь с более низменной этимологией этого слова Лерс не соглашался.

За квартиру, которую я нанял за 1200 франков в год, мы обязаны были платить по четвертям. Для устройства ее и меблировки Лерс нанял при посредстве своей хозяйки какого-то «menuisier»[53], согласившегося доставить все нужное в кредит с тем, что я уплачу позднее, когда мне это будет удобно. Лерс стоял на своем, что и во внешней своей жизни я должен проявить веру в себя, иначе я не добьюсь в Париже ничего. Пробное исполнение моих произведений

---

[52] «Отважиться; осмеливаться; сметь; дерзать; рисковать; иметь смелость; решаться» (*нем*).

[53] Столяра.

предстояло в ближайшем будущем. Договоренность с театром «Ренессанс» была достигнута, Дюмерсан горел желанием перевести весь текст «Запрета любви» на французский. Основываясь на всем этом, я и рискнул. 15 апреля мы, к большому удивлению консьержа дома на Рю-дю-Эльдер, переехали с необычайно малым количеством багажа на нашу новую, довольно уютную квартиру.

В первый же раз посетив меня на этой квартире, нанятой с такими смелыми надеждами, Андерс сообщил мне, что театр «Ренессанс» только что объявил себя банкротом и закрылся. Это известие, поразившее меня как удар грома, было в моих глазах больше, нежели обыкновенная несчастная случайность: оно в мгновение ока показало всю тщету моих видов на будущее. Мои друзья открыто высказывали предположение, что Мейербер, направляя меня из Парижской оперы в театр «Ренессанс», без сомнения, был точно осведомлен о положении дел этого театра. На выводах, которые напрашивались из этого соображения, я пока не останавливался: меня терзал горький вопрос о том, что мне теперь делать с моей так мило устроенной квартирой.

102

В фойе Большой оперы. Эдуард Моннэ и Скриб. Непрерывная работа над «Риенци»

Между тем мои певцы успели разучить выбранные мной для пробы номера из «Запрета любви», и мне непременно хотелось воспользоваться случаем и представить их на суд нескольких влиятельных лиц. Так как тут дело шло только о присутствии на пробе без каких-либо дальнейших обязательств, то занимавший тогда временно после ухода Дюпоншеля место директора Парижской оперы Эдуард Монне принял охотно мое приглашение, тем более что певцы-исполнители принадлежали

к подведомственному ему учреждению. Я решился посетить Скриба и лично пригласить и его. Он весьма любезно обещал прийти. В один прекрасный день три номера моей композиции, которым я сам аккомпанировал на рояле, были спеты в фойе Парижской оперы в присутствии этих двух слушателей: они нашли мою музыку *charmant*[54]. Скриб выразил готовность сочинить для меня текст, как только администрация Парижской оперы поручит мне написать музыку. Против этого Монне ничего не имел, возразив только, что сейчас это представляется невозможным. Мне, конечно, было ясно, что все это не более как любезные фразы. Но я находил чрезвычайно милым, особенно со стороны Скриба, уже одно то, что он явился и счел нужным сказать мне любезность.

В глубине души я чувствовал себя только пристыженным тем, что еще раз серьезно занялся этим легкомысленным юношеским произведением, взяв из него три номера для пробного испытания. Сделал я это, конечно, исходя из предположения, что легкий жанр скорее всего понравится в Париже и поможет мне добиться чего-либо. Окончательный разрыв с этим направлением, подготовлявшийся уже давно, совпал, таким образом, с полным крушением моих надежд на Париж. Но положение мое было таково, что я должен был скрывать этот тяжелый внутренний перелом от всех и прежде всего от моей бедной жены, что чрезвычайно угнетало меня.

Если внешним образом я не показывал, что меня тревожит будущее, то в глубине души я больше не ощущал никакой возможности добиться в Париже какого-нибудь успеха. Видя впереди лишь бесконечную нужду и горе, я с глубоким ужасом смотрел на этот Париж, принимавший теперь, в пышных лучах майского солнца, все более

[54] «Прелестно, очаровательно, мило» (*фр.*).

радостный облик. Настала неблагоприятная пора для художественных предприятий какого бы то ни было рода. У каждой двери, в которую я стучался с тайной надеждой, я получал один и тот же, ужасный в своем однообразии ответ: «*Monsieur est a la campagne*»[55].

Во время продолжительных прогулок, когда мы чувствовали себя безгранично чужими среди этой пестрой, шумной, суетливой толпы, я часто занимал свою бедную жену бесконечными фантазиями о южноамериканских республиках, где можно уйти от этой страшной суеты и шума, совершенно забыть об опере и музыке и здоровым трудом легко достичь вполне сносного существования. Видя, что Минна не понимает, к чему я клоню, я указал ей на недавно прочитанный мной рассказ Чокке *Die Grundung von Maryland*[56], пленивший и заразивший меня чувством облегчения и свободы, которое охватывает там измученных и преследуемых европейских переселенцев.

Но настроенная более практически, нежели я, Минна в свою очередь указывала на необходимость как-нибудь продержаться, всячески стараясь придумать новые способы экономии. Я же принялся разрабатывать план «Летучего Голландца», с которым я все еще считал возможным выступить в Париже. Весь материал я хотел уместить в одном акте, к чему меня прежде всего побуждал самый сюжет. Минуя опротивевший мне оперный механизм, я мог сконцентрировать его на простом драматическом действии между главными персонажами. Рассматривая вопрос с практической стороны, я думал, что гораздо легче будет пристроить одноактную оперу, так называемую *Lever de rideau*[57], которую можно поставить перед началом

---

[55] «Месье в деревне» (*фр.*).

[56] «Основание Мэриленда».

[57] «одноактная пьеса» (*устар. фр.*).

большого спектакля вместо обычного балета. Я написал об этом Мейерберу в Берлин, прося его помощи. Кроме того, я принялся за работу над «Риенци», которую и продолжал безостановочно, пока не довел до конца.

103

Нищета

Между тем положение наше становилось все затруднительнее. Субсидию, которая была мне назначена благодаря стараниям Лаубе, пришлось забрать вперед, но такой образ действий все более отчуждал от меня зятя Авенариуса, которому наш переезд в Париж представлялся все менее и менее понятным. Однажды утром, когда мы ломали голову над тем, где бы достать денег для уплаты первого квартирного взноса, срок которого приближался, явился почтальон с пакетом, присланным из Лондона. Мне показалось, что эта посылка свалилась прямо с неба, и я с нетерпением стал взламывать печать. Почтальон же между тем предъявил книгу для расписки в получении, причем оказалось, что мне надо уплатить семь франков за пересылку. В довершение всего я, к своему ужасу, нашел в присланном пакете увертюру «Правь, Британия!», которую мне возвращало Лондонское филармоническое общество. Я с яростью объявил почтальону, что не принимаю пакета, против чего он в свою очередь энергично возражал ввиду того, что я уже вскрыл его. Но никакие протесты не помогли: семи франков у меня не было. Я заявил, что он слишком поздно сообщил о необходимости платить за пересылку, и заставил его в конце концов вернуть почтовой компании господ Лаффит и Гальяр единственный экземпляр моей увертюры, которым они могли распорядиться по своему усмотрению. Какая судьба постигла эту рукопись — об этом я никогда не справлялся.

В таком бедственном положении на помощь к нам вдруг явился Китц. От некоей г-жи Леплей, очень богатой и скупой старой девы, живущей в Лейпциге, он получил поручение приискать в Париже дешевую квартиру для нее и собственной его мачехи, в сопровождении которой эта девица собиралась приехать. Так как наша квартира, хотя и не особенно просторная, но все же слишком большая для наших скромных потребностей, стала для нас тяжелой обузой, то мы, не задумываясь, сдали лучшую часть ее этой даме на все время ее пребывания в Париже, т. е. на два месяца. Кроме того, жена давала приезжим, совсем как в каком-нибудь отеле, и завтрак. Если ей удавалось сэкономить несколько су, она радовалась им, как своему заработку. Как ни тягостно было для нас присутствие в доме чрезвычайно странной особы, но материально приезд ее помог нам кое-как перебиться в это тяжелое время, и, несмотря на домашние тревоги, я имел возможность беспрепятственно работать над «Риенци».

Гораздо хуже обстояло дело, когда после отъезда г-жи Леплей мы сдали комнату какому-то немецкому коммивояжеру, очень усердно игравшему в свободные часы на флейте. Этого жильца, скромного и добродушного человека по имени Брикс, нам рекомендовал один из недавно приобретенных нами знакомых, художник Пехт. С Пехтом мы познакомились через Китца, с которым он вместе работал в мастерской Делароша. Он был полной противоположностью Китцу. Одаренный, несомненно, меньшим талантом, он с необыкновенным прилежанием и серьезностью добивался цели, которую себе поставил: научиться живописи в возможно короткое время, несмотря на самые неблагоприятные условия. Он был образован, постоянно пополнял свои знания и вообще проявил себя честным, серьезным и вполне надежным человеком. Будучи связан

с нами менее тесно, он, однако, вошел в кружок немногочисленных друзей наших, не покидавших нас в те печальные дни и почти каждый вечер собиравшихся у нас.

104

Граф Кушелев. Передряги с издателями

В один прекрасный день Лаубе дал неожиданно новое доказательство своей постоянной дружеской заботливости обо мне. К нам явился управляющий некоего графа Кушелева и после нескольких вопросов относительно моего положения, о котором они слышали уже в Кёнигсберге от Лаубе, заявил коротко и ясно, что граф желает быть мне полезным и хотел бы поэтому познакомиться со мной. Дело в том, что он намеревался набрать в Париже труппу для небольшой комической оперы, которую хотел повезти с собой в Россию в одно из своих имений. Для этой-то оперы он искал дирижера, который помог бы ему уже заодно собрать и состав. Охотно отправившись к графу в его отель, я застал там немолодого человека с мягкими и простыми манерами, с большим добродушием заставившего меня исполнить мои небольшие французские вещицы для пения. С первого же взгляда граф, у которого, во всяком случае, не было недостатка в опытности, увидал, что я для него неподходящий человек, и не стал поэтому пускаться в дальнейшее обсуждение своего оперного предприятия, не изменяя, однако, своего любезного тона по отношению ко мне. В тот же день он прислал мне, с присовокуплением нескольких галантных слов, десять наполеондоров. Совершенно не зная, за какие услуги он считал нужным предложить мне эти деньги, я написал ему, прося сообщить, чего он от меня желает и какого рода композиция ему нужна, так как я должен предположить, что посланная сумма составляет аванс в счет гонорара за нее. Не получив

никакого ответа, я несколько раз тщетно пытался попасть к нему. Потом я слыхал со стороны, что граф Кушелев признавал только оперы в жанре Адама, а что касается состава оперной труппы согласно его вкусам, то тут дело шло больше о «маленьком серале», нежели о серьезном художественном предприятии.

С музыкальным издателем Шлезингером у меня до сих пор ничего не выходило. Я никак не мог его убедить издать мои маленькие французские сочинения для пения. Но, желая предпринять хоть что-нибудь, чтобы сделать свое имя известным, я решил напечатать у него за собственный счет своих «Двух гренадеров». Китц должен был нарисовать великолепную обложку. В конце концов Шлезингер потребовал с меня 50 франков на покрытие расходов.

Судьба этого издания довольно любопытна: оно вышло в фирме Шлезингера, и вырученные с продажи доходы должны были, конечно, идти в мою пользу, так как я понес все расходы по печатанию. Однако мне пришлось поверить словам Шлезингера, что ни один экземпляр этого издания не был продан. Когда после появления «Риенци» я быстро приобрел в Дрездене имя, майнцский музыкальный издатель Шотт, публикации которого состояли почти исключительно из переводных французских вещей, счел полезным отпечатать этих «Двух гренадеров» для Германии. Под текстом французского перевода он поместил немецкий оригинальный текст Гейне. Но так как французское стихотворение представляло собой очень свободное переложение и по размеру резко отличалось от оригинала, то этот последний оказался в грубом и смешном несоответствии с моей музыкой. Возмущенный таким бесцеремонным обращением с моим произведением, я счел себя вынужденным протестовать против образа действий Шотта, перепечатавшего «Гренадеров»

без моего ведома. В ответ на это Шотт пригрозил привлечь меня к суду за оскорбление, ибо выпущенное произведение является, по существующему между ним и Шлезингером соглашению, отнюдь не незаконной перепечаткой, а новым изданием! Не умея разбираться в этих тонкостях, я, чтобы избежать дальнейших неприятностей, должен был взять свое обвинение назад. Когда в 1848 году я справился в Париже у преемника Шлезингера, господина Брандуса, о судьбе моего произведения, выпущенного, как я узнал, вторым изданием, то там не хотели и слышать о каких-либо правах моих на него. Не имея никакого желания покупать экземпляр своей композиции, я по сей день так и не держал в руках своей собственности. Каких размеров достигли впоследствии подобные же выгодные махинации по изданию моих работ, будет видно из дальнейшего.

105

Журнальные работы

Пока же мне надо было возместить Шлезингеру израсходованные на издание 50 франков. С этой целью он предложил мне работу в издаваемой им *Gazette musicale*. Но, не владея французским языком настолько, чтобы писать на нем, я должен был отдавать переводить свои статьи, и половина гонорара шла переводчику. Шлезингер утешал меня тем, что все-таки мне будет оставаться по шестьдесят франков за печатный лист. Что означал такой печатный лист, мне пришлось узнать, когда я явился за своим гонораром к издателю, всегда в такие моменты приходившему в очень дурное настроение. Взяв в руки отвратительный железный инструмент, на котором было обозначено цифрами число строк в столбце, и приложив его к моей статье, он самым тщательным образом измерил

и вычел расстояние, занимаемое заглавием и подписью, и сосчитал затем число строк. При этом оказалось, что то, что я принимал за целый лист, составляет только пол-листа. Как бы то ни было, я начал писать статьи для газеты Шлезингера.

Первой моей работой был довольно большой очерк *De la musique Allemande*[58], в котором я с фантастической неумеренностью распространялся об искреннем и серьезном характере немецкой музыки. Прочтя ее, даже Андерс заметил, что было бы хорошо, если бы в Германии дело действительно обстояло так. К моему удивлению, статья была потом переведена на итальянский язык и напечатана в миланской музыкальной газете, причем я был, по недоразумению, теперь, пожалуй, уже невозможному, назван *dottissimo musico tedesco*[59]. Статья встретила, по-видимому, довольно сочувственный прием.

Шлезингер попросил меня написать отзыв — во всяком случае, благоприятный — о *Stabat Mater* Перголези в обработке русского генерала Львова, что я и постарался выполнить в соответствующем объеме. По собственной инициативе я написал, уже в более простом тоне, статью: *Du metier du Virtuose et de l'independance du Compositeur*[60].

Между тем в середине лета неожиданно приехал в Париж на две недели Мейербер. Он выказал мне большое участие и любезность. Я сообщил ему свою идею написать одноактную оперу, которую можно было бы поставить одновременно с балетом, и попросил познакомить меня с новым директором Парижской оперы Леоном Пийе. Мейербер отправился со мной к этому господину. Но при

---

[58] «Немецкая музыка» *(фр.).*

[59] «Ученейший немецкий музыкант» (*ит.*).

[60] «О ремесле виртуоза и о независимости композитора, эстетическая фантазия музыканта» (*фр.*).

этом обнаружилась неприятная для меня неожиданность: во время серьезного обсуждения вопроса о том, что со мной делать, Мейерберу пришло в голову предложить мне написать сообща с другим композитором одноактную балетную пьесу. Об этом я, конечно, и слышать не хотел и передал г-ну Пийе сжатый набросок сюжета «Летучего Голландца». Так обстояли дела, когда Мейербер опять, на этот раз надолго, покинул Париж.

106

Заказы Шлезингера. Окончание «Риенци»

Не получая в течение продолжительного времени никаких известий от Пийе, я продолжал прилежно работать над «Риенци». Но, к большому огорчению, мне приходилось часто прерывать работу для выполнения заказов Шлезингера, которые помогали кое-как зарабатывать. Ввиду того что сотрудничество с *Gazette musicale* приносило очень мало дохода, Шлезингер предложил мне однажды создать методу для игры на корнет-а-пистоне. Видя, что я недоумеваю, он прислал мне пять уже существующих различных школ для любимого домашнего инструмента парижской молодежи. Из этих пяти школ я должен был попросту скомбинировать шестую, потому что для Шлезингера все сводилось к тому, чтобы иметь такое руководство в своем арсенале. Я принялся серьезно ломать себе голову, как это сделать, когда Шлезингер, которому как раз прислали уже готовую школу, избавил меня от этой работы.

Но зато я должен был написать не менее четырнадцати сюит для корнет-а-пистона. Под такими сюитами подразумевались попурри из оперных мелодий, переложенных для этого инструмента. Чтобы снабдить меня материалом для работы, Шлезингер прислал мне ни более ни менее как шестьдесят полных клавираусцугов различных опер.

Просмотрев их и выбрав подходящие для сюит мелодии, я отметил в каждом томе нужные страницы и затем воздвиг из шестидесяти клавираусцугов оригинальное сооружение на рабочем столе, чтобы, не вставая с места, иметь под рукой мелодический материал в возможном разнообразии.

Когда работа была уже в полном разгаре, Шлезингер, к моему большому удовлетворению, хотя и немалому смущению моей бедной жены, передал мне, что Шильц, лучший виртуоз на корнет-а-пистоне в Париже, которому он давал работу для просмотра перед печатанием, заявил, что я не имею ни малейшего понятия об этом инструменте и что я сплошь и рядом беру слишком высокие тональности, с которыми парижанам не справиться. Та часть, которую я успел уже сделать, была все-таки принята ввиду того, что Шильц выразил готовность исправить ее, за каковую любезность ему была отчислена половина моего гонорара. От дальнейшего же выполнения заказа я был избавлен, и шестьдесят клавираусцугов совершили обратное путешествие в удивительный магазин на Рю-Ришелье.

С моими доходами дело, таким образом, обстояло довольно плохо. Нужда в доме у нас росла. Но зато я снова получил возможность беспрепятственно заняться последней отделкой «Риенци». 19 ноября я, наконец, закончил эту обширнейшую из всех опер. Я еще раньше решил отдать ее для первой постановки Дрезденскому придворному театру, чтобы в случае успеха проложить себе мост для возвращения в Германию. На Дрездене я остановился потому, что в тамошнем теноре Тихачеке видел лучшего исполнителя для главной роли. К тому же я рассчитывал на свое знакомство с дружески расположенной ко мне с прежних времен Шрёдер-Девриент, из симпатии к моей семье некогда хлопотавшей, хотя и безуспешно, о постановке «Фей» в Дрезденском

придворном театре. Кроме того, секретарь театра, придворный советник Винклер (известный под именем Теодора Хелля), был старый друг моей семьи, да и с капельмейстером Райсигером я был знаком. Мы провели с ним, по случаю юношеской экскурсии с Апелем в Богемию, веселый вечер в Дрездене. Ко всем этим лицам я написал соответствующие убедительные письма, прибавив официальное послание к генерал-интенданту придворных театров, господину фон Люттихау даже формальное прошение к королю Саксонскому. Все это я приготовил для отправки.

107

Опера Доницетти «La Favorita». Нищета растет

Предварительно я позаботился точно указать при помощи метронома темпы в моей опере. За неимением такого инструмента мне пришлось его занять, и в одно прекрасное утро, спрятав метроном под тоненьким пальто, я вышел из дому, чтобы отнести его владельцу. День, в который это произошло, был одним из удивительнейших в моей жизни: все бедствия моего тогдашнего положения как будто соединились вместе, чтобы сразу обрушиться на меня поистине ужасным образом.

Помимо того, что со дня на день мне все труднее становилось добывать жалкую сумму франков, необходимых для ведения нашего весьма скудного хозяйства, теперь как раз наступил срок выплат по нескольким векселям, которые, как это было принято в Париже, я в свое время, устраивая новую квартиру, выдал в обеспечение платежа. В ожидании какого-нибудь выхода из этого положения я должен был склонить владельцев векселей к отсрочке. Так как подобные векселя, как ценности чисто коммерческие, переходят из рук в руки, то мне пришлось разыскивать многих лиц в самых различных частях города. В названный

день мне предстояло уломать торговца сыром, жившего на пятом этаже в Сите. В то же время я решил обратиться с просьбой о помощи к брату моих зятьев, Генриху Брокгаузу, приехавшему тогда в Париж. Я намеревался зайти к Шлезингеру и взять у него хотя бы столько денег, сколько нужно на отправку партитуры.

Захватив с собой метроном, я с раннего утра вышел из дому, с тяжелым сердцем простившись с Минной, знавшей по опыту, что, когда я отправляюсь добывать денег, до позднего вечера меня не будет дома. На улицах стоял густой туман, и первое, что я увидал, выйдя из дверей дома, был Роббер, пропавший год тому назад. Мне казалось, что предо мной привидение. Громким голосом я позвал собаку. Она сразу узнала меня и подошла довольно близко. Но когда, вытянув руки, я направился к ней, это резкое движение, по-видимому, вызвало у животного, не менее меня захваченного врасплох неожиданной встречей, страх перед наказаниями, какие я, к сожалению, применял к нему в последнее время нашей совместной жизни. Этот страх совершенно заглушил, очевидно, все другие воспоминания: собака пугливо бросилась от меня в сторону и, когда я пустился за ней, все быстрее стала убегать. Для меня было ясно, что она меня узнала, потому что на углах она пугливо оборачивалась и, заметя, что я, как безумный, бегу за ней, с удвоенной скоростью пускалась дальше. Так я гнался за ней среди все гуще застилавшего улицы тумана, обливаясь потом, задыхаясь, с метрономом под мышкой, пока окончательно не потерял ее из виду у церкви Святого Роха. Несколько минут я стоял, точно окаменелый, неподвижно глядя в туман. Я спрашивал себя, что означает это призрачное появление товарища моих путевых приключений в этот ужасный день? То обстоятельство, что он бежал от своего прежнего господина с пугливостью дикого зверя,

казалось мне печальным предзнаменованием и наполняло сердце странной горечью.

Глубоко потрясенный, я, с подкашивающимися коленями, пустился дальше по своим невеселым делам. Получив от Генриха Брокгауза ответ, что он решительно ничем не в состоянии мне помочь, я ушел с чувством унижения, которое всячески старался скрыть от него. Результаты моих дальнейших шагов были столь безнадежны, что, проторчав под конец несколько часов в конторе Шлезингера, где мне пришлось выслушивать пустейшие, намеренно растянутые разговоры с посетителями, я с наступлением ночи вернулся домой, не добившись решительно никакой помощи. Еще с улицы я заметил у окна Минну, высматривавшую меня в сильнейшей тревоге. Предчувствуя неудачу, она тем временем обратилась к нашему жильцу и пансионеру, флейтисту Бриксу, которого мы с трудом, но терпеливо переносили ради его добродушия, с просьбой дать ей небольшую сумму вперед. Благодаря этому она имела возможность приготовить подкрепляющий ужин.

Дальнейшую помощь на некоторое время я извлек, хотя и ценой тяжелых жертв, из успеха одной оперы Доницетти. Шлезингер, потерпев значительные потери на операх Галеви, приобрел очень слабое произведение итальянского маэстро, «Фаворитка», пользовавшееся, однако, благодаря двум небольшим кабалетам значительным успехом у низко павшей в музыкальном отношении парижской публики. Зная мое беспомощное положение и решив использовать его, он однажды утром влетел ко мне с сияющим лицом и потребовал карандаш и бумагу, чтобы сразу ослепить громадной цифрой доходов, которые он намеревался мне предоставить. Получив требуемое, он написал следующее: «Фаворитка», полный клавираусцуг; клавираусцуг без текста в 2 руки; то же в 4 руки; полное

переложение для квартета; то же для двух скрипок; то же для корнет-а-пистона. За все эти работы — 1100 франков. Аванс — 500 франков. Я сразу понял, какую страшную обузу взвалю на себя, приняв этот заказ, но все-таки не колебался ни минуты.

Притащив домой эти 500 франков, выданные мне пятифранковыми монетами, я, к нашему общему восторгу, выложил всю кучу денег на стол. Как раз в это время к нам случайно пришла сестра Цецилия Авенариус. Зрелище нашего богатства подействовало на нее успокаивающим образом, уничтожив нерешительность, какую она до сих пор проявляла в своих отношениях с нами. С этих пор мы стали видеться чаще, и нередко она приглашала меня с Минной по воскресеньям к обеду.

Мне было, однако, совсем не до развлечений. Потрясения последнего времени произвели на меня такое серьезное действие, что, словно в искупление всех когда-либо совершенных мной грехов, я наложил на себя кару, отдавшись всецело унизительной работе, в которой заключалось мое единственное спасение. Для экономии топлива мы ограничили нашу квартиру одной только спальней, которая служила нам одновременно гостиной, столовой и рабочей комнатой. Достаточно было сделать два шага, чтобы прямо от постели очутиться за рабочим столом, от которого простым поворотом стула я переходил в столовую. Вставал я с этого стула лишь поздно вечером, чтобы лечь опять в постель. Самым регулярным образом, через каждые четыре дня, я разрешал себе некоторый отдых в виде непродолжительной прогулки. Такой образ жизни, продолжавшийся почти всю зиму, положил начало болезни органов брюшной полости, от которой я уже не мог отделаться почти никогда.

108

«Паломничество к Бетховену» и «Коней одного музыканта». Берлиоз. «Похоронная симфония»

Доходы еще увеличились, когда я взял на себя мучительную и поглощавшую массу времени корректуру доницеттиевских опер, за что я выудил у Шлезингера 300 франков, пользуясь тем, что у него не было никого, кто мог бы исполнить такую работу. При этом мне надо было еще найти время написать оркестровые партии моей «Фауст-увертюры», которую я все еще не терял надежды услышать в исполнении Оркестра консерватории.

И чтобы противопоставить хоть что-нибудь той унизительной музыкальной работе, за которую я взялся, я сочинил небольшую новеллу: «Паломничество к Бетховену», появившуюся в Gazette musicale под заглавием *Une visite a Beethoven*[61]. Шлезингер не скрыл от меня, что новелла обратила на себя внимание и чрезвычайно понравилась, и что в самом деле многие литературные листки и газеты перепечатали ее целиком или частями. Он советовал мне продолжать в таком же роде. Тогда я написал вариант этой новеллы под названием «Конец одного музыканта в Париже», озаглавленный по-французски: *Un musicien etranger a Paris*. В нем я вознаградил себя за все перенесенные унижения. Он понравился Шлезингеру гораздо меньше, но зато доставил мне трогательные выражения одобрения, главным образом со стороны бедняги, заведующего конторой Шлезингера, и хвалебный отзыв Г. Гейне, сказавшего: «Такую вещь Гофман не был бы в состоянии написать». Даже Берлиоз отозвался на мою новеллу, упомянув о ней одобрительно в одном из своих фельетонов в *Journal des Debuts*.

---

[61] «Паломничество к Бетховену».

Следующая музыкально-эстетическая статья «Об увертюре» заслужила мне его симпатии, правда, главным образом за то, что я выставил увертюру Глюка к «Ифигении в Авлиде» как образец искусства, осветив тем самым собственный взгляд на композиции этого рода.

Это придало мне мужества искать более близкого знакомства с Берлиозом. Я давно был ему представлен в конторе Шлезингера, где с тех пор довольно часто встречался с ним. Я преподнес ему экземпляр своих «Двух гренадеров», но не мог от него ничего добиться по их поводу. Он сказал мне, что играет немного на гитаре и потому не в состоянии сыграть их на рояле. Но его крупные инструментальные произведения, которые я еще в прошлую зиму слышал несколько раз под его управлением, произвели на меня большое впечатление. В ту зиму (1839–1840) он в трех концертах, на одном из которых я присутствовал, исполнил в первый раз свою симфонию «Ромео и Джульетта».

Это был для меня совершенно новый мир, в котором я хотел разобраться с полным беспристрастием, исходя только из личных впечатлений. Прежде всего, на меня ошеломляющим образом подействовала необыкновенная виртуозность оркестрового исполнения, какой я себе раньше и не представлял. Фантастическая смелость и необыкновенная ясность самых рискованных комбинаций, встававших с такой отчетливостью, что они казались почти осязаемыми, совершенно подавляла мое собственное музыкально-поэтическое чувство. Я весь ушел слухом в вещи, о которых до сих пор не имел ни малейшего понятия и которые должен был себе уяснить. Правда, немало мест в «Ромео и Джульетте» производили на меня впечатление пустоты и незначительности, и это было тем более неприятно, что, с другой стороны, отдельные увлекательные моменты в этом произведении, неудачном по своим

размерам и по своему построению, действовали на меня с необыкновенной силой и убивали всякую возможность критического к ним отношения.

Вслед за этим Берлиоз в ту же зиму исполнил несколько раз свою «Фантастическую симфонию» и «Гарольда». Уже обе эти вещи вызвали мое изумление и восхищение, первая главным образом вплетенными в нее музыкальными жанровыми картинками, вторая почти вся целиком. Но лишь последнее произведение этого удивительного композитора, его «Траурная симфония в память жертв Июльской революции», написанная для громадного, самым остроумным образом скомбинированного военного оркестра и исполненная летом 1840 года по случаю открытия Июльской колонны на площади Бастилии, показала мне все величие и мощь этой в своем роде единственной и несравненной художественной натуры. Однако я никогда не мог превозмочь странного, глубокого и серьезного стеснения, которое внушала мне эта фигура во всей своей цельности. У меня всегда оставался в душе некоторый страх перед чем-то навсегда для меня чуждым, и этот страх вызывал во мне целый ряд пытливых размышлений о том, что нет такого крупного произведения Берлиоза, которое не пленяло бы меня и в то же время не вызывало бы во мне отвращения, даже скуки. Эту мучительную загадку, какой в течение многих лет являлся для меня Берлиоз, я полностью разгадал только впоследствии.

109

Большой концерт, устроенный редакцией «Gazette musicale». Провал

Но не подлежит сомнению, что в то время я чувствовал себя школьником перед Берлиозом. Поэтому я и пришел в большое смущение, когда Шлезингер, решив использовать

успех моей новеллы в благоприятном для меня смысле, предложил включить в программу большого концерта, устраиваемого редакцией *Gazette musicale*, что-нибудь из моих оркестровых вещей. Я понимал, что ни одна из имеющихся у меня в запасе композиций ни с какой стороны не пригодна для данного случая. Моей новой «Фауст-увертюре» я еще не доверял, главным образом потому, что ее чрезвычайно тонкое и нежное заключение, как мне казалось, могло бы иметь внешний успех только у расположенной ко мне публики. К тому же мне готовы были предоставить оркестр второго ранга — тогдашний оркестр Валантино из казино на Рю-Сент-Оноре — и всего лишь одну репетицию. Вот почему я решил, что остается или совсем отказаться от сделанного мне предложения, или попытать счастья с моей поверхностной юношеской работой, магдебургской увертюрой «Колумб». Я остановился на последнем.

Когда я отправился за оркестровыми партиями к Хабенеку, все еще хранившему их в консерваторском архиве, он сухо, но благожелательно указал на опасность выступить с этим произведением перед парижской публикой, так как оно, как он выразился, слишком «*vague*»[62]. Большие затруднения встретились из-за невозможности найти исполнителей для шести труб. Этот инструмент, которым немцы владеют с таким искусством, в парижских оркестрах лишь редко находит для себя хорошего музыканта. Корректор моих сюит для корнет-а-пистона, Шильц, благодушно принял во мне участие. Он посоветовал сократить число труб до четырех, причем поручился за хорошее исполнение только двух из них. И действительно, на репетиции этот главный эффектный ресурс доставил мне очень

[62] «Неясно, смутно, непонятно» (*фр.*).

много возни, совершенно обескуражившей меня. Высокие, нежные места ни разу не были исполнены чисто.

Кроме того, так как мне не было дано дирижировать самому, пришлось иметь дело с дирижером, глубоко убежденным, что мое произведение не более как ерунда. Взгляд его, как мне казалось, разделял весь оркестр. Берлиоз, присутствовавший на репетиции, молчал. Он не подбадривал меня, но и не обескураживал; улыбкой и легким вздохом он как бы говорил мне, что успех в Париже — дело не легкое.

В самый вечер концерта (4 февраля 1841 года) публика, состоявшая главным образом из подписчиков *Gazette musicale* и, следовательно, из лиц, знакомых с моей новеллой, была, по-видимому, настроена ко мне дружелюбно. Меня уверили даже, что моя увертюра, как бы она ни показалась скучна, без сомнения, вызвала бы аплодисменты, если бы слушатели, которые в Париже относятся с особенным вниманием только к виртуозной стороне произведения и к удачному исполнению известных *опасных* мест, не были доведены до состояния еле сдерживаемого негодования злополучными трубачами, фальшивившими на самых эффектных нежных тонах. Я не скрывал от себя, что провалился, что после такого бедствия Париж для меня больше не существует и что мне остается только одно: снова запереться в жалкой спальне для аранжировки доницеттиевских опер.

110

Под Новый год

Мое отречение от мира при полном углублении в работу было так велико, что, как кающийся грешник, я перестал стричь бороду и, к большому огорчению жены, отрастил ее в первый и единственный раз в жизни.

Я все сносил терпеливо, и только пианист, живший за стеной и почти целый день разучивавший фантазию Листа

на темы из «Лючии ди Ламмермур», приводил меня в настоящее отчаяние. Чтобы дать ему некоторое понятие о мучениях, которые я претерпевал, я однажды перетащил из гостиной в спальню страшно расстроенный рояль, поставил его у стены, примыкающей к комнате соседа, и попросил Брикса принести флейту. Мы с ним разыграли увертюру к «Фаворитке», которую я только что закончил аранжировать для рояля и скрипки (или флейты). Это, по-видимому, не на шутку напугало моего соседа, молодого учителя музыки. На следующее утро жена консьержа сказала мне, что он переезжает на другую квартиру, что, в свою очередь, несколько пристыдило меня.

У этой женщины выработалось к нам почтительно-дружелюбное отношение. Вначале мы пользовались ее услугами для разных неизбежных домашних работ, главным образом на кухне, а также для чистки платьев, обуви и т. д. Но в конце концов и то небольшое жалованье, какое мы ей платили, оказалось нам не по средствам, а Минне пришлось подвергнуться унижению и отказаться от ее услуг, чтобы впредь самой, без всякой помощи исполнять черную домашнюю работу. Желая скрыть это от нашего пансионера, жена моя, сама готовившая, сама мывшая посуду, должна была еще и чистить сапоги для него. В сущности, нам трудно было переносить это унижение перед консьержем и его женой. Но мы были неправы: эти люди проявляли свое уважение к нам с увеличенной вежливостью, к которой, правда, примешивалась некоторая фамильярность. Так, например, муж часто пускался со мной в разговоры о политике. Это было время, когда против Франции встал Четверной союз, когда положение при временном министерстве Тьера считалось чрезвычайно серьезным, и мой консьерж однажды успокаивал меня следующими словами: «*Monsieur, ill y a quatre hommes en Europe qui s'appellent: le roi Louis Philippe, l'empereur d'Autriche,*

l'empereur de Russie, le roi de Prusse; eh bien, ces quatre sont des couillons; et nous n'aurons pas la guerre»[63].

По вечерам я большей частью не оставался без общества. Мои немногочисленные друзья должны были привыкнуть к тому, что я беседовал с ними, склонясь над нотной бумагой и продолжая работать до поздней ночи. Под Новый год они устроили глубоко тронувший меня сюрприз, сговорившись между собой отпраздновать этот вечер со мной. Первым позвонил Лерс, явившийся с большим телячьим окороком. За ним пришли Китц с ромом, сахаром и лимонами, Пехт с гусем, Андерс с двумя бутылками шампанского, извлеченными из запаса, который он получил когда-то в подарок от одного инструментального мастера в благодарность за хвалебную статью о его роялях и хранил для особо торжественных случаев. Я швырнул в сторону отвратительную «Фаворитку» и с истинным одушевлением отдался радостной пирушке с друзьями.

Все должны были принять участие в приготовлениях — затопить печь в гостиной, помочь жене на кухне, сбегать в лавочку за недостающими припасами. Ужин превратился в вакхическое пиршество. Когда вслед за шампанским начал оказывать действие и пунш, я обратился к присутствующим с торжественной речью, вызывавшей непрекращавшийся хохот моих друзей. Поощряемый таким успехом, я не мог остановиться и увлекся до такой степени, что, не довольствуясь стулом, на который я встал в увлечении собственным пафосом, я вскочил на стол и с высоты его принялся проповедовать восхищенным слушателям евангелие самого бессмысленного презрения к миру с восхвалением южноамериканских республик, пока

---

[63] «Месье, четыре человека в Европе заболевают: король Луи-Филипп, австрийский император, русский император, король Пруссии; ну, эти четыре задницы; и у нас не будет войны» (*фр.*).

у обессилевшей от хохота компании смех не перешел в слезы. В конце концов пришлось всех приютить у себя, так как нечего было и думать о том, чтобы друзья наши в таком состоянии отправились домой.

Первый день 1841 года застал меня сидящим в покаянии над «Фавориткой». Второй такой же, хотя и несравненно более торжественный вечер мне вспоминается, когда нас посетил знаменитый скрипач Вьётан, случайно оказавшийся старым знакомым Китца. Молодой артист, пользовавшийся тогда громадным успехом в Париже, целый вечер занимал меня и друзей своей прекрасной игрой, что придало моей гостиной совершенно необычный блеск. За такую любезность Китц отблагодарил его тем, что доставил его домой, в отель, находившийся на той же улице, верхом на собственных плечах.

111

От невозможного к непостижимому

В начале этого года меня постиг тяжелый удар, вызванный незнанием парижских правил. Мы, само собой разумеется, только ждали окончания контрактного года, чтобы отказаться от нашей квартиры. Когда этот срок наступил, я сам отправился к домохозяйке, молодой, очень богатой вдове, жившей в собственном отеле в Марэ. Она приняла меня с некоторым смущением, сказала, что переговорит с управляющим, и направила меня к нему. Письменно мне было сообщено, что мой отказ от квартиры был бы приемлем только в том случае, если бы я заявил о нем накануне вечером, и что вследствие моего упущения я обязан, согласно условию, нанять квартиру еще на год. Я в ужасе поспешил к управляющему. С трудом добившись личного с ним разговора, я нашел пожилого, по-видимому, парализованного ужасными болезнями, неподвижно лежащего

господина. Обрисовав ему откровенно свое положение, я самым сердечным образом просил его походатайствовать перед домохозяйкой об освобождении меня от контракта. В ответ на это я услышал лишь, что это моя вина, а не его, что я опоздал на день, и что он советует мне позаботиться о своевременной уплате квартирных денег. Мой консьерж, которому я в большом горе рассказал об этом свидании, в утешение заметил относительно управляющего: «*J'aurais pu vous dire cela, car voyez, monsieur, cet homme ne vaut pas l'eau qu'il boit*»[64].

Это совершенно непредвиденное несчастье разрушило все наши надежды на то, что нам удастся выкарабкаться из финансового кризиса. Некоторое время мы искали возможности получить еще одного жильца. Но это нам не удалось, и с Пасхой мы вступили в новый контрактный год, не найдя никакого выхода из создавшегося положения. Наконец, в один прекрасный день консьерж сообщил нам о каком-то семействе, желавшем снять на несколько месяцев нашу квартиру с мебелью. С радостью мы ухватились за это обстоятельство, чтобы иметь, по крайней мере, возможность уплатить следующий квартирный взнос. Появилась надежда на то, что, раз выехав из этой злополучной квартиры, мы найдем какой-нибудь способ окончательно развязаться с ней. Не теряя времени, мы принялись искать в окрестностях Парижа дешевого летнего помещения.

Нас направили в Мёдон, и действительно, там мы сняли квартиру по дороге, соединяющей Мёдон с близлежащим Бельвю. Покинув злополучный дом на Рю-де-Эльде, консьержу которого я поручил сдать впоследствии нашу квартиру кому угодно, мы кое-как устроились в нашем

---

[64] «Я мог бы Вам порассказать об этом, ибо, Вы сами видите, месье, что этот человек не стоит даже той воды, которую он пьет». Аналог русской поговорки: «не стоит ломаного гроша».

временном прибежище, где нам пришлось приютить и жильца, добродушного флейтиста Брикса. У бедняги тоже наступил критический момент, и, не имея денег, он был бы поставлен в чрезвычайно затруднительное положение, если бы как раз теперь мы пожелали выключить его из нашего домашнего хозяйства. 29 апреля произошло это жалкое переселение, бывшее лишь бегством от невозможного к непостижимому. Мы решительно не знали, на какие средства проживем ближайшее лето, так как заказы Шлезингера иссякли, и никакого другого источника пока не предвиделось.

112

Критическая статья о веберовском «Фрейшютце». Лестное внимание Жорж Занд

По-видимому, не оставалось ничего, кроме журналистской работы, которая при всей своей малой доходности пока все же доставила мне некоторый успех. Еще прошлой зимой я написал для *Gazette musicale* довольно большую статью о веберовском «Фрейшютце», которая должна была подготовить публику к предстоявшей в Парижской опере постановке с добавлением речитативов Берлиоза. Этой статьей я, кажется, вызвал к себе неприязнь Берлиоза. Я не мог не указать в ней на рискованность подобного предприятия: включить именно это произведение, исходящее по форме своей из старинного музыкального зингшпиля, в изысканный репертуар Парижской оперы путем добавлений, которые должны были совершенно исказить его первоначальные размеры. Хотя результат постановки и оправдал в полной мере мое предположение, все же участники предприятия не менее враждебно были настроены против меня.

Но зато, с другой стороны, я получил истинное удовлетворение в том, что статья моя обратила на себя внимание

знаменитой Жорж Санд. В предисловии к фантастическому рассказу из провинциальной французской жизни она пыталась возражать против существующих сомнений относительно способности французов схватывать во всей его оригинальности тот сказочный, мистический народный элемент, который с такой яркостью выразился во «Фрейшютце». При этом она ссылалась на мою статью.

Новый толчок к журналистской деятельности дали мне мои хлопоты пристроить в Дрездене «Риенци». Секретарь тамошнего театра, уже упомянутый Винклер, сообщал разные подробности о ходе дела. Но в качестве издателя низкодоходной *Abendzeitung*[65] он воспользовался случаем приобрести во мне дарового корреспондента, вынуждая присылать ему частые письма. Если я хотел узнать от него что-нибудь о принятии к постановке моей оперы, я должен был предварительно расположить его к ответу корреспондентским сообщением. Бесконечно затянувшиеся переговоры с придворным театром дали мне, таким образом, случай написать бесчисленное множество корреспонденции. Теперь я попал в весьма затруднительное положение, потому что давно уже фактически запер себя в своей спальне и совершенно был лишен живых парижских впечатлений.

113

Французская спекуляция на успехе модных течений. Сотрудничество в «Вечерней газете»

Это отдаление от парижской жизни, как художественной, так и социальной, где во всем сказывалась погоня за внешними эффектами, имело более серьезные основания. Отчасти тяжелые переживания, отчасти подготовлявшееся внутренне самым ходом моего развития отвращение к тем

[65] «Вечерней газеты».

сторонам артистического и общественного быта, которые раньше имели в моих глазах такую громадную притягательную силу, с ужасающей быстротой оттолкнули меня от всякого соприкосновения с этим миром. Правда, постановка «Гугенотов», которую я видел здесь в первый раз, практически ослепила меня. Прекрасный оркестр, чрезвычайно тщательная и эффектная инсценировка заставляли меня предвкушать те широкие возможности, какие открывает перед нами столь совершенная художественная техника.

Но, странным образом, мне отнюдь не хотелось часто присутствовать при подобных постановках. Вскоре я научился карикатурно подражать манере певцов, и мне удавалось приводить в восхищение друзей демонстрацией новейших, модных в Париже, безвкусно утрированных приемов пения. Конечно, и композиторы, спекулирующие на успехе нелепых модных течений, не ушли от моей язвительной критики. Когда же такое поверхностное, совершенно не французское, жалкое изделие, как доницеттиевская «Фаворитка», завладело на продолжительное время прежде столь бескомпромиссным театром, как Парижская опера, мое последнее терпение, с каким я старался сохранить уважение к деятельности этого «первого лирического театра в мире», исчерпалось.

За время своего пребывания в Париже я, кажется, был в Парижской опере не более четырех раз. «Опера-Комик» оттолкнула меня сразу как странной холодностью исполнения, так и чрезвычайно низким уровнем исполнявшейся музыки. Та же холодность исполнения отвратила меня и от певцов Итальянской оперы. Пользовавшиеся известностью и популярностью, эти артисты, выступавшие в течение многих лет не более чем в четырех операх, не могли меня вознаградить за отсутствие всякого, даже самого

элементарного творческого тепла, которое доставляло мне столько радости в игре Шрёдер-Девриент. Я понимал, что все здесь идет по пути разрушения, но вместе с тем не чувствовал ни надежды, ни потребности увидеть обновление того, что разрушалось.

Гораздо больше нравились мне небольшие театры — в них я увидел французский талант в его настоящем свете. Но я был слишком поглощен стремлением найти для себя самого какие-нибудь внутренние, связующие с окружающим миром нити, чтобы еще сохранить способность делать праздные наблюдения над явлениями, мне совершенно несимпатичными. Кроме того, мои заботы и нужда были с самого начала так велики, и полная бесплодность моего парижского предприятия так ясно вставала перед моим сознанием, что скоро я стал с досадой или равнодушием отклонять всякие предложения посмотреть ту или иную вещь на сцене. Несколько раз я даже, к большому огорчению Минны, отсылал обратно билеты в *Theatre Francais* на представления с участием Рашели. Вообще только однажды я посетил этот знаменитый театр в деловых интересах моего столь нуждавшегося в корреспонденциях дрезденского покровителя.

Чтобы заполнять столбцы его *Abendzeitung*, я без малейшего угрызения совести пользовался тем, о чем мне рассказывали по вечерам Андерс и Лерс, сами никогда ничего не переживавшие и передававшие только вычитанное из газет или подслушанное в ресторанах за табльдотом: этот материал я известным образом комбинировал, стараясь придать ему журнальную пикантность, с легкой руки Гейне сильно вошедшую тогда в моду. Я не сомневался при этом, что в один прекрасный день мой добрый придворный советник Винклер раскусит тайну моего знакомства с художественным миром Парижа. По собственной

инициативе я написал для его пришедшей в полный упадок и никем больше не читаемой газеты довольно большую статью о постановке «Фрейшютца», которая должна была его особенно интересовать как опекуна детей Вебера. Так как он продолжал уверять меня, что не успокоится, пока не доставит мне определенных гарантий постановки «Риенци», я в порыве благодарности послал ему еще немецкий оригинал моей новеллы о Бетховене. Единственный печатный оттиск этих рукописей содержится в его газете за 1841 год, издававшейся в Дрездене у Арнольда и теперь совершенно прекратившей свое существование.

114

«Europa»

Для моей временной литературной деятельности открылась новая перспектива в предложении Левальда, издателя ежемесячного беллетристического журнала Europa. Фактически это был первый человек, познакомивший публику с моим именем. Так как в его элегантном, довольно распространенном ежемесячнике давались также музыкальные приложения, то я еще из Кёнигсберга послал ему две композиции для опубликования. Это были положенное на музыку меланхолическое стихотворение Шойрлина *Der Knabe und der Tannenbaum*[66] (работа, которую я еще теперь охотно называю своей) и моя разудалая карнавальная песнь из «Запрета любви».

Когда мне пришло в голову опубликовать таким же путем небольшие французские вещицы для пения, я с этой целью отправил Левальду *Dors mon enfant, Attente* Гюго и *Mignonne* Ронсара. Он, приняв их, не только прислал мне небольшой гонорар — мой первый гонорар

[66] «Юноша и рождественская елка».

за композицию, — но предложил доставлять ему также статьи довольно больших объемов с занимательным по возможности изложением парижских впечатлений. Я написал для его журнала два очерка, *Pariser Amusements*[67] и *Pariser Fatalitaten eines Deutsche*[68], в которых, подражая приемам Гейне, я юмористически изобразил свое разочарование Парижем и презрение ко всему укладу жизни этого города. Для второй статьи я воспользовался, кроме того, приключениями некоего Германа Пфау, довольно своеобразного негодяя, которого мне еще в худшие лейпцигские времена пришлось узнать ближе, чем это было желательно. С начала прошлой зимы он появился в Париже, где долго слонялся без дела, ведя жизнь бродяги, причем жалкое положение этого страшно опустившегося человека не раз требовало моего вмешательства за счет доходов от работы над «Фавориткой». Поэтому я видел восстановление некоторой экономической справедливости в том, что, использовав его парижские приключения для журнальной статьи, я вернул себе несколько франков.

115

Леон Пиллэ и «Летучий голландец»

Другое направление приняла моя литературная деятельность благодаря переговорам с директором Парижской оперы Леоном Пийе. После долгих усилий я, наконец, узнал, что последнему понравился сценический план «Летучего Голландца». Сообщив об этом, он предложил уступить ему этот план, так как в силу существующих договоров он обязан предоставлять различным композиторам подобные сюжеты для небольших опер.

---

[67] «Парижские забавы».

[68] «Парижские бедствия немца».

Я пытался письменно и устно убедить Пийе, что успешной разработки этого сюжета, как поэтической, так и музыкальной, он может ждать только от меня, потому что именно это и есть мой настоящий путь. Он же встал у меня на пути лишь случайно, ознакомившись с поэтическим текстом, который ему понравился. Но никакие доводы не помогли.

Директор счел своим долгом с величайшей откровенностью прояснить мне те перспективы, на которые я рассчитывал, основываясь на рекомендации Мейербера: о заказе на композицию хотя бы и небольшой оперы нечего и думать раньше, чем через семь лет, так как на этот срок дирекция уже связана существующими обязательствами. Поэтому он советует мне быть благоразумным и уступить за небольшое вознаграждение свой сценический план автору, которого он выберет. Если же я хочу непременно попытать счастья в самостоятельной композиции для Парижской оперы, то следует переговорить с балетмейстером о том, чтобы вставить в оперу какое-нибудь *pas*[69], для которого я мог бы написать музыку. Когда я с нескрываемым отвращением отверг это предложение, он терпеливо предоставил меня собственному упрямству.

После долгих и тщетных усилий я обратился с просьбой о посредничестве к комиссару королевских театров, Эдуарду Монне, сблизившемуся со мной как с редактором *Gazette musical*. Ознакомившись при случае с планом моего сюжета, он откровенно заявил мне, что не понимает, как этот план мог понравиться Пийе. Но раз последний, как он полагает, к собственному своему ущербу увлекся им, то он, Монне, советует, не колеблясь, принять всякое

[69] Па (*фр.*).

вознаграждение, какое мне будет предложено за уступку текста, потому что ему стало известно, что план этот уже передан Полю Фоше, зятю Виктора Гюго, с поручением разработать на его основе либретто. К тому же Фоше уверяет, что для него этот план не представляет ничего нового, так как сюжет *Vaisseau fantome*[70] известен и во Франции. Теперь только мне стало ясно, как обстоит дело, и я выразил согласие на предложение Пийе. На совещании с Фоше, на котором я присутствовал, благодаря особым стараниям Пийе мой сценический план был оценен в 500 франков. Сумма эта была мне выдана в театральной кассе в виде аванса за счет гонорара будущего автора.

Теперь мой летний приют на Авеню-де-Мёдон обрел некоторую привлекательность. С пятьюстами франками в кармане я решил сейчас же приняться за поэтическую и музыкальную разработку «Летучего Голландца» для Германии, предоставив *Vaisseau fantome* его французской участи.

116

Ни су в кармане

Соглашение с Пийе несколько улучшило мое материальное положение, становившееся к тому времени невыносимым. Май и июнь мы кое-как пытались выбиться из нужды. Прекрасное время года, освежающий деревенский воздух, чувство освобождения от унизительной музыкальной работы, взятой исключительно ради денег и тяготившей меня всю зиму, — все это сначала подействовало на меня оживляюще и вдохновило к небольшой новелле из жизни в мире искусства *Ein glücklicher Abend*[71], напечатанной во французском переводе в *Gazette musicale* .

[70] «Корабль-призрак» (*фр.*).

[71] «Счастливый вечер» (*нем.*).

Но скоро полное отсутствие всяких доходов начало сказываться самым жестоким и угнетающим образом. С особенной горечью мы стали чувствовать наше положение, когда сестра моя Цецилия, заразившись нашим примером, уговорила своего мужа поселиться за городом и сняла дачу рядом с нашей. Пользуясь хотя и не блестящим, но верным положением, эти наши родственники, живя бок о бок с нами, приходя каждый день к нам в дом, и не подозревали о тех мытарствах, которые нам приходилось переносить и в которые мы считали лишним посвящать их.

Бедствия наши однажды достигли отчаянных пределов. Не имея в кармане ни одного су, я с утра отправился пешком — на проезд денег не хватило — в Париж раздобыть хотя бы пять франков. Целый день я рыскал по городу, переходя с улицы на улицу, и, ничего не добившись, был вынужден вечером отправиться с пустыми руками в мучительный обратный путь, опять же, пешком. Когда я сообщил вышедшей навстречу Минне об этих печальных результатах, она с отчаянием рассказала, что в мое отсутствие прибежал Герман Пфау в самом ужасном состоянии, только для того, чтобы что-нибудь перекусить. Она должна была отдать ему последний, взятый утром у булочника хлеб. У нас все еще оставалась надежда, что жилец Брикс, по странному стечению обстоятельств ставший теперь нашим товарищем по несчастью и так же, как и я, отправившийся с утра в Париж раздобыть денег, вернется во всяком случае не совсем с пустыми руками. Наконец он явился, обливаясь потом, измученный, терзаемый голодом, которого он не мог утолить в городе, так как не застал никого из своих знакомых. Он молил о куске хлеба.

Достигшая такого небывалого напряжения ситуация вдохновила внезапно мою жену: она решила, что на ней лежит обязанность спасти мужчин по крайней мере от голода.

В первый раз с тех пор, как мы ступили на французскую землю, под благовидным предлогом была взята у булочника, мясника и виноторговца провизия в долг. Глаза Минны сверкали, когда по прошествии часа она поставила перед нами приготовленный ней прекрасный ужин. Случайно нас застали за ужином Авенариусы, на которых такое несомненное доказательство нашего благосостояния подействовало, по-видимому, успокаивающим образом.

117

Фантастическая фигура из сказок Гофмана

Этой крайней нужде в начале июля положила на некоторое время конец продажа текста «Летучего Голландца», с которой был связан отказ от последней надежды на успех в Париже. Покуда хватало пятисот франков, я свободно мог отдаваться творческой работе. Прежде всего, был взят напрокат рояль, которого я был лишен в течение многих месяцев. Он должен был оживить во мне веру, что я еще музыкант, после того, как с самой осени прошлого года я сконцентрировал все свои умственные силы только на журналистской работе и аранжировке опер. Текст «Летучего Голландца», который я быстро привел к концу еще во дни нужды, вызвал большой интерес Лерса. Он прямо заявил, что мне никогда не удастся написать ничего лучшего, что «Летучему Голландцу» суждено стать моим «Дон Жуаном». Оставалось сочинить музыку.

В конце прошлой зимы, когда я еще надеялся разработать этот сюжет для французской оперы, я вполне отделал, поэтически и музыкально, несколько номеров, дав перевести текст Эмилю Дешану, для пробного испытания, до которого дело, однако, не дошло. То были баллада Сенты, песня норвежских матросов и песня призрачного экипажа «Летучего Голландца». С тех пор я настолько далеко

отошел от музыки, что теперь, когда рояль был доставлен на мою квартиру, я целый день не решался дотронуться до него. Я боялся, что ничего больше не в состоянии уже придумать, — как вдруг мне пришло в голову, что я забыл записать песню штурмана из первого акта, хотя, с другой стороны, решительно не помнил, чтобы она сложилась у меня раньше, тем более что и стихи к ней я успел закончить только что. Я сейчас же набросал эту песню, и она мне понравилась. То же самое повторилось и с песней прях. Но, записав обе эти вещи, я, по основательном размышлении, все-таки должен был себе сказать, что они пришли мне в голову только теперь. Это открытие привело меня в безумный восторг. В течение семи недель вся музыка «Летучего Голландца» была закончена, вплоть до инструментовки.

С этих пор все ожило. Моя безумная веселость приводила всех в изумление. Родственники наши Авенариусы окончательно убедились, что дела мои в самом деле очень хороши, судя по моему настроению. Я часто совершал большие прогулки по лесу и даже нередко помогал Минне собирать грибы, что, к сожалению, в ее глазах являлось главным очарованием наших лесных прогулок, хозяина же нашего приводило в ужас. Всякий раз, завидя нас возвращающимися из лесу с добычей, он уверял, что в конце концов мы отравимся грибами.

Судьба, почти всегда насылавшая на меня какие-нибудь приключения, свела меня и здесь с удивительнейшим оригиналом, которого, впрочем, можно было встретить в окрестностях не только Мёдона, но и Парижа. Это был г-н Жаден, старик такого почтенного возраста, что, по его словам, он помнил еще маркизу Помпадур, которую видел когда-то в Версале, но вместе с тем невероятно бодрый. По-видимому, сам он поставил себе целью мистифицировать людей, постоянно вводя их в заблуждение относительно

своего истинного возраста. Все делая собственными руками, он наготовил для себя неимоверное количество париков самых разнообразных оттенков, начиная с юношески белокурых кудрей до почтенных серебристых локонов. Носил он их попеременно, смотря по настроению. Занимаясь всем чем угодно, он особенно увлекался, к моей большой радости, живописью. Меня нисколько не шокировало, что все стены его квартиры были увешаны детскими карикатурами из мира животных, и даже то, что он свои шторы расписал снаружи самым нелепым образом. Напротив, все это только укрепляло меня в предположении, что он не занимается музыкой.

Но, к моему ужасу, в один прекрасный день оказалось, что странно фальшивые звуки арфы, откуда-то доносившиеся до моего слуха, исходили именно из его квартиры, помещавшейся в подвальном этаже. Там у него стояли две клавироарфы собственного изготовления, на которых, как он мне сообщил, он давно уже не играл, но начнет снова прилежно упражняться, чтобы доставить мне удовольствие. Мне, однако, удалось отклонить его от этого намерения. Я просто сказал ему, что врач воспретил мне слушать игру на арфе, так как инструмент этот вреден для моих нервов.

Словно фантастическая фигура из сказок Гофмана, стоит он у меня в памяти в том самом виде, в каком он явился ко мне в последний раз. Когда мы поздней осенью переезжали в Париж, он попросил нас перевезти вместе с нашими вещами громадных размеров печную трубу, за которой он скоро придет. И действительно, в один очень холодный день Жаден появился на нашей новой парижской квартире в необычайно легкомысленном, собственноручно изготовленном костюме, состоявшем из тоненьких светло-желтых брюк, очень короткого светло-зеленого фрака с необыкновенно длинными фалдами и выпущенными кружевными жабо и манжетами, в белокуром парике

и такой крохотной шляпе, что она беспрестанно сваливалась с его головы. В довершение всего он нацепил на себя множество фальшивых драгоценностей. Все это он напялил на себя в искреннем убеждении, которого не скрывал, что в элегантном Париже нельзя одеваться с такой же простотой, как на даче. Представ перед нами в таком виде, он попросил свою печную трубу. На наш вопрос, кто ему доставит ее на дом, он с улыбкой выразил удивление нашей беспомощности, схватил огромную трубу под мышку и самым решительным образом отказался от наших услуг, когда мы хотели помочь ему снести ее хотя бы с лестницы. На этот маневр он потратил целых полчаса. Весь дом сбежался на такое зрелище, но, нисколько не смущаясь, он выволок трубу на улицу и, поражая своей элегантной походкой, скоро исчез у нас из виду навсегда.

118

Холодно и голодно

Об этом коротком, но столь богатом по содержанию периоде жизни, когда, принадлежа внутренне всецело самому себе, я беспрепятственно отдавался радости чистого художественного творчества, могу рассказать не много. Скажу только, что к концу его я чувствовал силу бодро и спокойно пойти навстречу несравненно более продолжительной полосе тревог и нужды, которую я предвидел. Полоса эта и наступила, не заставив себя долго ждать.

Мои пятьсот франков пришли к концу одновременно с окончанием последней сцены «Летучего Голландца». Но их уже не хватило для обеспечения спокойствия, необходимого мне для того, чтобы написать увертюру. Ее пришлось отложить до наступления благоприятного поворота в моем положении, а пока снова начать борьбу за существование, на которую уходило бесконечно много времени.

Консьерж дома на Рю-дю-Эльдер явился к нам с известием, что таинственное семейство, до сих пор снимавшее нашу квартиру, выехало, и что отныне нам придется платить за наем. Я должен был заявить, что больше не хочу ничего знать об этой квартире и что предоставляю хозяину вознаградить себя продажей оставшейся в ней мебели. Это и было сделано с значительными потерями, и обстановка, за которую я еще не погасил и половины долга, пошла в уплату за квартиру, которой мы больше не пользовались.

Ценой невероятных лишений я старался сохранить для себя хоть немного свободного времени, чтобы закончить инструментовку «Летучего Голландца». Суровая осенняя пора наступила в этом году исключительно рано, обитатели дач один за другим возвращались в Париж, среди прочих и Авенариусы. Мы одни не могли и думать об этом, потому что у нас не было средств для переезда. Жадену, выразившему удивление по этому поводу, я объяснил, что очень спешу с работой и считаю нужным избегать всякого перерыва, несмотря даже на холод, весьма чувствительный в неприспособленной для зимнего жилья квартире.

Своего избавления я ждал от одного старого кёнигсбергского знакомого, Эрнста Кастеля, молодого состоятельного купца. Посетив нас недавно в Мёдоне, откуда повез в Париж, чтобы угостить роскошным обедом, он обещал в скором времени выручить нас из печального положения ссудой, которая, как мы знали, для него не представила бы никаких затруднений. Чтобы несколько скрасить наше неуютное одиночество, к нам приехал однажды из Парижа Китц со своей огромной папкой рисунков и подушкой под мышкой. Для нашего увеселения он хотел нарисовать большую карикатуру, изображающую меня и мои парижские мытарства, подушка же должна

была служить для отдыха от работы на жестком диване, на котором он не заметил никакого возвышения для изголовья. Зная, что материал для топлива нам было бы трудно раздобыть, он привез с собой несколько бутылок рома, чтобы в холодные вечера согревать себя и нас пуншем. В такие вечера я читал вслух ему и жене рассказы Гофмана. Наконец из Кёнигсберга пришел ответ, из которого стало ясно, что молодой кутила отнесся к своему обещанию несерьезно. Оставшись в безвыходном положении, мы грустно смотрели навстречу холодным туманам приближавшейся зимы. Но тут Китц заявил, что теперь его дело помочь нам. Он сложил папку, сунул ее вместе с подушкой под мышку и уехал в Париж, чтобы на следующий день вернуться с двумястами франками, которые ему каким-то непостижимым образом с большим трудом удалось раздобыть. Мы сейчас же переехали в Париж и наняли маленькую квартиру по соседству с нашими друзьями, в заднем строении дома № 14 на Рю-Жакоб. Позднее я узнал, что вскоре после нас ту же квартиру занимал Прудон.

Таким-то образом 30 октября мы снова очутились в городе. Маленькую и холодную квартиру, «отозвавшуюся» очень скверно на нашем здоровье, мы кое-как меблировали при помощи тех жалких остатков, которые удалось спасти от крушения на Рю-дю-Эльде, и принялись ждать известий о постановке моих произведений в Германии. Прежде всего было необходимо во что бы то ни стало обеспечить себе спокойствие для создания увертюры к «Летучего Голландцу». Я объявил Китцу, что он должен раздобыть мне средства для окончания этой работы и отсылки партитуры. Китц помог и на этот раз, заставив раскошелиться давно жившего в Париже и также занимавшегося живописью дядю, не отличавшегося большой

щедростью. Эту помощь он доставлял мне небольшими суммами по десять и пять франков. В то время я с веселой гордостью часто показывал свои сапоги, буквально представлявшие собой лишь видимость обуви, так как их подошвы совершенно исчезли.

119

Лерс, Дидо и министр Вилльмен

Покуда я был занят «Голландцем» и Китц заботился обо мне, это не имело ровно никакого значения, потому что я попросту не выходил из дому. Но после отправки в начале декабря оконченной партитуры в дирекцию Берлинского королевского театра горечь моего положения нечем было больше подсластить. Мне пришлось самому приняться за изыскание средств к существованию. Что это означало в Париже, я увидел на горестном примере моего превосходного друга Лерса.

Очутившись в таком же бедственном положении, какое я переживал ровно год тому назад, он минувшим летом в один томительно жаркий день был вынужден обегать самые различные кварталы Парижа, чтобы добиться отсрочки для своих просроченных векселей. Выпив глоток холодной воды, которым он хотел освежить пересохшее горло, он сразу лишился голоса. С этих пор у него осталась хрипота, давшая, по-видимому, толчок скрытым в нем задаткам чахотки, и эта неизлечимая болезнь стала развиваться с ужасающей быстротой. Все увеличивавшаяся слабость, которую он чувствовал уже несколько месяцев, внушала нам самые мрачные опасения. Только он один думал, что этот мнимый катар, несомненно, пройдет, если он будет иметь возможность лучше отапливать комнату. Однажды, придя к нему, я нашел его совершенно съежившимся за письменным столом в холодной, нетопленой

комнате. Он стал жаловаться на то, что ему при таких условиях трудно дается работа для Дидо, и это ему тем более неприятно, что последний, выдав авансы, торопит его. Он говорил, что едва ли мог бы выносить столь тяжелое положение, если бы в грустные часы его не утешала мысль, что я все-таки закончил «Голландца», что нашему небольшому дружескому кружку открывается, таким образом, некоторая надежда на успех. Чувствуя огромное сострадание к нему, я стал его убеждать пользоваться, по крайней мере, теплом нашего камина и приходить работать ко мне. Он лишь улыбнулся моей дерзновенной готовности предлагать помощь другу и приглашать его в комнату, где мы с женой сами едва помещаемся.

Как-то раз вечером он пришел к нам и, молча, протянул мне письмо от тогдашнего министра народного просвещения Вильмена. В этом письме Вильмен в самых теплых выражениях высказывал крайнее сожаление по поводу того, что такой выдающийся ученый, талантливое и деятельное сотрудничество которого в подготовляемом Дидо издании греческих классиков делает его участником работы, долженствующей составить славу нации, находится при весьма слабом здоровье в стесненном положении. К сожалению, размеры предоставленного в его распоряжение фонда для пособий, выдаваемых с научными целями, лишают его возможности в настоящий момент предложить больше пятисот франков, которые он и присоединяет к письму с просьбой не отказываться принять их, как знак признания его заслуг со стороны французского правительства. Причем министр оставляет за собой право серьезно позаботиться о мерах более основательного улучшения его материальных обстоятельств. Письмо это, вызвавшее в нас чувство живейшей радости за бедного Лерса, в то же время показалось нам каким-то достойным

удивления чудом. Конечно, можно было предположить, что Вильмена подвигнул к этому сам Дидо, побуждаемый как голосом собственной совести, укорявшей его в постыдной эксплуатации нашего друга, так, с другой стороны, и надеждой избавиться таким путем от необходимости оказать ему помощь из собственных средств. Но все же мы должны были признать на основании аналогичных случаев, нашедших позднее полное подтверждение в моем личном опыте, что подобное участие со стороны министра, так любезно выраженное и так быстро осуществленное, было бы немыслимо ни в одной из германских стран. Лерс снова получил возможность топить комнату и работать, но, к сожалению, нельзя было рассеять наших тревог относительно состояния его здоровья. Когда следующей весной мы покидали Париж, то мысль, что мы больше не увидим нашего верного друга, придавала особенную горечь нашему прощанию.

120

Галеви

Испытывая большую нужду, я, к великой досаде, снова стал усиленно писать даровые корреспонденции для *Abendzeitung*, так как мой покровитель, придворный советник Винклер, все еще не мог дать мне определенных сведений о судьбе «Риенци» в Дрездене. При таких обстоятельствах я должен был признать для себя счастьем, что одна из опер Галеви опять встретила у публики хороший прием. Шлезингер явился ко мне, сияя от радости по случаю успеха *Reine de Chypre*[72], и обещал рай за изготовление клавираусцуга и различных аранжировок этой вновь воссиявшей звезды оперного репертуара. Мне пришлось засесть

[72] «Королевы Кипра» (*фр.*).

за скучную работу и искупить ней роскошь, которую я себе позволил, написав «Летучего Голландца»; эта работа пошла у меня легко.

Помимо того, что теперь открывалась некоторая, не лишенная оснований надежда на полное избавление от парижской ссылки, от всей этой борьбы с нищетой, сама работа над партитурой Галеви была несравненно интереснее прежних постыдных усилий сделать что-нибудь с доницеттиевской «Фавориткой». После длинного перерыва я опять посетил Парижскую оперу, чтобы посмотреть произведение Галеви. Если многое и вызывало во мне улыбку, если от меня не могла укрыться общая слабость всего этого жанра и карикатурное исполнение оперы, то, с другой стороны, я искренно радовался, что Галеви, которого я очень полюбил со времени его «Жидовки» и о здоровом таланте которого составил себе весьма благоприятное мнение, выказал себя и на этот раз со своей лучшей стороны. По просьбе Шлезингера я охотно взялся написать для его газеты пространную статью о последнем произведении Галеви.

В ней я особенно определенно выразил пожелание, чтобы французская школа не потеряла, вернувшись к мелкой и поверхностной итальянской манере, тех преимуществ, какие дало ей изучение немецкой школы. При этом случае я позволил себе, именно для поощрения французского стиля, указать на своеобразное значение Обера, главным образом его «Немой из Портичи», и, с другой стороны, обратить внимание на перегруженную мелодию Россини, напоминающую упражнение по сольфеджио. Читая корректуру своей статьи, я заметил, что это место, касающееся Россини, было выпущено. Эдуард Монне сознался, что в качестве редактора он счел себя вынужденным сделать это сокращение. Он находил, что, если у меня есть какие-либо сомнения относительно Россини, я могу

их высказать в каком угодно журнале, но только не в органе, посвященном специально интересам музыки, потому что в таком издании нельзя говорить подобных вещей, не рискуя показаться безумным. Еще ему было досадно, что я с такой похвалой отозвался об Обере, но это место в статье он не трогал.

Я имел, таким образом, возможность сделать кое-какие выводы, убедившие меня окончательно в падении оперной музыки и в связи с этим в падении вообще художественного вкуса у современных французов. О той же опере я написал довольно большую статью для моего бесценного друга Винклера, который все еще медлил с определенным извещением о «Риенци».

Пользуясь случаем, я посмеялся над неудачей, постигшей капельмейстера Лахнера. Тогдашний интендант Мюнхенского придворного театра, Кюстнер, заказал для своего друга, которому хотел помочь сделать карьеру, оперное либретто у Сен-Жоржа в Париже, и такой отеческой заботливостью доставил своему протеже высшее счастье, о каком только может мечтать немецкий композитор. Когда появилась «Королева Кипра» Галеви, оказалось, что она написана на сюжет, обработанный и Лахнером. Но и он, и Кюстнер придавали значение не столько действительно хорошему оперному тексту, сколько музыке Лахнера, которая должна была увековечить этот текст. Оказалось, кроме того, что Сен-Жорж изменил посланный в Мюнхен оригинал либретто, но изменения эти заключались лишь в том, что он попросту выпустил несколько интересных эпизодов. Кюстнер пришел в дикую ярость. В ответ на это Сен-Жорж только выразил удивление по поводу того, что от него за жалкую плату ждут текста, предназначенного для одного только немецкого театра. Так как у меня было свое особое мнение о французских

приемах составления оперных либретто, и ничто в мире не заставило бы меня положить на музыку самую эффектную вещь Скриба или Сен-Жоржа, то этот казус показался мне особенно потешным, и я не упустил случая дать исход веселому настроению в статье, рассчитанной на читателей *Abendzeitung*, к числу которых Лахнер, ставший впоследствии моим «другом», не принадлежал.

121

«Reine de Chypre»

Моя работа над оперой Галеви свела меня ближе с ним самим, и мне пришлось иметь не один интересный разговор с этим на редкость добрым, действительно скромным и, к сожалению, слишком рано потерявшим энергию человеком. Его беспредельная леность приводила Шлезингера в отчаяние. Просмотрев мой клавираусцуг, Галеви намеревался ради облегчения, ввести в него некоторые изменения. Но работа у него не двигалась. Шлезингер не мог получить от него корректурных листов, что вызывало задержку в печатании, и он боялся, что опера перестанет пользоваться успехом раньше, чем клавираусцуг будет готов к продаже. Он настоял на том, чтобы я с раннего утра отправлялся к Галеви на квартиру и заставлял его произвести нужные изменения совместно со мной.

В первый раз я пришел к нему в десять часов утра. Он только что встал с постели и заявил, что должен раньше всего позавтракать. Приняв его приглашение, я сел вместе с ним за обильно уставленный стол. Мой разговор, повидимому, заинтересовал его. Скоро явилось несколько друзей, пришел и Шлезингер. Увидав, что Галеви и не думает заниматься корректурами, Шлезингер пришел в бешенство, что на Галеви, впрочем, не произвело никакого впечатления. Самым добродушным образом он стал

жаловаться на судьбу, пославшую ему успех, ибо истинным спокойствием он пользуется только в те периоды, когда оперы его по обыкновению проваливаются: на следующий после провала день ему больше не приходится думать о них. Ему казалось совершенно непонятным, почему «Королева Кипра» так понравилась публике. Он решил, что успех этот создал Шлезингер только для того, чтобы иметь возможность мучить его.

Когда Галеви заговорил со мной по-немецки, кто-то из присутствующих выразил свое удивление, на что Шлезингер заметил, что все евреи умеют говорить по-немецки. При этом Шлезингера спросили, еврей ли он. Он ответил, что был евреем, но принял христианство ради жены. Меня приятно поразил такой непринужденный разговор на тему, которой мы в Германии тщательно избегаем в подобных случаях, считая ее оскорбительной для лица, о котором идет речь. Но так как при таких разговорах корректура не двигалась с места, то Шлезингер обязал меня не отходить от Галеви, пока работа не будет доведена до конца.

Секрет равнодушия Галеви к своим успехам открылся мне во время дальнейшей беседы, из которой я узнал, что ему предстоит богатая женитьба. Вначале я был склонен видеть в этом обстоятельстве позорное подтверждение того, что лишь стремление разбогатеть является у молодых талантов, подобных Галеви, достаточно сильным стимулом для творчества. Вот почему они так часто неспособны создать больше одного творения, действительно подымающегося над уровнем посредственности. Но вскоре я заметил у Галеви своеобразную смесь, с одной стороны, скромности по отношению к собственному таланту, сказывавшейся в том, что он отнюдь не причислял себя к крупным величинам. С другой стороны, отсутствия веры в действительную значимость того, что в то время создавали для французского театра более счастливые авторы,

побуждаемые упорным честолюбием. В нем я, таким образом, в первый раз столкнулся с наивным выражением недоверия к истинной ценности всего нашего творческого труда в рискованной области искусства. Недоверие это, выражаемое, к сожалению, с меньшей скромностью, постоянно являлось для евреев предлогом принимать участие в процессах нашего художественного развития. Один только раз Галеви говорил со мной с серьезной сердечностью. Это было, когда он перед отъездом моим в Германию высказывал мне пожелание успеха, которого я, как ему казалось, заслуживал.

В 1860 году я видел его еще раз. Я узнал, что в то время как парижские фельетонисты нападали на меня с величайшим озлоблением по поводу тогдашних концертов, он отзывался обо мне благожелательно. Это побудило меня посетить его в *Palais de I'institut, Secretaire perpetuel*[73] которого он был с давних пор. Ему, по-видимому, было очень интересно узнать от меня, в чем заключается новая музыкальная теория, которую я отстаивал и о которой он слышал столько невероятных вещей. Он уверял, что в моей музыке он видит только музыку с тем отличием от музыки других, что она кажется ему большей частью очень хорошей. Это дало повод к забавным пояснениям с моей стороны, на которые он отвечал с добродушным юмором, снова выражая мне при этом пожелания успеха в Париже. Но сейчас слова его звучали менее серьезно, чем тогда, когда он отпускал меня в Германию, что я объяснил себе сомнением в возможности добиться здесь чего-нибудь. Из этого последнего свидания я в общем вынес грустное впечатление какого-то увядания, как морального, так и эстетического, одного из последних значительных французских

[73] Постоянным секретарем (*фр.*).

музыкантов. С другой стороны, мне пришлось констатировать среди тех, кого можно назвать последователями Галеви, лишь лицемерие или открытое, наглое эксплуатироэксплуатирование всеобщего упадка.

122

Немецкая история. Фридрих II. Манфред. Фатима

Во время этих работ все мои помышления были направлены на возвращение в Германию, представлявшееся теперь в совершенно новом, идеальном свете. Я всячески старался ближе подойти к тому, что особенно притягивало меня, вызывая страстную жажду скорейшего осуществления моих планов. Отношения с Лерсом вновь пробудили во мне прежнюю склонность смотреть на вещи с серьезной стороны, склонность, которую близкое соприкосновение с театральным миром одно время совершенно заглушило. Отсюда сам собой возник интерес к философским вопросам. Меня поразило, что строгий и чистый Лерс, нисколько не скрывая своих взглядов, как нечто само собой понятное, с большим скептицизмом относится к вопросу о дальнейшем личном существовании нашем после смерти. Он утверждал, что именно такая точка зрения, хотя и не высказываемая открыто, у выдающихся людей является главным стимулом самых великих дел. Выводы отсюда рисовались в некотором тумане, не внушая, однако, никакого ужаса. Напротив, меня скорее радовало сознание, что для размышления и познания передо мной открылось бесконечно широкое поле, мимо которого я до сих пор легкомысленно проходил, не задумываясь ни над чем. От попытки снова обратиться к греческим классикам в оригинале Лерс отговорил меня, утешая тем, что при теперешней фазе моего развития и особенно при внутреннем моем интересе к музыке, я без грамматики и лексикона

и так дойду до нужного мне познания классического мира. Серьезное же и доставляющее истинное наслаждение изучение греческих классиков — далеко не шуточное дело и не может быть предпринято как бы между прочим.

Но зато у меня появилось большое желание основательнее изучить немецкую историю, которую я знал лишь в пределах школьного преподавания. Прежде всего, мне попалась в руки история Гогенштауфенов Раумера. Великие личности вставали предо мной со страниц этого сочинения, как живые. Особенно пленял меня высокоодаренный император Фридрих II, судьба которого возбудила во мне живейшее участие. Тщетно искал я подходящей художественной формы для воплощения этого образа. Зато судьба его сына, Манфреда, казалась мне темой, по существу, не менее значительной, но более доступной. Я набросал план большой пятиактной поэмы, вполне пригодной в то же время и для музыкальной обработки. На создание главной женской фигуры, полной высокого драматизма, меня навели исторические данные, по которым юный Манфред, встретивший повсюду предательство, гонимый церковью и покинутый всеми, во время бегства через Апулию и Абруццо был принят с энтузиазмом сарацинами в Луцерии, нашел у них поддержку и, идя от победы к победе, достиг высшего торжества.

Уже тогда я с радостью подметил способность германского духа оставлять тесные пределы национальности и под любой одеждой схватывать черты общечеловеческого, что в моих глазах роднило его с эллинским гением. В Фридрихе II я видел высшее олицетворение этой способности. Белокурый немец из старинного швабского рода, унаследовавший нормандские владения, Сицилию и Неаполь; давший первый толчок развитию итальянского языка; положивший начало распространению наук и искусств там,

где до сих пор вели между собой борьбу лишь церковный фанатизм и феодальная грубость; сумевший привлечь к своему двору поэтов и мудрецов восточных стран, все очарование арабских и персидских начал культуры и духа, — этот Фридрих II, завершивший Крестовый поход, к досаде предавшего его в руки неверных римского клира, мирным, дружественным соглашением с султаном, и вырвавший для христиан в Палестине такие преимущества, какие едва ли дала бы им самая кровавая победа; этот удивительный император представлялся мне в ореоле отлучения и безнадежной борьбы со злобной ограниченностью своего века, высшим проявлением германского идеала.

Содержанием поэмы являлась судьба его любимого сына Манфреда, которому со смертью старшего брата, с полным разрушением владений отца была предоставлена под верховенством папы лишь внешняя власть над Апулией. Мы находим его в Капуе, в придворной обстановке, соответствующей уже ослабевшему и обессиленному гению великого императора. Он отчаялся в возможности восстановить гогенштауфенскую мощь и пытается заглушить разочарование поэзией и пением. В эту обстановку попадает только что прибывшая с востока юная сарацинка. Напоминая Манфреду о союзе, которым его великий отец соединил Восток и Запад, она убеждает поддавшегося отчаянию героя сохранить наследие императора. Она выступает постоянно как вдохновенная пророчица и умеет держать возгоревшегося к ней любовью королевского сына на почтительном отдалении. Когда апулийские вельможи готовят заговор против Манфреда, а папа отлучает его от церкви, лишая всех ленных владений, она задумывает план бегства и отважно приводит его в исполнение, все время идя впереди, на значительной дистанции. В сопровождении нескольких верных друзей она увлекает Манфреда за собой через дикую горную местность.

Ночью ему является дух Фридриха II, ведущий войска через Абруццы, и указывает ему путь в Луцерию. Туда, в Папскую область, Фридрих II по мирному соглашению переселил остатки сарацинского племени, до тех пор свирепствовавшие в горах Сицилии, и предоставил им, к величайшей досаде папы, в полное владение город, создав союзников в стране, всегда готовой к вражде и измене. Там-то Фатима (так звалась моя героиня) при помощи верных людей приготовила Манфреду сочувственный прием. Восставшие смещают назначенного папой начальника. Манфред прокрадывается через ворота в город, все население которого узнает сына любимого императора и с восторженным энтузиазмом выбирает своим главой, чтобы идти на врагов бывшего благодетеля и покорить всю Апулию.

Но центральным трагическим пунктом действия в поэме остается все усиливающаяся страсть завоевателя к удивительной героине. Она обязана своим происхождением любви великого императора к благородной сарацинке. Мать, умирая, послала ее к Манфреду, предсказав, что она чудесным образом будет содействовать его возвеличиванию, если никогда не отдастся во власть его чувств. Вопрос о том, должна ли Фатима знать, что она сестра Манфреда, я, набрасывая план, оставил пока открытым. Верная своему обету, Фатима, показывавшаяся Манфреду всегда лишь в роковые минуты и в неприступном отдалении, считает теперь, с момента коронования его в Неаполе, свою задачу исполненной. Тайно она должна покинуть его навсегда, чтобы из далекой родины следить за новыми успехами того, кто ей обязан всем. Провожать туда ее должен один только сарацин Нурреддин, товарищ детства, с помощью которого ей главным образом и удалось осуществить спасение Манфреда. Любящий ее со всепоглощающей страстью

Нурреддин, которому она была обещана в жены еще с ранней юности и которому теперь, с грустной покорностью судьбе, она поклялась принадлежать, воспламеняется безумной ревностью, подозревая измену со стороны невесты: ночью перед тайным отъездом она в последний раз прокралась к спящему королю. Взгляд, который Фатима издали посылает в знак прощального привета возвращающемуся с коронации молодому властелину, побуждает ревнивца к немедленному мщению за свою якобы поруганную честь. Одним ударом он убивает пророчицу, с улыбкой благодарящую его за спасение от невыносимой для нее участи. У ее бездыханного тела Манфред понимает, что счастье потеряно для него навсегда.

В разработку этого материала я ввел много пышных сиен и запутанных ситуаций. Сравнивая его с другими знакомыми сюжетами такого же рода, я находил, что все у меня вышло основательно, интересно и эффектно. И все-таки я не мог вдохновиться настолько, чтобы довести работу до конца. Другая тема увлекла меня в это время. На нее навела меня случайно попавшая мне в руки народная книга под названием «Гора Венеры».

123

Народное сказание о «Тангейзере». «Лоэнгрин». Стремление вернуться в Германию

Тот чисто «германский» элемент, к которому меня неудержимо влекло и который я с особенной страстностью пытался уловить, поразил меня сразу в простом народном сказании, построенном на старинной, всем известной песне о Тангейзере. Хотя я был уже знаком со всеми его особенностями из рассказа Тика, но обработка темы уводила меня все больше и больше в область

фантастики, заложенной в меня Гофманом, и ни в каком случае не могла вызвать во мне желания воспользоваться ней как материалом для драматического произведения. Громадное преимущество народной книги заключалось в том, что она устанавливала, хотя и очень мимолетно, связь между Тангейзером и «Состязанием певцов в Вартбурге». С этим последним я был уже знаком из рассказа Гофмана в его «Серапионовых братьях», но я чувствовал, что автор сильно изменил подлинный сюжет, и потому стал искать новых источников, чтобы восстановить интересное сказание в его настоящем виде. В это время Лерс принес журнал Кёнигсбергского немецкого общества с подробной критической статьей Лукаса о «Вартбургском состязании» и приложением текста в старонемецком оригинале. Хотя фактически я почти ничего не мог извлечь для себя отсюда, но автор показал мне германское Средневековье в таких ярких красках, о каких я раньше не имел и представления.

В той же книжке журнала я нашел в виде продолжения «Вартбургского состязания» критический реферат по поводу поэмы о Лоэнгрине с изложением ее содержания в главных чертах.

Предо мной встал совершенно новый мир. Если пока я еще не находил нужной мне формы, то новый образ во всяком случае запечатлелся в моей душе, так что позднее, при знакомстве с различными вариантами сказания о Лоэнгрине, эта фигура определилась для меня с такой же ясностью, с какой теперь обрисовалась фигура Тангейзера.

Под влиянием таких впечатлений неудержимо росло во мне стремление вернуться в Германию, чтобы там, в полном спокойствии творчества, отдаться новому завоеванию родины. Но пока нечего было и думать об этом.

Приходилось бороться с нуждой, державшей меня в Париже. Но все же я делал кое-что в соответствующем моим вкусам направлении. Еще в ранней юности я познакомился в Праге с Дессауэром, не лишенным таланта музыкантом и композитором-евреем, пользовавшимся в Париже довольно широкой известностью и оставившим по себе, главным образом среди своих знакомых, неизгладимую память благодаря своей ипохондрии. Будучи состоятельным человеком, он снискал покровительство Шлезингера, решившего серьезно помочь ему получить заказ для Парижской оперы. Этот Дессауэр, прочитав «Летучего Голландца», стал настаивать, чтобы я ему дал подобный же сюжет, так как музыка для Vaisseau fantome уже заказана Леоном Пийе хормейстеру Дитшу.

Дессауэр получил от директора Пийе обещание подобного же заказа и предлагал мне 200 франков за текст, который соответствовал бы его ипохондрическому темпераменту. На этот раз я использовал свои гофманские воспоминания и без особенного труда напал на сюжет о «Фалунских рудниках». Действительно, разработка этого увлекательного, своеобразного материала удалась мне вполне, да и Дессауэр готов был написать на него музыку. Тем сильнее было его огорчение, когда Пийе отверг мой сценический план по той причине, что сложная инсценировка, особенно второго акта, представила бы непреодолимые затруднения для всегда следующего за оперой балета. Тогда Дессауэр пожелал, чтобы я написал для него текст оратории «Мария Магдалина». Ввиду того, что в тот день, когда он обратился ко мне с этой просьбой, он был настроен особенно мрачно, уверяя, что видел утром собственную голову лежащей на полу перед кроватью, я не отказал ему в его просьбе, но попросил отсрочки, увы, продолжающейся и по сей день.

124

Принятие «Риенци» к постановке

В таких перипетиях прошла наконец зима. Возвращение в Германию, медленно испытывая мое терпение, постепенно становилось все более и более реальным. С Дрезденом я непрерывно вел переписку по поводу «Риенци», и в конце концов хормейстер Дрезденской королевской оперы добряк Фишер, оказавшийся прямодушным и добросовестным человеком, дал мне определенные и внушающие доверие сведения о положении дел. После того как в начале января 1842 года мне сообщили о неожиданно наступившей новой задержке, я получил известие, что все-таки до конца февраля «Риенци» будет готов к постановке. Это вызвало во мне настоящую тревогу, так как трудно было рассчитывать, чтобы мне к тому времени удалось уехать из Парижа. Но скоро и это известие было опровергнуто, и честный Фишер сообщил, что оперу пришлось отложить до осени. Я понял, что она никогда не будет поставлена, если меня самого не будет в Дрездене. Когда же, наконец, в марте граф Редерн, генерал-интендант королевских театров в Берлине, известил меня о принятии «Летучего Голландца», я решил, что теперь должен во что бы то ни стало осуществить в возможно скором времени свое возвращение в Германию.

«Летучий Голландец» дал мне случай сделать некоторые наблюдения, касающиеся немецких театров. Видя, что сюжет его так понравился администрации Парижской оперы, я послал поэму знакомому мне с давних пор директору Лейпцигского театра Рингельгардту. Но этот последний со времен «Запрета любви» питал ко мне нескрываемую неприязнь. Не имея на сей раз ни малейшей возможности упрекнуть меня за чрезмерную «фривольность»

сюжета, он сослался на слишком мрачный его характер. Познакомившись с придворным советником Кюстнером, тогдашним директором Мюнхенского театра, по случаю заказа в Париже «Королевы Кипра», я послал ему текст «Летучего Голландца» с соответственной просьбой. Но и он вернул мне поэму, заявив, что она не подходит к немецким театральным условиям и не отвечает вкусу немецкой публики. Зная, что он заказал для Мюнхена французское либретто, я понял, что должен означать его отказ.

Закончив наконец партитуру, я послал ее с письмом в Берлин к графу Редерну для передачи Мейерберу, прося его ввиду того, что он не мог мне помочь в Париже, оказать непосредственное содействие моему произведению в Берлине. Действительно, быстрое принятие моей оперы, о котором уже через два месяца я получил от графа уведомление, сопровождавшееся чрезвычайно благосклонными заверениями, удивило и обрадовало меня. В этом я увидал доказательство искреннего и деятельного участия, какое принимал во мне Мейербер. Вскоре по моем возвращении в Германию мне странным образом пришлось убедиться в том, что граф Редерн давно уже решил отказаться от управления Берлинским оперным театром и что на его место был приглашен Кюстнер из Мюнхена. Из этого явствовало, что данное мне графом обещание, хотя и было выражено с большой вежливостью, ни в каком случае не могло быть принято всерьез, так как осуществление его зависело не от Редерна, а от его преемника. Что отсюда вытекало, будет видно из следующего.

125

Прощание с друзьями

Столь желанное и вполне обоснованное открывшимися надеждами возвращение в Германию стало наконец возможным благодаря пробудившемуся участию к моему

положению со стороны состоятельных родственников. Как у Дидо были свои основания ходатайствовать перед министром Вильменом о пособии для Лерса, так и моего парижского зятя Авенариуса более близкое знакомство с характером моей нищенской жизни побудило обратиться с подобным же ходатайством к моей сестре Луизе, и в один прекрасный день он обрадовал меня совершенно неожиданной помощью.

26 декабря приближавшегося к концу 1841 года я пришел к Минне с гусем, державшим в клюве пятисотфранковый билет, только что переданный мне Авенариусом через посредство Луизы от ее близкого знакомого, очень богатого купца Шлеттера. Приятное оживление нашего чрезвычайно скромного бюджета само по себе не могло бы, вероятно, привести меня в радостное настроение, если бы не надежда на полное освобождение от парижской нищеты, которая казалась мне все осуществимее. Имея в руках обещание постановки двух произведений на больших немецких сценах, я полагал, что могу теперь снова обратиться к зятю Фридриху Брокгаузу с просьбой о содействии моему возвращению в Германию. Год тому назад, когда в момент величайшей нужды я писал ему на эту тему, он ответил отказом под тем предлогом, что не сочувствует «направлению моей жизни». Но в настоящую минуту я не ошибся. Когда наступило время, я получил от него деньги на путевые расходы.

Благодаря всем этим надеждам и улучшению моего материального положения, я вторую половину зимы, с января 1842 года, провел в гораздо лучшем настроении, что часто оказывалось как нельзя более кстати в небольшом кругу, образовавшемся около меня через родство с Авенариусами. Мы с Минной часто проводили вечера у них и у некоторых других знакомых, среди которых с удовольствием вспоминаю директора частного воспитательного

заведения Кюне с женой. Как своим разговором, так и веселой готовностью импровизировать за роялем танцы, которые молодежь охотно плясала, я настолько содействовал успеху таких суаре, что скоро стал пользоваться в этих кругах всеобщей, временами даже тяготившей меня симпатией.

Наконец пробил час избавления. Настал день, когда я мог покинуть Париж, как я надеялся всем сердцем, навсегда. Это было 7 апреля. Париж сиял первым пышным весенним расцветом. Перед нашими окнами, выходившими в сад, который зимой казался пустынным, теперь зеленели деревья и чирикали птицы. Невыразимо велико было волнение наше при прощании с бедными верными друзьями Андерсом, Лерсом и Китцем. Андерса, казалось, уже подстерегала смерть, так как здоровье его при пожилом возрасте было сильно расшатано. Что касается Лерса, то относительно него, как я уже упомянул, не могло быть никаких сомнений. Ужасно было видеть на опыте двух с половиной лет, проведенных в Париже, какие страшные опустошения произвела нужда в короткий промежуток времени среди добрых, благородных, отчасти даже выдающихся людей. Китц, будущность которого внушала мне большие опасения, не столько в смысле здоровья, сколько с нравственной стороны, тронул нас еще раз безграничной, почти детской добротой. Он вообразил, что, может быть, не хватит денег на путевые издержки, и навязал мне, несмотря на все мое сопротивление, еще пятифранковую монету, приблизительно все, что у него самого оставалось в эту минуту. В самый последний момент он сунул мне пакет хорошего французского нюхательного табаку в дилижанс, который повез нас мимо бульваров к городской заставе. Мы не видели ничего сквозь обильные слезы, которые текли из наших глаз.

Часть вторая
1842–1850

126

На немецкой границе. Horselberg. Дрезден. Свидание с матерью

В то время путешествие из Парижа в Дрезден длилось пять дней и четыре ночи. В Форбахе на немецкой границе мы застали снежную скверную погоду. После парижской весны это особенно неприятно поразило нас, как неласковая встреча. И действительно, по мере углубления во вновь обретенную немецкую родину мы натыкались на многое, что действовало на нас угнетающим образом, и я понял, что французские путешественники не так уж неправы, когда, возвращаясь из Германии домой и ступив на французскую почву, облегченно вздыхают и расстегивают все пуговицы, как бы переходя непосредственно от зимы к лету. Мы же, наоборот, были принуждены, защищаясь от крайне ощутимой, резкой разницы в температуре, кутаться во все, что могли.

Но наше путешествие превратилось в истинную муку, когда на пути из Франкфурта в Лейпциг мы попали в компанию торговцев, отправлявшихся на почтовых лошадях на пасхальную лейпцигскую мессу. В эту пору по всему пути лошади и почтовые повозки брались нарасхват, и нам пришлось в бурю, снег и дождь в течение двух дней и одной ночи трястись на запасных тележках, что подействовало на нас приблизительно так же, как прежний переезд по морю. Единственное отрадное впечатление за все время путешествия испытал я, когда мы проезжали мимо Вартбурга: солнце как раз в эту минуту выглянуло ненадолго из-за туч, и вид горного замка, кажущегося особенно красивым со стороны Фульды, вызвал во мне чрезвычайно теплое чувство. Отдаленный горный склон, расположенный

в стороне, я тут же окрестил Хёрзельбергом, и пока мы проезжали долину, у меня целиком сложилась декорация для третьего акта «Тангейзера». Всю эту картину я запечатлел в своем воображении. Впоследствии, точно восстановив план местности, я поручил воспроизвести ее парижскому художнику-декоратору Деплешену.

Полно глубокого значения было для меня уже то обстоятельство, что как раз теперь, на пути из Парижа домой, я переправился через сказочный немецкий Рейн. Но еще больший пророческий смысл таился, как мне казалось, в том, что я впервые увидел во всем его живом великолепии полный исторических преданий и богатый сказаниями Вартбург. Эти впечатления так благодетельно подействовали на меня, что, несмотря на ветер и бурю, на евреев и на лейпцигскую мессу, мы с моей бедной, разбитой и озябшей женой, счастливые и бодрые, прибыли в Дрезден (12 апреля 1842), в тот самый Дрезден, откуда я принужден был, расставшись с Минной, удалиться в изгнание на север.

Мы заехали в гостиницу *Zur Stadt Gotha*[74]. Город, в котором я провел свои лучшие детские и юношеские годы, показался мне под влиянием сумрачной угрюмой погоды особенно холодным и мертвым: точно все, что могло здесь напомнить мою юность, вымерло. Некому было радушно приютить нас. Родители жены сильно нуждались, жили в бедной, тесной квартире, и нам пришлось сейчас же заняться приисканием для себя маленького помещения. Мы нашли квартирку на Тёпфергассе с платой по семь талеров в месяц. Сделав несколько необходимых визитов, связанных с «Риенци», и обеспечив Минну на короткий срок моего отсутствия, я отправился 15 апреля в Лейпциг, где впервые за целых шесть лет повидался с матушкой и родными.

---

[74] «Под Готой» (*нем.*).

За это время, бывшее для меня столь роковым, со смертью сестры Розалии, значительно изменился весь уклад жизни моей матушки. Она жила теперь в веселой и просторной квартире недалеко от Брокгаузов, в приятном безделии, свободная от всяких забот по хозяйству, которым прежде при большой семье отдавала все свои силы, все свое внимание. Характер ее также изменился: прежняя стремительность совершенно исчезла, и со свойственной ей природной веселостью она отдалась заботам о благополучии своих замужних дочерей. Матушка наслаждалась счастливой, спокойной и ясной старостью, и всем этим была главным образом обязана сердечно теплым заботам о ней зятя Фридриха Брокгауза, за что и я, со своей стороны, почувствовал глубокую к нему благодарность. Когда я неожиданно вошел к ней в комнату, она испугалась и обрадовалась. Всякий след былой между нами горечи исчез, и матушка сожалела лишь об одном, что не может оставить меня у себя вместо брата Юлиуса, несчастного золотых дел мастера, о котором она не могла сообщить ничего отрадного. Она выразила твердую веру в торжество моего дела. Бедная Розалия перед самой смертью высказалась в мою пользу, и ее предсказания сильно поддерживали в матушке надежды на мой успех.

127

Берлин. Свидание с Мейербером. Мендельсон. Лейпциг. У шурина Германа Брокгауза. Двести талеров. Старый друг Апель

На этот раз я оставался в Лейпциге всего лишь несколько дней и поехал отсюда в Берлин, где мне необходимо было повидаться с графом Редерном по вопросу о постановке «Летучего Голландца». Здесь, как уже сказано, я узнал, что граф намерен отказаться от заведования театральным делом. Сам же он направил меня к новому

интенданту, г-ну фон Кюстнеру, которого, однако, в это время в Берлине не было. Стало сразу ясно, что означает для меня вся эта перемена, и я понял, что при таких условиях совершенно незачем было ехать сюда: я мог спокойно оставаться в Париже.

Еще более окрепло во мне это чувство после визита к Мейерберу, который дал мне понять, что с поездкой в Берлин я погорячился. Тем не менее он принял меня очень любезно, был весьма милостив, но высказал сожаление, что «готовится» теперь к отъезду, — состояние, в котором я неизменно находил его всякий раз, как только посещал его в Берлине. В это время в Берлине находился и Мендельсон, приглашенный королем прусским на пост генерал-музикдиректора. Я сделал визит и ему, так как уже раньше был ему представлен в Лейпциге. От него я узнал, что он не верит в успех своей деятельности в Берлине и охотно вернулся бы обратно в Лейпциг. Много лет тому назад я почти навязал ему партитуру моей большой симфонии, которая была уже некогда исполнена публично в Лейпциге. О судьбе этой партитуры я его не спросил, он же со своей стороны ни словом не дал мне понять, что помнит о необыкновенном подарке. В общем на меня повеяло от него, от всей его богатой домашней обстановки холодом, хотя должен сознаться, что не столько он отстранялся от меня, сколько я сам сознательно держался от него в отдалении.

Посетил я затем Рельштаба, к которому у меня было письмо от постоянного его издателя, моего зятя Брокгауза. Здесь я чувствовал себя тверже, но тем определеннее отдавало холодом с его стороны; он его и не скрывал, не показывал даже и виду, что может мной заинтересоваться. Душевное настроение мое чрезвычайно испортилось, и я невольно вспоминал комиссионсрата Церфа. Несколько

лет тому назад я тоже пережил в Берлине прескверное время, однако я встретил тогда хоть одного человека, который при своей внешней резкости проявлял по отношению ко мне много истинно дружеского участия. Тщетно искал я тот Берлин, по которому мы некогда разгуливали с Лаубе, оба охваченные юношеским возбуждением. После Лондона и в особенности Парижа этот город с его длинными унылыми улицами — здесь это сходит за величие — произвел на меня удручающее впечатление. Я сказал себе, что, если мне действительно не суждено ничего добиться, я желал бы прийти к такому убеждению лучше уж в Париже, чем в Берлине.

Возвращаясь из моей совершенно бесплодной поездки, я заехал на несколько дней в Лейпциг и остановился у зятя моего, профессора Германа Брокгауза, занимавшего теперь кафедру восточных языков при Лейпцигском университете. Семья его пополнилась еще двумя девочками. В этом доме царило ясное спокойствие, атмосфера духовной отзывчивости, живого участия ко всему, что касается высших интересов жизни, и меня, бездомного человека, принужденного вечно скитаться, все это глубоко волновало. Когда однажды вечером сестра, снарядив послушных детей ко сну, нежно попрощалась с ними, а в обширной, прекрасно обставленной библиотеке сделаны были все приготовления, располагавшие к продолжительной дружеской беседе за ужином, я не выдержал и разрыдался.

Сестра знала мою жизнь в Дрездене лет пять тому назад, в пору величайших забот, связанных с моим юношеским браком, и, по-видимому, меня поняла. По почину шурина Германа она предложила мне заем, который дал бы мне возможность ждать постановки «Риенци» в Дрездене. Оба уверили меня, что считают это просто своей обязанностью, что я не должен питать на этот счет никаких

сомнений. Речь шла о 200 талеров, которые я должен был получать ежемесячными частями в течение полугода. Так как ни на что другое я не мог рассчитывать, то Минне предстояло максимально напрячь все свои хозяйственные таланты. Но все же прожить при таких условиях было возможно, и, значительно успокоенный, я мог вернуться в Дрезден.

В это посещение Лейпцига я впервые познакомил родных с «Летучим Голландцем»: я сыграл и пропел эту оперу полностью, в связной форме, и мне казалось, что я сумел вызвать интерес к ней. По крайней мере, впоследствии, когда сестра Луиза присутствовала на постановке оперы в Дрездене, она жаловалась, что исполнение артистов совсем не дало ей тех ощущений, которые она испытала, слушая оперу в моей интерпретации. Здесь же я снова разыскал моего старого друга Апеля. Бедняга ослеп совершенно, но был весел и вполне доволен своей судьбой, чем очень удивил меня и отнял навсегда повод для проявления какой бы то ни было жалости по отношению к нему. Так как он определенно заявил, что узнает на мне мой синий сюртук, хотя на мне был коричневый, я счел за лучшее не вдаваться по этому поводу ни в какие споры и покинул Лейпциг, удивленный тем, что здесь все счастливы и чувствуют себя хорошо.

128

Генерал-директор Люттихау и капельмейстер Райсигер. Davidchen. Веселые беседы за картошкой с селедкой. Фердинанд Гейне. Предварительные подготовки и постановка «Риенци». Купюры

Вернулся я в Дрезден 26 апреля, и здесь я нашел возможность проявить больше активности в заботах о моей дальнейшей судьбе. Непосредственное общение с лицами,

которым предстояло участвовать в постановке «Риенци», оживило меня и окрылило надеждами. Правда, некоторые сомнения вызвало во мне холодное отношение генерал-интенданта фон Люттихау и капельмейстера Райсигера, которые совершенно открыто выразили свое удивление по поводу моего приезда в Дрезден. Даже постоянно получавший от меня корреспонденцию мой покровитель придворный советник Винклер был того мнения, что лучше бы мне оставаться еще в Париже. Но, как я уже знал по опыту и как неоднократно убеждался в этом впоследствии, истинную, бодрящую поддержку я всегда находил в низах, а не на верхах.

Удивительно сердечно встретил меня прежде всего старый хормейстер Вильгельм Фишер. Мы с ним не были близко знакомы, но он оказался единственным человеком, имевшим ясное представление о моей партитуре. Он серьезно надеялся на успех оперы и энергично принялся за ее проведение на сцену. Когда я вошел к нему в комнату и назвал свое имя, он с громким криком бросился обнимать меня, и я сразу почувствовал себя в атмосфере, полной надежд. Кроме него, нашел я сердечный прием и даже искреннюю и деятельную дружескую поддержку со стороны актера Фердинанда Гейне и его семьи. Его я знал еще с детства. Он принадлежал к числу тех немногих молодых людей, которых охотно принимал мой отчим Гейер. Кроме незначительного дарования к живописи, его ценили главным образом за приятную общительность, и это открыло ему доступ в наш тесный семейный круг. Очень небольшого роста и тщедушный, он получил от моего отца кличку *Davidchen*[75] и принимал участие в собраниях и пикниках, о которых я уже упоминал, на которых вместе с другими благодушно веселился и Карл Мария фон Вебер. Гейне

---

[75] «Маленький Давид» (*нем.*).

был актер старой «хорошей» школы и мог бы быть полезным в Дрезденском театре, но не занимал никакого видного положения. Он обладал знаниями и способностями хорошего режиссера, но никогда не умел войти в такую милость у администрации, чтобы получить соответствующее место. Как художника по костюмам, дирекция все-таки признавала его, и он был привлечен к совещаниям по вопросу о постановке «Риенци». Таким образом, ему пришлось принять участие в заботах о произведении юного отпрыска той самой семьи, в среде которой он в свои молодые годы, провел столько приятных часов.

Он встретил меня как своего человека. На родине, оказавшейся столь неприветливой по отношению к бездомным скитальцам, я впервые почувствовал у него что-то близкое. Мы проводили с Фишером у Гейне большинство вечеров и за картошкой с селедкой, из которых обыкновенно состоял наш ужин, весело беседовали о наших надеждах. Шрёдер-Девриент была в отпуске, Тихачек тоже собирался в отпуск, и с ним я успел только мельком познакомиться и поверхностно просмотреть кое-что из его роли Риенци. Это был свежий, живой человек, с прекрасным голосом, с большими музыкальными способностями, и его уверения, что он рад роли Риенци, произвели на меня особенно отрадное впечатление. Гейне убеждал меня, что Тихачек уже потому живейшим образом заинтересован этой ролью, что его привлекает перспектива целого ряда новых костюмов и в особенности новых серебряных доспехов: из-за одного этого я могу быть относительно него совершенно спокоен.

При таких обстоятельствах я приступил к подготовительным работам по постановке оперы. Серьезное изучение ее должно было начаться к концу лета, по возвращении главных певцов из отпуска. Прежде всего, пришлось успокоить друга Фишера и согласиться на некоторые сокращения

чересчур объемной партитуры. Он относился к этому вопросу так добросовестно, что я охотно привлек его к этой трудной работе. На старом инструменте в комнате придворного театра, предназначенной для репетиций, я играл и пел мою партитуру с такой яростной энергией, что поверг его в совершенное изумление. Махнув окончательно рукой на судьбу злосчастного инструмента, он боялся только за целостность моих легких. Смеясь от всей души, он, наконец, совсем отказался от дальнейших попыток сократить оперу, так как всякий раз, как только он указывал на возможность какой-нибудь купюры, я с увлечением принимался доказывать, что это место и есть самое главное, самое нужное. С головой окунулись мы с ним в безграничное море звуков, и в конце концов у него в распоряжении оказался только один довод против меня — ссылка на карманные часы. Но я усомнился и в них. С легким сердцем я пожертвовал ему большую пантомиму и большую часть балета во втором действии, что, по моему мнению, сокращало спектакль на полчаса. В таком виде мы, благословясь, передали наше чудовище в руки переписчика. Остальное, полагали мы, образуется само собой.

129

Кюстнер. Старший брат Альберт. Пошлые условия театрального быта. Пятнадцатилетняя падчерица Иоанна. «Роза, как ты хороша». «Под дубом»

Теперь нам с женой оставалось обдумать, где провести лето. Я решил на несколько месяцев поселиться в Теплице, куда в детстве совершал чудесные прогулки. Прекрасный воздух и целебные источники должны были оказаться очень полезными для расшатанного здоровья Минны. Однако до выполнения этого плана мне пришлось несколько раз съездить в Лейпциг, чтобы обеспечить судьбу «Летучего Голландца». 5 мая я отправился на свиданье с Кюстнером,

новым берлинским интендантом, который недавно туда приехал. Положение Кюстнера по отношению ко мне было чрезвычайно затруднительно: ему предстояло поставить в Берлине ту самую принятую его предшественником оперу, которую, будучи в Мюнхене, он забраковал. Он обещал мне, однако, подумать, что он может сделать при таких исключительных условиях. Чтобы узнать результат его размышлений, я решил отправиться 2 июня в Берлин, но нашел уже в Лейпциге письмо, в котором Кюстнер просил не торопить его, а потерпеть еще некоторое время.

Тогда я воспользовался близостью расстояния и съездил в Галле повидаться со старшим братом Альбертом. Положение бедняги с его семейством произвело на меня угнетающее впечатление и вызвало глубокую жалость. Я не мог отказать ему в значительном даровании драматического певца, знал за ним стремление к высокому и прекрасному, а здесь, среди недостойных и пошлых условий театрального быта, он влачил самое жалкое существование. Я хорошо был знаком с подобными условиями жизни, сам некогда испытал их «прелесть», и теперь они внушали мне неописуемый ужас. И тем больнее было слышать, как говорил обо всем этом брат: из его речей было ясно, как безнадежно и всецело втянулся он в такую жизнь. Лишь одно бодрящее впечатление вынес я из этого посещения. Оно было вызвано поразительно прекрасным голосом и всем юным существом пятнадцатилетней падчерицы моего брата Иоганны, которая с чувством, положительно тронувшим меня, спела песню Шпора *Rose, wie bist du so schen*[76].

Отсюда я вернулся в Дрезден и, забрав Минну и одну из ее сестер, отправился при чудесной погоде в Теплиц.

[76] «Роза, как ты хороша» (*нем.*).

Сюда мы прибыли 9 июня и поселились в Шёнау, в гостинице *Zur Eiche*[77]. Скоро мы встретились с матушкой, которая издавна брала здесь каждое лето теплые целебные ванны и на этот раз предприняла поездку тем охотнее, что надеялась найти в Теплице и меня. Прежде из-за моей чересчур ранней женитьбы она относилась к Минне с невольным предубеждением, теперь же, познакомившись с ней поближе, она полюбила и научилась уважать подругу моей тяжелой, полной страданий парижской жизни. Матушка вообще была очень капризна, и в отношениях с ней приходилось подлаживаться под ее настроение. Но меня глубоко радовало, что она сохранила поразительную, почти юношескую свежесть фантазии, до такой степени чуткую, что однажды из-за моего рассказа накануне вечером легенды о Тангейзере она провела бессонную ночь, полную приятной тревоги.

130

В богемских горах. На развалинах романтического Шрекенштейна. Трехактная опера «Гора Венеры». Шредер-Девриент. Рутина сознательно рассчитанных эффектов. Разлагающее влияние театральной среды. Мучительные занятия

Списавшись с богатым лейпцигским меценатом Шлеттером об оставшемся в Париже в крайней нужде Китце, устроив затем лечение Минны и приведя кое-как в порядок собственные скудные финансы, я отправился на несколько дней по старой, с детства усвоенной привычке побродить в Богемских горах, чтобы там во время прелестной прогулки разработать концепцию «Горы Венеры». В горах у Аусcига, на развалинах романтического Шрекенштейна, я решил провести некоторое время. В небольшой гостиной мне постелили на ночь солому.

[77] «Под дубом» (*нем.*).

Ежедневные восхождения на Вострай, высочайшую горную вершину в этой местности, освежали меня, а одиночество в сказочной обстановке воскрешало юношеские настроения настолько, что однажды, закутавшись в простыню, я при свете луны лазил по руинам Шрекенштейна всю ночь напролет. Мне недоставало привидений, и я хотел заменить их собственной персоной. Я был в восторге от одной мысли, что могу нагнать страху на кого-нибудь. Здесь я набросал в своей записной книжке подробный план новой трехактной оперы «Гора Венеры» и по этому плану впоследствии написал стихотворный текст.

Однажды при восхождении на Вострай, огибая угол одной долины, я услышал поразительно интересную плясовую мелодию. Ее насвистывал пастух, лежа на возвышении, и мне тут же представилось, что по долине проходит хор пилигримов, среди которых нахожусь и я. Однако впоследствии мне не удалось воскресить в памяти эту пастушью мелодию, и пришлось помочь себе обычным путем.

Обогащенный всеми этими впечатлениями, я вернулся в Теплиц с окрепшим здоровьем, в превосходном настроении. Вскоре затем я получил интересное известие о предстоящем в ближайшем будущем приезде Тихачека и Шрёдер-Девриент в Дрезден. Я поторопился туда не столько для того, чтобы не опоздать к репетициям «Риенци», сколько с целью помешать дирекции в мое отсутствие вместо «Риенци» заняться чем-нибудь иным. Минну я оставил на время в Теплице в обществе матушки, а сам отправился в Дрезден 18 июля.

На этот раз я снял небольшую квартиру в одном странном доме, ныне снесенном, выходившем на Максимилиан-аллее, и сейчас же вступил в живое общение с вернувшимися из отпуска главными певцами оперы. Былое восхищение Шрёдер-Девриент воскресло во мне снова, когда я

опять увидел ее на сцене, на этот раз в *Blaubart*[78] Гретри, и это обстоятельство особенным образом на меня повлияло. Дело в том, что именно «Синяя борода» была первой оперой, которую я услышал — здесь же, в Дрездене, — будучи еще пятилетним ребенком. Она произвела на меня тогда чарующее впечатление, до сих пор не забытое. События раннего детства ожили во мне, и я вспомнил, как некогда я распевал с большим пафосом, с бумажным шлемом собственного изготовления на голове, к великому удовольствию всех домашних, арию рыцаря Синяя Борода: «*Ha! Du Falsche! Die Türe offen!*»[79] Друг наш Гейне тоже помнил все это.

В других отношениях здешняя опера очень мало меня удовлетворяла: оркестр казался мне бедным, особенно после парижского полного струнного оркестра с его силой звучания. Я заметил, что, открывая новое прекрасное театральное здание, здесь совершенно упустили из виду необходимость в соответствии с расширенными размерами зала увеличить в оркестре количество струнных инструментов. В этом, как и во многих других существенных подробностях по оборудованию сцены, сказалась известная скудость, характерная для немецкого театра вообще. Особенно резко бросалось это в глаза при исполнении вещей, входящих в репертуар Парижской оперы, что еще больше подчеркивалось необыкновенно жалким переводным текстом. Уже в Париже меня угнетало в этом отношении чувство глубокой неудовлетворенности, здесь же во мне снова с большей силой ожили те ощущения, которые некогда погнали меня от немецких театров в Париж. Я почувствовал себя как бы униженным, и в глубине души во мне зрело презрение, достигшее такой остроты, что не хотелось

---

[78] «Синяя борода» (*англ.*).

[79] «О, коварная! Дверь открыта!» (*нем.*).

больше и думать о сколько-нибудь прочной связи с каким бы то ни было — хотя бы даже лучшим — из немецких оперных театров. Напротив, я с тоской думал о том, что предпринять, как найти выход из этого противоречия между желаниями, с одной стороны, и чувством отвращения — с другой.

Помогло мне справиться со всеми тягостными сомнениями то участие, которое вызвали к себе некоторые отдельные, необыкновенно одаренные натуры в театральной труппе. Прежде всего, это относится к моей великой наставнице Шрёдер-Девриент, о совместной деятельности с которой я некогда мечтал как о высшей чести. Конечно, со времени первых юношеских впечатлений прошел довольно длинный ряд лет. Что касается ее внешности, то посетивший Дрезден в следующую зиму Берлиоз отозвался о ней в одном из своих сообщений в Париж неодобрительно. Он полагал, что ее полнота чересчур зрелой матроны делает ее появление в ролях молодых, особенно в мужском костюме, как в «Риенци», неудобным, способным расхолодить впечатление. Ее голос, никогда не принадлежавший к разряду необыкновенных по своим природным данным, нелегко справлялся с трудностями: приходилось сплошь и рядом тренировать его в темпе. Больше, однако, чем эти физические недостатки, певице вредили обстоятельства другого рода: ее репертуар состоял из ограниченного числа излюбленных ролей, так что у нее выработалась известная неподвижность, рутина сознательно рассчитанных эффектов, создалась определенная однообразная манера игры. И эта манера при некоторой склонности к преувеличениям временами производила впечатление почти мучительное. Все это от меня не ускользало, но зато мне же были более, чем кому бы то ни было, ясны и ее достоинства: минуя недостатки, я отчетливо,

с глубоким восторгом любовался тем великим, что давала в своем творчестве эта несравненная артистка.

Нужны были новые благоприятные условия — необычайно подвижная жизнь доставляла ей немало импульсов в этом отношении, — чтобы творческая энергия ее молодых лет воскресала в ней с прежней силой. В этом смысле она не раз давала мне самые возвышенные впечатления. Несколько расхолаживало и возбуждало подозрительность только зрелище того разлагающего влияния, какое оказала на благородный и возвышенный характер артистки театральная среда. Из уст, из которых до меня доносилось вдохновенное пение великой драматической артистки, я принужден был выслушивать почти те же речи, что и от всех театральных героинь. Она совершенно неспособна была примириться с мыслью, что любая посредственность, благодаря лишь тому, что обладает от природы хорошими голосовыми средствами и привлекательной внешностью, может стать ее соперницей и пользоваться одинаковым с ней успехом у публики. Гордая скромность, приличествующая великой артистке, была ей в этом отношении недоступна, и с годами, напротив, она становилась все ревнивее.

Все это я хорошо видел, но лично на мне это пока почти не отражалось. Несравненно большие затруднения создавались из-за другой ее особенности: она нелегко усваивала новую музыку. Поэтому изучение всякой новой партии было связано для нее с большими трудностями, а для композитора, который ставил себе целью пройти с ней свою вещь, это сводилось к длинному ряду мучительных занятий. Медленно разучивая партию Адриано в «Риенци», как и всякую вообще новую партию, она постоянно охладевала к своей роли, что ставило меня в очень трудное положение.

131

Тихачек. Старый набросок. Недоверчивая супруга капельмейстера. Репетиции «Риенци». Зильбергрош

Если со Шрёдер-Девриент при сложности ее натуры ладить было нелегко, то с детски ограниченным и поверхностным, но необыкновенно одаренным Тихачеком дело шло удивительно гладко. Он не старался заучивать свою партию наизусть, будучи настолько музыкален, что самые трудные ноты читал с листа. Всякое изучение он находил законченным с самого начала, тогда как у большинства певцов все дело сводится именно к тому, чтобы верно брать написанную ноту. Пропев достаточное число раз партию на нескольких репетициях и запечатлев ее в памяти, он об остальном уже не заботился: отделка в пении и игра — все это должно было явиться само собой. Описки в тексте партии он заучивал накрепко, и нелепые слова произносил с такой же отчетливостью и энергией, как и верные. Всякие замечания или советы, относящееся к работе над ролью, он отклонял с благодушным пылом, утверждая, что «все в свое время найдется». Очень скоро я принужден был совершенно отказаться от всяких попыток заставить Тихачека понять сущность моего героя. Он был этим чрезвычайно доволен, а я, со своей стороны, был вполне награжден как той необыкновенно милой готовностью и энтузиазмом, с какими он принялся за свою благодарную задачу, так и чарующим действием его великолепного голоса.

Кроме этих исполнителей двух главных ролей, в моем распоряжении были лишь очень посредственные силы. Но доброй воли у всех было достаточно, и даже капельмейстер Райсигер стал аккуратно являться на фортепьянные репетиции в фойе. Чтобы побудить его к этому, мне пришлось прибегнуть к хитроумному приему. Райсигер не раз

жаловался на то, как трудно найти хороший текст для оперы, и считал очень разумным, что я сам сочиняю для себя либретто. Он, к сожалению, упустил время и не научился этому искусству в юности, что и служило главной помехой его успеху в качестве драматического композитора; ведь и я — полагал он — должен признать, что у него «очень много мелодии». Однако одного этого было недостаточно, чтобы вызвать у певцов творческое вдохновение.

Он убедился в этом на примере Шрёдер-Девриент. Финал в опере Беллини «Ромео и Юлия» она поет с таким воодушевлением, что приводит публику в экстаз, а точно такой же финал в его опере *Adele de Foix*[80] она проводит совершенно равнодушно. Причина здесь кроется, конечно, только в сюжете. И я тут же обещал дать ему готовый оперный текст, к которому он с величайшим эффектом легко приладит сколько угодно своих мелодий. На это он согласился с великой радостью. Я решил мой старый набросок к «Небесной невесте», составленный по роману Кёнига, тот самый, который я некогда послал Скрибу, переложить на стихи и в качестве подходящего оперного текста подарить Райсигеру. Каждый раз, когда он приходил на занятия с певцами, он должен был получать от меня страницу стихов, и я честно выполнил свое обязательство, пока все либретто не было закончено.

Очень удивило меня, когда спустя некоторое время я узнал, что Райсигер заказал некоему актеру Критэ новое либретто к опере, озаглавленной *Der Schiffbruch der Medusa*[81]. Оказалось, что недоверчивая супруга капельмейстера с величайшей подозрительностью отнеслась к моему желанию уступить ее мужу ни с того ни с сего готовое либретто

---

[80] «Адель де Фуа» (*фр.*).

[81] «Кораблекрушение Медузы» (*фр.*).

к опере. Оба они нашли, правда, что либретто хорошо написано и богато эффектными местами, но заподозрили коварную ловушку, которую надо обойти с величайшей осторожностью.

Таким образом, либретто опять вернулось ко мне, что дало мне впоследствии возможность выручить старого друга Китля в Праге. По этому либретто он написал в своей манере оперу под заглавием *Die Franzosen vor Nizza*[82], которая, как меня уверяли (сам я ее не видал), часто и с успехом ставилась в Праге. Это обстоятельство подало одному пражскому критику повод разъяснить мне, что мое либретто свидетельствует о моем настоящем призвании — быть либреттистом, и что с моей стороны чистое заблуждение заниматься музыкальными композициями. Напротив, Лаубе, основываясь на «Тангейзере», утверждал, что истинным для меня несчастьем было то, что я не догадался заказать какому-нибудь опытному сочинителю театральных пьес хорошее либретто для моей музыки.

На этот раз мой прием привел к желанной цели: Райсигер аккуратно являлся на репетиции «Риенци». Еще больше, однако, чем стихи, этому способствовал все увеличивавшийся у певцов интерес к опере, в особенности искренний восторг Тихачека. Обыкновенно он охотно уклонялся от занятий за фортепьяно в театральном фойе, если представлялся случай поехать куда-нибудь с компанией на охоту. Теперь же на спевки «Риенци» он являлся, как на праздник, с блестящими глазами, в великолепном и очень шумном настроении. Для меня же эти репетиции проходили в сплошном упоении, особенно любимые места артисты сопровождали выражениями восторга, а ансамбль в финале третьего действия, к сожалению,

---

82 «Французы перед Ниццей» (*фр.*).

совершенно выпускавшийся впоследствии на всех представлениях (из-за его длины), послужил даже своеобразным источником дохода. Тихачек заявил однажды, что это h-moll'ное место так прекрасно, что за него следует что-нибудь платить, и положил на стол зильбергрош, приглашая остальных певцов последовать его примеру. Все со смехом приняли его приглашение. Потом всякий раз, как только доходило до финала, так и говорили: «Теперь наступает номер с нойгрошами», а Шрёдер-Девриент, вынимая кошелек, заявляла, что эта опера ее окончательно разорит. Мне добросовестно вручалась эта странная тантьема, и никто не подозревал, как часто она помогала мне и жене справиться с трудным вопросом об обеде.

132

Комбинированные спевки. Успех. Стакан вина и ломоть хлеба. Канун первого представления. Человек, которого ждет необыкновенная судьба

В начале августа вернулась в Дрезден из Теплица Минна. С ней на короткое время заехала к нам и матушка. Мы жили в холодной квартире, терпели лишения, но, полные надежд, ждали момента освобождения и победы. Приготовления к «Риенци» заняли весь август и сентябрь, так как работа то и дело прерывалась из-за вечных колебаний и перемен, обычных в репертуаре немецкого оперного театра. Только в октябре комбинированные спевки приняли такой характер, который сообщал уже уверенность в близкой постановке. Когда же начались репетиции ансамблей и оркестра, то каждому из участников стало ясно, что оперу ждет крупный успех. Наконец, приступили к общим репетициям на сцене театра, и их успех был положительно опьяняющий. Когда мы впервые провели полностью с законченной инсценировкой первую сцену второго акта, где появляется глашатай мира, все были охвачены волнением. Даже

Шрёдер-Девриент, недовольная своей ролью, которая не давала ей возможности стать центральной фигурой драмы, на мои вопросы, обращенные к ней, едва в состоянии была ответить что-нибудь: слезы душили ее и мешали говорить.

Я думаю, что весь театральный персонал до последнего человека любил тогда меня и восторгался мной, как истинным чудом. Я не впаду в ошибку, если скажу, что здесь большую роль сыграло участие и теплое сочувствие к молодому композитору, находящемуся, как это знали все, в крайней нужде и теперь из полнейшей неизвестности становящемуся сразу знаменитостью, во всем блеске славы. Когда во время перерыва на генеральной репетиции артисты рассыпались кто куда, чтобы позавтракать и успокоить утомленные нервы, я один остался на опустевшей сцене и уселся тихо на дощатых подмостках. Я не мог устроиться, как они, и не хотел, чтобы кто-нибудь заметил это. Однако один старый итальянец, певец-инвалид, исполнявший в «Риенци» маленькую роль, видимо, понял это и предложил мне добродушно стакан вина и ломоть хлеба. Впоследствии я был вынужден, как мне ни больно было, отнять у него эту маленькую роль, что навлекло на него гнев его жены, и он из друга превратился, следуя ее внушениям, в моего врага. Когда в 1849 году мне пришлось бежать из Дрездена, я узнал, что именно этот певец донес в полицию, будто я участвовал в восстании. Тогда я вспомнил завтрак на генеральной репетиции «Риенци» и отнесся к этому факту как к наказанию за неблагодарность, так как сознавал себя виноватым в его позднейших семейных неурядицах.

Я ожидал первого представления в таком настроении, какого я не испытывал никогда. Разделить со мной это настроение приехала из Кемница моя добрая сестра Клара. Там она вела скучную мещанскую жизнь и поспешила в Дрезден, чтобы освежиться, приняв участие в треволнениях моей судьбы. Несчастная сестра, недюжинное артистическое дарование которой так быстро заглохло, с трудом

влачила тривиальное существование жены и матери, и здесь, в атмосфере растущего успеха, она почувствовала себя причастной к моим достижениям. С ней и с превосходным хормейстером Фишером мы проводили вечера в семье Гейне и за неизменной селедкой с картофелем переживали прекрасные минуты. Вечером накануне первого представления мы устроили даже пирушку с пуншем, и блаженство наше достигло предела. Счастливые, как дети, смеясь и плача, разошлись мы в эту ночь, чтобы подкрепиться сном и встретить день, несомненно, обещающий великий переворот в моей судьбе.

20 октября 1842 года я решил не заходить к артистам, чтобы как-нибудь не помешать им. Однако утром я встретил на улице одного из них, несколько скучного, но очень дельного певца, чопорного и педантичного Риссе, исполнявшего в моей опере небольшую басовую парию. Утро свежее, но ясное и солнечное сменило бывшие до того хмурые, ненастные дни. Риссе поздоровался и, как пригвожденный, остановился передо мной, не говоря ни слова, с выражением удивления и восторга. Со странным возбуждением он объяснил мне, что хочет посмотреть в лицо человеку, которого ждет необыкновенная судьба. Я улыбнулся и, так как, по-видимому, все это относилось ко мне, обещал в один из ближайших дней в ресторане *Stadt Hamburg*[83] угостить его стаканом доброго вина по его выбору.

133

В партер-ложе. Переполненный театральный зал. Бурные аплодисменты. Отчаяние. На следующий день. Сокращения партитуры. Нагромождение музыкальных невозможностей. Протест Тихачека

Никогда впоследствии я даже приблизительно не испытал таких ощущений, какие мне привелось пережить

[83] «Город Гамбург» (*фр.*).

в день первого представления «Риенци». Позднее при всех первых представлениях меня всегда наполняла тревога, и притом вполне основательная, об успехе исполнения. Это не только мешало мне наслаждаться, но даже отнимало возможность следить за публикой. Исключительное настроение, охватившее меня на генеральной репетиции «Тристана и Изольды», настолько далёко от того, что я испытал на премьере «Риенци», что эти столь различные по смыслу переживания не могут быть даже сопоставлены.

Судя по первому представлению, можно было твердо рассчитывать на успех оперы. Весь зрительный зал самым определенным образом был на моей стороне, и это было тем удивительнее, что вообще публика таких городов, как Дрезден, совершенно не в состоянии сразу судить о сколько-нибудь значительном музыкальном произведении и потому относится нерешительно и холодно к трудам неизвестных авторов. На этот раз она была вынуждена вести себя иначе, так как уже задолго до спектакля многочисленным театрально-музыкальным персоналом были распространены по городу настолько восторженные отзывы о моей опере, что все население ждало обещанного чуда с лихорадочным напряжением. Я с Минной, сестрой Кларой и семейством Гейне сидели в партер-ложе, и когда я теперь пытаюсь воскресить в памяти впечатления того вечера, они рисуются мне словно в тумане какого-то сновидения.

Собственно радости или волнения я вовсе не испытал. Я относился к моему творению не как автор, а как посторонний человек. Переполненный театральный зал пугал меня настолько, что я не решался бросить взор на массу публики: близость огромной толпы я ощущал, как бушующую стихию, как упорную грозу с ливнем, от которой я укрылся под навесом в отдаленнейшем углу ложи. Аплодисментов я не замечал совсем, и когда после каждого акта

меня бурно вызывали, другу Гейне приходилось каждый раз обращать на это мое внимание и выталкивать меня силой на сцену.

Зато меня все более и более заботило и пугало одно обстоятельство: я заметил, что уже после второго действия наступил настолько поздний вечер, словно мы прослушали всего «Фрейшютца». А когда окончился третий акт, показавшийся мне особенно утомительным для публики вследствие разыгрывающихся на сцене шумных воинских событий, и часы показывали десять, т. е. когда выяснилось, что представление длится уже полных четыре часа, я пришел в настоящее отчаяние. Вызовы после этого акта, относившиеся ко мне, я счел просто последней вежливостью со стороны публики, которая этим как бы хотела показать, что сыта по горло и начнет сейчас массово покидать театр. А впереди были еще два действия, и я был совершенно уверен, что мы не доведем оперы до конца. Меня охватило раскаяние, почему я вовремя не согласился на предполагавшиеся сокращения. Теперь мне предстояло пережить нечто неслыханное: прервать оперу, имеющую у публики необыкновенный успех, не довести ее до конца только потому, что она до смешного растянута. Правда, певцы сохраняли прекрасное настроение, и в особенности Тихачек чем дальше, тем лучше и бодрее себя чувствовал. Но все это я принимал за благодушные ухищрения, которыми хотели скрыть от меня неизбежный надвигающийся скандал. Когда к началу последнего действия, т. е. около полуночи, я убедился, что публика еще в зале, изумлению моему не было предела. Я больше не верил ни глазам, ни ушам своим, все события этого вечера представились мне настоящим наваждением. Было уже далеко за полночь, когда в последний раз вместе с моими верными артистами я вышел на громовые вызовы публики.

Настроение моих родственников, с которыми я увиделся сразу по окончании спектакля, подкрепило самые отчаянные мои опасения насчет того, какое впечатление должны были произвести на публику неслыханные размеры оперы. Семья Фридриха Брокгауза с несколькими знакомыми нарочно явились из Лейпцига, и мы были приглашены по окончании спектакля заехать к ним в гостиницу, где предполагалось отпраздновать в тесной компании успех оперы и выпить за мое здоровье стакан вина. Но когда мы прибыли туда, кухня и погреб оказались уже закрытыми, и все, бывшие на спектакле, устали до такой степени, что со всех сторон я слышал только одно: выражения удивления по поводу необыкновенной, из ряда вон выходящей продолжительности оперного представления, длившегося с 6 часов вечера до поздней ночи. Ни о чем другом никто не говорил, и мы разошлись в полном изнеможении.

На следующий день рано утром, в 8 часов, я был уже в нотном отделении театральной конторы. Пришел я туда с определенной целью: сделать казавшиеся мне необходимыми сокращения партитуры на тот случай, если бы решено было все-таки поставить «Риенци» вторично. И если летом я защищал перед хормейстером Фишером каждый такт и доказывал его необходимость, то теперь мной овладело слепое бешенство зачеркивать и вычеркивать. Все казалось мне ненужным. То, что публика незаметно проглотила накануне, представлялось мне теперь сочетанием несообразностей, из которых каждая могла быть выброшена без всякого урона для оперы, без риска что-либо в ней затемнить, сделать неясным. Я стремился к одному: ввести в приличные рамки это чудовищное нагромождение музыкальных *невозможностей*.

При этом, приказывая переписчикам без жалости сокращать партитуру, я хотел предупредить еще одну

катастрофу. Мне казалось неизбежным, что генерал-интендант, уступая общественному мнению и настроению театрального мира, еще сегодня даст мне знать, что постановку такой вещи, как «Последний трибун», возможно ради курьеза допустить раз, но что о повторении и думать нечего. Поэтому я сознательно в течение всего дня избегал всякого соприкосновения с театром, желая выиграть время, дать возможность слухам о предпринятых мной героических сокращениях дойти куда следует и оказать свое благодетельное действие. После обеда я опять забежал к переписчику, чтобы убедиться, выполняются ли в точности мои предписания, и узнал, что сюда заходил Тихачек, ознакомился с указанными мной сокращениями и запретил их выполнить. Со мной о них хотел поговорить и хормейстер Фишер. Работу задержали, и мне казалось, что надвигается нечто угрожающее. Я не понимал, что все это значит, и боялся беды, если дело с сокращениями затянется.

Наконец вечером я разыскал Тихачека в театре и раньше, чем он раскрыл рот, с горечью накинулся на него за то, что он прервал работу переписчиков. Сдавленным голосом он ответил мне коротко и резко: «Я не дам из моей партии вычеркнуть ни одной ноты — это слишком прекрасно». Я вперил в него глаза и стоял, как зачарованный. Такое неслыханное доказательство моего успеха не могло не рассеять всех опасений. Другие вели себя в таком же духе. Фишер сиял от радости и прямо смеялся надо мной, все говорили об энтузиазме, который охватил весь город, интендант прислал письмо, в котором благодарил за мой прекрасный труд. Мне ничего не оставалось, как обнять Тихачека и Фишера и поспешить домой, чтобы рассказать Минне и Кларе, как обстоят дела.

134

«Величие Риенци». «Падение Риенци». Зависть

Певцам было дано несколько дней отдыха, и 26 октября состоялось второе представление с кое-какими сокращениями, согласия на которые я с трудом добился у Тихачека. Особых жалоб на длинноты до меня не доходило, и я пришел к убеждению, что Тихачек прав: если выдерживает оперу он, то тем более выдержит ее публика. Так прошло шесть представлений всегда с одинаковым блестящим успехом. Опера заинтересовала и старших принцесс королевского двора, которые, не желая никаких перемен в самом произведении, с утомительной продолжительностью спектакля все же мириться не могли. Поэтому господин фон Люттихау решился предложить мне всю оперу целиком, уже без сокращений, разбить и поставить отдельными спектаклями два вечера подряд. Я согласился, и, выдержав паузу в несколько недель, мы объявили для первого представления «Величие Риенци», а для второго, вслед за ним, «Падение Риенци». В первый вечер давались два первых акта, во второй — три последних, для которых я написал особое музыкальное введение. Это вполне удовлетворило высочайших особ, в особенности двух старших дам королевской фамилии, принцесс Амалию и Августу. Публика, однако, посчитала, что за одну оперу с нее берут двойную входную плату, и отнеслась ко всей этой затее как к чистейшему обману. Неудовольствие грозило отозваться на сборах, и после трех двойных спектаклей дирекции пришлось вернуться к прежней форме «Риенци». Я охотно пошел этому навстречу, снова введя в оперу принятые раньше сокращения.

С тех пор на представлениях «Риенци», как часто его ни ставили, театр бывал переполнен. В прочности этого успеха я убедился вполне с тех пор, как узнал, сколько зависти

он вызывает со всех сторон. Впервые я столкнулся с этим в очень тяжелой для меня форме на другой день после премьеры: речь идет о поэте Юлиусе Мозене. Я посетил его в первый мой приезд в Дрезден, летом. Так как я действительно высоко ценил его дарование, то мы скоро сошлись довольно близко, и это знакомство было для меня и приятно, и поучительно во многих отношениях. Он прочел мне свои драмы, которые в общем произвели на меня исключительное впечатление — среди них была, между прочим, трагедия под заглавием «Кола Риенци», разработанная оригинально и, как мне казалось, очень интересно. Я просил его не сравнивать либретто «Риенци» с его творением, ибо как поэтическое произведение оно стоит несравненно ниже его вещи, и ему не пришлось делать над собой усилий, чтобы согласиться на мою просьбу.

Но незадолго до спектакля он поставил на дрезденской сцене одну из своих слабейших драм — «Бернхард Веймарский». Результаты этой постановки доставили ему мало радости, и это было неизбежно, так как драматически безжизненная вещь, полная политического пустословия, должна была роковым образом разделить судьбу всех подобных произведений. С некоторой досадой отнесся он к тому, что «Риенци» принят к постановке и что свою трагедию того же названия ему, увы, так и не удалось провести на сцену — по-видимому из-за ее несколько резкой политической тенденции. Эта тенденция в форме чистой драмы заметнее, чем в опере, где вообще на слова не обращают никакого внимания. Я благодушно согласился с ним, с его низкой оценкой оперного жанра. Тем неожиданнее было для меня, когда на следующий день после первой постановки я встретился с ним у моей сестры Луизы, и здесь он обрушился на меня с ядовитой горечью и с выражениями насмешливого презрения к успеху моего творения. Но я и сам в глубине души таил странное

чувство: я сознавал все действительное ничтожество того оперного жанра, которого с таким успехом придерживался в «Риенци», и потому на все его откровенные выпады с тайным стыдом в душе я не сумел ничего существенного ответить. То, что я мог бы сказать ему в свое оправдание, еще не созрело до полной ясности, я не мог еще опереться ни на один сколько-нибудь определенный плод моего особого направления. Мне не на что было сослаться, и во время разговора я испытывал только одно: сочувствие к несчастному писателю. Мне тем сильнее хотелось высказать ему это сочувствие, что самая ярость его нападений доставляла мне известное внутреннее удовлетворение как дополнительное доказательство крупного успеха, в котором я тогда еще далеко не был уверен.

Затем, уже при первом представлении «Риенци», создались условия, поведшие к разрыву между мной и газетными рецензентами, и разрыв этот становился с течением времени все острее и шире. С давнишним главным музыкальным рецензентом в Дрездене, Карлом Банком, я познакомился еще в Магдебурге. Там он меня однажды посетил, и я играл ему большие отрывки из «Запрета любви», которые он искренне тогда хвалил. Этот человек не мог простить теперь, когда мы с ним вновь встретились в Дрездене, что я не позаботился доставить ему билетов на первое представление «Риенци». С другим поселившимся в Дрездене рецензентом, Юлиусом Шладебахом, случилось приблизительно то же. В общем, услужливый по отношению ко всем, я никогда не мог побороть в себе отвращения оказывать особое внимание человеку единственно на том основании, что он рецензент.

Мои упрямство и принципиальная жесткость росли с годами, и это в значительной степени было причиной неслыханных преследований со стороны журналистики, с которыми мне пришлось считаться всю жизнь. Пока

еще борьба не столь обострилась, так как журналистика в Дрездене имела мало влияния. Из Дрездена в газеты других городов редко поступала информация, и, таким образом, события из жизни дрезденского искусства мало интересовали мир, что, конечно, для меня лично было довольно невыгодно. Поэтому неприятные стороны моего успеха меня почти вовсе не задевали, и некоторое время я чувствовал себя прекрасно. В первый и единственный раз меня окружала атмосфера общего благоволения, и я чувствовал себя вполне удовлетворенным за все мои прежние жизненные испытания.

Успех оперы повлек за собой с необыкновенной быстротой и другие, ранее совершенно непредвиденные последствия. Последствия эти не были исключительно материального характера, так как гонорар за оперу свелся пока лишь к сумме в триста талеров, которую генеральная дирекция в виде исключения ассигновала вместо обычных двадцати луидоров. Не мог я также рассчитывать выгодно продать оперу какому-нибудь солидному издателю прежде, чем удастся ее поставить на двух-трех значительных сценах. Но неожиданно умер королевский музикдиректор Растрелли, и вскоре после первого представления «Риенци», когда внезапно очистилось место капельмейстера, взоры всех обратились на меня.

135

Разрыв с рецензентами. Смерть Растрелли. «Летучий голландец». Баритон Вехтер. Мать Шредер-Девриент. Горячий разговор о музыке. Увертюра «Рюи Блаза». Рекламация бюргеровской «Леоноры»

Пока тянулись переговоры, генеральная дирекция дала еще одно доказательство необыкновенного участия к моему таланту. Было высказано пожелание, чтобы первая постановка «Летучего Голландца» состоялась отнюдь

не в берлинском театре, как я предполагал, а чтобы я оказал эту честь дрезденской сцене. Ввиду того, что берлинское театральное управление не чинило в этом отношении никаких препятствий, я охотно передал последнюю работу Дрезденскому театру. Так как в этой опере нет партии для героического тенора, то мне приходилось отказаться от участия Тихачека, но зато я особенно мог рассчитывать на деятельное участие Шрёдер-Девриент, которой предоставлялся материал более богатый, чем в «Риенци». Мне было приятно полностью положиться на нее, так как она чувствовала себя как бы обиженной тем, что не могла в полной мере содействовать своим участием успеху «Риенци».

Свое полное доверие ей я доказал тем, что смирился с буквально навязанной ней передачей главной мужской роли в опере баритону Вехтеру. Некогда это был хороший певец, но теперь он казался почти инвалидом и для моей задачи, во всяком случае, совсем не подходил.

Когда я познакомил столь высокочтимую мной артистку с текстом оперы, оказалось, к моему великому удовольствию, что стихи ей необыкновенно понравились. В те часы, которые я проводил с ней при частых наших свиданиях, связанных с изучением роли Сенты, мне пришлось также принять серьезное личное участие в судьбе этой удивительной, необыкновенной жен-шины, и воспоминания об этом времени я отношу к самым поучительным страницам моей жизни.

Великая артистка считала себя серьезно задетой тем, что для Дрездена я написал такое блестящее произведение, как «Риенци», не наметив для нее главной роли. Гостившая у нее в это время знаменитая мать ее, София Шрёдер поддерживала ее в этом отношении и даже еще более возбуждала. Тем не менее великодушная натура Вильгельмины победила в ней личную обиду: она громко

признавала меня «гением» и оказала особое доверие, которое, как она полагала, может быть оказано только гению. Правда, ее доверие очень скоро обнаружило и свою опасную сторону, так как сделало меня ее поверенным и советником в фатально сложившихся сердечных делах ее, но зато наши отношения доставили ей не раз повод открыто перед всем светом заявлять о своих дружеских ко мне симпатиях и аттестовать меня наилучшим образом.

Прежде всего, мне пришлось сопровождать ее в Лейпциг, где она давала большой концерт в пользу своей матери. Чтобы содействовать успеху этого концерта, она включила в программу два номера из «Риенци», арию Адриано и молитву Риенци (последнюю в исполнении Тихачека), под личным моим управлением. К участию в концерте она привлекла и Мендельсона, с которым была в очень дружеских отношениях. Он на этом вечере должен был дирижировать своей новой увертюрой «Рюи Блаз». В течение двух дней, проведенных в Лейпциге, я в первый раз пришел с Мендельсоном в более близкое соприкосновение, тогда как раньше мои отношения с ним ограничивались редкими и мимолетными свиданиями. В доме моего зятя, Фридриха Брокгауза, Мендельсон и Шрёдер-Девриент много музицировали, причем она исполняла под его аккомпанемент множество шубертовских песен.

Я обратил внимание на беспокойство и волнение, с какими этот находившийся тогда в зените славы и все еще молодой мастер наблюдал и даже как бы следил за мной. Было совершенно ясно, что он не придавал большого значения успеху какой-нибудь оперы вообще, хотя бы даже поставленной в Дрездене, и потому, несомненно, причислял меня к музыкантам, с которыми можно особенно не считаться. Но в моем успехе выступали черты, казавшиеся ему характерными и угрожающими. Сам Мендельсон ни о чем так страстно не мечтал, как об удачной опере,

и, может быть, его огорчало, что прежде чем он успел сделать что-нибудь в этом направлении, мой успех глупо и неожиданно «перебежал» ему дорогу. Более того, успех выпал на долю такой музыки, которую он чувствовал себя вправе считать плохой. Не меньше огорчало его и то, что Шрёдер-Девриент, которую он признавал гениальной артисткой и которая была так предана ему, открыто и громко высказывалась в мою пользу.

Все эти подозрения только лишь зародились в душе моей, как вдруг одно замечательное обстоятельство неожиданно открыло мне глаза. А именно: когда после общей концертной репетиции я провожал его домой и завел с ним горячий разговор о музыке, этот, обыкновенно скупой на слова человек, внезапно прервал меня и с особенным чувством стал доказывать, что музыка имеет и дурную сторону, что она сильнее, чем все роды искусства, возбуждает в человеке не только его лучшие, но и дурные чувства, как, например, хотя бы ревность. Я покраснел от стыда за него, вынужденный отнести эти слова лишь на его счет, понять их как личное признание, так как сам я сознавал себя совершенно неповинным в этом грехе по отношению к нему, настолько далек я был от всякой мысли сравнивать себя с ним, сопоставлять наши способности и заслуги.

Странным образом проявил он себя в этом концерте, причем далеко не так, как должен был, чтобы исключить всякую параллель между нами. Если бы он поставил в программу свою *Hebriden-Ouverture*, я с моими двумя оперными ариями не мог бы ни в каком случае конкурировать с ним, так как разница между нашими творениями по самому их характеру была бы положительно несоизмерима. Но, по-видимому, он затем именно и выбрал увертюру «Рюи Блаз», чтобы приблизиться к жанру оперной музыки и использовать в свою пользу его эффектные

стороны. Увертюра эта, видимо, была сочинена для парижской публики, и насколько это бросалось в глаза и мало подходило Мендельсону, можно судить по тому замечанию, которое сделал ему Роберт Шуман: он прошел к Мендельсону в оркестр и со свойственной ему наивностью, с добродушной улыбкой выразил свое удивление по поводу этой «бойкой оркестровой пьесы».

В интересах истины надо признаться, что в этот вечер успеха не имели мы оба. Все наши усилия совершенно потонули в том колоссальном впечатлении, какое дряхлая София Шрёдер произвела своей декламацией бюргеровской «Леноры». В прессе неоднократно упрекали ее дочь за то, что с помощью музыкальных вечеров и всевозможных предприятий она срывает у публики бенефисы для своей матери, которая ничего общего с музыкой никогда не имела. Но мы, жалкие кропатели музыкальных пьес, стояли вокруг этой почти беззубой высокоодаренной старой женщины, читавшей бюргеровское стихотворение с наводящей ужас величавой красотой и с невыразимым благородством, как настоящие бездельники, как жалкие фокусники. Воспоминание об этом, как и многие другие впечатления тех дней, дали мне немало материала для последующих размышлений и переживаний.

136

Встреча с Францем Листом

Вторую поездку предпринял я со Шрёдер-Девриент в Берлин в декабре того же года. Она была приглашена туда для участия в большом придворном концерте, я же предполагал воспользоваться этой поездкой для свидания с театральным интендантом Кюстнером и для переговоров с ним о постановке «Летучего Голландца». В моем личном деле я на этот раз не пришел ни к какому определенному

результату, но зато встретился здесь с Францем Листом, и встреча эта, представлявшая вообще для меня большой интерес, имела огромное, ни с чем не сравнимое значение для всего моего будущего. Она состоялась при особых условиях, и мы оба чувствовали себя крайне неловко. Условия эти были созданы Шрёдер-Девриент и являлись плодом ее беззаботно веселых выходок и задорных шуток.

Уже раньше я как-то рассказал моей покровительнице о прежней встрече с Листом. В ту роковую вторую зиму моего пребывания в Париже, когда я дошел до того, что считал себя счастливым, если мог кое-как поддерживать свое существование литературными заработками у Шлезингера, я получил однажды извещение от всегда обо мне заботившегося Лаубе, что в Париж должен прибыть Лист, с которым он обо мне говорил и которому меня рекомендовал. Лаубе советовал не упустить случая и познакомиться с ним, ибо Лист «великодушен» и наверняка пожелает быть мне полезным. И действительно, как только я узнал о его прибытии, я немедленно отправился к нему в отель.

Это было утром. Я был принят и застал в салоне несколько лиц, к которым через некоторое время вышел Лист, приветливый и разговорчивый, в домашнем платье. Завязался живой разговор на французском языке о впечатлениях последней артистической поездки Листа по Венгрии, разговор, в котором я не мог принять никакого участия. По правде сказать, я начинал уже скучать, когда Лист любезно обратился ко мне с вопросом, чем он мог бы мне служить. По-видимому, о рекомендации Лаубе он ничего не помнил, и я ответил только одно, что хотел бы познакомиться с ним, против чего и он, по-видимому, ничего не имел. Со своей стороны он заверил меня, что не забудет прислать билет на предстоящее большое *Matinee*[84].

---

[84] Утренний концерт (*фр*.).

Сделанная мной попытка завязать разговор об искусстве свелась к тому, что я спросил его, знаком ли он, кроме шубертовского *Erlkenig*[85], с балладой на ту же тему Лёве. Лист ответил отрицательно, и на этом окончился наш разговор. Уходя, я оставил ему свой адрес, по которому его секретарь Беллони скоро прислал мне при любезном письме пригласительный билет в *Salle Erard* на концерт с участием исключительно маэстро. Зал был переполнен, трибуна, на которой стоял концертный рояль, была окружена тесным кольцом дам, представлявших сливки парижского общества. Я присутствовал при восторженных овациях виртуозу, которому удивлялся весь мир, прослушал ряд блестящих пьес, как, например, его «Фантазию на тему из Роберта-Дьявола», и вернулся домой, сохранив в душе одно только впечатление: оглушенности. То было время, когда я решительно сошел с пути, по которому блуждал до сих пор вопреки всем моим внутренним склонностям, я отвернулся от него с тихой горечью, с затаенной решимостью. Менее всего я был способен тогда оценить по достоинству явление, которое сияло при полном свете дня, и молча ушел от него во тьму ночи. К Листу я более не заявлялся.

137

Выяснившееся недоразумение

Я рассказал обо всем Шрёдер-Девриент случайно и просто, она же отнеслась к этому с особенной живостью, так как своим рассказом я задел в ней ее слабое место — артистическую ревность. И так как Лист тоже был приглашен королем прусским к участию в большом придворном концерте, то вышло так, что в одну из первых встреч с ней Лист с большим интересом стал ее расспрашивать

[85] «Лесной царь», знаменитая баллада Ф. Шуберта на стихи И. В. Гёте.

об успехе «Риенци». Как только Шрёдер-Девриент заметила, что об авторе «Риенци» Лист никакого представления не имеет, она с особым злорадством стала его обвинять в отсутствии всякой проницательности, так как композитор, о котором он столь живо расспрашивает, — тот самый бедный музыкант, с которым он недавно «так гордо обошелся» в Париже. Она говорила мне об этом с таким воодушевлением, что, глубоко растроганный, я был вынужден тут же соответственным образом исправить впечатление, вызванное у нее моим прежним рассказом.

Пока мы разъясняли с ней этот вопрос, в соседней комнате внезапно раздался знаменитый пассаж оркестрового аккомпанемента к арии мести Донны Анны, сыгранный в октавах и взятый в очень быстром темпе на рояле. «Вот и он сам!» — воскликнула Шрёдер-Девриент. Лист вошел, чтобы проводить ее на репетицию концерта. К великому моему замешательству, она, злорадствуя, представила меня как того самого автора «Риенци», с которым ему так хочется теперь познакомиться и которому он некогда в своем великолепном Париже указал на дверь. Мои серьезные уверения, что моя покровительница — конечно, лишь в шутку — сознательно искажает то, что я ей передал о моем прежнем визите к нему, видимо, успокоили Листа, тем более что к выходкам пламенной артистки он уже привык. Он сознался, впрочем, что совершенно не помнит моего визита к нему в Париже, но ему было больно и страшно допустить, чтобы кто-нибудь имел основание жаловаться на дурное обращение с его стороны. Искренняя сердечность и простота, с какой Лист говорил о недоразумении между нами, произвели на меня рядом с особенно возбужденными поддразниваниями несдержанной женщины необыкновенно приятное и подкупающее впечатление. Та манера, с какой он старался обезоружить ее беспощадно

иронические придирки, являлась для меня чем-то новым и свидетельствовала о человеке, уверенном в своей совершенной корректности и гуманности.

Вильгельмина стала, наконец, издеваться над его докторским дипломом, полученным недавно от Кёнигсбергского университета, нарочно смешивая почетный титул со званием «аптекаря». В ответ на все эти издевательства Лист растянулся ничком на полу, показывая полную свою беспомощность против бури ее насмешек и прося пощады. Уходя, он опять обратился ко мне с сердечным заверением, что приложит все старания услышать «Риенци» и, во всяком случае, постарается загладить впечатление, созданное несчастным стечением обстоятельств, и внушить мне лучшее о себе мнение. На этом мы расстались. В это свидание Лист произвел на меня особенно сильное впечатление той большой, почти наивной простотой и безыскусностью обращения, каждого слова, тем оттенком благородства, которое сквозило в его фразах и неизбежно увлекало собеседника. Это впервые объяснило мне то очарование, которому поддавались все, кому приходилось ближе общаться с ним, и о причинах которого я имел до сих пор совершенно ложное представление.

138

Сердечные тревоги в жизни Шредер-Девриент. «Летучий голландец» на сцене. «О, Боже, Вагнер, что вы наделали?» Успех великой артистки

Эти обе поездки в Лейпциг и Берлин были лишь краткими перерывами в подготовке к постановке «Летучего Голландца». В этом отношении для меня было важнее всего поддержать в Шрёдер-Девриент горячий интерес к ее роли, так как я хорошо сознавал, что при слабости остального

состава участников я мог ждать исполнения, отвечающего духу моего творения, только от нее одной.

Помимо того, что роль Сенты действительно подходила к ней, еще и другие особые условия поддерживали необыкновенное возбуждение в этой страстной женщине. Дело в том, что, как я узнал в качестве ее поверенного, она в это время намеревалась порвать многолетнюю связь с одним серьезно и сердечно ей преданным, еще очень молодым человеком, сыном бывшего министра народного просвещения Мюллера, лейтенантом королевской гвардии, и страстно стремилась завязать любовные отношения с другим, гораздо менее ей подходящим человеком. Этим новым избранником являлся, по-видимому, некто господин фон Мюнхаузен, с которым она познакомилась в Берлине. Это тоже был человек молодой, рослый и стройный, что вполне соответствовало вкусам моей подруги, насколько я успел их изучить. Горячее доверие, которым она меня удостоила во всей этой истории, зависело, по-видимому, от мучивших ее угрызений совести: она сознавала, что Мюллер, с которым я, ценя его хорошие качества, был тоже в приятельских отношениях, любил ее со всем пылом первой любви, и что теперь она под ничтожными предлогами изменяла ему самым неблагородным образом. По-видимому, она и сама как нельзя яснее сознавала, что новый ее избранник совершенно недостоин ее и что его влекут к ней побуждения фривольного и эгоистического характера. Поэтому она хорошо понимала, что никто из окружающих, в особенности же никто из ее старых, давно ее знающих друзей, не одобрит ее поведения.

Мне же она доверяла и искала у меня поддержки потому, что, как она объясняла мне откровенно, считала меня гением и рассчитывала, что я пойму ее натуру, оценю роковую силу ее влечений. Конечно, я чувствовал себя

при этом несколько странно. И самое ее увлечение, и предмет этого увлечения были мне решительно антипатичны. И, к величайшему удивлению, я чувствовал, что эта страсть, возбудившая во мне глубочайшее отвращение, но охватившая удивительную женщину с такой ужасной силой, вызывает во мне какое-то сострадание, готовность не отказывать ей в некотором участии. Она ходила бледная, расстроенная, совсем почти ничего не ела, и все ее силы находились в таком напряжении, что, казалось, ей неминуемо грозит катастрофа, тяжелая, может быть, даже смертельная болезнь.

С некоторого времени она совершенно лишилась сна, и всякий раз, когда я приходил к ней с несчастным «Летучим Голландцем» в руках, ее вид пугал меня до такой степени, что я забывал о цели своего прихода. Мне казалось, что нечего и думать о занятиях. Однако она сама всякий раз удерживала меня, усаживала за фортепьяно и цеплялась за роль, как за рычаг спасения от погибели, от смерти. Так как изучение новой партии само по себе давалось ей нелегко, то только продолжительные и частые занятия должны были помочь ей разрешить эту новую музыкальную задачу. И она пела целыми часами, с такой страстной настойчивостью, что я часто со страхом вскакивал и умолял ее щадить свои силы. Тогда она с улыбкой указывала на свою грудь, потягивалась всем своим все еще прекрасным телом, как бы намекая, что она еще может бороться.

В самом деле, голос ее в это время приобрел даже особую юношескую свежесть, такую неутомимую мощь, которая повергала меня прямо в изумление, и, как это ни странно сказать, в глубине души я сознавал, что эта абсурдная страсть к нелепому, ничтожному человеку принесет большую пользу «моей Сенте». Неутомимость этой женщины с перенапряженными нервами была так велика,

что, ввиду необходимости спешить и желая избежать невыгодной для меня проволочки, она согласилась — и притом без вреда для себя — провести генеральную репетицию в самый день первого представления.

Это представление состоялось 2 января 1843 года. Успех оперы был для меня крайне поучителен: это служило как бы введением к повороту во всей моей дальнейшей деятельности. Прежде всего, спектакль, в общем неудачный, показал, как важно для дальнейших работ обеспечить себя участием в моих операх хороших драматических сил. До сих пор я держался того мнения, что партитура сама за себя говорит и что певцы неизбежно должны играть так, как мне это нужно. Однако мой добрый старый приятель Вехтер, некогда, во время первого расцвета Генриетты Зонтаг, блестящий Севильский цирюльник, был, как уже упомянуто, по скромности сил своих, другого мнения. Его полную неспособность справиться с трудной ролью бурно страдающего ужасного мореплавателя Шрёдер-Девриент поняла чересчур поздно: когда начались репетиции на сцене. Тучность Вехтера, его круглое, широкое лицо, странные движения его рук и ног, казавшихся какими-то нелепыми болтающимися обрубками, — все это приводило страстную Сенту в отчаяние. Однажды на репетиции, в большой сцене второго действия, где Сента с возвышенными словами утешения на устах подходит к нему, как ангел-хранитель, Шрёдер-Девриент внезапно оборвала свою реплику и со страстным отчаянием стала шептать мне на ухо: «Разве можно что-нибудь выжать из себя, когда смотришь в эти маленькие глазки? О, Боже, Вагнер, что вы наделали?»

Я утешал ее, как мог, а втайне возложил все надежды на господина фон Мюнхаузена, который обещал в день представления занять в партере такое место, чтобы Девриент

непременно его увидела. И действительно, великой артистке удалось, несмотря на то, что она играла, как в пустыне, без малейшей поддержки со стороны остальных певцов, силой одного только своего таланта увлечь во втором акте весь театр и вызвать горячий энтузиазм в публике. Первый акт оставил впечатление скучнейшей беседы между Вехтером и тем самым Риссе, который в день первой постановки «Риенци» пригласил меня на стакан вина. В третьем акте весь гром оркестра не в состоянии был вывести сценическое море из благодушного покоя и заставить призрачный корабль, установленный с величайшей осторожностью, тронуться с места. Публика недоумевала, как после «Риенци», где в каждом акте разыгрывались интересные события, где Тихачек щеголял новыми блестящими костюмами, я мог предложить ей нечто столь ненарядное, скудное и угрюмое.

139

Уменьшающийся приток публики. Причины успеха «Риенци». Балет

Ввиду того, что Шрёдер-Девриент на довольно продолжительное время покидала дрезденскую сцену, «Летучий Голландец» пережил только четыре представления. Все уменьшающийся приток публики свидетельствовал при этом, что я дрезденцам не угодил. Дирекция, желая поддержать славу моего имени, принуждена была вернуться к «Риенци».

Успех одной и неуспех другой оперы дали мне много материала для размышлений. С особенным огорчением я должен был признаться самому себе, что если, с одной стороны, в постановке «Летучего Голландца» были действительно допущены большие промахи, то, с другой, успех «Риенци» вовсе не основывался на соответствующей,

верной игре актеров. Вехтер совершенно не подходил как исполнитель для «Летучего Голландца», но и Тихачек, как я это прекрасно сознавал, не в состоянии был справиться с задачей своей роли, с характером Риенци. Все время я видел грубые ошибки и недостатки в его игре. С мрачным, демоническим началом в натуре Риенци, которое я резко подчеркивал в характерные, решающие моменты оперы, Тихачек абсолютно не считался. Его Риенци оставался все время неизменно ликующим героем-тенором, чтобы тем жалобнее в четвертом акте, после изгнания, пасть на колени и с лирическим смирением подчиниться судьбе. В противоположность моей идее, что Риенци — натура духовно сосредоточенная и несокрушимая, как скала, он выдвигал «свою концепцию», обеспечивавшую эффектный финал для четвертого действия, и решительно настаивал на своем, не желая ничего изменить. И когда я задумывался над тем, что, собственно, способствовало успеху «Риенци», то должен был прийти к заключению, что успехом этим я обязан, во-первых, блестящему, необыкновенно приятному голосу певца, постоянным вспышкам его радостного оживления, во-вторых, — освежающему действию хоровых ансамблей, и в-третьих, — пестрой смене событий на сцене.

Но особенно красноречивый ответ я получил тогда, когда мы разбили оперу на две части. Оказалось, что вторая часть, несомненно, более значительная и с музыкальной, и с драматической стороны, привлекает гораздо меньше публики, чем первая, только потому, что, как мне со всех сторон откровенно признавались, в первую часть входил балет. Еще наивнее подчеркнул этот момент как наиболее привлекательный в опере мой брат Юлиус, приехавший из Лейпцига на одно из представлений «Риенци». Так как мы с ним сидели в открытой ложе, на виду у всей публики,

то я запретил ему всякие выражения одобрения, даже такие, которые явно относятся к одним только певцам. В течение всего вечера он удерживался от аплодисментов и не вытерпел только в одном месте балета: энтузиазм охватил его настолько, что он стал неистово рукоплескать вместе с публикой, оправдываясь тем, что не в состоянии скрыть выражения своего восторга. Курьезно, что впоследствии, в Берлине, мой «Риенци», принятый, в общем, довольно равнодушно, приобрел именно из-за балета прочные симпатии нынешнего короля Прусского. Уже через много лет он пожелал возобновления оперы, хотя она ни в каком случае не могла рассчитывать понравиться публике своим драматическим содержанием.

Впоследствии, когда мне привелось услышать «Риенци» в Дармштадте, я убедился, что, в то время как лучшие музыкальные части были урезаны самым невероятным образом, балет не только уцелел, но был украшен повторениями и расширен новыми моментами. Но музыка к этому балету, написанная когда-то в Риге за несколько дней, без малейшего вдохновения, была особенно слаба — настолько слаба, что после того, как я принужден был сократить ее лучшую часть, трагическую пантомиму, я даже положительно стыдился ее. И так как, кроме того, в Дрездене совершенно не было хореографических средств, чтобы остатки моего балета поставить соответственно указаниям об античных воинских играх и полных значительности, серьезных хороводных плясках (как это впоследствии было прекрасно проведено в Берлине), то мне пришлось самым постыдным образом довольствоваться следующим. Две маленькие танцовщицы некоторое время проделывали на сцене нелепые па, затем появлялась рота солдат, подымала свои щиты над головой, образуя своего рода «крышу», что должно было намекать на древне-римское

testudo[86]. На эту «крышу» взбирались балетмейстер с помощником, одетые в телесного цвета трико, прыгали по ней, становились несколько раз, один за другим, на голову. Этим, по их мнению, они создавали пластическое изображение древнеримской борьбы гладиаторов. Тут-то именно и наступал момент величайшего восторга публики, и всякий раз я сознавал, что именно этому моменту я обязан лаврами успеха.

140

Дрезденский капельмейстер Его Величества

Таким образом, я со всевозрастающей ясностью видел, как мои внутренние стремления коренным образом расходились с успехом на сцене, но в то же время обстоятельства роковым образом складывались так, что с необоримой силой побуждали меня принять место дрезденского капельмейстера и тем толкали, как толкнула в свое время несчастная женитьба, на крайне опасный путь. В переговорах по этому поводу я обнаруживал известную неуступчивость, далекую, во всяком случае, от какой бы то ни было аффектации. Мое презрение к самому существу театральной жизни было безгранично, и ближайшее знакомство с укладом придворно-театрального управления, где все сводилось к внешней благопристойности, к невежественному прикрытию позорнейших сторон театральной жизни каким-то показным блеском, не могло, конечно, уменьшить этого чувства. При таких условиях гибли лучшие и чистейшие устремления во всяком причастном к театру человеке, и все предприятие в целом представляло собой комплекс тщеславных и фривольнейших интересов в рамках закоренелого бюрократического аппарата.

---

[86] «Черепаха» (*лат.*).

Понятно, что необходимость войти вплотную в эту среду рисовалась мне как нечто в высшей степени противное, и когда со смертью Растрелли в Дрездене создалось для меня, как я выше уже упомянул, искушение, требовавшее измены внутреннему голосу, я объявил своим близким, испытанным друзьям, что не намереваюсь занять освободившееся место.

Однако против этого решения ополчилось все, что способно воздействовать на человеческую волю. Прежде всего, с тиранической силой сказалось влечение обеспечить себя с материальной стороны прочным местом с определенным содержанием. С этим искушением я боролся, рассчитывая на успех моих оперных композиций. Я надеялся, что при скромных требованиях моих заработков хватит, чтобы, живя с женой в двух комнатах, иметь возможность спокойно работать. Но мне возражали, что именно в смысле спокойной дальнейшей деятельности прочное место, не требующее всего времени, имеет особые преимущества, и в подтверждение указывали на то, что со времени окончания «Летучего Голландца» прошло более года, и что в течение этого срока я был лишен спокойствия, необходимого для работы.

Однако я решительно стоял на том, что должность музикдиректора, которую занимал покойный Растрелли, как подчиненная капельмейстеру, ниже моего достоинства. Я объявил об этом определеннейшим образом дирекции и тем заставил искать другого заместителя. Но когда на эту тему больше не было уже и речи, обнаружилось, что со смертью королевского капельмейстера Морлакки освободилось и его место, никем до сих пор не занятое, и можно ожидать, что король пожелает увидеть меня на этом посту.

Такой пост считается в Германии, особенно в королевских резиденциях, очень важным, и «солидность», пожизненная прочность положения составляет предмет мечтаний

всякого немецкого музыканта как венец земного благополучия. Немудрено, что все это вскружило голову моей доброй жене. Со всех сторон мне стали уже оказывать признаки внимания, завязывались связи и знакомства в обществе, каких у нас до того не было, и сознание, что нас не только терпят, но и уважают, согревало нас в нашем бесприютном существовании. Тоска об оседлости, охватывавшая меня в тяжелые годы скитаний, болезненно страстная мечта о спокойном, прочном положении под почетным королевским покровительством в столь тяжелое время — все это захватило меня снова.

Особенно сильное влияние оказала на меня вдова Карла Мария фон Вебера, милая и любезная Каролина, в доме которой я теперь часто бывал и отношения с которой были мне особенно дороги по воспоминаниям о глубоко любимом композиторе. Она заклинала меня с истинно трогательной сердечностью не противиться указующему персту судьбы. Она говорила, что считает себя вправе требовать от меня согласия занять в Дрездене то место, которое после смерти ее мужа так плачевно пустует. «Подумайте, — сказала она мне, — как тяжко мне будет встретиться со временем с мужем, если мне придется сообщить ему, что дело, которому он самоотверженно отдал столько сил, заброшено именно там, где он работал. Подумайте, каково мне видеть на том самом месте, где некогда стоял вдохновенный Вебер, ленивого Райсигера. Каково мне замечать, как с каждым годом все хуже исполняются его оперы. Если вы любите Вебера, вы обязаны в память этого человека занять его должность и продолжить его дело». Но и практическую сторону вопроса эта опытная женщина выдвигала энергично: она поставила мне на вид, что я обязан позаботиться о жене, ибо, если я приму предлагаемый мне пост, она не останется без средств в случае моей смерти.

141

Торжественное заседание, присяга. На аудиенции у монарха. Тонкая критика «Летучего голландца»

Однако больше, чем веские соображения и мотивы сердца и разума, имела значение никогда не исчезавшая во мне вера в свои силы, вдохновенная вера в то, что куда бы меня ни забросила судьба — значит, и здесь, в Дрездене, — я найду возможность бороться с рутиной, победить привычное, призвать к жизни неслыханное. Я считал, что все дело в человеке, в его горячем стремлении возродить запущенное, что при некотором участии я непременно окажу благотворное влияние на искусство, освобожу его от позорных цепей. Поразительно быстрый поворот в судьбе мог только поддержать во мне эту веру, а резкая перемена генерал-интенданта фон Люттихау явилась для меня искушением выйти на новую дорогу. Этот странный человек проявил по отношению ко мне столько теплоты, на которую никто раньше не считал его способным, что в его личном расположении я не мог не убедиться, и убеждение это не поколебалось и потом, несмотря на вечные между нами разногласия.

И тем не менее согласие было у меня вырвано врасплох: 2 февраля 1843 года я получил любезнейшее приглашение явиться в бюро управления и застал там весь генеральный штаб королевской капеллы. Председатель фон Люттихау предложил секретарю театра, моему незабвенному другу Винклеру, торжественно вручить мне королевский рескрипт, согласно которому я назначался капельмейстером Его Величества с пожизненным содержанием в 1500 талеров в год. По прочтении рескрипта фон Люттихау произнес речь, в которой выразил уверенность, что я с благодарностью приму монаршую милость. Было

ясно, что вся эта торжественность рассчитана на то, чтобы отнять у меня возможность подымать какие бы то ни было разговоры о размере жалованья, но, с другой стороны, меня не обязывали, как это велось и как в свое время было предложено даже Веберу, предварительно прослужить пробный год в качестве королевского музикдиректора без всякого жалованья. Делая для меня такое серьезное исключение, стремились, конечно, только к одному: заставить меня, молча, принять остальное. Мои новые коллеги поздравили меня тут же, а фон Люттихау, дружески со мной беседуя, проводил меня до самых дверей дома. Здесь я попал в объятия обезумевшей от радости бедной жены, и только в эту минуту я сообразил, что все кончено, что мне остается делать вид, будто я и сам очень рад назначению, ничем не огорчен, и принимать поздравления в качестве королевского капельмейстера.

На торжественном заседании я принял присягу как слуга короля. Королевский генерал-интендант представил меня в горячих выражениях членам музыкальной капеллы, и затем, через несколько дней, я был принят на аудиенции Его Величеством. Глядя на черты лица этого добродушного, любезного и простого в обращении монарха, я невольно вспомнил свой юношеский набросок увертюры на тему «Фридрих и Свобода». Наш несколько натянутый разговор оживился, когда король высказал свое одобрение моим двум поставленным в Дрездене операм. Единственное, чего бы ему хотелось по отношению к моим музыкальным драмам, это, как он выразился с дружеской нерешительностью, более рельефной характеристики отдельных фигур. Он находил, что элемент стихийный заслоняет в них интерес к личностям: в «Риенци» — народ, в «Летучем Голландце» — море. Мне казалось, что я его хорошо понял, и я открыто радовался как этому

доказательству его серьезного внимания ко мне, так и оригинальности его суждений. Кроме того, он наперед извинился за то, что не будет, вероятно, иметь возможность часто слушать мои оперы. Он питает особенную нелюбовь к посещениям театра вообще, явившуюся результатом ошибки, допущенной в его воспитании: его, как и брата Иоганна, долгое время заставляли систематически посещать спектакли, тогда как, говоря откровенно, ему часто хотелось бы в стороне от всякого этикета заняться чем-нибудь по собственному выбору.

Как на характерную черточку придворной психологии укажу на то, что фон Люттихау, принужденный во время аудиенции ждать в приемной, не сдержался и выразился с большим неудовольствием о ее продолжительности. Мне пришлось после этого встретиться и беседовать с королем еще один раз, когда я ему поднес клавираусцуг «Риенци» с посвящением, и во второй раз, когда он публично, на прогулке, остановил меня и милостиво поздравил с удачно выполненной задачей по переделке и постановке «Ифигении в Авлиде» Глюка (оперы этого композитора ему особенно нравились).

142

Полоса забот. Кредиторы

Эта первая аудиенция являлась, во всяком случае, кульминационным пунктом моего дрезденского успеха: затем опять началась полоса забот. Очень скоро возникли затруднения материального характера, выяснилось, что мои доходы далеко не соответствуют тем новым обязанностям и тратам, которые были связаны с выгодами приобретенного мной общественного положения. Без вести скрывшийся из Риги молодой музикдиректор внезапно опять вынырнул в Дрездене самым удивительным образом,

в качестве королевского саксонского капельмейстера. Ближайшим следствием всеобщего внимания и интереса к моему счастью были настойчивые напоминания, угрозы и преследования, прежде всего со стороны тех кёнигсбергских кредиторов, от которых мне с таким трудом и страданиями удалось скрыться в Риге. Кроме того, все, кто только сохранил какие-нибудь претензии ко мне с самых отдаленных времен, с эпохи моего студенчества и даже с гимназических лет, стали предъявлять свои требования, нередко вызывавшие с моей стороны искреннейшее удивление. Я ждал, что вот появится, наконец, и моя кормилица со своим счетом.

Все вместе представляло сумму не особенно больших размеров, и я определеннейшим образом заявляю, вопреки распространившимся тогда, как я впоследствии узнал, злостным слухам о моей страшной задолженности, что мне удалось с помощью занятых у Шрёдер-Девриент под проценты 1000 талеров покрыть все долги. Я не только расплатился с ними, но и вернул долг Китцу, сделанный в дни парижской нужды без всякого уговора о возврате, и даже сам оказал ему при этом дружескую услугу.

Однако из какого другого источника мог я получить деньги в том ужасном положении, в каком я тогда находился, при необходимости просить Шрёдер-Девриент поторопить постановку «Летучего Голландца» ввиду крайней важности получить гонорар за оперу? Никаких сумм на устройство, хотя бы сколько-нибудь соответствующее рангу королевского капельмейстера, мне отпущено не было; не позаботились даже о том, чтобы возместить расходы по пошиву дорогой и нелепой униформы. Ясно, что при полном отсутствии средств нечего было и думать что-нибудь предпринять раньше, чем не будут добыты деньги под проценты.

Всякий, кто был свидетелем необыкновенного успеха «Риенци» в Дрездене, должен был неминуемо поверить в то, что эта опера быстро распространится по всем немецким сценам, что она принесет мне большой доход. Мои собственные родственники, даже благоразумная Оттилия, были до такой степени уверены в этом, что считали себя вправе твердо рассчитывать на удвоение моего содержания поступлениями из театральных касс. И действительно, вначале дело, по-видимому, приняло хороший оборот: очень скоро партитуру «Летучего Голландца» заказали королевский театр в Касселе и столь хорошо мне знакомый рижский театр. Там стремились поскорей поставить что-нибудь из моих вещей, а, по слухам, моя новая опера была и меньше по объему, и проще «Риенци» для постановки. Из обоих городов я получил в мае 1843 года известия об успехе «Летучего Голландца». Однако на этом все пока и остановилось.

Прошел целый год, и за это время ко мне не поступило ни одного запроса по поводу той или другой из моих партитур. Попытка заработать что-нибудь изданием клавираусцуга «Летучего Голландца» («Риенци» я приберегал для будущего, рассчитывая на его дальнейшие успехи и выжидая более выгодного момента), разбилась о сопротивление господ Гертелей в Лейпциге, охотно согласившихся на опубликование оперы, но без уплаты какого-либо гонорара.

143

Новая эра в местной журнальной критике. Дирижирование собственными произведениями. Огорчения Райсигера

Оставалось, таким образом, пока что довольствоваться фантастической стороной моего успеха: несомненной популярностью среди дрезденцев, почетом и вниманием к моей персоне. Но и здесь моему аркадскому сну должен был скоро наступить конец. Думаю, что мое выступление

в Дрездене создало условия, положившие начало новой эре в местной журнальной критике: в своем озлоблении против меня и моего успеха она черпала мотивы для развития своих собственных слабых сил. К. Банк и И. Шладебах, о которых я уже упоминал, прочно устроились в Дрездене именно в это время. Знаю также, что для Банка возникали в этом отношении некоторые препятствия и что они были устранены лишь благодаря заступничеству и поддержке моего коллеги Райсигера. Этим господам, занявшим в Дрездене положение постоянных музыкальных критиков, был неприятен успех «Риенци», особенно ввиду того, что я не делал ни малейшей попытки заслужить их одобрение. Тем не менее они не решались изливать едкую желчь своей ненависти на молодого, всеми любимого музыканта, возбуждавшего к тому же в добродушной публике участие своей бедностью и злосчастными превратностями своей судьбы.

Но как только совершилось «неслыханное» переименование меня в королевского капельмейстера, тотчас же исчезло всякое основание для гуманного ко мне отношения. Теперь я «благоденствую», даже «чрезмерно благоденствую» — вот подходящая пища для зависти, нечто вполне определенное, всем доступное и уязвимое. Скоро во всех газетах Германии, в сообщениях из Дрездена, появились обо мне заметки враждебного характера, и создалось то настроение, которое, по существу, держится еще и доныне в полной неизменности. Один-единственный раз настроение это изменилось на время в определенной части прессы: это было тогда, когда в качестве политического беглеца я поселился в Швейцарии. Но когда благодаря Листу и его стараниям оперы мои, несмотря на изгнание, все-таки распространились по всей Германии, газеты всех направлений стали опять на мой счет единодушны. Тот факт, что сейчас, после дрезденских постановок два театра заказали одну из моих партитур, я приписываю исключительно

следующему: вредоносная деятельность журнальных обозревателей еще не выразилась тогда с достаточной силой, а наступившее молчание театров я не могу не объяснить себе в значительной мере лживыми и клеветническими известиями, напечатанными обо мне в газетах.

Мой старый друг Лаубе, как журналист, старался поддержать мое реноме. С 1843 года он снова стал редактором *Zeitung für die elegante Welt* и предложил мне для одного из первых номеров дать для печати биографические сведения о себе. Его, видимо, радовала возможность представить меня с некоторым триумфом широкой литературной публике, и чтобы сделать это еще более наглядным, он приложил к номеру газеты со статьей обо мне литографию с моего нарисованного Китцем портрета. Но даже и он через некоторое время в суждениях о моих трудах стал проявлять известные колебания, так как не мог не видеть, что заслуги мои умаляются, низводятся и суживаются с поразительным упорством, с постоянно растущей уверенностью. Позднее он признавался, что нельзя себе представить более исключительного положения, чем мое, положения одного против сомкнутого ряда всей журналистики, а когда я высказал свое мнение на этот счет, он с улыбкой объявил меня безнадежно погибшим человеком.

Но и в новом кругу моей деятельности отношения ко мне скоро изменились и стали складываться так, что давали журналистам желанную пищу. Мне не приходило даже в голову из честолюбия непременно самому дирижировать оркестром при постановке моих опер. Но так как я убедился, что капельмейстер Райсигер все небрежнее ведет оркестр при исполнении «Риенци», что стройный музыкальный ансамбль превращается в надоедливую, лишенную всякой выразительности «музыкальную окрошку», то, опираясь на мои капельмейстерские права, я выхлопотал себе разрешение дирижировать самому на шестом

представлении оперы. Я дирижировал без единой репетиции, ни разу до того не имев случая работать с дрезденской капеллой, и спектакль прошел превосходно. Певцы и оркестр как бы ожили снова, вызвав всеобщее убеждение, что это наиболее удачное из всех представлений «Риенци».

Изучение и ведение «Летучего Голландца» были мне охотно переданы уже потому, что Райсигер по смерти музикдиректора Растрелли был завален чисто служебной работой. Кроме того, мне было предложено доказать свою способность дирижировать при исполнении чужих партитур и провести постановку веберовской «Эвриантьы». Мне казалось, что я всех удовлетворил, а вдова Вебера основывалась именно на этой постановке, когда так горячо просила меня принять место дрезденского капельмейстера. По ее словам, она впервые со смерти мужа услышала его вещь проведенной с сохранением ее духа и размера.

Мое назначение капельмейстером огорчило Райсигера, которому хотелось бы иметь только одного подчиненного ему музикдиректора, а не равного по правам коллегу. Сам он по свойственной ему вялости не очень горячился и сохранял ко мне ровное отношение, но честолюбивая жена Райсигера изо всех сил старалась возбудить его против меня. Никогда, однако, дело не доходило до проявления открытой вражды с его стороны. Но я заметил, что с этих пор в прессу стали проникать нескромности на мой счет, которые мне доказали, что дружелюбие моего коллеги, всегда целовавшегося со мной при встречах, не отличается искренностью.

144

Скрипач Карл Липинский. Фальшь и бесстыдство

Скоро обнаружилось, что я приобрел совершенно неожиданного врага, и притом врага ожесточенного. То был издавна служивший при дрезденской капелле в качестве

первого королевского концертмейстера, в свое время знаменитый скрипач Карл Липинский, человек с огненным темпераментом и оригинальным дарованием, но невероятно тщеславный, что еще осложнялось его подвижным, недоверчивым польским характером. Мне приходилось с ним много возиться, так как при всем его оживляющем и полезном влиянии на остальных скрипачей — главным образом в смысле техники, — как концертмейстер в хорошо организованном оркестре он был явно не на месте. Генерал-интендант фон Люттихау выразился однажды с похвалой о том, что тон Липинского всегда слышен, и этот странный человек точно поставил себе задачей оправдывать эту похвалу во что бы то ни стало. Каждый раз он раньше всех других скрипачей начинал свою партию и забегал вперед в смысле ритма. В нюансировке он часто своевольничал настолько, что легкие ударения при общем piano подчеркивал с необыкновенной резкостью. Делать ему какие-либо замечания было немыслимо — только сильнейшей лестью можно было чего-нибудь от него добиться.

Со всем этим мне приходилось считаться; не только все это переносить, но еще стараться, выражая на всевозможные лады свое восторженное одобрение, по возможности парализовать вред, который он наносил оркестру. Тем не менее он никак не мог примириться с тем, что публика явственно подчеркивала свое удовольствие всякий раз, когда дирижировал я: он исходил из того положения, что оркестр, в котором он, Липинский, играет первую скрипку, всегда одинаково превосходен, независимо от того, кто бы ни стоял за дирижерским пультом.

Тем временем ко мне, как к новому начальнику с новыми полномочиями, стали обращаться многие члены капеллы с самыми разнообразными, до сих пор не удовлетворенными

просьбами. Липинский, недовольный и этим, использовал соответственный случай для своеобразного предательства. Умер один из старейших контрабасистов, и Липинский стал убеждать меня не замещать его вакансии, как это было принято, передвижением вверх по служебной лестнице остальных служащих, но, напротив, пригласить им же указанного музыканта Мюллера, выдающегося виртуоза-контрабасиста из Дармштадта. Когда ближе всего задетый этим музыкант нашей капеллы обратился ко мне по этому поводу, рассчитывая на законную поддержку с моей стороны, я остался верен обещанию, данному Липинскому, выразил свои соображения о вреде такого рода местничества и заявил, что, согласно присяге, я прежде всего обязан охранять интересы искусства в доверенном мне учреждении. Скоро, к моему величайшему и наивному изумлению, я узнал, что вся капелла, как один человек, отвернулась от меня, а когда мне затем пришлось объясняться с Липинским по поводу целого ряда его жалоб, он сам же и выразил негодование по поводу моего поведения в инциденте с контрабасистом и заявил, что я задел самые несомненные права членов оркестра, тогда как от меня вправе были ждать отеческой заботливости.

Г-н фон Люттихау, намеревавшийся покинуть на время Дрезден, был в высшей степени обеспокоен создавшимися в оркестре трениями, тем более что и Райсигер был как раз в отпуске. Когда я увидел всю фальшь и бесстыдство Липинского, я сразу прозрел. Ко мне вернулось мое хладнокровие, и я успокоил озабоченного генерал-интенданта, уверив его, что теперь я знаю, с кем имею дело, и соответственно этому буду вести себя в дальнейшем. Свое слово я сдержал свято: ни разу с тех пор не было у меня никаких столкновений ни с Липинским, ни с кем-либо другим из членов капеллы вообще. Наоборот, скоро у меня

установились со всеми музыкантами настолько прекрасные отношения, что я всегда мог гордиться их преданностью.

Но с этого момента я решил, что дрезденским капельмейстером до конца своей жизни я не останусь. Моя должность, вся моя дрезденская деятельность стала мне в тягость, и эту тягость я чувствовал особенно горько в те единичные моменты, когда работа моя приносила действительно прекрасные плоды.

145

Август Рёкель. Первое знакомство

Одного только единственного друга приобрел я тогда в Дрездене, и дружба эта пережила время нашей совместной музыкальной деятельности. К обоим капельмейстерам должен был быть прикомандирован музикдиректор. Нужен был не столько музыкант с именем, сколько дельный работник, способный человек и прежде всего католик, так как оба капельмейстера, к великому огорчению духовного управления католической Придворной церкви, с которой приходилось иметь дело королевской капелле, были как раз протестанты. Все необходимые качества соединялись в лице племянника Гуммеля, Августа Рёкеля, который хлопотал из Веймара об этом месте и которому оно и было предоставлено. Он принадлежал к старобаварской семье. Отец его был певцом. В эпоху первых представлений бетховенского «Фиделио» он часто исполнял партию Флорестана. Долгое время он был в дружеских отношениях с самим Бетховеном, так что, благодаря ему, сохранились для потомства многие до того неизвестные подробности его жизни. Позднейшая деятельность отца Августа в качестве учителя музыки близко познакомила его с внутренней жизнью театральных дирекций. Он первый

познакомил Париж с немецкой оперой, и при том с таким необыкновенным успехом, что именно ему мы должны считать себя обязанными тем воздействием, какое «Фиделио» и «Фрейшютц» имели на парижскую публику, — оперы, совершенно до того во Франции неизвестные. Он же показал парижанам и Шрёдер-Девриент.

Отцу во всех этих начинаниях деятельно помогал молодой еще тогда Август, очень рано познавший практическую сторону музыкальной деятельности. Благодаря тому, что предприятия его отца охватывали и Англию, Август из отношений с людьми и соприкосновения с разнообразнейшими жизненными обстоятельствами извлек много практических знаний и выучил, между прочим, английский и французский языки. Однако сильнее всего говорило в нем стремление к музыке, и оно-то определяло дальнейшее течение его жизни. При хороших способностях музыка давалась ему легко, и он имел право рассчитывать на успех в этой области. Рёкель прекрасно играл на фортепьяно, быстро знакомился с любой партитурой, обладал необыкновенно тонким слухом и был, таким образом, вполне подготовлен к карьере музыканта.

Что касается композиций, то в этом отношении его побуждало работать не столько стремление к творчеству, сколько желание испытать свои силы, желание добиться и здесь какого-нибудь успеха. При этом он не искал вовсе признания достоинств выдающегося музыканта, а лишь претендовал на реноме опытного оперного композитора. С этой скромной целью он написал оперу «Фаринелли». Текст к ней он сочинил сам, с такой непритязательностью, как если бы он писал не для себя, а для своего тестя Лорцинга.

С этой партитурой он и явился ко мне. Это был его первый визит, когда он еще не слышал в Дрездене ни одной из моих вещей. Он просил меня сыграть ему что-нибудь

из «Риенци» и из «Летучего Голландца». Его открытое и симпатичное поведение побудило меня удовлетворить его просьбу. Я произвел на него такое глубокое и неожиданное впечатление, что он тут же решил отныне не утруждать меня более своей оперой. Лишь впоследствии, когда мы ближе сошлись и наши личные интересы соприкоснулись теснее, он позволил себе, нуждаясь в денежной реализации своего труда, просить меня в виде особой дружеской услуги заняться его партитурой. Я дал ему несколько советов, как ее переработать, но скоро его собственное творение так безнадежно ему опротивело, что он не только совершенно забросил его, но и вообще никогда больше не возвращался к подобного рода задачам. После того как Рёкель ближе познакомился с некоторыми моими готовыми операми и набросками новых работ, он прямо заявил мне, что считает себя призванным стать моим верным помощником, распространять в широких кругах правильное отношение к моим новым концепциям, посильно взять на себя всю тягостную сторону моего служебного дела и всех вообще отношений с миром и оградить меня от всякой мелкой суеты. Сам же он раз навсегда отказывался от мысли фигурировать рядом со мной в качестве оперного композитора.

Тем не менее я все-таки склонял его к самостоятельной продуктивной работе, указывал на разные подходящее мотивы. Так, например, я предложил ему использовать сюжет небольшой французской драмы «Дочь Кромвеля», а впоследствии познакомил его с содержанием одной трогательной истории из крестьянской жизни, найденной мной в небольшой книжке, и даже составил подробный план ее разработки. Все мои усилия оказались бесплодными. Обнаружилось, что, во-первых, творческая жилка билась в нем слишком слабо и что, во-вторых, жизнь его стала складываться в материальном отношении очень тяжело.

Он был настолько удручен постоянными заботами о пропитании жены и все растущего потомства, что мне пришлось оказать ему помощь и сочувствие с совершенно другой стороны.

О поддержании в нем стремления к дальнейшему музыкальному развитию не могло быть и речи. Необыкновенно способный от природы и одаренный редким умением доходить до всего самостоятельно, приобретать разностороннейшие теоретические и практические познания, он проявил столько несокрушимой преданности и сердечной доброты в заботах обо мне, что скоро стал для меня незаменимым другом и товарищем. Рёкель был и остался единственным человеком, верно оценившим характер моих отношений к окружающей среде, и с ним одним я мог откровенно делиться всеми моими заботами и тревогами в полном убеждении, что он поймет меня. Сколько тяжких страданий и испытаний, сколько мучительных беспокойств готовила нам обоим судьба, будет видно из дальнейшего.

146

Врач Антон Пузинелли. Мария фон Кенеритц. Ида фон Люттихау

Еще одного друга приобрел я в первое время моего пребывания в Дрездене, друга преданного и верного, хотя по характеру своему менее способного влиять на дальнейшее течение моей жизни и играть в ней серьезную роль. То был молодой врач, Антон Пузинелли, живший рядом с нами. Когда дрезденское *Liedertafel*[87], с которым у меня установились известные отношения по случаю празднования 30-летней годовщины моего рождения, устроило маленькое

[87] Мужское хоровое общество (*нем*.).

празднество в мою честь, д-р Пузинелли сумел воспользоваться случаем, чтобы лично познакомиться со мной, обнаружив при этом серьезную, сердечную ко мне приверженность. Между нами быстро установились спокойные дружеские отношения, оказывавшие на меня благотворное влияние. Он стал моим заботливым домашним врачом и, кроме того, в течение моей дрезденской жизни при все более запутывавшихся материальных обстоятельствах многократно выручал меня из беды. При всегдашней готовности оказать поддержку и при личной материальной обеспеченности он имел полную возможность быть мне особенно полезным и этим вызвать во мне чувство благодарности за неоценимые дружеские услуги.

К дальнейшему расширению моих личных связей в дрезденском обществе послужило знакомство с семьей камергера фон Кённерица. Жена его, Мария фон Кённериц, урожденная Финк, близкий друг графини Иды Ган-Ган, заявила себя особенно горячей, почти фанатической поклонницей моих музыкально-композиторских трудов. Я мог бы рассчитывать с помощью этой семьи, куда меня часто приглашали, завязать более широкие отношения в среде высшей дрезденской аристократии. Однако дальше чисто внешнего знакомства дело не пошло, и сколько-нибудь прочных связей не образовалось.

Правда, я познакомился с графиней Росси, знаменитой Зонтаг, которая, к искреннему моему удивлению, отнеслась ко мне с подкупающей сердечностью и теплотой, что дало мне впоследствии в Берлине повод подойти к ней в качестве человека, ей уже небезызвестного. О том разочаровании, какое меня при этом постигло, сообщу в свое время подробнее. Здесь же упомяну только, что прошлое научило меня не поддаваться никаким иллюзиям, а настоящее скоро показало, что всякие попытки приблизиться к этой среде в расчете

найти утешительную поддержку надо оставить раз и навсегда, как предприятие совершенно безнадежное.

И хотя с супружеской четой Кённериц у меня сохранились дружеские отношения во все время дальнейшего моего пребывания в Дрездене, знакомство это не оказало никакого влияния ни на мое музыкальное развитие, ни на мое положение в обществе. Только однажды фон Люттихау в период обострения наших отношений заявил, что г-жа фон Кённериц преувеличенными похвалами вскружила мне голову и тем заставила забыть разницу наших с ним положений. Он не знал одного, а именно: что если кто из высшего дрезденского дамского общества действительно мог своим поклонением укрепить во мне гордую самоуверенность, то это была его собственная жена, Ида фон Люттихау (урожденная Кнобельсдорф). Эта тонко образованная, благородная и нежная женщина, единственная в своем роде, могла бы оказать глубочайшее влияние на всю мою жизнь, если бы я имел возможность поддерживать с ней сколько-нибудь постоянные и тесные отношения. Тут не столько играло роль положение ее мужа, сколько ее постоянная болезненность и странное чувство, мешавшее мне навязываться ей со своим знакомством. Поэтому я лишь в редкие периоды входил с ней в более или менее близкое соприкосновение.

В моей памяти ее образ сливается отчасти с образом сестры Розалии. Вспоминаю, как умиляло меня, какую гордость возбуждало во мне сознание, что в тонкой, угасающей в тяжких условиях жизни женщине мне удалось возбудить такое светлое сочувствие. Впервые ощутил я это, когда Ида фон Люттихау проявила особый интерес к «Летучему Голландцу», несмотря на то что после «Риенци» дрезденская публика отнеслась к нему отрицательно. Она оказалась первой, которая наперекор общему мнению приветствовала

меня на новом пути. Это так глубоко тронуло меня, что именно ей я посвятил эту оперу, когда опубликовал ее впоследствии. О том, сколько теплого участия она проявила к моим новым стремлениям и сокровенным художественно-артистическим планам, я буду говорить особо, когда коснусь некоторых исключительных событий, относящихся к дальнейшему дрезденскому периоду моей деятельности. Но сколько-нибудь близких отношений между нами, как я уже упоминал, не установилось, и на характер моей дрезденской жизни ценное для меня знакомство не оказало никакого влияния.

147

Дрезденский Liedertafel. План перенесения праха Вебера из Лондона. Композиция для предстоящего празднества

Напротив, на первый план выдвигались с непреоборимой навязчивостью разные театральные знакомства, и, строго говоря, во времена моих наибольших успехов я продолжал жить в той же благодушно-фамильярной среде, которая этим успехам предшествовала. К моим старым друзьям, Гейне и Фишеру, примкнул еще только Тихачек с его особыми «приятельскими замашками». Кто жил в то время в Дрездене и случайно знал придворного литографа Фюрстенау, будет поражен, узнав, что я долгое время поддерживал с этим закадычным другом Тихачека тесные отношения. Какое значение имело это странное знакомство, можно видеть из того, что полнейший разрыв мой с ним совпадает точнейшим образом с эпохой окончательного краха моего общественного положения в Дрездене.

Благодушное согласие занять пост музыкального председателя дрезденского *Liedertafel* повело к дальнейшему расширению моих личных поверхностных знакомств. Общество состояло из не особенно большого числа молодых

коммерсантов и чиновников, интересовавшихся всякого рода развлечениями больше, чем музыкой, но всю эту организацию поддерживал из собственных, личных целей профессор Лёве, человек чрезвычайно честолюбивый. Для достижения этих целей ему необходимо было, по-видимому, привлечь к участию в деле такое авторитетное лицо, каким являлся в Дрездене я. Среди планов Лёве важнейшее место занимал план перенесения праха Карла Марии фон Вебера из Лондона в Дрезден, и так как эта мысль была и мне очень симпатична, то я охотно пошел навстречу профессору, преследовавшему, собственно, одни лишь личные честолюбивые цели.

Прежде всего необходимо было пригласить к участию в больших торжествах все саксонские мужские певческие общества и объединить их вокруг дрезденского *Liedertafel* — общества в музыкальном отношении ничтожного. С этой целью был организован особый комитет, который ввиду возникших трений усилиями Лёве превратился в настоящий «революционный трибунал». В комитете, когда пришлось провести намеченный план, Лёве бессменно председательствовал день и ночь и проявил столько бешеной энергии, что я прозвал его «Робеспьером». К счастью, лично я, хотя и встал во главе предприятия, держался в стороне от всего, что делалось в нем «террористического», — я всецело был занят составлением большой композиции, обещанной для предстоящего празднества.

На мою долю выпала задача написать большую хоровую вещь исключительно для мужских голосов, исполнение которой должно было занять около получаса времени. Исходя из соображения, что утомительной монотонности мужского хора не освежит в достаточной степени даже участие оркестра, я решил внести в композицию драматический элемент. Согласно этому, я набросал большую

хоровую сцену, в которой изобразил трапезу апостолов и сошествие на них Святого Духа. При этом, избегая всяких солирующих партий, я распределил музыкальный материал между различными хоровыми группами, как это и требовалось, согласно задаче всей композиции. Так и возникла эта «трапеза апостолов», публично исполнявшаяся за последнее время в разных местах, — произведение, которое я лично охотнее всего отношу к разряду композиций «на случай», ибо это все-таки был заказ, который пришлось выполнить во что бы то ни стало и в определенный срок.

Не без чувства удовлетворения отнесся я к успеху моей работы на репетициях мужских дрезденских хоров, которыми я сам руководил. Зато, когда при исполнении во Фрауенкирхе этой вещи 1200 певцов из всей Саксонии были отданы в мое распоряжение, меня поразил неожиданно слабый эффект громадного хора: очень уж слабо звучали голоса такого количества, казалось бы, мощных голосов, долетавших до моего уха. И этот опыт показал мне всю нелепость таких массовых певческих предприятий и навсегда отбил у меня всякую охоту к такого рода затеям.

148

Открытие памятника королю Фридриху-Августу. Хор для мужских голосов. Контрапунктический фокус Мендельсона. Стихотворный текст «Тангейзера». Создание прочной оседлости

С большим трудом отделался я от дрезденского *Liedertafel*, причем удалось это лишь тогда, когда мне посчастливилось навязать профессору Лёве другого честолюбца в лице некоего Фердинанда Хиллера. О самом славном из подвигов, совершенных мной совокупно с этим обществом, — о состоявшемся торжестве по случаю

перенесения праха Вебера (оно произошло, собственно, ранее), я буду говорить ниже. Здесь упомяну только об одной композиции «на случай», выполнение которой было мне заказано официально как королевскому капельмейстеру.

7 июня этого года (1843) состоялось торжественное открытие памятника королю Фридриху Августу работы Ритшеля в дрезденском Цвингере, и меня вместе с Мендельсоном почтили поручением написать торжественный хор и вообще руководить музыкальной частью праздника. Я составил простой, скромный хор для мужских голосов, Мендельсону же была указана более сложная задача: ввести в сочиненный им хор для мужских голосов гимн *God save the King*[88], по-саксонски *Heil Dir im Rautenkranz*. Для решения этой задачи он прибег к контрапунктическому фокусу, а именно после первых восьми тактов его оригинальной мелодии к мужским голосам примешивался духовой оркестр, игравший англосаксонский гимн. Моя простая песня, по-видимому, звучала издали очень прилично, его же рискованная комбинация, как я убедился, совершенно не удалась: никто не мог понять, почему хор поет совсем не то, что играет оркестр. Мендельсон, присутствовавший лично при исполнении своего опуса, письменно выразил мне свою благодарность за тщательное его проведение. Кроме того, я получил от главного комитета по организации торжества золотую табакерку, по ценности, вероятно, соответствовавшую достоинству моей композиции. На крышке ее, к моему удивлению, была выгравирована охотничья сцена так неосторожно, что металл во многих местах оказался прорезанным насквозь.

Вопреки всем этим впечатлениям, связанным с новой жизнью и радикально изменившимся общественным положением, я работал над самим собой, стараясь собраться

---

[88] «Боже, храни короля» (*англ.*).

с силами, и, оценив по достоинству все успехи, укрепиться на определенном пути. Уже в мае, в 30-ю годовщину моего рождения, я закончил стихотворный текст «Горы Венеры» — как был тогда озаглавлен «Тангейзер». Я в то время еще не начинал серьезно изучать средневековую поэзию: классические черты ее творчества неясно рисовались мне по моим юношеским воспоминаниям да по тем поверхностным отрывкам знаний, которые я извлек впоследствии в Париже из лекций Лерса.

Создание прочной оседлости — а она могла быть гарантирована только обеспеченным на всю жизнь положением на королевской службе, — приобретало для меня особенно важное значение, так как лишь при этом условии я мог надеяться снова приняться за планомерную и плодотворную работу, прерванную жизнью в театральной атмосфере и парижскими моими злоключениями. Самый характер моей официальной деятельности поддерживал во мне эти надежды, так как меня никогда действительно не перегружали работой, а генеральная дирекция относилась ко мне даже с исключительной внимательностью. Через несколько месяцев службы мне был дан, в первое же лето, отпуск для поправления здоровья. Этим отпуском я воспользовался, чтобы еще раз провести некоторое время в моем любимом Теплице, куда я уже заранее отправил жену.

149

«Германская мифология» Гримма. Смутная постройка из скудных обломков погибшего мира. В открытом экипаже

С особенным чувством удовлетворения оценил я всю разницу между моим прошлогодним и нынешним положением, когда в той же гостинице Zur Eiche в Шенау, где в прошлом году ютился в тесноте, ныне я занял

четыре комнаты со всеми удобствами. Сюда же по нашему приглашению приехали погостить сестра Клара и матушка, ежегодно лечившаяся ваннами от припадков подагры.

Сам я тоже воспользовался этим временем, чтобы провести курс лечения минеральными водами. Я надеялся избавиться от болезни брюшной полости, которой я был обязан парижской жизни. К сожалению, лечение привело к противоположным результатам, и когда я стал жаловаться на начавшееся у меня мучительное нервное возбуждение, я узнал, что совершенно не создан для подобного рода лечебных курсов. Мне объяснили, что предпринятое лечение может быть действительным лишь при условии, если во время необходимых при питье воды утренних прогулок двигаться очень спокойно и медленно, тогда как я обыкновенно стремительно мчался по аллее близлежащего сада.

Кроме того, забираясь для отдыха в уединенные уголки, я всюду таскал с собой довольно объемистую и тяжелую книгу вместе с бутылкой минеральной воды. Этой книгой была «Немецкая мифология» Я. Гримма. Кто знаком с ней, тот поймет, какое возбуждающее действие она должна была произвести на меня, особенно если принять во внимание, с одной стороны, богатство ее содержания, необыкновенное обилие самых разносторонних подробностей, ценных, впрочем, лишь для специалиста, и, с другой стороны, мое стремление к определенным, ясно очерченным поэтическим мотивам. Из скудных обломков погибшего мира, от которого почти не осталось никаких рельефных памятников, передо мной возникала сложенная неясная постройка. Все вместе в моем воображении походило на дикое ущелье, сплошь заросшее тощим кустарником. Ничего готового, лишь кое-где мелькали подобия архитектонических линий, и часто хотелось бросить книгу и отказаться от безнадежных усилий «построить»

что-нибудь из материалов, собранных в ней. И, тем не менее, она чудеснейшим образом приковывала меня к себе: скудные обломки прошлого говорили со мной идеальным языком старых преданий, и скоро всем существом моим овладело ощущение, что я иду к чему-то давно утерянному, к осознанию того, чего я никогда не переставал искать. В душе моей сложился целый мир образов, и образы эти отлились в такие неожиданно пластические и идеально близкие формы, что, созерцая их перед собой с полной отчетливостью и слыша их речь, я сам не понимал, откуда взялись у них эта доверительность, эта устойчивость, почти осязаемая для чувств.

То, что я переживал при этом, затрудняюсь назвать иначе как полнейшим перерождением. В детях нас особенно трогают первые, радостные, молниеносно быстрые вспышки сознания, здесь я сам с восторгом всматривался в новый, точно чудом во мне расцветавший мир, существование которого я до того лишь слепо предчувствовал, как дитя во чреве матери.

Сначала все эти переживания несколько мешали мне заняться той задачей, которую я себе наметил: приступить к музыке «Тангейзера». Я поставил в квартиру фортепьяно, безжалостно всячески терзал его, но ничего из этого не выходило. С величайшим трудом удалось сделать первый набросок, и то лишь благодаря тому, что основные мотивы уже раньше сложились у меня в голове. При этом я все время жаловался на приливы крови, на состояние усиленного возбуждения, воображал, что очень болен. Я целыми днями валялся в постели, читал германские саги Гримма, принимался снова за трудную работу по изучению мифологии, пока, наконец, меня не осенила счастливая мысль: совершить прогулку в Прагу, освободиться от всех терзаний, связанных с тогдашним положением вещей.

В открытом экипаже совершили мы с женой, уже всходившей однажды на Милешовскую гору, эту приятную

прогулку. Я снова поселился в излюбленном мной *Schwarzen Pferd*[89], нашел давнишнего приятеля Китля основательно разжиревшим, делал всевозможные экскурсии, наслаждался видом старого фантастического города. Тут же я узнал, к искренней своей радости, что мои прелестные подруги детства, Женни и Августа Пахта, сделали прекрасные партии в среде высшей аристократии. Я нашел, что все обстоит благополучно, и вернулся назад в Дрезден к выполнению обязанностей капельмейстера Его Величества короля Саксонского.

150

Нарядная капельмейстерская квартира. Библиотека

Прежде всего, предстояло солидно обустроиться в нанятой просторной, отлично расположенной квартире на Остра-Аллее, с видом на Цвингер. Обставлялся я с толком, основательно, как и подобает тридцатилетнему человеку, устраивающему очаг на всю жизнь. Так как никаких сумм для этой цели мне ниоткуда ассигновано не было, то приходилось обратиться к займу под проценты. Тогда я еще надеялся на реальные плоды моих дрезденских оперных успехов: разве не казалось совершенно естественным, что затраты будут покрыты с избытком?

Мою нарядную капельмейстерскую квартиру украшали главным образом три вещи: концертный рояль *Брейткопфа и Гертля*, купленный в собственность и составлявший мою гордость, затем висевший над солидным письменным столом (ныне находящимся во владении придворного музыканта Отто Куммера) титульный лист к «Нибелунгам» работы Корнелиуса, в прекрасной готической раме — единственная вещь, сохранившаяся до сих пор в моих руках.

[89] «Черном коне» (*нем.*).

Но особый уют придавала моей квартире третья «вещь»: это была библиотека, составленная систематически, по плану предстоящих занятий, купленная целиком, сразу. Когда дрезденская эпоха моей деятельности закончилась крахом, вся она оказалась во владении Генриха Брокгауза, которому я к тому времени задолжал 500 талеров. Он забрал ее в качестве залога без ведома моей жены, которая не имела ни малейшего представления об этом долге, и мне не удалось впоследствии вернуть типичную по своему составу библиотеку в свои руки.

Полнее всего здесь была представлена древненемецкая литература, в особенности же средневековая, причем мне посчастливилось добыть несколько очень ценных книг, как, например, редкую старинную книгу *Romans des douze pairs*[90]. Следующее место занимали исторические сочинения, относящиеся к Средним векам и к истории немецкого народа вообще. В то же время я позаботился обзавестись и образцами поэтической и классической литературы всех времен на всевозможных языках. Рядом с французскими авторами, с языком которых я кое-как справлялся, у меня были в оригинале итальянские поэты и Шекспир. Я надеялся найти достаточно свободного времени, чтобы подучиться новым языкам, которые я немного знал. Греческие и римские авторы были представлены в образцовых, ставших классическими переводах. Мне пришлось отказаться от надежды знакомиться с ними в оригинале, так как я не замедлил убедиться, пробуя читать Гомера по-гречески, что при моих капельмейстерских обязанностях понадобилось бы слишком много свободного времени, чтобы воскресить в памяти былые познания в этой

[90] «Романы о двенадцати пэрах» (*фр.*).

области. Помимо всего, я намеревался основательнейшим образом заняться изучением истории вообще и обзавелся поэтому соответствующими многотомными сочинениями.

Обставив свое жилище таким образом, я рассчитывал вознаградить себя в достаточной мере за тягостные стороны моей работы, моего служебного положения. Твердо надеясь, что я устроился прочно и спокойно в собственном углу, я в превосходном настроении переехал в октябре этого года (1843) в мою не роскошную, но солидную и благоустроенную капельмейстерскую квартиру.

151

Постановка «Летучего голландца» в Берлине. Взрыв горячего энтузиазма. Мендельсон

Остававшееся в моем распоряжении свободное время по окончании официальных дел и начатых с любовью занятий в библиотеке я, в моей новой обстановке, посвятил композиции «Тангейзера», первый акт которого был закончен в январе 1844 года. Этой зимой, небогатой сколько-нибудь яркими впечатлениями, связанными с моей деятельностью в Дрездене, мне пришлось совершить две поездки: одну в самом начале нового года в Берлин для постановки «Летучего Голландца», другую в марте в Гамбург для постановки «Риенци».

Первая из этих поездок оставила во мне наиболее яркие воспоминания. Извещение от берлинского театрального интенданта фон Кюстнера застало меня врасплох: оперный театр в Берлине сгорел около года тому назад и не мог еще быть реставрирован для новых представлений. Я спокойно ждал, пока кончится отстройка, и не делал никаких напоминаний о постановке оперы. Неудачный опыт в Дрездене показал мне, как важна для драматизированной

картины моря именно обдуманная и красивая постановка, и я рассчитывал в этом отношении на превосходные и искусные мизансцены берлинской оперы. Поэтому меня страшно огорчило намерение берлинской дирекции поставить произведение «на затычку», среди тех спектаклей, которые шли на сцене драматического театра. Мои протесты не помогли. Мне сообщали не о намерении приступить к изучению оперы, а о том, что она уже разучена и в ближайшие дни должна быть поставлена!

Во всем этом сквозило заранее принятое решение считать мою оперу лишь преходящим явлением в берлинском репертуаре, так как надеяться на то, что по окончании отстройки оперного театра дирекция займется новой ее постановкой, в новых условиях, очевидно, было нельзя. Задобрить меня старались тем, что постановка «Летучего Голландца» должна была совпасть с гастролями Шрёдер-Девриент, начавшимися в это время в Берлине. Предполагалось, что меня должно вполне удовлетворить участие великой артистки. В действительности же опера моя должна была играть «служебную» роль в гастролях Шрёдер-Девриент, так как дирекция была в затруднении относительно ее репертуара. Дело в том, что репертуар ее состоял преимущественно из так называемых больших опер — между прочим, и мейерберовских, — а их-то именно и хотели сохранить для особенно блестящей постановки в новом театре.

Я знал заранее, что дирекция берлинского придворного театра зачислила «Летучего Голландца» в разряд капельмейстерских опер и что, таким образом, его ждет участь, общая для всех таких произведений. И действительно, отношение ко мне и к моему творению соответствовало всем этим грустным предположениям, лишавшим меня всякой бодрости. Однако в надежде на сотрудничество и поддержку Шрёдер-Девриент я подавил в себе это чувство

и отправился в Берлин, чтобы по мере сил содействовать успеху оперы. Здесь я тотчас же убедился, что мое присутствие было настоятельно необходимо. У дирижерского пульта я встретил человека, представившегося мне как капельмейстер Хенниг (или Хеннигер). Он оказался старым служакой, поднявшимся до своего положения за выслугу лет из обыкновенных рядовых музыкантов. Хенниг имел весьма слабое понятие о дирижировании вообще, о моей же опере, в частности, не имел решительно никакого представления. Я встал у пульта сам, провел генеральную репетицию и два первых представления, в которых Шрёдер-Девриент участия еще не принимала. При этом я убедился, к крайнему моему огорчению, что в оркестре весьма слабо представлены струнные инструменты, поэтому он и звучит как-то плоско и пошло. Но зато исполнителями, их талантом и усердием я остался очень доволен. Что же касается превосходной мизансцены, созданной под руководством высокоодаренного режиссера Блума, при содействии опытных и изобретательных машинистов, то этой стороной постановки я был прямо поражен.

Конечно, мне страстно хотелось узнать, как все эти обстоятельства, внушившие мне столько бодрости и столько надежд, отразятся на успехе оперы у берлинской публики. И в этом отношении мне пришлось пережить странные вещи. Очевидно, вся многочисленная публика пришла на спектакль с готовой задачей: определить, в каком именно смысле, в каком отношении ей предстоит найти плохим мое произведение. В течение первого акта, по-видимому, она решила отнести меня к разряду скучных композиторов: не раздалось ни единого хлопка. Впоследствии меня уверяли, что это было для меня великим счастьем, ибо малейшая попытка выразить одобрение была бы немедленно принята за купленное сочувствие и вызвала бы самый

резкий протест. Лишь фон Кюстнер уверял меня потом, что удивлялся спокойствию, с каким, невзирая на полнейшее равнодушие публики, я после первого акта оставил пульт и поднялся на сцену. Это объяснялось тем, что раз сам я ходом исполнения был доволен, то отсутствие одобрения со стороны публики не могло меня смутить. Я сознавал, что решительного впечатления надо ждать от второго акта, и потому забота об удачном его проведении занимала меня гораздо больше, чем размышления над тем, почему берлинская публика ведет себя так, а не иначе.

И действительно, с самого начала второго акта лед растаял. Публика отказалась от своей первоначальной оценки по отношению ко мне, успех оперы все возрастал и в конце второго действия весь зал был охвачен взрывом горячего энтузиазма. Я выходил на бурные вызовы за руку с артистами, а так как третий акт был чересчур короток, чтобы навеять скуку, самая же сценическая концепция нова и увлекательна, то повторные вызовы по окончании оперы, казалось нам, неопровержимо свидетельствовали, что нами одержана полная победа. Мендельсон, находившийся в то время в Берлине вместе с Мейербером по делам генеральной музикдирекции, прослушав оперу в одной из боковых лож у просцениума, по окончании спектакля, весь бледный, подошел ко мне, чтобы пролепетать с деланным благодушием: «Кажется, вы можете быть довольны!»

В течение кратковременного моего пребывания в Берлине я виделся с ним несколько раз, провел даже один вечер у него, слушая разнообразную камерную музыку, и ни разу не обмолвился он со мной ни одним словом о «Летучем Голландце». Только раз, после второго представления, он спросил меня, выступит ли в моей опере Девриент или какая-нибудь другая артистка. Мало того, когда я с искренней теплотой заговорил однажды о его

музыке к *Sommernachtstraum*[91] (эта вещь ставилась тогда в Берлине, и я услышал ее здесь впервые), он отнесся к моим словам с таким же равнодушием и несколько ближе коснулся лишь игры актера Герна, который, по его мнению, тянул одеяло на себя и слишком переигрывал.

152

Второе представление «Летучего голландца». После спектакля. Странный посетитель. Сцена из фантастических рассказов Гоффмана

Через несколько дней состоялось второе представление «Летучего Голландца» под моим управлением, и публики в театре было столько же, сколько и в первый раз. То, что я в этот вечер испытал, оставляет далеко за собой пережитое на премьере. Очевидно, первое представление доставило мне несколько приверженцев, так как после увертюры раздались аплодисменты. Но они были заглушены усиленным шиканьем, и затем во весь вечер никто более не осмелился аплодировать.

Мой старый друг Гейне, приехавший из Дрездена, чтобы по поручению дирекции изучить постановку *Sommernachtstraum* для нашего театра, присутствовал на этом спектакле. Он передал мне приглашение одного из его берлинских родственников вместе отужинать после спектакля в одном погребке на Унтер-ден-Линден. Усталый и изнуренный до крайности, я последовал за ними в этот скверный, плохо освещенный ресторан, жадно и безнадежно, лишь для того чтобы согреться, пил предложенное мне вино, слушал сконфуженные речи добродушного приятеля и его спутника и тупо просматривал дневные газеты, в которых именно сегодня помещены были рецензии по поводу первого представления «Летучего Голландца».

---

[91] «Сон в летнюю ночь» (*нем.*).

Острая боль пронзила мне сердце, когда я впервые наткнулся на образчики того недостойного тона, того беспримерного бесстыдства и злобного невежества, с каким обрушивались на мое творение и позорили мое имя. Угощавший нас берлинец, благодушный филистер, заявил, что после этих рецензий он наперед знал, как пойдет дело в театре: берлинец, говорил он, раньше ждет, что скажет Рельштаб с товарищами, и только затем соображает, как ему надо вести себя. Этот странный человек хотел меня развеселить во что бы то ни стало и заказывал одну бутылку вина за другой, а друг Гейне стал вспоминать наши триумфы, дрезденскую постановку «Риенци». Была уже полночь, когда, шатаясь, с туманом в голове, добрался я в сопровождении их обоих до своей гостиницы.

Когда слуга со свечой в руке вел меня по темным коридорам, ко мне подошел господин, весь в черном, с бледным интеллигентным лицом, и попросил позволения поговорить со мной. Он объяснил, что находится здесь с самого конца сегодняшнего спектакля и твердо решил дождаться меня, во что бы то ни стало. Я извинился и заявил, что не способен в настоящую минуту вести деловые разговоры, ибо, как он может в этом убедиться и сам, неосмотрительно выпил слишком много, далеко не от радости. Все это я высказал срывающимся голосом. Странный посетитель, однако, не отказался от своего намерения, проводил меня до самой комнаты и продолжал настаивать, что именно теперь он считает необходимым поговорить со мной. Мы уселись в холодной комнате, при слабом свете одной свечи, и он в гладкой и стремительной речи разъяснил, что был сегодня в театре на представлении «Летучего Голландца». Он прекрасно понимает, в каком я должен быть настроении, но именно потому он твердо решил еще нынче повидать меня, сказать, что мной написано

неслыханное по мастерству произведение, и что было бы очень неразумно поддаться хоть на одну минуту чувству уныния из-за недостойного приема, оказанного берлинской публикой. Познакомившись в нынешний вечер с этим произведением, он понял, что будущему немецкого искусства открылись новые перспективы, новые надежды. У меня волосы поднялись на голове: сцена из гофмановских фантастических рассказов была предо мной наяву. Я ничего не в состоянии был сказать ему в ответ и спросил только, как его зовут. Мой вопрос удивил его, так как мы с ним накануне встретились и беседовали у Мендельсона. Уже там он обратил особенное внимание на мои слова и мое поведение и вдруг пожалел о том, что, не любя оперу, пропустил первое представление «Летучего Голландца», но дал себе слово быть на втором. При этом он назвал себя профессором Вердером. Мне этого было мало: я попросил его написать свое имя. Он отыскал бумагу и чернила, исполнил мою просьбу и ушел, а я почти без сознания бросился в постель и погрузился в глубокий, укрепляющий сон.

Утром я встал свежий и бодрый, заехал к Шрёдер-Девриент, обещавшей поддержать своим участием «Летучего Голландца», получил свои 100 дукатов гонорара и отправился домой через Лейпциг. В Лейпциге мне пришлось расплатиться с родными, у которых еще в первый, богатый надеждами дрезденский период я сделал заем. А по прибытии в Дрезден я опять углубился в свои книги, часто вспоминая глубокое впечатление, которое произвело на меня ночное посещение Вердера.

153

«Риенци» на гамбургской сцене. Бенефисный подарок. Попугай

Еще до конца этой зимы я получил серьезное приглашение в Гамбург для постановки «Риенци». Приглашение

исходило от предприимчивого директора Корнета, надеявшегося, как он мне признался, постановкой «Риенци» поправить свои пошатнувшиеся театральные дела. Ему нужна была вещь, способная обеспечить театру большой успех. Такого успеха он ждал от «Риенци», после того как прослушал его в Дрездене.

В марте я отправился в путь. Дорога туда была нелегка, так как от Ганновера приходилось ехать почтой и притом переправляться не без опасности через Эльбу во время ледохода. Город Гамбург после большого пожара только отстраивался, и в самом центре его сохранились еще обширные пространства, покрытые развалинами. В течение моего довольно продолжительного пребывания в Гамбурге было холодно и пасмурно, и это оставило во мне неприятное воспоминание. Репетиции с плохой, рассчитанной на самую серую публику труппой изнуряли меня до того, что, усталый и простуженный, я проводил свой досуг почти исключительно в одиночестве в своем номере в гостинице.

Все прежние впечатления театральной беспочвенности и пошлости воскресли вновь. Особенно тягостно было для меня сознание, что, по существу, я принужден играть роль пособника директора Корнета в самых низменных его интересах. Для него все дело сводилось к тому, чтобы добиться банального эффекта, и, по его мнению, такой успех должен был меня прельщать, так как кроме незначительного гонорара он заинтересовал меня известной тантьемой в будущем. Достоинство сценической постановки, о котором он не имел никакого представления, было принесено в жертву самому нелепому мишурному блеску. Обилие ярких костюмов, взятых из всевозможных фантастических балетов, пестрые и многолюдные шествия на сцене — вот главнейшие условия успеха.

Но ужаснее всего был певец, исполнявший главную роль, пожилой, рыхлый, безголосый тенор Вурда, певший Риенци в манере Эльвино, любимой его партии в «Сомнамбуле». Он был до такой степени невозможен, что мне хотелось уже во втором акте обрушить на его голову Капитолий и похоронить его под развалинами, чем заодно было бы уничтожено множество дорогих сердцу директора эффектных затей. Только одна-единственная певица выдвинулась вперед и радовала меня тем огнем, который она вкладывала в роль Адриано. Это была некая г-жа Ферингер, которой впоследствии, уже в период заката ее карьеры, Лист доверил в Веймаре роль Ортруды в «Лоэнгрине». Нельзя себе представить ничего более жалкого, чем вся моя возня при таких условиях. Внешнего провала, собственно, не было, и директор рассчитывал удержать оперу в репертуаре до тех пор, пока приедет Тихачек и даст гамбуржцам истинное представление о «Риенци», что действительно и случилось в ближайшее лето.

Г-н Корнет заметил, что я расстроен и угнетен, и так как ему удалось узнать о моем желании подарить жене попугая, он так и устроил, что мне был поднесен в бенефис прелестный экземпляр. Во время грустного путешествия обратно я вез его с собой в тесной клетке и был искренне тронут, когда убедился, что он ценит мои заботы и отвечает мне взаимной привязанностью. Минна встретила меня с великой радостью: благодаря этой красивой серой птице она рассудила, что я все-таки способен чего-нибудь на этом свете добиться. У нас была прехорошенькая собачка, увидевшая свет как раз в день первой репетиции «Риенци» в Дрездене. Это было прелестное существо, страстно мне преданное, проявлявшее разные таланты и любимое всеми, кто в те годы посещал наш дом. Теперь к нему присоединилась забавная птица, послушная и очень понятливая, и эти два существа оживляли наше бездетное

существование. Жена скоро научила попугая отрывку из «Риенци», и он уже издали, когда я подымался по лестнице, приветствовал меня им.

Таким образом, казалось, что мой домашний очаг сложился по возможности уютно.

154

Клавираусцуги. Аранжировки

Больше мне не приходилось ездить никуда для постановки моих опер по той простой причине, что с тех пор они не шли ни на какой сцене. Думая о причинах крайне медленного их распространения, я пришел к заключению, что одной из таких причин служит отсутствие в обращении соответственных клавираусцугов. Поэтому мне казалось разумным опубликовать таковые во что бы то ни стало. А так как я рассчитывал извлечь из такого издания кое-какой непосредственный доход, в котором очень нуждался, то я и решил издать клавираусцуги на собственные средства. Я вступил для этой цели в переговоры с владельцем дрезденского придворного музыкального магазина К. Ф. Мезером, не печатавшим до того ничего, кроме танцев, и условился с ним по контракту в том, что он является издателем этих вещей лишь фиктивно. На деле все издание он берет на склад за комиссию в 10 %, а все средства для издания доставляю я сам.

Предстояло, таким образом, издать две оперы, из которых «Риенци» была особенно велика по своим размерам. Выяснилось, кроме того, что для успешного распространения их и увеличения доходности предприятия необходимо, кроме обыкновенных клавираусцугов, выпустить и другого рода аранжировки, без текста, в две и в четыре руки. На все это нужны были значительные средства. Ввиду того, что мне приходилось думать об уплате упомянутых

долгов, сделанных для покрытия старых обязательств и затрат по обзаведению и обстановки, то надо было искать, в общем, довольно крупную сумму. Всеми моими планами и соображениями я поделился со Шрёдер-Девриент, вернувшейся к тому времени (к Пасхе 1844 года) в Дрезден по новому ангажементу. Она верила в будущее моих творений, хорошо понимала все особенности моего положения, нашла правильными мои расчеты и согласилась помочь мне, даже не видя в этом никакой со своей стороны жертвы. Необходимые средства, часть личного ее состояния, заключавшегося в польских государственных бумагах, она готова была предоставить в мое распоряжение за соответствующий процент. Все это уладилось так просто и казалось настолько само собой понятным, что я немедленно же приступил к необходимым переговорам с одним лейпцигским гравером и принялся за работы по изданию опер.

155

Денежные затруднения. Лист в уборной Тихачека. Альвина Фромман

Когда подготовка издания двинулась достаточно вперед и настал момент произвести значительные платежи, я обратился к Шрёдер-Девриент за получением части обещанной суммы. Однако я встретил неожиданное затруднение. Дело в том, что знаменитая артистка вступила в новую фазу личной жизни, имевшую для меня крайне гибельные последствия. Порвав окончательно с несчастным Мюнхаузеном, она вернулась, полная горячего раскаяния, к своему прежнему возлюбленному, моему приятелю Герману Мюллеру, но скоро пришла к заключению, что эта возобновленная связь все-таки не удовлетворяет ее. Новой звездой на горизонте ее жизни засиял на этот раз один гвардейский лейтенант: с такой же легкостью,

с какой она уже изменила однажды своему другу, она опять предала его и бросилась очертя голову в объятия нового стройного молодого человека, моральная и интеллектуальная ничтожность которого была всем ясна. Здесь она думала найти свое окончательное счастье. Лейтенант отнесся к выпавшей на его долю удаче очень серьезно и прежде всего позаботился завладеть состоянием своей будущей жены. Найдя, что оно скверно помещено и недостаточно обеспечено, он решил, что сумеет пристроить его гораздо лучше. Моя приятельница, крайне смущенная, объяснила мне в спутанных выражениях, что отказалась от самостоятельного распоряжения своими средствами и не в состоянии выполнить данного обещания.

Такой оборот дела затянул меня в круг бесконечных затруднений и стеснений, из которого я не мог вырваться в течение всей жизни: печать угрюмой безнадежности легла с тех пор на все мои начинания и предприятия. Выяснилось, что я зашел уже очень далеко, что вернуться назад немыслимо. Сколько-нибудь удовлетворительно выпутаться из этого положения можно было, лишь доведя дело до конца и обеспечив ему известный успех в будущем. И я стал занимать сначала у знакомых, а затем, доведенный до крайности, у кого только оказывалось возможным, на самые короткие сроки и под ростовщические проценты, деньги, необходимые, чтобы довести до конца издание двух опер, а затем и «Тангейзера». Делаю это замечание для того, чтобы подготовить читателя к дальнейшим катастрофам, развертывавшимся с роковой необходимостью.

Вначале положение мое еще не казалось совершенно безнадежным. Правда, зная хорошо по опыту, как вообще поставлено театральное дело в Германии, нельзя было рассчитывать на быстрое распространение моих опер, но в окончательном успехе отчаиваться еще было рано. Рядом

с угнетающими примерами Берлина и Гамбурга были налицо признаки, способные вселить известную бодрость. В Дрездене «Риенци» по-прежнему пользовался большим успехом у публики, а так как в летние месяцы через город проезжала масса народу со всех концов света, то это обстоятельство приобретало особенно важное значение. Моей оперой, которую, кроме Дрездена, нигде нельзя было услышать, живейшим образом интересовались и немцы, и иностранцы. Она удовлетворяла всех, и каждое представление «Риенци» в летние месяцы не менее, чем в зимние, принимало характер опьяняющего торжества. Все это, конечно, могло только поддерживать во мне бодрость.

Среди этих посетителей был однажды и Лист. Ввиду того, что в те дни в репертуаре Дрезденского театра не было «Риенци», он настойчиво просил дирекцию поставить оперу вне очереди. Я встретил его во время представления в уборной Тихачека, и здесь он так определенно и ясно высказал свое почти восторженное одобрение, что тронул меня до глубины души. И если это свидание не привело нас к более тесному сближению, то объясняется это тем особенным состоянием, в котором тогда находился Лист и которое заставляло его искать все новых возбуждающих впечатлений. Тем не менее с этого момента все чаще и чаще давал он мне свидетельства своего искреннего ко мне расположения. Видно было, что впечатление, которое я произвел на него, было прочно и серьезно, и участие его ко мне стало принимать самые яркие формы. Отовсюду, куда только ни заглядывал он в своем триумфальном шествии по миру, приезжали в Дрезден люди, принадлежащие большей частью к высшим кругам, чтобы услышать моего «Риенци». Отзывы Листа о моей опере, отдельные исполненные им номера заставляли их ждать впечатлений необыкновенных и значительных.

Кроме проявлений дружеского внимания и энтузиазма со стороны Листа, до меня доходили выражения одобрения и из других кругов общества. Удивительный ночной визит Вердера в Берлине после второго представления «Летучего Голландца» не остался единичным: вскоре я получил полное восторженных излияний письмо от совершенно мне неизвестной, ставшей с тех пор верным моим другом Альвины Фромман. После моего отъезда из Берлина она дважды слышала Шрёдер-Девриент в «Летучем Голландце», и письмо ее, в котором она описывала свои впечатления, было пропитано такой живой и глубокой верой в меня, таким признанием, какое редко выпадает на долю даже величайших мастеров. Такие письма не остаются без глубокого влияния на дух художника, на его веру в самого себя, в которой он так сильно всегда нуждается.

156

Инсценировка «Армиды». Знаменитый композитор и знаменитый рецензент. Хор нимф в третьем действии

Капельмейстерская деятельность, с которой я все более свыкался, не оставила во мне за этот протекший год сколько-нибудь живых, свежих впечатлений. К празднованию ее годовщины мне передали, как бы желая меня этим отличить, руководство постановкой «Армиды» Глюка (в первый раз эту оперу поставили в марте 1843 года со Шрёдер-Девриент до ее временного удаления с дрезденской сцены). На постановку было обращено особенное внимание ввиду того, что и Мейербер начинал свою деятельность генерал-музикдиректора в Берлине с этой оперы. Вот чем и объяснялся весь пиетет, которым окружена была инсценировка «Армиды». Мне передавали, что Мейербер отправился с партитурой «Армиды» к Рельштабу, прося дать ему указания относительно правильного понимания этой вещи.

Но ввиду того, что вслед за этим я узнал замечательную историю с двумя серебряными канделябрами, которыми знаменитый композитор освещал партитуру *Feldlager in Schlesien*[92], показывая ее не менее знаменитому рецензенту, то я и решил указаниям его относительно «Армиды» не придавать ни малейшего значения, а справиться с задачей собственными силами.

Я постарался добросовестно прочувствовать эту сухую партитуру и достичь некоторого ее смягчения, введя по возможности подвижную нюансировку в исполнение. Моя трактовка заслужила впоследствии горячее одобрение со стороны большого знатока Глюка, Эдуарда Девриента, доставившее мне известное удовлетворение. Прослушав и сравнив постановки этой оперы у нас и в Берлине, он живейшим образом одобрил тонкую подвижность, введенную мной в исполнение некоторых частей, по сравнению с грубой тяжеловесностью их трактовки в Берлине. Особенно бросился ему в глаза небольшой хор нимф в третьем действии (C-dur). Введя в исполнение нежнейшее piano и спокойный темп, я освободил этот хор от той печати античной грубости, которая лежала на нем в берлинском исполнении (надо думать, из уважения к исторической правде). Невинное средство, к которому я часто прибегал с целью нарушить мучительно однообразную монотонность оркестра, заключалось в том, что я осторожно видоизменял непрерывно ровное *basso continuo*[93] партитуры, заставляя исполнить его то *legato*[94], то *pizzicato*[95].

Дирекция обратила особое внимание на внешнюю сторону постановки оперы, главным образом на декорации,

[92] «Лагерь в Силезии» (*нем.*).
[93] «Непрерывный бас» (*ит.*).
[94] Связно, плавно (*ит.*).
[95] «Щипать» (*ит.*).

и «Армида» давала довольно хорошие сборы. Это обстоятельство доставило мне славу дирижера, подходящего для Глюка и родственного ему по духу, так как раньше, до меня, несравненно более благородная «Ифигения в Тавриде», несмотря на поразительное исполнение Шрёдер-Девриент, сборов совершенно не делала.

157

Рутина. Восьмая симфония Бетховена. Ритм вальса

Но этой постановкой слава моя как дирижера и ограничилась, ибо чаще всего мне случалось выступать в качестве дирижера моцартовских опер, входивших в обычный репертуар. Те, кто ждал от меня после «Армиды» чего-то необыкновенного, уходили разочарованные бледной постановкой этих произведений. Даже люди, относившиеся ко мне благосклонно, выводили отсюда заключение, что я несерьезно отношусь к Моцарту и не понимаю его. Они не принимали во внимание, что я, собственно, являлся здесь, в этих случайных постановках, лишь вторым дирижером, часто ведя оперу без единой репетиции, и что при таких условиях влиять на качество исполнения было немыслимо.

Конечно, я и сам чувствовал себя при этом очень скверно, но не мог помочь делу, и тем невыносимее становилась для меня моя должность, сознание зависимости от пошлейших соображений, связанных с театральной рутиной и запутанной канцелярщиной. Правда, с самого начала я заранее учитывал дурные стороны моей служебной деятельности, но от этого мне было не легче. Коллега Райсигер, которому я иногда жаловался на невнимательное отношение дирекции к нашим требованиям, к нашим стремлениям поддержать оперные постановки на должной высоте, утешал меня тем, что и я со временем, как это было и с ним, оставлю всякие мечты и покорюсь неизбежной

капельмейстерской судьбе. Он гордо похлопывал себя при этом по круглому животу, желая и мне поскорее обзавестись таким же.

Все невыносимее становилась для меня эта рутина, особенно после того, как я убедился, что ей подчиняются даже известнейшие дирижеры при исполнении лучших творений наших мастеров. Еще в первый год службы в Дрездене сюда был приглашен Мендельсон для дирижирования своей ораторией «Павел» на одном из знаменитых в то время концертов Дрезденской капеллы, дававшихся в Вербное воскресенье. Знакомство с этой вещью произвело на меня настолько приятное впечатление, что я еще раз попытался с искренней теплотой и сердечностью сблизиться с Мендельсоном. Одно характерное обстоятельство, обнаружившееся во время этого концерта, быстро потушило во мне, однако, это намерение. После оратории Райсигер дирижировал Восьмой симфонией Бетховена. На предварительной репетиции я обратил внимание на то, что при исполнении третьей части симфонии он впадает в обычную ошибку дирижеров: он ускорил Tempo di minuetto до того, что превратил его в бессмысленный вальс, и этим не только совершенно исказил внушительный характер всей симфонии, но и самому Trio, благодаря положительной невозможности для виолончелистов справиться со взятым темпом, придал прямо комический характер. Я говорил об этом с Райсигером, и он согласился со мной и обещал держаться на концерте указанного мной настоящего темпа менуэта. Обо всем этом я рассказал Мендельсону, когда, отдыхая после своей оратории, он уселся в ложе рядом со мной, чтобы прослушать симфонию. Мендельсон также согласился со мной, сказав, что мои указания относительно исполнения совершенно верны.

Но вот началась третья часть, и Райсигер, не будучи в состоянии заставить оркестр без предварительной

подготовки подчиниться сразу такому значительному изменению в темпе, уступил своей прежней привычке и опять от Tempo di minuetto перешел к ритму вальса. Только хотел я выразить по этому поводу свое огорчение, как заметил, что Мендельсон с довольным видом кивает мне головой, очевидно полагая, что это именно то, чего я хочу. Такое полнейшее отсутствие чутья у знаменитого музыканта настолько меня поразило, что я положительно онемел и с тех пор составил себе о нем особое мнение, которое впоследствии поддержал Р. Шуман. Выражая свое удовольствие по поводу темпа, взятого мной при исполнении первой части Девятой симфонии, он жаловался на то, что до сих пор, из года в год, в Лейпциге Мендельсон постоянно обезображивал эту часть нелепым его ускорением.

158

«Пасторальная симфония». Капельмейстер Морлакки

Итак, случаев оказать какое-нибудь влияние на постановку благородных произведений великих мастеров представлялось крайне мало, и приходилось самым жалким образом возиться с обыкновенным театральным репертуаром, без малейшего чувства удовлетворения. Лишь в Вербное воскресенье перед Пасхой 1844 года, сейчас же по возвращении из тягостной поездки в Гамбург, удалось мне несколько компенсировать свои труды в этом отношении: на концерте мне было предоставлено дирижировать «Пасторальной симфонией».

Необходимо было заняться устранением некоторых крупных недочетов, и к достижению этой цели пришлось идти трудными окольными путями. А именно раз навсегда принятое на этих знаменитых концертах расположение оркестра растянутым полукругом, обрамляющим хор, было столь бессмысленно ошибочно, что лишь совершенно особыми соображениями, которые мне привел Райсигер,

и можно было объяснить всю эту нелепость. Он говорил, что такой порядок был заведен еще покойным капельмейстером Морлакки, который, будучи итальянским оперным композитором, не имел никакого представления ни о значении, ни о задачах оркестра. Когда я спросил, зачем же в таком случае ему дано было распоряжаться вещами, о которых он не имел понятия, я получил ответ, что издавна как двор, так и генеральная дирекция отдавали этому итальянцу предпочтение перед всеми, даже перед Карлом Марией фон Вебером, что никакие возражения здесь не допускались, что и теперь еще нас ждут большие затруднения, если мы заявим свой протест против унаследованных ошибок, ибо в высших сферах живет доныне твердое убеждение, что Морлакки знал дело лучше всех. В душе моей пронеслось жуткое воспоминание из раннего детства о кастрате Сассароли, и я понял, что побуждало вдову Вебера придавать такое значение тому, чтобы именно я был наследником его в Дрездене и принял должность капельмейстера.

Несмотря на все это, исполнение «Пасторальной симфонии» прошло, сверх всякого ожидания, удачно. Лично же я впервые почувствовал всю возрождающую силу Бетховена, испытав то несравненное, волшебное наслаждение, какое дает изучение именно его произведений. Вместе со мной переживал это наслаждение и Рёкель. На всех репетициях он всячески поддерживал меня своим глазом, своим ухом. Все время он был со мной. Мы слушали вместе, мы желали одного и того же.

159

Король саксонский и император Николай. Приветственная песня королю. Ярость Люттихау

Летом этого же года мне предстояло еще одно предприятие, обещавшее большое внутреннее удовлетворение.

Предприятие не представляло большого музыкального интереса, но зато не лишено было некоторого общественного значения. Ждали возвращения — из продолжительного путешествия в Англию короля Саксонского, к которому, когда он еще был принцем Фридрихом, я чувствовал особую симпатию. Известия о его пребывании в Англии льстили моему патриотическому чувству. Когда король, чуждый всяких стремлений к хвастливым демонстрациям, находился в Англии, туда прибыл император Николай. В честь его были даны большие празднества и военные смотры, в которых принужден был принять участие, несмотря на всю свою нелюбовь к внешнему блеску, и наш король. Оказалось, что английский народ, холодно относившийся к русскому царю, нашего короля встречал с демонстративным, подчеркнутым энтузиазмом. В газетах тоже ясно проглядывала эта тенденция, и, таким образом, на маленькую Саксонию повеяло из Англии ласковым, теплым воздухом, что наполняло нас гордой радостью и любовью к королю.

Весь охваченный этим настроением, я узнал, что возвращающемуся домой королю готовится в Лейпциге торжественная встреча, музыкальная часть которой возложена на Мендельсона. Я стал расспрашивать, что по этому поводу собираются сделать в Дрездене, и оказалось, что король на пути домой проследует прямо в свою летнюю резиденцию, в Пильниц. Быстро обсудив все это, я сообразил, что обстоятельства складываются для меня особенно благоприятно, раз я лично хочу устроить королю действительно сердечную встречу. Ведь в Дрездене, если б встреча состоялась, мне пришлось бы принять в ней участие в качестве человека, находящегося на королевской службе, лишь в официальном, тягостном параде. И я решил собрать поскорее все, что поет и играет, сочинить приветственную песнь и исполнить ее на другое утро по прибытии

короля в Пильниц. Тут наткнулся я на особое затруднение. Генерал-интендант Люттихау был в отсутствии, в одном из своих имений. Кроме того, потребовалось время, чтобы столковаться с коллегой Райсигером и не дать нашему предприятию принять характер официальной овации. Времени оставалось, таким образом, мало — ждали приезда короля со дня на день, и потому я решил использовать свое положение руководителя *Liedertafel*. Я пригласил музыкантов и певцов, а также по-дружески привлек к участию театральные силы и капеллу. Спешно отправился я в Пильниц, чтоб столковаться обо всех подробностях с гофмаршалом, отнесшимся к моей идее очень одобрительно.

На пути туда и обратно я должен был сочинить стихи, переложить их на музыку, так как по прибытии домой предстояло немедленно все передать в готовом виде копиисту и литографу. Быстрое передвижение на открытом воздухе, летом, в живописной местности, сердечная любовь к немецкому монарху, подвинувшая меня на все это предприятие, — все вместе вызвало во мне прилив вдохновения. В этом настроении и зародились мелодические контуры для приветствия короля, которые шире развернулись потом в марше «Тангейзера» и сделали его одним из наиболее популярных моих произведений.

Уже на следующий день предстояло репетировать при участии 120 музыкантов и 300 певцов. Я позволил себе всю эту массу пригласить на сцену придворного театра. Все шло прекрасно, все были довольны, и я не менее других, как вдруг появился посол от генерал-интенданта, неожиданно прибывшего в город, и потребовал меня для объяснений. Г-н фон Люттихау, получивший своевременное извещение обо всем от моего друга Райсигера, был вне себя от ярости. Казалось, что, если бы у него была баронская корона, он с гневом сорвал бы ее со своей головы. В особенную ярость приводило его то, что я осмелился

непосредственно обратиться к гофмаршалу, а мое уверение, что хлопоты привели к цели необыкновенно быстро, только еще подлило масла в огонь, так как его действительное значение сводилось лишь к тому, чтобы представить необыкновенно трудным, непреодолимым все, что должно быть достигнуто в этой области. Я тут же заявил ему, что готов отказаться от всего: это испугало его. Я спросил, чего же он хочет в таком случае; он не знал, что ответить, но нашел крайне неколлегиальным с моей стороны, что я обошел в этом деле не только его, но и Райсигера. Я выразил готовность сейчас же отказаться от своей композиции и от дирижирования и передать все дело в руки Райсигера; это опять его не устраивало, так как — я это хорошо знал — он вовсе не ценил Райсигера. Неприятнее всего было ему, что я провел свое начинание через посредство гофмаршала фон Райценштайна, его личного врага. По его словам, я не имел понятия, сколько неприятностей подстроил ему гофмаршал. Эти добродушные излияния дали мне возможность выразить ему почти нелицемерное сочувствие, он же со своей стороны, пожимая плечами, решил дать всей этой неприятной истории идти своим путем.

160

Пильнитц. Веселые легионы певцов и музыкантов. Королева. Эволюция с хором. Завтрак на зеленых лужайках. Длинный человек с сухой, жесткой физиономией

Однако обиднее, чем эта «гофинтендантская буря», была для меня наступившая вдруг непогода: весь день дождь лил потоками, и если бы так продолжалось (а по некоторым признакам на это и следовало рассчитывать), то было бы почти невозможно на следующее утро в 5 часов, согласно нашим планам, выполнить программу, отправиться на специально нанятом пароходе вместе с сотнями моих сотрудников в Пильниц (в двух часах пути от Дрездена)

и там исполнить нашу приветственную кантату. Это приводило меня в истинное отчаяние, и только один Рёкель утешал меня словами: «Можно быть спокойным — завтра будет чудесная погода, нам везет». Эти слова остались в моей памяти. Впоследствии, много лет спустя, при неудачах, преследовавших все мои начинания, я вспоминал их как злую насмешку.

Но на этот раз Рёкель оказался прав: день 12 августа 1844 года был с раннего утра и до поздней ночи самым чудесным летним днем, какой я когда-либо видел. С чувством блаженного удовлетворения смотрел я, как сквозь утренний, предвещающий удачу туман собирались ко мне на пароход веселые легионы певцов и музыкантов, и в груди моей росла теплая вера в счастливую звезду. Дружным натиском мне удалось рассеять угрюмое настроение Райсигера и убедить его разделить со мной честь предприятия, приняв дирижирование моей композицией. К месту мы прибыли благополучно. Король и его семья были очень тронуты. Впоследствии в трудные времена королева Саксонская, как мне передавали, вспоминала об этом дне и этом утре с особенной теплотой как о лучшем времени ее жизни. Райсигер с большим достоинством помахивал палочкой, я в качестве тенора пел в хоре, а по окончании песни нас — обоих капельмейстеров — пригласили приблизиться к королевской семье. Король выразил свою сердечную благодарность, а королева особенно милостиво отнеслась к нам, похвалив меня за композицию, а Райсигера — за очень хорошее дирижирование.

Король попросил нас повторить последние три строфы, так как на свежем воздухе ему долго оставаться нельзя было: у него сильно болел зуб, и распухла щека. Быстро скомбинировал я особую тему с хором, удачное проведение которой ставлю себе в заслугу. А именно: я распорядился

повторить всю песнь, но только одна строфа, ввиду высказанного королем пожелания, была исполнена с сохранением прежнего расположения хора. С началом второй строфы я стал постепенно отводить недисциплинированную толпу музыкантов и певцов в 400 человек, с таким расчетом, чтобы последние две строфы долетали до слуха монарха из далеких уголков сада, как некая звуковая греза. Пришлось употребить неслыханные усилия, быть одновременно везде, всем помогать. Но зато маневр удался блестяще: все прошло гладко, не случилось ни малейшей заминки ни в такте, ни в общем ансамбле, как будто маневр был заранее разучен опытной театральной труппой.

Во дворце на зеленых лужайках был богато сервирован завтрак для гостей по распоряжению заботливой гостеприимной хозяйки-королевы. В окнах дворца, в различных его частях, мы в течение завтрака видели не раз, как венценосная хозяйка, полная сердечного одушевления, заботливо следила за тем, чтобы мы ни в чем не ощущали недостатка. Взоры всех сияли радостью. На меня смотрели как на виновника всеобщего счастья, и все чувствовали себя чуть ли не в раю. После трапезы мы толпами гуляли по прекрасным окрестностям дворца, по Кеппгрунду, с которым у меня были связаны некоторые дорогие воспоминания, и только поздно ночью вернулись в Дрезден в прекраснейшем настроении духа.

На следующий день меня снова пригласил к себе генерал-интендант. Но что-то, очевидно, случилось за это время с фон Люттихау. Когда я опять начал было искренне извиняться за причиненное беспокойство, этот длинный человек с сухой, жесткой физиономией взял меня за руку и с просветленным выражением лица, которого нельзя было и предположить у него, сказал, что «ни о каком беспокойстве» более и речи быть не должно, что я гений,

что мной будут восторгаться и меня будут любить, когда о нем уже не будет вспоминать ни одна душа в мире. Потрясенный до глубины сердца, я хотел выразить свое смущение по поводу этих излияний, но он ласково прервал меня, стараясь дружеской беседой преодолеть охватившее его самого волнение. Он с улыбкой заговорил о самоотречении, с каким при таких необыкновенных обстоятельствах я уступил почетное место совершенно непричастному Райсигеру. А когда я стал уверять его, что я передал коллеге дирижирование с чувством сердечного удовлетворения, он ответил, что хорошо понимает меня, но не может понять Райсигера, согласившегося занять место, ему совершенно не принадлежащее. Долгое время такое отношение ко мне Люттихау оставалось настолько прочным, что в деловых вопросах между нами установился тон полного доверия, и когда затем отношения наши изменились настолько, что приняли характер открытой враждебности, у этого странного человека все же осталась в душе нота своеобразной нежности ко мне, так что многие его позднейшие резкие нападки походили скорее на искаженную жалобу оскорбленной любви.

161

Спонтини, Мейербер и генерал Львов на представлении «Риенци». «Весталка»

Несколько запоздалым отпуском я в этом году мог воспользоваться лишь с сентября месяца. Я переехал на виноградник Фишера неподалеку от Лошвица, возле знаменитых Финдлейтерских виноградников. Здесь, бодрый и окрепший за шестинедельное пребывание на лоне природы, я закончил к 15 октября музыку второго действия «Тангейзера». В это же время в Дрездене должен был идти «Риенци» перед не совсем обычной публикой, и я прибыл

туда для дирижирования оперой. Случайно в амфитеатре встретились Спонтини с Мейербером, и к ним присоединился автор русского национального гимна, генерал Львов. Меня нисколько не интересовало, какое впечатление произвела моя опера на этих столь компетентных судей, я имел своеобразное удовлетворение от того, что эти люди видели, с каким успехом и при каком сборе идет «Риенци», несмотря на частые постановки. К концу спектакля меня особенно обрадовало, когда ко мне участливо подвели моего Пепса, бежавшего за моим экипажем всю дорогу из деревни сюда, и я тотчас же, не повидавшись с европейскими знаменитостями, уехал с ним обратно на тихий виноградник, где Минна встретила меня — особенно из-за Пепса, которого она считала потерянным, — необыкновенно радостно.

Здесь же посетил меня друг Вердер, с которым я сблизился при таких потрясающих условиях в Берлине. На этот раз он явился ко мне по-человечески, среди белого дня, при ясном небе. Мы много диспутировали о достоинствах «Летучего Голландца». Имея уже в мыслях «Тангейзера», я относился к этой опере значительно холоднее, и со стороны моего друга было очень любезно оспаривать мои доводы и разъяснять мне все значение этого творения.

Когда мы вернулись на зимнюю квартиру, я немедленно, без проволочек, подобных той, какая произошла между композицией первого и второго действия «Тангейзера», принялся за сочинение музыки к третьему действию. Несмотря на утомительные занятия, благодаря усвоенной привычке совершать ежедневно уединенные прогулки, мне действительно удалось дописать этот акт к 29 декабря, еще до конца года. Сильнее всего отвлекало меня от занятий пребывание у нас Спонтини, связанное с намеченной постановкой его новой оперы «Весталка». Воспоминания

об удивительных происшествиях, возникших в те дни, о характерных чертах и особенностях маститого художника сохранились во мне с такой живостью, что на них стоит остановиться.

162

Переговоры с Спонтини. Накануне генеральной репетиции. Гордый старик с походкой испанского гранда. Дирижерская палочка с белыми пуговицами из слоновой кости

При участии Шрёдер-Девриент мы могли рассчитывать провести оперу в главнейших частях прекрасно, и я подал фон Люттихау мысль воспользоваться случаем и оказать особое, благожелательно демонстративное внимание Спонтини. Дело в том, что Спонтини недавно пережил в Берлине большие неприятности и раз навсегда отвернулся от этого города, мы же могли доставить ему известную компенсацию, предоставив дирижировать самому своей, по заслугам прославленной, оперой. Мое соображение было принято, и мне, знакомому с произведением Спонтини, было предложено войти по этому поводу в переговоры с автором. По-видимому, мое письмо к нему, хотя и написанное по-французски, убедило его в том, что я очень тепло отношусь к этому предприятию, и в ответном величественно благосклонном письме он изложил свои особые пожелания, касающиеся торжественной постановки оперы под его личным руководством. Составом певцов, принимая во внимание, что среди них была Шрёдер-Девриент, он остался вполне доволен. А что касается хоров и балета, то он высказал уверенность, что будут приняты все меры для достойной их постановки. Относительно оркестра он полагал, что будет им доволен, если только тот составится из достаточного числа хороших музыкантов и, если, как он выразился, все вместе «вооружено 12-ю хорошими контрабасами».

Последняя фраза привела меня в отчаяние, так как, судя по ней, я легко мог себе представить, каким масштабом надо мерить остальные его пожелания, и поспешил в интендантство сообщить, что дело не так легко провести, как мы думали. Испуг интенданта был очень велик: немедленно надо было найти средство взять назад сделанное предложение. Шрёдер-Девриент услыхала, в какое мы попали затруднительное положение, и, зная хорошо Спонтини, звонко расхохоталась над нашей наивной непредусмотрительностью. Однако она все же пришла к нам на помощь и предложила сослаться на ее нездоровье и отодвинуть постановку оперы на неопределенно долгий срок. Спонтини же, как мы полагали, ждать не захочет: он имел в своем распоряжении мало времени и настаивал на скорейшем выполнении нашего плана, так как спешил в Париж, где его ждали с нетерпением. Исходя из сложившейся ситуации, я должен был проделать невинную комедию и заставить маэстро самого отклонить определеннейшее предложение дирекции.

Мы облегченно вздохнули, продолжали нашу работу и были уже накануне спокойно намеченной генеральной репетиции, как вдруг однажды в полдень у моего дома остановилась коляска, и в мою комнату, облаченный в длинный синий сюртук, один, без провожатых, быстро вошел гордый старик, с живостью, несвойственной его обычной величавой походке испанского гранда. Со страстным оживлением он предъявил мои письма и, ссылаясь на нашу корреспонденцию, заявил, что ни в коем случае не отказывался от нашего приглашения, что, напротив, он принял все наши условия. Я забыл все затруднения, ожидающие нас впереди, и, весь отдавшись сердечной радости видеть у себя этого удивительного человека, слышать его произведение под собственным его руководством, тут же решил предпринять все на свете, чтобы

только удовлетворить его. Открыто и горячо я все это ему высказал, и он с почти детской улыбкой отнесся к моим заявлениям.

Но когда я, чтобы окончательно убедить его в своей искренности, предложил ему на следующий же день принять дирижерство на репетиции, он внезапно замялся и стал взвешивать какие-то мешающие ему затруднения. Сильно взволнованный, он ничего не высказывал с полной ясностью, и я принужден был просить его изложить условия, при каких он считает удобным принять на себя дирижирование репетицией. Подумав немного, он спросил, какого рода палочкой мы дирижируем. Я показал ему рукой размер и крепость употребляемой нами обыкновенной палочки, которую служитель обертывает белой бумагой и подает перед началом спектакля. Он вздохнул и опять спросил, могу ли я к завтрашнему дню приготовить довольно длинную и толстую (он показал ее размеры на своей руке) палку черного дерева с крупными белыми набалдашниками из слоновой кости по концам. Я обещал приготовить к репетиции нечто подобное, но настоящую палочку из указанного им материала — лишь к самому дню спектакля. Это его успокоило. Он провел рукой по лбу, позволил объявить о его согласии и уехал в отель, предварительно еще раз подробно повторив описание своей дирижерской палочки.

163

Спонтини у дирижерского пульта

Все это было похоже на сон, и я поспешил распространить где следует весть о совершившемся и о предстоящем: мы, что называется, попались. Шрёдер-Девриент взяла на себя роль козла отпущения, а я вошел в подробнейшее обсуждение вопроса о палочке с театральным столяром. Палочка удалась: она была длинная, толстая, черная, с двумя белыми большими набалдашниками по концам.

Началась репетиция. Спонтини, видимо, чувствовал себя неловко у дирижерского пульта и высказал пожелание, чтобы гобои были размещены за его спиной. Так как такая перестановка повлекла бы за собой перемещение всех групп и вызвала бы неизбежное замешательство в оркестре, то я убедил маэстро оставить пока все на месте и обещал провести эту меру впоследствии, после репетиции. Он молчал и взялся за палочку. В одно мгновение я понял, почему он придавал ее форме такое значение: он держал ее не так, как мы обыкновенно делаем, за конец, а брал ее всей рукой за середину и пользовался ней, как маршальским жезлом, не для отбивания такта, а для командования.

И уже в течение первой сцены наступило замешательство, которое было тем труднее разъяснить и уладить, что немецкий язык маэстро был непонятен ни музыкантам, ни певцам. Одно нам стало совершенно ясно: он хотел всячески дать почувствовать, что ни о какой генеральной репетиции не может быть еще и речи, что, напротив, только отныне начинается настоящее изучение оперы. Это должно было неизбежно повести к полной путанице в репертуаре, что привело моего старого друга, хормейстера и режиссера Фишера, относившегося прежде с величайшим энтузиазмом к приглашению Спонтини, в полнейшее отчаяние. Он пришел, наконец, в совершенную ярость и в своем ослеплении стал видеть во всем, что ни делал Спонтини, новые подвохи с его стороны. Давая реплики композитору, он ругался по-немецки самым грубым образом.

Раз Спонтини подозвал меня к себе и шепнул по поводу только что пропетого хором: «*Mais savez-vous, vos choeurs ne chantent pas mal*»[96]. Недоверчиво смотрел на эту сцену Фишер и в ярости спросил меня: «Что еще нужно этому

---

[96] «А знаете, ваши хоры неплохо поют» (*фр.*).

собачьему сыну»? С трудом удалось мне успокоить столь быстро разочаровавшегося энтузиаста.

Дольше всего задержались мы с первым действием при репетировании триумфального марша. Маэстро с величайшей горячностью высказал свое неудовольствие по поводу равнодушия, с каким народ на сцене встречал выход весталок. Он просто не заметил по близорукости, что при появлении жриц все находившиеся на сцене артисты и статисты по распоряжению режиссера опустились на колени, ибо то, что можно было воспринять только глазом, для него совсем не существовало. Он требовал, чтобы священный трепет римской армии выражался падением на колени и громким треском, стуком копий о землю — чтобы все это было выполнено с крайней резкостью. Пришлось бесконечное число раз все это повторить: то копья стучали чересчур рано, то слишком запаздывали. Сам Спонтини проделал несколько раз этот маневр ударом палочки о пульт, но ничто не помогало: стук выходил неровный и недостаточно энергичный.

Тут вспомнилась мне удивительная точность и почти пугающий эффект подобных же маневров на представлении «Фернанда Кортеса», которое я видел когда-то в Берлине и которое произвело на меня сильнейшее впечатление. Я понял, что у нас при обычной мягкости в проведении подобных маневров понадобится масса труда и времени, чтобы сколько-нибудь удовлетворить избалованного маэстро. В самом деле, по окончании первого акта Спонтини пошел на сцену, чтобы смущенным артистам дрезденского театра подробно разъяснить, чего он добивается, и заявить, что принужден настаивать на необходимости отложить окончательную постановку оперы до тех пор, пока не удастся повторными репетициями добиться преследуемых им эффектов. Все на сцене пришло в полное расстройство: певцы, режиссер, все рассеялись, точно

от налетевшей бури, в разные стороны и обсуждали создавшееся невозможное положение. Вокруг Спонтини стояли полукругом лишь театральные рабочие, осветители и хористы, глазевшие на странного человека, который горячо и страстно толковал о требованиях истинного театрального искусства.

Я подошел к Спонтини и стал уверять его вежливо, с видом полного перед ним преклонения, в ненужности всех его усилий. Я обещал, что все будет, как он хочет, что мы пригласим Эдуарда Девриента, видевшего берлинскую постановку этой сцены, совершенно в его духе, и поручим ему разучить с хором и статистами торжественную встречу весталок. Затем я увез его из театра, вырвал из той недостойной ситуации, в которой он очутился. Это успокоило маэстро. И мы сообща наметили план дальнейших репетиций согласно его воле, и, по правде говоря, я был единственным, кто, несмотря ни на что, мог быть доволен таким оборотом дела. Несмотря на все комические черты в поведении Спонтини, я начинал понимать, что, хотя и в странной, отчасти даже уродливой форме, он преследует и проповедует в театральном искусстве высокую, в наше время почти совершенно утерянную цель.

164

Оркестровые концепции

Мы начали, прежде всего, с репетиции за роялем, на котором маэстро хотел разъяснить певцам, чего он от них требует. Нового по существу мы от него узнали мало. Он не столько касался подробностей в исполнении, сколько общего понимания ролей. При этом он заранее заявил, что о таких знаменитых артистах, как Шрёдер-Девриент и Тихачек, он не говорит. Последнему он запретил лишь одно: имя «Юлия» заменять словом «невеста»,

которым обращается к своей возлюбленной Лициний в немецком переводе. Слово «невеста» казалось ему до такой степени варварски грубым, что он не понимал, как можно его употреблять в музыке. Другому же, менее талантливому и несколько неотесанному артисту, певшему партию Верховного жреца, он прочел довольно подробную лекцию о характере его роли. Разобрав речитативный диалог с Предсказателем, он указал, что все здесь построено на сознательном обмане со стороны Верховного жреца, рассчитано на эксплуатацию суеверия толпы. Он дает понять, что не боится своего противника, хотя бы тот и стоял во главе всего римского войска: в крайнем случае, если другого выхода не будет, он пустит в ход машины, с помощью которых совершит чудо и вновь зажжет угасшее пламя Весты. Если Юлия даже избегнет смерти и не будет принесена в жертву, власть жрецов все-таки не пострадает.

Однажды, беседуя со Спонтини об оркестре, я просил его объяснить, почему, так охотно и энергично пользуясь при всяком удобном случае тромбонами, он совершенно исключил их в первом действии при исполнении великолепного триумфального марша. Крайне удивленный моим вопросом, он спросил: «*Est-ce que je n'y ai pas de trombonnes?*»[97] Я сослался на его же партитуру, и когда он убедился, что я прав, то попросил меня ввести в этот марш партию тромбонов, чтобы уже на следующей репетиции иметь возможность ее прослушать. Он сказал мне, кроме того: «*J'ai entendu dans votre Rienzi un instrument, que vous appelez Bass-tuba; je ne veut pas bannir cet instrument de l'orchestre: faites m'en une partie pour la Vestale*»[98]. Соблюдая известную

---

[97] «Разве у меня нет тромбонов?» (*фр.*).

[98] «Я услышал в вашем “Риенци” инструмент, который вы называете бас-туба; я не запрещаю ввести его в состав оркестра “Весталки”» (*фр.*).

осторожность и никому не говоря об этом ни слова, я с радостью исполнил его просьбу. Когда затем на репетиции он впервые прочувствовал эффект этих инструментов, он бросил на меня взор, полный нежной благодарности.

Выполненная работа по обогащению партитуры была нетрудна, но произвела на него настолько сильное впечатление, что уже впоследствии из Парижа он прислал мне дружеское письмо с просьбой дать ему отдельный список с введенных в его партитуру партий. Гордость, однако, не позволяла ему прямо признать в письме, что речь идет о чем-то, мной самостоятельно сочиненном. Он писал: «*Envoyez-moi une partition des trombonnes pour la marche triomphale et de la Basse-tuba, telle qu'elle a ete executee sous ma direction a Dresde*»[99].

Я шел ему навстречу с большой готовностью и проявлял это с той же энергией, с какой провел полную перестановку всех групп оркестра согласно его желанию. Для него лично дело тут сводилось вовсе не к какой-нибудь определенной системе, а к известной привычке, и насколько для него важно было ничего не менять в этом отношении, стало для меня совершенно ясным, когда я увидел, как он дирижирует. Он управлял оркестром — так объяснял он мне — только взглядом: «Мой левый глаз — это первые скрипки, мой правый глаз — вторые скрипки». Чтобы действовать взглядом, нельзя носить очков, как это делают дирижеры, хотя бы даже и близорукие. «Сам я, — говорил он доверчиво, — не вижу ничего перед собой на расстоянии шага, однако взглядом веду весь оркестр за собой».

Отдельные особенности в случайно им усвоенной привычке определенным образом располагать группы оркестра

---

[99] «Отправьте мне партии тромбонов для триумфального марша и бас-тубы, как они проводились под моим управлением в Дрездене» (*фр.*).

были очень нерациональны. Например, привычка сажать гобоистов непременно позади себя могла, несомненно, выработаться у него лишь случайно, при управлении оркестром в Париже, где волей-неволей пришлось их усадить именно так. Гобоисты должны были отворачивать раструбы своих инструментов от публики, и наш превосходный гобоист был так этим возмущен, что мне стоило больших усилий шутками успокоить его на этот счет.

Надо, однако, признать, что привычка Спонтини опиралась и в данном вопросе на очень верный принцип, к сожалению, совершенно упускаемый из виду в большинстве немецких оркестров. Действительно важно, чтобы квартет струнных инструментов был равномерно распределен по всему оркестру, и чтобы собранные в одно место медные и ударные инструменты не заглушали его. Для этого их необходимо разделить и расположить по обоим флангам. И необходимо также, чтобы деревянные духовые инструменты были достаточно продвинуты вперед и длинной лентой проходили между скрипками. У нас же еще и теперь в самых больших и знаменитых оркестрах принято разделение всех инструментов на две половины: на струнную и духовую, — что сообщает всему ансамблю известную грубость и свидетельствует об отсутствии чутья к прекрасной связности, созвучию групп, к равномерной полноте оркестрового тона. Я был очень рад, пользуясь случаем, провести это новшество в Дрездене. Теперь можно было уже рассчитывать, опираясь на авторитет Спонтини, добиться разрешения короля на сохранение нового порядка. Оставалось только по отъезде Спонтини видоизменить и исправить некоторые случайности и странности в заведенном им распорядке, и тогда достигалось очень рациональное и превосходное по результатам расположение оркестра.

165

Подчеркнутая резкость ритмического акцента. Превосходная атмосфера. Страх альтистов. Два бледных старца. Эдуард Девриент. Перемена декорации

При всех чудачествах, проявляемых на репетициях, Спонтини действовал так обаятельно на музыкантов и певцов, что они отнеслись к своему делу с особенным вниманием. Характерна была, между прочим, та энергия, с какой он требовал в определенных местах подчеркнутой резкости ритмического акцента. Еще в Берлине, работая с тамошним оркестром, он усвоил привычку обозначать ноту, которую хотел выделить, непонятным мне сначала выкриком: «Diese!» Это приводило в необыкновенное восхищение Тихачека, обладавшего истинно гениальным чутьем ритма. Он сам прибегал часто к подобному же приему, вступая в ансамбль и желая побудить хористов к особенно точному соблюдению ритма: он утверждал, что важнее всего тогда выделять первую ноту — все остальное наладится само собой.

В общем создалась, таким образом, в труппе и в оркестре превосходная атмосфера, достойная маэстро. Одни альтисты не могли отделаться от страха, который он однажды нагнал на них. В аккомпанементе к печальной кантилене Юлии в финале второго действия альты исполняли свою музыкальную фразу без той особенной мягкости, какой добивался Спонтини, и однажды, внезапно обернувшись к ним, он воскликнул замогильным голосом: «Там смерть в альтах!» Два бледных старца, страдавших ипохондрией, крепко засевших у первого пюпитра и державшихся там, к моему великому огорчению, несмотря на то, что выслужили уже пенсию, с невыразимым ужасом уставились на Спонтини. Им послышалась в его словах угроза, и мне пришлось уже попроще, без театральной аффектации,

разъяснять истинный смысл слов маэстро, чтобы сколько-нибудь привести их в чувство.

На сцене успешно действовал Эдуард Девриент, добиваясь отчетливости ансамбля. Он сумел помочь советом, когда однажды требование Спонтини привело нас всех в замешательство. Дело в том, что на немецких сценах опера эта ставилась с известным сокращением: ее заканчивали дуэтом Лициния и Юлии, спасенной от смерти, под аккомпанемент хора. То же сокращение приняли и мы, но маэстро настаивал на том, чтобы мы поставили его оперу полностью, т. е. ввели также и особую заключительную сцену с веселым хором и балетом, как это издавна установилось во французских опера-сериа. Ему решительно неприятно было обрывать свое блестящее произведение в унылой обстановке, на печальном кладбище. Он требовал перемены декорации. Сцена должна была представлять залитую светом рощу Венеры, полную роз. Увенчанные розами жрецы и жрицы должны были у алтаря богини обручить перенесших столько испытаний влюбленных. Пришлось уступить, увы, не к выгоде оперы и не к усилению желанного успеха.

166

Шредер-Девриент и Иоганна Вагнер. Искусственные эффекты. Переигрывание

При постановке оперы все шло очень гладко и оживленно. Портило впечатление одно обстоятельство, никем из нас не предусмотренное, и обстоятельство это относилось к главной центральной партии. Великая Шрёдер-Девриент, игравшая самую молодую из всех весталок, как это явствовало и из реплик на сцене, была уже несколько стара для своей роли, и ее внешность зрелой женщины производила невыгодное впечатление. Особенно теряла

она рядом с другой весталкой, Главной жрицей, отличавшейся необыкновенной, чисто девической моложавостью, которой ничем не удавалось скрыть. То была моя семнадцатилетняя племянница, Иоганна Вагнер, которая обладала очаровательным голосом и выразительностью дикции. Невольно вызывала она в каждом зрителе мысль, что было бы лучше, если бы она поменялась ролью с великой артисткой. Зоркая Девриент подметила это впечатление и почувствовала себя вынужденной прибегнуть к особым искусственным эффектам, чтобы выйти победительницей из затруднительного положения. Это вело местами к некоторому переигрыванию, а в одном из главных моментов побудило ее использовать прямо-таки некрасивый прием.

Когда во втором действии, после большого терцета, неожиданно появляется ее возлюбленный, спасшийся бегством из заточения, она отступает перед ним к авансцене, и из стесненной груди ее вырывается: «Он свободен!» На представлении оперы при исполнении этой сцены она решила эти слова не пропеть, а проговорить. Какое действие может произвести такого рода прием, когда в состоянии наивысшего аффекта вырывается у артиста решительное слово с акцентом, близким к разговорному, это она изучила еще раньше и применяла неоднократно с величайшим успехом в «Фиделио». В фразе: «Еще один шаг, и ты мертв!» — она слово «мертв» скорее говорила, чем пела.

Потрясающее действие этого приема я испытал на себе и полагаю, что секрет его заключается в том особом чувстве, близком к ужасу, которое овладевает слушателем, когда артист одним таким словом вырывает его из мира идеального, из тех сфер, где музыка самым ужасным ситуациям придает возвышенный характер, и, как палач, повергает его сразу на обнаженную почву жестокой реальности. Мы непосредственно постигаем тогда самую суть

возвышенного. Вспоминая личное мое впечатление, я мог бы назвать это постижение молниеносным моментом восприятия. Перед нами озаряются два мира, и соприкасающихся друг с другом, и расходящихся в различные стороны, озаряются таким образом, что в одно мгновение мы проникаем взором в совершенно противоположные сферы.

Насколько, однако, с этим приемом надо быть осторожным и как нельзя себе позволять по отношению к нему никакого эгоистического использования, в этом я убедился по той полнейшей неудаче, какую потерпела великая артистка. Беззвучно и хрипло произнесенное слово как бы окатило и меня, и публику холодной водой. Никто не усмотрел в этом ничего, кроме неудачного театрального эффекта. Потому ли, что ожидания публики, уплатившей двойную цену за удовольствие видеть, как дирижирует сам Спонтини, были особенно преувеличены, потому ли, что самый стиль оперы, с ее на французский лад обработанным античным сюжетом, казался несколько устарелым, несмотря на всю пышность и красоту музыки, потому ли, наконец, что бледный финал, подобно неудачному драматическому эффекту Девриент, расхолодил слушателей, опера не вызвала энтузиазма. По окончании спектакля в ответ на жидкие вызовы вышел на авансцену маэстро. Весь увешанный орденами, он вызывал во мне тягостное чувство жалости. В общем, вечер произвел впечатление бледного чествования мировой знаменитости.

Сам Спонтини сознавал это не хуже других. Ему хотелось во что бы то ни стало поднять общее настроение, и он решил прибегнуть к средству, действенность которого испытал в Берлине. Там он прибегал к нему всякий раз, когда стремился провести свою оперу непременно при полном сборе и перед оживленной публикой. Он назначал

спектакль на воскресенье, ибо опыт показал, что по воскресеньям театр полон и публика оживлена. Но до ближайшего воскресенья было еще далеко, и затянувшееся, таким образом, пребывание его у нас доставило нам возможность насладиться еще несколько раз обществом этого удивительного человека. Эти часы, проведенные со Спонтини частью у меня, частью у г-жи Девриент, так сильно запечатлелись в моей памяти, что я охотно кое-что сообщу о них.

167

Интимные черты характера Спонтини

Особенно хорошо помню я обед у Шрёдер-Девриент, во время которого мы долго и оживленно беседовали со Спонтини и его женой, сестрой знаменитого фортепьянного фабриканта Эрара. Обыкновенно он не вмешивался в общую беседу, слушал с благородным спокойствием, как бы давая понять, что ждет, пока спросят его мнения. Раз заговорив, он выражался риторически торжественными, чеканно резкими фразами. Суждения его носили категорический характер и излагались тоном, не допускавшим никаких возражений. Среди гостей был Фердинанд Хиллер. Он заговорил о Листе, и когда присутствующее обменялись мнениями, высказал свое суждение о нем в поучающем тоне и Спонтини. Мне стало ясно, что с высоты своего берлинского трона он ко всем явлениям мира относился без особого простодушия и мягкости.

Покуда он вещал, как оракул, он не выносил ни малейшего шума. Однажды за десертом, когда тон общей беседы несколько оживился, во время его довольно продолжительной речи г-жа Девриент чему-то засмеялась. Спонтини бросил при этом взор, полный ярости, на свою жену. Г-жа Девриент тут же извинилась за нее, приняла

всю вину на себя и объяснила, что рассмеялась над необыкновенно курьезным девизом, напечатанным на конфетной бумажке, на что Спонтини ответил: «*Pourtant je suis sur que c'est ma femme qui a suscite ce rire; je ne veux pas qu'on rie devant moi, je ne rie jamais moi, j'aime le serieux*»[100]. В конце концов и он пришел в благодушное настроение. Спонтини хвастал своими превосходными зубами и, к нашему великому изумлению, с громким треском разгрызал большие куски сахару. Он оживился еще больше, когда после обеда мы собрались все в тесный кружок. Меня он, по-видимому, действительно дарил особой благосклонностью, насколько от него можно было этого ожидать. Он открыто объявил, что любит меня и доказывает это тем, что предостерегает меня от несчастной идеи заниматься драматическими композициями. Он говорил, что знает хорошо, как трудно убедить меня в ценности такого дружеского совета, но так как мое счастье его очень заботит, то он с удовольствием посвятил бы этой цели полгода и остался бы здесь, в Дрездене. Кстати, мы могли бы, воспользовавшись случаем, поставить под его руководством другие его оперы, особенно же «Агнес фон Гогенштауфен».

Чтобы доказать всю безнадежность карьеры драматического композитора после него, Спонтини, он начал с похвалы мне, говоря: «*Quand j'ai entendu votre Rienzi, j'ai dit, c'est un homme de genie, mais dŭ ja il a plus fait qu'il ne peut faire*»[101]. Желая разъяснить, что он понимает под этим парадоксом, он заявил следующее: «*Apres Gluck c'est moi qui ai fait la grande revolution avec la Vestale; j'ai introduit le "Vorhalt de la sexte" dans l'harmonie et la grosse caisse dans l'orchestre; avec*

---

[100] «Тем не менее, я уверен, что моя жена вызвала смех; я не хочу, чтобы надо мной смеялись; я никогда не смеюсь, я люблю серьезность» (*фр.*).

[101] «Когда я услышал вашего "Риенци", я сказал, что вы — гениальный человек, но это наибольшее, на что вы способны» (*фр.*).

Cortez j'ai fait un pas plus avant; puis j'ai fait trois pas avec Olympie. Nurmahal, Alcidor et tout ce que j'ai fait dans les premiers temps de Berlin, je vous les livre, c'etait des oeuvres occasionnelles; mais puis j'ai fait cent pas en avant avec Agnes de Hohenstaufen, ou j'ai imagine; un emploi de l'orchestre remplacant parfaitement l'orgue»[102].

С тех пор он несколько раз пытался работать над сюжетом Les Atheniennes[103], его даже настоятельно приглашал закончить эту работу кронпринц, нынешний прусский король, и в доказательство Спонтини тут же извлек из портфеля несколько писем этого монарха и дал нам прочесть их. Лишь после того как все присутствовавшие сделали это, он продолжал свою речь. Он заявил, что, несмотря на все лестные приглашения, он отказался от музыкальной обработки прекрасного во всех отношениях сюжета, так как сознал, что превзойти «Агнес фон Гогенштауфен» невозможно даже для него и что нового ничего в этой области вообще найти немыслимо. Вывод был следующий: «*Or, comment voulez-vous que quiconque puisse inventer quelque chose de nouveau, moi Spontini declarant ne pouvoir en aucune facon surpasser mes oeuvres precedentes, d'autre part etant avise que depuis la Vestale il n'a point ete ecrit une note qui ne fut volee de mes partitions*»[104]. Он заявил, что это не просто фраза,

---

[102] «После Глюка я совершил великую революцию в "Весталке"; я представил "задержание в сексте" в гармонии и большой барабан в оркестре; после "Кортеса" я сделал еще один шаг вперед; затем я сделал три шага в "Олимпии", "Нурмахале", "Альцидоре", и всё, что я делал в первое время в Берлине, я предоставляю в ваше распоряжение, и это временами работает; но потом я сделал сто шагов вперед в "Агнес фон Гогенштауфен", где я предполагал совершенно заменить оркестр органом» (*фр.*).

[103] «Афинянок» (*фр.*).

[104] «Теперь, когда вы ожидаете, чтобы кто-то придумал что-то новое, я, Спонтини, заявляю, что в любом случае невозможно превзойти мои

что суждение его, напротив, основано на строго научных изысканиях, и ссылался при этом как на свидетеля, на свою жену, прочитавшую вместе с ним в рукописи объемистое исследование одного знаменитого члена французской академии, по некоторым причинам до сих пор не опубликованное. В этом подробном исследовании, имеющем величайшую научную ценность, доказывается, между прочим, что без изобретенного им «задержания в сексте» не могла бы существовать современная мелодия, что все мелодические формы, которыми с тех пор пользовались композиторы, почерпнуты исключительно у него.

Я положительно обомлел, но попробовал все-таки смягчить непреклонного маэстро, хотя бы ради тех возможностей, на какие он же сам и указывал. Я допускал, что все так именно и есть, как писал академик, но спрашивал, не считает ли он вероятным, если ему попадется драматическое произведение с совершенно новой для него, неизвестной поэтической тенденцией, что оно может дать ему толчок к открытию неожиданных музыкальных комбинаций.

С сострадательной усмешкой он ответил, что в самом моем вопросе уже заключается ошибочное допущение: в чем может заключаться это новое? «*Dans la Vestale j'ai compose un sujet romain, dans Fernand Cortez un sujet espagnol-mexicain, dans Olympie un sujet grec-macedonien, enfin dans Agnes de Hohenstaufen un sujet allemand: tout le reste ne vaut rien*»[105].

предыдущие работы; с другой стороны, я знаю, что "Весталка" — так, как я ее написал, — стала подлинным взлетом в числе моих собственных партитур» (*фр.*).

[105] «"Весталку" я писал на римский сюжет, "Фернанда Кортеса" на испано-мексиканский; в "Олимпии" сюжет греко-македонский, наконец, в "Агнес фон Гогенштауфен" немецкий: все остальное ничего не стоит» (*фр.*).

Не думаю же я, в самом деле, что его может поразить и занять новый романтический жанр в духе «Фрейшютца»? Такими пустяками ни один серьезный человек не займется, ибо искусство — дело серьезное, а все серьезное им, Спонтини, исчерпано. Где, наконец, та нация, которая могла бы выдвинуть композитора, способного его превзойти? Не итальянцы же, к которым он относится просто как к *cochons*[106], не французы, лишь подражающее итальянцам, не немцы, которым никогда не выйти из пеленок, у которых все сколько-нибудь серьезные задатки окончательно искажены евреями? «*Oh croyez-moi, il y avait de l'espoir pour l'Allemagne lorsque j'etait empereur de la musique a Berlin; mais depuis que le roi de Prusse a livre sa musique au desordre occasionne par les deux juifs errants qu'il a attires, tout espoir est perdu*»[107].

168

На постановке «Антигоны». Расчеты Спонтини. Прощание с необыкновенным человеком

Наша любезная хозяйка полагала, что следовало бы немного развлечь взволнованного маэстро. Театр был в нескольких шагах от ее квартиры, и она предложила пройти туда в сопровождении нашего Гейне, бывшего в числе гостей. В этот день шла «Антигона». Полагая, что маэстро заинтересует античная обстановка сцены, устроенной по прекрасным планам Земпера, она предложила ему полюбоваться этим зрелищем. Он хотел было отклонить ее предложение, ссылаясь на то, что ему все это лучше известно по его собственной «Олимпии». Однако его удалось

---

[106] Свиньи (*фр.*).

[107] «Уж поверь, была надежда на Германию, когда я был императором музыки в Берлине, но так как король Пруссии отдал свою музыку на откуп двум странствующим евреям, которых он привлек, все надежды потеряны» (*фр.*).

уговорить. Но он очень скоро вернулся назад и с презрительной усмешкой заявил, что видел и слышал достаточно, что он еще более укрепился в своем мнении. Гейне рассказал нам, что вскоре после того, как они пришли и заняли места в трибуне амфитеатра, почти пустой, начался хор Вакха, и Спонтини обернулся к нему и сказал: «*C'est de la Berliner Sing-Academie, allons nous en*»[108]. Сквозь открытые двери скользнул луч света и озарил одинокую фигуру за одной из колонн. Гейне узнал Мендельсона и тут же понял, что тот должен был услышать слова Спонтини.

Дальнейшее возбужденное состояние Спонтини показало ясно, что, по его расчетам, мы должны уговаривать его остаться у нас в Дрездене подольше и поставить здесь все свои оперы. Однако Шрёдер-Девриент считала разумным, напротив, в интересах самого Спонтини отклонить это намерение. Желая избавить его от горьких разочарований при вторичной постановке «Весталки», она решила помешать ей, пока он здесь. Она опять сказалась больной, и мне было поручено дирекцией сообщить Спонтини, что вторичная постановка его оперы откладывается, повидимому, на довольно долгий срок. Связанный с этим визит был до того мне тягостен, что я решил взять с собой Рёкеля, к которому Спонтини тоже хорошо относился и который, кроме того, владел французским языком намного лучше меня.

Крайне смущенные, пришли мы к нему и ждали очень неприятного объяснения. Как же были мы поражены, когда маэстро, предупрежденный дружеской запиской г-жи Девриент, встретил нас веселый и радостный! Он объявил, что должен немедленно ехать в Париж и оттуда как можно скорее в Рим, куда его вызывает Святой отец, только

---

[108] «Это из Берлинской певческой академии; идем отсюда» (*фр.*).

что пожаловавший ему титул графа ди Сан Андреа. Тут же показал он нам и другой документ, которым датский король занес его в число датских дворян. Это был, собственно, патент на звание рыцаря Ордена слона, дававший дворянское достоинство. Но об ордене он не говорил ничего, так как ордена были для него делом чересчур обыкновенным, а подчеркивал лишь связанное с ним дворянство. Он гордился этим и радовался, как ребенок. Из узкого круга интересов, связанных с постановкой «Весталки» в Дрездене, он словно чудом оказался перенесенным в царство славы, откуда с ангельским благодушием мог взирать на все оперные злоключения мира сего. Мы с Рёкелем от всей души были благодарны Папе и датскому королю, трогательно простились с этим необыкновенным человеком, и, чтобы окончательно его осчастливить, я обещал серьезно подумать о его дружеском совете относительно карьеры драматического композитора.

Впоследствии я узнал, как отнесся ко мне Спонтини, когда услыхал про мое бегство из Дрездена в Швейцарию: он полагал, что я был замешан в изменническом покушении на саксонского короля, и, считая, что король является моим благодетелем, так как дал мне место королевского капельмейстера, с возмущением воскликнул: «*Quelle ingratitudes!*»[109]

О последних минутах Спонтини рассказывал мне впоследствии Берлиоз, не отходивший от его смертного одра. Старый маэстро ни за что не хотел умирать и все время повторял: «*Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir!*»[110] И когда однажды Берлиоз, утешая его, заметил: «*Comment pouvez-vous penser mourir, vous, mon maitre, qui etes immortel!*»[111] Спонтини ответил с досадой: «*Ne faites pas de mauvaises*

---

[109] «Какая неблагодарность!» (*фр.*).

[110] «Я не хочу умирать, я не хочу умирать!» (*фр.*).

[111] «Как вы можете думать о смерти, маэстро, вы, который бессмертен!» (*фр.*).

plaisanteries!»[112] Известие о его смерти, заставшее меня в Цюрихе, очень меня взволновало, независимо от странных личных впечатлений и воспоминаний, и я высказал свое мнение о нем в краткой заметке, напечатанной в *Eidgenossische Zeitung*[113]. В ней я главным образом подчеркнул его глубокую по сравнению с Мейербером и даже с еще живущим старцем Россини веру в себя и в свое искусство. О том, как исказилась в нем эта вера, как она выродилась в чудовищное какое-то *суеверие,* я умолчал.

Я не отдаю себе ясного отчета в том, как согласовались тогда в моей душе крайне странные и курьезные впечатления от личности Спонтини со все растущим в то же время глубочайшим почтением к нему как к великому художнику. Очевидно, мне пришлось познакомиться с его карикатурой. Известные задатки болезненно преувеличенного самомнения были, конечно, в его характере еще в молодые годы, но на развитие этой черты не могла не повлиять эпоха полного упадка музыкально-драматической мысли, которую он застал в Берлине. В зависимости от этого неясность и подчас унизительность его положения должны были повлиять на его самочувствие. Главную свою заслугу он стал усматривать, к общему изумлению, в совершенно второстепенных вещах, и это свидетельствовало о том, как ослабела, до детскости, сила его суждения. В моих глазах это не могло, однако, уменьшить истинно высокого значения его произведений, как бы чудовищно он сам его ни преувеличивал. С моей точки зрения, в значительной мере оправдывало Спонтини сопоставление с теми величинами, которые его вытеснили из Берлина: такое сопоставление и могло его довести до столь безграничного самообожания.

---

[112] «Не смейте шутить!» (*фр.*).

[113] «Швейцарской газете».

В этом презрении к берлинским корифеям искусства я чувствовал свою близость с ним, чувствовал с интенсивностью, которой не мог тогда проявить открыто: она оставалась в глубине души. И случилось так, что встреча со Спонтини в Дрездене, несмотря на смешные его выходки, наполнила меня какой-то сильнейшей симпатией к этому человеку, подобного которому мне не привелось потом встречать.

Ближайшее время принесло мне знакомство и с другими значительными в искусстве нашей эпохи величинами. Эти люди вели себя совсем иначе, и об одном из них, Генрихе Маршнере, я теперь расскажу.

169

Генрих Маршнер

Маршнер еще очень молодым человеком был приглашен Вебером на пост музикдиректора Дрезденской капеллы. После смерти Вебера он мечтал занять его место. Ожидания, однако, обманули его, и не столько вследствие малых заслуг, сколько из-за его личного отталкивающего обращения. Но неожиданно жена его получила наследство, и это дало ему возможность, не ища никакой службы, заняться энергично композиторской деятельностью. В дни моей бурной юности, когда музыка стала захватывать меня целиком, Маршнер жил в Лейпциге, и там тогда впервые были поставлены его две известные оперы «Вампир» и «Храмовник и еврейка».

Сестра Розалия однажды повела меня к нему, чтобы услышать его суждение о моих способностях. Он отнесся ко мне благосклонно, но сколько-нибудь определенного влияния визит этот на меня не оказал. Кроме того, я присутствовал на первом представления его оперы «Невеста сокольничего», не имевшей успеха. Затем он переселился в Ганновер. С оперой его «Ганс Гейлинг», поставленной

впервые в Берлине, я познакомился в свое время в Вюрцбурге. В ней чувствовалось уже известное колебание в направлении, и сказывался некоторый упадок творческой силы. С тех пор появилось еще несколько его опер, не получивших распространения, как, например, «Замок у Этны», «Бэбу». Дрезденская дирекция всегда его игнорировала по старой злобе, и только его «Храмовник» давался несколько сезонов.

Обыкновенно дирижировал этой оперой мой коллега Райсигер. Но однажды в его отсутствие мне пришлось взять на себя дирижирование. Это было время, когда я работал над «Тангейзером». Припоминаю, что, хотя я раньше сам часто дирижировал оперой в Магдебурге, ее пустая, убогая инструментовка на этот раз произвела на меня поистине болезненное впечатление. Когда Райсигер вернулся, я настоятельнейшим образом просил его оставить навсегда эту оперу за собой. Напротив, немедленно по получении капельмейстерского места я исключительно из задетого самолюбия взял на себя руководство постановкой «Ганса Гейлинга». Сильных певцов у нас практически не было, и нечего было рассчитывать на захватывающий успех. Но и вообще, при каких угодно условиях, тенденция оперы являлась несколько устаревшей.

В это время я узнал, что Маршнер закончил новое произведение «[Король] Адольф Нассауский». В одной рекламе, попавшей в мои руки, правдивости которой я проверить не мог, особенно превозносилась «патриотическая, благородная немецкая тенденция» этого нового творения Маршнера. Мне хотелось приучить Дрезденский театр к инициативе, и я уговорил г-на фон Люттихау выписать оперу для Дрездена раньше других театров. Маршнер, к которому ганноверская театральная администрация относилась не особенно дружелюбно, очень тепло отозвался на наше предложение, прислал свою партитуру и заявил,

что готов прибыть самолично в Дрезден для дирижирования оперой. Фон Люттихау не хотелось видеть его во главе капеллы, да и я находил, что чересчур частые приглашения посторонних дирижеров для личного руководства постановкой их творений могут сплошь и рядом вести к осложнениям, далеко не всегда столь же интересным и поучительным, как это было со Спонтини. Решено было, что оперой дирижировать буду я.

И как же пожалел я об этом! Прибыла партитура. Жалкая книга Карла Гольмика подверглась в ней плоской музыкальной обработке. Главнейший эффект всей оперы сводился к четырехголосной застольной песне, в которой *Deutsche Rhein* и *Deutsche Wein*[114] воспевались в формах обычного квартета для мужских голосов. Я совершенно пал духом. Но дела, однако, нельзя было поправить, и пришлось напускать на себя серьезный вид, чтобы поддерживать в певцах энергию, что давалось, однако, с трудом.

Главные мужские роли были отданы Тихачеку и Миттервурцеру. Люди необыкновенно музыкальные, оба пели с листа номер за номером, и взглядывали всякий раз на меня, как бы спрашивая, что я об этом думаю? Я заявил, что это — хорошая немецкая музыка, что все сойдет благополучно, если только они этого захотят. Они переглянулись, не зная, как отнестись к моим словам. Наконец все это стало им невмоготу, и, глядя на мое напряженно серьезное лицо, они вдруг разразились громким смехом, к которому и я невольно присоединился. Пришлось посвятить их в суть происходящего, объяснить, что ничего здесь нельзя уже изменить, и умолять принять, подобно мне, серьезный вид.

---

[114] «Немецкий Рейн» и «Немецкое вино» (*нем.*).

Прибывшая из Ганновера венская колоратурная певица новейшего стиля, г-жа Шпацер-Джентилуомо, участию которой в спектакле Маршнер придавал большое значение, заявила, что довольна своей партией и находит, что автор много сделал для сообщения ей необходимого «блеска». Действительно, здесь был один финал, в котором «немецкий композитор» попытался превзойти Доницетти: принцесса, отравленная золотой розой, подарком злого епископа Майнцского, впадает в бредовое состояние. Адольф Нассауский вместе с рыцарями Германии клянется отомстить и изливается, под аккомпанемент хора, в *stretta*, настолько пошло и беспомощно, что Доницетти, конечно, швырнул бы эту музыку в лицо самому плохому из своих учеников.

К последним репетициям прибыл Маршнер и остался ими очень доволен, а я имел случай поупражняться в том, как, не прибегая ко лжи и оставаясь при своем мнении, быть любезным и предупредительным. На представлении с публикой произошло приблизительно то же, что с моими певцами на репетиции. Мы произвели на свет мертворожденное дитя. Но сам Маршнер был совершенно утешен тем, что его застольный квартет, напоминавший несколько песню Беккера «*Sie sollen ihn nicht haben den freien deutschen Rhein*»[115], был по требованию публики повторен.

По окончании спектакля я угостил композитора и нескольких приятелей ужином у себя на дому, от участия в котором, к сожалению, мои певцы отказались: они были сыты. За ужином у Фердинанда Хиллера хватило присутствия духа заявить в ответ на тост, провозглашенный Маршнером, что пусть говорят, что хотят: главная ценность новой вещи в том, что автор ее — немец, что самая опера — немецкая. Курьезнее всего, что сам Маршнер

---

[115] «Вы не должны получить свободный немецкий Рейн» (*нем.*).

совершенно с ним не согласился и стал нас поучать, говоря, что с немецким композиторством дело обстоит скверно, что необходимо обращать побольше внимания на требования певцов и давать им эффектные, блестящие номера, чем, к сожалению, он и сам до сих пор пренебрегал.

170

«Сон в ночь под Рождество». Творения Хиллера

Таким образом, глубокий упадок высокодаровитого немецкого музыканта, как оказывается, в значительной мере зависел от усвоенной им новой тенденции, которая ему самому казалась очень важной и плодотворной. Затем я встретился с ним еще в Париже в пору моих приключении с постановкой «Тангейзера». На этот раз мне прямо не хотелось подойти к нему ближе, так как я не имел ни малейшего желания быть свидетелем всех последствий принятого им в Дрездене направления. Мне говорили, что он почти впал в детство, что с ним возится его молодая, честолюбивая жена и что она надеется доставить ему еще один последний парижский триумф. Мне действительно случалось тогда читать в хвалебных статьях, делавших Маршнеру рекламу, прямые заявления, предупреждавшие парижскую публику от ошибки считать меня представителем современного немецкого духа в музыке. Дух этот гибок и понятен, и французы сами удостоверятся в этом, если Маршнеру дадут возможность показать себя. Маршнер умер прежде, чем жена его успела наглядно доказать это парижанам.

Совершенно иначе, доверчиво и мягко, вел себя в Дрездене Фердинанд Хиллер. Приезжал сюда изредка и Мейербер, но никто не знал зачем. Однажды он снял в местности, называемой *Pirnaischen Schlage,* небольшую дачу, велел поставить в саду под огромным деревом

маленькое фортепьяно и стал работать в этом идиллическом уединении над своим «Лагерем в Силезии». Но он держался совершенно особняком, и я о нем не сохранил никаких воспоминаний.

Фердинанд Хиллер вошел гораздо глубже в дрезденскую музыкальную жизнь, поскольку она не касалась Королевской капеллы и ее руководителей, и в течение целого ряда лет осуществлял здесь свою деятельность. Он обладал некоторым состоянием и уютно устроился в Дрездене. Это был, что называется, «приятный дом», где охотно собирались представители многочисленной польской дрезденской колонии. Объяснялось это тем, что г-жа Хиллер была выдающаяся польская еврейка, принявшая вместе с мужем (еще в Италии) протестантство. Деятельность его в Дрездене началась с постановки у нас его оперы «Сон в ночь под Рождество». С тех пор как дрезденская публика создала и прочно поддержала в Дрездене успех моего «Риенци», взоры многих композиторов обратились на нашу уютную «Флоренцию на Эльбе». Лаубе как-то выразился о нашем городе, что всякий вступающий в него как бы собирается заранее просить у дрезденцев прощения: так легко посетители Дрездена забывают то хорошее, что они там находят, как только покидают его.

Фердинанд Хиллер считал свой «Сон» произведением «истинно немецким». Ужасная драма Раупаха, *Der Muller und sein Kind*, в которой на протяжении короткого времени отец и дочь умирают от чахотки, была, по его мнению, как раз подходящим сюжетом для популярной оперы с диалогом и музыкой. Эту оперу постигла та же судьба, которая, как передавал мне однажды Лист, преследует вообще творения Хиллера. При всех своих признанных и даже оцененных Россини музыкальных заслугах он неизменно проваливался с каждой новой оперой независимо от того,

где бы ее ни ставили: во Франции по-французски или в Италии по-итальянски. В Германии он попробовал выступить по-«мендельсоновски» и в самом деле написал ораторию *Die Zerstörung Jerusalems*[116]. Эта композиция имела то преимущество, что могла избежать капризного суда театральной публики, и доставила своему творцу репутацию выдающегося немецкого музыканта. Когда Мендельсона призвали на пост генерал-директора в Берлине, Хиллер заменил его в качестве руководителя концертов Гевандхауза в Лейпциге. Но там его постигло прежнее несчастье: он не мог удержаться на своем месте, как говорили, из-за жены, которая не имела никакого успеха в качестве концерт-примадонны. Мендельсон вернулся обратно, и Хиллеру пришлось уйти. Покидая свой пост, он уверял всех, что поссорился с Мендельсоном.

От Дрездена было недалеко, успех моего «Риенци» был соблазнителен, и сама собой напрашивалась идея попытаться вновь поднять свои шансы в качестве оперного композитора. Хиллер сумел благодаря своей импонирующей деловитости и особой привлекательности, отличающей сына богатого банкира в глазах главного интенданта придворного театра, добиться своего. А бедный друг мой Рёкель, которому была обещана постановка его «Фаринелли», принужден был отстраниться ради хиллеровского «Сна в ночь под Рождество». Вообще Хиллер считал, что рядом с Райсигером и мной должен стоять человек с более известным *музыкальным* именем, чем Рёкель. Но фон Люттихау находил, что раз мы друг с другом ладим, то с него достаточно и двух знаменитостей, и к намекам Хиллера оставался глух. Мне лично «Сон в ночь под Рождество» доставил кое-какие неприятности: на мою долю выпало

---

116 «Разрушение Иерусалима» (*нем.*).

дирижировать на повторении этой оперы перед пустым залом. Хиллер пожалел тогда, что не послушался меня, не сократил оперу на один акт и не изменил заключения. Он был согласен пойти навстречу всем моим желаниям, если ему дадут еще одну, третью, постановку. Я добился этого. Но добиться успеха было уже невозможно.

Познакомившись со стихотворным либретто к «Тангейзеру», Хиллер нашел, что у меня, несомненно, в руках большое преимущество, раз я сам намечаю для себя сюжет и так хорошо его разрабатываю. Я должен был обещать ему по-дружески помочь в выборе и обработке сюжета, когда он приступит к сочинению новой оперы. Вскоре затем Хиллер присутствовал на представлении «Риенци», шедшем при полном сборе и перед очень оживленной публикой. Когда после второго акта я, взволнованный, торопился из оркестра на сцену, чтобы выйти на шумные вызовы публики, Хиллер, встретив меня в коридоре и поздравив с успехом, настойчиво повторил свою просьбу: «Поставьте, пожалуйста, мой “Сон” еще раз». Я со смехом обещал ему сделать, что смогу. Состоялось ли это представление, припомнить не могу. В ожидании нового сюжета для оперы Хиллер отдался всецело камерной музыке, для чего особенно пригодился его хорошо и красиво обставленный салон.

171

Перенесение праха Вебера

Когда я заканчивал на исходе этого года композицию «Тангейзера», на мое настроение благотворно повлияло одно серьезное и прекрасное событие. Впечатление, которое оно произвело на меня, было настолько сильно, что с избытком компенсировало удручающее влияние внешних обстоятельств. Событие это — счастливо состоявшееся,

наконец, перенесение из Лондона в Дрезден в декабре 1844 года праха Карла Марии фон Вебера. Как я выше сообщал, уже несколько лет тому назад организовался комитет, агитировавший за это дело. Один путешественник передавал, что простой гроб, в котором заключался прах Вебера, находился в отдаленном углу церкви Святого Павла в Лондоне в совершенно запущенном состоянии, и можно было опасаться, что через несколько лет его и вовсе нельзя будет отыскать. Ранее упомянутый энергичный друг мой, профессор Лёве, использовал этот слух для того, чтобы выдвинуть вперед своего «конька» — организованное им певческое общество, — и под его флагом приняться за агитацию по перенесению праха Вебера в Дрезден. Объявленный концерт мужского хора, сбор с которого предназначался для этой цели, дал не особенно много.

Тогда решено было побудить и театральную дирекцию принять участие в этом деле. Но тут комитет с самого начала встретил упорное сопротивление. От имени генеральной дирекции ему было сообщено, будто король находит неудобным с религиозной точки зрения тревожить прах Вебера. Можно было верить или не верить этому сообщению, но приходилось с ним считаться. Поэтому решено было пустить в ход то особое расположение, каким я тогда пользовался, и мне предложили выступить ходатаем. Я отнесся к делу с искренней теплотой. Меня выбрали в председатели. Кроме того, к делу привлекли директора античного музея гофрата Шульца, человека, пользовавшегося авторитетом в вопросах искусства, и одного банкира-христианина. Агитация оживилась, разосланы были воззвания во все стороны, было подробно разработано несколько планов, и, конечно, состоялся целый ряд заседаний.

Здесь опять обострился антагонизм между мной и моим шефом, г-ном фон Люттихау. Если бы это было возможно,

он охотно запретил бы мне, опираясь на высказанный королем взгляд, участие в этом предприятии. Но опыт прошлого (в истории с музыкальным приветом королю) убедил его, что, не имея к чему придраться, лучше, выражаясь вульгарно (как это, между прочим, любил делать и фон Люттихау), со мной в таких делах «не связываться». Так как, с одной стороны, мнение короля было высказано далеко не в решительной форме, а с другой стороны, король, как Люттихау прекрасно понимал, не мог бы даже помешать выполнению этого предприятия, раз оно исходило от частной инициативы, и так как, наконец, враждебное отношение придворного театра, которому столько сил отдал некогда Вебер, могло бы вызвать известное неудовольствие в публике, то фон Люттихау решил попытаться просто уговорить меня отказаться от всего дела. Он был уверен, что без меня оно выполнено не будет. Поэтому он стал мне объяснять, что совершенно нелепо оказывать почему-то преувеличенный почет праху Вебера, в то время как, например, о перенесении из Италии праха покойного Морлакки, работавшего в королевской капелле гораздо дольше Вебера, не идет и речи. К каким последствиям это может повести? Предположим, говорил Люттихау, что Райсигер умрет внезапно где-нибудь на водах, и тогда его жена будет иметь не меньше, чем вдова Вебера (доставлявшая ему немало огорчений), оснований требовать, чтобы прах ее мужа с пением и звоном тоже был перенесен в Дрезден. Я старался успокоить его на этот счет. Разъяснить ему непонятную для него разницу между этими двумя величинами мне не удалось, но я сумел доказать, что отменять это мероприятие уже поздно, если даже Берлинский придворный театр объявил особый спектакль в пользу нашего предприятия.

Этот спектакль, устроенный Мейербером по предложению нашего комитета, действительно состоялся (была

поставлена «Эврианта») и доставил нам в результате круглую сумму в 2000 талеров. Примеру Берлинского придворного театра последовало несколько менее значимых театров. Таким образом, дрезденскому театру тоже было неудобно отстать от других. В результате у нашего банкира оказалась в руках сумма, достаточная для того, чтобы оплатить расходы по перенесению праха Вебера. Была приготовлена гробница с соответствующим надгробным памятником и даже закуплено место для постановки со временем статуи Вебера. Старший из двух сыновей покойного маэстро отправился в Лондон, чтобы лично следить за перевезением праха отца. Оно шло водой, по Эльбе, и у дрезденской пристани гроб впервые коснулся немецкой почвы. Перенесение должно было совершиться вечером, при свете факелов.

Похоронную музыку для этого случая взялся написать я. Я воспользовался двумя темами из «Эврианты». Начав с темы, характеризующей в увертюре появление теней, я перешел к каватине «Эврианты» *Hier dicht am Quell*, которую оставил без перемен и лишь транспонировал в B-dur. От нее я опять вернулся к первому мотиву, в той просветленной его форме, в какой он появляется у Вебера в конце оперы. Эту симфонически слаженную вещь я оркестровал для 80 избранных духовых инструментов, добиваясь, чтобы, не поступаясь полнотой оркестрового звука, достичь возможно большей его мягкости. Заимствованное мной из увертюры полное жуткой таинственности тремоло в альтах я воспроизвел дробью двадцати заглушённых барабанов в нежнейшем piano. Все вместе уже при репетиции в театре производило настолько сильное впечатление, живо напоминавшее покойного Вебера, что Шрёдер-Девриент, состоявшая некогда лично с Вебером в дружеских отношениях, была искренне увлечена и глубоко тронута музыкой, да и сам

я мог себе сказать, что никогда еще мне не удавалось сочинить вещи, столь совершенно отвечающей своей цели.

Не менее удачно прошло исполнение ее под открытым небом при самом торжестве перенесения. Так как трудно было держаться ритма произведения при очень медленном его темпе, то я прибег на репетиции к следующему приему: я велел совершенно очистить сцену, чтобы выиграть место, и заставил музыкантов, после того как они хорошо разучили свои партии, исполнять эту вещь на ходу, образовав шествие вокруг меня. Свидетели, следившие из окон за самой процессией, уверяли меня потом, что впечатление возвышенной торжественности было положительно неописуемо.

172

На католическом кладбище. В роли оратора

Гроб был отнесен в часовню при католическом кладбище во Фридрихштадте, где его тихо и скромно встретила г-жа Девриент и возложила на него венок. Там он оставлен был до следующего дня, а утром был взят оттуда и похоронен в заранее заготовленной гробнице. Мне и второму председателю комитета, гофрату Шульцу, было сделано почетное предложение сказать надгробное слово. В качестве трогательного материала для своей речи я решил воспользоваться смертью младшего сына покойного маэстро, Александра фон Вебера, неожиданно скончавшегося незадолго до перенесения праха его отца. Смерть этого цветущего юноши страшно потрясла его мать. Она готова была видеть в ужасной новой потере перст Божий, наказание за греховное тщеславие, проявившееся в ее заботах о перенесении праха давно умершего мужа, и, если бы наше предприятие не зашло уже чересчур далеко, нам пришлось бы вовсе от него отказаться. Так как и в публике по свойственной ей простосердечности тоже циркулировали подобные

суждения, мне захотелось представить в настоящем свете наше предприятие. Это удалось настолько, что, как меня затем со всех сторон уверяли, против нашего дела более не возникало никаких возражений.

В первый раз в жизни мне пришлось явиться перед публикой с торжественной речью, и здесь я имел случай сделать над собой интересное наблюдение. Впоследствии, когда мне случалось выступать в роли оратора, я говорил всегда экспромтом. На этот раз я счел нужным ради необходимой сжатости обработать речь письменно и заучить ее наизусть. Предмет речи и моя собственная точка зрения были так ясны для меня, что, вполне доверяясь своей памяти, я не позаботился ни о какой помощи извне на случай замешательства. Этим я привел в большое смущение брата моего Альберта, стоявшего при произнесении речи возле меня. Он признавался потом, что при всем своем увлечении он прямо проклинал меня за то, что я не дал ему рукописи для суфлирования.

Со мной же случилось следующее: я начал говорить громко, полным голосом, и моя собственная речь, ее звук и акцент так меня самого поразили, что я внезапно умолк. Лицом к лицу с затаившей дыхание толпой, я, казалось, не только слышал, но и готов был видеть в объективном отвлечении от самого себя другого оратора. С необыкновенным напряжением я стал ждать вместе со всеми продолжения речи, как если бы не я тут стоял и не я должен был говорить. При этом ни малейшего испуга, ни малейшего замешательства. Пауза длилась очень долго, у меня был такой странный вид, что публика стала недоумевать, что такое со мной случилось. Только продолжительность паузы и гробовое молчание вокруг напомнили мне о том, что я здесь вовсе не для того, чтобы слушать, а чтобы говорить.

Тогда я стал продолжать свою речь и уже без остановок произнес ее до конца гладко и с такой силой, что знаменитый актер Эмиль Девриент был чрезвычайно захвачен ней, как он потом признался, не только в качестве участника волнующего торжества, но и в качестве драматического артиста.

Торжество закончилось исполнением написанной мною кантаты для мужских голосов. Очень трудная для пения, она была превосходно исполнена нашими лучшими оперными голосами. Г-н фон Люттихау, присутствовавший на торжестве, изменил свое прежнее мнение и признал, что на нашей стороне была правда.

173

Партитура «Тангейзера». Издание клавираусцуга

Успех нашего предприятия был полный, доставивший мне глубокое внутреннее удовлетворение, и когда я непосредственно с кладбища отправился с визитом к вдове Вебера, ее горячие излияния рассеяли в моей душе последние остатки сомнений. В ранние детские годы светлая личность Вебера возбудила во мне мечтательную любовь к музыке. Известие о его смерти некогда глубоко потрясло меня. Теперь, уже зрелым человеком, при втором погребении, я вновь пришел как бы в непосредственное, личное с ним соприкосновение. Все это было полно для меня глубочайшего внутреннего значения. Из сделанных выше сообщений о столкновениях с живыми корифеями музыкального мира, из того опыта, который я вынес отсюда, можно понять, чем объяснялась и откуда проистекала моя тоска о близких отношениях с серьезными представителями искусства. Тяжело было непосредственно от гроба Вебера переходить к общению с его живущими ныне

преемниками. Вся безнадежность моей тоски стала мне, однако, ясна лишь впоследствии.

Описанные выше внешние столкновения и внутренние переживания заполнили зиму 1844–1845 гг. Мне удалось написать партитуру «Тангейзера», композицию которого я завершил к концу прошлого года, усиленно работая и пользуясь даже ранними зимними утренними часами. Расписывая инструментовку к апрелю месяцу по партиям, я сам очень осложнил свою задачу. Я задался целью приготовить несколько экземпляров этих списков и потому писал на особо приготовленной бумаге, причем обставил себя целым рядом необходимых приспособлений. К каждой странице я приказывал тут же делать оттиск прямо на камне и отпечатывать по 100 экземпляров. Я рассчитывал, что смогу быстро распространить свое произведение. Как бы то ни было, исполнится ли со временем моя надежда или нет, я обеднел на 500 талеров, которые пришлось уплатить за 100 экземпляров. Какая судьба постигла мою работу, стоившую стольких жертв, расскажу впоследствии. Во всяком случае, к началу мая у меня в руках была сотня хорошо сфальцованных, опрятных экземпляров нового, первого после «Летучего Голландца» произведения, о котором даже Хиллер, когда я показал ему кое-что оттуда, отозвался милостиво и довольно одобрительно.

Расчеты мои и заботы о скорейшем распространении «Тангейзера» вынуждались тяжелыми материальными условиями: во что бы то ни стало необходимо было добиться успеха этой оперы. В течение года с тех пор, как я предпринял издание своих произведений, сделано было в этом смысле довольно много. Полный клавираусцуг «Риенци», роскошно переплетенный, был мной поднесен с посвящением саксонскому королю еще в сентябре истекшего 1844 года.

Были уже готовы «Летучий Голландец» и клавираусцуги из «Риенци» в четыре и две руки. Отдельные вокальные номера частью были изданы, частью еще печатались. Кроме того, я заказал по 25 экземпляров партитур этих опер в так называемом автографическом выполнении (по почерку одного из копиистов). Это новое дорогое издание сильно увеличило мои расходы, но, с другой стороны, мне казалось необходимым попытаться разослать партитуры по театрам и тем побудить их к постановке моих опер, ибо рассчитывать на какой-нибудь доход с клавираусцугов можно было лишь при одном условии: если самые оперы будут раньше поставлены на сцене.

Прежде всего, я разослал партитуру «Риенци» по более значительным театрам. Отовсюду я получил ее обратно, из Мюнхенского придворного театра — даже нераспечатанной. Этого было с меня довольно, и я решил не тратиться на опыт с «Голландцем». С точки зрения деловой спекуляции приходилось, таким образом, рассчитывать на то, что успех «Тангейзера» может потянуть за собой и прежние оперы, и даже мой чудесный, ставший несколько нерешительным комиссионер, достойный придворный музыкальный торговец Мезер, должен был прийти к той же мысли. Поэтому решено было сейчас же приступить к изданию клавираусцуга «Тангейзера», который я сам и выполнил, в то время как для «Летучего Голландца» эту работу сделал Рёкель, а для «Риенци» — некий Клинк.

Только против первоначального названия оперы «Гора Венеры» Мезер протестовал так энергично, что действительно уговорил меня переменить его. Он утверждал, что, не вращаясь среди публики, я не имел случая слышать, какие гнусные остроты циркулируют по поводу этого названия. Остроты эти исходили главным образом от студентов

и преподавателей медицинской клиники в Дрездене, так как все они отличались цинизмом, особенно ходким в этой среде. Этой тривиальности достаточно было, чтобы побудить меня изменить название, и в самом заголовке оперы я связал имя героя с тем сказанием, которого, чуждый вначале мифу о «Тангейзере», я вовсе не имел в виду — обстоятельство, серьезно огорчившее впоследствии очень уважаемого мной собирателя и исследователя легенд Зимрока.

174

Препирательства по поводу постановки «Тангейзера»

Клавираусцугу «Тангейзер и состязания певцов в Вартбурге» мне хотелось, соответственно средневековой тенденции этой оперы, придать подходящий внешний вид. Поэтому я заказал в Лейпциге особые типы готического шрифта для текста. Это повело к новым и немалым расходам, что могло служить лишним доказательством для Мезера, как сильно я рассчитываю на успех оперы. Да нам ничего и не оставалось, как надеяться, что дела наши примут необыкновенно благоприятный оборот: настолько далеко мы уже зашли, и с такими огромными жертвами было теперь связано добывание новых средств.

С другой стороны, сама дирекция вполне разделяла мои надежды на «Тангейзера». Декорации лучших парижских художников для дрезденской сцены производили по сравнению с обычным стилем немецкой декоративной живописи впечатление истинно прекрасных и благородных художественных произведений, и мне удалось побудить фон Люттихау заказать в Париже специальные декорации для «Тангейзера». Переговоры с художником Деплешеном относительно этого заказа были закончены уже прошлой осенью. Все мои желания были исполнены,

заготовлены были и характерные средневековые костюмы по рисункам моего друга Гейне, и только одной декорации — зала состязания певцов — не хотелось заказывать фон Люттихау. Он утверждал, что недавно выполненная французским мастером декорация зала императора Карла для «Оберона» будет хорошо соответствовать нашей цели. Мне стоило нечеловеческих усилий убедить моего шефа, что здесь речь идет не о великолепном королевском зале, а о совершенно особой сценической картине, выполнение которой немыслимо без моих специальных указаний. Когда наконец все это меня страшно раздосадовало, и я высказал решительное неудовольствие, он стал успокаивать меня и заявил, что ничего не имеет против этой декорации и сейчас же ее закажет, что ставил мне затруднения только затем, чтобы тем более обрадовать согласием: то, что чересчур легко дается, того обыкновенно не ценят.

С этой залой состязания у меня было немало хлопот и потом. Во всяком случае, все было теперь в полном ходу. Обстоятельства складывались благоприятно, и лучи всех надежд, как в фокусе, сосредоточились на подготовлявшемся к открытию осеннего сезона первом представлении моего нового творения. Ожидали его с немалым напряжением. Впервые прочитал я в корреспонденции, напечатанной в *Allgemeine Zeitung*[117], упоминание обо мне в многозначительно-благосклонном тоне. Там говорилось о том, как ожидают первого представления нового произведения, текст которого обработан «с несомненным поэтическим дарованием». Полный надежд, отправился я в июле месяце на отдых в Мариенбад в Богемии, где мне и жене предписано было проделать курс лечения водами.

[117] «Всеобщей газете» (*нем.*).

175

Первые неясные очертания «Мейстерзингеров». Экскурсия в Эгер

Снова очутился я на вулканической почве этой удивительной Богемии, неизменно действовавшей на меня столь вдохновляющим образом. Чудесное, может быть, слишком даже жаркое лето способствовало поддержанию во мне превосходного настроения. Я твердо решил вести спокойный, правильный образ жизни, как это и требовалось ввиду особенного действия вод. Соответственно этому я подобрал книги для подходящего чтения: стихотворения Вольфрама фон Эшенбаха в обработке Зимрока и Сан-Марте и в связи с ними анонимный эпос о Лоэнгрине с большим введением Гёрреса. С книгой под мышкой я отправлялся в ближайшие рощи и где-нибудь у ручья углублялся в чтение вольфрамовских, столь странных и в то же время столь близких мне по духу стихов о Титуреле и Парцифале.

Вскоре, однако, тоска о собственном творчестве заговорила во мне с такой силой, что мне пришлось ввиду прямого запрета заниматься сколько-нибудь возбуждающим трудом во время пользования мариенбадскими водами всячески с ней бороться. Это привело меня в крайне беспокойное состояние, которое все возрастало. Передо мной внезапно во весь рост встал Лоэнгрин, первая мысль о котором возникла еще в конце моего пребывания в Париже. Вся драматическая концепция сюжета, в подробностях, вырисовалась перед глазами. Особенную, совершенно непреоборимую привлекательность приобрела для меня примыкающая сюда лебединая сага, с которой я познакомился и которую изучил за это время.

Ввиду предупреждения врачей я боролся настойчиво с искушением приступить к обрисовавшемуся таким образом

плану оперы и прибег для этой цели к энергичному, но и крайне своеобразному средству. В истории немецкой литературы Гервинуса я наткнулся на несколько мелких заметок о нюрнбергских мейстерзингерах и о Гансе Саксе, которые вдохнули новую жизнь в мои прежние представления об этом предмете. Особенный восторг вызвали во мне название «метчика» и его функция при пении мейстерзингеров. Как ни мало я был знаком с Саксом и с современными ему поэтами, я однажды во время прогулки скомпоновал целую комическую сцену, в которой сапожник Сакс с молотком в руках в качестве признанного поэта дает самому «метчику» урок надлежащей версификации в отместку за его педантические придирки к другим. Две фигуры вдруг выросли передо мной как живые: «метчик» с его доской, исчерченной меловыми знаками, и Ганс Сакс, держащий высоко в воздухе башмак с отметинами сапожного молотка. Оба доказывают одним и тем же способом, что песня пропета плохо.

Тут же моментально представилась мне узкая, извилистая нюрнбергская улица, с соседями, со сбегающимся в тревоге народом, с уличной дракой как заключением второго действия. Вся моя комедия мейстерзингеров вырисовалась передо мной с такой отчетливостью, что я счел возможным ввиду веселости сюжета заняться им немедленно и нанести его на бумагу. Так я и сделал, надеясь таким образом избавиться от преследовавшего меня Лоэнгрина.

Но я ошибся: только сел я в полдень в ванну, как меня охватило такое острое желание приняться за Лоэнгрина, что я не в состоянии был высидеть положенного часа и через несколько минут уже выскочил, полный нетерпения, едва дав себе время сколько-нибудь аккуратно одеться и, как безумный, помчался домой, чтобы излить

давившие меня настроения на бумагу. Это повторялось несколько дней подряд, пока наконец не был закончен подробный сценический план Лоэнгрина.

Курортный врач нашел, что лучше всего мне совершенно отказаться от вод и от ванн, да и вообще раз навсегда твердо сказать себе, что подобные курсы лечения не для меня. Возбуждение мое достигло такой силы, что я почти совсем лишился сна и, чтобы заснуть, прибегал обыкновенно к самым странным мерам. Мы решили предпринять для развлечения несколько экскурсий в окрестности, между прочим в Эгер, очень интересовавший меня воспоминаниями о Валленштейне и характерным костюмом своих обитателей. В середине августа мы вернулись в Дрезден. Друзья мои радовались, видя меня в особенно приподнятом, веселом настроении: мне казалось, что крылья выросли у меня за спиной.

176

Сомнения великой артистки

В сентябре, когда съехались все артисты, мы приступили к изучению «Тангейзера», и тут скоро стали одолевать меня все новые и новые заботы. Репетиции подвинули нас так далеко, что с музыкальной стороны мы могли рассчитывать на близкую постановку. Особые затруднения, связанные с инсценировкой этой оперы, прежде всего бросились в глаза Шрёдер-Девриент, причем она их почувствовала и оценила настолько ясно, что, к огорчению и стыду моему, мне же их первая и объяснила. Начала она с текста.

В одно из моих посещений она стала читать вслух, превосходно, с глубоким выражением, главнейшие сцены последнего действия и спросила, неужели я серьезно думаю, что такой детски наивный человек, как Тихачек,

найдет необходимые оттенки для Тангейзера. Я пытался сослаться на особенности моей музыки, в которой настолько точно и определенно подчеркнуты необходимые ударения, что она может быть пропета любым певцом, если только он не лишен музыкальной чуткости. Она отрицательно покачала головой и сказала, что все это, пожалуй, было бы верно, если бы речь шла о какой-нибудь оратории. Затем она по клавираусцугу спела молитву Елизаветы и спросила, думаю ли я, что эту вещь может исполнить так, как мне этого хотелось бы, молодая певица с хорошим, свежим голосом, но без души, без остроты незаменимых личных сердечных переживаний. Я вздыхал, но выразил надежду, что трогательная свежесть голоса певицы и ее внешность выручат нас в этом случае. Все-таки я очень просил ее поговорить с моей племянницей Иоганной, которой была поручена роль Елизаветы, и дать ей соответствующие указания. Что касается роли Тангейзера, то тут, к сожалению, невозможно было ничем помочь: всякие поучения только сбили бы с пути моего бравого друга. Мне оставалось рассчитывать исключительно на силу голоса и на особенно чистую дикцию этого певца.

Сомнения, высказанные великой артисткой относительно исполнения главных ролей, имели, однако, и особенные, личные основания. Дело в том, что она не знала, как ей быть с доставшейся ей партией Венеры. Партия эта, небольшая по размеру, была очень трудна и в то же время по внутреннему своему, идеальному смыслу была полна значения для всего произведения. Впоследствии я и сам убедился в том, что партия эта носила чересчур эскизный характер. Когда в Париже мне пришлось вторично заняться постановкой «Тангейзера», я совершенно ее переработал, внеся в нее то, что прежде было упущено и оставлено без внимания. Но пока было ясно, что никакое искусство

артистки не в состоянии создать из этого эскиза чего-нибудь стоящего на высоте намеченной идеи. В крайнем случае, можно было бы произвести чисто *чувственное* впечатление на публику, если бы артистка могла рассчитывать на свои внешние данные, если бы она обладала молодой и прекрасной фигурой. Сознание, что этих средств в ее распоряжении больше нет, что при внешности зрелой женщины рискованно на это рассчитывать, повергало ее в смущение, не давшее ей мужества прибегнуть к обычным орудиям успеха. С улыбкой отчаяния она однажды заметила, как трудно играть Венеру, раз нельзя появиться в соответствующем роли костюме: «Ради Бога, что прикажете надеть в роли Венеры? Одним поясом не ограничишься. А в противном случае получится маскарадная кукла — сами рады не будете!»

177

Состязание певцов. Концерт или драматическое соперничество на почве поэзии? Скупость инструментовки в оркестровом аккомпанементе. «О, Солон, Солон!»

В общем, я все-таки рассчитывал больше всего на действие музыкального ансамбля. Оркестровые репетиции давали для этого достаточные основания. Еще Хиллер, просматривая партитуру, с величайшим удивлением изрек похвалу за то, что я сумел в инструментовке достичь своей цели необыкновенно скромными средствами. Характерная и нежная звучность оркестра радовала меня самого, и я еще более укрепился в своем намерении исходить из возможно более экономного пользования оркестровыми силами, чтобы иметь в своем распоряжении известный запас комбинаций, необходимых для дальнейших музыкальных планов.

Только жена моя была недовольна отсутствием труб и тромбонов, которые в «Риенци» звучали так полно и свежо.

Это вызывало во мне лишь улыбку. Но ее испугало также бледное впечатление, производимое на репетиции сценой состязания певцов. А на это я обратил уже более серьезное внимание. С точки зрения обыкновенной публики, всегда ждущей известного возбуждения, известного повышенного интереса, она совершенно правильно усмотрела опасность, угрожающую с этой стороны новой постановке. Однако я скоро убедился, что грех не столько в ошибочной концепции, сколько в легкомысленном отношении исполнителей, на что не было обращено достаточно внимания.

Я стал здесь лицом к лицу с дилеммой, которую мне необходимо было раз навсегда решить. Что должна представлять собой сцена состязания певцов: концерт, состоящий из ряда арий, или драматическое соперничество на почве поэзии? Обычный оперный жанр требовал, чтобы она являлась рядом певческих представлений, последовательно расположенных для сопоставления. Такого мнения держится доныне всякий, кому за хорошим исполнением певцов не удалось схватить верного впечатления от целой вещи. Все сводилось к тому, чтобы различные номера были с музыкальной стороны соответственным образом подобраны по ритму и размеру, как это, например, делают при составлении концертных программ, где разнообразием пьес и постоянными неожиданностями неизбежно достигается известная занимательность. Это, однако, совершенно не входило в мои намерения. Моя цель была бы достигнута только в том случае, если бы удалось — впервые в опере — заставить зрителя принять участие в процессе творческой мысли автора, во всех фазах внутреннего развития драмы, ибо только при таком участии становилась понятной катастрофа, разыгрывающаяся без всякого внешнего повода, из развернувшихся душевных переживаний на сцене. Поэтому и музыкальная обработка этого

момента должна быть необыкновенно умеренная, широкая, не только не мешающая пониманию поэтического текста, но, по замыслу моему, особенно ему способствующая.

Когда на сцене разгораются страсти и нарастает мелодия, ее ни в каком случае немыслимо прерывать какими-нибудь ненужными модуляциями или произвольными уклонениями в ритме. Отсюда вытекала и скупость инструментовки в оркестровом аккомпанементе, сознательное воздержание от музыкально-выразительных приемов до той минуты, пока ситуация не разрастется настолько, что зритель начнет постигать происходящее перед его глазами не столько разумом, сколько чувством. И никто не решался отрицать, что я достигаю искомого впечатления, когда, сидя за роялем, я сам веду сцену состязания певцов. Здесь же главная трудность теперешнего и всех будущих моих успехов заключалась в том, чтобы наши оперные певцы поняли свою задачу так, как это намечено мной.

По недостатку опыта упустив, как и прежде при исполнении «Летучего Голландца», эту сторону дела, я только теперь осознал вред сделанной ошибки во всем ее объеме и с величайшей ревностью стал обдумывать, как бы разъяснить певцам необходимый характер исполнения. К сожалению, повлиять на Тихачека, как я уже говорил, было немыслимо. Можно было опасаться, что, стараясь внушить ему вещи, совершенно для него недоступные, я его окончательно собью с толку. Свои преимущества он знал хорошо: знал, что у него металлический голос, что он поет музыкально чисто, с чувством ритма, что он фразирует с удивительной отчетливостью. Но что всего этого недостаточно, это я и сам только теперь понял, к великому изумлению. Когда на первом представлении я с ужасом услышал, как Тангейзер к концу состязания певцов, вместо того чтобы в бешеном экстазе, забыв все

на свете, излиться в хвалебной песне Венере, нежно и искательно обращается с ней к Елизавете, услышал то, что непостижимым образом ускользнуло от меня на репетициях, я вспомнил предупреждения Шрёдер-Девриент и мог, как некогда Крез на костре, воскликнуть: «О, Солон, Солон!»

178

Миттервурцер

Таким образом, с «Тангейзером», несмотря на всю живость и мелодическую красоту сцены состязания и несмотря на все музыкальные достоинства самого певца, мне не повезло. Зато мне посчастливилось у другого певца открыть особого рода достоинства и вызвать к жизни элемент, никогда еще до сих пор явственно в опере не проявлявшийся. Я говорю о баритоне Миттервурцере, замкнутом, малообщительном человеке. Наблюдая его в некоторых ролях, я заметил, что он не только обладает мягким, приятным голосом, но умеет своим пением приводить в движение интимнейшие сердечные струны. Ему я доверил партию Вольфрама и имел все основания быть довольным рвением и успешностью его работы. На него я должен был рассчитывать, если хотел реализовать свои до сих пор невысказанные пожелания и довести их до конца.

На проблемной сцене состязания певцов мне особенно важно было проверить себя, доказать правильность моих взглядов. Для этой цели я начал с ним проходить песнь, которой открывается состязание. После того как я передал ему по-своему то, чего добиваюсь, я был поражен, насколько новым и трудным все это ему показалось. Он был совершенно не в состоянии повторить ее за мной, и каждый раз немедленно сбивался на обычную банальную манеру певцов. Было очевидно, что он и теперь не видит

в этой вещи ничего, кроме обыкновенной речитативной фразы, передаваемой с произвольной гибкостью в интересах удобства голоса то так, то иначе. Его и самого удивляла собственная неспособность пропеть вещь так, как я ему показывал. Однако новизной и верностью моих указаний и требований он был так поражен, что просил на время прекратить дальнейшие хлопоты и дать ему освоиться с новым для него миром, дать ему справиться с задачей собственными силами.

На нескольких репетициях он пел вполголоса, как бы для того, чтобы отделаться как-нибудь от своих обязанностей, но на генеральной репетиции он спел свою песнь полным голосом и так великолепно, что с тех пор и доныне этот случай является для меня якорем надежды на то, что возможно все-таки найти нужных певцов и подготовить их к выполнению моих замыслов, несмотря на всю губительность нашего оперного строя. Впечатление исполненной им песни, для правильной передачи которой он словно совершенно переродился, по внешности, по манере, по всему, послужило — что особенно замечательно — как бы исходным пунктом для публики в смысле верного понимания моего произведения. Решение одной задачи сделало Миттервурцера сразу зрелым художником, и роль Вольфрама, проведенная прекрасно и с большим подъемом, спасла оперу после не вполне удачного первого представления от грозившего ей серьезного провала.

179

Иоганна Вагнер. Ожидание декораций

Рядом с ним в выгодном свете вырисовалась только фигура Елизаветы. Молодость моей племянницы, ее высокая, стройная фигура, характерный немецкий тип ее лица, ее тогда еще неподражаемо прекрасный голос

с трогательно-детским выражением, ее разумно направленный актерский, если не драматический, талант — все это помогло ей покорить сердца публики. Благодаря этой роли она скоро прославилась, и еще потом, когда мне передавали об успехе «Тангейзера», всякий раз отмечали, что им он обязан почти исключительно ей одной.

Удивительнее всего, что при этом говорилось о ее превосходной и богатой оттенками игре в сцене приема гостей в Вартбурге: это был результат невероятных усилий, потраченных мной и моим братом, очень опытным в этом отношении человеком. К сожалению, внушить ей правильную передачу молитвы в третьем действии нам так и не удалось. Здесь опять повторилось то же, что и с Тихачеком, и опять пришлось воскликнуть: «О, Солон, Солон!», когда после первого представления я увидел себя вынужденным сильно сократить молитву, благодаря чему, на мой взгляд, она навеки потеряла свой действительный смысл. И Иоганна, долгое время слывшая большой артисткой, так никогда и не сумела справиться с этой молитвой вполне, в то время как одной французской певице, г-же Марии Сакс в Париже, она, к моему величайшему удовольствию, удалась в совершенстве.

В начале октября мы были готовы к постановке оперы. Задержка была только по части декораций. Некоторые из заказанных в Париже декораций прибыли очень поздно. Вполне удалась прекрасная декорация долины Вартбурга. Внутренность грота Венеры доставила мне, напротив, много хлопот: художник не понял меня и украсил дикую пещеру в горах боскетами и статуями на манер Версаля, не зная, как соединить в декорации впечатление ужасного с привлекательным. Пришлось настаивать на том, чтобы все переделать, главным образом переписать боскеты и статуи, на что понадобилось немало времени. Чтобы укутать

грот розовым туманом, из которого потом выступает, долина Вартбурга, пришлось прибегнуть к особому приему, мной самим изобретенному.

Главное же затруднение создалось из-за промедления в доставке декорации, необходимой для зала состязания. В Париже ее задерживали самым легкомысленным образом. Бесплодно проходили дни, все уже было готово к постановке, и мы устали от постоянных репетиций. Ежедневно шел я на железнодорожную станцию, рылся во всех тюках и ящиках — декорации не было. Наконец я решил не задерживать дольше первого представления, которое давно уже было анонсировано, и воспользоваться предложенной Люттихау декорацией зала Карла Великого из «Оберона». С моей стороны это была серьезная жертва, так как во всем я добивался только одного: определенности поэтического впечатления. В самом деле, эта хорошо знакомая декорация, использованная при постановках «Оберона», вызвала в публике полное недоумение, при поднятии занавеса во втором действии. Она ждала от оперы самых неожиданных впечатлений.

180

Калерис, племянница русского канцлера. Издатель берлинской музыкальной газеты К. Гайярд. Сестра книготорговца Фроммана в Иене

19 октября состоялось первое представление. Утром в этот день ко мне заехала одна молодая, красивая, знатная дама в сопровождении концертмейстера Липинского. Это была г-жа Калерис, племянница русского канцлера графа Нессельроде. Ставши благодаря влиянию Листа восторженной моей поклонницей, она прибыла нарочно в Дрезден, чтобы присутствовать при чуде рождения нового произведения. Этот лестный визит я счел, естественно,

хорошим предзнаменованием. И если после первого спектакля благодаря недостаткам исполнения и бледности приема она слегка отвернулась от меня, как бы несколько смущенная и разочарованная, то впоследствии я мог всетаки убедиться в том, что в душу этой энергичной, значительной женщины запали новые семена, давшие известный всход.

Совершенно иной характер носило стоившее некоторых жертв прибытие в Дрезден на первое представление «Тангейзера» другого необыкновенного человека, некоего К. Гайярда, издателя той самой недавно лишь основавшейся в Берлине музыкальной газеты, где я в первый и единственный раз прочел, к великому моему изумлению, вполне благоприятный и притом подробный отзыв о «Летучем Голландце». К газетным рецензиям я твердо решил, да и привык поневоле, относиться с полным равнодушием, но эта статья произвела на меня глубокое впечатление, и я послал ее автору, совершенно мне незнакомому человеку, приглашение прибыть в Дрезден на премьеру «Тангейзера». Он действительно приехал. Я был искренне тронут, убедившись, что этот молодой человек, в очень стесненных обстоятельствах, серьезно больной, явился в Дрезден, не рассчитывая ни на какое вознаграждение, отклоняя даже простые проявления гостеприимства с моей стороны, исполняя только в ответ на приглашение известный долг чести. Судя по его познаниям и способностям, он не мог претендовать на большое влияние, но его честное отношение к делу и живой, чуткий ум внушили мне искреннее к нему уважение. Через несколько лет он, к сожалению, умер. Достиг он немногого, но всегда, в самых трудных обстоятельствах оставался мне предан и проявлял большой интерес к моей деятельности.

Кроме того, в Дрезден несколько ранее прибыла некая госпожа Альвина Фромман, лично мне незнакомая,

но сделавшаяся моей поклонницей со времени берлинской постановки «Летучего Голландца». С ней я лично познакомился впервые у Шрёдер-Девриент. Они были дружны между собой, и Девриент с улыбкой представила ее как пламенную мою почитательницу. Она была уже немолода и некрасива, но ее живые и выразительные глаза свидетельствовали о богатстве ее души. Как сестра книготорговца Фроммана в Йене она знала многое из частной жизни Гёте, так как, приезжая в Йену, великий поэт останавливался в доме ее брата. Особенно же близка она была в качестве чтицы к тогдашней принцессе Августе Прусской. Люди, которым были известны их отношения, считали ее даже близким другом принцессы. Несмотря на все это, она жила очень скромно и гордилась тем, что обеспечила себе известную самостоятельность личным заработком: она была недурной рисовальщицей арабесок. Мне она оставалась неизменно верна, и даже на этот раз, не поддаваясь неблагоприятному впечатлению от неудачного первого представления «Тангейзера», она, одна из немногих, открыто заявила себя искренней сторонницей моего нового произведения.

181

Эскизная обработка роли Венеры. Трогательное выступление Вольфрама. Тихачек в роли Тангейзера. Хёрзельберг в красноватом тумане. Неуспех постановки

Что касается самого представления, то я сделал из него целый ряд поучительных выводов. Серьезный недостаток моего труда, о котором я бегло упоминал, заключался в эскизной, крайне недостаточной обработке роли Венеры, что влекло за собой полную неудачу большого введения к первому действию. Для драматической выразительности оперы эта сцена имеет по общей концепции особенно

важное значение: в ней должны проявиться горячность и напряженность страсти, на которых строилось все произведение. Она внушает ощущение катастрофы и заставляет публику с усиленным вниманием следить за дальнейшим развитием драмы.

Эта большая сцена не удалась совершенно, несмотря на то, что исполняли ее такая великая артистка, как Шрёдер-Девриент, и такой необыкновенно даровитый певец, как Тихачек. Может быть, Девриент и нашла бы нужный акцент для передачи всей ее страстности, если бы ей не пришлось вести ее с певцом, абсолютно неспособным выражать серьезные драматические чувства. Все его дарование было как бы приспособлено к изображению радости, к энергичной декламации; для выражения же боли и страдания у него совершенно не было средств.

Несколько согрели публику трогательное выступление Вольфрама и заключительная сцена этого действия. И даже Тихачек ликующим тоном голоса в последней своей фразе настолько захватил слушателей, что, как мне потом передавали, в публике после первого действия царило прекрасное, приподнятое настроение. Это настроение поддерживалось и росло в течение второго действия благодаря талантливой игре Вольфрама и Елизаветы. Но герой драмы, Тангейзер, все более и более стушевывался, и, наконец, настолько выпал из сферы симпатии публики, что в заключительной сцене, как бы под гнетом всего происходящего, представлял собой совершенно жалкую фигуру. В финале, в большом адажио, начинающемся словами: «*Zum Heil den Sundigen zu fuhren, die Gottgesandte nahte mir*», он оказался неспособным найти соответствующее выражение, и это явилось решающим моментом, определившим его неуспех. Впоследствии в особых составленных мной указаниях к постановке «Тангейзера»

я подробно разъяснил чрезвычайно важное значение именно этого места, теперь же, ввиду того, что в неэкспрессивной передаче Тихачека оно производило впечатление томительной длинноты, я принужден был на втором представлении совершенно его выпустить. Чтобы не огорчать преданного мне Тихачека, имевшего притом действительно серьезные по отношению ко мне заслуги, я сделал вид, что считаю это место неудачным. А так как, по общему мнению, я сам избрал Тихачека в изобразителя моих героев, то с этого представления при позднейших постановках «Тангейзера» было решено, что адажио в финале, которое я считаю безгранично важным моментом в опере, не должно исполняться, согласно моим собственным желанию и оценке!

Уже по одному этому можно понять, что из позднейшего всеобщего успеха, которым стал пользоваться «Тангейзер» на сценах немецких опер, я никаких иллюзий себе не строил. Мой герой, который должен проявлять величайшее напряжение духа как в горе, так и в радости, к концу второго акта вел себя интонациями нежной преданности как слабый грешник и в третьем действии проявлял уже бездну кроткой покорности, рассчитанной на то, чтобы вызвать в публике снисходительное сострадание. Только раз, когда он передавал проклятие Папы, голос его опять зазвучал с такой энергией и риторической полнотой тона, что трубы в оркестре, ко всеобщему удовольствию, не в состоянии были покрыть его.

Таким образом, благодаря основной погрешности в характеристике главного героя для публики пропадал смысл всей драмы в целом, пропадал в неясном и неотчетливом ее настроении. С другой стороны, и сам я, создавая заключительную сцену, допустил, по неопытности в этом новом роде драматической концепции, известную оплошность, благодаря которой для зрителя становилось совершенно

непонятным истинное ее значение. В моей первой обработке Венера, пытающаяся вернуть к себе неверного возлюбленного, является, как видение обезумевшего Тангейзера, и лишь виднеющаяся вдали в красноватом тумане Хёрзельберг внешним образом подчеркивает реальность этой ужасной ситуации. Решающий момент оперы, возвещение смерти Елизаветы, тоже был проведен как пророческое видение Вольфрама, и только едва доносившийся издали звон похоронного колокола и чуть заметный свет факелов, привлекавший внимание к виднеющемуся вдали Вартбургу, намекали на реальный факт. Появляющийся в самом конце хор юных паломников, которым я еще тогда не давал в руки расцветшего жезла и которые лишь на словах возвещают о чуде, производил на зрителя неясное, спутанное впечатление благодаря, между прочим, аккомпанементу, чрезвычайно растянутому и монотонному.

Когда опустился занавес, я не столько из поведения публики, отнесшейся к спектаклю тепло и одобрительно, сколько по собственному внутреннему чувству заключил о неуспехе этого незрелого и неудовлетворительного представления. Я был глубоко удручен, и когда после спектакля мы с несколькими друзьями (среди нас была милая сестра Клара с мужем) сошлись вместе, то же настроение чувствовалось у всех. В эту ночь я обсудил, что предстоит немедленно сделать, как исправить погрешности первой постановки.

На следующий день предполагалось дать второй спектакль. В чем заключался главный грех неудавшегося представления, я не сказал ни слова. При малейшей попытке разъяснить Тихачеку суть его задачи я становился лицом к лицу с полной безнадежностью: я легко мог его окончательно смутить и настолько раздосадовать, что под каким-нибудь предлогом он окончательно отказался бы петь Тангейзера. Чтобы опера не была снята со сцены из-за Тихачека,

я прибег к единственному находившемуся в моем распоряжении средству, взяв на себя вину в недостаточной выразительности партии Тангейзера и согласившись на значительные сокращения ее. Этим я сильно обесценивал драматическое значение главной фигуры, но зато спасал ценой одной роли все другие партии. С глубоким внутренним смирением я надеялся обеспечить успех второй постановки, а в ту минуту ничто не было так важно для меня, как возможно скорей вновь увидеть свою вещь на сцене. Но Тихачек охрип, и мне пришлось терпеливо ждать целых восемь дней.

182

Рецензенты. Печать

Трудно описать, сколько в эти восемь дней я перестрадал. Казалось даже, что это промедление грозит совершенно погубить мое творение. Каждый лишний день делал успех первой постановки все более сомнительным, так что к концу недели в обществе говорили уже прямо о провале. Раздавались жалобы на то, что я пренебрег успехом, которым публика увенчала «Риенци», и в моей новой опере сбился со столь явно одобренного ней направления творчества. Даже испытанные и мыслящие друзья были смущены новым творением, его неясностью: в главных частях ими непонятое, оно казалось, по существу, ошибочно задуманным и выполненным.

Рецензенты обрушились на меня с нескрываемым злорадством, как вороны на брошенную им падаль. Чтобы как можно вернее сбить меня с толку и повредить, они приплели сюда события и страсти общественного характера. В то время общество сильно волновала немецко-католическая агитация Ронге и Черски, которая представлялась всем значительной и либеральной. И вот нашли, что своим

«Тангейзером» я самым вызывающим образом играю в руку реакции; что, в то время как Мейербер в своих «Гугенотах» прославляет протестантизм, я своей новой оперой служу католицизму. Долгое время самым серьезным образом повторяли, что я подкуплен католической партией.

Так меня хотели лишить популярности. Но это доставило мне своеобразную честь: некто Руссо, бывший прежде редактором прусской *Staatszeitung*[118], знакомый мне по уничтожающей критике «Летучего Голландца», обратился ко мне сначала письменно, а затем и лично с предложением заключить с ним дружеский союз. Он рассказал мне, что был командирован в Берлин для пропаганды католических тенденций. Скоро, однако, он печальным образом убедился, что в Берлине деятельность в этом направлении остается совершенно бесплодной. Тогда он и решил вернуться обратно в Вену, чтобы продолжать беспрепятственно работать для того дела, которому, судя по «Тангейзеру», служу и я. В своем роде замечательный дрезденский листок, орган местной клеветы и сплетни, всячески изощрялся как-нибудь навредить мне. Однако я стал замечать, что время от времени там попадаются короткие и остроумные заметки, очень энергично отстаивающие и ободряющие меня в моей работе. Долгое время это искренне удивляло меня, так как я хорошо знал, что в такого рода делах упражняются обыкновенно враги, а не друзья, пока Рёкель со смехом не признался мне, что поход в мою защиту предпринял он совместно с Гейне.

Нападки эти тем более угнетали меня, что в эти тяжелые дни я был лишен возможности ответить на них новой постановкой моей оперы. Тихачек не оправился еще от хрипоты: казалось, он вовсе не хотел больше выступать в «Тангейзере». Я слышал, что фон Люттихау, смущенный

[118] «Государственной газеты» (*нем.*).

слабым успехом «Тангейзера», намеревался отказаться от неприбывшей декорации зала состязаний совсем или отослать ее обратно. Это явное малодушие так меня испугало, что я уже и сам готов был считать «Тангейзера» погибшим. Чем такое настроение грозило мне, само собой понятно из всего рассказанного ранее в связи с моими издательскими начинаниями.

183

Земпер. Рёкель

Ужасные восемь дней тянулись, как вечность. Я избегал людей, и тем не менее мне пришлось однажды зайти в музыкальный магазин Мезера, где я наткнулся на Готфрида Земпера, покупавшего либретто «Тангейзера». Незадолго перед тем я горячо спорил с ним. Он решительно не признавал, чтобы Средневековье с его миннезингерами и паломниками могло дать мотивы для художественной обработки, и открыто заявил, что прямо презирает меня за выбор такой темы. Оказалось, со слов Мезера, что ни одна душа не заходила до сих пор купить «Тангейзера», и, таким образом, мой решительнейший противник оказался единственным, кто пришел, купил и заплатил. Со странной, упрямой серьезностью он объяснил мне, что надо, во всяком случае, хорошо ознакомиться с вещью, если хочешь иметь о ней правильное мнение, и что поэтому ему ничего не остается, как купить либретто. Эта встреча с Земпером, на первый взгляд столь малоутешительная, оставила во мне добрую память: она первая внушила мне некоторую бодрость.

Главной моей поддержкой в эти дни волнений и страданий был Рёкель. Они связали нас на всю жизнь. Не говоря ни слова, он неутомимо спорил за меня все время, давал разъяснения, агитировал и боролся. Благодаря этому он

стал фанатическим поклонником «Тангейзера». Накануне наладившегося второго представления мы сидели с ним вечером за стаканом пива. Он сиял от удовольствия, и его радость передавалась и мне. Нам обоим было весело. Некоторое время он внимательно рассматривал мою голову и вдруг начал доказывать, что меня ничто не в состоянии сломить, что есть во мне нечто непреоборимое, что оно у меня в крови, так как заметно даже в моем брате, Альберте, столь во всех отношениях на меня непохожем. Чтобы пояснить свои слова, он определил это «нечто» как особую, свойственную моей натуре горячность. Он полагал, что эта горячность может оказаться гибельной для других, сам же я должен чувствовать себя хорошо по-настоящему только тогда, когда этот жар разгорается во мне все сильнее и сильнее. Он утверждал, что много раз видел меня *светящимся*. Я засмеялся, не понимая, к чему клонится вся эта болтовня. Тогда он заявил, что скоро ясно будет, прав ли он, ибо если я думаю, что «Тангейзеру» не удержаться на сцене, то это явный абсурд. Он знает твердо, что успех несомненен. На пути домой я думал об этих словах и понял отчетливо, что если и в самом деле «Тангейзер» достигнет настоящей популярности, то это должно повести к неизмеримо важным последствиям.

184

Второе представление «Тангейзера»

Наступил, наконец, день второго представления. Пожертвовав значением главной роли, смягчив первоначально подчеркнутый идеальный элемент в важнейших частях оперы, я стремился выдвинуть вперед партии, для публики понятные, и тем обеспечить успех произведения в целом. Очень обрадовала меня прибывшая из Парижа декорация зала состязания для второго действия. Прекрасное и благородное впечатление, которое она произвела, оживило

нас всех как хорошее предзнаменование. К особенному моему огорчению, публики в театре собралось очень мало: это лучше всего свидетельствовало о том, как судили о моей новой опере. Народу было мало, но зато он состоял в большинстве из настоящих друзей моей музыки.

Прием был очень теплый, а Миттервурцер сумел даже увлечь публику и вызвать настоящий энтузиазм. Что касается Тихачека, то друзья мои, Рёкель и Гейне, нашли необходимым прибегнуть к искусственным средствам для поддержания в нем хорошего настроения. Чтобы помочь разобраться сразу в смысле последней, столь важной для оперы и столь неясно проведенной сцены, они попросили группу молодых людей, главным образом состоявшую из художников, усиленно аплодировать в таких местах, которые обыкновенно не вызывают никаких рукоплесканий. И Он действительно, взрыв рукоплесканий в одном месте после слов Вольфрама: «*Em Engel fleht für Dich an Gottes Thron, er wird erhort: Heinrich, Du bist erlost*» — сразу сделал ясным весь смысл разыгрывавшейся на сцене ситуации. На всех дальнейших представлениях это место, прошедшее при первой постановке совершенно незамеченным, давало публике повод для выражения особенных симпатий. Через несколько дней состоялось третье представление, на этот раз перед полным залом. Шрёдер-Девриент, очень огорченная тем, что способствовать успеху оперы она не могла, следила из театральной ложи за ходом спектакля. Она рассказала мне, что фон Люттихау зашел к ней с сияющим лицом и заявил, что теперь считает «Тангейзера» спасенным.

Это оправдалось. В течение зимы мы постоянно возобновляли оперу, но при этом было сделано наблюдение, что, если она шла два раза подряд, на втором спектакле публики бывало меньше, чем на первом. Это свидетельствовало о том, что большой оперной публики мы еще не завоевали, что только наиболее образованная ее часть на моей стороне.

Среди этих настоящих друзей «Тангейзера» были, как я постепенно убеждался в этом, люди, никогда не посещавшие театра, в особенности оперы. Интерес этой новой публики становился все интенсивнее и проявлялся, что до сих пор было у нас явлением необычным, в энергичных вызовах автора.

Выходить на каждом новом представлении, чуть ли не после каждого действия, на сцену мне было неприятно главным образом из-за Тихачека. Однако следовало подчиниться, так как иначе я доставлял моему певцу еще большее огорчение: когда он появлялся один с товарищами, без меня, энергичные требования публики, повторявшей мое имя, действовали на него почти как оскорбление. Насколько приятнее было бы, если бы из-за красоты исполнения забывали автора! В Дрездене я этого так и не мог добиться, и это было хорошим уроком для меня во всех дальнейших начинаниях. Здесь, среди более образованных слоев публики, я добился лишь одного: я познакомил ее с моими тенденциями, выходящими за пределы обычного, и заставил ее путем размышления и абстрагирования от реального хода действия на сцене понять мою основную идею. Воплотить же эти тенденции, выразить их в драматической постановке настолько ясно, чтобы и большая, необразованная публика прониклась ими, мне так и не удалось.

В течение зимы я имел возможность разобраться во всем этом благодаря общению с интересными людьми.

185

Доктор Герман Франк. Проницательная статья о «Тангейзере» на страницах большой политической газеты. Разоблаченные репутации

Серьезную пользу принесло мне тесное знакомство с доктором Германом Франком из Бреслау, который с некоторого времени поселился в Дрездене как частное лицо.

Обладая независимым состоянием, он принадлежал к числу людей, пользующихся авторитетом в избранном кругу знакомых, но неизвестных большой публике. Влияние это объяснялось его огромными познаниями, тонкостью развития и большим писательским талантом. Он пытался быть полезным и широким кругам общества своими познаниями и способностями и взял на себя, по предложению Брокгауза, редактирование основанной несколько лет тому назад *Deutsche Allgemeine Zeitung*[119]. Через год он решительно отказался от этой деятельности, и с тех пор лишь в исключительных случаях удавалось побудить его пойти на сотрудничество с газетами. Его краткие, остроумные наблюдения, относящиеся к опыту редактирования *Deutsche Allgemeine Zeitung*, совершенно оправдывали в моих глазах его отвращение к нашей политической прессе.

Вот почему я был особенно рад, когда без малейшего с моей стороны давления он дал в *Augsburger Allgemeine Zeitung*[120] подробный отчет о «Тангейзере». Отчет этот появился в октябре или ноябре 1845 года в приложении к газете. Несмотря на то, что статья была первой о предмете, впоследствии столь часто обсуждавшемся, она остается до сих пор при всей ее разумной умеренности лучшей, наиболее глубокой и проницательной из всего написанного о «Тангейзере». Таким образом, я попал на страницы той большой европейской политической газеты, которая потом ввиду изменившихся интересов редакции давала у себя приют всякому, кто хотел посмеяться надо мной, над моими творениями.

Прежде всего, меня особенно привлекала к Франку его тонкая, тактичная манера критики, суждения о тех или иных вопросах. Было в нем что-то благородное, зависящее

---

119 «Немецкой всеобщей газеты» (*нем.*).

120 «Аугсбургской всеобщей газете» (*нем.*).

не столько от особенностей того круга, к которому он принадлежал, сколько от его действительно всесторонней образованности. Его утонченная сдержанность и холодность не отталкивали, а привлекали меня, так как являлись для меня чем-то новым, до того незнакомым. Случалось, я проявлял некоторую свободу в суждениях о людях с большим реноме, с установленной репутацией, казавшейся мне не вполне заслуженной. Я с радостью убеждался, что оказывал на Франка известное, а в некоторых случаях даже решающее влияние. Так, я не любил, если по отношению к какому-нибудь знаменитому человеку отделывались пустыми любезностями вместо серьезного обсуждения его действительных заслуг. В таких случаях я охотно ставил в тупик даже моего многоопытного друга.

Однажды я имел большое удовольствие, когда услышал от него резкое мнение о «почтенности» Мейербера, которую он прежде при мне же отстаивал. И он с улыбкой вспомнил все те странные вопросы, которыми я тогда забросал его. Между прочим, я разоблачил перед ним такого человека, как Мендельсон, и показал в настоящем свете, чего стоит его хваленое бескорыстие, его готовность на жертвы в интересах искусства. В разговоре о Мендельсоне Франк как-то заявил, что отрадно видеть художника, способного идти на лишения, чтобы только освободиться от ложного и для искусства недостойного положения. Так, например, Мендельсон отказался от должности главного музикдиректора в Берлине с солидным окладом в 3000 талеров, чтобы занять скромное место музикдиректора Гевандхауза в Лейпциге. Это был, несомненно, поступок прекрасный и заслуживающий полнейшего уважения. Я имел возможность разъяснить подробно, как обстояло дело с этой мнимой жертвой, ибо, когда я хлопотал перед главной дирекцией о нескольких беднейших членах Королевской капеллы, фон Люттихау принужден был сообщить

мне, что средства капеллы настолько истощены последними распоряжениями короля, что об улучшении быта нуждающихся музыкантов пока и думать нечего. Оказалось, что по представлению директора лейпцигского округа фон Фалькенштайна, страстного поклонника Мендельсона, король назначил последнего *тайным* капельмейстером с *секретным* содержанием в 2000 талеров. Таким образом, вместе с получаемыми от лейпцигской дирекции Гевандхауза 1000 талеров Мендельсон полностью возместил утерянное в Берлине содержание и потому решил переселиться в Лейпциг. В управлении фондом капеллы сознавали, что этим нанесен интересам института серьезный ущерб. А так как открыто оповещать о назначении кого-нибудь капельмейстером без определенных функций значило бы вызвать неудовольствие среди действительных капельмейстеров с меньшим содержанием, то всю эту комбинацию держали в секрете. Мендельсон из тех же оснований умалчивал обо всем и даже принужден был выслушивать от своих друзей по поводу его переезда в Лейпциг восхваления за бескорыстие, которое казалось тем вероятнее, что он был и без того богат. Все эти разъяснения прямо поразили Франка, и он признался, что впервые встречается с таким полным разоблачением ложной репутации.

186

Фердинанд Хиллер. Роберт Шуман. Текст, скомбинированный по Геббелю и Тику

Скоро мы стали делиться друг с другом подобного рода соображениями относительно многих прославленных в мире искусства лиц, с которыми мы тогда соприкасались в Дрездене. По отношению к Фердинанду Хиллеру, одной из «почтеннейших» особ, это было нетрудно. Что касается известнейших художников так называемой дюссельдорфской школы, с которыми мне случалось довольно часто

сталкиваться благодаря «Тангейзеру», то составить себе мнение о них мне было очень нелегко — я просто полагался на большую славу и значительность их имен. Но здесь Франк, в свою очередь, кое в чем разочаровал меня своими полезными и совершенно определенными разоблачениями. Когда говорили о Бендемане и Гюбнере, то казалось, что можно легко пожертвовать Гюбнером ради Бендемана. Бендеман только что закончил фрески в одной из зал королевского дворца, и друзья чествовали его по этому поводу обедом. Мне казалось, что как великий мастер, он вполне достоин такого почета. Как же был я поражен, когда Франк совершенно спокойно высказал свое сожаление по поводу того, что король дал Бендеману «испачкать» залу! Но этим людям нельзя было отказать в «почтенности». В их обществе, к которому меня так тянуло, царила несравненно более приличная атмосфера, чем в театральной среде, и разговоры вертелись вокруг более широких, более утонченных вопросов искусства. Но и тут так же мало было действительной теплоты и плодотворных исканий. Всего этого Хиллер, видимо, и не искал, когда организовал зимой «кружок», собиравшийся еженедельно в квартире то одного, то другого из своих членов. К Гюбнеру и Бендеману присоединился в качестве художника Рейнеке, занимавшийся и поэзией. Он имел несчастье написать для Хиллера новый оперный текст, о судьбе которого я еще потом расскажу.

Кроме Хиллера и меня, к «кружку» в качестве музыканта присоединился и Роберт Шуман. Он окончательно обосновался тогда в Дрездене и тоже занят был разными оперными планами, приведшими его к «Геновеве». С Шуманом я был знаком еще в Лейпциге. Мы почти одновременно начали нашу музыкальную карьеру. Прежде, когда он редактировал *Neue Zeitschrift fur Musik*[121], я посылал ему время от времени коротенькие статьи и однажды одну

[121] «Новый музыкальный журнал» (*нем.*).

большую, по поводу *Stabat mater* Россини. На концерте, устроенном в театре, ставился его «Рай и Пери», и его пригласили дирижировать своей вещью. При его характерном неумении управлять оркестром я мог оказать этому глубокомысленному, энергичному музыканту, произведение которого мне очень понравилось, действительную помощь. Между нами установились искреннее доброжелательство и дружеское доверие.

После одного из представлений «Тангейзера», на котором он присутствовал, он сделал мне утренний визит и высказался решительно в пользу моего творения. Нашел он в нем один только недостаток: ему показалась несколько скомканной *stretta* во втором финале. Это свидетельствовало о его тонком чутье, так как по партитуре я мог ему показать, что лишь благодаря крайне неприятной мне самому, но вынужденной купюре это место оказалось изуродованным.

Иногда мы встречались на прогулке и обменивались, насколько это возможно было с таким удивительно скупым на слова человеком, мнениями о разных музыкальных делах и интересах. Он выказал мне свою радость по поводу того, что вскоре услышит Девятую симфонию Бетховена под моим управлением. В Лейпциге исполнение этой симфонии доставляло ему истинные мучения благодаря тому, что Мендельсон вел первую часть в неверном темпе и тем совершенно искажал ее. В общем, я вынес мало нового из общения с этим человеком, да и он, при своей замкнутости, не извлек из нашего знакомства никакой серьезной пользы. Это скоро и сказалось при сочинении текста для «Геновевы». Мой пример оказал на него лишь внешнее влияние, выразившееся в том, что и он нашел удобным самому написать либретто. Правда, он однажды пригласил меня прослушать текст, скомбинированный по Хеббелю и Тику, но когда, побуждаемый искренней заботой об успехе его труда, я стал указывать на крупные

недостатки и предложил необходимые изменения, я убедился, как трудно иметь дело с этим странным человеком. Он позволял мне только восторгаться, всякая же попытка критиковать плод его вдохновения задевала его, и он отклонял ее с негодованием. С этим пришлось примириться.

187

Директор картинной галереи Шнорр. Знаменитый ваятель Хэнель. Ритшель. Страстные споры с Земпером

В следующую затем зиму Хиллер сильно расширил образованный им «кружок». Теперь «кружок» вырос в замкнутое общество, собиравшееся еженедельно в особом кабинете, в ресторане *Engel*[122] на Постплац. Из Мюнхена был приглашен в Дрезден на пост директора картинной галереи знаменитый Юлиус Шнорр. Его мы почтили торжественным обедом. Я смотрел его огромные картоны, очень мне импонировавшие своими размерами, своим содержанием, передающим интересные моменты старонемецкой истории. Я слушал разговоры о «Мюнхенской школе», о Шнорре как ее руководителе, и у меня мутилось в голове при мысли о том, чего мы могли бы достичь, если бы такие колоссы немецкого искусства протянули друг другу руку. Поражали меня внешность Шнорра и его речь. Плаксивый тон школьного учителя как-то не вязался в моем представлении с его волнующими картонами.

Но мне казалось большим счастьем, что в субботу вечером и он пришел в ресторан *Engel*. Он знал древненемецкие саги, одни названия которых, упоминаемые за столом, хорошо меня настраивали. Здесь же был и знаменитый ваятель Хэнель, к колоссальному таланту которого мне внушили особое уважение, хотя в этом случае я должен

---

[122] «Ангел» (*нем.*).

был больше полагаться на чужой авторитет, чем на собственное суждение. Его поведение и манеры я очень скоро признал аффектированными. Он охотно говорил об искусстве, выражал взгляды и суждения, о которых трудно было сказать, есть ли в них какое-нибудь содержание. Часто мне казалось, что передо мной хвастун-филистер. Лишь после того как мой «многолетний» друг Пехт, тоже на некоторое время обосновавшийся в Дрездене, разъяснил мне определенно и ясно значение Хэнеля как художника, я оставил все тайные опасения и стал просто наслаждаться его творениями.

Прямой его противоположностью являлся среди нас Ритшель: с трудом мог я представить себе скульптора в этом болезненном, бледном, слезливо-боязливом человеке. Но справившись приблизительно с таким же недоумением по отношению к Шнорру, в котором почти невозможно было почувствовать выдающегося живописца, я легче мог уже сойтись с Ритшелем, тем более что не усмотрел в нем никакой аффектации, а его душевность и нежная теплота привлекали меня к нему все более и более. С его стороны я впервые встретил очень сочувственное, даже окрыляющее отношение ко мне как дирижеру.

Несмотря на внешнюю сплоченность нашего разросшегося кружка, между нами не существовало никакой внутренней связи, и всегда казалось, что мы не ставим друг друга ни во что. Так, например, когда Хиллер аранжировал ряд оркестровых концертов, друзья дали в честь его обед, за которым с риторическим пафосом исчислялись и высоко оценивались его заслуги. Но когда частным образом среди его друзей я затевал о нем разговор, то никогда не слышал ни одного теплого слова о его трудах и всегда, напротив, встречал только выражения какого-то недоумения, сопровождаемые глубокомысленным пожатием плеч. Скоро прекратились и прославленные концерты. Никто

даже мельком не заговаривал на наших вечерних собраниях о творениях собиравшихся здесь мастеров. Обнаружилось, что никто вообще не знал, что тут следует делать.

Только тогда, когда в нашем обществе появился Земпер, все пришло в такое оживление, что Ритшель при искреннем своем интересе к кружку был страшно напуган и взволнован воцарявшейся несдержанностью, особенно в страстных столкновениях между мной и Земпером. Мы продолжали исходить из того, что я и он — антагонисты: он считал меня представителем средневековых католических тенденций, на которые и обрушивался с истинной яростью. С большим трудом удалось мне убедить его, что меня интересует собственно немецкая старина, что я с любовью изучаю идеальное содержание древнегерманских мифов. С того момента как мы коснулись вопроса о язычестве, и я проявил восторг перед героическим эпосом, Земпер стал положительно другим человеком. Общий и серьезный интерес связал нас настолько, что мы оказались изолированными от остального общества.

Однако на наших вечерах происходили и живые столкновения: причина здесь лежала не в одной только исступленной любви Земпера к абсолютному противоречию, но и в том, что он чувствовал себя среди всего этого общества чужим. Сплошь и рядом он высказывал парадоксы, рассчитанные лишь на то, чтобы вызвать противоречие. Но я ясно видел, что среди всех присутствующих только мы одни относились к задеваемым темам со страстным интересом. Другие охотно оставили бы их в покое.

188

Гуцков. Применение музыки к мелодраматическим эффектам

Последней тенденции держался и Гуцков, часто посещавший наши вечера. Он был вызван главной дирекцией в Дрезден в качестве драматурга. Несколько его драм

прошли в последнее время с большим успехом: *Zopf und Schwert*[123], *Das Urbild des Tartuffe*[124] и *Uriel Acosta*[125] освежили драматический репертуар и придали ему много блеску. Дрезденский театр во главе с Гуцковом, с одной стороны, и со мной, в опере, с другой — открывал новую эру. Доброй воли в управлении делами было достаточно.

Лично мне было жаль, что на место Гуцкова не удалось пригласить моего старого друга Лаубе. Лаубе тоже много занимался драматической литературой. Еще в Париже я заметил, что он прилежно изучал Скриба, стремясь усвоить его ловкость, его умение писать для сцены, без чего вся немецкая драматическая литература обречена на бесплодие. Он был убежден, что в совершенстве справился в своей комедии «Рококо» с этой стороной дела. Теперь он брался любой материал обработать для сцены с подобающим эффектом. Тем не менее Лаубе с особенным старанием выбирал подходящие темы, причем, к посрамлению его теории, имели успех лишь те пьесы, в которых ставились проблемы на злобу дня, в которых говорились со сцены *меткие* слова.

Эти «злобы дня» определялись текущей политикой. Необходимо было так или иначе, в популярной форме вводить в пьесу что-нибудь о «немецком единстве» или о «немецком либерализме». Все такие эффекты были рассчитаны на немецкую публику, на абонентов нашего королевского театра. Чтобы их удовлетворить, необходимо было все это подносить в ловкой и забавной обработке, именно так, как это делают новейшие французские водевилисты. Я смотрел такие пьесы Лаубе не без удовольствия, тем более что сам он, довольно часто приезжая

[123] «Плеть и меч» (1844) (*нем.*).

[124] «Прообраз Тартюфа» (1847) (*нем.*).

[125] «Уриэль Акоста» (1846) (*нем.*).

в Дрезден на постановку своих комедий, нисколько не скрывал своих тенденций и был далек от мысли выдавать себя за действительного поэта.

Кроме того, не только в композиции своих вещей, но и в руководстве их постановкой он проявлял большую опытность и почти огненную энергию. Если бы он получил приглашение на место, занятое Гуцковым (а надежда на это ему была подана), он оказал бы дрезденскому театру большие услуги. Отдали предпочтение Гуцкову, несмотря на его очевидную неспособность к практическому ведению дела. Обнаружилось, что даже в своих наиболее удачных произведениях это был умелый литератор, не больше: непосредственно вслед за эффектными пьесами он выпускал в свет такие скучные вещи, что повергал всех в недоумение. Казалось, что он сам не сознает, какая разница между теми и другими. Однако именно эти черты чистокровного литератора окружали Гуцкова в глазах многих ореолом писательской значительности, и когда фон Люттихау отдал ему предпочтение перед Лаубе, он руководствовался больше обаянием имени, чем соображениями театральной пользы. Ему казалось, что этим актом он служит высшим культурным интересам.

Сознание полной неспособности Гуцкова вести театральное дело сделало меня противником его приглашения, и я откровенно высказал свои соображения фон Люттихау. Этот разговор, очень вероятно, и послужил началом разрыва между нами. Я горько жаловался ему на легкомыслие тех, которые самовольно и неразумно распоряжаются такими дорогостоящими художественными учреждениями, как немецкие придворные театры. Желая избегнуть неизбежной при таких обстоятельствах путаницы в ведении оперы, я решительно протестовал против вмешательства Гуцкова в эту область. Мои протесты были приняты в соображение, и сам Гуцков был избавлен от несомненного посрамления.

В результате между мной и Гуцковым установилось известное недоверие. Лично я охотно сделал бы все, чтобы изменить эти отношения к лучшему. На наших вечерах я пытался найти способ как-нибудь подойти к нему и расшевелить этого угрюмого чудака с низкой шеей, втянуть его в разговор. Но из осторожности и недоверия он не поддавался и сохранял суровую сосредоточенность. Однажды у нас вышла с ним дискуссия по поводу высказанного им пожелания. Он хотел, чтобы в пьесе его «Уриэль Акоста», в той именно сцене, где герой отрекается от своих мнимо-кощунственных взглядов, это отречение сопровождалось мелодраматическим аккомпанементом оркестра. Когда я услышал это намеренно тихое тремоло, разлившееся в особенно мечтательных аккордах, я нашел всю затею абсурдной как в музыкальном, так и в драматическом отношении. На эту тему, как и вообще о применении музыки к мелодраматическим эффектам, я заговорил с Гуцковым на одном из наших вечеров и изложил свой взгляд с точки зрения высоких принципов искусства, как я их понимал. Все мои принципиальные соображения он выслушал молча, с угрюмым недоверием и, выслушав, заявил, что в своих музыкальных притязаниях я захожу слишком далеко. Он не понимал, каким образом может пострадать достоинство музыки, если ее в небольших дозах преподносить в драме: ведь в операх поэзия сплошь и рядом уродуется ради музыки. Что же касается практической точки зрения, то драматургу не приходится быть чересчур разборчивым. Трудно всякий раз обеспечить артисту эффектный финал. А так как уйти со сцены без аплодисментов всегда крайне неприятно, особенно для главного актера, то в такие моменты можно использовать отвлекающий внимание шум в оркестре как чрезвычайно удобное прикрытие. Все это он говорил вполне серьезно. Больше мне не о чем было толковать с этим человеком.

189

Бертольд Ауэрбах. Зеленая куртка и охотничья шапка. Аффектации швабского мужика

Скоро я совершенно порвал с художниками, музыкантами и прочими жрецами искусства, членами нашего ферейна[126]. И все же именно к этому времени относится мое довольно близкое знакомство с Бертольдом Ауэрбахом. Еще Альвина Фромман с оживлением говорила мне о его деревенских рассказах. Она говорила, что эти очерки, скромные, непритязательные, какими она их считала, произвели в известных ей берлинских кругах очень освежающее впечатление, совершенно такое, как если бы в пропахший парфюмом будуар (с ним сравнивали царившую в то время литературу) через открытое окно ворвался свежий лесной воздух. Я прочел эти быстро прославившиеся «Шварцвальдские деревенские рассказы», и мне понравились особый местный аромат анекдотов из народной жизни, их содержание и тон.

Так как Дрезден в то время становился средоточием наших литературных и художественных знаменитостей, то сюда прибыл и Ауэрбах и на некоторое время поселился у своего друга Хиллера (для последнего это был лишний повод держать возле себя еще одну признанную знаменитость). Невысокого роста, коренастый еврейский деревенский парень, за какового он себя охотно выдавал, Ауэрбах производил весьма выгодное впечатление. Зеленая куртка и в особенности, зеленая охотничья шапка, хитро рассчитанные, как я впоследствии убедился, на совершенно особый эффект, гармонировали с его ролью народного поэта, автора швабских деревенских рассказов. Готфрид Келлер

[126] Verein — «союз, общество» (*нем.*).

рассказывал мне в Цюрихе, что когда Ауэрбах заинтересовался им, то стал его поучать, как можно создать рекламу своим литературным произведениям, как разменять их на деньги. С этой целью он прежде всего посоветовал ему завести себе такие же куртку и шапку: раз он тоже не отличается ни красотой, ни стройностью, то лучше всего придать себе несколько странный, грубоватый вид. Он лихо надвинул ему шапку набекрень.

Но пока я еще ничего не знал об аффектированности Ауэрбаха. Он так хорошо усвоил себе народный тон и поведение, что казалось странным, как со всеми этими своими особенностями он может хорошо себя чувствовать в совершенно ему чуждой среде. Однако он был здесь как у себя дома. Грубоватый, простосердечный, истый сын природы в своей зеленой куртке, он выслушал лесть избранного общества, показывая при этом письма к нему великого герцога Веймарского и свои ответы на них, обо всем выражая суждения с точки зрения швабского мужика, что ему, между прочим, очень шло.

190

Еврей, который сердечно и искренно говорил о своем еврействе. Мировая история как проблема прославления иудаизма. Патетическая декламация. Через много лет. Соприкосновение с лицами, имеющими вес в мире искусства. Текст «Лоэнгрина»

Лично меня привлекало к нему одно особое обстоятельство: в нем я впервые встретил еврея, который сердечно и искренне говорил о своем еврействе. По-видимому, он даже стремился парализовать всякие на этот счет выходки благодушным к ним отношением. Было трогательно слышать, как рассказывал он о своих детских годах. В ту пору он был единственным немцем, прочитавшим всю клопштоковскую «Мессиаду». Тайно увлекшись однажды

в своей деревенской хижине этой книгой, он опоздал в школу, и когда пришел туда, учитель встретил его словами: «Ты, проклятый жиденок, где ты опять делал гешефт?» Такие случаи заставляли его много страдать и много думать, но не озлобили его, и он даже от души жалел своих грубых мучителей. Все это подкупало в его пользу.

Однако с течением времени я заметил, что он совершенно не выходит из круга подобных представлений и идей и что, по-видимому, вся мировая история рисовалась ему как проблема прославления еврейства. Однажды я доверчиво и добродушно заговорил с ним на эту тему. Я советовал ему оставить в покое весь этот еврейский вопрос: существуют ведь и другие точки зрения для суждения о мире. Вся наивность вдруг у него пропала, и он впал в не совсем, как мне казалось, искренний, плаксиво-экстатический тон. Он стал заявлять, что не может этого сделать, что с еврейством связано для него слишком много ему особенно дорогого. Впоследствии я вспомнил этот внезапный взрыв энтузиазма, когда услышал, что Ауэрбах несколько раз заключал браки с еврейками, что браки эти особенного счастья ему не принесли, если не считать состояния, которое он таким путем себе составил. Через много лет, когда я его снова увидел в Цюрихе, даже внешность его изменилась к худшему: это был обыкновенный грязный еврей. Прежняя живость выродилась в обычное еврейское беспокойство. Когда он говорил, ему, очевидно, было жаль, что он тратит слова на ветер, а не печатает их в газете.

Но в то время мне все-таки льстило теплое внимание Ауэрбаха к моим художественно-артистическим планам, хотя это участие и носило еврейско-швабский характер. Этому содействовало совершенно новое для меня сознание, что лица глубоко образованные, с весом и значением, интересуются мной как художником, что меня признают,

что со мной считаются. Успех «Риенци» не вывел меня из рядов узко театральной популярности, но давшийся мне с несравненно большими усилиями успех «Тангейзера» привел меня в соприкосновение с лицами, значительно расширившими мой кругозор. Однако близкое общение с ними показало мне ничтожество и пошлость тех сфер искусства и литературы, которые считаются высокими и одухотворенными. Связи этой зимы, сложившиеся во время первой постановки «Тангейзера», не осчастливили меня, но и не отвлекли от моих главных задач. Сутолока и шум, вызванные усилиями Хиллера, все ничтожество которого я скоро ясно понял, властно погнали меня в уединение, к творчеству. Только здесь я мог отдохнуть от беспокойства, от мучительных волнений, которые причинил мне «Тангейзер».

Уже через несколько недель после первого представления «Тангейзера» я закончил текст «Лоэнгрина». В ноябре я прочел его моим близким друзьям, а затем и в «кружке» Хиллера. Мои стихи хвалили, находили «эффектными». Даже Шуман был с этим вполне согласен. Но он не понимал музыкальной формы, в которую я хотел облечь произведение, потому что не видел тех моментов, с которыми можно было бы связать определенные музыкальные номера. Шутя, я прочитал несколько мест из либретто, придав им вид законченных арий и каватин, и он с улыбкой признал себя побежденным.

191

Глубокая критика трагических моментов «Лоэнгрина». «Штар неправ, Лоэнгрин прав»

Более серьезного внимания заслуживали некоторые глубокие замечания относительно трагических моментов, намеченных в моей теме, тонко и осторожно сделанные

мне Франком. Он находил, что Лоэнгрин не должен покидать Эльзу из желания наказать ее. Такая развязка оскорбляла слушателя. Он соглашался, что в самой саге это — момент действительно высокопоэтический и очень характерный, но в драме он находил его невыразительным, не соответствующим ни трагической концепции произведения, ни драматической правде. Было бы лучше, если бы Лоэнгрин под впечатлением измены Эльзы, продиктованной любовью, погибал на сцене, на наших глазах. Но раз это невозможно, необходимо выдвинуть какой-нибудь особо могущественный мотив, который удержал бы Лоэнгрина, помешал бы ему удалиться.

О такого рода комбинациях я, конечно, и слышать не хотел. Я стал раздумывать, как выйти из затруднения, как избежать ужасного расставания и все-таки дать Лоэнгрину уйти. Мне казалось, что я нашел выход в следующем: Лоэнгрин уходит, но не один, а с Эльзой. Эльза тоже удаляется из мира для покаяния. Такая комбинация показалась моему другу удовлетворительной. Желая проверить свои сомнения, я попросил г-жу фон Люттихау прочесть мои стихи и высказать свое мнение о поставленной Франком дилемме. Она ответила кратким письмом, в котором отозвалась с похвалой о моих стихах, о спорном же пункте высказалась очень решительно, заявив, что Франк, должно быть, совершенно лишен поэтического чутья, если не понимает, что «Лоэнгрин» должен закончиться именно так, а не как-нибудь иначе. У меня отлегло от сердца. Я показал письмо Франку. Краснея от стыда и желая оправдаться, он вступил с г-жой фон Люттихау в интересную переписку. Переписки этой я не читал, но результатом было то, что в «Лоэнгрине» все было оставлено по-старому.

Впоследствии, как это ни странно, я снова поддался колебаниям как раз по этому же поводу. Адольф Штар высказал с большей настойчивостью те же соображения,

что Франк. Это совпадение двух мнений меня поразило. Под наплывом настроений, имевших мало общего с тем, что переживалось во время написания «Лоэнгрина», я невольно поддался слабости и в наскоро составленном письме к Штару почти вполне согласился с его соображениями. Я не знал, что причинил этим глубокое огорчение Листу, занявшему по отношению к Штару в этом вопросе такую же позицию, какую раньше г-жа фон Люттихау заняла по отношению к Франку. К счастью, опасения моего великого друга, что я изменил самому себе, длились недолго. Не зная еще ничего об огорчении, которое я ему причинил, я через несколько дней, мучимый всем этим, принял твердое решение ничего не менять — вся нелепость колебаний в этом вопросе определилась для меня с полной ясностью. Я послал Листу из моего швейцарского убежища лаконичное заявление: «Штар неправ, Лоэнгрин — прав».

192

Критическая и поэтическая отделка стихов. История, саги и литература

На этот раз я ограничился поэтической и критической отделкой моих стихов. О том, чтобы приступить к музыкальной обработке их, я не мог пока и думать. Не хватало необходимого гармонического душевного спокойствия, которое всегда давалось мне с таким трудом, и чтобы добиться его, мне пришлось долго и упорно воевать с судьбой.

Испытанные разочарования при постановке «Тангейзера» отняли у меня всякую надежду на будущее. Было ясно, что моей новой опере суждено оставаться долгое время в репертуаре одного только Дрезденского театра, что на дальнейшее распространение ее рассчитывать пока нечего, раз даже с «Риенци» при его блестящем успехе мне этого достичь не удалось. Благодаря этому материальное

положение мое становилось безысходным, и катастрофа надвигалась самым неизбежным образом. Я готовился к ней и в то же время старался забыться, углубляясь, с одной стороны, в любимые занятия по истории, изучая саги и литературу, а с другой — отдаваясь без отдыха разным музыкальным предприятиям.

В немецком Средневековье я чувствовал себя теперь как дома. Относился я к занятиям, несмотря на недостаток филологических познаний, настолько серьезно, что с величайшим интересом штудировал, например, изданные Гриммом старонемецкие пословицы и поговорки. Так как результаты таких занятий не реализуются непосредственно на сцене, то многие никак не могли понять, зачем я, оперный композитор, углубляюсь в эти дебри. Кое-кто заметил потом, что связь их с поэтическим обликом «Лоэнгрина» очень заметна, но все-таки и это старались объяснить «счастливым выбором сюжета»: мне приписывали лишь особую ловкость его истолкования. Следуя моему примеру, многие потом брались за сюжеты из немецкого Средневековья и даже из скандинавского эпоса. Но из этого ничего путного не получалось. Может быть, я буду им теперь полезен, сказав, что они хорошо сделают, если тоже примутся за изучение поговорок, пословиц и тому подобных вещей. Когда Фердинанд Хиллер с гордостью взялся за сюжет из эпохи Гогенштауфенов, я забыл ему указать на те вспомогательные источники, которыми я тогда пользовался. Вещь ему не удалась, и теперь, узнав про это, он сочтет меня хитрецом, скрывшим от него первоосновы предмета.

193

Вздохи королевского саксонского капельмейстера

Из музыкальных предприятий главным в эту зиму была подготовлявшаяся с большой тщательностью к весеннему концерту в Вербное воскресенье постановка

Девятой симфонии Бетховена. По поводу этой постановки мне пришлось выдержать серьезную борьбу, сильно повлиявшую на весь дальнейший ход моего развития. События здесь сложились следующим образом. Королевской капелле представлялся один раз в году случай выступать самостоятельно, не считая ее участия в оперных спектаклях, и в церковной службе. В Вербное воскресенье капелла обыкновенно давала большой концерт в пользу пенсионной кассы — вдов и сирот. Для этой цели предоставляли в ее распоряжение так называемый старый оперный театр, где и исполнялась одна какая-нибудь оратория. Чтобы сделать эти концерты привлекательнее для публики, к оратории стали потом прибавлять какую-нибудь симфонию. Как я уже упомянул, мне пришлось однажды дирижировать на этих концертах «Пасторальной симфонией», а в другой раз «Сотворением мира» Гайдна, что доставило мне самому много наслаждения и, собственно, познакомило меня по-настоящему с этим произведением. Мы с Райсигером чередовались, и вот в Вербное воскресенье 1846 года была моя очередь дирижировать симфонией.

Мне страстно захотелось поставить Девятую симфонию. Чтобы оправдать этот выбор, я ухватился за внешний повод: великое произведение Бетховена было еще почти совсем незнакомо дрезденцам. Однако, когда старшины оркестра, заботившиеся исключительно об интересах пенсионного фонда, узнали об этом, их охватил ужас, и они обратились к генерал-интенданту фон Люттихау с просьбой повлиять на меня всей силой своего авторитета и заставить меня отказаться от своей идеи. Ссылались они при этом на то, что выбор Девятой симфонии гибельно отразится на интересах фонда, так как здесь она пользуется дурной славой, и публика на концерт не пойдет. Указывали еще на то, что много лет тому назад Девятая симфония ставилась на одном благотворительном концерте

под управлением Райсигера и что, по откровенному признанию самого дирижера, она форменно провалилась. Пришлось употребить всю свою энергию, пустить в ход все свое красноречие, чтобы победить сомнения нашего шефа.

С оркестровыми старшинами я должен был серьезно поссориться, так как я слышал, что они звонят по всему городу о моем легкомыслии. Чтобы пристыдить их за трусость, я решил чем-нибудь подготовить публику к постановке Девятой симфонии, вызвать сенсацию и обеспечить особенно сильный приток слушателей на концерт и денег в кассу. Предприятие это превратилось для меня в дело чести, ради успеха которого необходимо было напрячь все силы. Комитет жаловался на расходы, с которыми связано приобретение оркестровых партий, но я обошел это затруднение, взяв их в долг у Лейпцигского концертного общества.

Трудно передать словами, что я испытывал, когда вновь увидел таинственные страницы партитуры и стал прилежно изучать то самое творение, которое лично переписал целиком в дни моей ранней юности, и один вид которого повергал меня уже тогда в мистический экстаз! В Париже в смутную эпоху моей жизни я услышал три первых части этой симфонии в исполнении неподражаемого оркестра консерватории и сразу был какой-то чудесной силой вознесен над всеми чуждыми душе моей замешательствами. С этого момента определился плодотворный поворот в интимнейшей сфере моих стремлений. Впечатления ранней юности ожили во мне с властной силой, когда я впервые сознательно отнесся к тому, что тогда, в давно прошедшие времена, я видел только сквозь туман мистического чувства. С тех пор я многое пережил. В глубине души скопилось много горьких сомнений, и они жили там, как тайная мысль, как мучительный вопрос о своей судьбе, о своем призвании. То, в чем я сам себе не хотел

сознаться, было ощущение полной беспочвенности моей нынешней художественно-артистической деятельности, моего общественного положения, всей моей жизни в среде, где я чувствовал себя чужим, где передо мной не было никаких перспектив. Свое отчаяние я скрывал и от себя, и от самых близких людей. Но теперь, лицом к лицу с Девятой симфонией, оно вырвалось наружу вдохновенно и ярко.

Ни одно произведение величайшего мастера не в состоянии так потрясти душу ученика его, как потрясла мою душу эта симфония с первых ее тактов. Если б кто-нибудь подсмотрел, как, сидя перед раскрытой партитурой, я изучал ее и изыскивал приемы для наилучшего ее исполнения, он увидел бы, что все мое существо потрясается вздохами и рыданиями, и мог бы спросить с удивлением, прилично ли королевскому саксонскому капельмейстеру вести себя таким образом. К счастью, никто из достопочтенных старшин оркестра, ни их достойный капельмейстер Райсигер в те моменты меня не посещал. Не зашел даже столь авторитетный в классической музыке Фердинанд Хиллер.

194

Постановка Девятой симфонии Бетховена

Я начал с того, что составил нечто вроде программы, руководясь текстом к хорам этой симфонии. Эта программа должна была объяснить слушателям содержание симфонии и помочь им не критически, а *чувством* разобраться в ней. Программа, в тексте которой я использовал несколько отрывков из гётевского «Фауста», встретила одобрение не только в Дрездене, но впоследствии и во многих других местах. Кроме того, я анонимно воспользовался *Dresdener Anzeiger*[127], чтоб рядом кратких, но восторженных заметок возбудить интерес к творению, которое, как меня

[127] «Дрезденским вестником» (*нем.*).

уверяли, пользуется здесь дурной славой. Мои усилия увенчались даже и с материальной стороны полным успехом: не только доход превысил все прежние поступления, но оркестровые старшины и во все последующие годы, пока я оставался в Дрездене, неизменно ставили на своих концертах Девятую симфонию и всякий раз делали одинаково большие сборы.

Что касается самого исполнения симфонии, то я постарался облегчить оркестру выразительную передачу и нюансировку отдельных мест тем, что внес подробнейшие указания в партии всех инструментов. Кроме того, по зрелом размышлении я воспользовался обычным в таких случаях удвоенным составом духовых инструментов совершенно оригинальным образом. Обыкновенно им пользуются при исполнении больших симфонических произведений самым грубым способом, а именно при piano заставляют играть только половину из числа инструментов, а при *forte* — все. Я решил поступить иначе и поясню это примером. Во второй части симфонии есть одно место, где все струнные инструменты в тройной октаве ведут в унисон (сначала в тоне C-dur) ритмическую фигуру основной темы, но лишь как аккомпанемент ко второй теме, исполняемой деревянными духовыми с их слабым звуком. Так как для всего оркестра в партитуре показано *fortissimo,* то обыкновенно мелодия, исполняемая деревянными духовыми, заглушается струнными инструментами, причем настолько, что ее просто не слышно. Но раз я понял намерение автора, никакое буквоедство не могло помешать мне пожертвовать неверным знаком, чтобы спасти мысль, и потому я заставил струнные инструменты, пока они только аккомпанируют духовым, играть не fortissimo, а вполсилы. Таким образом, тема, выполняемая с возможной интенсивностью двойным составом деревянных духовых, в первый раз выделилась с полной выразительностью.

С целью добиться наибольшей определенности динамического эффекта оркестра, я подобным же образом поступал везде, где это представлялось рациональным. Я добивался того, чтобы всякое, самое трудное для понимания место в исполнении обращалось непосредственно к чувству всех слушателей. Издавна, например, бились дирижеры над *Fugato*[128] в $^6/_8$ после стиха: *Froh wie seine Sonnen fliegen*[129], в той части финала, которая обозначена *alla Marcia*[130]. Руководствуясь смыслом предшествующих строф, бодрых и как бы подготовляющих к борьбе и победе, я истолковал это *Fugato* как действительное выражение восторга борьбы и заставил оркестр провести его в пламенном темпе, с крайним напряжением всех сил.

На следующий день после концерта мне доставил полное удовлетворение музикдиректор Анакер из Фрейберга. Он навестил меня специально для того, чтобы покаяться: до сих пор он был одним из моих противников, теперь же самым решительным образом перешел в число моих сторонников. Его окончательно покорило, как он говорил, то, как было мной понято и передано это Fugato.

Большое внимание обратил я далее на необыкновенно трудный речитатив виолончелей и контрабасов в начале последней части, на то самое место, которое столько огорчений некогда доставило в Лейпциге моему приятелю Поленцу. Рассчитывая на наших превосходных контрабасистов, я решил во что бы то ни стало довести это место до полного совершенства. Я пожертвовал этим инструментам 12 особых репетиций и добился того, что речитатив выливался у них совершенно свободно, причем все оттенки, начиная от величайшей нежности и кончая величайшей энергией, передавались с увлекательной выразительностью.

---

128 «Наподобие фуги» (*ит.*).

129 «Как светила по орбите» (*нем.*).

130 «В темпе марша» (*ит.*).

С самого начала я понял, что увлечь симфонией толпу, а также сделать ее понятной, можно лишь при одном условии: необходимо с идеальной законченностью преодолеть необыкновенные трудности, представляемые хорами. Я видел ясно, что тут поставлены требования, которые могут быть выполнены лишь массой певцов, одинаково хорошо владевших голосами и поющих в едином вдохновенном порыве. Следовало, таким образом, обеспечить себя с этой стороны и собрать большой хор. Поэтому к нашему театральному хору, усиленному мягкозвучным составом Певческой академии Драйссига, я, несмотря на особые затруднения, привлек еще хор из гимназии Святого Креста с его прекрасными голосами мальчиков, а также приспособленный к церковному пению хор Дрезденской семинарии. Получился коллектив из 300 человек, и с помощью особых приемов я многочисленными репетициями старался довести его до настоящего экстаза. Так, мне удалось убедить басов, что знаменитое место *Seid umschlungen, Millionen*[131], как и другое *Bruder, u'berm Sternenzelt muss; ein lieber Vater wohnen*[132], надо не просто спеть, а выкрикнуть с напряженнейшим восторгом. Я сам пел с ними и вел их за собой с таким одушевлением, что наконец они заразились моим экстазом. И так продолжал я до тех пор, пока мой голос, первоначально выделявшийся из всего хора, не потонул в кипящем море звуков, потонул настолько, что я сам его больше не слышал.

Истинное удовлетворение доставило мне прекрасное исполнение речитатива баритонов: *O Freunde, nicht diese Tone*[133]. Здесь Миттервурцер благодаря установившемуся

---

131 «Обнимитесь, миллионы» (*нем.*).

132 «Там, над звёздною страной, — Бог, в любви пресуществлённый!» (*нем.*).

133 «Друзья, не надо этих звуков» (*нем.*).

между нами взаимному пониманию сумел это трудное, почти невыполнимое место провести с увлекательной выразительностью.

Сверх всего этого я хотел по-новому расположить оркестр, для чего необходимо было переделать самое помещение. Связанные с этим расходы пришлось, как это легко понять, покрывать из средств, изыскивание которых было сопряжено с особыми трудностями. Но я не отступал и добился того, что благодаря полному переустройству подиума мы могли сконцентрировать весь оркестр в середине, а хор расположить вокруг него амфитеатром на высоких сиденьях. Это чрезвычайно усиливало эффект хора и придавало тонко расчлененному оркестру в чисто симфонических частях необыкновенную полноту и силу экспрессии.

195

Генеральная репетиция

Уже на генеральной репетиции зал был переполнен. Райсигер повел себя необыкновенно глупо: он стал интриговать в публике против симфонии, указывая на ошибки, допущенные в ней Бетховеном. Гаде, напротив, дирижировавший концертами в Лейпцигском Гевандхаузе и нарочно приехавший оттуда, после генеральной репетиции сказал мне, что охотно уплатил бы двойную входную плату, чтобы еще раз прослушать речитатив басов. Хиллер нашел, что в модификациях темпа я зашел слишком далеко. Как он это понимал, обнаружилось впоследствии, когда он сам управлял оркестром при исполнении других талантливейших произведений. К этому я еще буду иметь случай вернуться.

Несомненно, во всяком случае, что успех превзошел всякие ожидания, и притом даже у не музыкантов. Филолог Кёхли подошел ко мне и сказал, что в первый раз сегодня слушал симфонию с неослабевающим интересом

и с полным пониманием. Все это укрепило во мне благодетельное сознание своих сил, своей способности добиться всего, чего я серьезно захотел бы, умения довести всякое дело до неизбежного успеха. Теперь следовало задуматься над тем, что же, собственно, мешает успеху моих собственных новых концепций. Для многих и доныне загадочная Девятая симфония удалась блестяще, а мой «Тангейзер» всякий раз, когда я его видел на сцене, убеждал меня, что надо еще открыть какое-то средство, чтобы обеспечить ему успех. Как это сделать? Это была тайна, с которой вся моя дальнейшая жизнь переплелась неразрывно.

Подойти вплотную к идеальной сути этого вопроса я теперь еще не мог. Чересчур реальное значение моего неуспеха стояло передо мной как страшная угроза. Нельзя было дольше откладывать: безотлагательно необходимо было принять меры, чтобы предотвратить катастрофу, грозившую полным крушением моего общественного положения.

196

Комический случай. Услуги ростовщиков. Ходатайство перед королем о ссуде

Один смешной случай предостерегающе напомнил мне об этом. Мой комиссионер, фиктивный издатель моих трех опер — «Риенци», «Летучего Голландца» и «Тангейзера», — чудаковатый придворный музыкальный поставщик К. Ф. Мезер, пригласил меня однажды для обсуждения наших конторских счетов в кабачок *Verderber*. Мы обменялись опасениями, как пройдет для нас предстоящая Пасхальная ярмарка: с успехом или, наоборот, без всякого успеха. Я подбадривал его и заказал наилучшего госотерна. Подали солидную бутылку. Я разлил вино по бокалам, мы чокнулись за счастливый исход ярмарки, глотнули — и, как сумасшедшие, завопили: нам подали по ошибке,

вместо вина, крепчайшую уксусную эссенцию. «Боже! — закричал Мезер. — Хуже ничего себе нельзя представить!» — «Да, — ответил я, — очевидно, нам придется кисло». С быстротой молнии стало для меня ясно, что искать спасения надо не в ярмарочных спекуляциях.

Необходимо было не только вернуть деньги, взятые с такими жертвами на издание моих опер, но и успокоить тревожные слухи, распространившиеся по городу благодаря тому, что я принужден был пользоваться услугами ростовщиков. Дело дошло до того, что даже расположенные ко мне люди, пришедшие на помощь в самом начале, когда я лишь обосновывался в Дрездене, стали проявлять большие опасения на мой счет. Тяжелое разочарование причинила мне Шрёдер-Девриент своей беспощадностью по отношению ко мне. Как я уже рассказывал, я занял у нее для оплаты старых долгов и для того, чтобы помочь в нужде Китцу, 1000 талеров. Теперь ревность к моей племяннице Иоганне, подозрение в том, что я нарочно перетянул ту в Дрезден, чтобы облегчить дирекции путь для отказа ей, великой артистке, — все это внушило обыкновенно столь великодушной женщине враждебное ко мне чувство, совершенно в театральном духе. Покидая дрезденскую сцену, она открыто заявила, что я помог выжить ее отсюда, и, забыв всю нашу былую дружбу, пренебрегая справедливостью, передала выданный ей вексель энергичному адвокату, который без всяких стеснений подал его к взысканию. Таким образом, я был вынужден все открыть фон Люттихау и просить его ходатайствовать перед королем о ссуде, которая помогла бы мне выйти из компрометирующего меня положения.

Мой шеф согласился поддержать перед королем мою просьбу. Необходимо было подсчитать сумму долгов. Тут обнаружилось, что помощь я могу получить лишь в виде ссуды из театрального пенсионного фонда за 5 % годовых и что в обеспечение я должен представить страховой полис.

Надо было, следовательно, застраховать свою жизнь, причем страховая премия составляла еще 3 % со всей суммы в год. Все это, естественно, заставило меня при подсчете долгов не упоминать вовсе о тех, которые я считал неугрожающими и которые я все еще надеялся покрыть из доходов с моих изданий. Но даже при этих условиях мне предстояло взять такую значительную сумму, что погашение ее должно было очень чувствительно урезать мое и без того скромное жалованье. Необходимость застраховаться доставила мне массу крайне неприятных хлопот. Пришлось несколько раз ездить в Лейпциг и бороться с положительно напугавшими меня сомнениями страхового общества относительно моего здоровья и вероятного долголетия. Мне казалось даже, что опасения такого рода со стороны лиц, бегло меня наблюдавших в этот период забот, волнений и страданий, не лишены были злорадства. Лишь благодаря содействию друга моего, д-ра Пузинелли, мне удалось добыть удовлетворительные отзывы о состоянии моего здоровья и совершить страхование с платой 3 % в год.

197

Луи Шпор

Последняя поездка в Лейпциг сочеталась с приятным для меня приглашением со стороны маститого мастера Луи Шпора посетить его. Приглашение это глубоко обрадовало меня, особенно потому что это был как бы шаг примирения между нами. Дело в том, что однажды Шпор, как он писал мне своевременно об этом, убедившись в успехе «Летучего Голландца» в Касселе и сам захваченный этим произведением, еще раз решил, несмотря на последние свои неудачи, выступить в качестве оперного драматического композитора. Он сочинил оперу «Крестоносцы» и послал ее в Дрезденский театр, рассчитывая, что я буду

энергично содействовать ее постановке. Рекомендуя оперу моему вниманию, он указывал, что в написании ее пошел по совершенно новому пути, что он стремился к отчетливой музыкально-драматической декламации, чему, конечно, особенно помог «превосходный сюжет». Когда же я действительно познакомился как с партитурой, так и с сюжетом, то с искренним испугом убедился, что все уверения старого маэстро были основаны на сплошном недоразумении. Энергично ратовать за постановку такой оперы я не мог, но избавиться от неловкого положения мне помогло то, что, во-первых, по господствовавшему у нас порядку капельмейстеру не предоставлялось права принимать или отвергать вещь, и, во-вторых, что проведение и постановка новой оперы были как раз на очереди Райсигера, старого, как он сам ранее величал себя, друга Шпора. Оказалось, к несчастью, что генеральная дирекция отослала оперу Шпору с коротким, сухим отказом, на что последний горько мне жаловался. Я сам был искренно возмущён, узнав об этом, и употребил все усилия, чтобы его успокоить и примирить. Что это мне удалось, доказывало теперь его приглашение. Он писал, что ему было бы крайне неприятно по пути на воды остановиться в Дрездене, но так как ему сердечно хотелось бы лично со мною познакомиться, то он и просит меня заехать к нему в Лейпциг, где он задержится на несколько дней.

Встреча с ним не прошла для меня бесследно. Это был крупный, стройный человек с благородной внешностью, с серьезным, уравновешенным темпераментом. Сущность всей его личности, непонимание новых музыкальных тенденций были связаны у него с решающими влияниями его ранней юности. Трогательно, как бы извиняясь, рассказывал он о том глубоком, на всю жизнь неизгладимом впечатлении, какое произвела на него тогда только что появившаяся

«Волшебная флейта» Моцарта. О моих стихах к «Лоэнгрину», которые я ему дал для прочтения, как и о том впечатлении, какое я лично на него произвел, он говорил в чрезвычайно теплых выражениях моему зятю Герману Брокгаузу, в доме которого мы однажды встретились и оживленно беседовали за обедом. Мы, кроме того, были вместе на превосходных музыкальных вечерах у музикдиректора Гауптмана и у Мендельсона, и один раз я слышал его игру на скрипке в его собственном квартете. Его спокойная фигура произвела на меня впечатление почти трогательного благородства. Впоследствии до меня дошло из источников, проверить которых я не мог, что «Тангейзер», когда Шпор услышал его в Касселе, привел его в мучительное замешательство. Он будто бы заявил: «Идти дальше за этим человеком я отказываюсь и вообще боюсь, что он сбился с прямого пути»

198

Отпуск на три месяца. Ганс фон Бюлов. Работа над «Лоэнгрином»

Чтобы оправиться от всех перенесенных огорчений и отдохнуть от забот, я испросил у дирекции отпуск на три месяца как особую милость и отправился в деревню, чтобы подышать свежим воздухом и накопить сил для новой работы. Я снял домик в деревне Гросс-Граупе, на полпути между Пильницем и началом Саксонской Швейцарии. Частые прогулки на Порсберг в близлежащий *Liebethaler Grund*[134], а также к более отдаленным укреплениям значительно успокоили мои издерганные нервы.

Когда я хотел приняться за первый набросок музыки «Лоэнгрина», мне до того мешали неотвязно звеневшие в ушах мотивы из «Вильгельма Телля» Россини, последней

[134] Либетальская долина.

оперы, которой я дирижировал, что я пришел в настоящее отчаянье. Наконец, я прибег к средству, оказавшемуся действительным: во время одной прогулки я стал энергично напевать по свежей памяти первую тему Девятой симфонии. Во время купания возле Пирны, куда я ходил почти каждый день к вечеру, чтобы освежиться, я вдруг услышал, как кто-то из купающихся насвистывает мотив хора пилигримов из «Тангейзера». Этот первый намек на возможную в будущем популярность моей оперы, проведение которой стоило мне в Дрездене таких усилий, произвел на меня удивительно сильное, не сравнимое ни с чем впечатление.

Иногда меня посещали друзья из Дрездена. Раз ко мне заехал в сопровождении Липинского шестнадцатилетний Ганс фон Бюлов, который еще раньше выражал большой интерес ко мне. Я оставался все время в обществе жены, а при далеких прогулках — в обществе одного только Пепса, моей собачки. В течение этого летнего отпуска, значительная часть которого ушла на неприятные деловые хлопоты и на укрепление здоровья, мне все-таки удалось набросать в самых общих чертах музыку ко всем трем актам «Лоэнгрина».

С этим багажом я в августе вернулся в Дрезден к своим капельмейстерским обязанностям, которые тяготили меня все сильнее и сильнее. Кроме того, я сейчас же опять окунулся в волны забот, только что как будто немного улегшиеся. Издание моих опер, на доходы с которого мне приходилось рассчитывать как на единственный шанс выпутаться из материальных тисков, требовало новых жертв. А так как малейший вычет из моих доходов, до крайности стесненных, грозил новыми горчайшими затруднениями, то у меня скоро опять опустились руки.

Единственное, что поддерживало меня, это энергичная работа над «Лоэнгрином». Здесь прибег я к приему, к которому с тех пор никогда более не обращался. А именно

я принялся за обработку третьего акта раньше других. К этому меня побудили перипетии с критикой всей концепции этого действия и его финала, о которых я говорил выше. Эта критика, да еще музыкальные мотивы из рассказа о Граале, заставили меня драматический момент третьего действия сделать как бы средоточием всей оперы. Вот почему я стремился прежде всего справиться с ним, прочно установить его. Однако мне пришлось, не закончив этого акта, допустить в работе долгий и многозначительный перерыв.

199

«Ифигения в Авлиде». Режиссерские функции. Жизненность драматического действия

Согласно прежде сделанному предложению, в эту зиму должна была состояться постановка глюковской «Ифигении в Авлиде». Этой опере уже ради ее сюжета я чувствовал себя обязанным отдать больше внимания и труда, чем «Армиде». Прежде всего, меня ужаснул перевод текста, приложенный к берлинской партитуре. Так как в партитуре инструментовка была проведена очень грубо, то я заставил дирекцию выписать старое парижское оригинальное ее издание. Начал я с исправления перевода, имея в виду исключительно одну цель: восстановить правильную декламацию, а потом, все сильнее заинтересовываясь, втянулся и в дальнейшую обработку самой партитуры. Текст я постарался освободить от налета французской слащавости в изображении любовных отношений между Ахиллом и Ифигенией. Затем я попытался изменить конец с его неизбежным «марьяжем» и согласовать его хотя бы отчасти с трагедией Еврипида. Рядом стоящие, не связанные между собой арии и хоры я ради живости драматического действия старался связать с помощью переходов, вводных и заключительных музыкальных фраз. При этом я принял все меры, чтобы тщательно скрыть участие постороннего

музыканта в самой фактуре произведения, пользуясь исключительно мелодиями самого Глюка. Лишь в третьем акте я был вынужден дать Ифигении и введенной мной в текст Артемиде ариозные речитативы собственного сочинения. Кроме того, я заново переработал всю инструментовку оперы с определенной целью: сохранив в неприкосновенности подлинник, сообщить ему большую выразительность. Только к концу года я освободился от этой кропотливой работы, и в следующем сезоне я мог перейти к неоконченному третьему акту «Лоэнгрина».

200

Режиссерские функции. Жизненность драматического действия. Салонные вечера в доме Хиллера. Греческая литература. «История немецкого драматического искусства» Эдуарда Девриента

С началом нового (1847) года я занялся самой постановкой «Ифигении», причем мне пришлось взять на себя и режиссерские функции. Даже декоратору и машинисту я принужден был давать указания. Приходилось изобретать способы органически связать между собой отдельные разрозненные сцены и сообщить всему ходу драматического действия некоторую жизненность. Во времена Глюка в Париже царило условное отношение к требованиям такого рода. Из всех исполнителей действительно порадовал меня лишь Миттервурцер в роли Агамемнона. Он вполне понял и усвоил мои указания и пояснения и умел выполнить свою задачу во всех отношениях прекрасно и увлекательно. Успех оперы превзошел все ожидания. Сама дирекция была так этим поражена, что по собственному почину на афише второго представления было напечатано: «в обработке» такого-то. Это обратило на меня внимание всей критики, и она воздала мне должное. Лишь обработка увертюры, единственной части Бетховен оперы,

знакомой этим господам по прежним тривиальным исполнениям, вызвала их энергичные нападки. Я в свое время подробно ответил на эту критику в особой статье «Увертюра Глюка к “Ифигении в Авлиде”» и здесь замечу только, что музыкант, высказавший при этом случае чрезвычайно странные взгляды, был не кто иной, как Фердинанд Хиллер.

В ту зиму продолжались периодические собрания различных представителей искусства в Дрездене, теперь принявшие характер салонных вечеров в доме Хиллера. Все это он делал, по-видимому, с определенной целью: обеспечить себе славу выдающейся в искусстве величины. Из людей богатых, любящих музыку, во главе с банкиром Каскелем, он основал общество по организации абонементных концертов. Так как рассчитывать на услуги Королевской капеллы ему нельзя было, то из городских и военных музыкантов он организовал оркестр, с помощью которого при большом труде достигал очень солидных результатов. Исполнением музыкальных творений из области новой музыки, до сих пор в Дрездене незнакомых, он даже меня заставил посещать его концерты.

Но большую публику он старался привлечь, приглашая к участию известных певиц (к сожалению, Женни Линд ему отказала) и виртуозов (между ними я слышал еще очень тогда молодого Иоахима). Чего он стоил сам как музыкант, об этом свидетельствовало его толкование некоторых мне хорошо знакомых произведений. *Triple-Konzert*[135] Себастьяна Баха был им проведен, к моему величайшему изумлению, плоско и равнодушно. С *Tempo di Minuetto* Восьмой симфонии Бетховена случилось нечто еще более удивительное, чем прежде с Райсигером и Мендельсоном. Я обещал ему прийти на концерт, где он должен был

---

[135] «Тройной концерт» (*нем.*).

дирижировать симфонией, если в свою очередь он обещает не уродовать третьей части нелепым темпом. Он самым положительным образом уверил меня, что вполне со мной согласен. Каков же был мой испуг, когда при исполнении этой части он опять взял тот же знакомый темп вальса! Когда я стал его упрекать, он с улыбкой извинился и сослался на то, что как раз к началу третьей части что-то отвлекло его внимание и он забыл о своем обещании. В благодарность за организацию этих концертов (они, кстати, в следующем году не повторились) Хиллера чествовали обедом, в котором с удовольствием принял участие и я.

В этих кругах удивлялись, что я часто и очень охотно разговаривал не о музыке, а о греческой литературе и истории. Дело в том, что в то время я все больше и больше уединялся и углублялся в свои занятия историей и литературой. Я стремился заполнить пробел, образовавшийся в этой важнейшей области гуманитарного развития со времени моих ранних юношеских лет. Мои скитания и вся моя жизнь отвлекли меня от систематических занятий, столь отвечающим моим духовным потребностям, и удалили меня от этого несравненного источника образования. Чтобы подготовиться серьезно к занятиям древней и средневековой историей Германии, я начал снова с изучения Древней Греции. Занятия так увлекли меня, что я оживлялся в беседе лишь тогда, когда разговор задевал эту тему. Изредка попадался собеседник, охотно меня слушавший.

Но в общем чаще всего со мной беседовали о театре, так как после постановки глюковской «Ифигении» обо мне сложилось мнение как о настоящем специалисте по этой части. Особенно высоко ценил меня человек, в котором и я, со своей стороны, имел все основания предполагать знания столь же серьезные, как и мои собственные. То был Эдуард Девриент, бывший главный режиссер драматического театра, лишь недавно принужденный отказаться от своего

места из-за интриг собственного брата Эмиля. Нас сблизили как одинаковые взгляды на жалкое и совершенно безнадежное положение театрального дела, гибнущего под управлением невежественных придворных интендантов, так и его полное согласие со мной в толковании «Ифигении», которое он имел случай сопоставить с совершенно нелепым берлинским исполнением. Долгое время он был единственным человеком, с кем я мог серьезно и подробно обсуждать действительные нужды театра и средства к предотвращению его окончательного упадка.

Благодаря своему более продолжительному и специальному опыту он многое мне осветил и многому меня научил. Так, он помог мне избавиться от предрассудка, будто от привлечения к участию в театре чисто литературных сил можно ждать какой-нибудь пользы, и укрепил меня, напротив, в убеждении, что лишь собственными усилиями самих драматических артистов может быть найден путь к его возрождению. Эдуард Девриент, человек сухой и как артист очень мало даровитый, ранее почти вовсе не интересовал меня. Но теперь, вплоть до того момента как я покинул Дрезден, между нами установились прочные дружеские отношения. Очень ценный труд его «История немецкого театрального искусства», над которым он тогда работал и который выпускал по частям, заключал в себе много новых и поучительных указаний на вещи, которые живо меня интересовали и которые стали понятными только благодаря ему.

201

Отказ от прямого участия в делах дирекции театра. План реорганизации музыкальной капеллы. Напряженные отношения с Люттихау

Наконец мне удалось снова приняться за прерванную работу по композиции третьего действия «Лоэнгрина»,

и к концу зимы я ее закончил. В Вербное воскресенье я опять дирижировал, по общему желанию и к моему большому внутреннему удовлетворению, Девятой симфонией. Летнего отпуска я на этот раз не брал, а чтобы создать условия, благоприятные для дальнейшей работы над «Лоэнгрином», я переменил квартиру.

Бывший дворец Марколини с очень большим садом, разбитым в старофранцузском стиле, дворец, расположенный в одном из отдаленных, малонаселенных углов Дрездена, был куплен городским управлением и частью сдавался внаем. Скульптор Хэнель, которого я знал давно (он подарил мне, между прочим, в знак уважения и сочувствия полный гипсовый слепок с барельефа к памятнику Бетховена, изображающий Симфонию и служивший украшением моей квартиры), снял помещение в нижнем этаже бокового флигеля дворца под квартиру для себя и мастерскую. За очень недорогую цену снял и я на Пасхе обширное помещение над ним с правом пользоваться большим садом со множеством роскошных деревьев. Таким образом я не только обеспечил себе спокойствие и тишину, столь необходимые для моей духовной и телесной «диеты», но еще значительно сократил расходы — обстоятельство, далеко не лишнее при моих нынешних делах. Скоро благодаря Минне, сумевшей дешево и рационально обставить квартиру, мы устроились очень уютно. Лишь одно неудобство давало себя знать: удаленность от театра. После напряженных занятий на репетициях и утомительных спектаклей это было чувствительно, в особенности, когда не хватало денег на фиакр. Но необыкновенно удачное лето и связанное с ним прекрасное настроение помогли мне мириться с этим неудобством.

В это время я решительно отказался от всякого прямого участия в делах дирекции театра, и серьезных оснований у меня для этого было достаточно. Каждая попытка

с моей стороны упорядочить царивший хаотический произвол и рационально направить художественно-артистические силы терпела крушение именно потому, что я подходил к этим вопросам и стремился их обосновать с принципиальной стороны. В течение истекшей зимы я, не жалея труда, занялся составлением плана реорганизации музыкальной Капеллы и доказал, что целесообразным распределением средств, отпускаемых на ее содержание, можно достичь не только большей справедливости в вознаграждении ее членов, но и поднять продуктивность составляющих Капеллу художественных сил. Этот рост продуктивности должен был отразиться в одинаковой мере и на подъеме артистического духа, и на общей экономике. Для этого я предлагал преобразовать Капеллу в свободное концертное общество. Целью такого общества должно быть ознакомление дрезденской публики с рядом музыкальных произведений, мало ей известных, в образцовом исполнении.

При этом я указал на необходимость и возможность при наличии благоприятных внешних условий озаботиться постройкой в Дрездене специального концертного здания, какого в нем до сих пор еще не было. Затем я начал подробнейшим образом обсуждать этот вопрос с архитекторами и строителям и подрядчиками. Был разработан план воздвигнуть прекрасное здание на месте той части знаменитого Цвингера, которая расположена vis-a-vis с Остра-Аллее и представляет собой сарай для театральных декораций и придворной прачечной. Кроме намеченного большого концертного зала, оно должно было заключать в себе и другие помещения, сдаваемые под разные общественные учреждения. С практической стороны такое предприятие было тем более исполнимо, что старшины Фонда вдов членов Капеллы охотно соглашались верно и выгодно поместить находящиеся в их распоряжении капиталы.

Однако после продолжительного обсуждения вопроса предложения мои потерпели у главной дирекции полное фиаско. Меня благодарили за труд и сказали коротко, что дирекция считает более удобным оставить все по-старому. Такая же судьба неизбежно постигала всякую мою попытку разобраться в царившей здесь утомительной и вредной для дела бестолковщине. Так как, кроме того, я знаю по опыту, что всякое постановление, принятое и обсужденное на утомительнейших заседаниях дирекции, например, относительно репертуара, может быть отменено с вредом для дела по капризу любого певца или по соображениям какого-нибудь эконома, то я и отказался после бесконечных споров и объяснений по этому поводу от бесплодной возни и решительно уклонился от дальнейшего участия в каких бы то ни было разработках администрации. Оставил я за собой лишь занятия на репетициях и руководство постановками предоставленных мне опер. На этой почве между мной и фон Люттихау создались напряженные отношения, но он принужден был мириться с моим решением, так как, ввиду постоянного успеха «Тангейзера» и «Риенци», дававших, особенно во время летнего наплыва публики в Дрезден, неизменно полные сборы, со мной приходилось считаться.

202

«Дидаскалии» Дройзена. Яков Гримм. «Исследования» Монэ. Окончание «Лоэнгрина»

При этих условиях, наслаждаясь почти полным одиночеством в новой уютной квартире, я провел все лето в атмосфере, необыкновенно благоприятствовавшей работе по окончанию «Лоэнгрина». Я чувствовал себя веселым и бодрым, как никогда, и этому способствовали, кроме творческой работы над новым произведением, усиленные

занятия, о которых я говорил выше. Впервые со зрелыми чувствами и зрелым умом я занялся Эсхилом. Благодаря «Дидаскалиям» Дройзена предо мной с необыкновенной отчетливостью встало все опьяняющее величие афинских трагических спектаклей. Я представлял себе, какое потрясающее впечатление произвела бы на меня «Орестея», облеченная в форму такого сценического представления. «Агамемнон» потряс меня благородством своей концепции. До конца «Эвменид» я чувствовал себя унесенным в иной мир, и с тех пор я не мог примириться с современной литературой. Все мои мысли о значении драмы, о значении театра решительным образом сложились под влиянием именно этих впечатлений. От трагиков я перешел к Аристофану.

Проведя дообеденное время за работой над «Лоэнгрином», я забирался потом, в разгар жаркого летнего дня, в густую тень кустов и там предавался бурному, неописуемому восторгу при чтении Аристофана. «Птицы» дали мне возможность понять распущенную натуру этого «любимца харит», как он сам смело и уверенно называл себя, во всей ее глубине и полноте. Одновременно я вникал в чудесные диалоги Платона, и знакомство с «Пиром» открыло мне глаза на неизреченную прелесть эллинской жизни. Я чувствовал себя в Афинах более ориентированным, чем среди житейских условий современного мира.

Идя сознательно к поставленной цели, я не придерживался обычных путей при изучении истории литературы. От сочинений Дройзена (история Александра и эллинизма), затем Нибура и Гиббона, я перешел к немецким древностям, при изучении которых руководился трудами все более и более мне близкого Якоба Гримма. Я стремился проникнуть в мир немецкого героического эпоса глубже, чем это возможно, при помощи одного чтения

«Нибелунгов» и «Книги героев» Особенно увлекали меня необыкновенно богатые «Исследования» Моне, хотя строгие специалисты с некоторой подозрительностью относятся к смелым выводам их автора. Здесь я встретил указание на северные источники и, насколько мог, не зная достаточно хорошо языка северян, старался познакомиться с «Эддой» и крупными отрывками северного героического эпоса, изложенными в прозаической форме. У меня стало складываться определенное отношение к этому материалу, причем большую роль тут играло, кроме «Исследований» Моне, чтение *Wälsungasaga*. Уже и ранее возникавшее во мне убеждение относительно идеальной, глубинной связи всех народных сказаний постепенно росло и достигло выразительности пластического образа, управлявшего всеми моими дальнейшими работами.

Все это теснилось и зрело во мне, пока весь исполненный чистой радости я заканчивал оба первые — теперь последние — акта «Лоэнгрина». Этим трудом я как бы расставался со своим прошлым и намечал новый мир в будущем, мир, рисовавшийся мне все более и более в виде убежища от пошлости современного театра и оперы. Здоровье мое крепло в этой атмосфере, настроение создалось ровное и веселое, и я надолго забыл об угнетавших меня заботах и тревогах. Ежедневно совершал я уединенные прогулки, чаще всего в сопровождении одного лишь Пепса. Шел я обыкновенно к ближайшим возвышенностям, от берегов Эльбы к *Plauenschergrund* и на этих прогулках сосредоточенно и продуктивно думал и творил. Иногда мне случалось весело, как никогда прежде, проводить время с друзьями и знакомыми, охотно посещавшими сад Марколини и делившими со мной скромный ужин. Часто заставали они меня на вершине какого-нибудь высокого дерева или на спине всегда сухого Нептуна, центральной фигуре

колоссальной скульптурной группы из времен угасшего величия этих мест, расположенной в самой середине бассейна. И мы с удовольствием бродили взад и вперед по широкому тротуару, проложенному для Наполеона в роковой 1813 год, когда он здесь устроил свою главную квартиру.

В последний летний месяц, в августе, я совершенно закончил «Лоэнгрина». Случилось это как раз вовремя. Я чувствовал, что мои житейские обстоятельства властно требуют от меня серьезных шагов. Пришлось вплотную заняться вопросом о распространении моих опер в Германии.

203

Посвящение «Тангейзера» Фридриху Вильгельму IV. Королевский музыкальный интендант граф Редерн. План атаки на Берлин. Рекомендация саксонской королевы. Хлопоты о личном свидании с королем. Тик.

Неизменный и все усиливавшийся успех «Тангейзера» в Дрездене не отразился ничем в других городах, не привел в движение ничего. Единственное место, откуда, может быть, удалось бы повлиять на немецкие театры, был Берлин, и на него обратил я теперь все свое внимание.

То, что я слышал о вкусах прусского короля, Фридриха Вильгельма IV, внушало надежду на его поддержку, если б удалось заинтересовать его своими новыми трудами и тенденциями, выставив их в настоящем свете. Я решил посвятить ему «Тангейзера». Чтобы получить его согласие на такое посвящение, я обратился к королевскому придворному музыкальному интенданту, графу Редерну. От него пришло извещение, что король принимает посвящение только тех произведений, с которыми познакомился лично в постановке их на сцене, а так как берлинский театр отклонил «Тангейзера», найдя его «чересчур эпическим»,

то, по его мнению, если я продолжаю настаивать на своем намерении, мне остается лишь один обходной путь: аранжировать оперу для военного оркестра, чтобы король на каком-нибудь параде мог услышать ее. Этого было достаточно, чтобы заставить меня принять другой план атаки на Берлин.

Следовало начать в Берлине с той самой оперы, которая обеспечила мне сразу успех в Дрездене. С этой целью я выхлопотал аудиенцию у саксонской королевы, сестры прусской королевы, чтобы через ее посредство добиться приказа прусского короля о постановке «Риенци», пользующегося сочувствием саксонского двора. Это удалось. Скоро я получил от старого друга Кюстнера извещение, что «Риенци» назначен к немедленной постановке на сцене Берлинского придворного театра, вместе с приглашением прибыть лично для дирижирования оперой. Так как Кюстнер в угоду старому другу Лахнеру и его опере «Катарина Корнаро» сильно поднял тантьему, то в случае успеха «Риенци» я мог рассчитывать значительно поправить свои дела.

Однако прежде всего я искал возможности лично представиться королю и прочесть ему стихи «Лоэнгрина». По многим признакам я мог льстить себя надеждой вызвать сочувствие к направлению моего творчества, и если бы это оправдалось, я намеревался просить его отдать распоряжение поставить «Лоэнгрина» на придворной сцене. Весь мой опыт с прежними операми, успех которых в Дрездене оставался тайной для всей остальной Германии, указывал на необходимость во что бы то ни стало сделать центром моих будущих композиторских выступлений Берлин, единственный город, до некоторой степени влиявший на все другие города. Успех рекомендации саксонской королевы подавал надежду на то, что я добьюсь столь важной для меня аудиенции у прусского короля, и, идя навстречу

счастливому повороту в моей судьбе, я бодро отправился в Берлин в сентябре месяце для руководства репетициями «Риенци», который сам по себе, в сущности, мало интересовал меня теперь.

Берлин сначала произвел на меня такое же впечатление, как в тот раз, когда после долгого отсутствия я вновь приехал туда по пути из Парижа. Профессор Вердер, мой друг со времени постановки «Летучего Голландца», нанял для меня квартиру на знаменитом Жандарменмаркте[136], и с трудом я мог себе представить, что нахожусь в центре Германии. Скоро я погрузился в заботы, связанные с моими новыми планами. Официальных отношений, необходимых для достижения моей цели, я завязал достаточно. Обнаружилось, однако, что на «Риенци» смотрят как на рядовую капельмейстерскую оперу, т. е. что артисты, предоставленные в мое распоряжение, работают лишь по обязанности, что ни на что сверх этого рассчитывать не приходится. Все распоряжения, касающиеся репетиций, были отменены, как только Женни Линд согласилась приехать на гастроли и надолго завладела королевской оперой.

Во время наступившего, таким образом, промедления я направил всю энергию на достижение главной цели: добиться личного свидания с королем. Для этого я решил использовать старые отношения с королевским музыкальным интендантом, графом Редерном. Граф принял меня чрезвычайно милостиво, пригласил к обеду и просил заехать вечером. Самым сердечным образом обсуждали мы с ним необходимые шаги, причем он обещал деятельную поддержку. Кроме того, я несколько раз ездил в Сан-Суси представиться королеве и выразить ей свою благодарность. Однако дальше разговоров с ее приближенными дамами дело не шло. Мне посоветовали обратиться к тайному

---

[136] Жандармский рынок.

кабинет-советнику прусского короля, господину Иллуару. Этот господин отнесся, по-видимому, очень серьезно к моей просьбе и обещал сделать все от него зависящее, чтобы добиться для меня аудиенции у короля. Он спросил, в чем, собственно, заключается моя цель. Я объяснил, что хочу получить разрешение прочитать королю «Лоэнгрина». В одно из моих многочисленных посещений он выразил мысль, что было бы полезно заручиться одобрением Тика. Я имел возможность ответить Иллуару, что уже дружески беседовал по этому поводу со старым поэтом, жившим в качестве королевского пенсионера недалеко от Потсдама.

Дело в том, что, как я вспомнил, госпожа фон Люттихау несколько лет тому назад, когда мы обсуждали спорный момент в «Лоэнгрине», послала своему знаменитому другу эти стихи и стихи «Тангейзера». Когда я теперь заехал к Тику, он встретил меня как старого доброго знакомого. Продолжительная беседа с ним имела для меня большое значение. Тик, правда, несколько скомпрометировал себя той легкостью, с какой раздавал направо и налево свои рекомендации, но лично меня искренне обрадовал пыл, с каким он ратовал против нашей новейшей драматической литературы, построенной целиком на подражании современным французам. Его жалобы по поводу гибели истинно поэтических мотивов звучали необыкновенно элегично. Стихи мои к «Лоэнгрину» он одобрил вполне, со всех точек зрения. Не понимал он при этом только одного: как все это связать с музыкой, если не изменить в корне всей основы современной оперы. Особенно сомнительными казались ему такие моменты, как сцена между Ортрудой и Фридрихом в начале второго действия. Мне представлялось, что я действительно увлек его и заинтересовал, когда стал объяснять, как разрешить эти кажущиеся трудности, и излагать свои мысли относительно идеальной музыкальной драмы вообще. Однако,

чем дальше я шел вперед, тем грустнее он становился, особенно когда я высказал надежду на то, что мне удастся вызвать сочувствие к этим идеям и планам у короля. Он не сомневался, что король выслушает меня со вниманием и тепло отнесется к моим идеям, но предупреждал, что, если я не хочу печальнейших разочарований, не следует рассчитывать ни малейшим образом на практический результат. «Чего вы можете ждать от человека, который сегодня увлекается глюковской "Ифигенией в Тавриде", а завтра "Лукрецией Борджиа" Доницетти»?

Сначала разговор с Тиком представлял для меня интерес отвлеченной беседы, и лишь потом я постиг весь грустный смысл его слов. Он охотно, с радостью обещал дать о моих стихах самый лестный отзыв и отпустил очень ласково, с искренними, но неуверенными пожеланиями успеха.

204

Постановка «Риенци» в Берлине. Отчаянные усилия

Сколько я ни хлопотал, приглашения к королю получить не удавалось. А так как после гастролей Женни Линд репетиции «Риенци» пошли своим чередом, я решил прекратить хлопоты до постановки оперы, так как рассчитывал, что король непременно будет присутствовать на премьере по его повелению поставленного произведения, и что таким образом я все же сделаю шаг вперед к достижению главной цели. Однако, чем больше мы приближались к этому представлению, тем меньше я надеялся на успех. Для роли Риенци в мое распоряжение был предоставлен тенор ниже всякой посредственности, певец, совершенно лишенный всякого таланта. Это был очень порядочный, благожелательный человек, которого с самой лучшей стороны рекомендовал мне хозяин ресторана,

где я обедал, небезызвестный Майнхард. Долго и много я с ним возился и в результате, как это часто бывало со мной, создал себе некоторую иллюзию на его счет. Но когда дело дошло до генеральной репетиции, я убедился, что жестоко ошибся. Обнаружилось, что инсценировка, хор, балет и второстепенные партии — все было обставлено прекрасно, но что главная фигура, вокруг которой группируется все, стушевывается, сходит на нет. Когда в конце октября опера была поставлена, публика вынесла точно такое же впечатление. Ввиду недурно выполненных нескольких блестящих ансамблей, в особенности благодаря роли Адриано в превосходной игре г-жи Кёстер, успех с внешней стороны можно было считать недурным.

Но сам я лучше других чувствовал, что, по существу, дело проиграно, что публика услышала в моей опере лишь несущественное, не увидела внутренней ее сути. Берлинские рецензенты немедленно начали поход против моего произведения, всеми знакомыми мне средствами добиваясь полного его провала, и после второй постановки, которой я руководил лично, мне оставалось лишь спросить себя, к чему же, собственно, привели мои отчаянные усилия.

205

Новые знакомства. Речи о возрождении оперного жанра

С этим вопросом я обратился к немногим близким друзьям и почерпнул здесь кое-что поучительное. К великому утешению, среди них оказался Герман Франк, недавно поселившийся в Берлине. Редкие часы провел я в течение двух печальных месяцев в его обществе. Обыкновенно мы беседовали о предметах, никакого отношения к театру не имеющих, и мне почти стыдно было надоедать ему своими жалобами, тем более что речь шла о хлопотах

по поводу произведения, с которым я связывал один лишь практический театральный интерес. Он же со своей стороны винил меня за то, что я выбрал «Риенци», с которым обращался к заурядной театральной публике, а не «Тангейзера», чтобы создать в Берлине круг людей, сочувствующих моим высшим целям. Он утверждал, что характером своих новых работ я мог бы оживить интерес к театру среди таких слоев публики, которые совсем отвернулись от него и потеряли веру в его благородные стремления.

Речи Вердера звучали безнадежно, когда он говорил о положении искусства в Берлине. Относительно публики он предупреждал, что в театре, на постановке новой, незнакомой вещи, во всех рядах, от первого до последнего, сидят люди с одним определенным настроением: найти только скверное, только то, к чему можно придраться. Не уговаривая меня отказаться от моих планов, он тем не менее считал своим долгом предупредить меня, что ждать чего-нибудь от высших сфер в Берлине легкомысленно. Когда, зная его особое отношение к королю, я спросил, как, по его мнению, он посмотрит на мои стремления облагородить оперу, Вердер, выслушав мою длинную речь, ответил: «Король скажет: поговорите со Ставинским!» Это был не кто иной, как оперный режиссер, толстый, ленивый, погрязший в самой пошлой рутине.

И все, что я узнавал, носило такой же обескураживающий характер. Я посетил Бернхарда Маркса, который живо интересовался мной с тех пор, как познакомился с «Летучим Голландцем». Принял он меня с чрезвычайной предупредительностью. Этот человек, который, по его прежним творениям и музыкальной критике, рисовался мне энергичным, пламенным борцом, теперь опустился, что особенно бросалось в глаза рядом с его молодой женой, сиявшей лучезарной красотой. Из разговора с ним я

узнал, что и он окончательно отказался от всяких попыток добиться чего бы то ни было у здешних могущественных сфер в интересовавшей нас обоих области. По личному многолетнему опыту он убедился в невероятной пустоте признанных там авторитетов.

Он рассказал мне действительно странную историю: однажды он обратился к королю с просьбой оказать поддержку в основании музыкальной школы. Король на особой аудиенции выслушал его с величайшим интересом и вошел даже во все малейшие подробности проекта, так что Маркс был вполне уверен в успехе своего ходатайства. С этого момента его стали, однако, отсылать от одного человека к другому, и все его усилия остались бесплодными, пока, наконец, он не попал на аудиенцию к одному генералу. Этот генерал так же, как тогда король, с необычайной теплотой вошел в обсуждение всех деталей проекта. «И вот, — закончил свой поучительный рассказ Маркс, — на этом все и кончилось, больше никаких известий о деле я не получал».

Однажды я узнал, что графиня Росси, знаменитая Генриетта Зонтаг, находится в Берлине, что она помнит меня еще с дрезденских времен и ждет моего визита. Запутанные обстоятельства вернули ее к артистической деятельности, и она живет довольно уединенно. У этой женщины нашлось на что пожаловаться. Она сетовала на полную невозможность добиться чего-нибудь в здешних власть имущих сферах, если речь идет об искусстве. По ее мнению, король находит особенное удовольствие в том, чтобы театр управлялся дурно. Никогда он не оспаривает никаких делаемых в этом смысле указаний, но никогда не утверждает предложений, направленных на улучшение театрального дела. Ей хотелось познакомиться с чем-нибудь из моих новых работ. Я передал ей стихи «Лоэнгрина» для прочтения. В следующий утренний визит она сообщила

мне, что намерена пригласить меня на музыкальный вечер, устраиваемый для великого герцога Мекленбург-Стрелицкого. Затем она вернула мне рукопись, заявив, что стихи ей очень понравились, что при чтении ей казалось, будто перед ней наяву танцуют маленькие эльфы и феи. Все поведение этой милой воспитанной женщины, ее теплый, дружеский тон внушили мне искреннее сердечное к ней отношение. Но тут она внезапно окатила меня холодной водой. Я сейчас же удалился и больше с графиней Росси не встречался. О приглашении на вечер никаких напоминаний от нее я не получил.

Пожелал со мной познакомиться и господин Коссак. В сколько-нибудь тесное общение с ним я не вступал, но в общем он произвел на меня настолько приятное впечатление, что я и ему дал прочесть стихи «Лоэнгрина». Однажды я застал его в комнате, только что вымытой горячей водой, полной тяжелых испарений, от которых у него заболела голова, да и мне было нелегко. Он измерил меня странным, томным взглядом, когда возвращал рукопись, и искренним тоном заявил, что нашел стихи «очень милыми».

Несколько интереснее оказались мои беседы с И. Труном За хорошим стаканом вина, которым я угостил его у «Люттера и Вегнера», куда я иногда заходил ради воспоминаний о Гофмане, он слушал со все возрастающим интересом мои речи о возможном возрождении и развитии оперного жанра. Он поделился со мной многими остроумными и тонкими наблюдениями. В особенности его живой, подвижный характер производил на меня приятное впечатление. Как рецензент, он примкнул после постановки «Риенци» к тем, кто меня высмеивал и унижал. Лишь один старый бедный друг мой Гайяр ратовал за меня, честно, но бессильно. Его маленькая музыкальная торговля шла плохо, газета прекратила существование: быть мне полезным он мог только в мелочах. К сожалению, я узнал,

что он является автором многих чрезвычайно подозрительных драматических сочинений, одобрения которым он у меня искал, и что, кроме того, он болен чахоткой и близок к смерти. Таким образом, наши редкие свидания при всей его верности и преданности оставляли во мне крайне грустное, угнетающее впечатление.

206

Рухнувшее упование

Так как я все усилия прилагал к тому, чтобы добиться успеха и тем поправить свои обстоятельства, для чего вел в Берлине всю кампанию, мне самому внутренне неприятную, я пересилил себя и зашел даже к Рельштабу. На «Летучего Голландца» он особенно нападал за его «туманность» и «бесформенность», и поэтому я указал ему на ясность и отчетливость «Риенци» как на достоинство. Ему льстило, что я считаюсь с его мнением, но это не помешало ему заявить наперед, что он твердо убежден в безнадежности всяких попыток после Глюка дать что-нибудь новое в опере. В лучшем случае это будут только одни «надутые претензии». Все в Берлине были охвачены пессимизмом, настроением, которое, как я узнал, сумел победить один только Мейербер.

Этого моего былого доброжелателя, который и теперь еще выдавал себя за такового, я тоже застал в Берлине. Немедленно по приезде я посетил его, но уже в передней я нашел лакея за укладкой хозяйских чемоданов и узнал, что Мейербер собирается уезжать. Сам Мейербер подтвердил это и выразил сожаление, что ничем не может быть мне полезным. Тут же, следовательно, мне пришлось с ним и проститься. Но затем, когда я считал его давно уехавшим, я с удивлением узнал, что господин Мейербер, нигде не показываясь, все еще в Берлине: его даже видели на одной

из репетиций «Риенци». Что это значит, мне стало ясно лишь впоследствии. На этот счет среди посвященных было распространено определенное объяснение, которое хорошо истолковал мне в свое время Эдуард фон Бюлов, отец моего молодого друга [Ганса фон Бюлова].

Капельмейстер Тауберт в самый разгар моего пребывания в Берлине сообщил мне, что упорно циркулирует слух, исходящий из достоверных источников, будто я добиваюсь места дирижера в здешнем Придворном театре и будто у меня есть данные надеяться на успех, с исключительными притом полномочиями. О том, кто именно распространил этот слух, я не имел ни малейшего представления. Мне пришлось самым определенным образом заявить Тауберту, с которым надо было сохранить хорошие отношения, что я не только не хлопочу об этом месте, но что даже, если бы мне его предложили, решительно отказался бы от него, так как иначе все мои старания быть представленным королю окончательно потерпели бы крушение.

Главным посредником в этом деле оставался все тот же граф Редерн, и, хотя мне указывали на его подозрительную солидарность с Мейербером, он был со мной так благосклонно предупредителен, что я все более и более убеждался в его честности. В конце концов я перенес свои упования на первое представление «Риенци». «Не может быть, — думал я, — чтобы король не посетил оперы, поставленной по его повелению». С этим я связывал дальнейшие надежды. И вот граф Редерн с выражением искреннего отчаяния объявил мне, что в день первого представления король будет на охоте. Снова я стал просить его приложить все усилия, чтобы обеспечить присутствие короля хотя бы на втором представлении. Тогда мой неутомимый покровитель объявил мне, что по какой-то причине, ему неведомой, Его Величество решительно

не собирается пойти навстречу моему желанию. Из высочайших уст ему пришлось выслушать следующие слова: «Ах, вы опять с вашим Риенци!»

207

Приятная неожиданность. Крест над всеми берлинскими надеждами. Смерть Мендельсона

На втором представлении со мной случилась приятная неожиданность. После эффектного второго действия публика, видимо, намеревалась меня вызвать, и, чтобы в случае надобности быть готовым, я прошел из оркестра в вестибюль. Здесь я поскользнулся на гладком паркете и едва не упал и не расшибся. Но меня поддержала чья-то сильная рука. Это был принц Прусский, вышедший в эту минуту из своей ложи. Он тут же пригласил меня пройти к его супруге, желавшей со мной познакомиться. Она только теперь прибыла в Берлин. Оперу мою она слышала впервые и отозвалась о ней с большой похвалой, но обо мне и характере моего творчества слышала много лестного от нашего общего друга, Альвины Фромман. Беседа наша, в которой принц принимал живое участие, произвела на меня необыкновенно приятное и утешительное впечатление.

Оказалось, что моя старая подруга Альвина не только следила в Берлине с участием и заботливостью за ходом моей деятельности, но и прилагала все усилия, чтобы поддержать во мне надежду и бодрость. Я посещал Альвину почти каждый вечер, отдыхал в ее обществе от мелких повседневных интересов и уносил от нее новые силы для дальнейшей борьбы. Особенно радовали меня тот теплый интерес и серьезное понимание, которые проявила она и наш общий друг Вердер к главному предмету моих стремлений, к «Лоэнгрину». С тех пор как прибыла в Берлин ее покровительница, принцесса Прусская, она надеялась

ближе узнать через нее, как обстоят мои дела у короля, хотя она меня и предупреждала, что эта высокая особа в немилости, что влиять на монарха она может только косвенно, при исключительных условиях.

И действительно, до самого моего отъезда, которого уже нельзя было оттягивать, я с этой стороны никаких новых сведений не получал.

Так как, однако, мне предложено было дирижировать третьим представлением «Риенци» и так как оставалась еще надежда на внезапное приглашение явиться в Сан-Суси, я назначил определенный день, крайний срок, до которого можно было идти навстречу судьбе. Но миновал и этот срок, и пришлось поставить крест на всех берлинских надеждах.

Скверно было у меня на душе, когда я принял окончательное решение. Кажется, никогда еще холодная и сырая погода и вечно серое небо не угнетали меня до такой степени, как в эти последние недели. Все, что совершалось за чертой моих личных дел, приводило меня в глубочайшее уныние. Беседы с Германом Франком о текущих общественных и политических делах, о неудачном объединенном ландтаге, созванном прусским королем, носили мрачный, безнадежный характер. Я принадлежал к числу тех, которые сначала придавали этому предприятию большое значение, но когда такой осведомленный человек, как Франк, познакомил меня с фактической стороной дела, я ужаснулся. То, что он мне спокойно и объективно рассказал о прусском правительстве, якобы представляющем цвет немецкой интеллигенции, о хваленном порядке и твердости в управлении государственными делами, настолько не вязалось с общим благоприятным на этот счет мнением и так основательно разрушало всякие надежды на будущее, что я совершенно растерялся. Очевидно, отсюда нечего было ждать чего-нибудь в смысле

устроения Германии. В Дрездене, влача жалкое существование, я мог еще надеяться, рассчитывать на известное внимание к моим планам со стороны прусского короля. Но теперь, когда передо мной вскрылась ужасающая пустота, царящая повсюду, я отчетливо увидел истинное положение вещей.

Ужасное настроение, в котором я находился, помешало мне реагировать на известие о смерти Мендельсона. Об этом сообщил мне с убитым видом граф Редерн, когда я пришел к нему с прощальным визитом. Я тогда совершенно не оценил значения этого события, и поразило меня лишь, насколько близко принял к сердцу печальное известие фон Редерн. Во всяком случае это событие избавило его от неприятной обязанности при нашем тягостном расставании войти сколько-нибудь обстоятельно в мое личное положение, к которому он ранее проявлял столько сочувствия.

208

Угнетенное настроение

Оставалось отдать себе отчет в том, насколько успех в Берлине соответствовал моим материальным жертвам. Я прожил там два месяца. Приехали жена и даже сестра Клара, обе привлеченные неизбежностью огромного успеха «Риенци». В результате же оказалось, что старый друг мой интендант Кюстнер даже не считал себя обязанным возместить понесенные мной расходы. Ссылками на нашу корреспонденцию он имел возможность доказать юридически неопровержимо, что им было высказано лишь «желание» моего содействия при постановке «Риенци» и что никакого «приглашения» с его стороны не было. Граф Редерн был так погружен в траур по Мендельсону, что это

уничтожало возможность просить его заняться моими столь низменными интересами. Мне не оставалось ничего другого, как принять благодеяния Кюстнера, предложившего авансом тантьему за три состоявшихся представления «Риенци».

В Дрездене были удивлены, когда я обратился туда с просьбой выслать часть моего жалованья: иначе развязаться с блестящим берлинским предприятием было невозможно. Когда мы с женой при отвратительной погоде ехали через пустынные поля Пруссии домой, я, казалось мне, дошел до крайнего предела отчаяния. Я испытывал такое угнетенное настроение, какого никогда не переживал. Вглядываясь молча из окна вагона в серый туман, я с удовольствием прислушивался к тому, как жена моя горячо диспутировала с каким-то коммивояжером о «новой опере "Риенци"». Он говорил о ней с развязным высокомерием. Горячо и страстно возражала она этому враждебно настроенному господину и, к великому своему торжеству, добилась признания, что он сам оперы не слышал, а судит по отзывам других и по газетным рецензиям. Жена моя серьезнейшим образом поставила ему на вид, что надо быть осторожнее, «так как нельзя знать, не пожалеешь ли об этом в будущем».

С этим единственным утешительным впечатлением прибыл я в Дрезден, где сейчас же сказались последствия всех моих берлинских злоключений. Это обнаружилось в том снисходительном сожалении, которое сквозило в поведении моих знакомых. Газеты успели уже сообщить о полном провале моей оперы. Особенно мучительно было сохранять при этом веселый вид и уверять всех, что дело обстоит не так скверно, и что, напротив, Берлин доставил мне много отрадных минут.

209

Опера Фердинанда Хиллера. Иллюзия успеха

Все эти непривычные усилия создали для меня странное положение, аналогичное тому, в каком находился Фердинанд Хиллер. Приблизительно в те же два месяца он поставил свою новую оперу «Конрадин фон Гогенштауфен», выдержавшую три представления. Он скрывал от меня свое новое творение и был убежден, что ему удалось счастливо скомбинировать для дрезденской публики эффекты «Риенци» и «Тангейзера» как со стороны текста, так и со стороны музыки. При этом он надеялся обеспечить себе в мое отсутствие решительный успех тремя спектаклями. Когда я приехал в Дрезден, он был в Дюссельдорфе, куда был вызван в качестве концерт-директора. Оттуда он рекомендовал свою оперу моему вниманию, прося принять под свое покровительство и выражая сожаление, что не мог поручить мне руководство ее постановкой. Он признавал, что всем обязан в значительной степени прекрасной игре актеров, особенно моей племяннице Иоганне, исполнявшей роль Конрадина. В свою очередь она тоже заявила мне, что опера Хиллера без ее участия не имела бы такого выдающегося успеха.

Я был чрезвычайно заинтересован, и мне очень хотелось познакомиться с этим произведением, с его постановкой, что мне и удалось, когда по отъезде Хиллера с семейством из Дрездена было объявлено четвертое представление. Войдя к началу увертюры в зал, чтобы занять свое место в партере, я был положительно поражен: он был пуст, лишь кое-где виднелись отдельные посетители. На противоположном конце занятой мной скамьи я заметил автора либретто, кроткого художника Рейнеке. Мы без помехи придвинулись друг к другу и стали беседовать о странной картине, которую здесь нашли. Я выслушал

скорбные жалобы на музыкальную обработку стихов. Каким образом сам Хиллер поддался заблуждению относительно успеха своей оперы ввиду ее несомненного провала, этого он объяснить не мог.

Лишь из другого источника я узнал, как это случилось. Госпожа Хиллер была родом из Польши, а в Дрездене жило много поляков, больших любителей театра, и они часто бывали в ее доме. Эти люди были на первом представлении и заразили своей живостью публику. Самим им, однако, опера настолько не понравилась, что на второе представление ни они, ни публика уже не явились. Успех произведения казался неопределенным. Тогда приложили все усилия, чтобы поставить оперу в третий раз в одно из воскресений, когда обыкновенно и без того театр бывает полон. И это удалось. Польская театральная аристократия со свойственным ей рыцарством по отношению к нуждающейся в поддержке супружеской паре, в салонах которой проводилось столько приятных вечеров, исполнила свой долг. Опять вызывали композитора. Все шло превосходно, и Хиллер на том основании, что третье представление является обычно решающим, как это было при «Тангейзере», счел успех своей оперы обеспеченным. Вся искусственность этого успеха обнаружилась на четвертом представлении, на котором я присутствовал: композитор уехал, и никто более не считал себя обязанным явиться в театр.

Моя племянница была пристыжена. Она говорила, что самое лучшее исполнение не в состоянии спасти такого скучного произведения. В театре мне удалось указать автору либретто на некоторые бросающиеся в глаза промахи и слабые места в самом сюжете. Тот написал Хиллеру, и я получил от последнего дружеское, теплое письмо, где он признавался, что был неправ, не спросив у меня в свое время совета. При этом он довольно прозрачно намекал

на то, что есть еще полная возможность изменить оперу по моим указаниям и что было бы большой заслугой спасти для репертуара столь хорошо задуманное и в своем роде значительное произведение. Этого, однако, не случилось.

210

Повышение оклада и отзыв Люттихау

Некоторое удовлетворение доставило мне известие из Берлина о двух новых постановках «Риенци»: спектакли прошли с большим успехом. Заслугу эту приписал себе капельмейстер Тауберт, ибо, как он сообщал, ему удалось особенно эффектно их провести. Тем не менее рассчитывать на прочный и доходный успех в Берлине не приходилось, и я был вынужден написать фон Люттихау, что для сохранения бодрости духа и работоспособности мне необходимо надеяться на повышение моего содержания. Ожидать сколько-нибудь значительного притока доходов извне или с моих неудачных издательских предприятий не было никаких оснований, а при урезанном мизерном окладе немыслимо существовать. Я стремился только к одному: чтобы меня сравняли с коллегой Райсигером, что и было с самого начала обещано.

Тут наступил момент, когда господин фон Люттихау мог дать почувствовать всю силу моей зависимости от него. После того как на личной аудиенции у саксонского короля я просил как о милости об умеренном повышении моего оклада, господин фон Люттихау обещал со своей стороны в случае запроса дать благоприятный обо мне отзыв. Как же был я поражен и глубоко пристыжен, когда он пригласил меня однажды для объявления резолюции, приложенной к его отзыву. В этом отзыве было сказано, что, переоценивая свой талант и прислушиваясь к нелепым

восхвалениям со стороны экзальтированных друзей (между ними была упомянута и госпожа фон Кённериц), я считаю себя вправе претендовать на такое же признание своих заслуг, какое приобрел Мейербер. Благодаря этому я до такой степени запутался в долгах, что являлось бы уместным совершенно уволить меня, если бы мое прилежание и кое-какие несомненные заслуги (как, например, по обработке глюковской «Ифигении») не побуждали дирекцию сохранить меня в виде опыта на моем посту. По этой причине дирекция считает все-таки возможным согласиться на улучшение моего материального положения. Далее я читать не мог и, совершенно онемев от изумления, вернул моему доброжелателю его бумагу. Фон Люттихау моментально заметил впечатление, произведенное ней, и стал успокаивать меня, указывая на то, что просьба моя уважена, что причитающиеся мне 300 талеров я могу в любую минуту получить из кассы. Я удалился молча, соображая, чем ответить на это издевательство. Идти за получением 300 талеров для меня было немыслимо.

211

Организация оркестровых концертов

Пока я изнывал под гнетом всевозможных неприятностей, пришло известие, что прусский король в ноябре посетит Дрезден, и назначен был, по его особому желанию, к постановке «Тангейзер». И действительно, он присутствовал на спектакле вместе с саксонской королевской фамилией и с видимым интересом следил за оперой от начала до конца. Мне рассказали, как он объяснил свое отсутствие на «Риенци»: он отказался слушать оперу в Берлине, так как дорожил своим впечатлением и был совершенно уверен, что она может быть исполнена в его театре только плохо. Как бы то ни было, это событие вернуло мне

душевное равновесие настолько, что я мог взять 300 талеров, в которых так нуждался.

По-видимому, господин фон Люттихау нашел для себя удобным вновь снискать мое доверие. Из всего его ничем не омраченного поведения я мог заключить, что этот нечуткий человек не сознавал даже, как глубоко он меня обидел. Он снова заговорил со мной об организации оркестровых концертов по ранее предложенному мной плану, но стал уговаривать согласиться, чтобы концерты эти исходили не от руководства оркестра, а от дирекции и исполнялись в театре. Я выговорил, чтобы доходы с этих концертов шли в пользу оркестра, и тогда охотно принялся за выполнение проекта. Сцена театра была снабжена особым разработанным мной приспособлением: весь оркестр помещался в глубине павильона, чем обеспечивался превосходный резонанс, и театр превращался в прекрасный концертный зал. В течение каждого зимнего сезона предполагалось давать шесть концертов. Так как мы начинали со второй половины зимы, то объявлен был абонемент на три концерта, и тотчас же все места были раскуплены. Все эти хлопоты доставляли мне удовольствие и в некоторой степени развлекли меня. Таким образом, 1848 год я встретил в бодром настроении.

В январе был дан первый из этих концертов, и уже одним необыкновенным составом программы я заслужил всеобщее одобрение. Я нашел, что такие концерты, если они претендуют на серьезное значение, отнюдь не должны быть похожи на обычные предприятия подобного рода, не должны составляться из пестрой смеси разнородных жанров музыки. На них должны чередоваться два серьезных музыкальных произведения различного характера. Между одной и другой симфонией я вставил в программу два номера вокальной музыки, которых нельзя было бы услышать при других условиях. И в этом заключался весь

концерт. После моцартовской симфонии (в D-dur) я удалил со сцены музыкантов и вывел на их место внушительный хор, исполнивший *Stabat Mater* Палестрины в моей тщательной обработке и восьмиголосый баховский мотет *Singet dem Herrn ein neues Lied*[137]. Затем оркестр снова занял свое место и исполнил в заключение бетховенскую *Synfonia Eroica*[138].

Успех концерта окрылил меня. В последнее время становилась особенно противной возня с нашим оперным репертуаром, на ведение которого я постепенно терял всякое влияние. Немалую роль здесь играли притязания моей племянницы, поддерживаемые Тихачеком, на главенствующее положение примадонны. Концерты открывали хоть некоторые перспективы деятельности в качестве дирижера. Ввиду того что по возвращении из Берлина я снова принялся за инструментовку «Лоэнгрина» и погрузился в полнейшее смирение, я надеялся идти навстречу будущему с полным спокойствием, как вдруг меня потрясло горестное известие.

212

Смерть матери

В начале февраля мне сообщили, что моя мать умерла. Я поспешил на похороны в Лейпциг и успел еще с глубоким волнением насладиться дивно-спокойным и кротким выражением ее лица. Последние долгие годы своей жизни, прежде столь деятельной и беспокойной, она провела в радостном отдыхе, сохраняя до конца дней почти детскую веселость. Умирая с улыбкой на просветленном лице, она воскликнула со смиренной кротостью: «Ах, как прекрасно! Как приятно! Как божественно! Заслужила ли я такой милости?» В резкое холодное утро мы опустили

---

[137] Пойте Господу песнь новую (*нем.*).

[138] «Героическую симфонию» (*нем.*).

гроб в землю. Когда мы бросили на крышку комья промерзлой земли вместо горсти легкого песку, грохот был так резок, что испугал меня. На обратном пути к зятю моему Герману Брокгаузу, где должна была собраться вся семья, меня провожал только один Генрих Лаубе, очень любивший матушку. Он выразил беспокойство по поводу моего необыкновенно измученного вида. Потом он проводил меня на вокзал, и здесь нашлись слова для выражения угнетавших нас обоих чувств: время, погрязшее в ничтожестве, убивало всякую благородную инициативу. На обратном пути в Дрезден меня охватило сознание полного одиночества. Со смертью матушки порвалась последняя кровная связь со всеми братьями и сестрами, живущими своими особыми интересами. Холодный и угрюмый, я вернулся к тому единственному, что могло меня одушевить и согреть: к обработке «Лоэнгрина», к изучению немецкой старины.

213

Близость политического переворота. Энтузиазм Рёкеля. Симфония Мендельсона

Так наступили последние дни февраля, которым суждено было потрясти Европу новой революцией. Среди знакомых я принадлежал к тем, которые меньше всего верили в близость и даже вообще в возможность мирового политического переворота. Первые мои впечатления от подобных событий связаны с Июльской революцией, происшедшей в дни моей юности, и с последовавшей за ней систематической продолжительной реакцией. С тех пор я познакомился с Парижем, со всеми чертами его общественного уклада, и мог ждать всего, кроме серьезного революционного движения. При мне Луи Филиппом были устроены *Forts détachés*, окружающие Париж кольцом.

Я хорошо изучил стратегическое распределение многочисленных, расположенных по всему городу, укрепленных сторожевых постов и был согласен с теми, которые считали, что отныне никакая попытка к поднятию народного восстания в Париже невозможна. И когда в конце минувшего года в Швейцарии вспыхнула война, а в начале следующего года удачная сицилийская революция заставила всех с напряжением следить за тем, как события эти отразятся в центре Франции, я оставался спокойным и безучастным к связанным с этими явлениями надеждам и опасениям.

Из французской столицы до нас доходили известия о все усиливающихся уличных волнениях, но в дебатах с Рёкелем я оспаривал их серьезное значение. Я сидел за своим дирижерским пультом на репетиции «Марты», когда во время паузы Рёкель с торжеством сообщил мне последние известия о бегстве Луи-Филиппа и об объявлении республики в Париже. Это не только удивило, но прямо поразило меня, хотя сомнение в серьезности событий вызвало на лице моем скептическую улыбку.

Волнение, однако, стало возрастать как вокруг меня, так и во мне самом. Наступили немецкие мартовские дни. Отовсюду приходили все более поразительные вести, и даже у нас, в Саксонии, стали организовываться депутации и всякого рода петиции, которым король долгое время противился, не оценивая по-настоящему начавшегося движения, действительного настроения в стране. В один из этих жутких и напряженных, как перед грозой, дней мы дали наш третий большой концерт, на котором, как и на двух предыдущих, присутствовали король и весь двор. Для начала концерта я выбрал симфонию Мендельсона (a-moll), в память покойного композитора. Это музыкальное произведение, даже в живом исполнении сохраняющее

расслабленно-тоскливый характер, удивительно совпало с общим настроением публики, чувствовавшей себя подавленной в присутствии короля. Я выразил сожаление в разговоре с концертмейстером Липинским по поводу неудачного состава программы, так как после этой симфонии ставилась Пятая симфония Бетховена, тоже в миноре. Этот нередко остроумный, эксцентричный поляк, насмешливо сверкнув глазами, утешил меня: «О, пусть только сыграют первые два такта c-moll-ной симфонии, и, уверяю вас, никто и не вспомнит, в каком тоне, *moll* или *dur*, написал свою симфонию Мендельсон». Перед вступлением этих «первых двух тактов» какой-то патриот из публики крикнул громким голосом «ура» в честь Его Величества, и «ура» это было восторженно подхвачено всей публикой. Липинский оказался совершенно прав: уже с первой фразы, полной бурного, страстного оживления, симфония зазвучала, как хвалебный гимн, как ураган, и увлекла всю публику с редкой силой. То был последний из организованных мной концертов, которым я дирижировал в Дрездене.

Вскоре вслед за этим наступил и неизбежный политический переворот. Король распустил свое министерство и составил новое, частью из либералов, частью из действительно энергичных друзей народа, которые немедленно приступили к принятию известных, везде одинаковых мер для установления демократического строя. Я был искренне тронут как этим исходом, так, в особенности, той сердечной радостью, с какой отнеслось к этому событию все население. Много я дал бы за то, чтобы как-нибудь приблизиться к королю и лично убедиться, отвечает ли он искренним доверием на сердечную любовь своего народа. Вечером город был торжественно иллюминирован. Король разъезжал по улицам в открытой коляске. С величайшим возбуждением следил я за его встречами с народными массами и даже иногда спешил бегом туда,

где, мне казалось, особенно необходимо было восторженной манифестацией обрадовать и утешить сердце монарха. Жена моя была поистине испугана, когда поздно ночью я вернулся домой совершенно обессиленный и охрипший от крика.

Венские и берлинские события со всеми их поразительными результатами коснулись меня только как интересные газетные новости. Созыв Франкфуртского парламента вместо распущенного Бундестага обвеял меня приятным холодком. Однако при всей их значительности эти тревоги не в состоянии были прервать моих строго распределенных ежедневных занятий. С чувством огромного, гордого самоудовлетворения я закончил в последние дни бурного марта партитуру «Лоэнгрина», разработав инструментовку для заключительной сцены исчезновения рыцаря Грааля в таинственных далях мистического мира.

В это же время однажды посетила меня молодая, вышедшая замуж в Бордо англичанка Джесси Лоссо в сопровождении восемнадцатилетнего Карла Риттера. Этот молодой человек, рожденный от немецких родителей в России, со всей своей семьей примыкал к тому кругу поселенцев с севера, которые надолго задерживались в Дрездене из-за доставляемых этим городом эстетических удовольствий. Я вспомнил, что принимал его у себя вскоре после первых представлений «Тангейзера»: он просил меня тогда сделать надпись на экземпляре партитуры, купленной в музыкальном магазине. Теперь я узнал, что этот экземпляр принадлежал именно госпоже, присутствовавшей тогда на спектакле. С величайшей робостью, в форме, мне до того совершенно незнакомой, молодая дама выразила мне свои восторженные чувства. Она очень сожалела, что принуждена по условиям семейной жизни покинуть любимый Дрезден и расстаться с семьей Риттер, которая тоже питает ко мне горячую преданность.

Когда эти новые молодые друзья ушли, меня охватило особенное настроение. После Альвины Фромман и Вердера, со времени «Летучего Голландца», впервые донесся до меня точно издали отзвук горячей симпатии, именно то, чего я никак не мог найти тут, вокруг себя. Молодого Риттера я просил навещать меня время от времени и сопровождать на прогулках. Но робость его была так велика, что я видел его у себя, насколько помню, очень редко. Вместе с Гансом фон Бюловом, студентом-юристом Лейпцигского университета, с которым он был в близких отношениях, он посетил меня всего несколько раз. Фон Бюлов, гораздо более общительный и разговорчивый, проявлял свою сердечную преданность с некоторой активностью и потому давал повод к ответным чувствам. У него, между прочим, я впервые заметил откровенное проявление охватившего всех политического энтузиазма: на его шляпе, как и на шляпе его отца, красовалась черно-красно-золотая кокарда.

214

Король и народные массы. Вена и Берлин. Джесси Лоссо

По окончании «Лоэнгрина» у меня оказалось достаточно досуга, чтобы несколько ближе вникнуть в ход событий. В Дрездене усиленно бродила общенемецкая идея, и надежда на ее торжество одушевляла все сердца. Не мог и я стоять в стороне от этого движения и воздерживаться от живого в нем участия. Правда, я был в вопросах политики достаточно вышколен старым другом Франком, чтобы многого не ждать от собравшегося немецкого парламента, но тем не менее общее настроение и сквозившая везде вера, что возвращение к старому более немыслимо, не могли не оказать и на меня известного влияния. Только вместо речей я хотел *дел*, и таких *дел*, в которых сказалась бы серьезная готовность вождей немецкого народа безвозвратно

порвать со старыми, чуждыми германскому духу тенденциями. Это вдохновило меня написать популярно-поэтическое воззвание к немецким князьям и народам, в котором я призывал к решительной войне с Россией. Оттуда шло давление на немецкую политику, на немецких монархов, вредное их народам. Одна строфа гласила:

Der alte Kampf ist's gegen Osten,
Der heute wiederkehrt:
Dem Volke soil das Schwert nicht rosten,
Das Freiheit sich begehrt[139].

Так как у меня лично не было никаких связей с политическими газетами и так как я узнал, что в Маннгейме, где довольно высоко вздымались политические волны, на вершине одной из них узрели как-то Бертольда Ауэрбаха, я послал ему стихотворение с просьбой сделать с ним, что он хочет. С тех пор я этого стихотворения больше не видел и ничего о нем не слыхал.

Во Франкфуртском парламенте происходили бесконечные прения, и никак нельзя было угадать, к чему приведут длинные речи бессильных людей. Тем временем известия из Вены произвели на меня сильное впечатление. В разных местах были уже сделаны в мае этого года попытки контрреволюции: в Неаполе эта попытка удалась, в Париже положение дел осталось неопределенным, и только в Вене народ во главе с прекрасно организованным Академическим легионом энергично и победоносно справился с реакцией. Я понимал, что в такого рода делах меньше значат ум и мудрость, чем действительная активность, согретая вдохновением, вызванная силой реальных

---

[139] Древняя война против Востока
Сегодня возобновляется.
Народ не должен опускать меч,
Чтобы добиться желаемой свободы (*нем.*).

потребностей, и потому венские выступления, в которых принимали участие образованная молодежь и рабочие классы, возбудили во мне особенно теплое чувство. Я не мог не выразить своего настроения опять-таки в популярно-поэтическом воззвании. Я послал его в редакцию *Österreichischen Zeitung*[140], которая его и напечатала за полной моей подписью.

В Дрездене под влиянием событий образовались два политических общества. Первое называлось *Deutscher Verein*[141], и в программе его значилась «конституционная монархия на широчайшей демократической основе». О совершенной безопасности его стремлений можно было судить по именам его главнейших основателей, среди которых, при «ширине демократической основы», Эдуард Девриент и профессор Ритшель числились рядом. В противовес этому обществу, куда укрылось все, что на деле боялось революции, основалось другое — *Vaterlands Verein*[142]. В нем «демократическая основа» играла главную роль, а «конституционная» монархия служила как бы ширмой.

215

Ход событий. Воззвание к немецким князьям и народам. Франкфуртский парламент. Академический легион во главе народа. «Немецкий союз» и «Отечественный союз»

Рёкель агитировал страстно в пользу этого общества, так как он потерял всякое доверие к «монархии». Дела шли из рук вон плохо. Уже давно он бросил всякую надежду добиться чего-нибудь своей музыкальной деятельностью. Место музикдиректора превратилось для него в чистейшую повинность, дававшую такой ничтожный доход, что при ежегодно увеличивавшейся семье он не сводил

---

[140] «Австрийскую газету» (*нем.*).

[141] «Немецкий союз» (*нем.*).

[142] «Отечественный союз» (*нем.*).

концов с концами. Тем не менее ему приходилось дорожить этим местом, так как уроки в домах состоятельных иностранцев, которых было в Дрездене много, вызывали в нем непреоборимое отвращение. Так влачил он жалкое существование, погрязая все глубже в долги и мечтая об одном: переселиться в Америку, где в качестве фермера он надеялся трудами рук и напряжением изобретательности медленно, но верно доставить себе и своим потомкам приличное общественное положение.

На наших прогулках он делился со мной сведениями, почерпнутыми из сочинений по политической экономии. С большим пылом применяя взгляды, в них изложенные, он надеялся этим путем улучшить свое стесненное положение. В таком состоянии застало его движение 1848 года, причем он немедленно примкнул к крайним социалистическим течениям, идущим из Парижа. Знавшие его ранее были в высшей степени удивлены той видимой переменой, которая в нем произошла. Он заявлял, что нашел, наконец, свое истинное призвание, призвание бунтовщика. У него не хватало самоуверенности для выступления в качестве оратора на трибуне, но тем сильнее развернулась его энергия в частных отношениях. Никаким возражениям он не поддавался, и кого он не в состоянии был увлечь, того отталкивал от себя окончательно. Он был захвачен своей задачей до того, что дни и ночи только ней и занимался, и ум его необыкновенно изощрился в способности опровергать каждое банальное возражение. Внезапно он стал как бы проповедником в пустыне. В любой области революционного вопроса он чувствовал себя как дома.

«Отечественный союз» избрал комиссию для выработки проекта народного вооружения. В этой комиссии, кроме Рёкеля и некоторых чистокровных демократов, принимали участие военные люди и между ними мой старый друг, бывший жених Шрёдер-Девриент, лейтенант гвардии

Герман Мюллер. Он и еще один офицер, по имени Цихлинский, были единственными членами саксонской армии, примкнувшими к политическому движению. Я бывал на ее заседаниях в качестве лица, причастного к искусству. Насколько помню, проект, готовый к опубликованию, заключал в себе вполне рациональный, хотя и неисполнимый при нынешних политических условиях план организации народного ополчения.

Лично я тоже все более и более поддавался искушению высказаться по поводу политических и социальных вопросов, интересовавших все общество, тем более что меня положительно возмущали необыкновенно плоские суждения и пошлые фразы ораторов того времени. Покуда шла общая сумятица, компетентные люди воздерживались от всякого вмешательства. Так объяснил мне свое поведение Герман Франк в ответ на мой упрек. Меня, напротив, именно это побуждало по мере разумения вступать в споры по сущности поставленных вопросов и задач. Ежедневные газеты особенно сильно способствовали общему возбуждению. «Отечественный союз» открыл свои заседания в одном из городских садов, и иногда я приходил туда в качестве зрителя, как на спектакль. Темой для дебатов был выдвинут вопрос: республика или монархия? Меня глубоко поражало, с какой невероятной тривиальностью он обсуждался с ораторской трибуны и в печати. Все сводилось к признанию, что лучше всего республика, но что можно мириться в случае необходимости и с монархией, если только она не злоупотребляет своей властью.

Это побудило меня после ряда горячих споров высказать и собственный взгляд в обстоятельной статье, напечатанной в *Dresdner Anzeiger*[143] без моей подписи. Внимание людей, способных отнестись к этой теме с полной серьезностью, я старался привлечь не к внешним формам государственного

[143] «Дрезденском вестнике» (*нем.*).

управления, а к его внутреннему содержанию. Разобрав все нужды и требования общественной жизни и отметив необходимость усовершенствования на почве политических и социальных отношений согласно известным идеальным критериям, я ставил вопрос: возможно ли достижение нового строя с королем во главе государства? Я высказал мнение, что просвещенному монарху для осуществления собственных высших целей самому должно быть важно управлять государством, построенном на истинно республиканских началах. Такому королю я рекомендовал стать к своему народу в отношения более доверительные, выходящие за грань той придворно-аристократической атмосферы, которой он окружен. В заключение я высказал мысль, что король Саксонский является как бы избранником судьбы, способным дать другим немецким государям высокий пример.

Рёкель нашел, что это «истинное откровение ангела мира», и так как он опасался, что на страницах газеты статья не обратит на себя должного внимания, не вызовет сердечного отклика, то стал настойчиво уговаривать меня выступить с докладом на заседании «Отечественного союза»: устной речи он придавал особенное значение. Я пошел на собрание без определенного на этот счет решения, но когда услышал невыносимую болтовню двух ораторов, адвоката Блёде и скорняка Клетте, которые слыли тогда Демосфеном и Клеоном города Дрездена, я не выдержал, поддался страстному порыву, взошел на трибуну и с большим подъемом прочел газетную статью перед трехтысячной толпой.

216

Перелом в характере Рёкеля. Статья на политическую тему без подписи. На трибуне

Впечатление получилось ужасающее. У публики изо всей речи осталось в памяти только одно: яростный выпад

королевского капельмейстера против придворных льстецов. Известие об этом неслыханном происшествии распространилось по городу с быстротой пожара. На следующий день была назначена репетиция «Риенци». Меня поздравляли, восхваляли мою самоотверженную смелость, но в самый день спектакля оркестровый слуга Айзольт объявил мне, что представление отложено по неведомым причинам. В самом деле, вызванное мной возбуждение разрослось настолько, что дирекция боялась особенной демонстрации.

Затем со страниц газет на меня посыпалось столько проклятий и насмешек, что нечего было и думать обороняться. Саксонская муниципальная гвардия сочла себя оскорбленной, и комендант ее потребовал от меня извинения. Но самых непримиримых врагов, преследующих меня и до нынешнего дня, я приобрел в лице придворных чинов, особенно низшего ранга. Насколько это было в их власти, они старались побудить короля, а потом и интенданта тотчас же прогнать меня со службы. Ввиду этого я счел себя вынужденным написать королю письмо, в котором признавал свое поведение легкомысленным, но лишенным преступного намерения. Я послал его фон Люттихау с просьбой передать королю. При этом я хлопотал о краткосрочном отпуске, чтобы выиграть время и дать улечься разгоревшимся страстям. Поразительная, поистине дружеская благожелательность, которую проявил по отношению ко мне фон Люттихау, произвела на меня довольно сильное впечатление, тем более что я от него ничего не утаил. Лишь впоследствии обнаружилось, сколько скрытой ярости вызвала в нем моя статья, кстати сказать, совершенно им не понятая. Я узнал, что гуманным чувствам этого человека я не был обязан ничем, что здесь играла роль прямая воля короля: на все советы (между прочим, и со стороны фон Люттихау) примерно наказать меня он ответил решительным отказом, запретив разговаривать

с ним на эту тему. Факт этот меня очень ободрил и доказал, что не только мое письмо, но и мою статью король понял правильнее, чем многие другие.

217

Ужасающее впечатление

На этот раз (это было в начале июля) я решил воспользоваться коротким отпуском и поехать в Вену развеяться. Поехал я через Бреслау, где посетил музикдиректора Мозевиуса, старого друга нашей семьи. В его доме мы провели вечер в живой беседе, причем не обошлось, к сожалению, без разговоров о политике. Больше всего меня интересовало его необыкновенно богатое, полное, если не ошибаюсь, собрание кантат Себастьяна Баха в превосходных списках. Осталось в памяти, кроме того, множество смешных и остроумных музыкальных анекдотов, которые он рассказывал с совершенно особым, своеобразным юмором. Когда Мозевиус в течение лета вернул мне визит в Дрездене, я сыграл ему часть первого действия «Лоэнгрина» на рояле, и его искренний восторг произвел на меня благотворное впечатление. Потом я слышал, будто он тоже высказывал неодобрительные и насмешливые обо мне суждения. Ни над верностью этих рассказов, ни над истинным характером этого человека я не задумывался, так как постепенно привыкал мириться со всякого рода непонятными вещами.

В Вене я посетил профессора Фишгофа, у которого, я знал, были очень интересные рукописи, особенно бетховенские. Среди них меня интересовал оригинал сонаты в c-moll, op. 111. Через Фишгофа, которого я нашел несколько сухим, я познакомился с господином Веске фон Пютлингеном, опера которого («Жанна д'Арк»), чрезвычайно тривиальная, была поставлена и у нас в Дрездене. Как композитор этот господин воспользовался именем Бетховена, из предосторожности присвоив себе только его

окончание: «Ховен». Однажды мы были приглашены к нему на обед, и я несколько ближе присмотрелся к бывшему доверенному чиновнику Меттерниха, а ныне с черно-красно-золотой лентой через плечо выступающему в качестве убежденного сторонника современного движения.

Интересное знакомство завязал я также с русским сановником, атташе при русском посольстве в Вене, господином Фонтоном. Мы встречались с ним довольно часто у Фишгофа и нередко совершали совместные прогулки. В его лице я нашел последовательного представителя того пессимистического мировоззрения, согласно которому ждать сносного порядка вещей можно только при условиях выдержанного деспотизма. С интересом и с известной чуткостью (он похвалялся, что получил образование в самых передовых швейцарских школах) прислушивался он к моим словам, когда я с энтузиазмом развивал перед ним идеальные очертания того искусства, которое должно иметь высокое, решающее влияние на жизнь общества. Фонтон соглашался, что осуществление моих стремлений не во власти деспотизма, и хотя он вообще не верил в его возможность, но за бокалом шампанского гуманное настроение брало верх, и он выражал мне свои наилучшие пожелания. Впоследствии я узнал, что при всех своих способностях и энергии человек этот не сделал сколько-нибудь выдающейся карьеры.

218

В Вене

Так как я никогда ничего не предпринимал без определенной серьезной цели, я попытался использовать свое пребывание в Вене, чтобы дать ход идеям о реформе театра. Вена, которая обладала пятью различными по характеру театрами, влачившими жалкое существование, казалась

мне удобным для этого поприщем. Я быстро составил проект объединения этих театров в своего рода федерацию под управлением как активных ее сочленов, так и привлеченных к делу деятельных литературных сил.

Я навел справки о тех лицах, близко стоящих к театру, перед которыми рациональнее всего было бы развить мой план. Кроме Фридриха Уля, с которым я познакомился через Фишгофа и который оказывал мне энергичное содействие, мне назвали некоего господина Франка (думаю, что это тот самый Франк, который впоследствии опубликовал большое эпическое стихотворение под названием «Тангейзер») и доктора Пахера. Об этом последнем выяснилось впоследствии, что он был, собственно, приспешником и агентом Мейербера, зарекомендовавшим себя далеко не с лучшей стороны. Самым привлекательным, самым значительным изо всех приглашенных мной на конференцию в квартире Фишгофа был доктор Бехер, живой, многосторонне образованный человек, единственный отнесшийся к моему проекту действительно серьезно, хотя и не вполне одобрявший его. Мне тогда же бросилась в глаза некоторая как бы неуравновешенность, резкость Бехера. Это впечатление приобрело в моих глазах еще большее значение, когда через несколько месяцев я узнал, что он убит на улицах Вены, как участник октябрьского восстания.

Конференция доставила мне некоторое удовлетворение: было приятно уже то, что я мог прочесть свой план театральной реформы нескольким внимательным слушателям. Но всем казалось, что заниматься мирными театральными реформами теперь не время. Желая дать мне представление о том, что в этот момент занимает умы венцев, Уль повел меня однажды вечером в один из самых передовых политических клубов. Здесь я услышал некоего

Сигизмунда Энглэндера, который некоторое время спустя с заметным успехом выступил и в политической прессе. Та безвременность, с какой он, как и многие другие, судил о представителях австрийской власти, перед которыми трепетали все, прямо изумила меня, и в то же время меня поразила тривиальность высказанных им политических суждений.

Зато очень мягкое впечатление произвел на меня Грильпарцер. Имя его как автора «Праматери» было мне дорого со времен детства. Я посвятил его в мои планы театральной реформы, и, кажется, он с интересом отнесся к ним. Однако он не скрыл от меня, что с практической стороны мой проект и мои расчеты на его содействие были ему неприятны. Это был первый драматический писатель, которого я видел в мундире чиновника.

Я обратился с моими проектами к господину Бауэрнфельду. Этим дело и ограничилось. Затем я отдался наблюдениям над кипевшей в Вене пестрой общественной жизнью. На улицах можно было видеть деятельных членов Академического легиона, выделявшихся своими перевязями национальных цветов. Но в то время эти цвета были так распространены, что даже лакеи, подававшие в театре мороженое, носили такие же черно-красно-золотые ленты.

В Карл-театре, в Леопольдштадте, я смотрел новый фарс Нестроя, в котором высмеивался князь Меттерних: по ходу пьесы на предложенный ему вопрос, отравил ли он герцога Рейхштадтского, Меттерних, как уличенный преступник, трусливо скрывается за кулисы. В общем, на всем облике столичного города, жадного к удовольствиям, лежала печать молодости, силы и твердой веры в себя. Это впечатление вполне оправдалось, когда в роковые октябрьские дни население Вены оказало энергичное сопротивление войскам князя Виндишгрэца.

На обратном пути я заехал в Прагу и посетил старого друга Китля. Я нашел его страшно располневшим и бесконечно напуганным пережитыми шумными событиями. По-видимому, он находил, что возмущение чешской партии против австрийского владычества направлено лично против него. С другой стороны, он верил, что своей оперой «Французы у ворот Ниццы» на либретто, сочиненное мной (одна из арий, имевшая революционный характер, стала весьма популярной), сам же и вызвал революционное движение.

Попутчиком моим на пароходе оказался скульптор Хэнель, чему я очень обрадовался. Он только что решил с графом Альбертом Ностицем финансовые проблемы по постановке статуи императора Карла IV и был в превосходнейшем настроении. Особенно способствовало этому то обстоятельство, что гонорар, согласно условию, был ему выплачен серебром. Австрийские бумажные деньги стоили тогда очень дешево, и он получил большую выгоду. Его радостное настроение было так велико, что, пренебрегая предосторожностями и не поддаваясь предрассудкам, он весь довольно длинный путь от пристани до нашего дома сидел со мной в открытой пролетке, несмотря на то что хорошо знал, какое возмущение и подозрительное к себе отношение я вызвал несколько недель тому назад среди дрезденского общества. Этот поступок чрезвычайно обрадовал меня.

219

Проект федеративного объединения театров. Грильпарцер

Здесь возмущение властей против меня улеглось, и я приступил к исполнению капельмейстерских обязанностей. Без всяких помех я вернулся к обычному укладу жизни. Но в это время воскресли мои старые заботы

и затруднения: надо было добыть денег, и я не знал, как это сделать. Я решил подробнее ознакомиться с ответом на ходатайство об увеличении моего содержания. Ранее, огорченный его содержанием, я не дочитал его до конца. Тут я убедился, к величайшему стыду, что ошибся: я полагал, что фон Люттихау выхлопотал, хотя и в унизительной форме, ежегодную прибавку к жалованью. Оказалось, что речь идет лишь о единовременном вспомоществовании. Очутился я, таким образом, в совершенно безвыходном положении, так как искать разъяснений по этому поводу было поздно, и мне ничего не оставалось, как молча примириться с беспримерно нищенской компенсацией моего позора.

Обстоятельства эти заставили меня изменить мнение о господине фон Люттихау, который еще недавно так, казалось, благородно вел себя среди всеобщего похода против меня. В моих руках оказались доказательства, обрисовавшие его и с этой стороны в определенном свете раз навсегда. Люттихау сообщил мне, что члены Королевской капеллы прислали депутацию с просьбой отказать мне от места, так как они считают ниже своего достоинства служить под начальством политически скомпрометированного капельмейстера, за что он их якобы жестоко отчитал и заставил успокоиться. Это представило мне Люттихау с симпатичной стороны и поддержало прежнее мое отношение к нему. Но когда я поговорил с членами капеллы, оказалось, что дело носило иной характер. Правда, придворные сферы делали попытки побудить Королевскую капеллу выступить с таким заявлением. Ей даже грозили немилостью короля и политической неблагонадежностью. Но в ответ на эти махинации, чтобы обезопасить себя от возможных дурных последствий, музыканты отправили к своему шефу депутацию, которой поручено было заявить, что капелла, как художественно-артистическая корпорация,

не считает себя призванной вмешиваться в дела, к искусству не относящиеся. Таким образом, рассеялись последние следы ореола, которым я до того окружал фон Люттихау. Осталось только чувство стыда за то, что на его коварство я отвечал сердечным доверием. Отныне мое отношение к этому человеку могло быть только враждебным.

Но больше, чем перенесенные оскорбления, на меня подействовало сознание полной невозможности через Люттихау служить делу возрождения театра. Ничто более не побуждало меня держаться на должной высоте в качестве капельмейстера. При этих условиях, да еще при необыкновенно жалком и урезанном окладе я считал такого рода деятельность не заслуживающей каких бы то ни было усилий и продолжал исполнять свои обязанности лишь из нужды, как человек, случайно попавший в несчастную комбинацию обстоятельств. Я не делал ничего, что могло бы ухудшить положение вещей, но и не предпринимал ничего к его улучшению.

220

На обратном пути через Прагу

Как бы то ни было, следовало чем-нибудь компенсировать утраченные надежды на увеличение моего содержания. Мне пришла в голову мысль связаться по этому поводу с Листом и спросить у него совета, как выйти из затруднительного положения. Вскоре после роковых мартовских дней и незадолго до окончания партитуры «Лоэнгрина» он в одно прекрасное утро обрадовал меня неожиданным посещением. Лист приехал из Вены, где пережил дни баррикад, и направлялся в Веймар, чтобы поселиться там надолго. Мы провели вместе вечер у Шумана. Сначала музицировали, потом диспутировали, и диспуты наши благодаря разладу между Листом и Шуманом во взглядах на Мендельсона и Мейербера закончились тем,

что наш хозяин, обозлившись, ушел к себе в спальню и долго к нам не выходил. Этим он поставил нас в очень странное, не лишенное комизма положение, о котором мы весело говорили на обратном пути домой. Редко удавалось мне видеть Листа в таком легкомысленно-живом настроении, как в эту ночь, когда, выйдя вместе со мной и концертмейстером Шубертом, он во фраке, несмотря на довольно резкий холод, каждого из нас проводил до квартиры.

В августе я использовал несколько свободных дней, чтобы съездить к Листу в Веймар. Лист, как известно, находился в особой милости у Великого герцога и поселился в Веймаре надолго. И хотя ничем, кроме неудачного поручительства, он не помог мне, наше сердечное кратковременное свидание произвело на меня ободряющее, в высшей степени благодетельное впечатление. Вернувшись в Дрезден, я постарался упорядочить свой бюджет. Не ожидая ниоткуда никакой помощи, я решил обратиться к тем из моих кредиторов, которые относились ко мне благожелательно. Откровенно разъяснил я им положение моих дел и просил отсрочить на неопределенное время уплату долгов, пока обстоятельства не изменятся к лучшему. Я разъяснил им, что, заявив о своем согласии, они отнимут у моего врага, генерал-интенданта, возможность вредить мне, так как он только и ждет открытых выступлений кредиторов, чтобы начать против меня решительную кампанию. Кредиторы немедленно отозвались на мое письмо: Пузинелли и старая знакомая госпожа Клеппербайн заявили свою готовность совершенно отказаться от своих притязаний. Таким образом, несколько успокоенный и застрахованный против возможных подвохов со стороны фон Люттихау, я вернулся к исполнению капельмейстерских обязанностей. С большим рвением я

углубился в любимые занятия по истории средневековой Германии. Мою должность я мог покинуть тогда, когда это мне заблагорассудится.

221

Интриги Люттихау

Среди таких обстоятельств я с интересом следил за судьбой моего друга Рёкеля. Ежедневно возникали тревожные слухи о подготовляющихся реакционных шагах и новых репрессиях со стороны правительства. Рёкель считал необходимым бороться с реакцией и выработал мотивированное воззвание к солдатам саксонской армии, отпечатал его и распространил в большом количестве экземпляров. Этот поступок показался правительству чересчур дерзким. Рёкель был задержан и три дня провел в тюрьме, пока его адвокат Минквиц не внес за него залог в 1000 талеров. Против него был возбужден процесс по обвинению в государственной измене. Возвращение Рёкеля домой, к напуганным жене и детям, сопровождалось небольшой уличной демонстрацией, организованной президиумом «Отечественного союза». Его приветствовали речью как борца за народное дело.

Со стороны генеральной дирекции придворных театров он получил вместе с небольшой суммой отказ от места. Рёкель сейчас же отпустил длинную бороду и принялся издавать Volksblätter[144] под единоличной своей редакцией. Доходы с этого издания должны были вознаградить его за потерянное место музикдиректора. На Брюдергассе он снял квартиру под помещение конторы. «Листки» обратили общее внимание на его редактора, осветив его дарование с совершенно новой стороны. Он никогда не запутывался

[144] «Народные листки» (*нем.*).

в туманно-живописных фразах, а ограничивался злободневными вопросами, общими насущными интересами. Обсуждал он их спокойно и трезво, лишь попутно от конкретных примеров переходя к высшим принципам. Отдельные статьи были коротки и не заключали в себе ничего лишнего. Они отличались такой ясностью, что казались поучительными и убедительными даже для самых простых, необразованных людей. Всегда он говорил о существе дела, не вдавался в формальные описания, вызывающие на почве политики такую путаницу среди необразованных людей. Поэтому вскоре он составил себе довольно значительный круг читателей как среди интеллигентного, так и неинтеллигентного населения. Цена этой еженедельной газеты была так низка, что доходы с издания оказались чересчур ничтожными. С другой стороны, можно было смело предсказать, что, если реакция возьмет верх, Рёкелю его газеты не простят.

Младший брат его Эдуард, приехавший на время в Дрезден, заявил о своей готовности принять доходное место учителя музыки в Англии, хотя занятие это было ему противно, чтобы в случае необходимости (можно было заранее предвидеть, что Рёкелю грозит тюрьма или виселица) иметь возможность поддержать его семью. Так как деловые связи со всевозможными обществами отнимали у Рёкеля все время, то я встречал его очень редко, и наши отношения ограничивались короткими совместными прогулками. Я пускался с этим энтузиастом, голова которого всегда оставалась ясной, в самые отвлеченные споры. Он выработал себе подробное, связное представление о полном перевороте социальных отношений, как они сложились исторически, о создании нового строя на новом общественном фундаменте. Новый моральный мировой порядок он воздвигал на учении Прудона и других социалистов, на идее уничтожения власти капитала путем

организации продуктивных сил рабочего класса. При этом он сумел настолько подкупить меня рисующимися тут перспективами, что и я стал связывать с этим новым строем реализацию того идеального искусства, которое грезилось мне.

Особенно сильно меня заинтересовали два положения. Он отрицал брак в той форме, в какой мы его знаем. Я спросил его, как сложатся при постоянно меняющихся связях наши отношения к женщинам? С благородным возмущением он ответил, что в атмосфере современного хозяйственного и классового гнета мы не в состоянии отдать себе отчета о чистоте нравов, свойственных человеку, о действительной возвышенности отношений полов друг к другу. Что могло бы заставить женщину принадлежать мужчине в обществе, где нет власти денег, нет преимуществ социального и семейного положения, нет никаких предрассудков — всего того, что связано с теперешним укладом. В другой раз я спросил его, откуда общество возьмет людей, свободных духом, способных всецело отдать себя художественному творчеству, раз все должны нести одинаковую рабочую повинность? Он ответил, что, если все будет сообразовано с силами и способностями человека, исчезнет самое понятие о тяжести труда, что работа тогда получит художественный оттенок. Он ссылался на то, что поле, возделываемое одним крестьянином, дает гораздо менее, чем если этим займется целая кооперация, как это бывает, когда интенсивно обрабатываются отдельные участки.

Эти и другие соображения Рёкеля, излагаемые с благородным одушевлением, заставили меня задуматься о многом. Они помогли мне выработать себе представление о таком строе общества, в котором полностью воплотились бы высшие художественно-артистические стремления моего духа.

222

Приезд Листа. Переговоры с кредиторами

Размышляя об этих вопросах, я возвращался к тому, что ближе всего меня касалось, — к вопросу о театре. Поводов к этому было достаточно, и внутренних, и внешних. Согласно новому демократическому избирательному закону, ожидалось полное обновление народного представительства в Саксонии. Выбор радикальных депутатов по всем округам давал возможность рассчитывать, если такое положение дел упрочится, на серьезнейшие изменения в государственном хозяйстве. Было решено предпринять строжайшую ревизию королевского цивильного листа: все лишнее должно было быть вычеркнуто из придворного хозяйства. Театру как бесполезному учреждению, предназначенному для развлечения самой испорченной части публики, грозило вместе с сокращением цивильного листа полное уничтожение. Так как я лично придавал театру большое значение, то я счел необходимым дать господам министрам разъяснение всей важности этого вопроса.

Необходимо было поставить на вид, что если в нынешнем своем состоянии театр не заслуживает никаких жертв со стороны общества, то, предоставленный самому себе, без идеального контроля государства, он падет еще ниже и заразится тенденциями, опасными для общественной нравственности. Власть должна взять его под свою защиту, как она это делает по отношению к религии и школе. Мне казалось необходимым разработать основы организации театра, которые обеспечили бы ему осуществление благороднейших его задач. Соответственно этому я набросал план, по которому суммы, расходуемые в цивильном листе на содержание придворной труппы, предназначались для основания и поддержания национального театра

саксонского королевства. Практические подробности были представлены до такой степени точно, что план мой мог служить руководством для господ министров при обсуждении законопроекта в парламенте. Оставалось войти в личные отношения с каким-нибудь министром.

Для этой цели более подходящим казался мне министр народного просвещения. На этом посту фигурировал тогда господин фон дер Пфордтен. И хотя о нем говорили как о человеке с чересчур гибкой политической совестью, как о человеке, стремящемся затушевать историю своего возвышения, связанного с революционным движением, тем не менее бывший профессор представлялся мне компетентным собеседником на тему, глубоко интересовавшую меня. Но я узнал, что художественные учреждения королевства, как и Академия изобразительных искусств, куда с особой горячностью я причислял и театр, находятся в ведении министра внутренних дел. Этому честному, не очень образованному и мало чуткому в вопросах искусства человеку, Оберлэндеру, я подал свою докладную записку, предварительно побывав у господина фон дер Пфордтена. Я хотел обеспечить себе его поддержку. При всей сложности своих занятий он принял меня вежливо и предупредительно, но всем существом своим, даже выражением лица отнял у меня всякую надежду на понимание с его стороны. Министр Оберлэндер сразу успокоил меня той серьезностью, с какой обещал вникнуть в дело. Но он тут же с полной откровенностью указал на то, что не следует полагаться на короля, который едва ли уполномочит его выступить с необыкновенным проектом по вопросу, до сих пор предоставленному сложившейся рутине. Не должно забывать, что к нынешним министрам и прежде всего к нему самому король относится без должного доверия. Ему трудно говорить с монархом о чем-либо,

выходящем из круга его текущих дел. Вот почему поднятие этого вопроса лучше предоставить парламенту.

Так как мне хотелось предупредить возможность закрытия Придворного театра при дискуссиях о сокращении цивильного листа, если к этому вопросу отнесутся с радикальной решимостью, лишенной соответствующего знания и понимания, я не пожалел труда и вступил в переговоры с некоторыми влиятельными членами парламента. Я проник в новую, странную сферу и столкнулся с людьми и настроениями, совершенно чуждыми моему духу. Вести разговоры с этими господами за пивом, среди густого табачного дыма, поддерживать в них интерес к столь далеким от них темам было трудно. После того как фон Трючлер, красивый, энергичный, мрачно-серьезный человек, долго и молча меня слушавший, заявил, что на государство он более ни в чем не полагается, а знает только общество, что это последнее без него и без меня поймет, как ему отнестись к искусству и к театру, я, пристыженный, ушел и отказался от дальнейших усилий, от всяких надежд. Из всего этого получился, как я впоследствии убедился, только один результат: господин фон Люттихау узнал о моем проекте — это обнаружилось в одном из наших разговоров — и проникся новой враждой ко мне.

На моих совершенно уединенных прогулках, чтобы дать исход кипевшим чувствам, я много думал о будущих формах человеческих отношений, когда исполнятся смелые желания и надежды социалистов и коммунистов. Их учения, которые тогда еще только складывались, давали мне лишь общие основания, так как меня интересовал не самый момент политического и социального переворота, а тот строй жизни, в котором мои проекты, относящиеся к искусству, могли бы найти осуществление.

223

Революционная карьера Рёкеля. Новый мировой порядок, воздвигнутый на учении Прудона

В это время меня занимала мысль о драме, героем которой являлся бы Фридрих Барбаросса. Эта фигура стояла передо мной в полноте силы и величия. Не имея возможности провести в жизнь свои идеальные стремления, он отказывается от них сознательно, и это самоограничение, возбуждая участие к герою, должно подчеркнуть всю сложность существования на земле. Эту драму я хотел написать в форме народных стихов, в стиле средненемецкого эпоса. Образцом мне рисовалась поэма «Александр» священника Ламберта. Содержание я набросал в самых общих чертах и в немногих строках. Драма была разбита на пять действий. Первое действие: рейхстаг в Ронкалийском поле, демонстрация королевской власти, повелевающей даже стихиями. Действие второе: осада и взятие Милана. Действие третье: измена Генриха Льва и поражение при Леньяно. Действие четвертое: рейхстаг в Аугсбурге, покорность и наказание Генриха Льва. Действие пятое: рейхстаг и дворец в Майнце, мир с ломбардцами, примирение с папой, принятие креста и отбытие на восток. Интерес к разработке этой драмы, однако, сейчас же во мне угас: его вытеснил миф о Нибелунгах и сказание о Зигфриде, совершенно меня захватившие. Сходство концепции и побудило меня вникнуть в эту область, в которой история соприкасается с сагой, и я набросал на бумаге кое-какие мысли на эту тему, причем пользовался найденными в королевской библиотеке монографиями авторов, имен которых я теперь не помню. В них я нашел много ценных указаний относительно идеальной сущности королевской власти в Германии. Возникало, таким образом,

довольно значительное исследование, убившее всякое стремление к разработке названной выше драмы. Впоследствии я издал его под названием «Нибелунги».

224

Основы организации театра. Министры и влиятельные члены парламента. Уединенные прогулки

Тут же я приступил к письменной обработке материала. При всей своей сложности связь средневекового мифа о Нибелунгах во всех его главных чертах с мифом о германских божествах вообще выступила с полной отчетливостью. При этом выяснилась возможность одну из главных частей его выделить в самостоятельную музыкальную драму. Но медленно и робко назревало во мне решение остановиться на этой идее, так как с практической стороны постановка такого рода произведения на подмостках дрезденского театра являлась положительно немыслимой. Нужно было окончательно разочароваться в возможности сделать что-нибудь для нашего театра, чтобы найти в себе мужество заняться этой работой.

С холодным равнодушием я относился ко всякой перспективе сделать что-нибудь в этом отношении вне Дрездена. С «Лоэнгрином» я довел дело до того, что мог рассчитывать на приличную его постановку, и я решил этим удовлетвориться. Фон Люттихау я в свое время объявил, что закончил партитуру, но ввиду сложившихся между нами отношений предоставляю ему свободно решить вопрос о постановке.

Между тем наступил момент, когда архивариус Королевской музыкальной капеллы вспомнил, что приближается трехсотлетие со дня ее основания, что предстоит, таким образом, отпраздновать юбилей. Был назначен большой торжественный концерт в театре, на котором

были исполнены композиции саксонских капельмейстеров всех времен с основания капеллы. Во главе с обоими капельмейстерами музыканты устроили в Пильнице благодарственное чествование короля. При этом один из них за гражданские заслуги был возведен в звание рыцаря ордена Гражданских Заслуг. Этим музыкантом был мой коллега Райсигер. И двор, и интендант ценили его очень низко, но, в противоположность мне, он сумел в это смутное время своей подчеркнутой лояльностью выслужиться перед властями. Не менее лояльная публика, наполнившая театр в день концерта, устроила ему шумную овацию, когда он появился, украшенный необыкновенным орденом. Увертюру его к опере «Иельва» публика встретила с непривычным для ее автора энтузиазмом, в то время как первый финал «Лоэнгрина», приведенный как образчик творчества самого молодого из капельмейстеров, был встречен с непривычной для меня сухостью.

После концерта состоялся ужин, на котором говорилось многое. Я совершенно свободно высказал капелле свои взгляды на то, что было бы необходимо предпринять для ее усовершенствования. Маршнер, присутствовавший на ужине и приглашенный участвовать в юбилее как бывший дрезденский музикдиректор, заметил мне, что своим чересчур высоким мнением о музыкантах я легко могу повредить самому себе. Следует принять во внимание, говорил он, с какими необразованными людьми, знающими только свой инструмент, я имею дело. Своими разговорами о задачах искусства я могу их только спутать и сбить с толку.

Несравненно более приятное воспоминание оставило во мне тихое чествование памяти Вебера, которое было устроено в утро юбилейного дня на кладбище и заключалось в возложении венка на его могилу. Так как здесь никто речей не произносил, и только Маршнер сказал

несколько сухих, формальных слов в память покойного мастера, я увидел себя вынужденным в немногих сердечных выражениях дать исход волновавшим меня чувствам.

225

Фридрих Барбаросса

То был лишь краткий перерыв: интересы искусства опять отступили на задний план под действием новых впечатлений политического характера, захвативших решительно все. Наступили венские октябрьские дни, и страстное волнение овладело Дрезденом. На стенах появлялись красные и черные плакаты с воззваниями, приглашавшими двинуться на помощь венцам, с проклятиями по адресу «кроваво-красной монархии» и прославлениями запретной «красной республики» и другими подобными же возбуждающими обращениями. В городе создалось тревожное и напряженное настроение. Только люди, хорошо осведомленные относительно истинного хода событий, сохраняли спокойствие, но таких было мало.

Когда Виндишгрэц вступил в Вену и Фрёбель был помилован, а Блюм расстрелян, взрыв, казалось, был неизбежен. В честь Блюма была организована колоссальная траурная уличная демонстрация. Во главе процессии шли министры, причем народ с особенным удовольствием отметил присутствие шествовавшего с печальным лицом фон дер Пфордтена, не пользовавшегося особым доверием. Всеми овладело мрачное настроение, ждали самого худшего. Доходили до того, что казнь Блюма, ненавистного и страшного высоким сферам своей агитационной деятельностью в Лейпциге, без всяких стеснений объясняли даже дружеской услугой со стороны эрцгерцогини Софии своей сестре, королеве Саксонской! Целые толпы беглецов из Вены в форме Академического легиона прибыли

в Дрезден. Их грозные, воинственные фигуры виднелись повсюду, и они устроились здесь совсем по-домашнему. Однажды, когда я пришел в театр для дирижирования «Риенци», капельдинер сообщил мне, что обо мне справлялось несколько человек. Действительно, скоро появилось около полдюжины каких-то господ, которые поздоровались со мной по-братски, как с единомышленником-демократом, и стали просить о свободном пропуске в зал.

В одном низкорослом, горбатом человеке в калабрийской шляпе, надетой набекрень, я признал бывшего беллетриста Хэфнера, с которым меня познакомил Уль в одно из наших посещений политического клуба в Вене. Члены капеллы следили за этой встречей с величайшим удивлением. При всем моем смущении я не хотел делать компрометирующего признания и потому спокойно пошел в кассу, взял шесть билетов и передал их странным людям. Сердечно пожав мне руку перед лицом всей публики, они удалились. Сомневаюсь, чтобы положение мое в качестве королевского капельмейстера упрочилось после этого случая в глазах театрального персонала, в глазах сотрудников театра вообще. Но верно одно: никогда еще меня так бурно не вызывали на представлении «Риенци» после каждого акта, как в этот раз.

Вообще, в театральной публике образовалась партия моих горячих приверженцев, как бы в противовес той холодности, с какой я был встречен на юбилейном концерте капеллы. Что бы ни шло, «Тангейзер» или «Риенци», меня принимали одинаково восторженно, и с каким бы чувством страха ни глядел на это господин фон Люттихау, такое поведение публики все же внушало ему известный пиетет по отношению ко мне. Однажды он обратился ко мне с предложением поставить в ближайшем будущем «Лоэнгрина». Я объяснил ему, почему сам не заводил разговора об этом предмете. Так как театральный персонал я

нахожу достаточным, то я готов приступить к делу. Из Парижа вернулся в это время сын моего старого приятеля Ф. Гейне, изучивший у Деплешена и Дитерле по поручению дрезденской дирекции искусство писать декорации. Чтобы получить место придворного театрального декоратора, он должен был подвергнуться испытанию, и потому он ходатайствовал, чтобы ему было поручено сделать декорации «Лоэнгрина». Это и заставило господина фон Люттихау обратить внимание на мое новое произведение. Я дал согласие, и молодому Гейне была обещана эта работа.

226

Миф о Нибелунгах. Благодарственное чествование короля в Пильнице. Ужин после концерта. Чествование памяти Вебера

Такому обороту моих дел я был чрезвычайно рад, так как надеялся, что разучивание «Лоэнгрина» отвлечет меня от волнений, связанных с событиями последнего времени. Тем сильнее испугало меня, когда однажды Вильгельм Гейне пришел с известием, что работа его внезапно приостановлена, что ему поручено написать декорацию другой оперы. Я не сказал ни слова и ничего не спросил о причинах столь странного поведения дирекции. Впоследствии фон Люттихау объяснялся по этому поводу с моей женой, и, если он говорил правду, я напрасно всю вину взвалил на него, напрасно разорвал с ним навсегда. Спустя много лет спрошенный по этому поводу, он объяснил, что отношение ко мне при дворе оказалось очень враждебным. Он очень серьезно выступил с предложением поставить «Лоэнгрина», но наткнулся на непреодолимые препятствия. Как бы то ни было, горечь нанесенной обиды решительным образом повлияла на мое настроение. До этой минуты я думал, что смогу помириться с театром, если постановка выйдет удачной. Теперь я отвернулся от него

решительно, отказавшись от всякой попытки что-нибудь переделать к лучшему. Это сказалось, во-первых, в том, что я отказался от мысли сохранить за собой место дрезденского капельмейстера, и, во-вторых, в том, что я занялся такими художественно-артистическими проектами, выполнение которых стояло в прямом противоречии со всем нашим современным театральным укладом.

Я приступил к обработке «Смерти Зигфрида». Мечту об этом произведении я лелеял давно, не думая ни о дрезденском, ни о другом каком-нибудь придворном театре. Я стремился только к одному: заняться делом, которое окончательно вывело бы меня из бессмысленного положения. Эдуард Девриент, единственный человек, с которым я делился мыслями о театре и драматическом искусстве, так как с Рёкелем разговаривать о подобных вещах было абсолютно невозможно, был поражен, когда я прочел ему законченный стихотворный текст. Он понял, что отныне я отказываюсь от всяких надежд на поддержание каких бы то ни было связей с современным театром, и, конечно, не мог этого одобрить. Девриент утешал себя мыслью, что в конце концов и эта вещь окажется не слишком непонятной и неисполнимой на сцене. Насколько серьезно он отнесся к ней, видно из следующего.

Девриент указал на одну ошибку: по его мнению, я чересчур мало считаюсь с публикой и напрасно полагаю, что из кратких эпических намеков она извлечет все необходимое для уразумения сущности драмы. Он указал, что для понимания враждебного конфликта между Зигфридом и Брюнгильдой надо было бы обрисовать их истинные, прежние, ничем не омраченные отношения. Дело в том, что я начинал «Смерть Зигфрида» с тех самых сцен, которыми ныне открывается первое действие «Гибели богов». Все, что до этого произошло между Зигфридом

и Брюнгильдой, я разъяснял с помощью лирико-эпического диалога между покинутой супругой и проносящимися мимо ее скалы валькириями. Указание Девриента натолкнуло меня тут же, к моему собственному удовлетворению, на создание тех сцен, которые ныне составляют пролог ко всей драме.

227

Общая тревога. Плакаты с воззваниями. «Красная республика». Толпа беглецов из Вены. «Товарищи». Декорация «Лоэнгрина»

В этой атмосфере между мной и Э. Девриентом складывались все более и более приятельские отношения. Часто приглашал он к себе избранное общество, и на этих собраниях читались вслух драматические произведения. Я бывал на них и, к удивлению своему, убедился, что он очень даровитый чтец, хотя на сцене я не замечал за ним этой особенности. С другой стороны, для меня было утешением сознание, что я могу свободно говорить об испортившихся отношениях к генеральному интенданту, что здесь меня всегда поймут. Девриент считал необходимым предупредить окончательный разрыв, но надежд на успех у него было мало.

С наступлением зимы королевский двор опять вернулся в город, и как только участились его соприкосновения с театром, до меня неоднократно стали доходить от высочайших особ выражения недовольства моей капельмейстерской деятельностью. Один раз королеве показалось, что я «скверно дирижировал» «Нормой», другой раз — что в «Роберте-Дьяволе» я «неверно отбивал такт». Фон Люттихау считал своей обязанностью сообщать мне обо всех этих выражениях неудовольствия, и само собой разумеется, что обмен мнениями при этом не мог поддерживать между нами хороших отношений.

Однако мы еще кое-как ладили. Крайних мер по отношению ко мне принимать не решались, так как все кругом было охвачено страстным беспокойством. Во всяком случае реакция, бравшая верх во всех областях жизни, не была еще настолько уверена в своей полной победе, чтобы окончательно выступить открыто вперед. Так, например, генеральная дирекция не чинила музыкантам никаких препятствий, когда они задумали организовать общество для защиты своих художественно-артистических и гражданских интересов. Особенно активную деятельность проявил по этому случаю молодой музыкант Теодор Улиг. Это был скрипач лет двадцати с необыкновенно нежными, интеллигентными и благородными чертами лица, выделявшийся из среды своих товарищей серьезным, спокойным, твердым характером. Мое внимание он обратил на себя тем, что выказал тонкое чутье и широкие музыкальные познания. Убедившись в его пытливости и необыкновенном стремлении раздвинуть свой умственный горизонт, я избрал его в спутники на моих прогулках. Рёкель не принимал в них больше никакого участия.

Улиг уговорил меня посетить общество капеллы, принять участие в его делах, внести оживление в его работу и оплодотворить его дух. На одном из таких заседаний я познакомил напряженно слушавшую меня аудиторию с отклоненным год тому назад генеральной дирекцией проектом реформы капеллы, с моими воззрениями и планами на эту тему. Однако я счел необходимым тут же заявить, что на содействие администрации я потерял всякую надежду, что следует решительно взять инициативу в свои руки.

Мое предложение было встречено с энтузиазмом. Люттихау, не препятствовавший, как я говорил уже, демократически настроенным музыкантам в организации общества, озаботился, однако, чтобы на его собраниях

присутствовали шпионы. Среди них особенно выделялся протежируемый дирекцией и ненавистный всей капелле горнист Леви. Естественно поэтому, что фон Люттихау немедленно было сообщено о моем выступлении, причем смысл его был искажен.

Люттихау решил, что пришел момент проявить свою власть по отношению ко мне. Я был вызван к нему официальным письмом, и здесь он дал волю своему долго сдерживаемому гневу. Между прочим, я узнал, что он осведомлен о проекте театральной реформы, поданном министру. Я догадался об этом по дрезденскому простонародному выражению, которое он употребил и которого до того мне не приходилось слышать. Он сказал, что «в гробу видал»[145] меня в деле управления театром. Я не сдержался и в свою очередь высказал свои взгляды на сложившиеся между нами отношения. Люттихау стал грозить, что пожалуется на меня королю и будет требовать моего удаления, а я с величайшим спокойствием заявил, что предоставляю ему поступать, как ему заблагорассудится. Полагаясь на справедливость короля, я уверен, что будет выслушан не только обвинитель, но и обвиняемый. Я объяснил ему, что такой исход был бы для меня наиболее желателен, так как я не вижу другого способа высказаться перед королем не только по личному поводу, но по поводу театра и искусства вообще. Это опять-таки не понравилось фон Люттихау, и он спросил, как же в таком случае уладить наши отношения, раз я откровенно заявляю, что «дело дрянь»[146]. Мы закончили нашу конференцию, оба пожимая плечами.

Результат не мог, конечно, удовлетворить бывшего моего доброжелателя. Он обратился к рассудительности

---

[145] «Положенный в гроб» (*нем.*).

[146] «Потерянный солод и хмель» (*нем.*).

и умеренности Эдуарда Девриента, прося, чтобы тот помог нам прийти к какому-нибудь соглашению. Девриент, несмотря на всю свою серьезность, после переговоров со мной, смеясь, должен был признать, что добиться здесь какого-нибудь результата невозможно. А так как я твердо заявил, что не намерен отныне принимать участие в обсуждении театральных дел, то господину интенданту ничего не оставалось, как, полагаясь на собственную мудрость, вести дело самому.

228

«Смерть Зигфрида». Указания Девриента

Немилость двора и дирекции отражалась, конечно, на моих делах, пока судьбе было угодно, чтобы я оставался дрезденским капельмейстером. Управление организованными мной в прошедшую зиму оркестровыми концертами было передано Райсигеру, и они немедленно приняли шаблонный характер обычных музыкальных вечеров. Интерес публики заметно упал, и лишь с трудом удалось обеспечить их дальнейшее существование. Принятия вновь на сцену «Летучего Голландца» я так и не добился, несмотря на то, что созревший талант Миттервурцера представлял для этой оперы превосходную силу. Племянница моя Иоганна, которой я предназначал роль Сенты, находила эту партию для себя неподходящей: она не требовала блестящих нарядов. Иоганна предпочитала «Цампу» и «Фаворитку», которые теперь, благодаря ее новому покровителю, бывшему энтузиасту «Риенци» Тихачеку, ставились очень часто. Для участия в них дирекция доставляла ей каждый раз по три блестящих костюма.

Вообще эти два «матадора» дрезденской оперы заключили оборонительный союз против моего ригоризма в составлении репертуара, что и выразилось, к полному моему

посрамлению — постановкой доницеттиевской «Фаворитки», которую я некогда аранжировал в Париже для Шлезингера. Моя племянница находила, что главная партия подходит к ее голосовым средствам, и опиралась при этом на мнение своего отца. Я всеми силами противился этой постановке. Но когда выяснились мои нелады с дирекцией, мое желание оказывать влияние на ход театрального дела, наконец, немилость ко мне двора, решено было использовать момент и заставить меня же дирижировать этой отвратительной оперой, так как наступила как раз моя очередь.

Моим главным занятием в королевском театре сделалось теперь дирижирование «Мартой» Флотова. Публику эта опера привлекала мало, но она была удобна для постановки и потому крепко держалась в репертуаре. И вот, оглянувшись на результаты протекших шести лет деятельности в Дрездене, я не мог не прийти к унизительной мысли, что, несмотря на все мои усилия, я не достиг ничего. Я отчетливо сознавал, что если я сейчас покину Дрезден, здесь не останется от всей моей работы ни следа. По многим признакам не трудно было понять, что если бы дело дошло до короля, если бы мы оба, я и генерал-интендант, предстали перед ним с нашими жалобами и объяснениями, то предпочтение все же было бы оказано придворному человеку, хотя бы во имя последовательности официозного духа.

Еще раз, в Вербное воскресенье нового 1849 года очередной концерт доставил мне глубокое удовлетворение. Чтобы обеспечить себе хороший сбор, капелла прибегла к Девятой симфонии Бетховена. Были приложены все усилия сделать концерт возможно более удачным. Публика отнеслась к нему с большой живостью. На генеральной репетиции тайно от полиции присутствовал Михаил Бакунин. По окончании концерта он безбоязненно прошел

ко мне в оркестр и громко заявил, что если бы при ожидаемом великом мировом пожаре предстояло погибнуть всей музыке, мы должны были бы с опасностью для жизни соединиться, чтобы отстоять эту симфонию. Через несколько недель после концерта на улицах Дрездена в самом деле появились признаки надвигающегося «мирового пожара», и Бакунин, с которым я еще до того странным и необыкновенным образом завязал близкие сношения, должен был сыграть тут роль оберфейерверкера.

229

Неуверенность реакции в своей полной победе. Объяснение с Люттихау

Заинтересовался я этим необыкновенным человеком уже давно. Много лет назад имя его всплыло предо мной с газетных страниц в сочетании с какими-то необыкновенными обстоятельствами. Он выступил в Париже на одном из польских собраний с заявлением, что не придает никакого значения различию между поляком и русским, что важно лишь одно: хочет ли человек быть свободным или нет. Впоследствии я узнал от Георга Гервега, что, происходя из родовитой семьи, он отказался от всяких личных средств и, оставшись на бульваре с двумя франками в кармане, тут же отдал их нищему: ему казалось мучительным чувствовать себя связанным с прежней жизнью и сознавать себя сколько-нибудь обеспеченным.

О пребывании его в Дрездене сообщил мне однажды Рёкель, в то время совершенно «одичавший». Он приглашал меня отправиться на квартиру, где укрывался Бакунин, и познакомиться с ним лично. После пражских летних событий 1848 года, после заседаний славянского конгресса Бакунина преследовало австрийское правительство. Он бежал в Дрезден, не желая чересчур удаляться от Богемии. Особенное подозрение вызвал он в Праге тем,

что чехов, искавших в России опору против ненавистной им германизации, призывал защищаться огнем и мечом против тех же русских, против всякого народа, выступающего под знаменем деспотизма, под жезлом неограниченной державности. Одних этих поверхностных сведений было достаточно, чтобы во всяком немце рассеять по отношению к нему национальное предубеждение и даже привлечь к нему общие симпатии.

Когда я впервые увидел Бакунина у Рёкеля, в ненадежной для него обстановке, меня поразила необыкновенная импозантная внешность этого человека, находившегося тогда в расцвете тридцатилетнего возраста. Все в нем было колоссально, все веяло первобытной свежестью. Он ничем не показывал, что ценит знакомство со мной, так как, по-видимому, людей, живущих интересами духа, он ставил невысоко, ища натур, способных отдаться делу с безоглядной активностью. Как я впоследствии убедился, это было скорее теоретическое построение его ума, чем живое личное чувство: чересчур много он говорил об этом. В спорах Бакунин любил держаться метода Сократа. Видимо, он чувствовал себя прекрасно, когда, растянувшись на жестком диване у гостеприимного хозяина, мог дискутировать с людьми самых разных убеждений о задачах революции. В этих спорах он всегда оставался победителем. С радикализмом его аргументов, не останавливавшихся ни перед какими затруднениями, выражаемых притом с необычайной уверенностью, справиться было невозможно.

Он отличался необыкновенной общительностью. Уже в первый вечер нашего знакомства рассказал он мне всю историю своей жизни. Будучи русским офицером знатного происхождения, он страдал от бессмысленного гнета военной службы. Сочинения Руссо произвели на него глубокое впечатление, и он под предлогом отпуска бежал в Германию. В Берлине, как дикарь, возжаждавший культуры,

он набросился на изучение философии. Здесь в то время главенствовала система Гегеля. Он так быстро освоился с ней, что, ни на шаг не отступая от гегелевской диалектики, приводил в замешательство самых выдающихся ее последователей. Справившись, по его выражению, с «философией в себе», он отправился в Швейцарию, где занялся пропагандой коммунизма. Затем через Францию и Германию он опять вернулся к границам славянского мира. Считая этот мир наименее испорченным цивилизацией, он отсюда ждал возрождения человечества. Свои надежды он основывал на русском национальном характере, в котором ярче всего сказался славянский тип. Основной чертой его он считал свойственное русскому народу наивное чувство братства. Рассчитывал он и на инстинкт животного, преследуемого человеком, — на ненависть русского мужика к его мучителям, к дворянам. В русском народе, по его словам, живет не то детская, не то демонская любовь к огню, и уже Ростопчин построил на этом свой план защиты Москвы при нашествии Наполеона. В мужике цельнее всего сохранилась незлобивость натуры, удрученной обстоятельствами. Его легко убедить, что предать огню замки господ со всеми их богатствами — дело справедливое и богоугодное. Охватив Россию, пожар перекинется на весь мир. Тут подлежит уничтожению все то, что, освещенное в глубину, с высоты философской мысли, с высоты современной европейской цивилизации, является источником одних лишь несчастий человечества. Привести в движение разрушительную силу — вот цель, единственно достойная разумного человека.

Развивая свои ужасные идеи и заметив, что мои глаза страдают от резкого света, Бакунин целый час держал, несмотря на мое сопротивление, свою широкую ладонь, закрывая меня от лампы. Разрушение современной цивилизации — идеал, который наполнял его энтузиазмом.

Он говорил лишь об одном: как для этой цели использовать все рычаги политического движения, и его планы нередко вызывали у окружающих веселые иронические замечания. К нему приходили революционеры всевозможных оттенков. Ближе всего ему, конечно, были славяне, так как их он считал наиболее пригодными для борьбы с русским деспотизмом. Французов, несмотря на их республику и прудоновский социализм, он не ставил ни во что. О немцах он со мной никогда не разговаривал. К демократии, к республике, ко всему подобному он относился безразлично, как к вещам несерьезным.

Когда говорили о перестройке существующих социальных основ, он обрушивался на возражающих с уничтожающей критикой. Помню, как один поляк, испуганный его теорией, сказал, что должна же быть хоть какая-нибудь государственная организация, которая могла бы обеспечить человеку возможность пользоваться плодами трудов своих. Бакунин ответил: «Тебе придется, стало быть, огородить свое поле и создать полицию для его охраны». Поляк сконфуженно замолчал. Устроители нового мирового порядка найдутся сами собой, говорил он нам в утешение. Теперь необходимо думать только о том, как отыскать силу, готовую все разрушить. Неужели, спрашивал он, кто-нибудь из нас безумен настолько, что надеется уцелеть в пожаре всеобщего развала. Представим себе, что весь европейский мир, с Петербургом, Парижем и Лондоном, сложен в один костер. Можно ли думать, что люди, которые зажгут его, начнут потом строить на его обломках? Тем, кто заявлял о своей готовности пожертвовать собой, он отвечал возражением, производившим сенсацию, что не в тиранах дело, что все зло — в благодушных филистерах. Типом такого филистера он представлял себе протестантского пастора. Он не мог допустить, чтобы немецкий пастор был в состоянии стать истинным человеком.

Он поверил бы этому только в том случае, если бы тот самолично предал огню все свое поповское достояние, свою жену и детей.

230

Вербное воскресение 1849 года. Оберфейерверкер

Все эти ужасные речи смущали особенно потому, что с другой стороны Бакунин представлялся человеком, относившемся ко всему с тонкой и нежной чуткостью. Мои отчаянные беспокойства об искусстве, мои идеальные стремления в этой области были ему понятны. Но он отклонял всякую попытку с моей стороны ближе познакомить его с моими задачами. О работе над «Нибелунгами» он не хотел слышать ничего. Под влиянием Евангелия я набросал для идеальной сцены будущего трагедию под названием «Иисус из Назарета». Бакунин просил меня пощадить его и не знакомить с этой вещью. Но так как мне все же удалось устно передать ему сущность моего замысла, он пожелал мне успеха, но усиленно просил, чтобы Иисуса я обрисовал человеком слабым. Что касается музыки, он советовал при композиции варьировать лишь один текст: пусть тенор поет — «Обезглавьте его!», сопрано — «Повесьте его!», а неумолкаемо гудящий бас — «Сожгите, сожгите его!» Однажды мне удалось уговорить его прослушать первые сцены «Летучего Голландца». Я играл и пел, и этот страшный человек обнаружил себя тут с совершенно неожиданной стороны. Он слушал музыку внимательнее всех других. А когда я сделал перерыв, он воскликнул: «Как прекрасно!» И просил играть еще и еще.

Так как ему приходилось вести печальную жизнь скрывающегося от преследований беглеца, я иногда зазывал его вечером к себе. Жена подавала к ужину нарезанную мелкими кусками колбасу и мясо, и вместо того

чтобы, по саксонскому обычаю, экономно накладывать их на хлеб, он сразу поглощал все. Заметив ужас Минны, я осторожно стал поучать его, как у нас едят это блюдо. На это он ответил с улыбкой, что поданного на стол достаточно, что, хотя он чувствует свою вину, ему надо позволить справиться с блюдом по-своему. Не нравилось мне также, как он пил вино из небольшого стакана. Вообще он не одобрял этого напитка. Ему была противна та филистерская медленность, с какой благодушный обыватель напивается допьяна, поглощая вино маленькими дозами. Хороший стакан водки приводит к той же цели быстро и решительно. Ненавистнее всего были для него рассчитанная умеренность, умышленно медленный темп наслаждения. Истинный человек стремится только к самому необходимому удовлетворению своих потребностей. Существует только одно наслаждение, достойное человека: любовь.

231

Михаил Бакунин

Эти и другие экстравагантные черты показывают, что в Бакунине антикультурная дикость сочеталась с чистейшим идеализмом человечности. Мои впечатления от него постоянно колебались между невольным ужасом и непреодолимой симпатией. Я часто брал его с собой на свои одинокие прогулки, и так как здесь он мог не бояться своих преследователей, он охотно принимал такие приглашения, нуждаясь в каком-нибудь моционе. Все попытки ближе обрисовать перед ним цель моих эстетических стремлений оставались бесплодными, так как мы не могли выйти за пределы чисто словесных дискуссий. Мои идеи казались ему чересчур запутанными. Он утверждал, что, исходя из потребностей гнусной действительности нельзя

творить законов для будущего: будущее должно вырасти из совершенно других условий общественности.

Так как каждый разговор он неуклонно сводил к разрушению, то я обратился к этому удивительному человеку с вопросом, как он думает приступить к делу. Тут обнаружилось, как я уже догадывался раньше и как это выяснилось теперь с полной отчетливостью, что все у него построено на произвольных предположениях. С моими планами организации искусства будущего я рисовался ему человеком непрактичным, витающим в облаках. Но оказалось, что и его проекты относительно неизбежного разрушения существующих культурных учреждений по меньшей мере так же мало основательны, как мои. Можно было подумать, что Бакунин является центром универсальной конспирации.

Но вот выяснилось, что его практическая задача сводится лишь к замыслу вызвать новое революционное брожение в Праге, причем вся надежда в этом отношении возлагалась на организацию нескольких студентов. Когда ему показалось, что час восстания настал, он однажды вечером начал готовиться к небезопасному для него переезду в Прагу, раздобыв паспорт английского купца. Ему пришлось остричь и обрить свои великолепные кудри и бороду и придать себе филистерски культурный вид. Так как пригласить парикмахера нельзя было, Рёкель принял дело на себя. Операция эта была произведена в присутствии небольшого кружка знакомых, тупой бритвой, причинявшей величайшие муки. Пациент сохранял невозмутимое спокойствие. Отпустили мы Бакунина в полной уверенности, что живым больше его не увидим. Но через неделю он вернулся обратно, убедившись на месте, как легкомысленны были доставленные ему сведения о положении дел в Праге: там к его услугам оказалась кучка

полувзрослых студентов. Рёкель добродушно посмеивался над ним, и отныне он стяжал у нас славу революционера, погруженного в конспирацию только с теоретической стороны.

Приблизительно то же, что с пражскими студентами, вышло у него впоследствии и с русским народом. Все его предположения оказались ни на чем не основанными, произвольными, идущими из теоретических обобщений относительно существа предмета. Я пришел к убеждению, что слава чрезвычайно опасного человека, которой он был окружен в широких европейских кругах, вытекала из теоретической пропаганды его воззрений, а не из его практической работы на почве действительной жизни. Но я имел возможность убедиться, что в его личном поведении не было никаких эгоистических расчетов, как это часто бывает среди людей, которые несерьезно относятся к своим собственным теориям. Это скоро обнаружилось в дни рокового восстания в мае 1849 года.

232

«Обезглавьте его!»

Всю зиму, до самой весны 1849 года, я провел благодаря описанным выше обстоятельствам и настроениям в состоянии смутного брожения. Эскиз пятиактной драмы «Иисус из Назарета», набросанный приблизительно к Новому году, был последней моей работой в области искусства. С тех пор я жил среди неясных мыслей, желаний и надежд. Я сознавал, что моей дрезденской художественно-артистической деятельности пришел конец. Положение мое было настолько тягостно, что я ждал случая, чтобы обстоятельства заставили меня окончательно развязаться с ним. С другой стороны, политическая ситуация в Германии и Саксонии предвещала неизбежную катастрофу.

Она приближалась с каждым днем, и мне нравилось связывать свою личную судьбу с общим положением вещей. Реакция сознательно и открыто провоцировала общество, так что в ближайшем будущем можно было ждать решительных схваток. Я не испытывал страстного желания принять в них деятельное участие, но без оглядки готов был броситься в поток движения, куда бы он ни привел меня.

Как раз в это время в судьбу мою вплелось событие, к которому я отнесся сначала скептически: в марте Лист известил меня о предстоящей под его управлением постановке в Веймаре «Тангейзера» — первой постановке после Дрездена. С большой скромностью он сообщал, что все это предприятие является результатом его личного желания. Чтобы обеспечить себе успех, он пригласил в Веймар на оба первых представления Тихачека. Вернувшись оттуда, Тихачек рассказал о хорошем приеме, оказанном моей опере, чем положительно поразил меня. Кроме гонорара, я получил от Великого герцога золотую табакерку, которая служила мне до 1864 года. Все это было ново и казалось настолько странным, что я был склонен отнестись к радостному событию как к случайному эпизоду, как к дружескому капризу крупного художника. К чему мне все это теперь, спрашивал я сам себя? Не слишком ли поздно, не слишком ли рано? Вскоре я получил любезное письмо от Листа. Он сообщал, что в мае предстоит третья постановка «Тангейзера» и что, желая сохранить оперу в репертуаре, он намерен поставить ее исключительно при содействии местных сил. Это побудило меня поехать ненадолго в Веймар, для чего я испросил отпуск на вторую неделю мая. До представления оставалось несколько дней, но дни эти были роковые.

Первого мая новое министерство Бейста, созванное королем под давлением реакции, распустило палаты. Пришлось подумать о Рёкеле и его семье. В качестве депутата

он был в безопасности от уголовных преследований, с момента же роспуска палат он был беззащитен. Необходимо было бегством спастись от нового тюремного заключения. Так как лично помочь ему я не имел возможности, то я обещал позаботиться в его отсутствие о выходе издаваемой им газеты. Это был единственный источник поддержки для его семьи. Едва только Рёкель успел бежать через богемскую границу, в то самое время, когда я в величайшем замешательстве хлопотал над очередным номером «Народных листков», в Дрездене разразились давно ожидаемые события. Начался настоящий вихрь депутаций, демонстрации толпы, яростные вечерние заседания всевозможных обществ. Появились все признаки, предшествующие восстанию. Третьего мая внешний вид улиц со снующими по ним толпами взволнованного народа свидетельствовал о том, что дело близится к тому концу, которого, несомненно, добивались власти. Правительство с неожиданной твердостью отклоняло всякие депутации, требовавшие признания немецкой союзной конституции.

После обеда я присутствовал на заседании президиума «Отечественного союза», но лишь в качестве гостя, в интересах «Народных листков», заботиться о которых я считал своей обязанностью по соображениям экономическо-гуманного характера. Здесь меня неожиданно поразило поведение тех людей, которые, пользуясь расположением народа, стали во главе подобного рода обществ. Разыгрывавшиеся события были им неприятны, в особенности, когда стало известно о случаях террора со стороны низших активных слоев населения по отношению к представителям демократических теорий.

Я слушал всевозможные дикие предложения и нерешительные возражения на них. Основной темой была необходимость подумать о защите. Говорили о милиции и доставке оружия. Во всем чувствовалась крайняя неуверенность.

Когда внезапно решено было разойтись по домам, у меня осталось впечатление полного замешательства. Ушел я вместе с молодым художником Кауфманом, ряд картонов которого, озаглавленных «История Духа», я недавно видел на Дрезденской художественной выставке. От одного из них, изображающего пытки еретика в испанском инквизиционном суде, король Саксонский отвернулся, неодобрительно качая головой, как от рисунка с несвойственным искусству сюжетом. Кауфман был бледен и расстроен. С большой тревогой смотрел он на приближающиеся события. Когда, разговаривая, мы очутились на почтовой площади, невдалеке от фонтана, устроенного по указаниям Земпера, с ближайшей колокольни церкви Святой Анны внезапно раздался набат. То был призыв к восстанию. «Господи, начинается!» — в ужасе воскликнул мой спутник и куда-то скрылся. Впоследствии я узнал, что он живет в Берне как политический эмигрант. Но более я его не видел.

233

Антикультурная дикость и чистейший идеализм человечности

Звон набатного колокола произвел и на меня глубокое впечатление. Была ясная, солнечная погода, и со мной повторилось то же самое, что случилось с Гёте, когда он услышал канонаду при Вальми. Вся площадь показалась мне озаренной темно-желтым, коричневым светом, как в то солнечное затмение, которое я наблюдал когда-то в Магдебурге. Я почувствовал особенное оживление. Хотелось вдруг поиграть чем-нибудь таким, чему обыкновенно придаешь серьезное значение. Внезапно пришло мне в голову, вероятно по близости расстояния, пойти к Тихачеку и попросить у этого страстного охотника его огнестрельное оружие. Я нашел его жену, сам он был в отпуске. Ее страх перед надвигающимися событиями вызвал во мне

прилив бурного веселья. Я посоветовал ей весь охотничий арсенал ее мужа передать в комитет «Отечественного союза» под расписку, иначе им непременно овладеет восставшая толпа. Впоследствии я узнал, что моя эксцентричная веселость была зачтена мне самым серьезным образом в преступление.

Отсюда я пошел на улицу, чтобы убедиться, происходит ли там, кроме набата и желтоватого солнечного затмения, еще что-нибудь. Я попал на старый рынок, где увидел группу людей, оживленно о чем-то беседовавших. К величайшему изумлению, я нашел здесь Шрёдер-Девриент, только что приехавшую из Берлина. Она была потрясена известием, что в народ стреляли. Недавно только ей пришлось быть свидетельницей того, как силой оружия была подавлена попытка к восстанию. Теперь она была возмущена, что в ее мирном Дрездене происходит то же самое. Обступившая ее грубая толпа относилась к ее возмущению с бессмысленным юмором. Отвернувшись, она заметила меня и, по-видимому, обрадовалась, найдя человека, к которому можно обратиться с просьбой употребить все усилия и не дать разразиться надвигающемуся кровопролитию.

На другой день я встретился с ней в доме моего старого друга Гейне, где она нашла пристанище. Здесь, видя мое хладнокровие, она снова стала заклинать меня пустить в ход все средства, какие только могли находиться в моем распоряжении, чтобы не позволить разыграться бессмысленной, братоубийственной борьбе. Как я узнал впоследствии, ее поведение подало повод властям возбудить против нее обвинение в государственной измене и в возбуждении народа к восстанию. В течение процесса ей пришлось употребить много усилий, чтобы доказать свою непричастность к делу и спасти пенсию, оговоренную в контракте и выслуженную ней за долголетнюю работу в Дрезденской опере.

234

Приближение катастрофы. Вихрь депутаций, демонстрации толпы. Призыв к восстанию

В тот же день, 3 мая, я отправился в ту часть города, откуда доходили слухи о кровопролитном столкновении. Как я узнал, схватка вышла у цейхгауза. Возбужденная толпа хотела силой взять этот стратегический пункт, но солдаты разогнали ее картечью. Когда я подходил по Рамише-гассе к этому месту, я наткнулся на несколько человек из дрезденской муниципальной гвардии, совершенно безвинно попавших под огонь. Одного из них, раненного в ногу, вел товарищ, заботливо поддерживая его под руку. Он старался бодро двигаться вперед, но правая нога не подчинялась его воле. За ним на мостовой оставался кровавый след, и из толпы раздавались крики: «Он истекает кровью!» Зрелище это сильно потрясло меня, и я как-то сразу понял смысл со всех сторон раздававшегося крика: «На баррикады! На баррикады!»

Увлекаемый толпой, я вместе с ней двинулся к ратуше на Старом рынке. Улицы были полны возбужденного народа, но особенно бросилась мне в глаза весьма внушительная колонна, двигавшаяся во всю ширину Розмариненгассе. То были люди, своим внешним обликом, несколько утрированным, напоминавшие мне тех беглецов из Вены, которые явились когда-то в театр и просили свободного входа на «Риенци». Был здесь и горбун, напоминавший гётевского Фанзена в «Эгмонте». Я видел, как при раздававшихся вокруг яростных восклицаниях он потирал от удовольствия свои длинные руки: наставшее после долгого ожидания революционное возбуждение, видимо, радовало его. С этого момента, помню совершенно ясно, ход необыкновенных событий глубоко заинтересовал меня. Я не испытывал прямого желания вмешаться в ряды

борцов, но возбуждение и участие к происходящему росло во мне с каждым шагом. Не сливаясь с бушующей толпой, я проник в здание ратуши. Сначала мне показалось, что городские власти действуют с народом заодно. Но, попав незамеченный в самый зал заседания, я убедился, что здесь царят полнейшие замешательство и растерянность. С наступлением ночи я медленно направился домой, в отдаленный Фридрихштадт, пробираясь через сооружаемые везде баррикады.

На следующий день я решил рано утром опять отправиться в центр города для наблюдения за ходом неслыханных событий. В четверг 4 мая стало выясняться, что ратуша становится главным центром революционного движения. Скоро распространился слух, что король со всей свитой по совету министра Бейста покинул дворец и по Эльбе отправился в крепость Кёнигштайн. Тех, кто еще надеялся на мирное соглашение с монархом, известие это страшно встревожило. При таких обстоятельствах городское управление, не решаясь брать на себя ответственность за происходящее, обратилось с воззванием к находящимся в Дрездене депутатам, членам саксонского парламента. Эти последние собрались в ратуше, чтобы обсудить создавшееся положение и принять необходимые меры для восстановления нарушенного порядка. Отправлена была депутация в Совет министров, но она вернулась с известием, что нигде нельзя найти министров. Затем стали подтверждаться доносившиеся со всех сторон слухи, что по состоявшемуся соглашению войска прусского короля двинулись на оккупацию Дрездена. Одна мысль овладела всеми: помешать вторжению чужих войск. В это время было получено известие об успехах народного движения в Вюртемберге, где войска остались верны парламенту и тем расстроили планы реакционеров. Они заставили правительство признать незыблемость немецкой союзной конституции.

Эти слухи ободрили собравшихся в ратуше. Появилась надежда, что дело будет мирно улажено, если удастся побудить саксонские войска вести себя так же, как вели себя вюртембергские. Это должно было внушить королю спасительное решение: воспротивиться, по чувству патриотизма, оккупации страны пруссаками. Все как будто сводилось к одному: разъяснить находящимся в Дрездене саксонским войсковым частям решающую важность их поведения. Я лично видел в этом надежду добиться почетного мира, выход из бессмысленной хаотической путаницы. В этот единственный раз я увлекся до того, что сам задумал и выполнил демонстрацию, оставшуюся, впрочем, без всякого результата. Совершенно в духе «Народных листков» я заставил отпечатать крупными заглавными литерами, имевшимися в распоряжении типографии, в одну строку на длинных полосах бумаги следующий вопрос: «С нами ли вы против чужих войск?» Действительно, эти плакаты были укреплены на тех баррикадах, которым предстояло выдержать штурм саксонских солдат. Они должны были войскам, выведенным в бой, предначертать их поведение. На деле никто не обратил на них никакого внимания, за исключением доносчиков.

День прошел в величайшем возбуждении, везде царило полнейшее замешательство. Никто не знал истинного положения вещей. Но для наблюдателя старый город, покрытый баррикадами, представлял большой интерес. В высшей степени любопытно было следить, как все готовились к серьезному сопротивлению. Неожиданно я встретил на улице Бакунина. В черном фраке, с неизбежной сигарой во рту, он бродил открыто по городу, среди запруженных улиц. Я был уверен, что дрезденские события должны его наполнять восторгом. Оказалось, что я ошибался. В принимаемых населением мерах защиты он видел только признаки детской беспомощности. При этом

для себя лично он усматривал только одно удобство: возможность не прятаться от полиции и спокойно выбраться из Дрездена. Дело не казалось ему настолько серьезным, чтобы побудить его принять в нем личное участие.

Пока он с сигарой во рту весело обсуждал состояние дрезденской революции, взоры мои вдруг приковало новое зрелище: у ратуши в полном вооружении по призыву коменданта собралась муниципальная гвардия. Из рядов особенно почетной стрелковой части вышли ко мне Ритшель и Земпер. Ритшель был очень озабочен всем происходившим. А Земпер, полагая, что я стою близко к центру дела, стал мне жаловаться, что очутился в чрезвычайно трудном положении. Отборная часть гвардии, к которой он принадлежал, отличается крайне демократическим направлением, он же, профессор Академии художеств, не знает, как примирить это обстоятельство с обязанностями чиновника. Слово «чиновник» в его устах произвело на меня необыкновенно комическое впечатление. Я пристально посмотрел в глаза Земперу и повторил: «Чиновник!» Со странной улыбкой он молча отошел от меня без дальнейших объяснений.

235

Дрезденская революция. Бегство в Швейцарию

На следующий день, в пятницу, 5 мая, гонимый страстным интересом наблюдателя, я опять пробрался в ратушу и убедился, что дела принимают решительный оборот. Собравшиеся депутаты саксонского парламента в главной своей массе пришли к заключению, что так как фактически саксонского правительства больше не существует, то необходимо приступить к организации временной власти. Профессору Кёхли, обладавшему прекрасным ораторским талантом, было поручено объявить об этом с балкона

народу, что он торжественно и выполнил перед собравшимися на площади верными долгу частями муниципальной гвардии и не особенно многочисленными толпами граждан. Тут же было заявлено о сохранении в полной силе германской союзной конституции, и вооруженный народ был приведен к присяге. Припоминаю, что все это не вызвало во мне особенного подъема. Напротив, я начинал понимать истинный смысл замечаний Бакунина, все время мелькавшего перед глазами, его отношение к актам такого рода.

С технической стороны его пессимизм вполне подтвердился. Земпер в полной форме стрелка, в шляпе знаменосца вызвал меня из ратуши и, к моему величайшему удивлению и не меньшей забаве, стал указывать на то, как неумело строятся баррикады, особенно одна, на углу Вильсдруффер-гассе и Брюдергассе. Чтобы успокоить его артистическое чувство инженера, я направил его в кабинет специально избранной военной комиссии обороны. Он последовал моим указаниям, как бы исполняя свой долг. По-видимому, там ему дали необходимые полномочия для ведения важных работ по перестройке плохо защищенного пункта. С тех пор я его в Дрездене больше не видел. Надо думать, что он исполнил возложенную на него стратегическую работу как истинный архитектор, с художественно-артистической добросовестностью какого-нибудь Микеланджело или Леонардо да Винчи.

236

Переговоры о перемирии тянулись до следующего дня. Энергией и ораторским даром выделился при этом мой бывший университетский приятель, адвокат Маршалль фон Биберштайн. В качестве одного из обер-офицеров дрезденской коммунальной гвардии он сделал больше, чем все остальные ораторы. В тот же день был избран комендант дрезденских народных боевых сил, бывший

греческий полковник Хайнце. Бакунина, то и дело показывавшегося в разных пунктах города, все это не успокаивало. Временное правительство стремилось мирно разрешить вопрос при помощи морального воздействия. Он ясно видел, что пруссаки готовятся к хорошо обдуманному наступлению, и полагал, что необходимо выработать соответствующие стратегические меры, чтобы встретить их готовыми к бою. А так как восставшим саксонцам недоставало солидных воинских сведений, то он настойчиво предлагал призвать опытных польских офицеров, находившихся в Дрездене. Все с ужасом отшатнулись от этого плана. Чего-то ждали от находившегося при последнем издыхании союзного правительства во Франкфурте. Стремились идти по строго легальному пути, держаться принципов парламентаризма.

Жизнь тем временем текла довольно приятно. В прекрасный весенний вечер знатные дамы разгуливали со своими кавалерами по забаррикадированным улицам. Похоже было на интересный спектакль. Меня охватило благодушное настроение, не лишенное юмора. Казалось, что все это несерьезно, что миролюбивая прокламация от лица правительства все приведет в порядок. С такими мыслями я поздно вечером медленно пробирался сквозь многочисленные преграды на свою отдаленную квартиру. Я размышлял о занимавшем меня с некоторого времени плане написать драму под заглавием «Ахиллес». Дома я застал моих двух племянниц, Клару и Оттилию Брокгауз, дочерей сестры моей Луизы, живших в последний год в Дрездене у одной воспитательницы. Они бывали у меня раз в неделю и вносили струю веселья в мою обстановку. Все оказались в благодушно-революционном настроении, все симпатизировали баррикадам и без стеснений желали их защитникам победы.

Так прошел весь день пятницы 5 мая, пока длилось перемирие. Отовсюду доходили известия, которые заставляли

верить в возможность общего восстания по всей Германии. Баден, Пфальц поднялись на защиту союзной конституции, из отдельных городов, как из Бреслау, доносились слухи в таком же духе, в Лейпциге образовался корпус студентов, спешивших в Дрезден на помощь. Они прибыли сюда и были приняты населением с энтузиазмом. В ратуше организовался особый департамент защиты, в котором, между прочим, принимал участие молодой Гейне, так жестоко обманутый в своих надеждах на постановку «Лоэнгрина». Из саксонских рудников доходили известия о живом сочувствии дрезденскому движению и о готовой вооруженной помощи. Казалось, что, если только Альштадт будет покрыт хорошими баррикадами, непременно удастся отстоять Дрезден от оккупации.

В субботу 6 мая, рано утром, обнаружилось, что дело становится серьезнее: прусские войска вступили в Нойштадт. Прежде не решались пускать в атаку саксонских солдат, теперь они должны были исполнить свой солдатский долг. В полдень истек срок перемирия, и сейчас же войска, поддерживаемые артиллерией, начали наступление на одну из главных позиций восставших, расположенную наНоймаркте. Я все еще был уверен, что, как только начнется серьезная борьба, дело будет закончено в короткий срок, так как ни сам я, ни окружающие не проявляли серьезной решимости защищаться, а без страстного подъема такие дела не делаются. Было мучительно издали прислушиваться к стрельбе, хотелось самому наблюдать за ходом событий, и мне пришла в голову мысль взобраться на *Kreuzturm*. Оттуда было видно не все, но многое. Войска, поддерживавшие в течение часа сильный огонь, сначала медленно подвигались вперед, но потом отступили и, наконец, совершенно замолкли. Вдруг до меня донеслись ликующие крики восставших. Первый натиск был отбит. С этого мгновения мое участие в событиях стало принимать более страстную окраску.

Чтобы получить точные сведения, я поспешил к ратуше. Но там среди невероятного смятения я ничего не мог добиться, пока в одном из центральных пунктов не наткнулся на Бакунина, который дал мне следующие необыкновенно точные сведения: с осаждаемой баррикады на Ноймаркте в главную квартиру прибыло известие, что защитники ее совершенно разбиты и рассеялись под натиском войск. Тогда друг мой Маршалль фон Биберштайн вместе с Лео фон Цихлинским, членом комиссии обороны, вызвали добровольцев и с ними отправились к месту, находящемуся в опасности. Совершенно безоружный, с обнаженной головой, фрайбергский окружной начальник Хойбнер, член временного правительства, оставшийся на своем посту (двое других, Тодт и Чирнер, скрылись при первой же тревоге), взошел на покинутую защитниками баррикаду и, обернувшись спиной к войскам, в горячих словах убеждал добровольцев последовать его примеру. Успех был полный. Баррикада была отбита, и оттуда на войска был направлен такой неожиданно энергичный огонь, что они принуждены были отступить.

Этот эпизод, который я наблюдал с высоты, разыгрался на глазах у Бакунина, примкнувшего к добровольцам. Бакунин заявил мне, что, как бы ни были ограничены политические воззрения Хойбнера (он принадлежал к умеренно левым в саксонском парламенте), это благородный человек, которому он немедленно отдает себя в полное распоряжение. Он, Бакунин, пережил то, к чему стремился. Теперь он знает, что ему следует делать. Надо рискнуть головой и больше ни о чем не спрашивать. Хойбнер тоже, по-видимому, понял необходимость энергических мер, и предложения Бакунина нисколько не пугали его. При коменданте, неспособность которого быстро выяснилась, был образован военный совет из опытных польских офицеров. Бакунин, сам ничего не понимавший в вопросах стратегии,

не покидал ратуши и Хойбнера, помогая советами и проявляя удивительное хладнокровие.

Конец дня прошел в перестрелке на различных пунктах между восставшими и войсками. Мне снова захотелось взобраться на Kreuzturm и оттуда следить за всей картиной. Чтобы проникнуть туда, надо было пройти площадь, непрерывно обстреливаемую солдатами, которые расположились в королевском дворце. Площадь была совершенно пуста, но мне хотелось пройти ее медленными шагами, причем я тут же, кстати, вспомнил, что молодым солдатам советуют в таких случаях не слишком торопиться, чтобы не навлечь на себя выстрелов. Добравшись до башни, я нашел там много народу: одних привлекло то же, что и меня, другие были командированы для наблюдения за неприятелем. Здесь я познакомился с учителем Бертольдом, спокойным, кротким, но убежденным и решительным человеком. У нас завязался серьезнейший философский спор, в котором оказались затронутыми отвлеченнейшие вопросы религии. У башенного сторожа он добыл соломенный тюфяк, чтобы защитить нас от солдатских пуль, то и дело долетавших сюда: прусским стрелкам, расположившимся на башне Фрауенкирхе, было приказано обстреливать занятую нами позицию.

Мне ни за что не хотелось покидать с наступлением ночи свой интересный наблюдательный пост и отправляться домой, поэтому я уговорил сторожа послать своего помощника к моей жене во Фридрихштадт и принести оттуда чего-нибудь поесть. Так провел я под жуткое гуденье колокола и под непрестанное щелканье прусских пуль о стены одну из самых удивительных ночей в моей жизни. Мы с Бертольдом поочередно спали и бодрствовали на страже. Воскресенье 7 мая было одним из прелестнейших дней в этом году. Меня разбудила песня соловья, долетавшая из расположенного невдалеке сада. Тишина и мир

царили над городом, над широкими его окрестностями, видимыми с высоты. Только перед самым восходом солнца их окутал легкий туман, сквозь который я вдруг услышал ясно и отчетливо долетавшую ко мне со стороны Тарандтер-штрассе музыку Марсельезы.

По мере того как звуки приближались, туман рассеивался, и ярко-красное солнце сверкнуло на блестящем вооружении длинной колонны, приближавшейся к городу. Нельзя было не поддаться восторгу при виде этого чудесного зрелища. Та стихия, присутствие которой я так долго отрицал в немецком народе, отрицал безнадежно, немало содействуя этим росту собственного пессимистического настроения, вдруг восстала перед моими глазами с необыкновенной живостью. Колонна не менее чем в тысячу хорошо вооруженных и организованных рудокопов, большей частью из Рудных гор, спешила на защиту Дрездена. Скоро увидели мы ее на Альтмаркте против ратуши, где, встреченная радостными криками народа, она расположилась лагерем на отдых. Подобные партии прибывали в течение всего дня. Это была награда за мужество вчерашнего дня, благотворно повлиявшая на дух народа. Солдаты, по-видимому, изменили тактику: они отказались от решительной атаки на определенный пункт и стали одновременно обстреливать разные места. Прибывшие к нам на помощь привезли четыре небольших пушки, принадлежавших господину Дате фон Бургку, с которым я познакомился на торжестве открытия Дрезденского певческого общества. Он произнес тогда чрезвычайно благожелательную, но до смешного скучную речь. Когда палили с баррикад по солдатам, эта канонада — о, ирония, судьбы! — почему-то напомнила мне его речь.

Несравненно внушительней было мое впечатление, когда около одиннадцати часов я увидел старое оперное здание, то самое, в котором несколько недель тому назад я

дирижировал Девятой симфонией, объятое пламенем пожара. Как я уже упоминал, это временно построенное здание, переполненное деревом и полотном, представляло опасность в пожарном отношении: обстоятельство, бывшее источником вечных опасений для посетителей. Мне объяснили, что его подожгли из стратегических соображений, чтобы иметь возможность отбить опасную атаку солдат и защитить знаменитую земперовскую баррикаду от неожиданного нападения. Отсюда можно было сделать нравоучительный вывод, что такие соображения играют в жизни гораздо большую роль, чем мотивы эстетического характера. Этих последних оказывалось всегда недостаточно, чтобы снести отвратительное здание, обезображивающее элегантный Цвингер. Наполненный горючим материалом дом, импонировавший своими размерами, стал жертвой огня в несколько минут. Когда пламя достигло железных кровель близлежащих галерей Цвингера и они словно задвигались в его голубоватых волнах, зрители стали высказывать опасения, как бы не пострадали естественнонаучные коллекции. Другие думали, что пламя угрожает оружейной палате с ее старинными рыцарскими доспехами, причем один из граждан нашел, что жалеть нечего: пусть сгорят эти дворянские чучела. Однако пожар локализировали, по-видимому, из уважения к искусству, так как на деле он особых убытков причинить не мог.

Наш сравнительно тихий смотровой пункт оказался вскоре переполненным вооруженными людьми, командированными сюда для охраны Альтмаркта. Опасались нападения со стороны плохо защищенного Кройц-гассе. Невооруженным здесь делать было нечего. Кроме того, ко мне явился посол от жены, смертельно встревоженной, с просьбой идти домой. Лишь с большим трудом и с большой потерей времени удалось мне пробраться обходными путями в мое отдаленное предместье. Борьба

была в полном разгаре, а со стороны Цвингера гремела усиленная канонада. Дом мой оказался переполненным взволнованными женщинами, и между ними была до смерти встревоженная жена Рёкеля, совершенно уверенная в том, что ее муж, узнав о восстании в Дрездене, бросился сюда и, конечно, находится в самом центре битвы. Действительно, я слышал, что Рёкель вернулся, но лично его не видел. Чрезвычайно забавляли меня мои молодые племянницы: они были в восторге от непрестанной стрельбы и заразили своим настроением даже жену, после того как она успокоилась на мой счет. Все были возмущены поведением скульптора Хэнеля, державшего свой дом наглухо запертым, чтобы туда не проникли революционеры. Особенный ужас внушали ему люди, вооруженные косами, и все женщины без исключения потешались над ним за это. Так прошло при праздничном подъеме воскресенье.

237

На следующий день, в понедельник утром 8 мая, я из своей отрезанной от поля битвы квартиры опять попытался проникнуть к ратуше, чтобы справиться о положении дел. Когда возле церкви Святой Анны я перелезал через одну из баррикад, какой-то муниципальный гвардеец крикнул мне: «Господин капельмейстер, *Freude schöner Gotterfunken* — возгорело и сожгло гнилое здание!» Очевидно, это был один из восхищенных слушателей, присутствовавших на последнем концерте при исполнении Девятой симфонии. Его неожиданный пафос при таких обстоятельствах подействовал на меня освежающим образом. Он освободил во мне какие-то силы.

Несколько далее, на уединенных улицах предместья Плауен, я наткнулся на камерного музыканта Хибендаля, доныне очень уважаемого гобоиста Королевской капеллы.

В форме муниципального гвардейца, без вооружения, он болтал с каким-то господином, облаченным так же, как он. Как только он меня увидел, он стал просить моего заступничества против Рёкеля, обыскивавшего в сопровождении отряда революционеров этот квартал с целью найти оружие. Но когда я стал с участием расспрашивать его о Рёкеле, он сначала испугался, а потом озабоченно спросил меня: «Однако, господин капельмейстер, разве вы не боитесь потерять свою должность, высказываясь с такою откровенностью?» Это напоминание раззадорило меня. Я громко расхохотался и объяснил, что невысоко ценю свое положение капельмейстера. Скрытое настроение радостно вырвалось наружу. В эту минуту я увидел Рёкеля в сопровождении двух милиционеров, которые несли оружие. Он дружески со мной поздоровался, но тут же обратился к Хибендалю и его товарищу с упреком: почему, будучи в мундире муниципальной гвардии, они не находятся на своем посту? Хибендаль оправдывался тем, что у него отняли оружие, на что Рёкель воскликнул: «Нечего сказать, славные ребята!» — и со смехом двинулся вперед.

Пока мы шли вместе, он рассказал мне коротко, что произошло с ним за время его отсутствия в Дрездене, и выслушал отчет о «Народных листках». В эту минуту нас разделил значительный отряд хорошо вооруженных молодых людей, членов гимнастических обществ, только что прибывших в Дрезден и просивших указать дорогу на предназначенный им сборный пункт. Зрелище многих сотен решительно настроенных юношей сильно повысило мое настроение. Рёкель взял на себя задачу провести их через лабиринт баррикад на площадь, прилегающую к ратуше. В разговоре он жаловался на недостаток настоящей энергии со стороны командующих. Он предложил на баррикадах, находящихся в особенной опасности, применить

«смоляные венки». Но представители временного правительства пришли в добродетельный ужас от одних этих слов.

Не мешая ему идти своей дорогой, я кратчайшим путем стал пробираться к ратуше и с тех пор увидел его лишь через тринадцать лет. В ратуше я узнал от Бакунина, что временное правительство решилось принять его план. Надо было покинуть дрезденскую позицию, малопригодную для продолжительного сопротивления, и отступить отсюда в полном вооружении в Рудные горы, куда со всех сторон стекались — между прочим, и из Тюрингии — многочисленные вооруженные отряды. Начиналась немецкая народная война, и занять превосходные позиции в горах представлялось наиболее разумным. Дальнейшая борьба на баррикадах при всем ее мужестве носила бы характер уличного мятежа.

Признаюсь, эта мысль показалась мне великолепной и значительной. То, что прежде возбуждало во мне сочувствие, не лишенное иронии и скептицизма, а потом вызвало большое удивление, расширилось в событие важное и полное глубокого значения. Я не чувствовал никакого желания, никакого призвания взять на себя какую-либо определенную функцию, но зато я совершенно махнул рукой на всякие соображения о личном положении и решил отдаться потоку событий: отдаться настроению с радостным чувством, похожим на отчаяние. Не желая, однако, оставить жену в Дрездене беспомощной, я быстро создал план, как увезти ее отсюда, ничего ей при этом не объясняя. Поспешно вернувшись во Фридрихштадт, я узнал, что эта часть города занята прусскими солдатами и совершенно отрезана от его внутренней части. Было ясно, что оккупация и военная осада влекли за собой для жителей нашего предместья массу неприятностей, и мне легко было уговорить Минну отправиться немедленно через свободную

Тарандтер-штрассе в Кемниц, к моей замужней сестре Кларе. Она очень быстро справилась со всем, что было необходимо устроить по дому, и обещала через час прийти с попугаем в ближайшую деревню, куда я отправился вперед с Пепсом, чтобы нанять лошадь до Кемница.

Было прекрасное весеннее утро, когда я в последний раз шел обычным путем моих одиноких прогулок, сознавая, что больше я сюда не вернусь. Пели жаворонки и взмывали вверх над полями, а из города доносилась неумолчная канонада. Но мозг мой до такой степени привык за последние дни к ружейным выстрелам, что, казалось, они преследовали меня еще долго потом: совершенно так, как после морского путешествия я чувствовал в Лондоне колебание почвы под ногами. Под звуки ужасной музыки я послал привет городу. Глядя на башни, виднеющиеся в отдалении, я с улыбкой констатировал, что если семь лет назад мое прибытие сюда было обставлено очень скромно, то теперь я покидаю Дрезден при обстоятельствах чрезвычайно торжественных.

238

Когда мы вместе с Минной продвигались по направлению к горам в экипаже, мимо нас часто проходили свежие вооруженные отряды. Зрелище это невольно радовало нас, и даже жена заговаривала с ними в ободряющем тоне: ни одна баррикада еще не взята. Напротив, отряд пехоты, молча направлявшийся в Дрезден, произвел на нас тяжелое впечатление. На вопрос, обращенный к некоторым из солдат, куда они идут, они отвечали сухой, заранее внушенной им фразой, что идут исполнить свой долг.

Когда мы прибыли в Кемниц, я испугал родных заявлением, что завтра же еду назад в Дрезден, чтобы узнать, как идут дела. Несмотря на все уговоры, я исполнил свое решение, надеясь по пути встретить отряды вооруженного

народа, покидающие город. Однако, чем ближе к Дрездену, тем более подтверждались слухи, что там и не думают ни о сдаче, ни об отступлении, так как борьба складывается очень благоприятно для народной партии. Все это казалось мне каким-то неслыханным чудом.

В самом напряженном настроении я снова, во вторник 9 мая, пробирался к ратуше в Альтштадт. Передвижение становилось все более и более затруднительным. Улицы были загромождены, и приходилось пролагать себе дорогу через рухнувшие дома. Наступил вечер. То, что я видел, было поистине ужасно, так как я проходил по тем частям города, где жители собирались отстаивать дом за домом. Непрерывный гром пушек и залпы ружей совершенно заглушали звуки перекликавшейся с баррикады на баррикаду, из прохода в проход шумевшей толпы вооруженного народа. Крики эти казались неясным жужжанием. Смоляные костры горели тут и там, переутомленные бледные люди лежали вокруг них на сторожевых постах. Строгие оклики и опросы встречали каждого проходящего. Но исключительное впечатление овладело мной, когда я вступил в ратушу. Здесь шла тяжелая борьба, организованная, серьезная. Следы величайшего утомления лежали на всех лицах, ни один голос не звучал натурально. Все хрипели тяжко. Только старые лакеи, в их странной форме и треуголках, сохраняли благодушный вид. Эти рослые люди, обыкновенно внушавшие такой страх, частью намазывали бутерброды, нарезали ветчину и колбасу, частью же выдавали огромные корзины, наполненные провиантом, посланцам от баррикад. Они превратились в заботливых «хозяек революции».

В ратуше я встретил скрывшихся со страху членов временного правительства Тодта и Чирнера. Они вернулись к исполнению своих обязанностей и, подобно теням, молча сновали взад и вперед, исполняя тяжелое дело. Один только

Хойбнер сохранил всю свою энергию, но вид его возбуждал жалость: лихорадочный огонь светился в его глазах, он не заснул ни на минуту в течение семи дней. Мое появление он приветствовал с радостным чувством, считая его хорошим предзнаменованием для защищаемого дела. Он пришел в соприкосновение с элементами, о которых в вихре событий не мог составить себе определенного представления.

Один только Бакунин сохранил ясную уверенность и полное спокойствие. Даже внешность его не изменилась ни на йоту, хотя и он за все это время ни разу не сомкнул глаз. Он принял меня на одном из матрацев, разложенных в зале ратуши, с сигарой во рту. Рядом с ним сидел очень молодой поляк (галициец), по имени Хаймбергер. Это был скрипач, для которого Бакунин недавно просил рекомендации к Липинскому. Бакунин не хотел, чтобы этот совершенно юный и неопытный человек, страстно привязавшийся к нему, втянулся в водоворот событий. Теперь он встретил его на одной из баррикад. Он взял его с собой в ратушу и каждый раз, когда тот вздрагивал от пушечного выстрела, давал ему здорового пинка. «Это тебе не скрипка, — говорил он ему, — оставался бы дома, музыкант».

От Бакунина я узнал кратко и точно обо всем, что произошло за время моего отсутствия. От решенного в те дни отступления отказались, так как боялись, что оно подействует деморализующим образом на прибывшие многочисленные отряды. Напротив, жажда битвы была так велика и силы защитников так значительны, что еще можно было успешно бороться с солдатами. Однако и войск прибыло за это время немало, и недавно комбинированная атака на сильную Вильдруффскую баррикаду имела успех. Прусские солдаты отказались от битвы на улицах и приняли другую тактику: они занимали дом за домом, проникая туда через пробитые стены. Можно было

предвидеть, что защита на баррикадах станет бесполезной и что враг медленно, но верно приблизится к ратуше, где заседает временное правительство. Бакунин предложил поэтому снести в погреба ратуши наличные пороховые запасы и взорвать ее, когда приблизятся войска. Городская управа, продолжавшая заседать где-то в задней комнатке, самым решительным образом протестовала против этого. Он, Бакунин, настаивал на необходимости этой меры. Но его перехитрили, удалив из ратуши весь порох и, кроме того, заручившись сочувствием Хойбнера, которому Бакунин ни в чем не противился. Таким образом, решено было, ввиду того, что дух восставших бодр, завтра с рассветом начать отступление в Рудные горы, причем молодому Цихлинскому поручено взять на себя стратегическое прикрытие дороги на Плауен.

Я спросил о Рёкеле. Бакунин ответил коротко: со вчерашнего вечера его более не видели. Возможно, что он попался в плен — он стал чересчур вспыльчив. Я со своей стороны сообщил обо всем, что видел по дороге в Кемниц и обратно, о хорошо вооруженных отрядах, о кемницкой муниципальной гвардии в несколько тысяч человек. Во Фрайберге я наткнулся на отряд в четыреста солдат-резервистов, шедших в превосходном порядке на помощь народным борцам, но задержавшихся там, чтоб отдохнуть от усиленного марша. Не решались, очевидно, прибегнуть к энергичному захвату обывательских телег. Было ясно, что, перешагнув лояльные границы, можно было бы значительно содействовать притоку свежих боевых сил.

Меня попросили немедленно отправиться обратно, чтобы передать этим людям согласие временного правительства на эту меру. Тут же вызвался проводить меня мой старый друг Маршалль фон Биберштайн, который в качестве члена временного правительства являлся для передачи такого рода приказаний гораздо более подходящим

человеком, чем я. Этот крайне деятельный революционер, совершенно измученный бессонницей и охрипший до полной потери голоса, пошел со мной из ратуши описанным выше трудным путем на свою квартиру в Плауенском предместье. Там он надеялся в ту же ночь достать для нас у одного знакомого кучера экипаж и заодно проститься с семьей, так как думал, что расстается с ней надолго.

В ожидании кучера среди спокойной беседы с дамами мы поужинали и напились чаю. Рано утром после ряда приключений мы добрались до Фрайберга, где я сейчас же принялся за розыски знакомых начальников отряда резервистов. Маршалль приказал им запастись по деревням телегами и лошадьми. Когда отряд отправился наконец в Дрезден, меня снова охватило страстное желание вернуться туда. Маршалль решил отправиться далее в глубь страны, чтобы выполнить и там свою задачу, и мы с ним расстались. С экстренной почтой я тронулся обратно от высот Рудных гор по направлению к Тарандту и в коляске заснул.

Вдруг меня разбудили громкие крики: почтальон с кем-то яростно спорил. Открыв глаза, я с величайшим изумлением увидел, что вся дорога занята вооруженными людьми, идущими не к Дрездену, а оттуда, и некоторые из них пытались воспользоваться экипажем, ссылаясь на усталость. «Что это значит? — воскликнул я, — куда вы идете?» — «Домой, — ответили мне, — в Дрездене все кончено! Там, за нами, в коляске едет временное правительство».

Я стремительно выскочил из экипажа, оставив его в распоряжение усталых милиционеров, и побежал вперед по крутой дороге навстречу коляске, навстречу пришедшему в отчаяние временному правительству. Действительно, в элегантном наемном экипаже, медленно поднимавшемся в гору, сидели Хойбнер, Бакунин и энергичный секретарь

почтового управления Мартин, оба последние с ружьями в руках. На козлах уместился почти весь секретариат. Из толпы милиционеров, следовавшей позади, наиболее уставшие цеплялись за экипаж, пытаясь взобраться на него. Я быстро вскочил туда. Прежде всего я оказался свидетелем странного разговора между владельцем экипажа и наемным кучером временного правительства. Этот человек умолял пощадить экипаж. Его слабые рессоры не могут вынести такой тяжести, и потому он просил не цепляться на него ни сзади, ни спереди.

Бакунин спокойно стал разъяснять мне, как без малейших потерь совершилось отступление из Дрездена. Рано утром он приказал свалить молодые деревья на Максимилианс-Аллее, чтобы оградить отступающих от кавалерийской атаки с этой стороны. Его чрезвычайно забавляли жалобы жителей бульвара, оплакивавших «пре-екрасные де-е-ревья». Тем временем мольбы владельца экипажа становились все назойливее и перешли в громкий плач. Бакунин молча, с чувством удовлетворения, следил за этой сценой и только однажды произнес: «Филистерские слезы — нектар для богов». Но для Хойбнера и для меня эта сцена была тягостна, он стал думать о том, не лучше ли нам выйти: заставить же сойти усталых людей Хойбнер не решался.

Оказалось, что нам и без того необходимо оставить экипаж, так как прибывшие отряды выстроились вокруг нас на шоссе, чтоб приветствовать временное правительство, и ждали дальнейших приказаний. Хойбнер с большим достоинством прошел по рядам вооруженных граждан, разъясняя начальствующим, в каком положении находится дело, приглашая их по-прежнему верить в успех предприятия, ради которого уже пролито столько крови. Он отдал приказание идти во Фрайберг и ждать там дальнейших распоряжений.

Из рядов народного войска вышел тогда некто Мецдорф, немецко-католический проповедник, серьезный молодой человек, которого я еще в Дрездене успел узнать с лучшей стороны (в одном серьезном разговоре он первый, между прочим, посоветовал мне познакомиться с сочинениями Фейербаха). Он просил у временного правительства защиты от насилия со стороны командиров кемницкой муниципальной гвардии. Муниципальная гвардия выступила вооруженная из Кемница в Дрезден в значительной мере под его влиянием, под влиянием устроенной им народной демонстрации. А теперь командиры кемницкой муниципальной гвардии ведут его, как пленного, вместе с марширующими гражданами, позволяя себе при этом дурное с ним обращение. Освободили они его лишь благодаря встрече с другими отрядами, проявившими большее благородство.

Отряд кемницкой муниципальной гвардии расположился вдали на горе. Оттуда пришли посланные за сведениями о положении дел. Узнав о решении временного правительства продолжать борьбу во что бы то ни стало, они пригласили его расположиться главной квартирой в Кемнице. Когда послы вернулись к своему отряду, мы видели, как он стал удаляться обратно к горам. После целого ряда остановок наш поезд кое-как добрался до Фрайберга. На улицах города Хойбнера встретили друзья его и настойчиво просили не устраивать здесь главной квартиры и пощадить Фрайберг от ужасов уличной борьбы. Хойбнер ничего не ответил на это и пригласил Бакунина и меня на совещание.

Здесь мы были свидетелями горестного свидания Хойбнера с женой. В кратких словах он разъяснил ей серьезное значение происходящего, указав, что дело идет о судьбе Германии, о борьбе за ее достоинство, которой он решил отдать свою жизнь. Был подан затем завтрак,

во время которого между нами царило довольно бодрое настроение. После завтрака Хойбнер обратился с короткой, спокойной, но твердой речью к Бакунину, с которым он до того был настолько малознаком, что даже неправильно произносил его фамилию. «Дорогой Буканин, — сказал он ему, — прежде чем предпринимать какие-нибудь дальнейшие шаги, хочу от тебя самого услышать, верно ли, что твоей политической целью, как мне говорили, является учреждение "красной республики"? Говори открыто, ибо я должен знать, могу ли впредь довериться твоей дружбе». Бакунин объяснил ему с полной откровенностью, что характер политической формы правления его не интересует, что жизнью своей он за это не пожертвует. Его личные стремления и надежды не имеют ничего общего ни с дрезденским уличным восстанием, ни вообще со всем тем, что связано с этим движением для Германии. Он считал это движение глупым и достойным осмеяния, пока не испытал на себе действия мужественного и благородного примера Хойбнера. С тех пор его политические соображения и отрицательное отношение к разыгравшимся событиям отступили на задний план, и он принял твердое решение стать преданным помощником этого превосходного человека, несмотря на то, что знал о принадлежности Хойбнера к умеренной политической партии. В обсуждение ее исторической задачи он не вдавался, потому что еще не имел случая ознакомиться с политическими партиями Германии вообще.

Хойбнер счел себя удовлетворенным этим объяснением и перешел к другому вопросу: что думает Бакунин о положении дел в настоящую минуту, и не будет ли разумнее и честнее распустить отряды восставших, отказавшись от дальнейшей безнадежной борьбы? На это Бакунин с обычными твердостью и спокойствием ответил, что от борьбы может отказаться всякий, кто хочет, только не он,

Хойбнер: как первый член временного правительства он призвал народ к оружию. За ним пошли, и сотни жизней принесено в жертву. Теперь распустить людей — значит показать, что жертвы принесены в угоду пустой иллюзии, и если бы остались только он и Хойбнер, они должны были бы стоять на своем посту. В случае поражения они обязаны отдать свою жизнь: честь их должна остаться незапятнанной, чтобы в будущем, при новом революционном призыве, народ не потерял надежду на возможность освобождения.

Эти слова заставили Хойбнера решиться. Он тут же набросал воззвание о выборе представителей от всей Саксонии, об организации учредительного собрания в Кемнице, откуда доходили известия о бодром настроении населения, о постоянном притоке свежих народных сил. Хойбнер полагал, что там удастся прочно обосновать центр временного правительства и выждать, пока выяснится общее положение дел в Германии. Во время нашего совещания пришел Штефан Борн, типограф, который в течение последних трех дней командовал народными силами. Его деятельностью Хойбнер был очень доволен. Борн явился, чтобы отрапортовать, что отступившие отряды прибыли во Фрайберг в полном порядке, без малейших потерь. Этот простой и скромный молодой человек самым характером своего доклада произвел на нас превосходное, ободряющее впечатление. Однако на вопрос Хойбнера, возьмется ли он отстоять Фрайберг в случае нападения на него войск, Борн ответил, что он не военный, в стратегии ничего не понимает, что такое дело можно поручить лишь опытному офицеру. При таких условиях являлось рациональным хотя бы для того, чтобы выиграть время, продолжать отступление далее, до Кемница как более крупного населенного пункта.

Прежде всего необходимо было позаботиться о провианте для стекающихся во Фрайберг многочисленных отрядов. Борн удалился, чтоб немедленно принять необходимые для этого меры. Хойбнер решил поспать с часок, чтобы хоть немного отдохнуть. Мы с Бакуниным остались одни на диване. Но и Бакуниным сейчас же овладел сон, он склонился набок и всей тяжестью своей огромной головы навалился мне на плечо. Я рассудил, что едва ли разбужу его, если освобожусь от этого груза, и потому, с трудом отодвинув его от себя, ушел, чтобы по-прежнему внимательно присмотреться ко всему происходящему.

Так добрался я до ратуши, где граждане Фрайберга заняты были раздачей пищи голодным и возбужденным милиционерам. К моему величайшему удивлению, я уже нашел здесь Хойбнера восставшим от сна, в полном разгаре деятельности. Этот человек не в состоянии был отдыхать спокойно хотя бы час, зная, что в его совете нуждаются. Тотчас же под его руководством было организовано подобие комендантского бюро, и среди общего шума и крика он снова делал распоряжения и отдавал приказания. Скоро появился и Бакунин, который хлопотал лишь об одном: найти хорошего офицера. Но такого не отыскалось. Один уже немолодой, но очень живой человек, явившийся во главе значительного отряда из Фогтланда, произвел на Бакунина хорошее впечатление своей энергичной речью. Бакунин предлагал назначить его немедленно главным военачальником. Но среди суматохи нельзя было прийти к определенному решению. Только в Кемнице можно было рассчитывать овладеть положением, и Хойбнер отдал приказание немедленно, как только толпа подкрепится, выступить туда.

Когда это было решено, я, желая выбраться из хаоса, объявил друзьям, что поспешу в Кемниц, чтобы встретить наши отряды на следующее утро. Я застал еще почтовый

экипаж, отправлявшийся обычно в этот час, и занял в нем место. Но так как по той же улице началось движение милиционеров, то из опасения, чтобы дилижанс не попал в водоворот толпы, решено было переждать, пока отряды пройдут. Это затянулось надолго. Я следил за маршировавшими мимо меня милиционерами, за их удивительным строем. Особенно бросился мне в глаза фогтландский отряд, маршировавший даже несколько педантично: впереди шел барабанщик, который искусно вносил элемент разнообразия в монотонные звуки своего инструмента тем, что от времени до времени выбивал трель не по коже барабана, а по деревянному его ободу. Эта неприятная стукотня напомнила мне последнюю часть «Фантастической симфонии» Берлиоза, где слышится щелканье костей во время ночного танца скелетов вокруг лобного места, и во мне с реальной живостью воскресло пережитое в Париже ужасное впечатление. Внезапно захотелось мне вернуться к оставленным друзьям, чтобы, если возможно, с ними вместе отправиться в Кемниц.

У ратуши я их не нашел. Придя на квартиру к Хойбнеру, я узнал, что он спит. Я вернулся обратно на почту. Дилижанс все еще ждал, улицы все еще были полны народу. Долгое время ходил я, огорченный, взад и вперед. Потеряв всякую надежду выбраться отсюда в почтовой карете, я опять отправился к Хойбнеру, чтобы присоединиться к нему в качестве попутчика. Оказалось, что Хойбнер и Бакунин ушли неизвестно куда. В отчаянии я вернулся на почту и нашел дилижанс готовым к отъезду.

Поздно ночью, после целого ряда приключений, прибыл я в Кемниц. Заняв комнату в ближайшей гостинице, я проспал там довольно долго. На другой день, в пять часов утра, я отправился на квартиру к моему зятю Вольфраму, расположенную в стороне от города, в четверти часа ходьбы. По дороге я осведомился у стоявшего на часах

муниципального гвардейца, не слышал ли он чего-нибудь о прибытии временного правительства. «Временное правительство? — переспросил он. — Ну, с этим все покончено!» Я его не понял и у родных ничего не мог разузнать о положении дел в Кемнице. Зятя не было дома, он стоял в городе на посту. Только когда к полудню он вернулся домой, я узнал, что произошло, пока я спал в гостинице. Тут же невдалеке Хойбнер, Бакунин и вышеупомянутый Мартин прибыли к воротам Кемница в частном экипаже. Их спросили, кто они. Хойбнер с полным авторитетом назвал себя и затем велел пригласить городские власти в указанную им гостиницу. Прибыв туда, все трое свалились от усталости и заснули. Внезапно в их комнату ворвались жандармы и именем королевского правительства арестовали их. Они попросили, чтобы им дали возможность несколько часов спокойно поспать, указав на то, что в том состоянии, в каком они находятся, о бегстве не может быть и речи. Утром под сильным военным эскортом они были отвезены в Альтенбург. Как признался мне мой зять, во всем этом печальную роль сыграли командиры кемницкой муниципальной гвардии: они против воли выступили в Дрезден и таили намерение по прибытии туда перейти на сторону королевских войск. Своим приглашением в Кемниц они обманули Хойбнера и завлекли его в западню. Явившись в Кемниц задолго до него, они заняли посты у городских ворот именно затем, чтобы выследить его прибытие и довести об этом до сведения властей. Зять очень тревожился о моей судьбе, так как командиры муниципальной гвардии с яростью отзывались обо мне как о человеке, которого видели в обществе опасных революционеров.

Во всяком случае казалось чистым чудом, что я не с ними вместе прибыл в Кемниц и не остановился с ними в одной гостинице, иначе меня, конечно, постигла бы та же

участь, что и их. Молнией пронеслось в душе моей воспоминание о том, как однажды, будучи студентом, я избег грозившей мне опасности, когда один за другим погибли опытные рубаки, вызвавшие меня на дуэль. Все это произвело на меня такое впечатление, что я не произнес ни слова о том, в какой действительной связи я нахожусь с арестованными. По настойчивому требованию жены, очень за меня боявшейся, зять взял на себя заботу доставить меня ночью в своем экипаже в Альтенбург. Оттуда я мог бы сейчас же отправиться почтой в Веймар, где, собственно говоря, я и должен был бы находиться теперь в отпуску. Я прибыл туда особыми, непредвиденными путями.

239

Я был до такой степени охвачен впечатлениями пережитого, похожими на бред, что при новой встрече с Листом едва мог проявить хоть некоторый интерес к предстоящей в Веймаре постановке «Тангейзера». Он же считал это делом, меня ближе всего касающимся. Объяснить моему другу, что я на этот раз попал в Веймар не совсем обычным путем, не в качестве королевского капельмейстера, представлялось задачей довольно трудной. Я и сам в точности не знал, как относится ко мне официальное правосудие. Не знал, совершил ли я что-нибудь противозаконное или нет? Прийти к какому-нибудь определенному по этому поводу мнению я не мог. Тем временем в Веймар стали проникать ужасающие вести о положении дел в Дрездене. Режиссер Генаст всех взволновал рассказами о деятельности Рёкеля как «поджигателя». Рёкеля в Веймаре хорошо знали.

По некоторым моим замечаниям личного характера Лист скоро должен был догадаться, что между мной и дрезденскими событиями существует какая-то подозрительная связь. Но его сбивало с толку мое поведение.

Дело в том, что не из опасений суда, а по совершенно другим мотивам мне было важно не выдавать своей активной роли в происшедших событиях. Таким образом, некоторое время я сознательно оставлял моего друга в неведении.

У княгини Каролины фон Витгенштейн, с которой я познакомился в прошлом году, когда она на короткое время приехала в Дрезден, мы собирались и оживленно беседовали о вопросах искусства. Так, однажды после обеда завязался у нас горячий спор о моем плане трагедии «Иисус из Назарета», который я тут же устно изложил. Когда я закончил пересказ сюжета, Лист хранил подозрительное молчание, княгиня же фон Витгенштейн высказалась очень решительно против его разработки для подмостков театра. Я и сам не стал серьезно поддерживать высказанных мной по этому поводу парадоксов. Вот в каком я находился тогда настроении. Незаметно для других я все еще был потрясен пережитыми впечатлениями.

Скоро объявлена была оркестровая репетиция «Тангейзера», и это отчасти воскресило во мне застывшие интересы художника. Впервые я испытал совершенно новое, согревающее душу ощущение. Лист управлял оркестром, и по тому, как он вел музыкальную часть моей драмы, я почувствовал, что понят и воспринят по-настоящему. Несмотря на свое какое-то полубессознательное состояние, я сделал наблюдения над певцами в смысле их способностей, над управляющей ими режиссурой. После репетиции мы вместе с музикдиректором Штёром и певцом Гёце отправились по приглашению Листа пообедать в одну гостиницу, не ту, в которой он жил, и здесь впервые я имел случай встретиться лицом к лицу с некоторыми особенностями его темперамента, до той минуты мне неизвестными. Чем-то взволнованный, этот обыкновенно гармонически ровный человек внезапно проявил необычайную ярость. Со скрежетом зубовным он стал нападать на то самое,

что возмущало до ужаса и меня самого. Пораженный удивительным созвучием наших душ и не зная истинных мотивов овладевшего им гневного пароксизма, я стоял перед этим явлением с чувством глубокого интереса. Эмоциональная вспышка Листа закончилось ночью сильнейшим нервным припадком. Тем более удивило меня, когда на следующее утро я застал его вполне бодрым и собирающимся немедленно отправиться, по неясным опять-таки для меня причинам, в Карлсруэ. Меня и музикдиректора Штёра он пригласил сопровождать его до Айзенаха. По пути туда нас задержал камергер Болье, пожелавший узнать, готов ли я явиться на аудиенцию к Великой герцогине Веймарской сестре императора Николая. То, что я сослался на неподходящий для этого дорожный костюм, не было принято во внимание, и Лист дал согласие за меня.

Действительно, вечером я был необыкновенно милостиво, с дружеской симпатией принят герцогиней, рекомендовавшей своим камергерам иметь почтительное обо мне попечение. Впоследствии Лист утверждал, что его высокая покровительница знала уже тогда, что в ближайшие дни меня ждут неприятности со стороны дрезденского правительства, и она поэтому торопилась познакомиться со мной прежде, чем такое знакомство могло бы оказаться для нее сильно компрометирующим. Лист отправился из Айзенаха дальше и оставил меня на попечении Штёра и айзенахского музикдиректора Кюмштедта, знающего и опытного контрапунктиста. В сопровождении последнего я впервые посетил еще не реставрированный замок в Вартбурге. Странные мысли о капризах судьбы охватили меня при этом посещении: это духовно мне близкое здание я посетил тогда, когда дни моего пребывания в Германии были уже сочтены.

Когда мы вернулись в Веймар, мы застали здесь дурные вести из Дрездена. На третий день явился и Лист и нашел

у себя письмо моей жены, не решавшейся писать прямо по моему адресу. Она сообщала, что у нас дома был произведен обыск, и ее предупреждали, чтобы я не возвращался обратно в Дрезден, так как издано распоряжение о моем задержании и тайная полиция разыскивает меня. С этого момента Лист преисполнился заботы обо мне. Сейчас же он созвал несколько опытных друзей, чтобы обсудить, как избавить меня от грозящей опасности. Министр Вацдорф, которого я успел посетить, был того мнения, что в случае ареста лучше всего спокойно дать себя отвести в Дрезден: он был уверен, что со мной обойдутся вполне корректно, что меня доставят туда в отдельном экипаже. С другой стороны, сюда доходили слухи о жестокостях осадного положения, введенного в Дрездене пруссаками, и слухи эти были настолько тревожны, что Лист и привлеченные им к совещанию друзья советовали мне как можно скорее покинуть Веймар, где меня защитить будет невозможно. Я, однако, настаивал на том, что, прежде чем покинуть Германию, мне следует повидаться и проститься с перепуганной женой, и просил дать мне возможность укрыться на некоторое время где-нибудь поблизости Веймара.

Мою просьбу уважили, и профессор Зиберт предложил спрятать меня в Магдале, у одного управляющего имением в трех часах пути от Веймара. Туда я и отправился утром следующего дня с письмом Зиберта, в котором он рекомендовал меня управляющему как профессора финансов Вердера из Берлина, желающего проверить на практике кое-какие положения хозяйственной экономии. Здесь, в деревенской тиши, я провел три дня и, между прочим, присутствовал на одном народном собрании, организованном по случаю возвращения остатков разбитого отряда, отправившегося отсюда для участия в дрезденском революционном движении. Прислушиваясь к речам

ораторов, я все время не мог отделаться от странного чувства, носящего даже несколько комичный характер. На вторые сутки моего пребывания в имении из Веймара вернулась жена управляющего и привезла удивительные новости: какой-то композитор, автор оперы, только-то поставленной, должен был бежать из Веймара, спасаясь от преследований секретной дрезденской полиции. Посвященный в тайну профессором Зибертом, управляющий со смехом задал вопрос, как зовут этого композитора. И так как жена его не знала, что сказать, он опять спросил, не Рёкель ли это, имя которого было хорошо знакомо веймарцам. «Да, Рёкель, так его зовут, совершенно верно», — подтвердила она. Мой хозяин громко расхохотался и высказал надежду, что Рёкель не настолько глуп, чтобы попасться и не суметь, несмотря на популярность его имени, скрыться.

Наконец 22 мая, в день моего рождения, приехала Минна. Получив мое письмо, она немедленно отправилась в Веймар и, узнав все, что было нужно, прибыла сюда, чтобы заставить меня как можно скорее совершенно покинуть Германию. Все попытки возвысить ее до понимания моего настроения были безуспешны. Она видела во мне человека, легкомысленно, неразумно давшего себя увлечь, повергшего себя и ее в ужаснейшее положение. Было решено, что в ближайший вечер я отправлюсь пешком в Йену. Она проследует туда же через Веймар, и мы в доме профессора Вольфа снова увидимся и окончательно простимся. Я совершил это шестичасовое путешествие и, пройдя дорогу, лежащую между холмами, с закатом солнца впервые увидел университетский городок.

В доме Вольфа, с которым меня познакомил Лист, я действительно встретил жену. При особом сочувствии профессора Видмана мы стали совещаться о том, куда мне двинуться дальше. Дрезденская полиция преследовала

меня упорно: меня обвиняли в активном участии в восстании, и я не мог рассчитывать найти убежище ни в одном из немецких союзных государств. Лист настаивал на том, чтобы я отправился в Париж, где я мог найти подходящее поле для деятельности. Видман предостерегал ехать туда прямым путем через Франкфурт и Баден, так как восстание там еще в полном разгаре, и полиция особенно зорко следит за путешественниками, чьи паспорта хоть сколько-нибудь внушают подозрение. Вернее всего было ехать через Баварию, теперь совершенно спокойную, а оттуда пробраться в Швейцарию. Из Швейцарии переезд в Париж был совершенно безопасен. Так как для этого нужен был какой-нибудь паспорт, то профессор Видман предложил мне свой, выправленный в Тюбингене, но уже просроченный.

Выехал я в почтовом экипаже, прощанье с женой, находившейся в полнейшем отчаянии, было поистине мучительно. Без особых приключений достиг я, миновав Рудольштадт (место, не лишенное для меня известного интереса), границы Баварии, откуда без перерыва с той же почтой отправился далее, в Линдау. Здесь у ворот города у меня, как и у других пассажиров, отобрали паспорт. Рано утром предстояло отправиться с пароходом по Боденскому озеру, и ночь я провел в лихорадочном возбуждении. Профессор Видман, по чьему паспорту я ехал, говорил на швабском наречии, и я задавал себе вопрос, как я буду объясняться с баварской полицией, если она вздумает осведомиться относительно просроченности паспорта. Всю ночь, мучимый ужасным беспокойством, я упражнялся в швабском диалекте, но справиться с этой задачей, к величайшей собственной потехе, не мог. С волнением я ждал момента, когда утром ко мне в комнату войдет жандарм. Жандарм явился с тремя паспортами в руке и, не зная, кому какой паспорт принадлежит, дал мне самому

выбрать свой. С ликующим сердцем исполнил я его просьбу и дружелюбно простился с этим человеком, незадолго перед тем внушавшим мне такой ужас. Взойдя на пароход, я, к великой радости, узнал, что на его борту считаюсь уже находящимся на швейцарской территории. Было великолепное весеннее утро. Перед глазами расстилалось широкое озеро, в отдалении рисовались Альпийские горы. Когда в Роршахе я вступил на швейцарскую территорию, я немедленно отправил несколько успокоительных строк домой с извещением о том, что благополучно прибыл в Швейцарию и что опасность миновала. Поездка в почтовом экипаже в Цюрих, через приветливую, маленькую область Сен-Галлен, необыкновенно ободрила меня. Когда в последний день мая, в шесть часов вечера, я впервые увидел облитые солнечным светом сияющие вершины Гларнских Альп, окружающих озеро, то тут же, в глубине души не отдавая себе ясного отчета, решил основать для себя прибежище непременно в этих местах.

240

Яков Зульцер и Франц Гагенбух

Предложение моих друзей проехать в Париж через Швейцарию я принял главным образом потому, что рассчитывал через одного знакомого добыть в Цюрихе паспорт уже на свое имя, так как не хотел явиться во Францию в качестве политического беглеца. В Цюрихе жил учитель музыки Александр Мюллер, с которым у меня в свое время завязались в Вюрцбурге приятельские отношения. Один из учеников его, Вильгельм Баумгартнер, несколько лет тому назад посетил Дрезден и привез мне от него привет. Через Баумгартнера я послал Мюллеру экземпляр партитуры «Тангейзера» на память. Эти знаки внимания с моей стороны пали на плодородную почву: Мюллер и Баумгартнер, которых я немедленно разыскал, познакомили

меня с двумя видными местными чиновниками, своими друзьями: Якобом Зульцером и Францем Хагенбухом. Именно они могли оказать непосредственное содействие в деле получения паспорта.

Действительно, они и еще несколько человек, посвященных в дело, проявили по отношению ко мне столько внимания и участия, что я почувствовал себя превосходно в их обществе. Привычные республиканцы, они с наивным недоумением слушали рассказ о преследованиях, которым я подвергся, и это сразу ввело меня в совершенно новую сферу гражданственных воззрений на жизнь. Тут ничто не угрожало никакой опасностью, все было твердо, в то время как там, на родине, все соединилось, чтобы окончательно оттолкнуть меня: общее состояние официального искусства, возбуждавшее отвращение, политические дела, поставившие меня почти против воли в положение преступника.

Чтобы особенно расположить в мою пользу обоих чиновников, в особенности Зульцера, получившего прекрасное классическое образование, друзья мои устроили собрание, на котором заставили меня прочитать стихотворный текст «Смерти Зигфрида». Могу поклясться, что никогда еще не встречал среди людей практического дела таких внимательных слушателей, как в тот вечер. В результате я, беглец из Германии, безжалостно преследуемый полицией, получил легальный швейцарский паспорт. С ним, задержавшись несколько дней в Цюрихе, я спокойно двинулся дальше.

Из Страсбурга, воздав должное всемирно знаменитому собору, я с мальпостом, считавшимся самым удобным средством сообщения, отправился в Париж. Припоминаю, что со мной тогда произошел интересный феномен: до сих пор, особенно в полусонном состоянии, меня неизменно преследовали звуки канонады и ружейных залпов. Теперь

в шуме быстро вертящихся по шоссейной дороге колес мне стало слышаться другое: исполняемая на басовых инструментах мелодия из Девятой симфонии: *Freúde schöner Götterfunken*.

241

Париж. Встреча со старыми друзьями. Письма Минны

С минуты вступления на швейцарскую почву до самого приезда в Париж настроение мое резко изменилось: прежнее мое тупое, полубредовое состояние уступило место новому чувству приятного освобождения. Я сам себе казался птицей, парящей в воздухе, птицей, которой не суждено погибнуть в болоте. Но с момента вступления в Париж в начале июня во мне снова наступила заметная реакция. Лист отрекомендовал меня своему бывшему секретарю Беллони, и он, верный полученным предписаниям, счел необходимым войти в переговоры обо мне с неким Гюставом Вэссом, с которым лично мне так и не удалось познакомиться. Дело шло о написании для Парижа оперного текста. Идея мне эта не нравилась, и когда Беллони заговорил на эту тему, я перевел разговор на свирепствовавшую в Париже холеру. Чтобы быть поближе к Беллони, я остановился на улице Нотр-Дам-де-Лоретт. Здесь я имел возможность чуть не каждый час видеть, как провозили по улице под глухие удары барабана национальной гвардии холерных покойников. При палящем зное было запрещено пить воду, и вообще рекомендовалась строжайшая диета. Уже одно это действовало на меня угнетающим образом, а внешний облик Парижа к тому же производил самое тяжелое впечатление. На всех общественных зданиях, на всем, что носило характер публичности, красовались еще надписи «Свобода, равенство, братство». Но устрашающе подействовал на меня вид

первых *garçons caissiers*[147] Национального банка с их длинными денежными мешками через плечо и огромными портфелями в руках. Никогда не встречал я их в Париже в таком количестве, как теперь, когда, справившись со страшным призраком социализма, капитал, опираясь на вновь приобретенное доверие общества, нагло проходил победным парадом по улицам города.

Совершенно механически зашел я в музыкальный магазин Шлезингера, принадлежавший теперь противному и грязному еврею господину Брандусу. Только старый приказчик месье Анри поздоровался со мной радушно. После того как мы довольно громко поговорили с ним в совершенно пустом, по-видимому, помещении, он с некоторой неловкостью в голосе спросил, поздоровался ли я с моим учителем Мейербером. «Разве господин Мейербер здесь?» — «Конечно, — ответил он с еще большим смущением, — здесь в магазине, позади бюро». И действительно, когда я подошел ближе, из-за бюро вышел в полнейшем смущении Мейербер. Услышав мой голос, он скрылся туда и оставался там больше десяти минут. С улыбкой на лице он извинился, ссылаясь на то, что был занят срочной корректурой. Всей этой сцены, этого нового свидания с ним было достаточно: я понял все. Припомнилось многое в его поведении, казавшееся столь подозрительным, в особенности его поведение в Берлине. Так как теперь мне, собственно, не было до него никакого дела, я весело и свободно с ним поздоровался. Меня ободряло то смущение, какое он обнаружил, увидев меня здесь. Он предполагал, что я снова хочу попытать счастья в Париже, и был чрезвычайно удивлен моим заявлением, что самая мысль что-нибудь предпринять в этом городе внушает мне отвращение. «Однако Лист напечатал в Journal des Débats блестящий

---

[147] Помощники казначеев (*фр.*).

фельетон о вас»! — «Ах, так! — сказал я. — Я не предполагал, что энтузиазм преданного друга должен быть истолкован как спекуляция». — «Однако статья обратила на себя общее внимание. Было бы странно, если бы вы не постарались извлечь отсюда выгоду». Я был раздражен всеми этими отвратительными соображениями и тут же заявил Мейерберу, что при нынешнем положении вещей, когда весь мир стонет под гнетом реакции, я в состоянии думать о чем угодно, только не о композициях для сцены. «Чего же вы, однако, ждете от революции, — ответил он, — или вы собираетесь писать партитуры для баррикад»? Я уверил его, что вообще не думаю ни о каких партитурах. Мы расстались, не поняв друг друга.

На улице я встретил Мориса Шлезингера, и оказалось, что он тоже под впечатлением блестящей статьи Листа, считает мое появление в Париже вполне естественным. Он думал, что я рассчитываю на что-то, и находил, что у меня хорошие шансы. «Вы хотите сделать со мной гешефт? — спросил я его. — Денег у меня нет. Но неужели вы считаете, что постановка оперы неизвестного композитора может быть денежным делом»? — «Вы совершенно правы», — ответил Морис и моментально исчез. От всех этих соприкосновений с зачумленной столицей мира я ушел к моим дрезденским товарищам, из которых некоторые особенно близкие мне находились в Париже.

У Деплешена, художника, исполнившего декорации для «Тангейзера», я нашел Земпера, тоже здесь укрывшегося. Встретились мы радостно и немало смеялись над комизмом нашего положения. Земпер, после того как пруссаки обошли его знаменитую баррикаду, над которой он, как архитектор, имел постоянное наблюдение (чтобы ее взяли — этого он не допускал), от дальнейшего участия в борьбе воздержался. Однако он считал себя настолько скомпрометированным, что, когда было объявлено

в Дрездене осадное положение, счел благоразумным оттуда скрыться. Он был счастлив, что, как гольштейнский уроженец, он в паспортном отношении зависел не от германского, а от датского правительства и потому мог спокойно уехать в Париж. Благодаря такому обороту дел он принужден был бросить начатую большую работу по постройке дрезденского музея, и я высказал ему по этому поводу свое сердечное соболезнование. Земпер объяснил мне, что дело это доставило ему много огорчений, что, в сущности, он рад избавиться от него. Несмотря на то что оба мы находились в прескверном положении, мы провели с ним в Париже несколько веселых часов, единственных за этот мой приезд.

Скоро сюда прибыл, тоже в качестве эмигранта, молодой Гейне, намеревавшийся когда-то написать декорации для «Лоэнгрина». Жизнь в Париже его не пугала, так как учитель его Деплешен сам предложил ему работу. Один я чувствовал полную бесцельность моего пребывания здесь и всей душой рвался вон из холерного гнезда. Этому помог Беллони, предложивший поехать с ним и его семьей в деревню возле Ла Ферте су Жуар. Пользуясь прекрасным воздухом и абсолютной тишиной, я мог отдохнуть и выждать какой-нибудь перемены в положении моих дел. Оттуда я отправился в Рюэй, пробыв, таким образом, в Париже всего восемь дней. Там я поселился у одного виноторговца, месье Рафаэля, по соседству с деревенским мэром, у которого жила семья Беллони. Я стал ждать, что принесет мне судьба.

Из Германии долгое время не было никаких вестей, и я старался развлечься, насколько это было возможно, чтением. Заинтересовали меня сочинения Прудона, в особенности его книга «О собственности». В ней я нашел необычайно широкие перспективы, вообще говоря, утешительные для моего нынешнего положения. Много

удовольствия доставила мне также «История жирондистов» Ламартина. Однажды Беллони принес известие о неудачном восстании республиканцев под предводительством Ледрю-Роллена. Это случилось 13 июня, когда временное правительство развило вовсю свою реакционную деятельность. Известие вызвало возмущение со стороны моего хозяина и его родственника-мэра, за столом которого мы ежедневно вкушали наш скромный обед. На меня оно произвело слабое впечатление: все мое напряженное внимание было обращено на Германию, главным образом на события в прирейнских странах, особенно в Великом герцогстве Баденском, находившемся под управлением выборных народа. Когда оттуда пришли известия, что пруссаки подавили движение, казавшееся наиболее близким к победе, меня охватило истинное горе.

Мое личное положение обрисовалось мне в самых печальных чертах. То, что было во всех этих событиях необыкновенного, то, что поддерживало и оправдывало мое возбуждение, исчезло бесследно. На первый план выступили самые обыденные, пошлые заботы. Окончательно отрезвили меня письма моих веймарских друзей, особенно же письмо жены. Друзья довольно сухо осудили мое поведение и нашли, что пока не могут для меня ничего сделать ни в Дрездене, ни при дворе Великого герцога, так как бессмысленно стучаться в наглухо заколоченные двери, «*on nee frappe pas á des portes enfoncées*»[148] (княгиня фон Витгенштейн к Беллони). Я не знал, что на это ответить, так как мне и в голову не приходило ждать чего бы то ни было с этой стороны, и я был доволен тем, что мне прислали кое-какие деньги. Чтобы выйти из затруднительного положения, я решил на эти деньги отправиться в Цюрих и устроиться там у Александра Мюллера, жившего в довольно просторной квартире.

---

[148] «Мы не стучимся в закрытые двери» (*фр.*).

Больше всего опечалило меня письмо жены, от которой я долгое время не получал никаких вестей. Она писала, что считает невозможным дальнейшую нашу совместную жизнь, ибо после того, как я так бессовестно разрушил до основания все устроенное нами здание и пренебрег положением, какого мне не придется уже вновь создать, я не могу рассчитывать, чтобы какая бы то ни было женщина захотела связать свою участь с моей. Письмо это возбудило во мне искреннее сочувствие к ней, к ее чрезвычайно тяжелому положению. Я оставил ее беспомощной. Конечно, я предоставил ей распродать дрезденскую обстановку и, кроме того, просил лейпцигских родных позаботиться о ней. Единственным для меня утешением являлась уверенность, что она сама хотя бы отчасти сочувствовала моему поведению, понимала охватившее меня настроение. Мне казалось, что я даже видел в дни исключительных событий признаки такого к себе отношения. Оказалось, что об этом и речи быть не может: она судила обо мне так, как судила толпа, и находила для меня оправдание только в одном — в моем неслыханном легкомыслии. Я тут же написал Листу, прося хоть немного о ней позаботиться, но, в сущности, столь неожиданное ее решение отчасти успокоило меня. Узнав из ее письма, что писать она мне больше не намерена, я решил со своей стороны впредь не беспокоить ее сообщениями о моем трудном положении.

Вся наша многолетняя совместная жизнь, начиная с первого, бурного и мучительного года нашего брака, прошла в моей памяти. Несомненно, молодые годы нужды и забот, проведенные совместно в Париже, дали много хорошего. Испытания сковали наши души: она проявила удивительное терпение, я боролся с ними трудом. Награду за перенесенное Минна нашла потом в Дрездене, в моем тамошнем успехе и завидном положении. В качестве

Frau Kapellmeisterin[149] она достигла вершины своих мечтаний и во всем, что отравляло мою капельмейстерскую деятельность, видела угрозу своему благополучию. Новый путь, на который я вступил с момента создания «Тангейзера», лишал меня в ее глазах надежды на дальнейшие театральные успехи, и она потеряла всякую бодрость, всякое доверие к нашей будущности. Мои новые концепции, о которых я говорил с ней все реже и реже, мое отношения к театру и его шефу — все это она оценивала лишь как признак того, что я сбиваюсь с прямого пути. Связь между нами, игравшая такую благодетельную роль в моей прошедшей карьере, совершенно ослабела. Мое участие в дрезденской катастрофе она рассматривала как заблуждение. Она объясняла его дурным влиянием бессовестных людей, в особенности несчастного Рёкеля: они льстили моему тщеславию и увлекли меня к погибели. Все это скорее внешним образом разделяло нас. Но гораздо глубже влияли, как я теперь ясно сознал, внутренние раздоры, не прекращавшиеся с момента, как мы сошлись вторично. Между нами постоянно происходили резкие, страстные стычки, и никогда они не сглаживались с ее стороны мирным признанием собственной вины. Стремление после каждого такого взрыва сохранить домашнее спокойствие, сознание несходства наших характеров и, в особенности, разницы в нашем развитии постоянно побуждали меня брать на себя инициативу примирительного поведения, брать на себя вину за резкость наших ссор. Я стремился смягчить Минну тем, что высказывал ей свое раскаяние. К сожалению, я пришел в конце концов к убеждению, что именно благодаря такой политике потерял всякую власть над ее душой, всякое влияние на ее характер. Когда дело коснулось вещей, исключавших возможность такого рода примирения, так как дело касалось сущности моих

[149] Госпожа капельмейстерша (*нем.*).

убеждений, моих поступков, я благодаря моей прежней уступчивости встретил такое закаленное женское упрямство, что о сознании с ее стороны своей неправоты по отношению ко мне не могло быть и речи. Словом, дрезденскому краху, равнодушному взгляду на всю мою дрезденскую карьеру немало содействовал развал моей семейной жизни. У себя дома я не только не встречал поддержки и утешения, но, напротив, постоянно ощущал бессознательное со стороны Минны сочувствие моим врагам. Все это я понял именно теперь, когда улеглось первое потрясение, вызванное ее жестким письмом.

Вспоминаю, что письмо это не причинило мне страданий. Я чувствовал себя покинутым, но зато отчетливо уразумел, что строил свою жизнь на песке. Это дало мне высокое успокоение. Я почерпнул его в сознании полной своей заброшенности, и самое нищенство мое доставило мне укрепляющую отраду. Поэтому присланные мне в последний раз из Веймара деньги я с пылом решил употребить не на бессмысленное торчание в Париже, где предстояло бы стремиться к целям, которые я сам считал ложными, а на подыскание другого убежища. Таким убежищем могло быть место, ничем не наталкивающее на деятельность в прежнем духе. Я решил отправиться в Цюрих, где не было атмосферы официального искусства, в Цюрих, где я впервые встретил несколько простых людей, ничего не знавших о моих художественно-артистических работах, но с дружеской симпатией отнесшихся к моей человеческой личности.

242

Цюрих

В Цюрихе я обратился прямо к Александру Мюллеру, прося его уступить мне комнату в его квартире, и показал ему весь остаток моего состояния: 20 франков. Конечно,

я скоро заметил, что проявленное мной доверие стесняло моего старого знакомого. Его стала, естественно, заботить мысль, что ему предпринять по отношению ко мне. Увлеченный порывом, он предложил мне пользоваться большой комнатой, в которой стоял рояль. Но я сам отказался от этого, удовольствовавшись спальней. Очень неприятно было обедать у него — не потому что его обеды были мне не по вкусу, а потому что они расстраивали желудок. Зато вне его дома меня встречали по здешним условиям с распростертыми объятиями. Те самые молодые люди, которые при первом проезде через Цюрих проявили ко мне такое участие, продолжали и теперь искать моего общества. Из их среды особенно выделился Якоб Зульцер. По молодости лет Зульцер не мог официально стать членом цюрихского правительства: для этого необходим был тридцатилетний возраст. Но все же он производил на окружающих впечатление вполне зрелого человека. Когда меня в последующие годы спрашивали, встречал ли я в жизни вполне безукоризненного в моральном отношении человека, с установившимся характером, абсолютно честного, то по добросовестном размышлении я мысленно останавливался только на нем. Призвание его в столь молодые годы на выдающийся пост городского секретаря кантона Цюрих объяснялось тем, что оказавшаяся тогда у власти Либеральная партия с Альфредом Эшером во главе, не желая оставлять крупных официальных должностей в опытных руках приверженцев старой консервативной группы, принуждена была искать способных людей среди молодежи. Взоры всех обратились тогда на Зульцера. Он только что вернулся на родину по окончании Боннского и Берлинского университетов, чтобы устроиться здесь в качестве доцента филологии. Когда новое правительство предложило ему занять видный пост, он, чтобы чувствовать себя на месте в новой должности, отправился

на полгода в Женеву для практического изучения французского языка. При своих усердных занятиях филологией Зульцер оставлял до сих пор эту сторону своего образования без внимания. Проницательный ум, необыкновенная работоспособность, самостоятельный и твердый характер, не гнущийся под давлением каких бы то ни было партийных маневров, выдвинули его в короткий срок на одно из первых мест в правительстве. В качестве директора финансов и в особенности члена союзного швейцарского школьного совета он развил необыкновенно значительную и плодотворную деятельность.

Неожиданное знакомство со мной, по-видимому, несколько взбудоражило его. Общественная деятельность оторвала его от любимых занятий филологией и гуманитарными науками, и теперь, при возникших отношениях с новым человеком, он как бы стал раскаиваться в сделанном шаге. «Смерть Зигфрида» показала ему, человеку сведущему, мой интерес к немецкой средневековой истории. Как филолог он тоже изучал ее с гораздо большей, впрочем, полнотой, чем я. Когда некоторое время спустя он ближе познакомился с характером моих музыкальных интерпретаций, эта столь отдаленная от его практической деятельности область настолько увлекла его и вызвала в нем, серьезном и сдержанном человеке, такой глубокий интерес, что он стал с сознательной резкостью бороться против новых искушающих влияний. Однако к моему появлению на местном горизонте он относился с истинно дружескими чувствами. В официальной квартире первого городского секретаря чаще, чем это казалось приличным для чиновника маленького филистерского городка, собиралось общество, в котором я являлся центральной фигурой. Многих, особенно музыканта Баумгартнера, привлекали сюда продукты зульцеровских виноградников в Винтертуре, которые хозяин предлагал гостям в изобилии. Мной

лично в то время владело веселое, разнузданное настроение. Под влиянием складывавшихся во мне тогда художественно-артистических и житейских воззрений я предавался на наших собраниях необузданным вакхическим излияниям. Слушатели отвечали мне нередко с таким необыкновенным подъёмом, что его приходилось объяснять не столько действием моих вдохновенных речей, сколько винными парами. Когда однажды мы проводили охмелевшего профессора Эттмюллера, германиста и знатока «Эдды», пришедшего по приглашению Зульцера на чтение «Зигфрида», воцарилось необыкновенно бурное настроение. Мне пришла в голову идея снять все тяжелые двери в доме господина городского секретаря с петель. Хагенбух, другой городской секретарь, убедившись, что одному справиться с этой задачей трудно, пришел на помощь со своей необыкновенной физической силой. С легкостью мы сняли все двери, причем Зульцер не проявил никакого неудовольствия, а глядел на нашу возню с благожелательной улыбкой. Только на следующий день на наши вопросы, как при своей физической слабости он справился с задачей развесить двери по местам, он признался нам, что всю ночь до утра хлопотал над этим делом, так как ему хотелось, чтобы женщина, приходящая утром для уборки комнат, не застала никаких следов бурно проведенной ночи.

243

Заработки пером. «Искусство и революция»

Я чувствовал себя свободным, как птица, и это ощущение действовало на меня возбуждающим образом. Часто мне самому бывало неловко от чрезвычайной экзальтации, охватившей мое существо. Нередко я перед первым встречным готов был изливаться в самых странных парадоксах. Уже вскоре по прибытии в Цюрих мне захотелось

письменно изложить свои взгляды на общее состояние дел, как они сформировались под влиянием моего художественно-артистического опыта и политических событий того времени. Так как не оставалось ничего другого, как искать заработка пером, я решил написать для большого французского журнала, вроде тогдашнего *National* («Насьональ»), ряд статей и высказываний с революционной точки зрения, некоторые идеи о современном искусстве и его роли в жизни общества. Шесть таких очерков я отправил старому моему знакомому Альберту Франку, брату Германа Франка, тогдашнего владельца немецко-французского книжного дела, основанного моим зятем Авенариусом в Париже. Я просил заказать перевод и поместить статьи в журнал. Скоро я получил их обратно со справедливым замечанием, что парижская публика их не поймет, да и не обратит на них внимания особенно в настоящее время. Тогда я объединил все шесть статей под общим заглавием «Искусство и революция» и отправил книгопродавцу Отто Виганду в Лейпциг, который и взялся издать их отдельной брошюрой, послав мне при этом 5 луидоров в качестве гонорара. Эта необыкновенная удача заставила меня подумать о дальнейшем использовании своих писательских способностей. Я разыскал между своими бумагами очерк, набросанный при изучении саги о Нибелунгах, дал ему заглавие *Die Wibelungen. Weltgeschichte aus der Sage* и опять попытал счастья у Виганда. Радикально настроенный Виганд рассчитывал, что возбуждающий заголовок «Искусство и революция», а также тот необыкновенный интерес, который вызывал я лично как бывший королевский капельмейстер, ставший политическим эмигрантом, создадут известный шум в обществе и обратят внимание на мои статьи. И действительно, скоро я узнал, что брошюра «Искусство и революция» вышла вторым изданием, причем мне Виганд не сообщил об этом ничего. Мою новую рукопись

он тоже принял и вновь прислал мне 5 луидоров. Впервые, таким образом, я стал извлекать выгоду из публикации моих работ. Очевидно, я напал на верный путь, которым активно мог идти навстречу судьбе. Я стал думать о том, чтобы ближайшей зимой прочесть в Цюрихе несколько публичных лекций по вопросам искусства и вообще надеяться на скромно доходную деятельность, не прибегая ни к каким должностям, особенно к музыке.

Мне казалось необходимым обеспечить себе таким путем какой-нибудь доход, ибо дела мои стали складываться так, что без постороннего заработка я совершенно не знал бы, как просуществовать. В Цюрихе я увидел остатки разбитой баденской армии и сопровождавшую их толпу беглецов, и зрелище это произвело на меня в высшей степени горестное впечатление. Известие о пленении Гёргея в битве при Вилагоше отняло всякую надежду на благоприятный исход общеевропейской борьбы за свободу. И лишь с этого момента, пережив огромное, тяжелое потрясение, я от внешних событий обратил свой взор на самого себя, на свою внутреннюю жизнь. Ежедневно после обеда, в тягостном настроении, я заходил в «Литературное кафе». Там, среди тупой человеческой толпы, играющей в домино и азартные игры, я пил свой кофе и мечтательно рассматривал на стенах незамысловатые рисунки с античными сюжетами. В памяти моей выплывали виденные в ранней юности у зятя Брокгауза акварели Дженелли, изображавшие воспитание Диониса музами. Здесь в голове моей сложились идеи, вылившиеся впоследствии в статье «Произведение искусства будущего». Мне показалось особенно знаменательным событием, когда из моих мечтаний я был однажды вырван известием о том, что в Цюрихе находится Шрёдер-Девриент. Я побежал в расположенную напротив гостиницу *Zum Schwerte*, чтобы повидаться с ней, и почти испугался, услышав, что она только

что с пароходом уехала. Больше я ее не видел. Впоследствии я получил от жены, изредка встречавшейся с ней в Лейпциге, горестное известие о ее смерти.

244

Минна

Так, без почвы под ногами, беспорядочно провел я два летних месяца, пока не получил утешительного известия от Минны из Дрездена. Несмотря на то, что она обошлась со мной грубо и оскорбительно, я все-таки не мог в глубине души считать себя совершенно свободным от забот о ней. Я с участием справлялся о ней у одного из ее родственников, причем рассчитывал, что она об этом узнает. Кроме того, я неоднократно просил Листа по мере возможности не оставлять ее без своего внимания. Теперь я получил письмо от нее самой. По письму я убедился, как умело эта деятельная женщина справлялась со своим трудным положением, и, кроме того, она тут же дала мне доказательство того, что искренно желает снова со мной соединиться. Минна выражала презрительное недоверие к моим планам, связанным с Цюрихом, но при этом заявляла, что считает себя обязанной как жена еще раз попытаться связать наши две жизни. Она высказала предположение, что Цюрих я предложу ей лишь в виде временного местопребывания и постараюсь устроиться в качестве оперного композитора в Париже.

Наконец, она объявила мне, что в сентябре, такого-то числа, она в сопровождении Пепса, попугая Папо и Натали, мнимой сестры своей, приедет в Швейцарию. Я снял две комнаты и пешком отправился из Рапперсвиля через знаменитый своей красотой Тоггенбург и Аппенцелль на Сен-Галлен и Роршах. Когда в Роршахе я встретил свою странную семью, наполовину состоявшую из животных, то почувствовал себя растроганным. Признаюсь, особенно

обрадовали меня собачка и птица. Жена же не замедлила расхолодить меня, пригрозив тут же, при первом свидании, что немедленно вернется в Дрезден, если встретит с моей стороны неподходящее обращение. Друзья приготовили ей на этот случай приют и поддержку. Но уже первый взгляд на Минну, постаревшую за короткий срок, наполнил меня состраданием к ней, и это помогло мне справиться с горечью обиды. Я постарался ободрить ее и представить ей наши нынешние злоключения как нечто преходящее. Сначала это удавалось мне с трудом. Уже внешний вид Цюриха произвел на нее дурное впечатление: Дрезден был и красивее, и больше. Друзей моих, с которыми я ее познакомил, она ни во что не ставила. Городского секретаря Зульцера она считала простым писцом: в Германии «такие люди не играют никакой роли». Особенно возмутила ее жена моего хозяина Александра Мюллера. Когда Минна стала горько жаловаться на то, что я довел себя до такого жалкого положения, госпожа Мюллер ответила, что, не пощадив жену, я этим проявил величие характера.

Мне было очень приятно услышать из уст жены, что она сохранила кое-что из нашей дрезденской обстановки: она рассчитывала, что эти вещи нам понадобятся. Это были довольно плохой рояль фирмы «Брейткопф и Гертель» и заглавный лист Корнелиуса к «Нибелунгам» в готической раме, висевший над моим письменным столом. С этой основой нашего будущего хозяйства мы решили устроиться, сняв маленькую квартирку в так называемых «Последних домах Эшера», расположенных на Цельтвеге. С большим успехом ей удалось совершить трудную во многих отношениях продажу нашей мебели и сберечь при этом около 100 талеров для теперешних надобностей. Мою небольшую, но тщательно составленную библиотеку ей тоже посчастливилось, как она думала, прекрасно

сохранить. Она передала ее брату моего зятя, книготорговцу и саксонскому депутату Генриху Брокгаузу, который настойчиво ее об этом просил. Как же была она поражена, когда, обратившись к нему с просьбой прислать книги, получила от смышленого родственника ответ, что он оставляет их у себя в обеспечение взятых у него в тяжелую минуту 500 талеров, и вернет тогда, когда я уплачу весь долг. Так как в течение многих лет я не был в состоянии вернуть 500 талеров, то моя библиотека, заботливо составленная применительно к моим личным потребностям, пропала для меня навсегда. Зульцер, звание которого ввело в заблуждение мою жену, несмотря на свое весьма незначительное состояние, нашел возможным выручить меня, и мы устроились в нашей маленькой квартирке так уютно, что могли вполне соответствовать вкусам моих здешних друзей с их скромными привычками. Талант моей жены проявился в полном блеске. Вспоминаю в особенности гениальное употребление, которое она сделала из ящика с рукописями и нотами: из него вышла прекрасная этажерка.

245

Фейербах

Возникал, однако, вопрос, где найти средства для нашего пропитания. Моя идея читать публичные лекции в Цюрихе встретила решительный протест со стороны Минны. Она признавала только один план, а именно предложенный Листом: выступить в Париже в качестве оперного композитора. Чтобы ее успокоить и не видя перед собой никаких перспектив, я вступил в переписку с моим большим другом Листом и с его секретарем Беллони. Необходимо было немедленно что-нибудь предпринять, и я согласился на предложение Цюрихского музыкального

общества взять на себя управление его оркестром. Оркестр был маленький, бедный, и я положил много труда, чтобы разучить с ним [Седьмую] симфонию A-dur Бетховена. Исполнили мы ее, однако, с большим успехом. Гонорара я получил 5 наполеондоров. Жену мою этот концерт очень расстроил, так как напомнил ей о богатых средствах и блестящей обстановке недавних дрезденских концертов, которые требовали небольших усилий с моей стороны и давали известный доход. При всяком удобном случае, не обращая внимания на вопрос артистической щепетильности, она возвращалась все к одному и тому же: к возможной блестящей карьере в Париже. Оставалось неясным, откуда я добуду средств для путешествия в Париж, для жизни в нем, и я снова погрузился в размышления на занимавшие меня в то время художественно-эстетические темы. Приходилось бороться с жесточайшей нуждой, мерзнуть в маленькой квартире, лишенной солнца. И вот при этих условиях в течение зимних месяцев ноября и декабря я закончил довольно крупное сочинение «Произведение искусства будущего». Минна не протестовала против моих занятий, так как я мог сослаться на успех первой брошюры и надеяться, что труд, более крупный по объему, будет соответственным образом оплачен.

Таким образом, я пользовался некоторое время относительным спокойствием, причем сильнее всего занимало меня в это время чтение главнейших произведений Людвига Фейербаха. Уже издавна жило во мне стремление проникнуть в глубины философии наподобие того, как мне удалось под мистическим влиянием Девятой симфонии Бетховена проникнуть в глубокие основы музыки. Первые попытки в этом отношении были решительно неудачны. Ни один из лейпцигских профессоров не сумел удовлетворить меня своими лекциями по философии и логике. По рекомендации Густава Шлезингера, друга Лаубе,

я добыл книгу Шеллинга «О трансцендентальном идеализме», но напрасно ломая голову над первыми ее страницами, я неизменно возвращался к Девятой симфонии. В последний период моего пребывания в Дрездене снова воскресло во мне старое стремление к философии на почве занятий историей, все сильнее и глубже меня увлекавших. Я обратился к «Философии истории» Гегеля. Здесь мне импонировало многое, и этим путем я надеялся проникнуть в святилище отвлеченной мысли. Чем непонятнее для меня были отдельные философские обобщения этого знаменитого, могучего мыслителя, слывшего создателем теоретического познания, тем сильнее мне хотелось понять суть «абсолюта» и всего, что с ним связано. Тем временем произошла революция. Практические планы о переустройстве общества отвлекли меня в сторону от философских занятий, и, как я уже упомянул, некто Мецдорф, бывший теолог, а теперь немецко-католический проповедник и политический агитатор, с калабрийской шляпой на голове, первый указал мне на Людвига Фейербаха как на «истинного и единственного философа современности».

Мой новый цюрихский друг, учитель музыки Вильгельм Баумгартнер, принес мне его книгу «О смерти и бессмертии». Особый, всеми оцененный лирический стиль автора произвел на меня, человека философски совершенно необразованного, чрезвычайно приятное впечатление. Еще со времен знакомства в Париже с Лерсом меня, как и всякого серьезного человека с богатой фантазией, занимали те замысловатые вопросы, которые изложены в этом сочинении с такой свежестью, с такой подкупающей обстоятельностью. Но в общем я до сих пор удовлетворялся мыслями, которые высказывались на эту значительную тему нашими великими поэтами. Откровенность, с какой Фейербах подходил в наиболее зрелых частях своей книги

к интересным проблемам, вся его трагическая и социально-радикальная концепция, глубоко привлекали меня. Мне казалось прекрасной и утешительной идея, что истинно бессмертным является лишь возвышенное деяние и одухотворенное произведение искусства.

Несколько труднее удавалось мне сохранить интерес при чтении «Сущности христианства». Беспомощная расплывчатость в развитии основной мысли, взгляды на религию с субъективно-психологической точки зрения — все это ощущалось при чтении как известный недостаток. Тем не менее Фейербах являлся в моих глазах представителем решительного, радикального освобождения личности от тисков религиозного авторитета, от всех представлений, создавшихся на этой почве. Отсюда, я полагаю, ясны побуждения, под влиянием которых я снабдил свое «Произведение искусства будущего» посвящением Фейербаху и предисловием, обращенным к нему.

Друга моего Зульцера, ярого гегельянца, вовсе не признававшего Фейербаха как философа, очень, конечно, огорчило мое увлечение им. Во всем этом, говорил он, хорошо лишь одно, а именно то, что Фейербах возбудил во мне кое-какие мысли, хотя у него самого никаких идей нет. Меня же в пользу Фейербаха настроили главным образом следующие его выводы, благодаря которым он и отпал от Гегеля. Во-первых, лучшая философия — это не иметь никакой философии (этим он значительно мне облегчил задачу, ранее меня пугавшую), и, во-вторых, действительно лишь то, что дано в ощущении. В эстетическом восприятии чувственного мира Фейербах видел лишь рефлекс духа. Вот мысли, которые вместе с признанием ничтожества философии оказали огромную поддержку моей собственной концепции искусства, всеобъемлющего и доступного самому простому ощущению человека, концепции совершенной драмы, «произведения искусства будущего»,

дающего оплот нашим художественно-артистическим стремлениям. Вот на какие идеи, по-видимому, намекал Зульцер, пренебрежительно отзываясь о Фейербахе. Через короткое время я уже не мог больше интересоваться его сочинениями. Вспоминаю даже, что заголовок его новой книги «О сущности религии» произвел на меня впечатление настолько монотонное, что, когда Гервег раскрыл ее при мне, я тут же захлопнул ее.

Тем временем я с большим интересом продолжал работать над своим трудом. Прибывший случайно в Цюрих Эдуард фон Бюлов, отец моего молодого друга, новеллист и последователь Тика, посетил меня в моей квартирке, и мне доставило истинное удовольствие прочитать ему главу о поэзии. Высказанные мной с радикальной решительностью идеи о литературной драме, о том, что каждое время должно непременно родить своего Шекспира, сильнейшим образом поразили его. Тем лучше, думал я: это заставит Виганда купить мое новое революционное творение и оплатить его соответственно объему. Я потребовал 20 луидоров, и он их мне обещал.

246

Письмо из Бордо. Юлия Риттер

Ожидаемый гонорар должен был помочь мне выполнить принятое под влиянием нужды решение еще раз съездить в Париж и попытать счастья в качестве оперного композитора. Дело складывалось самым подозрительным образом: мне лично не только была ненавистна самая мысль об этом, но я отчетливо сознавал, что, давая обещания, поступаю нечестно, так как никогда не буду в состоянии серьезно отнестись к их выполнению. Но все соединилось против меня и заставило предпринять новый шаг в этом направлении. В особенности Лист настаивал, чтобы я возобновил переговоры, начатые прошлым летом

через Беллони. Делал он это из наилучших побуждений, твердо веря, что этим я выйду на достойную меня дорогу, ведущую к славе. Как серьезно я отнесся к своей задаче, видно из того, что я подробно разработал сюжет предполагаемой оперы и хотел поручить французскому автору переложить его в стихи. Мне и в голову не приходило в выборе и обработке темы положиться на него, а себе оставить лишь задачу музыкальной композиции. Я остановился на саге о Виланде-кузнеце, которой я в восторженных словах коснулся на последних страницах «Произведения искусства будущего». Она была мне известна по обработке сюжета, взятого Зимроком из *Wilkyna-Saga*. Я сделал подробный сценический набросок, основательно разработал диалог трех актов и со вздохом решился все это переслать французскому автору.

Чтобы предварительно познакомить парижскую публику с моей музыкой, Лист стал общаться с Сегером, дирижером концертов Общества Сен-Сесиль. В январе должна была быть исполнена увертюра к «Тангейзеру», причем мое присутствие считалось необходимым. Для этой поездки требовались средства, которых у меня не было, что причинило мне неожиданную тревогу. Тщетно обращался я за помощью к друзьям на родине — не выходило ничего. О том, как отнеслись к моей просьбе в семье моего брата Альберта, я узнал от его дочери, сделавшей в то время блестящую театральную карьеру: меня боялись и сторонились, как заразы. Зато совершенно неожиданно я встретил восторженно трогательное к себе отношение со стороны семьи Риттер, оставшейся в Дрездене. Я был знаком с ней через Карла Риттера, который однажды меня посетил. Узнав от друга моего Гейне о моем положении, госпожа Юлия Риттер, почтенная мать семейства, сочла себя обязанной предоставить в мое распоряжение через поверенного 500 талеров. В то же время я получил

из Бордо письмо от г-жи Лоссо, которая в прошлом году посетила меня в Дрездене: она трогательно заверяла меня в своем неизменном сочувствии. Это были первые симптомы новой фазы, в которую отныне вступала моя жизнь. Зависимость моей судьбы от родственных связей постепенно падает, и вся моя жизнь складывается под влиянием внутренних, интимных отношений к людям посторонним.

В настоящую минуту эта неожиданная помощь заключала в себе некоторый элемент горечи: деньги как бы толкали к исполнению ненавистного парижского предприятия. И когда я попытался объяснить жене, что при новой поддержке мы можем пробиться и в Цюрихе, она пришла в величайшее негодование и жестоко напала на меня за слабость и нерешительность. Она заявила, что если я не приложу всех усилий, чтобы добиться чего-нибудь путного в Париже, она махнет на меня рукой, не желая быть свидетельницей того, как я стану влачить существование жалкого писаки и дирижера захудалых концертов. Так начался для нас 1850 год.

Ради собственного спокойствия я обещал уехать в Париж, и если пока еще медлил, то только из-за очень расстроенного здоровья. Пережитые волнения отразились на моих нервах, и возбуждение прежних дней, тяжелое и продолжительное, сменилось полной разбитостью. Я постоянно простужался в нашей нездоровой квартире, проводя все время за работой. Появились угрожающие симптомы. Я чувствовал боль в груди, и один врач, политический эмигрант, лечил меня смоляными пластырями. От действия этих пластырей я надолго потерял способность громко говорить. Но жена находила, что я должен ехать. Когда пришлось, наконец, идти на почту покупать билет, я чувствовал себя настолько обессилевшим, что, обливаясь потом, не устоял на ногах. Я вернулся домой и еще раз заговорил с женой о том, не разумнее ли отказаться

от путешествия. Она нашла, что в моем состоянии нет ничего угрожающего, что здесь большую роль играет мое воображение и что, когда я прибуду на место, сразу почувствую себя лучше. Невыразимо горькое чувство охватило меня, нервы мои болезненно напряглись, и с отчаянием, решительными шагами я отправился на почту, чтобы взять роковой билет. В начале февраля я уехал в Париж. Странные ощущения овладели мной, и если в глубине души таились кое-какие надежды, я должен сказать, что они шли из другого источника и во всяком случае не имели ничего общего с извне навязанной мне верой в возможный парижский успех.

247

Опять Париж

Первой заботой моей было найти тихую квартиру. Вообще с того времени я стал искать тишины везде, где бы ни устраивался. Извозчик вез меня с улицы на улицу, по самым глухим кварталам, которые все же казались мне чересчур шумными, и, раздосадованный, он наконец заметил мне: чтобы жить, как в монастыре, надо ехать не в Париж. Наконец мне пришло в голову поискать квартиру в одном из *Cités*, где вовсе нет движения экипажей. И действительно, я нанял на *Cité de Provence* две небольших комнаты. Согласно настойчивым указаниям друзей я прежде всего отправился к Сегеру, чтобы переговорить с ним по поводу предполагаемого исполнения увертюры к «Тангейзеру». Оказалось, что своим запоздалым приездом я ничему не помешал, так как здесь даже не знали, где найти расписанные по инструментам партии для оркестра. Мне предстояло написать Листу, просить его заказать копии и ждать ответа. Беллони в Париже не было. Нечего было пока делать, и у меня оказалось достаточно времени,

чтобы под тягостный вой шарманок поразмыслить о цели моего пребывания в Париже. Скоро ко мне пришел агент министерства внутренних дел, чтобы расспросить о причинах моего приезда (я казался очень подозрительным, как политический эмигрант), и мне стоило труда убедить его, что привели меня сюда интересы музыкального характера. К счастью, ему понравились партитура, которую я ему показал, и прошлогодняя статья Листа об увертюре к «Тангейзеру» в *Journal des Débats*. Уходя, он успокоил меня и уверил, что полиция не будет препятствовать моим мирным стремлениям.

Снова разыскал я моих старых парижских знакомых. Земпера я нашел в гостеприимном дом Деплешена. Он добывал себе сносный заработок исполнением различных заказов несамостоятельного характера. Семья его оставалась в Дрездене, откуда к нам приходили ужасающие вести. Каторжные тюрьмы были переполнены несчастными жертвами последнего саксонского восстания. О Рёкеле, Бакунине и Хойбнере сообщали, что, обвиняемые в государственной измене, они будут приговорены к смертной казни. Известия о жестокостях, проявляемых войсками по отношению к арестованным, заставляли нас считать наше собственное положение сравнительно счастливым.

С Земпером я встречался часто, и мы проводили с ним время довольно весело. Он надеялся устроиться вместе со своей семьей в Лондоне, где у него были виды на некоторые заказы. Мои последние писательские опыты и идеи, которые я в них проводил, интересовали его чрезвычайно. Мы много спорили, и в наших беседах нередко принимал участие Китц, что сначала забавляло Земпера, а потом стало его тяготить. Китца я нашел буквально в тех же условиях, в каких некогда покинул его. Он все еще не мог справиться со своими кистями и мечтал лишь об одном: чтобы революция и связанный с ней общий разгром

помогли ему разделаться как-нибудь с квартирным хозяином. Тем не менее он нарисовал с меня очень недурной портрет в своей юношеской манере, цветными карандашами. Во время сеансов я, к сожалению, должен был разъяснить ему, что я разумею под искусством будущего. Это создало большую путаницу в его понятиях. Даже в буржуазных семьях, где он столовался даром, он вздумал вести живейшую пропаганду в мою пользу. Китц был тем же старым, верным, сердечно преданным другом, как и прежде. Даже Земпер научился мириться с ним.

Разыскал я тоже и моего значительно постаревшего друга Андерса. Встречаться с ним было очень трудно. С раннего утра он работал в библиотеке, где ему было запрещено кого бы то ни было принимать, затем отдыхал в кабинете для чтения, а обедал в тех домах, где давал уроки музыки. Здоровье его за это время сильно поправилось. Мне казалось раньше, что он идет навстречу верной смерти. Как это ни странно, ему помогло несчастье: он сломал себе ногу и попал в водолечебницу. Это оказалось для него спасением: здоровье его значительно окрепло. Он мечтал лишь об одном — быть свидетелем моего триумфа в Париже — и взял с меня слово, что на первом представлении моего нового творения я доставлю ему удобное место в театре, так как давки он не переносил. От моих литературных писаний он не ждал никакой пользы.

Тем не менее я снова занялся исключительно ими, так как выяснилось, что надеяться на исполнение увертюры к «Тангейзеру» не приходится. Лист своевременно изготовил оркестровые партии и переслал их сюда. Но Сегер заявил, что его оркестр представляет собой «демократическую республику», все члены которой пользуются одинаковым правом голоса. На совещаниях музыкантов было почти единогласно решено завершить зимний сезон без моей увертюры. Этого было достаточно, чтобы понять весь

ужас моего положения. Писательство тоже давало малоутешительные результаты. Наконец в мои руки попал экземпляр «Произведения искусства будущего», отвратительно изданный у Виганда, с бездной грубых ошибок. Издатель сообщал мне, что может заплатить пока только половину моего гонорара. Он был введен в заблуждение бойким успехом «Искусства и революции» и чересчур высоко оценил рыночную стоимость моего литературного труда. Полнейший же неуспех моей второй брошюры «Вибелунги» раскрыл ему глаза. В это время некто Адольф Колачек, тоже эмигрант, задумал издавать в Париже ежемесячный немецкий журнал как орган прогрессивной партии и предложил мне участвовать в нем, причем назначил приличный гонорар. Чтобы пойти навстречу его приглашению, я написал большую статью под заглавием «Искусство и климат». В ней некоторые из идей, только задетых в «Произведении искусства будущего», получили дальнейшее развитие. Кроме того, я окончательно обработал «Виланда-кузнеца». С материальной стороны труд этот оказался совершенно бесполезным. Последние полученные мной деньги были истрачены, и я с ужасом думал о том, что напишу теперь жене.

О возвращении в Цюрих и о дальнейшем пребывании в Париже я думал с одинаковой тоской. Это настроение усилилось после того, как я впервые услышал новое произведение Мейербера, его «Пророка». Все надежды на благородный под подъем в искусстве, которые еще год тому назад одушевляли лучших людей, лежали во прахе. А на их обломках, как результат промышленной сделки временного республиканского правительства, произведение Мейербера: заря того позорного дня отрезвления, который настал для мира. Мне было так противно присутствовать на этом спектакле, что я ушел в середине спектакля, несмотря на то что сидел в самом центре партера. Обычно я не позволил

бы себе произвести шум во время представления. Но когда знаменитая «Мать» пророка принялась изливать свое горе в пошлых руладах, мной овладело настоящее бешенство. Никогда я не мог заставить себя прослушать несколько тактов из этого произведения.

248

В гостях у г-жи Лоссо

Но что предпринять дальше? Во время первого моего пребывания в Париже в тисках нужды я мечтал бежать в какую-нибудь из южноамериканских республик. Теперь я думал о Дальнем Востоке, где мог бы сохранить человеческое достоинство и, порвав с современным миром, в неизвестности закончить свои дни. В таком настроении находился я, когда получил письмо от г-жи Лоссо, в котором она справлялась о моем настроении. Содержание моего ответа побудило ее энергично просить меня отправиться в Бордо и отдохнуть в ее доме, забыв на время о всех своих злоключениях. Поездка на юг, в новые места, к людям, хотя и незнакомым, но серьезно ко мне относящимся, меня привлекала. Я рассчитался с хозяином и отправился с дилижансом через Орлеан, Тур и Ангулем вниз по Жиронде. Там меня с почетом, с величайшей приветливостью, встретили молодой виноторговец Эжен Лоссо и его жена.

Ближайшее знакомство с этой семьей, с госпожой Тейлор, матерью г-жи Лоссо, помогло мне понять причину того участия, какое оказывали мне эти люди, стоявшие от меня столь далеко. Жесси — так звали молодую женщину в семье — прожила довольно долго в Дрездене, где подружилась с семьей Риттер. Под влиянием этой семьи, интересовавшейся моими произведениями, моей судьбой, сложилось и ее отношение ко мне. Я не имел никаких оснований не доверять этому. Когда я принужден был

бежать из Дрездена и известия о моем положении дошли до семьи Риттер, между Дрезденом и Бордо завязалась переписка о том, как мне прийти на помощь. Жесси приписывала инициативу в этом деле госпоже Юлии Риттер. Однако у Юлии Риттер не было средств, чтобы одной выполнить свой план, и она вступила в переговоры с матерью Жесси, довольно богатой женщиной, вдовой английского адвоката. Молодая пара в Бордо была, собственно, ей обязана своим материальным благоустройством. Дамы пришли к соглашению, и теперь, когда я прибыл в Бордо, оказалось, что обе семьи решили предложить мне ежегодную субсидию в 3000 франков, пока обстоятельства мои не изменятся к лучшему. Мне оставалось только рассказать моим благодетелям, в каком положении находятся мои дела и каковы мои планы.

На мои успехи в качестве оперного композитора в Париже и вообще где бы то ни было надеяться более не приходится, я и сам не знаю, что мне остается предпринять. Во всяком случае я твердо решил охранить себя от позора, не добиваться успехов путями, могущими запятнать мою честь. Едва ли не одна только Жесси поняла меня, и хотя остальные члены семьи были со мной очень приветливы, я скоро заметил, какая пропасть отделяет меня и молодую женщину от ее мужа и матери. Муж, красивый молодой человек, был всегда занят делами, мать, плохо слышавшая, не могла принимать живого участия в наших беседах. Таким образом, между нами скоро установилась большая близость взглядов, установились доверчивые отношения. Жесси было тогда двадцать два года, она совершенно не походила на мать и была, по-видимому, вся в покойного отца. О нем я узнал много хорошего. Он оставил своей дочери большую, очень разнообразную библиотеку, что свидетельствовало о необычайных склонностях этого человека. Занятый адвокатской деятельностью, он уделял много

внимания литературе и наукам. Благодаря ему Жесси еще в детстве хорошо овладела немецким языком и бегло на нем говорила. На сказках братьев Гримм она воспиталась и затем последовательно знакомилась с немецкими поэтами. Нечего говорить о том, что она в совершенстве знала английский язык. Кроме того, она владела французским языком соответственно требованиям образования и жизненных обстоятельств, но языка этого она не любила. Ее способности были изумительны: чего бы я ни коснулся, она сейчас же быстро и отчетливо схватывала суть вещей. То же было и с музыкой. Она легко читала ноты и настолько хорошо и бегло играла, что в состоянии была целиком исполнить, к моему великому изумлению, необыкновенно трудную сонату B-dur Бетховена, в то время как в Дрездене я не мог найти пианиста, способного справиться с этой вещью.

Все это было чрезвычайно приятно, но тем резче было разочарование, когда она однажды запела. У нее оказался острый, резкий фальцет. Она пела с большим азартом, но без всякого чувства. Она напугала меня этим до такой степени, что я не удержался и стал просить ее на будущее время больше не петь. При исполнении сонат она охотно принимала к сведению мои указания относительно верности выражения, но я чувствовал, что духа моих слов она все-таки не улавливала. Я познакомил ее с моими последними литературными работами, и она легко овладела даже самыми смелыми из моих идей. «Смерть Зигфрида» понравилась ей чрезвычайно, но предпочтение она отдавала «Виланду-кузнецу». Позднее она признавалась мне, что жребий самоотверженной невесты Виланда был ей ближе, чем отношение Гутруны к Зигфриду.

Скоро выяснилось, что окружающие являлись помехой в наших занятиях, в наших беседах. Оба мы прекрасно понимали, что госпожа Тейлор никогда не уразумеет

настоящего смысла оказываемой мне поддержки, и это нас очень тяготило. Особенно же меня беспокоило то обстоятельство, что молодые супруги Лоссо совершенно друг друга не понимают. Очевидно, Лоссо чувствовал, что жена уже давно перестала его любить. Однажды он совершенно забылся и при всех с горечью заявил, что она не любила бы и ребенка, от него рожденного, и потому считает счастьем, что она не стала матерью. Как это часто бывает в таких случаях, это была внешне счастливая пара, но в действительности супругов разделяла пропасть, в которую я заглянул с ужасом и огорчением.

Протекли полных три недели, мое пребывание в Бордо уже близилось к концу, когда я получил письмо от жены, еще сильнее испортившее мое тягостное настроение. Она ничего не имела против моих новых друзей, но объявила, что если я немедленно не вернусь в Париж и не добьюсь исполнения увертюры и связанных с этим делом успехов, она откажется понимать меня. Если же, ничего не добившись, я вздумаю вернуться в Цюрих, она и вовсе махнет на меня рукой.

В то же время меня потрясло и патетически настроило газетное известие о том, что Рёкель, Бакунин и Хойбнер приговорены к смертной казни, которая и будет скоро приведена в исполнение. Рёкелю и Бакунину я написал лаконическое, но энергичное прощальное письмо, и так как был уверен, что прямым путем оно не проникнет к заключенным в крепость Кёнигштайн, я решил послать его госпоже фон Люттихау для передачи заключенным. Сделал я это, исходя из следующих соображений. Госпожа фон Люттихау была единственным лицом, которое имело возможность исполнить мое поручение. Кроме того, я предполагал, что при возможном разногласии во взглядах она благородно и независимо отнесется к моему желанию.

Впоследствии мне рассказывали, что письмо попало в руки господина фон Люттихау, и он бросил его в печку.

Болезненное потрясение еще сильнее поддержало назревшее решение порвать со всем прошлым, уйти от искусства, от жизни, уединиться от всего мира ценой каких угодно лишений. Из небольшой ренты, предложенной моими новыми друзьями, я половину решил отдавать жене, а сам думал укрыться куда-нибудь в Грецию, Малую Азию, заняться там чем попадется, лишь бы не помнить ничего и быть забытым навсегда. О моих планах я сообщил Жесси как единственному моему другу, прося ее объяснить моим покровителям, как намерен я употребить предложенную ренту. Она была всем этим очень обрадована. Недовольство собственным личным существованием заставляло ее мечтать в том же направлении. Понял я это из ее намеков и беглых замечаний. Не отдавая себе отчета, к чему все это должно повести, скорее взволнованный, чем успокоенный, не имея никаких определенных планов, я покинул в последних числах апреля Бордо. Выбитый из колеи, не зная совершенно, что предпринять, я отправился в Париж.

249

Романтические осложнения

Больной, возбужденный, разбитый постоянной бессонницей, я пробыл восемь дней в гостинице *Valois*, стараясь как-нибудь разобраться в необычайно странных обстоятельствах, в каких я очутился. Если бы я и хотел приняться за выполнение планов, насильственно мне навязанных друзьями, то здесь добиться чего-нибудь пока нельзя было. Недовольство, вызванное неразумными посягательствами на меня со стороны других людей, стремлением использовать мои силы в ненавистном мне направлении, разрослось

в душе моей в яростный протест. Надо было ответить жене. Обсуждая нашу прошедшую жизнь в пространном, благожелательно откровенном письме, я сообщил ей, что пришел к твердому решению освободить ее от непосредственного участия в моей дальнейшей судьбе, так как считаю себя неспособным подчиниться ее желаниям и взглядам. Все, что я теперь и в будущем заработаю, я готов делить с ней пополам. Пришел тот случай, о котором она говорила при нашем первом свидании в Швейцарии, угрожая новой разлукой: она может его использовать немедленно. Я расставался с ней окончательно.

Об этом я тут же сообщил Жесси в Бордо. Предпринять какие-нибудь определенные шаги в смысле полного удаления из мира, как я называл это, я еще не мог — не хватало средств. Жесси ответила, что решила сделать то же самое и намерена отдаться под мою защиту, как только получит полную свободу. Я употребил все усилия, чтобы разъяснить ей, что далеко не одно и то же, если доведенный обстоятельствами до отчаяния человек, как я, бросается очертя голову в неизвестность, или если это делает молодая женщина, находящаяся в сравнительно недурных внешних условиях жизни. Притом же никто, кроме меня, не поймет ее настоящих побуждений. Она успокоила меня относительно эксцентричности своего поведения и объяснила, что выполнит свой план с соблюдением приличий, что прежде всего она собирается отправиться в Дрезден в дружественную ей семью Риттер. Все это взволновало меня до такой степени, что мне захотелось уйти в одиночество немедленно, хотя бы недалеко от Парижа.

В середине апреля я отправился в Монморанси, о котором слышал много хорошего. Там я решил найти для себя скромное убежище. С трудом пробирался я среди еще совершенно зимнего пейзажа по окрестностям маленького городка и зашел наконец в садик одного виноторговца,

посещаемый обыкновенно только по воскресеньям. Чтоб подкрепиться, я велел подать хлеба, сыру и бутылку вина. Вокруг меня собрался целый курятник, и я стал кормить кур хлебом. Особенно тронул меня своей самоотверженной воздержанностью петух, отдававший курам даже те куски, которые я бросал специально ему. Постепенно куры становились смелее, забрались на стол и набросились бесцеремонно на мой завтрак. Забрался сюда и петух и, заметив, что порядок нарушен окончательно, набросился на мой сыр с жадностью, которую долго подавлял в себе. Скоро я был совершенно оттиснут от стола клокочущим хаосом. Это рассмешило меня, и впервые после долгого промежутка времени я сердечно рассмеялся.

Тут я заметил на вывеске дома, что имя хозяина Хомо[150]. В этом я увидел указание судьбы: здесь я должен найти себе комнату. Комната нашлась, маленькая и узкая, и я немедленно поселился в ней. Кроме кровати, в ней стояли некрашеный стол и два плетеных стула. Один из них я превратил в умывальник, а на столе я разложил книги, письменные принадлежности и партитуру «Лоэнгрина». В этой крайне жалкой обстановке я мог наконец вздохнуть полной грудью. Погода была скверная, по голым еще рощам совершать прогулки было трудно. Но я был совершенно одинок, чувствовал себя окончательно забытым и мог предать забвению все, что в последнее время так тревожило меня и мучило. Проснулось старое стремление к искусству. Я стал перелистывать партитуру «Лоэнгрина» и быстро решил отослать ее Листу и предложить ему как-нибудь поставить эту оперу в Веймаре. Когда я избавился от партитуры, я почувствовал себя свободным, как птица, и беззаботным, как Диоген. В таком настроении я пригласил к себе Китца разделить со мной радости деревенской

---

150 Человек (*нем. и фр.*).

жизни. Он действительно приехал, как некогда приехал в Мёдон, но обстановку мою нашел еще беднее, чем в тот раз. С удовольствием он разделил со мной обед, устроил себе на ночь импровизированное ложе из досок и, отправляясь назад в Париж, решил восстановить между мной и миром разорванную связь.

Но внезапно я был испуган известием, что жена разыскивает меня в Париже. Я пережил мучительный час, прежде чем предпринять что-нибудь. И я решил не давать ей повода думать, что мое последнее письмо объясняется поспешностью или простительным порывом. Я немедленно отправился из Монморанси в Париж, вызвал Китца к себе в гостиницу и просил его ничего не говорить жене, которая обращалась к нему: он знает обо мне только одно, что я покинул Париж. Бедный малый, относившийся к Минне, как и я, очень сердечно, был страшно огорчен. Чувствуя крайнюю неловкость своего положения, он заявил мне, что сознает себя как бы «осью, вокруг которой вертится все горе мира». Но он понял все значение и тяжесть моего решения и сумел исполнить свою нелегкую задачу умно и мягко.

В ту же ночь я покинул Париж и уехал по железной дороге в Клермон-Тоннер. Там я хотел пробыть некоторое время и затем пробраться в Женеву и дождаться известий от госпожи Риттер. Я был до того истощен, что не мог и мечтать о сколько-нибудь значительном путешествии, даже если бы для этого у меня были необходимые средства. Чтобы выиграть время, я перебрался на ту сторону Женевского озера в Вильнёв, где легко нашел комнату в гостинице *Byron*, пустующей в это время года. Здесь я узнал, что в Цюрих прибыл Карл Риттер, чтобы, как он еще раньше извещал, погостить у меня. Под условием строжайшей тайны я вызвал его к себе на Женевское озеро, где мы и встретились в середине мая в той же гостинице «Байрон».

Мне понравилась его безусловная преданность. Я оценил, как быстро он понял мое положение, всю необходимость принятых мной решений, как легко, без лишних разговоров, одобрил он тот шаг, который я совершил по отношению к нему самому. Он был в полном восторге от моих последних литературных произведений, говорил о сильном впечатлении, какое они произвели на его знакомых, и тем побудил меня использовать немногие дни покоя и приготовить к печати «Смерть Зигфрида». Я написал небольшое предисловие, в котором объяснял друзьям, что это произведение является реликвией из той эпохи, когда я еще считал себя призванным заниматься чисто художественными работами, в частности музыкальными композициями. Рукопись я отослал в Лейпциг Виганду, который скоро вернул мне ее обратно. При этом он сообщал, что если вещь будет напечатана латинским шрифтом, как я на этом настаиваю, он не продаст ни одного экземпляра. Впоследствии я узнал, что те 10 луидоров, которые он остался мне должен за «Произведение искусства будущего» и которые я просил его передать жене, он упрямо отказывался уплатить.

250

Дело чести

В материальном отношении мое положение было крайне печально — следовало немедленно приняться за какую-нибудь работу. Однако это оказалось невозможным: через несколько дней по прибытии Карла реальная жизнь начала опять трепать меня самым неожиданным и мучительным образом. Госпожа Лоссо написала мне крайне тревожное письмо, где сообщала, что открыла свои намерения матери. Та немедленно заключила, что это интрига с моей стороны, и рассказала обо всем господину Лоссо, который поклялся, что разыщет меня, где бы я

ни был, и убьет. Я решил поехать в Бордо, чтобы объясниться со своим противником. Я написал ему пространное письмо, где представил все дело в истинном свете, причем не умолчал о моем недоумении относительно того, как это возможно удерживать при себе женщину, которая вас знать не хочет. В конце я сообщал, что одновременно с письмом лично прибуду в Бордо и немедленно извещу, в какой гостинице он меня может найти. Я прибавил, что жена его о моем поступке не знает ничего, и поэтому он свободен в своих действиях. Не скрыл я также, что совершаю это путешествие с большими затруднениями, так как у меня нет времени, необходимого для визирования паспорта во французском посольстве. Госпоже Лоссо я в то же время написал несколько строк, прося ее успокоиться и взять себя в руки. О том, что я еду во Францию, я умолчал совершенно, согласно принятому решению (Лист, когда я впоследствии рассказал ему всю эту историю, нашел, что я поступил весьма глупо, не уведомив о своем шаге госпожу Лоссо).

В тот же день я простился с Карлом, чтобы на следующее утро отправиться в Женеву, а оттуда во Францию. Путешествие это по тому времени было нелегкое. В Женеве я почувствовал себя так скверно, что не мог отделаться от мысли о близкой смерти. В таком настроении я ночью написал письмо госпоже Риттер в Дрезден, где, между прочим, рассказал, в какую попал нелепую историю. На французской границе начались неприятности с моим паспортом. Меня настойчиво расспрашивали о цели поездки, и власти в виде исключения разрешили мне въезд во Францию, так как я энергично настаивал на том, что меня туда призывают неотложные семейные дела. Через Лион вниз по Оверни ехал я дилижансом. Путешествие длилось полных три дня и две ночи. В Бордо был пожар, когда рано утром я с вершины холма увидел его перед собой.

Я остановился в гостинице *Quatre sœurs*[151] и отправил записку господину Лоссо, в которой сообщал свой адрес и обещал не выходить, пока он не явится. Было девять часов утра, когда я отправил эту записку. Весь день я напрасно ждал ответа, пока не получил довольно поздно, после обеда, приглашение немедленно явиться в полицию. Там меня спросили, в порядке ли мой паспорт. Я откровенно объяснил затруднение, в котором нахожусь, прибавив, что только серьезные семейные дела могли заставить меня предпринять путешествие сюда. Мне ответили, что как раз из-за этих-то семейных дел мне запрещается дальнейшее пребывание в Бордо. Я стал добиваться объяснений, и оказалось, что этого требует самым решительным образом заинтересованная семья. Сделанное мной открытие положительно развеселило меня. Я заявил полицейскому комиссару, что после утомительного путешествия нуждаюсь в отдыхе и потому прошу разрешения остаться здесь два дня. Он охотно дал мне его, так как заинтересованная в моем отъезде семья покинула нынче утром Бордо, и нам не грозит опасность встречи.

Эти два дня я действительно посвятил отдыху, написав лишь обстоятельное письмо Жесси, в котором изложил подробно все, что произошло, и заявил в заключение, что поведение ее мужа, прибегнувшего к доносу и отдавшего честь своей жены в руки полиции, считаю недостойным. Кроме того, я прибавил, что отказываюсь от каких бы то ни было отношений с ней до тех пор, пока она не вырвется из этой позорящей ее обстановки. Оставалось только доставить письмо по назначению. По сведениям, полученным от полицейского комиссара, я не мог судить, надолго ли семья Лоссо оставила Бордо. Я решил поэтому пробраться в их дом. Придя туда, я нажал ручку дверей, и они

[151] «Четыре сестры» (*нем.*).

открылись. Дом был совершенно пуст, и я беспрепятственно прошел по всем комнатам первого этажа в комнату Жесси. Там я нашел ее рабочую корзинку, положил туда письмо и спокойно удалился, никем не замеченный.

По прошествии двух дней, не потревоженный никем, я отправился обратно в Женеву. Был май, стояла прекрасная погода. Я любовался прозрачной водой Дордони, чудесной реки со столь милым именем, вдоль которой вез меня дилижанс. По дороге меня забавляла беседа с моими попутчиками — священником и офицером: оба решительно высказывались за необходимость покончить с французской республикой, причем священник проявлял гораздо более мягкости и либерализма, чем военный, у которого был один припев: *Il faut en finir*[152]. По пути я воспользовался случаем ближе познакомиться с Лионом и, прогуливаясь по улицам города, старался воскресить в воображении сцены, так живо описанные Ламартином в «Истории жирондистов». Наконец я вернулся в Женеву, а затем и в гостиницу «Байрон», где Карл Риттер ждал меня с приятными вестями от его семьи. Мать успокоила его насчет состояния моего здоровья, объяснив, что людям с расстроенными нервами свойственны мрачные размышления о близости смерти, что серьезно за меня опасаться нечего. Кроме того, она сообщила, что в скором времени намеревается посетить нас в Вильнёве вместе с дочерью Эмилией. Эти известия подействовали на меня ободряющим образом. Казалось, эта семья послана небом, чтобы поддержать меня и повести к новой жизни, к которой я так стремился.

В самом деле, через несколько дней приехали обе женщины отпраздновать со мной 22 мая — тридцать седьмую годовщину моего рождения. Наиболее сильное

[152] «Этому должен быть положен конец» (*фр.*).

впечатление произвела на меня фрау Юлия. В Дрездене я видел ее всего один раз, когда Карл от ее имени просил меня присутствовать при исполнении его квартета. Меня приятно поразила та почтительность, с какой относились ко мне члены этой семьи. Мать мало со мной разговаривала, но когда я уходил, она со слезами благодарила меня за посещение. В ту минуту меня это просто удивило, теперь же, спрошенная о причине ее тогдашних слез, она объяснила, что была тронута вниманием, оказанным ее сыну. Дамы пробыли у нас около недели. Мы старались развлечься, совершали прогулки в прекрасную Валлийскую долину. Но госпожа Риттер оставалась глубоко озабоченной происшедшими со мной в последнее время событиями, с которыми она подробно ознакомилась только сейчас, как равно и тем, что ждет меня впереди. Впоследствии я узнал, что этой женщине, больной, страдающей нервами, пришлось напрячь все силы, чтобы совершить настоящее путешествие, и только когда я стал настойчиво предлагать ей переселиться в Швейцарию, где мы могли бы все вместе прекрасно устроиться, она объяснила мне, что на основании ее теперешней, с исключительными целями предпринятой поездки я не должен судить о ее физических силах: в действительности она разбитый человек. Уезжая, она передала на мое попечение своего сына и вручила необходимые нам обоим средства. О своих материальных возможностях она сообщила мне, что они ограниченны, а так как о прежнем плане совместной с семьей Лоссо заботы обо мне теперь не может быть и речи, она серьезно занята мыслью, как ей одной справиться с этой задачей и обеспечить мне свободу. По истечении недели мы с глубоким волнением простились с этой почтенной женщиной. Она отправилась обратно с дочерью в Дрезден, и я более с ней никогда не встречался.

251

Финал. Поездка в Цюрих

Я продолжал думать о том, куда укрыться от мира. Наконец я остановился на одной довольно пустынной горной местности, куда мы и удалились с Карлом. Это была уединенная Висперская долина в Валлийском кантоне. С довольно большим трудом добрались мы по малопроходимым дорогам до Церматта. Там, у подножия колоссального и дивно прекрасного Маттерхорна, мы могли себя чувствовать удаленными от всего света. В этой пустыне я постарался кое-как устроиться, но скоро заметил, что Карл чувствует себя довольно плохо при новых условиях нашей жизни. Уже на второй день он признался мне, что ему здесь не по себе, что на берегу одного из крупных швейцарских озер ему было бы легче. Мы стали изучать карту Швейцарии и остановились для первого опыта на Тунском озере. К сожалению, я опять почувствовал полный упадок сил. Нервы мои настолько ослабели, что при малейшем телесном напряжении я весь обливался потом. С напряжением всех сил выбрался я из этой долины. Мы доехали до Туна и, несколько ободрившись, наняли две небольших, скромных, но веселых комнаты у самой дороги — здесь мы решили сделать попытку обосноваться. Беседы с моим молодым приятелем, несмотря на его молчаливость и робость, были мне очень приятны и действовали на меня освежающе, особенно с тех пор как он перед сном заимел привычку усаживаться поуютнее на моей постели и оживленно делиться со мной на приятном, чистом диалекте остзейских провинций своими впечатлениями. Я развлекался в эти дни чтением «Одиссеи», случайно попавшей в мои руки впервые после долгих юношеских лет. Этот тоскующий по родине, вечно странствующий, бодро преодолевающий всевозможные препятствия герой Гомера был необыкновенно близок душе моей.

Но внезапно мир мой был нарушен письмом, полученным Карлом от г-жи Лоссо. Он не решался мне его показать, так как думал, что Жесси просто сошла с ума. Я силой вырвал у него письмо и прочел его. Молодая женщина считала себя обязанной сообщить моему другу, что теперь она совершенно разгадала меня и намерена окончательно порвать всякие отношения со мной. Впоследствии я с помощью г-жи Риттер узнал следующее. Получив письмо с извещением о выезде в Бордо, Лоссо, посоветовавшись с г-жой Тэйлор, немедленно уехал оттуда со всей семьей в деревню, чтобы переждать, пока я не покину Бордо. В полицию он обратился с просьбой ускорить мой отъезд. В деревне от молодой женщины утаили суть событий. Ей ничего не сказали ни про мое письмо, ни про мою поездку в Бордо, уговорив спокойно выждать один год и отложить путешествие в Дрезден. С нее взяли слово не поддерживать со мной никакой корреспонденции. Так как ей обещали по истечении года дать полную свободу, то она и согласилась. Тем временем оба заговорщика приложили все усилия оклеветать меня в ее глазах. Сами они были уверены, что я намеревался ее похитить. Госпожа Тейлор обратилась с письмом к моей жене, где, сообщая о затеянной мной попытке создать в чужой семье «супружескую измену», выразила ей свое глубочайшее сочувствие и предложила материальную поддержку. Бедная Минна немедленно решила, что вот где кроется причина моего отказа от совместной с ней жизни, и ответила госпоже Тейлор слезным письмом. Во всей этой истории удивительное какое-то недоразумение сочеталось с намеренной ложью. Как-то раз в одном несерьезном разговоре Жесси сказала мне, что она не принадлежит ни к одной из существующих религий, так как отец ее был членом особой секты, не признающей крещения ни по протестантскому, ни по католическому обряду. Я утешил ее тем, что мне

случалось сталкиваться с представителями еще более странных сект. Так, например, вскоре после моего венчания я узнал, что обряд был над нами выполнен в Кёнигсберге одним священником, принадлежавшим к секте мукеров. Бог знает, в каком виде Жесси передала этот разговор своей матери, но в результате госпожа Тейлор сообщила Минне, что я считаю наш брак недействительным. Дальнейшие письма моей жены к Жесси подлили масла в огонь. Жена постаралась выставить меня в настоящем свете, что и побудило Жесси написать моему молодому другу это странное письмо. Признаюсь, больше всего меня возмутило поведение Минны. Что обо мне думают супруги Лоссо и госпожа Тэйлор, было для меня совершенно безразлично. Поэтому я охотно принял предложение Карла отправиться в Цюрих, разыскать там мою жену и дать ей необходимые разъяснения.

Пока я ждал его возвращения, я получил письмо от Листа. Он писал мне о том огромном впечатлении, какое произвела на него партитура «Лоэнгрина», и сообщал, что это впечатление решительным образом изменило его взгляды на меня и на мое будущее. Пользуясь данным мной разрешением, он готов напрячь все силы и поставить оперу в Веймаре к предстоящему торжеству в честь Гердера. Почти одновременно пришло письмо от госпожи Риттер. Она прекрасно понимала сущность всех разыгравшихся событий и просила не принимать их близко к сердцу. Вернулся наконец из Цюриха и Карл. Он с большой теплотой отозвался о поведении моей жены. Не найдя меня в Париже, она не растерялась, а напротив, с редкой энергией принялась устраивать свою жизнь по-новому. Соответственно моим желаниям, она сняла подходящую квартиру в уединенном тихом месте на берегу Цюрихского озера в надежде услышать что-нибудь обо мне. Кроме того, он сообщил мне много похвального о Зульцере, о его сердечном

отношении к Минне. Неожиданно у Карла вырвалось восклицание: «Ах, столковаться с этими людьми, во всяком случае, можно! Но с сумасшедшей англичанкой ничего не поделаешь!» Я не сказал ничего, но с улыбкой спросил его, не тянет ли его в Цюрих? Он вскочил: «О, да! И чем скорее, тем лучше!» — «Будь по-твоему, — ответил я, — давай укладываться. И тут, и там для меня одинаково бессмысленно». Не говоря ни слова, мы на следующий день отправились в Цюрих.

Вагнер Рихард

Моя жизнь

В двух томах

Том 1

16+

Ответственный редактор *Л. Сурис*
Верстальщик *О. Зотова*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru